Тетради по консерватизму

ISSN 2409-2517

№ 3 2023

«Польский вопрос»

фонд ИСЭПИ

Институт социально-экономических и политических исследований

Альманах

[Октябрь 2023 г.]

фонд ИСЭПИ
Институт социально-экономических и политических исследований

«Польский вопрос»

[Октябрь 2023 г.]

Тетради по консерватизму

[№ 3 2023 г.]

Москва
Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ)
2023

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по отраслям 5.5 – Политические науки, 5.6 – Исторические науки, 5.7 – Философские науки.

Рекомендовано к печати
Экспертным советом Фонда ИСЭПИ

Редакционный совет
Д.В. Бадовский, А.Д. Воскресенский, А.А. Иванов,
М.А. Маслин, Б.В. Межуев, А.Ю. Минаков, Р.В. Михайлов (гл. редактор),
Е.Н. Мощелков, Л.В. Поляков (председатель), С.В. Перевезенцев, М.В. Ремизов,
А.С. Ципко, А.Л. Чечевишников, М.М. Шевченко, А.А. Ширинянц, А.В. Щипков.

Тетради по консерватизму: Альманах. – №3. – М.: Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2023. – 390 с.

Очередной выпуск альманаха, приурочен к юбилею Январского восстания 1863 года и посвящен одному из самых острых вопросов имперской политики России – польскому. Но это не только дань историческим событиям. Восстание 1863 года является серьезным фактором современной политической борьбы за идентичность и претензии к соседям нескольких государств: Польши, Литвы, Украины, Белоруссии, России. События 160-летней дальности служат ресурсом современных информационных войн, имеющих явно русобофский характер, а также частью нынешнего внешнеполитического дискурса, особенно в контексте СВО. Тем важнее представляется расставить правильные акценты и показать ложные тенденции и псевдоисторические подходы к изучению событий тех давних дней.

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77 – 67506.

© АНО «Средство массовой информации Альманах “Тетради по консерватизму”», 2023
© Некоммерческий фонд — Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2023

Содержание

Л.В. Поляков
Слово к читателю
9

Раздел первый

Россия и Польша: время и бремя империи

Ф.А. Гайда
Польское восстание 1863–1864 годов как идейный вызов русскому обществу
15

А.Ю. Полунов
Восстание 1863 года и политика правительства по отношению к народам западных регионов Российской империи во второй половине XIX века
22

М.Н. Крот
Формирование концептуальных основ политики обрусения Западных окраинных регионов в отечественном консервативном дискурсе накануне Январского восстания 1863 года
30

Протоиерей Александр Романчук
Конфессиональные аспекты польского восстания 1863–1864 годов
44

А.Ю. Бендин
Проблемы обеспечения безопасности Российского государства после разделов Речи Посполитой и образования Царства Польского (конец XVIII – первая половина XIX века)
62

А.А. Киселев
Состояние общей полиции белорусских губерний в оценках местной высшей администрации накануне Январского восстания 1863 года
96

А.А. Киселев
Террор против чинов исполнительной полиции белорусских губерний в условиях Январского восстания 1863 года
110

А.С. Хотеев
Сельские караулы в белорусско-литовских губерниях как форма проправительственной деятельности крестьян в 1863–1864 годах
117

Раздел второй

«Польский вопрос» и «Русский ответ»

А.Б. Панченко
От «Времени» к «Эпохе»: польский вопрос в журналах М.М. и Ф.М. Достоевских в контексте дискурса о русской нации
139

О.Л. Фетисенко
Поляки – «любимые враги» России: взгляд Константина Леонтьева
152

Л.Е. Шапошников
Охранительный либерализм и охранительный консерватизм о Польском восстании 1863 года (Б.Н. Чичерин и М.Н. Катков)
160

В.Ю. Даренский
Ф.М. Достоевский и Н.Н. Страхов о «польском вопросе»
170

А.Ю. Бендин
Решение «русского вопроса» польскими сепаратистами и русскими «революционерами» в 1861–1863 годах
187

В.Ю. Даренский
Польское восстание 1863 года в историософии Ф.И. Тютчева
203

Е.В. Перевалова
Информационное противостояние газеты «Московские ведомости» и европейской прессы в дни польского восстания 1863 года
221

Раздел третий

Январское восстание: тогда и сегодня

К.В. Шевченко
Польское восстание 1863 года в словацком общественном мнении и прессе
237

К.В. Шевченко
Польское восстание 1863 года в общественно-политическом дискурсе Чехии
242

Д.А. Федоров
Против полонизма и нигилизма: вопросы среднего образования в Юго-Западном крае на страницах газеты «Киевлянин» (1860–1870-е годы)
251

Д.В. Харитонов
Польское восстание 1863 года в политике памяти современной Украины
260

И.Н. Тяпин
Двенадцать мифов литвинизма
276

А.Д. Гронский
Конструирование национального героического пантеона, или как польский повстанец превратился в белорусского национального героя
286

А.Д. Гронский
Образ Константина Калиновского в белорусской исторической политике конца XX – начала XXI века
300

А.Д. Гронский
Образ Константина Калиновского в текстах статей в сборниках белорусских научных конференций начала XXI века
314

О.Б. Неменский
«История белорусской государственности» в тисках Российской империи
325

Раздел четвертый

Прикосновенный запас

А.Р. Дюков
«Дорогая моя Марылька!»
Неизвестные предсмертные письма Константина Калиновского – лидера польского восстания 1863 года в Литве и Белоруссии
369

От редакции

Уважаемые читатели!

Данный выпуск нашего альманаха приурочен к юбилею Январского восстания 1863 года и посвящен одному из самых острых вопросов имперской политики России – польскому. Непоследовательность в его решении, ошибочные действия властей, зачастую продиктованные либеральным тщеславием, а отчасти и самолюбованием, не способствовали интеграции обширных западных территорий Российской Империи в единое государственное пространство. Особую пикантность польской проблеме придавал ряд обстоятельств. Во-первых, руководители восстания открыто претендовали на те земли, что исторически входили в состав Древней Руси. Во-вторых, жестокость притеснения местного крестьянства со стороны польской шляхты не имела аналогов на всей остальной территории Российской Империи. Наконец, угнетатели исповедовали католицизм, угнетенные – православие, при этом первые покушались на конфессиональную самобытность вторых, в том числе посредством церковной и образовательной политики, включая попытки продвижения униатских проектов. И весь этот опасный клубок из национальных, социальных, религиозных противоречий не просто подпитывался исторической памятью польской шляхты о независимой когда-то родине, но разжигал поистине греховные страсти, проявлявшиеся прежде всего в претензиях на исконные русские территории.

Традиционная ставка русского императорского дома на местное дворянство, эффективно работавшая в Прибалтике среди остзейских немцев, благоразумно соблюдавших верность русскому царю, не работала на западе страны. Напротив, любое проявление русским императором лояльности шляхте рассматривались как слабость России и повод к восстанию.

Данный номер задумывался не только как дань историческим событиям. Ведь история восстания 1863 года является чуть ли не ключевым фактором современной политической борьбы за идентичность и поводом для выдвижения претензий к соседям сразу нескольких государств: Польши, Литвы, Украины, Белоруссии, России. События 160-летней дальности служат ресурсом современных информационных войн, имеющих явно русобофский характер, а также частью нынешнего внешнеполитического дискурса, особенно в контексте СВО. Заявления политических радикалов о восстановлении некоего государства «от моря до моря», понятно за счет каких и чьих земель и людских ресурсов – реальность нашего времени. Тем важнее представляется расставить правильные акценты и показать ложные тенденции и псевдоисторические подходы к изучению событий тех давних дней.

Главный редактор Родион Михайлов

Слово к читателю

Очередной номер «Тетрадей», выходящий под общей рубрикой «Польский вопрос», посвящен важной дате в истории нашего Отечества: 160-летней годовщине так называемого Январского восстания, или - иначе – восстания, начавшегося в Царстве Польском, входившим в состав Российской Империи с 1815 г., и очень быстро перекинувшимся на Западный край России – в древности Западную Русь, по причине исторических перипетий ещё в Средневековье попавшую сначала под литовское, а потом и польское влияние. Оно началось в январе 1863 года и длилось до осени 1864-го. Это была уже вторая после восстания 1830–1831 годов попытка поляков восстановить собственную государственность. Попытка, точно так же окончившаяся неудачей, но наложившая мрачный отпечаток на все последующие годы правления Царя Освободителя Александра Второго.

«Польский вопрос» наряду с «Восточным вопросом» продолжал оставаться одной из самых «болевых» точек Российской империи вплоть до февраля 1917 года. И даже – до ноября 1920-го, когда после катастрофического разгрома войск Западного фронта большевиков под Варшавой им пришлось договариваться с «белополяками» об условиях мира, лишь немного по степени «похабства» уступавшего Брестскому миру марта 1918 года.

А непосредственно само польское восстание 1863–1864 годов имело долгое и весьма неприятное для империи «эхо» как в Европе, так и в самой России. Репрессии, казни, ссылки и лозунг «За нашу и вашу свободу!», ставший одним из паролей следующих поколений российской революционной интеллигенции. Лозунг, за которым сразу же рисовалась картина, изображающая мужественный польский *европейский* народ в качестве библейского «Давида», бросающего вызов дикому *полуазиатскому* русскому «Голиафу». Именно это «эхо» можно уловить в так и не законченной Александром Блоком поэме «Возмездие», в таких ее строках:

«Не так же ль и тебя, Варшава,
Столица гордых поляков,
Дремать принудила орава
Военных русских пошляков?
Жизнь глухо кроется в подполье,
Молчат магнатские дворцы,
Лишь Пан Мороз во все концы
Свирепо рыщет на раздолье! <…>
Безмолвен Пан, тоской убитый…

И, странствуя на злом коне,
Бряцает шпорою кровавой…
Месть! Месть! – Так эхо над Варшавой
Звенит в холодном чугуне!»

Есть что-то мистико-провидческое в том, что Блок эту поэму так и не дописал. Снабженная эпиграфом из Ибсена: «Юность – это возмездие» и напитанная глубоко личной историей, точнее, историей собственной семьи, она оборвалась на том месте, где герой поэмы (сам автор) оказывается у решетки Саксонского сада в ночной морозной Варшаве. И в полубреду понимает:

«Ты всё благословишь тогда,
Поняв, что жизнь – безмерно боле,
Чем quantum satis Бранда воли,
А мир – прекрасен, как всегда».

Сам Блок объяснял свой отказ завершать поэму тем, что она, будучи предчувствием Революции, оказалась совершенно ненужной, когда Революция уже свершилась. А завершать он предполагал ее, конкретно – третью главу, примерно так:

«Действие поэмы переносится из русской столицы, где оно до сих пор развивалось, в Варшаву – кажущуюся сначала “задворками России”, а потом, призванную, по-видимому, играть некую мессианическую роль, связанную с судьбами забытой Богом и истерзанной Польши <…> Вся поэма должна сопровождаться определенным лейт-мотивом “возмездия”; этот лейт-мотив есть мазурка, танец, который носил на своих крыльях Марину, мечтавшую о русском престоле, и Костюшку с протянутой к небесам десницей, и Мицкевича на русских и парижских балах <…> Наконец, в третьей главе, мазурка разгулялась: она звенит в снежной вьюге, проносящейся над ночной Варшавой, над занесенным снегом польскими клеверными полями. В ней явственно слышится уже голос Возмездия».

Блок написал это в июле 1919 года, и было бы интересно узнать, что он думал через год, когда армии Тухачевского стояли под Варшавой и казалось, что революционный большевистский «вал» покатится дальше – в Европу. Но в опубликованных письмах и дневниковых записях того периода нет ничего на эту тему. Почти. Потому что 22 октября 1920 года Блок записал следующее:

«Когда русские (красные) подходили к Варшаве, Ллойд-Джордж был за войну с Россией. Тред-юньоны выступили с полной авторитетностью против войны; но вовсе не против войны с Россией; они выступили бы так же, если бы им предложили воевать с кафрами, неграми – Европе вообще *довольно войны.*

Русскими интересуются. Но плохо знают. Много говорится о большевистских зверствах <…> Прекращению большевизма в Европе много способствовали не только английские рабочие, побывавшие здесь, но и шведские, в ужасе возвращавшиеся домой, не добравшись до Урала, куда их наняли».

Слишком понятно, что с таким настроем заканчивать поэму о Возмездии Блоку было бы явно не с руки. «Мазурка» третьей главы явно была перебита «Варшавянкой», отзвук которой ощутим в «Двенадцати». Но Блок все же не выдал главной тайны о главной причине незавершенности «Возмездия» как текста, прославляющего и благословляющего польскую

«месть» «военным русским пошлякам». А она, по всей вероятности, заключается в том, что, взявшись писать поэму пушкинским (онегинским) ямбом, Блок вступил на территорию не только поэтических форм, но и пушкинских смыслов. И вступил в прямую конфронтацию с пушкинским ответом «Клеветникам России». Напомню:

«О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос».

Дело в том, что восстание 1863–1864 годов было фактически повторением восстания 1830–1831 годов. И пушкинский взгляд на то, первое, восстание, и его оценка реакции европейцев – все это явно не совмещалось с тем, что пытался пушкинским ямбом выразить Блок в своем «Возмездии». Призыв к самому себе: «Дроби, мой гневный ямб, каменья!» – обернулся сначала творческой «паузой», а потом – холодной «пустотой». Возможно даже, что в смысловом отношении Блок был бы готов спорить с Пушкиным. Но именно как поэт он безошибочно почувствовал, так сказать, метафизическую «фальшь» самого своего замысла. И, будучи действительно гением, вовремя остановился.

Эта поучительная творческая катастрофа Александра Блока, связанная с попыткой по-своему решить «Польский вопрос», может послужить своеобразным эпиграфом к теме этого номера. Потому что событие, случившееся 160 лет назад, действительно имеет долго «эхо». Слышимое вполне отчетливо даже сегодня.

Россия и Польша: время и бремя империи

Раздел первый

Ф.А. Гайда
Польское восстание 1863–1864 годов как идейный вызов русскому обществу

А.Ю. Полунов
Восстание 1863 года и политика правительства по отношению к народам западных регионов Российской империи во второй половине XIX века

М.Н. Крот
Формирование концептуальных основ политики обрусения Западных окраинных регионов в отечественном консервативном дискурсе накануне Январского восстания 1863 года

Протоиерей Александр Романчук
Конфессиональные аспекты польского восстания 1863–1864 годов

А.Ю. Бендин
Проблемы обеспечения безопасности Российского государства после разделов Речи Посполитой и образования Царства Польского (конец XVIII – первая половина XIX века)

А.А. Киселев
Состояние общей полиции белорусских губерний в оценках местной высшей администрации накануне Январского восстания 1863 года

А.А. Киселев
Террор против чинов исполнительной полиции белорусских губерний в условиях Январского восстания 1863 года

А.С. Хотеев
Сельские караулы в белорусско-литовских губерниях как форма проправительственной деятельности крестьян в 1863–1864 годах

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-15-21

Федор Гайда

Польское восстание 1863–1864 годов как идейный вызов русскому обществу[*]

Касаясь реакции России на Польский мятеж 1863–1864 годов, А.А. Тесля говорит о трех основных программах: катковской, славянофильской и «валуевской». Кроме этого, промежуточное состояние между первой и второй заняло «почвенничество». Принципиальная разница состояла в ставке на разные группы польского общества, с которыми предполагался компромисс (буржуазия, средний класс, низовые общины, аристократия) [1, с. 36–39]. Однако программы разнились своими проектами будущего России (и даже зачастую всего мира). В этом смысле польские события оказались интеллектуальным вызовом России и русскому обществу.

Олицетворением государственной идеологии в новую эпоху Великих реформ стал знаменитый памятник «Тысячелетие России». Представленный на конкурс проект М.О. Микешина, наиболее точно отразивший первоначальное задание, был утвержден в 1859 году [2, с. 120]. Центральной идеей выступала знаменитая «триада» Православия, самодержавия и народности. Основу памятника составляла держава, покоившаяся на колоколе – символе религиозном и вечевом. Надпись на державе гласила: «Свершившемуся тысячелетию Российского Государства в благополучное царствование Императора Александра II, лета 1862». Иными словами, государство в данном случае рассматривалось все же основным элементом триады. Верхний ярус состоял из двух фигур, стоявших на державе, – Ангела, напоминавшего изваяние на вершине Александрийского столпа, и России в женском образе. Средний ярус включал шесть композиций, в центре которых помещались шесть государей. Они олицетворяли эпохи российской истории: призвание Рюрика, Крещение Руси, освобождение от ига, объединение земель, преодоление Смуты с избранием новой династии и петровские реформы. Смысловой центр яруса был связан с Петром: он, как и верхний ярус, был развернут на Петербург. По правую руку от Петра находились Михаил Романов с Мининым и Пожарским (всенародно утвержденная династия), по левую – Иван III (государственный суверенитет, самодержавие). Рюрик был установлен на противоположной стороне. Тем самым, тысячелетняя государственность смотрела вперед и была открыта своему будущему.

Нижний ярус включал четыре сегмента из 109 фигур (все персонажи среднего яруса, кроме Рюрика, были продублированы внизу). При этом состав прошел жесткую цензуру. 26 государственных деятелей помещались в лицевой части. Здесь отсутствовали основатели владимиро-суздальской государственности Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский,

* Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия».

Гайда Федор Александрович, доктор исторических наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. E-mail: fyodorgayda@gmail.com

досаждавшие Киеву и Новгороду, зато в другом сегменте находился любимец новгородцев Мстислав Удалой. Не было стоявших у истоков Москвы Ивана Калиты и митрополита Петра, при этом был Михаил Тверской. Присутствовали литовские князья Гедимин, Ольгерд и Витовт. XVI век был представлен Сильвестром, Адашевым и Анастасией Романовой, но Иван Грозный был демонстративно исключен. Рядом с Петром находился не мздоимец Меншиков, а неподкупный кн. Я.Ф. Долгоруков. Линию императоров после Петра продолжили Екатерина II, Александр I и Николай I. Деда царствовавшего императора – Павла I – в состав выдающихся государственных деятелей не включили.

По правую руку от государственных деятелей располагалось 36 военных и народных героев. Отсутствовал Олег – убийца Аскольда и Дира. Включены были Даниил Галицкий и Богдан Хмельницкий, а также Марфа Борецкая. Присутствовали и герои недавней Крымской войны адмиралы Корнилов и Нахимов, несмотря на финальное поражение в ней России. Далее следовал 31 просветитель России, начиная с Кирилла и Мефодия (в 1863 году планировалось празднование 1000-летия их проповеди). В этом ряду были киевский митрополит Петр Могила (тогда еще не канонизированный), патриарх Никон, Феофан Прокопович, Григорий Конисский, преставившийся недавно Иннокентий Херсонский, а также кн. Константин Острожский и боярин Ф.М. Ртищев. Замыкал круг сегмент с 16 деятелями науки и культуры XVIII–XIX веков Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь и Д.С. Бортнянский изображались в стилизованных тогах, как классики.

Иными словами, нижний ярус демонстрировал три ключевые идеи. Во-первых, прогрессивность[1]. Во-вторых, нравственную чистоту: неправедному убийству, тирании, беспринципности, казнокрадству тут было не место. Их не оправдывала даже прогрессивная роль в истории. В-третьих, империя была представлена почти во всем своем пространстве: Киевом, Новгородом, Тверью, Литвой, Новороссией, Сибирью (Ермак). Закавказье, Польша и Финляндия отсутствовали, если не считать их олицетворением Александра I и И.Ф. Паскевича.

Памятник был установлен в Новгороде – колыбели государственности и одновременно олицетворении гражданской свободы. Таким образом, «триада» представала не как идея неподвижности, а в своей динамике[2]. Закладка происходила в мае 1861 года, торжественное открытие и освящение – 8 сентября 1862 года, на праздник Рождества Богородицы. Он совпадал с днем Куликовской битвы и днем рождения наследника цесаревича, что вновь актуализировало идею «триады» [2, с. 127].

Памятник вызвал критические отзывы в печати и публичных выступлениях. Главным пунктом стала идея о том, что он почти не включал в себя представителей простого народа [2, с. 125–129]. Из крестьян был лишь Иван Сусанин, а также крестьянский выходец Ломоносов, из мещан (купцов) – Минин (хотя он был представлен дважды, в том числе на среднем ярусе). Россия была практически отождествлена с ее государственностью. Хотя, строго говоря, речь и шла о тысячелетии государственности, а не самой России. Государство осуществляло прогресс и утверждало нравственность. Даже народные герои служили ему. Лишь немногие просветители (Кирилл и Мефодий, Константин Острожский, Петр Могила) могли рассматриваться вне ее контекста, но будучи при этом тесно связанными с государственностью византийской или польской.

Через четыре месяца после торжеств вспыхнул Польский мятеж, который коренным образом поменял не только государственную политику в крае, но и общественные настроения в самой России. Первым делом вспоминались события 1830–1831 годов. В связи с этим реакция значительной части общества соответствовала уже ставшим хрестоматийными

[1] Р. Уортман [2, с. 120] обращает внимание на то, что это особо указывалось в официальном отчете [3, с. 3].

[2] Так предполагалось и автором «триады» гр. С.С. Уваровым [4].

пушкинским «Клеветникам России» и «Бородинской годовщине» (М.П. Погодин, Ф.И. Тютчев). Близок к этому оказался и М.Н. Катков, выступивший с идеей общенационального единства: оно могло выразиться лишь в совместных конкретных действиях власти и общества как по подавлению восстания, так и в проводившихся параллельно Великих реформах [5, с. 161–166]. Публицист выступал за голый практицизм, явно в пику славянофильству: «Мы привыкли ставить мысль свою на дыбы, привыкли напрягаться и воображать себе Бог знает какие задачи, когда речь зайдет, например, о развитии наших нравственных сил. Напротив, чем проще будем мы смотреть на дело, тем легче мы за него примемся, тем лучше оно пойдет» [5, с. 166]. Если мятеж расценивался Катковым как реакционный, шляхетско-клерикальный [6, с. 107–108], то у подобной логики не было никакого изъяна. Вполне очевидно, что цементирующей силой России тут опять же мыслилось государство. Катков вполне умело вписал свой основной посыл в рамки государственной идеологии и преуспел. Его слова звучали, как раскаты колокола-памятника.

И.С. Аксаков, главный на то время представитель славянофильства, был одним из тех, кто критиковал идею памятника [7, с. 5]. С началом мятежа публицист сформулировал в своей газете «День» близкую Каткову идею: Россия должна была демократизировать Польшу, победив ее шляхетский дух. 13 июля 1863 года, вскоре после празднования 1000-летия памяти святых Учителей словенских, Аксаков написал: «Возрождение Польши в пределах Польской народности, в какой бы то ни было политической форме, возможно только с исправлением Поляков от страсти к захватам, с *излечением* их от политического безумия, с отречением от призвания быть миссионерами Латинства и передовой дружиной Запада, с утратой рыцарского шляхетского отношения к народу, с *возвращением их в лоно Славянства*... [здесь и далее: курсив авт. – *Ф.Г.*]» [8, с. 134]. Самой действенной мерой стал бы созыв всенародного польского сейма с участием крестьян [8, с. 27–30].

Однако по мере разрастания мятежа и обострения внешнеполитической угрозы Аксаков стал говорить о схожих мерах и в отношении России: созыве Земского собора [9, с. 141, 144]. Публицист настаивал на отказе от абсолютизма: «Мы сами должны быть *с собою в союзе* – а этот союз будет для нас возможен только тогда, когда мы вполне отречемся от Русских преданий Петербургского периода нашей истории. В этом единственно залог нашей победы и успеха» [9, с. 152]. Иными словами, демократизация потребовалась уже самой России: «Наступит ли когда конец тому колоссальному историческому недоразумению, какое существовало так долго между простым народом и высшим слоем народа, между серым армяком и Санктпетербургским фраком, между Русскими и Русляндцами, – между Русью и официальной Россией?» [9, с. 146].

Вскоре Аксаков уже рассматривал перспективу польской независимости [8, с. 165–168]. Обосновывалось это тем, что восстание приобрело подлинно национальный характер [8, с. 187–195]. Фактически Аксаков признавал, что польский национальный дух был сильнее русского, угнетенного бюрократизмом. У поляков можно было поучиться национальному единству. Сила Польши заключалась в ее «интеллигенции». Даже в Северо-Западном крае она являлась доминирующей силой. Аксаков давал определение: «Общество, т.е. та туземная среда, независимая по положению, поднимающаяся над общим уровнем населения своими материальными средствами и образованием, и называемая обыкновенно “интеллигенцией края”» (22 июня 1863 года) [8, с. 109]. Заимствуя это польское понятие, Аксаков 12 марта 1863 года задавался вопросом: могло ли «русское “образованное” общество» выступить в качестве «интеллигенции Русского народа»? [9, с. 98]. Собственно, публицист впервые ввел это понятие (в смысле социальной силы) в русский словооборот [10]. 11 апреля 1864 года Аксаков писал: «Что бы сталось с Россией, если бы она управлялась не внутренними, не органическими началами своего хотя бы и неорганизованного земства, а только и единственно так называемым образованным обществом Санкт-Петербурга и Москвы – так долго чуждавшимся Русской народности и только

теперь сближающимся с нею?!. Что бы сталось с Россиею, если б она была способна вполне подчиниться влиянию – например, хоть бы столичной светской среды или бюрократической стихии, обхватившей столичную интеллигенцию и, так сказать, вертеться, как флюгер, по воле всех ветров, дующих из-за границы, видоизменяться по прихоти всех теоретиков, начинивших свои пустые головы заемных содержанием и благоговеющих перед всякою последнею модною теориею, привезенною с Запада?» [9, с. 181–182].

Ф.М. Достоевский, к тому времени уже введший в оборот «Русскую идею» (как идею образования народа и обретения русским обществом почвы на этом поприще) [11], в 1861–1862 годах активно полемизировал как с западниками (либералами и социалистами), так и славянофилами, которые, по его мнению, были далеки от реальных народных нужд. В 1862 году он впервые посетил Европу, что практически сразу нашло отражение в «Зимних заметках о летних впечатлениях». Они публиковались в издававшемся братьями Достоевскими журнале «Время» в феврале-марте 1863 года. «Зимние заметки» развивали прежние темы писателя, прежде всего почвенническую, а также критику либерализма и социализма. Либерализм уже традиционно рассматривался как идеология полицейского контроля, буржуазного фарисейства и несправедливости. Однако в «Заметках» появились и принципиально новые мысли. Достоевский отмечал активность католичества в беднейших слоях английского общества [12, с. 72–73]. Одновременно критиковалась неспособность социалистов воплотить на Западе идею братства [12, с. 78–81]. Подобные соображения порождали представление об органической близости католицизма и социализма, использовавших социальные язвы в собственных эгоистических интересах. Здесь у Достоевского впервые было сформулировано собственное учение о личности, предполагавшей свободное самопожертвование как высшую форму собственной реализации (об этом ниже) [13].

В апреле 1863 года «Время» опубликовало статью Н.Н. Страхова (без подписи), изображавшую конфликт как столкновение католического и православного мира. Это встретило резкую критику со стороны «Московских ведомостей» Каткова, резко упрекнувших журнал в скрытом полонофильстве: «Разумеется, поляки поторопятся перевести эту статью на все языки Европы и скажут: “Вот видите ли, как сами русские думают. Не правы ли мы?” Поди потом разуверяй Европу. Она и без того закидала нас грязью и клеветой» [14, с. 98; 15, с. 252–255]. Достоевский ответил не менее резко: «У вас и в воображении никогда не было другой мерки достоинства и развития русского, кроме европейской цивилизации quand même[1]. Вы ее только одну и признаёте. Вы не признаёте национального развития, вы не признаёте самостоятельности народных начал в русском племени и, во имя вашего англизированного патриотизма, обижаетесь, что поляки нас образованнее, в европейском смысле, другими словами, что русские упорно хотят остаться русскими и не обратились по приказу в немцев или французов». А далее писатель пояснял, почему положение России лучше положения Польши: «Поляков-то и сгубила их цивилизация. Несмотря на всю их гордость этой цивилизацией, до того сгубила, что им теперь уже нет воскресения, хотя бы они и сделались политически независимыми. Европейская цивилизация, которая есть плод Европы и, в сущности, на своем месте в Европе, – в Польше (может быть, именно потому, что поляки славяне) развила антинародный, антигражданственный, антихристианский дух. Она развила у них преимущественно католицизм, иезуитизм и аристократизм, да тем и порешила. Мало того: нигде, может быть, католицизм не получал такой степени прозелитизма, как в Польше» [14, с. 99]. Тут явная полемика с «Московскими ведомостями» сочеталась со скрытой критикой аксаковского «Дня».

[1] В любом случае (*фр*).

Статья не была опубликована: за страховский текст журнал был закрыт [15, с. 253]. Тем не менее Достоевский позднее неоднократно возвращался к подобным мыслям. Записная книжка 1863–1864 годов начиналась словами: «Польская война есть война двух христианств – это *начало* будущей войны православия с католичеством, другими словами – славянского гения с европейской цивилизацией. Итак, развитие у нас и развитие не официальное (по голландской программе), а народное». Позиция «Московских ведомостей» рассматривалась так: «Г-н Катков не находит разницы между нашим официализмом и русскими основными народными силами. Тут г-н Катков сломит ногу». И все же позиция Достоевского отличалась и от аксаковской. Он отрицал самостоятельность «интеллигенции» как какой-то отдельной силы: «Мы не общество. Простой народ общество; а мы публика» [16, с. 170]. Отсюда вытекал главный рецепт: «Воротиться к почве. Никто не может быть *чем-нибудь* или достигнуть *чего-нибудь*, не быв сначала самим собою» [16, с. 176].

Обращенность к русскому народу, уже давно свойственная Достоевскому, как отмечалось выше, была сформулирована им в «Русской идее». Писатель оставался ей верен: «Как не догадаться, что общечеловеческий дух и есть отличительная, личная способность нашей нации» [16, с. 170]. Полемика с либералами шла не об этом: «Мы не за то ругаемся с ними, что они проповедуют общечеловека (способность России к синтезу), а за то, что они проповедуют общечеловека на чужих помочах. C'est plus qu'un crime, c'est une faute[1]» [16, с. 177]. При этом и общечеловечность, и национальная идея Достоевским объединялись в почвенничестве: «Только общечеловечность может жить полною жизнию. Но общечеловечность не иначе достигнется как *упором в свои национальности* каждого народа. Идея почвы, национальностей есть точка опоры; Антей. Идея национальностей есть новая форма демократии» [16, с. 179].

В этом пункте происходило сближение Достоевского с позицией Каткова и с правительственной политикой. Инициированная в Польше земельная реформа писателем горячо поддерживалась: «Освобождая в Польше крестьян и уделяя им землю, Россия уж уделила Польше свою мысль, привила ей свой характер, и эта мысль – *цепь,* с которою теперь Польша с Россиею <...> связана нераздельно» [16, с. 176]. Иными словами, Россия получала шанс изменить Польшу путем ее «демократизации» и сообщения ей «общечеловеческого духа».

В чем заключались эти «новая форма демократии» и «общечеловеческий дух», становится ясно из следующей фразы: «Из католического христианства вырос только социализм; из нашего вырастет братство» [16, с. 177]. В апреле 1864 года Достоевский запишет в книжку: «После появления Христа, как *идеала человека во плоти*, стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего Я, отдать его целиком и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Таким образом, закон я сливается с законом гуманизма и в слитии оба, *я* и *все* (по-видимому, две крайние противоположности), взаимно уничтоженные друг для друга, в то же время достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо. Это-то и есть рай Христов. Вся история, как человечества, так отчасти и каждого отдельно, есть только развитие, борьба, стремление к этой цели» [16, с. 172]. Противоположный, эгоистический полюс был запечатлен в «Записках из подполья», задуманных и написанных в конце 1862 – весной 1864 года.

Таким образом, сформулированная Катковым в связи с Польским мятежом политическая программа вписывалась в настроения, уже обозначенные ранее и олицетворенные

[1] Это не просто преступление, это ошибка (*фр.*).

памятником «Тысячелетие России». Катков стал рупором правительственного мнения, и в этом заключался несомненный успех как власти, так и самого журналиста. Публицист исходил из принципиального различия России и Польши. Две другие точки зрения, обозначенные в 1863 году, породили новые, принципиально значимые, явления русской мысли. Аксаков, наоборот, склонен был не только сближать обе культуры, но и находил возможным поучиться у польской «интеллигенции». Идея «русской интеллигенции» как социальной силы была впервые позаимствована именно отсюда. В то же время Достоевский исходил из необходимости преображения России, Польши и всего мира. Мысль писателя об истинном братстве, противопоставленная как католичеству, так и социализму, получила оформление именно в контексте событий 1863 года.

Литература

1. *Тесля А.* Первый русский национализм... и другие. М.: Европа, 2014.
2. *Уортман Р.С.* Сценарии власти: Мифы и церемонии царской монархии. М.: ОГИ, 2002. Т. 2.
3. *Петров П.Н.* Памятник тысячелетию Государства Российского в Новгороде. СПб., 1862.
4. *Гайда Ф.А.* Связующее начало: о понимании «народности» в России I половины XIX в. // Русский сборник: Исследования по истории России / ред.-сост. О.Р. Айрапетов и др. Т. XXIX. М.: Модест Колеров, 2020. С. 97–135.
5. *Катков М.Н.* Развившийся у нас, русских, дух народного самоотречения и самоуничижения / М.Н. Катков // Имперское слово. М.: Москва, 2002. С. 161–166.
6. *Катков М.Н.* По поводу Высочайшего манифеста Царству Польскому и указа Сенату относительно смежных с Царством Польским губерний / М.Н. Катков // Имперское слово. М.: Москва, 2002. С. 103–109.
7. *Аксаков И.С.* Сочинения. Т. 5. СПб.: Тип. Л.Г. Волчанинова, 1887.
8. *Аксаков И.С.* Сочинения Т. 3. СПб.: Тип. Л.Г. Волчанинова, 1886.
9. *Аксаков И.С.* Сочинения. Т. 2. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1891.
10. *Гайда Ф.А.* «Русская интеллигенция»: рождение понятия // Философия: Журнал Высшей школы экономики. 2020. Т. IV. № 2. С. 229–248. DOI 10.17323/2587-8719-2020-2-229-248.
11. *Гайда Ф.А.* «Русская идея» Ф.М. Достоевского как идея новой Европы // Философические письма: Русско-европейский диалог. 2022. Т. 5. № 1. С. 28–49. DOI 10.17323/2658-5413-2022-5-1-28-49.
12. *Достоевский Ф.М.* Зимние заметки о летних впечатлениях / Ф.М. Достоевский // Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 5. М., 1973. С. 46–98.
13. *Гайда Ф.А.* Понятие «личность» в эпоху Достоевского: самосознание или самопожертвование? // Достоевский и мировая культура: Филологический журнал. 2019. № 2 (6) / гл. ред. Т.А. Касаткина. М.: ИМЛИ РАН, 2019. С. 45–71. DOI 10.22455/2619-0311-2019-2-45-71.
14. *Достоевский Ф.М.* Ответ редакции «Времени» на нападение «Московских ведомостей» / Ф.М. Достоевский // Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 20. М., 1980. С. 97–101.
15. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 20. М., 1980.
16. *Достоевский Ф.М.* Записная книжка 1863–1864 гг. / Ф.М. Достоевский // Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 20. М., 1980. С. 170–179.

Аннотация. В статье рассматривается интеллектуальная реакция русского общества на Польское восстание 1863–1864 годов. Автор сравнивает существовавшую в России официальную государственную идеологию и настроения русских публицистов. Актуальные идеологические настроения в верхах проанализированы на примере памятника «Тысячелетие России», торжественно открытого в Новгороде за четыре месяца до начала мятежа. Сделан вывод, что М.Н. Катков (газета «Московские ведомости») полностью вписывался в уже обозначенную накануне официальную линию и стал ее рупором. При этом публицист исходил из принципиального различия России и Польши. Напротив, глава славянофильского направления И.С. Аксаков (газета «День») склонен был не только сближать две культуры, но и предлагал заимствовать общественный опыт польской интеллигенции. Ф.М. Достоевский (журнал «Время») развивал идею истинного братства, которое противопоставлял католичеству и социализму. Польские события стали настоящим вызовом русскому обществу, в ответ на который родились и представления о задачах «русской интеллигенции», и учение Достоевского о личности.

Ключевые слова: Польское восстание 1863–1864 годов, М.Н. Катков, И.С. Аксаков, Ф.М. Достоевский, памятник «Тысячелетие России», русская интеллигенция.

Fyodor A. Gayda, PhD in History, Associate Professor, History Department, Lomonosov Moscow State University; Leading Researcher, St. Tikhon Orthodox University. E-mail: fyodorgayda@gmail.com

Polish Uprising 1863–1864 as an Ideological Challenge to Russian Society*

Abstract. The article deals with the intellectual reaction of Russian society to the Polish uprising of 1863–1864. The author compares the official state ideology that existed in Russia and the sentiments of Russian publicists. The actual ideological sentiments of the upper strata are analyzed by the example of the Millennium of Russia monument the grand opening of which happened in Novgorod four months before the uprising. The author concludes that M.N. Katkov (the "Moskovskiye Vedomosti" journal) fully fit into the official line already specified the day before and became its mouthpiece. The publicist proceeded at that from the fundamental difference between Russia and Poland. On the contrary, the leader of the Slavophil trend I.S. Aksakov ("Den" newspaper) was inclined not only to bring the two cultures closer together, but also suggested borrowing certain social experience of the Polish intelligentsia. F.M. Dostoevsky ("Vremya" magazine) developed the idea of true brotherhood, which he opposed to Catholicism and socialism. The Polish events became a real challenge to Russian society, in response to which both ideas about the goals of the «Russian intelligentsia» and Dostoevsky's doctrine of personality were born.

Keywords: Polish Uprising of 1863–1864, M.N. Katkov, I.S. Aksakov, F.M. Dostoevsky, the «Millennium of Russia» Monument, Russian Intelligentsia.

* The research was performed with the support of the Interdisciplinary Scientific and Educational School of Moscow University "World Cultural and Historic Heritage Preservation".

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-22-29

Александр Полунов

Восстание 1863 года и политика правительства по отношению к народам западных регионов Российской империи во второй половине XIX века

Середина XIX века ознаменовалась существенными изменениями политики Петербурга по отношению к населению окраинных регионов, прежде всего на западных рубежах империи. В этой политике отчетливо проявилось стремление к отходу от прежнего курса, предполагавшего опору на местные элиты, все заметнее становятся попытки ориентироваться на социальные низы, учитывая их интересы и потребности. В западных регионах данные общественные слои были представлены главным образом недоминирующими этническими группами – так называемыми крестьянскими народами (украинцами, белорусами, литовцами, эстонцами, латышами, финнами), находившимися под властью иноэтнических, а часто и иноверных господ. Данные сообщества, ранее заслоненные для Петербурга местными дворянскими корпорациями (поляками, немцами, шведами), теперь начинают восприниматься как более надежная опора власти, отличающаяся особой лояльностью империи. Безусловно, значительную роль в подобной смене политических установок сыграли события восстания 1863 года, когда значительная часть элиты Западного края и Царства Польского с оружием в руках выступила против имперской власти[1]. Однако переориентация политики Петербурга по отношению к населению окраин имела и более глубокие причины.

Важнейшей из них был сам факт отмены крепостного права в 1861 году, точнее, та форма, в которой эта отмена проводилась, – с предоставлением земли крестьянам, передачей важных административно-судебных функций крестьянскому самоуправлению, которое ограждалось от какого-либо влияния помещиков – бывших владельцев крепостных. «Включить дворянина в состав волости, во главе которой стоит выборный из крестьян, волостной старшина – значило бы внести в нее чуждый ей элемент… уничтожить отличительный признак свободного сословия – независимость его от всякого другого», – подчеркивал Я.И. Ростовцев, один из самых активных деятелей крестьянской реформы [13, с. 987]. В основе подобной концепции преобразования лежало стремление установить прямую, непосредственную связь высшей власти с основной массой населения, расширив таким образом ее социальную базу и придав ей более действенный, динамичный характер. В связи с этим реформаторы воспринимали преобразование не просто как способ реше-

[1] Представители социальной верхушки явно преобладали среди активных участников восстания. Так, из общего числа казненных в Западном крае повстанцев (128 чел.) дворянами были 50 чел., офицерами, чиновниками и нижними чинами – 39, ксендзами – 7, крестьянами – 22, мещанами – 8, иностранными подданными – 2 чел. На католическое духовенство, составлявшее 0,16% населения Царства Польского и Западного края, приходилось 3,35% репрессированных, или один репрессированный на 16 служителей культа [1, с. 106–107; 2, с. 189].

Полунов Александр Юрьевич, доктор исторических наук, профессор заведующий кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: polunov@spa.msu.ru

ния конкретных социально-экономических проблем, а как особую миссию, реализация которой была призвана радикально изменить облик российской нации. Так, Ростовцеву Александр II виделся правителем, «создающим в России *народ* [выделено автором – *А.П.*], которого доселе в отечестве нашем не существовало» [12, с. 49]. Риторика реформаторов в период подготовки отмены крепостного права была насыщена метафорами «летаргического сна», в который был в течение многих веков погружен народ и его пробуждения к новой жизни, освобождения массы населения от наносных социальных форм и возрождения его естественных, правильных отношений к государственной власти [20, p. 220, 224].

В свете подобных установок, призванных посредством фундаментальных социальных преобразований изменить жизнь многомиллионных крестьянских масс, была неизбежна и трансформация национальной политики самодержавия на окраинах. Она намечалась, а отчасти реализовывалась во второй половине XIX века и в тех регионах империи, где восстаний и иных проявлений недовольства не было. Однако традиционная система управления окраинами в новой социальной ситуации и там была взята под подозрение. В наибольшей степени это новое самосознание значительной части российской власти и общества, как представляется, выразилось в трудах и публицистике А.Ф. Гильфердинга – известного ученого-слависта, общественного и государственного деятеля славянофильского направления, близкого к кругам либеральной бюрократии, разрабатывавшей проект реформы 1861 года [см. 19; 18, с. 155–164; 17, с. 153–176; 5, с. 136–165]. Оценивая исторический путь России до отмены крепостного права, публицист-славянофил считал крупнейшей ошибкой российских властей сохранение и даже укрепление власти традиционных иноэтнических элит на территориях, в разное время присоединенных к империи (в землях бывшей Речи Посполитой, Прибалтике, Финляндии). «Материальные силы русского народа раздвинули Россию на запад до Торнео и Калиша, – подчеркивал Гильфердинг, – а умственное покорство русского общества началам Запада возвратило им в самой России господство до Днепра и Ладожского озера» [4, с. 284].

Управление окраинами традиционным способом, предполагавшим предоставление широких привилегий местным элитам, а зачастую и дискриминацию здесь русского населения, представлялось публицисту-славянофилу не просто нетерпимым с точки зрения достоинства России, но и опасным в политическом отношении, чреватым сепаратизмом и открытыми выступлениями против власти. Однако, как правильно отмечал автор, в период существования крепостного права добиться решительного изменения сложившейся ситуации было невозможно. Крестьянская реформа Александра II знаменовала решительный перелом в этой, как и во многих других сферах «19 февраля 1861 г. взломало лед». Теперь России уже не было необходимости в столь значительной степени, как раньше, заботиться о сохранении лояльности местных элит, поддерживать их привилегии, и перед ней в плане политики на окраинах открывались самые широкие перспективы. Восстание 1863 года лишь подчеркнуло значение открывавшихся возможностей. Столкнувшись с мятежом польской знати, шляхты и духовенства, подчеркивал Гильфердинг, «Россия осознала свое призвание: она освободила западнорусский, литовский и польский народ от чуждой и враждебной аристократии, восстановила права народа на землю, возродила в нем заглохшие зерна славянского мира и мирского самоуправления» [4, с. 286, 287].

Глубинное отличие России от Запада, ранее скрытое за фасадом послепетровского «регулярного государства», подавленное гнетом крепостного права, мешавшего свободно развиваться народным стихиям, теперь, по мнению Гильфердинга, проявилось открыто – и это создавало самые благоприятные условия для нового, значительно более прочного, чем прежде, укрепления ее целостности и единства. «В противоположность всем завоевательным государствам, – заявлял публицист, – Россия является народу в завоеванных ею краях не угнетательницей, а избавительницей от угнетения». «Для охранения своих

завоеванных нерусских окраин ей не нужно, подобно другим государствам, прибегать к системе насилия, угнетения, разрушения народностей. Напротив, ей нужно узнать, полюбить, оживить туземный народ» [4, с. 294, 291].

Вновь и вновь сторонник трансформации окраинной политики самодержавия подчеркивал тесную связь этих изменений с новой социальной ситуацией, сложившейся в Центральной России после отмены крепостного права. «В инородческих краях, на которые государственная необходимость заставила Россию простереть свою власть, она поставлена, силой вещей, на ту же почву, на какой зиждется сама, в своей собственной, русской среде… – отмечал Гильфердинг. – Она и там является носительницей своих славянских природных бытовых начал: везде связана с *народом* [выделено автором – *А.П.]*, везде призвана противодействовать угнетающей его завоевательной стихии и возрождать убитую ею народную жизнь» [4, с. 294]. Одним из инструментов подобного возрождения, как известно, после подавления восстания 1863 года стало проведение в Западном крае и Царстве Польском крестьянской реформы на началах, весьма благоприятных для народных масс, с предоставлением крестьянам максимального количества земли за минимальный выкуп.

Подобная мера создавала экономический и социальный фундамент для обеспечения государственного единства, однако при реализации политики по сближению окраин с центром вставал ряд вопросов этнокультурного плана, разрешение которых представляло немалую сложность с точки зрения российских общественных и государственных деятелей. Как быть с крайней этнической пестротой населения окраин? Как быть с тем, что народы этих регионов заметно (а иногда резко) отличаются от русского народа по языку, культуре, исповеданию? Не несет ли это разнообразие угрозу целостности государства? Поиск ответа на данные вопросы выявил всю неоднозначность ситуации, сложившейся во второй половине XIX века в сфере окраинной политики, и подтолкнул русскую общественно-политическую мысль к усиленной работе.

Наиболее последовательную концепцию, касавшуюся указанных проблем, выдвинул все тот же Гильфердинг, чьи взгляды оказывали влияние на значительную часть российских чиновников, государственных и общественных деятелей или совпадали с воззрениями, циркулировавшими в этой среде. По мнению публициста-славянофила, не нужно было опасаться свободного развития этнических культур местных «крестьянских» народов. Подобное развитие следовало не просто допускать, но и покровительствовать ему. Тогда в сознании данных народов возникло бы и закрепилось чувство благодарности к России, освободившей их не только от социально-экономического, но и от этнокультурного, а в некоторых случаях религиозного порабощения иноэтническими элитами. «Именно для того, чтобы в литовском народе не могло быть сепаратизма, – писал Гильфердинг об одной из основных «крестьянских» этнических групп Западного края, – первое и самое существенное условие – развитие в нем самосознания». «Надобно, чтобы литовский народ, оставленный польским владычеством в невежестве и оцепенении, снова, как в старину, получал от русского мира и через его посредство доступ к просвещению, точно так же, как он от России получает теперь материальную свободу и обеспечение». При условии развития самостоятельной культуры «в самом литовском племени пробудилась бы умственная деятельность с народным характером и в направлении, сочувственном России, вместо того, чтобы поглощаться, как в настоящее время, стихиями польскими и становиться орудием польской пропаганды» [3, с. 270, 271].

Выкладки публициста-славянофила, как отмечалось выше, не оставались лишь его личным достоянием. Они встречали отклик и поддержку в среде администраторов и общественных деятелей, работавших в западных регионах после восстания 1863 года, или совпадали с ними по настроению. Так, выделявшийся своей активной общественной

позицией чиновник Министерства народного просвещения, инспектор Виленского учебного округа по Ковенской губернии Н.Н. Новиков в своих отчетах доказывал, «что правительство должно видеть в литовцах прежде всего составную часть крестьянского сословия, “пробужденного” в целой империи к новой жизни недавним освобождением». «Освобожденные от гнета панства, они [литовцы – *А.П.*] инстинктивно готовы освободиться и от гнета ксендзовства», – писал Новиков в одном из писем [7, с. 265–266]. Попечитель Виленского учебного округа И.П. Корнилов в те же годы пропагандировал «укрепление жмудской [литовской – *А.П.*] национальности, вовсе не враждебной России и правительству в низших слоях населения», считал необходимым внушать «жмудинам», «что Россия не желает вовсе обрусить их, а хочет только сблизить их интересы с интересами государства» [11, с. 132]. Еще в 1862 году группа либеральных бюрократов под руководством видного деятеля крестьянской реформы А.П. Заблоцкого-Десятовского составила при участии Гильфердинга записку для Александра II о Западном крае, в которой доказывалась необходимость развития самостоятельной культуры литовцев и белорусов, делался акцент на сочувствие литовцев российской власти [9, с. 21].

Несмотря на то, что белорусы как часть восточного славянства были достаточно близки к русским по языку и культуре, в массе своей едины с ними по религии, возможность сохранения и развития культурной самобытности предусматривалась и для них. Так, один из вождей славянофильства И.С. Аксаков, развивая идеи идеолога «западнорусизма» М.О. Кояловича, агитировал в 1863 году в своей газете «День» за «право гражданства местному белорусскому наречию». Необходимо, подчеркивал Аксаков, чтобы белорусский крестьянин «почувствовал себя русским, а для этого он должен почувствовать себя прежде всего белорусом» [6, с. 231; 14, с. 278]. В целом взгляды, подобные вышеуказанным, как отмечалось выше, имели накануне и после восстания 1863 года достаточно широкое хождение в среде российской бюрократии и общественности. Однако при всей распространенности подобных концепций, определенном их влиянии на правительственную политику в ходе их обсуждения и тем более в процессе реализации все же не могли не возникать сомнения – достаточно ли прочной гарантией лояльности окраинных народов будет предположительно возникающее у них чувство благодарности за помощь в развитии их культур? Не приведет ли все же укрепление этих культур к развитию сепаратизма у данных народов?

Отвечая на эти вопросы, сторонники «народного» направления окраинной политики выдвигали ряд аргументов. Прежде всего они старались доказать, что многие окраинные народы, даже внешне далекие от русских в этническом, языковом, религиозном отношении, на самом деле связаны с ними древними общими корнями. В контексте новой окраинной политики эти черты сходства, единства не замедлят выйти на поверхность, что в конечном счете будет способствовать формированию этнокультурной целостности империи. В научных и бюрократических кругах России еще с 1830-х годов были распространены представления (основанные в том числе на выкладках некоторых западных ученых) об этническом и языковом родстве литовцев и латышей со славянами. После восстания 1863 года эти представления актуализировались, в том числе благодаря усилиям представителей государственной власти [9, с. 19–21][1]. В русле подобных воззрений и Гильфердинг в своих статьях начала 1860-х годов подчеркивал давние исторические связи литовцев и Руси – тот факт, что, завоевав западнорусские княжества, Литва «тотчас превратилась сама в землю почти русскую», что «литовский народ… некогда был уже почти приобретен для

[1] В апреле 1863 года председатель Государственного совета и Комитета министров, президент Академии наук Д.Н. Блудов предложил министру народного просвещения А.В. Головнину финансировать за счет правительства исследования профессора Йенского университета А. Шлейхера, нацеленные на доказательство существования в древности славяно-литовской общности.

православной церкви». Принятие католицизма и уния с Польшей отдалили Литву от Руси. Однако в XIX веке «естественные связи и сочувствия оживают», что выразилось, в частности, в массовом движении к православию родственных литовцам латышей в 1840-х годах [3, с. 266–267; 4, с. 293].

Разумеется, дожидаться, пока «естественные связи и сочувствия» оживут медленным, органическим путем в накаленной обстановке накануне и после восстания не приходилось, в связи с чем ряд государственных и общественных деятелей разработали, а частично и начали внедрение в жизнь примечательных мер, направленных на своеобразное переформатирование социокультурной идентичности народов западных регионов. Речь шла не о лишении их культурной самобытности, а о придании им более «крестьянских», патриархальных, коллективистских черт, которые бы сблизили их по облику с русским народом и закрепили их лояльность по отношению к государственной власти. Так, российские власти приветствовали добровольное перераспределение земли между литовскими крестьянами в целях ликвидации безземельного батрачества (которое не допускалось в Центральной России по условиям реформы 1861 года). Признавалось желательным распространение среди литовцев общинного землевладения. Предпринимались попытки ввести отельные кириллические буквы в польскую письменность, дабы сблизить польское крестьянство с русским народом [7, с. 275–276]. Что касается литовцев, то книгоиздание на их языке в Российской империи с 1865 года было полностью переведено на кириллицу. Подобную меру нередко представляют грубым покушением на культурную самобытность литовцев. Однако, как отмечают современные ученые (в том числе западные), власти не ставили перед собой задачу русификации литовцев – скорее, речь шла об их деполонизации, ограждении от влияния открыто нелояльных империи польских элит. Задача подобного ограждения была актуальной и для представителей нарождающейся литовской интеллигенции, ряд представителей которой выступил в поддержку кириллизации [22, p. 76; 15, с. 232–233, 240; 21, p. 986].

Поскольку именно крестьянство у славян, в том числе западных, признавалось носителем духовно здоровых начал, исконных ценностей всего славянского мира, на страницах российской периодики, в первую очередь славянофильских изданий, обсуждались проекты «окрестьянивания» польской нации, ограждения польского простонародья от деструктивных воздействий элиты. Сам польский народ предполагалось рассматривать не как единое целое, а как совокупность этнических групп – мазуров (мазовшан), курпатов, сандомирцев, краковян и др., – между которыми существовали достаточно значительные различия [5, с. 150–151]. Мазуры, отмечал в связи с этим Гильфердинг, несмотря на то, что всегда входили в состав Польши, фактически являются этническим меньшинством, сознают особенности своего положения и в связи с этим «более тянутся к русскому народу, чем к полякам» [4, с. 293]. В целом накануне и после восстания 1863 года в среде российских общественных и государственных деятелей сложилась достаточно целостная система представлений о необходимости трансформации национальной политики Российской империи на окраинах, концептуальном обосновании этой политики. Каковы же были итоги разработки данных концепций? Перешли ли они в стадию реализации и, если да, каковы были ее результаты?

Отвечая на этот вопрос, в первую очередь необходимо вновь подчеркнуть, что в накаленной обстановке второй половины 1850-х – первой половины 1860-х годов многие общественные деятели и администраторы, столкнувшиеся с необходимостью обеспечения политической стабильности на окраинах империи и шокированные нелояльностью польских элит, готовы были пойти на достаточно решительные меры в плане расширения прав и поощрения этнокультурного развития социальных низов региона. Виленский генерал-губернатор В.И. Назимов даже предлагал в 1862 году опубликовать официальное заяв-

ление в подобном духе. «Уважая права народов и признавая государственным преступлением всякое чинимое в ущерб народностям насилие», правительство, согласно проекту манифеста, должно было принять эту меру «в видах предоставления каждой народности средств свободно и беспрепятственно развиваться в свойственных ей форме, характере и пределах»[1].

За руководством края следовали администраторы на местах. Введение в начальных школах преподавания на местных языках (белорусском, малороссийском, литовском) поддержало большинство педагогических советов Западного края при обсуждении устава народных училищ в 1862 году. За это решение высказались как Назимов, так и попечитель Виленского учебного округа А.П. Ширинский-Шихматов (предшественник упоминавшегося ранее Корнилова). В записке группы либеральных бюрократов во главе с А.П. Заблоцким-Десятовским, о которой говорилось выше, предлагалось, помимо введения местных языков в начальное образование, включить данные наречия в курс средней школы как предмет изучения, издавать на них газеты, журналы, литературу для народа, использовать их в православном и католическом богослужении [8, с. 138, 169, 245; 16, с. 573–578; 14, с. 274–276, 278, 281–287, 289; 21, p. 984; 10, с. 191, 200; 5, с. 141]. Частично эти предложения были реализованы. В ходе проведения крестьянской реформы на территории Царства Польского в местных общинах (гминах) учреждались школы с преподаванием на языках национальных меньшинств – немецком, еврейском, литовском. В Западном крае значительная часть предметов преподавалась на литовском в школах, которые при содействии правительства с 1864 году учреждались крестьянами-литовцами. Власти не препятствовали изданию литературы для народа на белорусском языке, а в некоторых случаях и поощряли его [5, с. 146, 154, 157; 8, с. 197, 250, 237–258; 15, с. 242–243, 250].

Все указанные меры были достаточно симптоматичны, они свидетельствовали о назревавшем и частично оформившемся повороте в правительственной политике по отношению к окраинам. Однако этот поворот не стал ни решительным, ни устойчивым. Власти в конечном счете все же не решились сделать ставку на развитие этнокультур местных «крестьянских» народов, опасаясь развития в их среде сепаратизма. Более надежной виделась в этом плане политика русификации, к которой правительство начало склоняться с середины 1860-х годов (хотя полностью от курса на поддержку местных культур оно не отошло). Сыграло свою роль и то, что Российская империя и после отмены крепостного права во многом оставалось традиционным государством, общественное устройство которого покоилось на сословной структуре. Пойти на окончательный разрыв с окраинными элитами власти в этих условиях, естественно, не могли. Все это лишало окраинную политику необходимой последовательности, вело к нерешительности и колебаниям, которые способствовали на рубеже XIX–XX веков складыванию нового кризиса в сфере межнациональных отношений. Тем не менее предпринятая в середине XIX века попытка изменения политики по отношению к окраинам, разрабатывавшиеся в этой сфере проекты представляют чрезвычайно интересную страницу истории России, заслуживающую всемерного внимания исследователей.

[1] Министр внутренних дел П.А. Валуев, скептически относившийся к попыткам проведения «народофильской» политики, язвительно назвал проект генерал-губернатора «манифестом à la Garibaldi в честь народностей» [см. 14, с. 169].

Литература

1. *Айрапетов О.Р.* Царство Польское в политике Империи в 1863–1864 гг. // Русский сборник. Т. XV. Восстание 1863 г. М.: Модест Колеров, 2013.
2. *Бендин А.Ю.* Михаил Муравьев-Виленский: усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи. М.: Книжный мир, 2017.
3. *Гильфердинг А.Ф.* Литва и Жмудь / А.Ф. Гильфердинг // Россия и славянство. М.: Институт русской цивилизации, 2009.
4. *Гильфердинг А.Ф*. Россия и ее инородческие окраины на Западе (1865) / А.Ф. Гильфердинг // Россия и славянство. М.: Институт русской цивилизации, 2009.
5. *Глембоцкий Х.* Александр Гильфердинг и славянофильские проекты изменения национально-культурной идентичности на западных окраинах Российской империи // Ab Imperio. 2005. № 2.
6. *Долбилов М.* Культурная идиома возрождения России как фактор имперской политики в Северо-Западном крае в 1863–1865 гг. // Ab Imperio. 2001. № 1–2.
7. *Долбилов М.* Превратности кириллизации: запрет латиницы и бюрократическая русификация литовцев в виленском генерал-губернаторстве 1864–1882 гг. // Ab Imperio. 2005. № 2.
8. Западные окраины Российской империи. М.: НЛО, 2006.
9. *Комзолова А.А*. В поисках родства: происхождение литовцев в российской политической и исторической мысли. 1820–1860-е гг. // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2019. № 11-2.
10. *Комзолова А.А.* Виленский генерал-губернатор М.Н. Муравьев и начальное образование белорусских и литовских крестьян, 1850–1860-е гг. // На службе Отечеству: памяти Михаила Николаевича Муравьева (1796–1866): Сборник научных трудов и документов. СПб.: Президентская библиотека, 2017.
11. *Котов А.Э*. Русский политический предмодерн: забытые «консерваторы» второй половины XIX в. СПб.: Владимир Даль, 2019.
12. Освобождение крестьян в царствование императора Александра II. Т. 1. СПб.: М.Е. Комаров, 1889.
13. Освобождение крестьян в царствование императора Александра II: Хроника деятельности Комиссии по крестьянскому делу. Т. 2. СПб.: М.Е. Комаров, 1890.
14. *Сталюнас Д.* Границы в пограничье: белорусы и этнолингвистическая политика Российской империи на западных окраинах в период Великих реформ // Ab Imperio. 2003. № 1.
15. *Сталюнас Д.* Идентификация, язык и алфавит литовцев в российской национальной политике 1860-х гг. // Ab Imperio. 2005. № 2.
16. *Сталюнас Д*. Может ли католик быть русским? О введении русского языка в католическое богослужение в 60-х гг. XIX века // Российская империя в зарубежной историографии: Работы последних лет: Антология / сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер. М.: Новое издательство, 2005.
17. *Хевролина В.М.* А.Ф. Гильфердинг – дипломат // Славянский альманах. М.: Индрик, 2005.
18. *Черных А.В.* А.Ф. Гильфердинг в Боснии и Герцеговине. 1857–1858 гг. // Вопросы истории. 2008. № 10.
19. *Черных А.В*. Общественно-политическая и научная деятельность А.Ф. Гильфердинга (1831–1972): дис. … канд. ист. н. М.: ИРИ РАН, 2012.
20. *Dolbilov M.* The Emancipation Reform of 1861 in Russia and the Nationalism of the Imperial Bureaucracy // The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia. Sapporo: Slavic Research Center, 2003.
21. *Staliunas D*. Affirmative Action in the Western Borderlands of the Late Russian Empire? // Slavic Review. 2018. No 4.
22. *Weeks T.* Official Russia and the Lithuanians, 1863–1905 // Lithuanian Historical Studies. 2000. No 3.

Аннотация. Статья посвящена изменениям политики Петербурга по отношению к населению западных рубежей империи в середине XIX века. После восстания 1863 года так называемые крестьянские народы (украинцы, белорусы, литовцы, эстонцы, латыши, финны) начинают восприниматься как более надежная опора власти, чем местная элита (поляки, немцы, шведы). Важнейшей причиной такой переориентации была отмена крепостного права в 1861 году. В свете установок, которые наличествовали у реформаторов, была неизбежна и трансформация национальной политики на окраинах. Новое самосознание значительной части власти и общества выразилось в трудах известного ученого-слависта А.Ф. Гильфердинга. По его мнению, благодаря крестьянской реформе Александра II России уже не так нужно заботиться о сохранении лояльности местных элит, при этом не стоит опасаться свободного развития культур «крестьянских народов». Сторонники «народного» управления старались доказать, что население окраин связано с русским народом древними общими корнями. В связи с этим ряд государственных и общественных деятелей разработали меры, направленные на переформатирование социокультурной идентичности народов западных регионов, стараясь добиться сближения этих народов с русским. Среди мер, свидетельствоваших о частично оформившемся повороте в правительственной политике, можно назвать введение в начальных школах преподавание на местных языках (белорусском, малороссийском, литовском). Несмотря на то, что этот поворот не стал ни решительным, ни устойчивым, разрабатывавшиеся в этой сфере проекты заслуживают всемерного внимания исследователей.

Ключевые слова: А.Ф. Гильфердинг, крестьянство, элита, реформа, окраина, народ, славянство, язык, кириллизация, Польша, Литва.

Alexander Y. Polunov, PhD in History, Professor, Headб Department of Interethnic and Interdenominational Relations Management, Faculty of Public Administration, Lomonosov Moscow State University. E: mail: polunov@spa.msu.ru

The Uprising of 1863 and Government Policy Towards the Peoples of the Western Regions Russian Empire in the Second Half of the 19th Century

Abstract. The article is devoted to the changes in St. Petersburg's policy towards the population of the western border regions of the empire in the middle of the 19th century. After the uprising of 1863, the so-called "peasant peoples" (Ukrainians, Belarusians, Lithuanians, Estonians, Latvians, Finns) began to be perceived as a more reliable support of the authorities than the local elite (Poles, Germans, Swedes). The most important reason for that reorientation was the abolition of serfdom in 1861. In the light of the attitudes that the reformers had, the transformation of national policy in the outskirts was inevitable. The new self-awareness of a significant part of the government and society was expressed in the works of the famous Slavic scholar A.F. Hilferding. According to him, thanks to the peasant reform of Alexander II, Russia no longer needed to worry so much about maintaining the loyalty of local elites, and there was no need to fear the free development of the cultures of "peasant peoples". Supporters of the "popular" government tried to prove that the population of the outskirts was connected with the Russian people by ancient common roots. In that regard, a number of government and public figures developed certain measures aimed at reformatting the sociocultural identity of the peoples of the western regions, trying to bring those peoples closer to the Russians. Among the measures indicating a partially formed turn in government policy was the introduction of teaching in local languages (Belarusian, Little Russian, Lithuanian) in primary schools. Despite the fact that the said turn was neither decisive nor sustainable, the projects developed in that area deserve the full attention of researchers.

Keywords: A.F. Hilferding, Peasantry, Elite, Reform, Outskirts, People, Slavs, Language, Cyrillization, Poland, Lithuania.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-30-43

Максим Крот

Формирование концептуальных основ политики обрусения Западных окраинных регионов в отечественном консервативном дискурсе накануне Январского восстания 1863 года

Общая цель политики Российской империи по отношению к западным окраинным регионам состояла в их последовательной и полной интеграции в единое имперское пространство посредством установления первенства общегосударственных идентификационных маркеров в самосознании и самоидентификации окраинных сообществ, а также в сохранении их политической лояльности имперскому центру. Перед имперскими властями стояла непростая задача замены европейской идентификации региональных элит западных окраин и традиционной территориально-конфессиональной идентификации местных народных масс на формируемую единую имперскую идентичность. Данная задача осложнялась тем, что российским властям предстояло осуществить указанную «идентификационную подмену» у сообществ, имеющих опыт иногосударственного политического существования. Достижение этой цели не могло быть осуществлено исключительно принудительно-силовыми методами воздействия, требуя от имперской администрации значительной гибкости, готовности пойти на компромисс и стать привлекательной для местного населения. Империя, привыкшая подчинять, должна была вжиться в новую для себя роль и стать привлекательной для населения своих окраин. В силу данных обстоятельств интегративный процесс в регионе должен был сопровождаться соответствующим интеллектуально-идеологическим обеспечением, имевшим огромное значение в условиях усиливавшегося на всем протяжении XIX века информационного противостояния между российскими имперскими интересами и противодействующими им внешними и внутренними силами.

К середине XIX века проблема интеграции западных окраин уже довольно долго обсуждалась на разных уровнях имперской администрации и в общественных кругах. Острота и сложность данного вопроса была обусловлена тем, что перед имперским правительством стояла задача не только сохранить территории бывшей Речи Посполитой в составе Российской империи, обеспечивая лояльность польских подданных и предотвращая новые вооруженные выступления, но и противостоять тому мощному польскому культурному влиянию, которое сохранялось на территориях западных губерний, охватывая широкие круги местного населения, чей родственный и единоверный характер стал осознаваться и обосновываться первоначально в русской научно-интеллектуальной сфере, а затем и на государственно-политическом уровне.

Западный край представлял собой не столько географическую область, сколько идеологический конструкт, воображаемое пространство, созданное российской политической и интеллектуальной элитой в целях закрепления данного региона в составе империи

Крот Максим Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой специальных исторических дисциплин и методики преподавания истории и обществознания Института истории и международных отношений Южного федерального университета. E-mail: mnkrot@sfedu.ru

и формирования основы для самоидентификации местного населения. Нельзя не согласиться с мнением о том, что главным стимулом для формирования концепции Западного края являлось наличие альтернативного польского дискурса, в рамках которого была сформирована совершенно иная ментальная карта региона, лежащая в основе шляхетских политических стремлений и требований [15, с. 246–247]. Противодействие этим враждебным устремлениям и «интригам» должно было облекаться в форму интеллектуального противостояния, цель которого состояла в доказательстве несостоятельности польских претензий и утверждения тезиса об «исконной русскости» данного региона, что давало моральное право не только на его существование в составе империи, но и на укрепление в нем «русских начал». Данный интеллектуальный контент должен был стать основой политики российских властей в регионе, определяя ее основные направления и формы взаимодействия с местным населением.

В силу данных обстоятельств Западный край практически на всем протяжении XIX столетия в российском восприятии представлялся ареной непрерывной борьбы между пришлым и насильственно внедрившимся в политическое и культурное пространство края польским элементом, главными акторами которого выступала католическая церковь и шляхта, и русским началом, носителем которого провозглашалось западнорусское население края, воспринимавшееся как неотъемлемая часть единого русского народа. Имперская власть позиционировала себя в качестве защитника последнего, одновременно стремясь привлечь на свою сторону и не доминирующие этнические группы края, которые долгое время не рассматривались в качестве самостоятельной силы, обладавшей собственной региональной самоидентификацией. Указанные особенности нашли отражение в официально используемом в первой половине XIX века обозначении региона как «края, возвращенного от Польши», призванном подчеркнуть его исконную «русскость», с течением времени вытесненном более универсальным определением «Западный край», лишенным явных иногосударственных коннотаций, но при этом не отрицавшем наличие значительных особенностей в развитии региона, который не мог быть в полной мере отождествлен с коренными русскими территориями [16, с. 55–56].

Конструирование имперской ментальной карты Западного края сопровождалось формированием «образа конкурента» – поляка, необоснованно претендующего на политическое и культурное господство на территориях, воспринимаемых им исключительно как Кресы – пространство польской политической и культурной экспансии, этническое и культурное многообразие которых сознательно игнорировалось.

В российском общественном сознании XIX века «польскость» связывалась не столько с этнической, сколько с социальной принадлежностью к шляхетскому сословию – «панству», дополненной фанатичной приверженностью католицизму. Помимо социальной маркировки еще с конца XVIII века поляки стали устойчиво ассоциироваться с латентной нелояльностью, революционной угрозой, «якобинством», перманентной склонностью к бунтарству и «политическим безумствам», что предопределяло крайне настороженное отношение к ним в консервативно-патриотических кругах российского общества [4, с. 297]. Данная трактовка, ставшая в первой половине XIX века стереотипом не столько вследствие агитационно-идеологических усилий имперских властей, сколько в силу реальной политической практики, выражавшейся в антирусских выступлениях польской элиты, регулярно подкреплялась наблюдениями за настроениями польских общественных кругов западных окраинных регионов III Отделением, в отчетах которого указывалось на ненадежность поляков, обусловленную их «природным легкомыслием», «склонностью к занятиям политикой», «памятью о прежней вольнице», а также «врожденной неприязнью к русским» [14, с. 353].

Позднее, уже по окончании Январского восстания термин «поляк» окончательно становится социокультурным маркером, употребляясь в четко обозначенном неэтническом

значении и приобретая откровенно негативные коннотации не только в русском общественном сознании, но и в официальной государственной риторике и делопроизводстве. Общественные или религиозные деятели западных регионов, находящиеся в оппозиции к имперской администрации, вне зависимости от их этнического происхождения могли именоваться «поляками по образованию», что было призвано обозначить их социокультурную идентичность и характер политических убеждений, как это было, в частности с епископом Тельшевской епархии М. Волончевским, который, будучи «жмудином» по происхождению, в официальных документах характеризовался как «совершенный поляк по образованию» [19, л. 330].

Поляки исторически воспринимались как чужеродные агрессоры, «коварно» подчинившие себе значительную часть русских земель, угнетавшие православную веру и самой историей справедливо наказанные за свою агрессивность и некоторые природные свойства своего национального характера – «кичливость» и «неблагодарность». Данный образ в течение XIX века был дополнен сюжетом польского «предательства», относившимся не ко всему польскому народу, а лишь к его «злому гению» – шляхте и проявлявшимся как в политическом измерении, связанном с нарушением ими присяги и восстаниями против своего нынешнего законного монарха – Российского императора, так и в цивилизационно-конфессиональном, выразившемся в фанатичной приверженности католицизму и измене славянскому делу [11, с. 27]. Русские консервативные публицисты характеризовали представителей польской шляхты как «вечных изменников», неоднократно предававших собственное отечество, «покидавших на поле битвы королей своих», пренебрегавших интересами собственного государства и «нещадно губивших свой добрый славянский народ», что и сделало закономерным гибель польской государственности [6, с. 282].

Сюжет «предательства» распространялся и на полонизированную элиту западных губерний, которая, согласно официально-консервативному дискурсу, состояла из русских по крови и историческому происхождению дворян, «изменивших священной памяти предков», вследствие чего на официальном уровне они характеризовались как «ренегаты» или «бывшие русские», отделяясь от «польских пришельцев» в крае [10, с. 510]. Эта продолжавшаяся из рода в род «измена» людей, являвшихся русскими не только по своему подданству, но и по крови, и по происхождению, давала основания поступать с ними гораздо строже, чем с пришлыми иноземцами.

Данный нелицеприятный образ дополнялся содержанием польского нарратива о Западном крае, диаметрально противоположным его имперскому восприятию, который не являлся тайным, открыто декларируясь его носителями. Эти представления, способствовавшие закреплению сложившегося негативного образа и сильно задевавшие русское национальное и имперское сознание, звучали, в том числе, в официальных обращениях к императору Александру II с верноподданнически окрашенными, но тем не менее весьма настойчивыми просьбами о включении ряда западных губерний в состав Царства Польского. В одном из них данное требование мотивировалось ссылками на добровольный характер Люблинской унии 1569 года, а также тезисом о том, что на данных территориях «образованность и общественная жизнь с незапамятных времен запечатлены характером исключительно польским», противодействие дальнейшему развитию которого со стороны верховной власти, ведущее к общественным «раздорам», должно быть немедленно прекращено [20, л. 8].

Такому позиционированию региона, трактовавшему польскую элиту как источник просвещения и культурных ценностей, распространяемых ее представителями среди темных народных масс, необходимо было противопоставить альтернативный имперский нарратив, подкрепленный научными данными и опиравшийся на исторические материалы, доказывавший древность и первенство русской политической и культурной традиции

в крае. Данная задача наряду с поиском оптимальной модели восстановления искаженной «русскости» белорусского и украинского народов, рассматриваемых как части триединой русской нации, и их защиты от враждебного польского ассимиляционного проекта составили основу отечественного консервативного дискурса, посвященного Западному краю Российской империи. Уже во второй четверти XIX века, задолго до начала пореформенного национального подъема в нем отчетливо присутствовали черты консервативного демократизма, проявлявшиеся в стремлении обосновать исконно русский характер данного региона, опираясь на начала народности, которые рассматривались в качестве важнейшего критерия его национально-государственной принадлежности.

Потребность в историческом обосновании права Российского государства на владение Западным краем возникла еще в первой половине XIX века после подавления Ноябрьского восстания в условиях подготовки идеологической платформы для упразднения униатской церкви и воссоединения униатов с православием.

К подготовке соответствующего исторического нарратива были привлечены профессиональные историки консервативно-охранительной направленности, чьи научные изыскания были призваны продемонстрировать историческую общность Западного края и коренной России, в течение длительного исторического периода развивавшихся как составные части средневековой русской цивилизации. Создателем исторической концепции, согласно которой Великое княжество Литовское, чьи земли составили основную часть Западного края, являлось «Русским по своему началу, по своему составу, по массе народа, по вере и по языку», стал видный русский консервативный историк Н.Г. Устрялов. Его рассмотрение исторических судеб западнорусских и литовских земель строилось через призму концепта народности, ставшего составной частью официальной консервативной доктрины, в интеллектуальном оформлении которой он принимал участие. Именно господство русской народности, интересы которой представляла политическая элита, находившаяся с ней в рамках единого культурного кода, являлась ключевым признаком «русскости» данных территорий.

Исследователь заявлял, что рубежами русской народности являлись границы Древнерусского государства, сформировавшиеся при первых Рюриковичах и простиравшиеся на западе «до гор Карпатских, до Бреста, Гродно и Динабурга» [17, с. 14]. Соответственно, несмотря на политическую раздробленность, все земли и княжества, существовавшие на данных территориях, являлись неотъемлемыми частями ментального русского пространства, мысль о единении которого была ключевой политической идеей русской интеллектуальной традиции на протяжении многих веков. Устрялов считал Литву вторым наряду с Москвой крупнейшим центром объединения русских земель, этническое литовское ядро которого, в силу своего значительного политического и культурного отставания от населения русских земель, растворялось в массе русского народа, заимствуя от него религию, язык и основные политические понятия [17, с. 16–17]. Данное обстоятельство давало историку основания считать Великое Княжество Литовское фактически вторым русским государством, сформировавшимся в области исторического расселения русской народности, чьи интересы и исторические предания сохранялись в нем не в меньшей (а порой и в большей) степени, нежели в Московском княжестве, находившемся под властью Ордынских ханов и испытывавшем ярмо тягостного ига.

Органическая траектория развития Литовского государства, связанная со следованием интересам и культурным ценностям господствовавшей в нем русской народности, по мнению Устрялова, была нарушена в результате его сближения с чуждым по языку, культуре, вероисповеданию и социально-политическим отношениям Польским королевством, которое началось с конца XIV века и завершилось подписанием в 1569 году Люблинской унии. Данное событие вкупе с угасанием династии Гедеминовичей – «государей русской крови» – привело к тому, что «неприкосновенный в продолжение многих веков священный залог народности»

перестал оберегаться, «Западная Русь сделалась добычей иезуитов, старавшихся истребить в ней все русское, и к концу XVII века она действительно утратила многие черты своей национальности: русские законы уступили место польским; язык был искажен, нравы и обычаи изменились; уния поколебала и веру православную» [17, с. 19–20].

Отстаивая тезис о «русскости» Великого Княжества Литовского, Устрялов указывал на господство искаженного представления о его историческом происхождении и природе, которое благодаря усилиям польской интеллектуальной традиции получило широкое распространение не только в европейских, но и русских интеллектуальных кругах. В частности, он вступал в полемику с исследователями, которые, подобно Н.А. Полевому считали Литву «самобытным» государством, возникшим на развалинах западных русских княжеств, сумевшим существенно преобразовать нравы и обычаи тамошних «руссов», превосходившим Москву своей образованностью и являвшимся совершенно чуждым ей по своей вере и политической системе [13, с. 11]. Подобные неверные, с точки зрения Устрялова, представления о характере Литовского государства, являвшегося, по его мнению, частью единого Русского мира, отторгнутого от него в результате совокупности исторических обстоятельств, обуславливали необходимость детального изучения и публичного освещения его истории, к которому ученый в целях восстановления исторической справедливости призывал русскую интеллектуальную общественность.

Актуализация польского вопроса и перенос его в поле открытой общественно-политической дискуссии, в которой принимали участие, как представители государственной власти, так и общественные деятели, стала следствием происходивших в стране после смерти Николая I изменений. Общественно-политический подъем, охвативший Россию во второй половине 1850-х годов, связанный с началом подготовки широких преобразований во всех сферах жизни общества, не мог не затронуть проблемы западных окраин. Власть в лице Александра II и группировки либерально настроенных государственных деятелей, сложившейся вокруг него, хотя и не изменила своего подсознательно-негативного отношения к польскому населению региона, тем не менее была готова идти на значительные уступки ради сохранения его спокойствия и лояльности в условиях назревавших реформ, которые охватывали как административную, так и культурно-просветительскую сферу [8, с. 21–22]. В свою очередь, либерализация режима, проведенная амнистия и другие меры нового правительства порождали в польском обществе надежды на возрождение польской автономии и убеждение в том, что чем сильнее будет давление на власть со стороны польской общественности, тем на больший объем уступок она сможет рассчитывать. В своем развитии данная ситуация неизбежно вела к конфликту, постепенная эскалация которого происходила в 1860–1862 годах и в итоге привела к Январскому восстанию 1863 года.

Если по вопросу о политике в отношении Царства Польского в русском обществе и правительственных кругах не было единого мнения, то западные губернии к середине XIX века твердо осознавались как исконно русские территории, освобожденные из-под иноземного господства и населенные соплеменниками, нуждавшимися в защите от господствовавшего здесь польского влияния. Оживление польского элемента в условиях либерализации режима и снятия жестких стеснений предшествующего царствования побуждало приступить к разработке комплекса мер по противодействию дальнейшему усилению польского влияния на западных окраинах империи.

О возможных негативных последствиях уступок полякам и примирительной политики имперских властей в западных губерниях одним из первых открыто заявил митрополит Литовский и Виленский Иосиф (Семашко), известный своей активной ролью в воссоединении униатов с православной церковью в 1839 году и укреплением позиций православной церкви в Северо-Западном крае.

Еще в начале 1855 года в письме обер-прокурору Синода графу Н.А. Протасову он указывал на неблагонадежность значительного числа чиновников края, среди которых подавляющее большинство составляли поляки-католики [7, с. 81–82]. Политика примирения с местной польской элитой, проводимая в первые годы царствования Александра II, вызывала все большие опасения православного иерарха, усматривавшего в стремительно растущих польских претензиях и требованиях угрозу нового витка полонизации края. В феврале 1859 года митрополит направил императору Всеподданнейшую записку, в которой изложил свои взгляды на историю польского вопроса, подчеркивая тот факт, что в результате разделов Речи Посполитой Россия лишь возвратила «свое древнее достояние – достояние Св. Владимира, составившее Литву после татарского погрома», в то время как настоящие польские и некоторые русские провинции были разделены между Пруссией и Австрией [2, с. 56]. По мнению священника, включение в состав России польских земель, восстановленных в виде Царства Польского, было ошибкой, поскольку оно стало не только основой для польских надежд на возрождение государственности, но и «передовым постом» для всех недоброжелательных России государств и источником полонизма, простирающего свое влияние на «исконно русские» западные губернии.

Гораздо более важной задачей, нежели устройство Царства Польского, митрополит Иосиф считал освобождение от польского влияния западных губерний и их прочное слияние с «единокровною Россией». Несмотря на кажущуюся простоту этой задачи, обусловленную подавляющим численным превосходством православного населения, иерарх указывал на серьезные препятствия на пути ее решения, состоящие в культурном и материальном превосходстве польско-католического меньшинства, моральной и информационной поддержке, оказываемой ему католической церковью и европейскими противниками России, а также недостаточно высоким уровнем подготовленности русской бюрократии в западных губерниях, зачастую уступавшей польско-католическому влиянию [2, с. 59–60].

О необходимости строгого разграничения польских интересов на землях бывшего герцогства Варшавского и их претензий в западных губерниях в это время говорил и журналист газеты «Русский вестник», входивший в круг единомышленников и сподвижников М.Н. Каткова, П.К. Щебальский. Безосновательность польских притязаний на культурное и политическое господство в Северо-Западном и Юго-Западном крае публицист обосновывал не с позиции «исторических преданий» или «права меча», а с точки зрения этнографических границ «народной семьи русской», в пределы которых входят находившиеся под долгим чужеземным политическим игом земли Белоруссии, Волыни, Подолии и Галиции [18, с. 118]. Воссоединение русских земель, свершившееся в конце XVIII века, по его мнению, было великим «народным делом», обеспечивать и оберегать которое есть прямая задача российского имперского государства. Прогрессивно-национальную основу российской имперской политики, направленной на гражданское развитие народных масс, воссоединение разобщенного народа и воссоздание его угнетаемых культурных и религиозных традиций на западных окраинах, Щебальский противопоставлял феодальной логике мышления представителей польской элиты, смотрящих на западнорусское население исключительно как на своих холопов, полонизация которых изображалась ими как цивилизаторская миссия.

При этом публицист выступал против любых попыток насильственного ассимиляционного воздействия, предполагавших стирание национальных особенностей по отношению ко всем народностям, проживавшим в Российской империи, требуя от них не более чем соблюдения необходимых условий гражданского общежития. Это касалось в том числе и польского ассимиляционного проекта в отношении русских народных масс западных губерний, на возобновление которого в новых политических условиях претендовало польское меньшинство и которому российские власти должны были воспрепятствовать.

Обращаясь к своим польским оппонентам, Щебальский заявлял: «Вы хотите нас цивилизовать, но то же самое германцы говорят относительно Познани и Торна. Нравится ли это вам? <...> Довольно насилия во имя цивилизации. Европа не забыла еще Наполеона и его орлов, трепавших Германию и Испанию во имя свободы. Если в вас такой переизбыток цивилизации, показывайте ее дома, подавайте пример, а мы позаимствуем; но не принуждайте нас к этому» [18, с. 123].

Начиная с 1862 года схожие идеи отстаивал другой видный публицист и ученый Западного края – К.А. Говорский, который на страницах редактируемого им «Вестника Юго-Западной и Западной России» неоднократно публиковал многочисленные исторические документы, призванные свидетельствовать о «русском прошлом» региона, и призывал к непримиримой борьбе против шляхетского элемента края, который наряду с католической церковью рассматривался в качестве главных угнетателей западнорусских народных масс [9, с. 265].

Таким образом, на данном этапе в отечественном консервативном дискурсе в отношении западных окраин преобладали умеренные настроения, не указывавшие на необходимость проведения комплекса каких-либо специальных мер, направленных на русификацию региона, который и без того считался русским, и не предполагавшие каких-либо форм репрессивного воздействия по отношению к «польскому элементу» западных окраин. Подчеркивалась лишь необходимость противодействия дальнейшей полонизации края, на продолжение которой в новых политических условиях рассчитывала местная шляхта, от политического и культурного влияния которой местное население должно было постепенно освобождаться естественным ходом общественно-политического развития страны.

Обострение политической ситуации в Царстве Польском и Северо-Западном крае в 1861–1862 годах сопровождалось усилиями представителей польской аристократии по поиску неформальных каналов воздействия на имперскую элиту в целях поиска союзников в деле восстановления конституционного строя в Польше и положений Литовского статута, снятия всех запретов на использование польского языка в образовании и делопроизводстве, возрождения Виленского университета, укрепления связей между Царством Польским и Западным краем, который рассматривался ими как польская территория. Наибольшую активность проявляли представители умеренных кругов польской аристократии, стоявшие на «угодовой» позиции – гродненский и минский губернские предводители дворянства В. Старжинский и А. Лаппа, а также виленский епископ А. Красинский. Они вступали в контакты с теми представителями имперской администрации, которые придерживались компромиссной позиции в отношении Польши, надеясь через них воздействовать на императора. Так, в сентябре 1861 года упомянутые польские деятели неоднократно встречались с министром внутренних дел П.А. Валуевым, излагая ему свои «претензии» в довольно резкой и требовательной форме [3, с. 116]. В 1862 году Старжинский встречался с наместником Царства Польского Великим князем Константином Николаевичем и императором Александром II, стремясь убедить их в том, что польская аристократия края является благонадежным и консервативным союзником верховной власти, которая может передоверить ей некоторые управленческие функции в регионе.

Нерешительность имперских властей и отсутствие у них, по словам Валуева, «установившегося плана действия и даже установившегося взгляда» на польскую проблему [3, с. 116] стимулировало польское дворянство к выдвижению все более решительных и дерзких требований. Так, осенью 1862 года дворяне Подольской и Минской губерний выступили с всеподданнейшими адресами, в которых просили об административном присоединении своих губерний к Царству Польскому, открыто декларируя тем самым польскость всего западного края, поскольку ни одна из обозначенных губерний не имела с царством общих границ [5, с. 164]. Помимо этого, польские дворяне настаивали на передаче в их руки надзора за народным образованием в крае, предоставлении им права открытия

начальных школ, обучение в которых должно было вестись на польском языке. Авторы многих писем, адресованных в это время к представителям имперской администрации, призывали к немедленному «исправлению роковой ошибки» разделов Речи Посполитой, снятию любых ограничений, препятствовавших возрождению последней, откровенно угрожая правительству возможным вооруженным выступлением, поддержанным европейскими странами, и гарантируя полную лояльность и «верность» в случае удовлетворения выдвигаемых требований [21, л. 9–11].

Активизация польского дворянства заставила правительство приступить к разработке действенной программы противодействия дальнейшей полонизации края. Одним из первых представителей имперской администрации, который открыто заявил об угрозе полного культурного отторжения от империи ее западных владений и предложил стратегию противодействия данной угрозе, был Виленский генерал-губернатор В.И. Назимов, который изложил свою позицию в двух записках, поданных летом и осенью 1862 года на имя управляющего Министерством народного просвещения А.В. Головнина и министра внутренних дел П.А. Валуева.

Главная особенность точки зрения Назимова состояла в том, что он открыто противопоставлял «пришлое» польское дворянство края, местным белорусским, литовским и украинским крестьянским массам, разделяя их по этноконфессиональному признаку. Генерал-губернатор особо указывал на то, что, стремясь удержать за собою ускользавшую из рук власть над местным населением, шляхта усиленно стремилась навязать ему «идею единокровности и единоплеменности» местного дворянства и народных масс. Делалось это, по мнению автора записок, для продолжения активной «польской пропаганды», которая, «заявляя свои права на этот народ», стремилась «отторгнуть его от России и отделить Западный край от Русского государства» [1, с. 108–110].

Генерал-губернатор соглашался с рядом положений записки минского губернского предводителя А. Лаппы о необходимости реформы народного образования в крае, об открытии университета в Вильно, сети реальных и агрономических училищ, однако принципиально настаивал на том, что языком преподавания в них должен быть русский. Обосновывая это требование, генерал-губернатор апеллировал к историческому прошлому края, к эпохе Великого Княжества Литовского, в котором русский язык имел доминирующее значение «в народной, литературной и юридической жизни здешнего населения». Российский администратор прямо заявлял, что «Литва – не Польша, а, составляя издревле часть России и, бывши отторгнута в течение более двух веков от нее, должна возвратиться к тому языку и элементу, который составлял прежде его жизнь и преобладание» [1, с. 109, 111].

Отстаивая свою точку зрения, Назимов сетовал на равнодушие русского образованного общества к проблеме «векового спора за обладание Западным краем», невнимание к современным противоречиям в регионе и правам «тяжущихся сторон», что могло привести к ошибочному сочувствию интересам польской партии, вызванному притворно-почтительным тоном польских адресов, выражением преданности и верности Монарху, а также некоторым «призраком гражданского мужества», подвигнувшим дворян на обращение к Государю [1, с. 435–436]. Тем самым он недвусмысленно указывал на необходимость не только административного, но и всестороннего информационного противодействия польской агитации, привлечения на сторону правительства если не зарубежного, то хотя бы отечественного общественного мнения.

Виленский генерал-губернатор был одним из первых представителей российской администрации, кто выступил за укрепление недоминирующих окраинных этносов, которые при поддержке правительства должны были стать противовесом польскому культурному влиянию. Осенью 1862 года он выдвинул предложение об издании особого Манифеста,

в котором провозглашалось бы право каждой народности на самобытное развитие и на получение образования на собственном языке в районах своего проживания. Валуев, негативно относившийся к Назимову, указывал, что этот «манифеста le Garibaldi» в честь народностей, был направлен на то, «чтобы во имя и с помощью литвинов, русинов и т.п. противодействовать польской пропаганде» [3, с. 190].

Заслуга Назимова состоит в том, что он актуализировал проблему полонизации западных окраин Российской империи, поставив вопрос о необходимости разработки комплекса мер противодействия этой угрозе. Его усилия привели к созданию осенью 1862 года Западного Комитета, в котором на межведомственном уровне должна была разрабатываться правительственная политика в отношении западных окраин. Требуя решительно пресечь растущие претензии польского дворянства, выдвигаемые им якобы от имени всего «народа», и настаивая на необходимости развития этнического самосознания недоминирующих окраинных сообществ под руководством правительства, Назимов фактически закладывал первый камень в фундамент политики «оборонительной русификации», полное осознание необходимости проведения которой в российских правительственных кругах произойдет только в условиях повстанческого экстремума 1863–1864 годов.

Конкретная программа «деполонизации» и «оборонительной русификации» Западного края впервые стала разрабатываться членами «милютинского кружка» чиновников и общественных деятелей на рубеже 1850–1860-х годов под прямым влиянием подготовки и начала проведения крестьянской реформы, а также под воздействием усиливающихся претензий польских дворян, стремившихся воспользоваться колебаниями правительственного курса и упрочить свое влияние в крае. Детальный проект, направленный на усиление русского влияния на западных окраинах, был разработан в начале 1862 года и изложен в виде нескольких записок, адресованных к верховной имперской администрации, видным государственным и общественным деятелем, ученым-экономистом, одним из идеологов крестьянской реформы – Андреем Парфеновичем Заблоцким-Десятовским.

Программа, содержавшаяся в них, представляла собой национально-консервативную альтернативу как реформам, проводившимся в крае по инициативе и под руководством маркиза А. Велепольского, имевшим ярко выраженную «примирительную» направленность, так и деполонизаторским проектам либерального характера, отстаиваемым, в частности, крупным общественным деятелем и ученым, близким к либеральным правительственным кругам, Б.Н. Чичериным [5, с. 138]. С содержанием записок Заблоцкого-Десятовского были ознакомлены сочувствовавшие содержавшимся в них идеям председатель Комитета министров и Государственного Совета граф Д.Н. Блудов, военный министр Д.А. Милютин, а также многие высокопоставленные чиновники, входившие в кружок Великой княгини Елены Павловны, обладавший в начале 1860-х годов огромным политическим влиянием и ставший фактически неформальной дискуссионной площадкой, где проходило обсуждение самых разнообразных актуальных вопросов внутренней и внешней политики России. Через этих лиц, имевших непосредственный доступ к монарху, с содержанием программы был ознакомлен и Александр II, испытывавший в это время серьезные колебания в выборе политического курса в отношении западных окраин.

Будучи выходцем из Черниговской губернии, Заблоцкий-Десятовский хорошо представлял себе ситуацию в Западном крае, зная основные особенности и проблемы данного региона. В основе его программы лежал принципиальный тезис о том, что западные губернии есть исконно русские территории, попавшие под власть «пришлого» польского меньшинства, сумевшего убедить европейскую и русскую общественность в том, что эти земли принадлежат ему по праву. Исконный русский элемент, к которому мыслитель относил местное белорусское и малороссийское население, в течение многих лет подвергался систематическим притеснениям, являясь объектом польско-католической религиозной и

культурной пропаганды, что привело к значительной «полонизации» края. Однако причину ослабления русского начала в крае Заблоцкий-Десятовский усматривал не только в деятельности польского элемента, но и в «ошибочной системе действий правительства», которое в своей политике в отношении края руководствовалось не национально-религиозными, а сословно-бюрократическими принципами [22, л. 16].

Заблоцкий-Десятовский указывал, что залогом господства польского элемента в крае, которое не могли поколебать ни народные восстания, ни возвращение его в состав Российского государства силой русского оружия, ни строгие правительственные меры эпохи правления Николая I, являлся высокий образовательный и культурный уровень, а также материальное благосостояние местной польской шляхты. Благодаря этому поляки господствовали в административной, экономической, образовательной сферах и имели возможность оказывать воздействие на народные массы посредством института мировых посредников, находящегося в руках местных польских помещиков и через органы волостного правления, куда назначались преимущественно грамотные выходцы из польской среды. Используя эти средства, поляки распространяли в народе «нужные им мысли и стремления», конечная цель которых состояла в «возбуждении против правительства, охлаждении к православной вере, распространении польского языка и совершенном «ополячивании» вначале всего того, что сколько-нибудь возвышается над уровнем массы, а потом и сей последней» [23, л. 3].

Противостоять данным процессам, по мнению автора проекта, можно было лишь посредством «плодотворной и прочной системы противодействия полонизации» западных окраин России, от эффективности которой зависел в итоге исход вековечной борьбы польского и русского начал в регионе и ответ на главный вопрос – «быть ли этому краю польским или русским» [23, л. 3 об.]. Заблоцкий-Десятовский считал, что для достижения своих целей правительство должно «решительно опереться на местные народные элементы», способствуя их «правильному развитию» и ограждая от польского влияния. Опасения того, что «развитие литовской, белорусской и малорусской народных стихий» приведет к зарождению сепаратистских настроений и стремлению их к выделению из состава Российской империи он считал безосновательным, поскольку ни одна из этих народностей, по его мнению, не имела «залогов самобытного государственного существования» и все они осознавали, что, перестав принадлежать России, они неизбежно попадут под польское ассимилирующее воздействие и рано или поздно утратят свою племенную идентичность [22, л. 29–29 об.].

В отличие от либеральных проектов переустройства западных окраин, предполагавших возможность привлечения лояльной части местной польской бюрократии к вопросам местного управления, Заблоцкий-Десятовский призывал к полному устранению поляков от «всякого правительственного официального значения» в регионе, особенно настаивая на их удалении с должностей, имеющих непосредственное соприкосновение с народными массами – мировых посредников, волостных писарей, земской полиции, которые должны были заниматься исключительно лицами православного вероисповедания.

Важнейшим условием русификации западных окраин империи Заблоцкий-Десятовский считал создание в регионе мощного русского землевладения. Для достижения данной цели он призывал особым правительственным распоряжением запретить полякам из Царства Польского переселяться на казенные и помещичьи земли Северо-Западного и Юго-Западного краев, а также создать благоприятные условия для приобретения земель в крае русскими «капиталистами» [23, л. 6]. По мнению автора записки, правительство должно содействовать созданию особого товарищества или акционерного общества, которое будет скупать земли в крае и перепродавать их русским землевладельцам. Свободные казенные земли предлагалось при непосредственном содействии правительства продавать по сниженным ценам русским людям среднего состояния или передавать в награду заслуженным чиновникам православного вероисповедания [22, л. 7].

Однако для того чтобы сделать Западный край «вполне русским или, по крайней мере, дать в нем окончательный нравственный перевес русскому элементу», административных мер было недостаточно. Без подъема и развития русского населения края «в материальном и нравственном отношении» успешная борьба с польским влиянием в регионе представлялась невозможной. Заблоцкий-Десятовский писал: «Без упрочения материального благосостояния тамошнего простого народа, представляющего собой православный русский элемент в том крае, невозможно в нем никакое развитие нравственного сознания, никакое противодействие польским стремлениям» [22, л. 38].

Заблоцкий-Десятовский был твердо убежден в том, что крестьянские массы западных губерний, являются естественными союзниками правительственной политики деполонизации края. Данную поддержку следовало закрепить посредством всестороннего учета народных интересов в ходе проводившейся в стране крестьянской реформы. Являясь убежденным сторонником решительного искоренения крепостничества, Заблоцкий-Десятовский стремился подчинить крестьянскую реформу в Западном крае общим деполонизаторским устремлениям [12, с. 549].

Ключевым проводником русского влияния на западных окраинах Заблоцкий-Десятовский считал православную церковь, которая была призвана защищать народные массы от посягательств католицизма и способствовать духовно-нравственному развитию народа, выступая по отношению к нему не только в качестве религиозного, но и первичного культурного института. Однако мыслитель был вынужден констатировать, что культурный, образовательный и материальный уровень местного православного духовенства стоял далеко ниже своего призвания, значительно уступая уровню католических ксендзов. Особенно тяжелым было материальное положение православных священников Западного края, скудное жалованье которых не позволяло им ревностно исполнять свои обязанности. Административные меры, направленные на его улучшение, по мнению Заблоцкого-Десятовского, были крайне неэффективны, поскольку накладывали дополнительные тяготы на местное население, что никак не способствовало росту авторитета православной церкви [22, л. 9 об., 12–13].

Для превращения православной церкви в эффективный рычаг распространения русского влияния, предлагался целый комплекс мер, включавших в себя необходимость восстановления старинных православных братств, существовавших в прошлом при западнорусской церкви и сыгравших важную роль в сохранении православной веры в период польско-католического господства, активизацию общественной деятельности православного духовенства путем предоставления ему права свободного избрания благочинных и организации съездов по благочиниям, ограничение «деспотического обращения» архиереев в отношении местного духовенства, предписав им не вмешиваться в избрание и деятельность благочинных и церковных братств, улучшение материального содержания православных священников, которое могло осуществляться в том числе через Общество для вспомоществования церквям и монастырям, а также посредством ссуд из Государственного казначейства, идущих на восстановление или строительство православных храмов [22, л. 14 об. – 15 об.].

Заблоцкий-Десятовский не призывал к полной русификации местного населения, чьи культурные и языковые особенности он призывал сохранять и поощрять. Он предлагал увеличить в регионе численность элементарных училищ, допустив в них обучение на местных языках – литовском (жмудском), белорусском и украинском, издавать и распространять книги на этих языках, а также допустить изучение их в местных средних и высших учебных заведениях [23, л. 17 об. – 18].

Заблоцкий-Десятовский являлся сторонником широкого общественного участия в деле просвещения народных масс Западного края. Вероятнее всего, именно он был автором идеи учреждения Общества для распространения грамотности и православного образования в губерниях Киевского учебного округа, обсуждавшейся в кружке Великой

княгини Елены Павловны и в начале 1861 года представленной на рассмотрение Киевскому генерал-губернатору князю И.И. Васильчикову. Цель этого общества, по замыслу его инициаторов, состояла не только в распространении народной грамотности, но в первую очередь в «систематическом противодействии польско-католической пропаганде, которая в Западном крае под разными видами действует неусыпно» [24, л. 3]. Задумываемое общество должно было обладать известной самостоятельностью и в своей практической деятельности не зависеть от управления учебным округом, отчитываясь лишь перед генерал-губернатором и высшим правительством [24, л. 3 об.].

Несмотря на то, что данная идея получила полное одобрение князя И.И. Васильчикова и митрополита Киевского Арсения, поддержки в высших правительственных кругах она не имела, вероятнее всего, вследствие недоверия верховной власти к подобного рода общественным инициативам, хотя бы и имевшим вполне благонамеренные цели, но находившимся вне прямого правительственного контроля.

Как видно из вышеизложенных предложений, Заблоцкий-Десятовский не настаивал на русификации края в культурной и языковой сферах. В его записке не предлагалось никаких ограничительных мер по отношению к польским образовательным учреждениям или католической церкви. Предлагаемая им программа фактически представляла собой реализацию стратегии «мягкой силы», в рамках которой должны были гибко сочетаться силовые меры, направленные на административное ограничение польского влияния, и неконфликтные управленческие практики, способствовавшие формированию позитивного символического капитала имперского начала, несущего местным народам прогресс и культурное развитие. Отстаивая свою позицию, Заблоцкий-Десятовский писал: «Необходима рациональная система действий, основанная не на полицейских мерах, а на разумных политических началах, на силе нравственного влияния» [22, л. 41].

Для выработки более детальной программы развития «русских начал» в Западном крае, а также для консолидации представителей правительственных и общественных кругов, в том числе и региональных, способных выступить в качестве экспертов и оказать реальную помощь в деле «нравственного и экономического развития туземного населения западных губерний России», Заблоцкий-Десятовский уже после начала Январского восстания выступил с проектом создания Западнорусского общества, которое должно было стать дискуссионно-консультативной институциональной площадкой по данному вопросу [25, л. 92 об.].

Одной из важнейших задач Общества должно было стать «пробуждение» национального сознания местных народностей посредством культурно-просветительской деятельности и духовного развития, способствовавшего «упрочению их нравственного единения с общим Отечеством» и ограждавшего их от польско-католического влияния, из-за которого эти народы в течение долгого времени находились в состоянии настоящего умственного «летаргического сна» [25, л. 99]. В его Совет, помимо представителей имперской бюрократии, должны были войти видные литераторы, ученые и общественные деятели, такие как Ф.И. Тютчев, К.Н. Бестужев-Рюмин, А.Ф. Гильфердинг, П.П. Семенов-Тян-Шанский, К.К. Грот и другие.

Идея создания Западнорусского общества получила поддержку многих высокопоставленных лиц, готовых к сотрудничеству с представителями общественности в решении «западнорусского вопроса». Председатель Государственного совета Д.Н. Блудов, ознакомившись с данным проектом, нашел его «чрезвычайно полезным и заслуживающим внимания правительства» [25, л. 115]. Однако несмотря на это, проект в итоге так и не был утвержден Александром II, что было вызвано традиционным недоверием правительства к подобного рода общественным инициативам, а также обуславливалось изменением политической ситуации в крае, связанным с началом реализации системы М.Н. Муравьева.

Разрабатываемые на рубеже 1850–1860-х годов проекты были направлены на то, чтобы положить конец колебаниям правительства и продемонстрировать его готовность

отказаться от сословно-имперской модели управления в регионе, придав своей политике национальную окраску. Их реализация также должна была положить предел новому всплеску шляхетской активности, нашедшему выражение в требованиях расширения прав местного дворянства, передачи ему права надзора за народным образованием края, а также административного присоединения западных губерний к Царству Польскому. Основные направления деполонизации западных окраин России, методы и средства ее реализации, изложенные в записках Заблоцкого-Десятовского, наряду с положениями других программных документов, направленных на противодействие польскому влиянию в крае, составили концептуальную основу политики имперских властей в регионе на многие десятилетия вперед, реализовываясь не только в условиях культурного и экономического противодействия польского элемента, но и открытого вооруженного столкновения с ним.

Дальнейшая эскалация конфликта в Царстве Польском и Северо-западном крае, завершившаяся Январским восстанием, внесла значительные коррективы в концепцию обрусения и унификации западных окраин, разрабатываемую представителями политической элиты и общественности, побуждая наполнять ее значительным репрессивно-силовым дискриминационным компонентом в отношении поляков, отсутствовавшим в предшествующий период, когда в правительственных кругах сохранялась надежда на достижение взаимовыгодного компромисса с польским обществом. Осознание необходимости интеграции западных окраин в единое имперское пространство и «возрождения» их «исконного» русского характера посредством активного противодействия распространившемуся здесь «полонизму» в отечественном общественном консервативно-патриотическом дискурсе сформировалось уже к началу 1860-х годов, лишь в процессе повстанческого экстремума 1863–1864 годов оно перешло из концептуального поля в область практической политики.

Литература

1. Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Ч. 1. Вильна. Губернская тип. 1913. (Виленский временник. Кн. VI). 464 с.
2. Всеподданнейшая записка митрополита Иосифа (Семашко) 26 февраля 1859 г. // Забытые страницы польского вопроса: Антология. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2022. С. 55–62.
3. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел: в 2 т. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 423 с.
4. *Долбилов М.Д.* Поляк в имперском политическом лексиконе // Понятия о России: К исторической семантике имперского периода. Т. II. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 292–339.
5. Западные окраины Российской империи / науч. ред. М.Д. Долбилов, А.И. Миллер. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 608 с.
6. *Катков М.Н.* В чем состоит национальная политика России и какого отношения требует к славянам / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм. СПб.: Росток, 2011. С. 280–283.
7. *Киприанович Г.Я.* Высокопреосвященный Иосиф Семашко, митрополит Литовский и Виленский: очерк его жизни и деятельности по воссозданию западнорусских униатов с православной церковью в 1839 г. Вильна: Тип. И. Блюмовича, 1894. 139 с.
8. *Комзолова А.А.* Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. М.: Наука, 2005. 383 с.
9. *Котов А.Э.* Западнорусский анабасис Ксенофонта Говорского // Наследие Речи Посполитой в имперском интеллектуальном пространстве. СПб.: Владимир Даль, 2022. С. 259–338.
10. *Муравьев М.Н.* Всеподданейший отчет по управлению Северо-Западным краем // Русская старина. 1902. № 6. С. 487–510.
11. *Неменский О.Б.* Поляки и русские: народы разных времен и разных пространств. // Вопросы национализма. 2010. № 3. С. 24–37.
12. Памяти Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского // Русская старина. 1882. Т. 33. Кн. 2. С. 532–560.
13. *Полевой Н.А.* История русского народа. Т. VI. М.: Тип. Августа Семена. 1833. 459 с.
14. Россия под надзором: отчеты III отделения. 1827–1869. М.: Российский фонд культуры, 2006. 703 с.
15. *Сталюнас Д.* Северо-Западный край в ментальных картах имперских властей и недоминирующих этнических групп // Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация,(на)значение. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 246–268.

16. *Сталюнас Д.* Польша или Русь? Литва в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 376 с.

17. *Устрялов Н.Г.* Исследование вопроса, какое место в русской истории должно занимать Великое Княжество Литовское? СПб.: Тип. экспедиции заготовления государственных бумаг, 1839. 42 с.

18. *Щебальский П.К.* Польско-русский вопрос // Забытые страницы польского вопроса: Антология. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2022. С. 113–124.

19. Департамент духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел: Дела по римско-католическому исповеданию: Разнородные бумаги, относящиеся ко времени до 1870 года // РГИА. Ф. 821. Оп. 138. Д. 45.

20. «Всеподданнейшие» прошения и адреса дворян юго-западных губерний и речь ген.-губернатора к помещикам Киевской губ. // РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 440.

21. Письмо поляка Лемпицкого М. с предложением русскому правительству содействовать возрождению польской республики и заключить вечный мир между Россией и Польшей // ГАРФ. Ф. 109. Оп. 2. Д. 357.

22. Записка А.П. Заблоцкого-Десятовского о мерах, необходимых для упрочения русского владычества в Западном крае, представленная имп. Александру II государственным секретарем В.П. Бутковым 24 февраля 1862 г. // РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 3.

23. Записка Заблоцкого о необходимости русификации западных губерний // ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 58.

24. Записка без подписи о необходимости утверждения проекта создания Общества для распространения грамотности и православного образования в губерниях Киевского учебного округа // ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 287.

25. Материалы для истории «Западно-русского общества», организованного А.П. Заблоцким-Десятовским и другими, для борьбы с польским влиянием и для укрепления русских начал в Западном крае // РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 4.

Аннотация. Включение в состав Российской империи в XVIII веке восточных частей Речи Посполитой, являвшихся в представлениях российских интеллектуалов и государственных деятелей неотъемлемой частью русского мира, отторгнутой от него в силу неблагоприятных исторических обстоятельств, а также присоединение к империи в начале XIX века коренных польских земель привело к появлению в российском общественно-политическом дискурсе «рокового» польского вопроса, связанного не только с необходимостью обеспечения лояльности польских подданных, но и с поиском путей интеграции западных окраин в единое имперское пространство. Во второй половине 1850 – начале 1860-х годов в отечественной национально-консервативной среде началось формирование концептуальных основ имперской политики в отношении Западного края, ключевым элементом которой являлась необходимость всестороннего обрусения региона, который рассматривался как «исконно русский», но подвергшийся в своем развитии значительным «искажениям», связанным с длительным господством «полонизма». Западнорусские интеллектуалы и государственные деятели призывали к полному искоренению последнего с одновременным развитием «русских начал», которое должно было осуществляться посредством гибкого сочетания жестких административно-ограничительных мер и политики «мягкой силы».

Ключевые слова: Российская империя, Западный край, обрусение, полонизм, Иосиф Семашко, П.К. Щебальский, В.И. Назимов, А.П. Заблоцкий-Десятовский, Январское восстание 1863 года.

Maxim N. Krot, PhD in History, Associate Professor; Head, Department of Special Historical Disciplines and History and Social Science Teaching Methods, Institute of History and International Relations, Southern Federal University. E-mail: mnkrot@sfedu.ru

Russification Policy Conceptual Framework Formation in the Western Borderland Regions in the Domestic Conservative Discourse on the Eve of the January Uprising of 1863

Abstract. Incorporation into the Russian Empire in the 18th century of the eastern areas of the Polish-Lithuanian Commonwealth, that were according to Russian intellectuals and state figures integral parts of “Russian world” detached from it due to adverse historic circumstances, as well as annexation by the empire of native Polish lands in the beginning of the 19th century, led to the appearance in Russian socio-political discourse of the fatal “Polish issue”, connected not only with the necessity to ensure the Polish subjects loyalty but also with striving to integrate Western borderlands into the common imperial space. In the second half of the 1850ies and the beginning of the 1860ies the formation of conceptual basics of imperial policy in relation to the Western areas started in the national conservative circles, and the key element there was the necessity of the comprehensive area russification, since the area was viewed as “original Russian’, but exposed in its development to substantial “distortions” related to the long-term Polonism domination. Russian intellectuals and state figures in the Western areas called for total Polonism extermination accompanied by concurrent development of “Russian fundamentals” that was supposed to be realized with the help of the combination of tough administrative steps and the policy of “soft power”.

Keywords: Russian Empire, Western Territory, Russification, Polonism, Iosif Semashko, P.K. Shchebalsky, V.I. Nazimov, A.P. Zablotsky-Desyatovsky, January Uprising of 1863.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-44-61

Протоиерей Александр Романчук

Конфессиональные аспекты польского восстания 1863–1864 годов

Восстание 1863–1864 годов вызывает пристальный интерес исторической науки как один из важнейших фактов истории западных губерний Российской империи в XIX веке. Политические, идеологические, социально-экономические, военные и другие аспекты восстания хорошо изучены, хотя поле для исследований остается еще достаточно большим. Это в полной мере относится и к конфессиональной стороне события, без осмысления которой невозможно оценить его историческое значение, увидеть его масштаб и предопределенность судьбы.

Дело в том, что восстание 1863–1864 годов, цель которого состояла в восстановлении польской государственности, в узком смысле поставило вопрос о политической лояльности Российской империи населения ее западных, в первую очередь белорусско-литовских губерний. В более широком понимании речь шла о том, насколько глубоким было не столько политическое и социально-экономическое, сколько религиозное и культурное включение в русский историко-культурный мир широких народных масс Северо-Западного края империи за прошедшие после разделов Речи Посполитой десятилетия. Проблема заключалась в том, что до февраля 1839 года, когда состоялся Полоцкий Собор униатского духовенства, объявивший о разрыве Брестской церковной унии и общем воссоединении униатов с православными, почти 3/4 белорусов оставались католиками-униатами. Уния изначально, а в особенной степени начиная с последней четверти XVIII века, являлась проводником латинизации церковной жизни предков современных белорусов, а также полонизации греко-католического духовенства, что сопровождалось навязыванием людям русофобии. Поэтому восстание 1863–1864 годов стало проверкой успешности преодоления после 1839 года католического русофобского наследия и, соответственно, прочности позиций Русской Православной Церкви на бывших территориях Польско-Литовского государства. От последнего зависели и масштаб, и судьба вооруженного выступления польских шляхетских революционеров. Учитывая сказанное, наиболее важным среди конфессиональных аспектов вооруженного выступления польских революционеров-националистов представляется выявление предпосылок, не позволивших Православной Церкви остановить или затормозить подготовку восстания, а также отношение к нему воссоединенного из унии православного духовенства, которое могло как поспособствовать расширению социальной базы повстанческих отрядов, так и сократить ее.

Чтобы определить конфессиональные предпосылки восстания 1863 года нужно обратить внимание на мнение по этому поводу Михаила Николаевича Муравьева. В

Протоиерей Александр Романчук, председатель Синодальной исторической комиссии Белорусского Экзархата Московского Патриархата, кандидат богословия, заведующий кафедрой церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной семинарии, доцент кафедры церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии. E-mail: romanchuk_alex@mail.ru

своих «Записках об управлении Северо-Западным краем и об усмирении в нем мятежа» он высказал убеждение, согласно которому подавление вооруженного выступления польских революционеров стало возможным благодаря упразднению Брестской церковной унии в 1839 году и освобождению крестьян от крепостной зависимости в 1861-м. Заслугу воссоединения униатов с православием и восстановления в крае позиций Православной Церкви в 1840–1850-х годах Муравьев приписывал митрополиту Литовскому и Виленскому Иосифу (Семашко, 1798–1868), указывая на трудности, с которыми тому пришлось столкнуться. Они, по мнению Муравьева, состояли в том, что: 1) перешедшие в 1839 году в православие бывшие униатские священники оставались «по обычаю и по привычке более католики и поляки»; 2) воссоединенные из унии священнослужители находились в крайней бедности и зависимости «от богатых панов»; 3) экономическая и моральная зависимость крепостных крестьян от польских помещиков препятствовала крестьянам «свободно усвоить православную религию» [14, с. 630–632].

Муравьев особо указывает на негативную роль высших чиновников, отвечавших за западные губернии. Он говорит, что «главные правители края оказывали явное предпочтение католическому духовенству и не только не содействовали митрополиту Иосифу, но даже противодействовали во многом» [14, с. 631]. Михаил Николаевич заключает: «При такой неблагоприятной обстановке дела, надо удивляться, как митрополит Иосиф удержал оное [то есть дело возвращение населения западных губерний к православному вероисповеданию в 1830 –1850-х годах – *А.Р.*]. Правительство обязано единственно ему в совершении сего великого дела, которое с тем вместе положило в будущем твердое начало русской народности в крае и дало возможность сельскому населению бороться с мятежом» [14, с. 632].

Таким образом, усмиритель восстания 1863–1864 годов придавал конфессиональному фактору очень большое значение и высоко ценил роль митрополита Иосифа (Семашко). Однако из его слов следует, что одной из важнейших предпосылок трагических и кровавых событий 1863–1864 годов являлась ошибочная правительственная политика России в конфессиональной сфере, которая способствовала сохранению в крае доминирования католичества и полонизма, содействовавших нарастанию польских революционных сил.

Действительно, приходится признать, что в 1840–1850-х годах правительством империи были приняты управленческие и политические решения, которые препятствовали возвышению православия в западных губерниях.

Первым в ряду таких решений нужно назвать положение «Об обеспечении православного сельского духовенства», вступившее в силу 20 июля 1842 года. Его идея заключалась в том, чтобы обеспечить достаточное материальное содержание воссоединенного из унии духовенства с одновременным устранением платы за требоисправление (крещение младенцев, венчание браков, погребение умерших, освящение жилищ и проч.) как причины взаимного недовольства духовенства и верующих. Священники имели следующие источники доходов: 1) казенное жалованье; 2) церковные земельные наделы в 36 десятин; 3) обработка из них 10 десятин в пользу священника прихожанами; 4) доставка от них же руги; 5) казенные приходские жилые помещения с ремонтом и отоплением их от прихожан; 6) прочие доходы от них же [2, с. 771–780].

Положение «Об обеспечении православного сельского духовенства» имело крайне негативные последствия. Во времена унии священники хотя и брали плату за требы, но жили в основном не столько за счет прихожан, сколько за счет собственных имений, в некоторых случаях с крепостными крестьянами, церковных фундушей (пожертвованных благодетелями земельных участков, недвижимого имущества, доходных предприятий и проч.), а также материальной и финансовой поддержки со стороны дворян-католиков. То есть для

крестьян-униатов они не представляли большого экономического бремени. Кроме того, священники плохо ли, хорошо ли с современной точки зрения, но были тесно и органично вплетены в жизнь общества. В 1842 году все изменилось. Для крестьян повинность в отношении духовенства стала неприятной лишней барщиной – «поповской барщиной», как они ее называли [27, л. 3 об.]. У священников же казенные дома, казенное жалованье (весьма небольшое), казенные земли, казенный хозяйственный инвентарь, бедность, из которой не было выхода, – все это способствовало развитию индифферентности к пастве, потере тесного контакта с ней. «Духовенство, – писал в 1863 году виленский губернатор С.Ф. Панютин, – отличается поразительной бедностью и вследствие забот о средствах пропитания, оно апатично относится ко всему, что вокруг него совершается, мало заботясь о своем влиянии на прихожан и резко отличаясь образом жизни от католического духовенства, гордого своим значением и своим сравнительным богатством» [26, л. 64].

Особую роль играла узаконенная в 1842 году материальная зависимость клира от польских землевладельцев. Священники вынуждены были заискивать перед презиравшими их помещиками-католиками, чтобы добиться исполнения крепостными крестьянами церковных повинностей. В глазах прихожан это выглядело ужасно и, мягко говоря, не добавляло православным лицам духовного звания авторитета. В таких условиях невозможно было добиться усилении влияния православного духовенства на простой народ, а тем более разрушить представление о католичестве как о «господской вере», которое столетиями навязывалось западнорусскому населению.

Плачевное материальное положение воссоединенного духовенства, падение его социального положения и значения признавал Московский митрополит Филарет (Дроздов) – ныне Московский святитель. В 1859 году он написал: «К прискорбию, нельзя отрицать, что в двадцатилетнее время после полоцкого акта 1839 года, совершилось много событий, и сделано немало ошибок, которыми могла воспользоваться латинская пропаганда. Связь воссоединенного духовенства с его паствою, которая оказалась довольно удовлетворительною во время воссоединения, и должна бы более укрепляться временем, оказывается, напротив, недовольно крепкою. Требуется особенное внимание, чтобы поддержать сие духовенство и связь его с паствою» [32, с. 440].

Можно без оговорок согласиться с выводом современного исследователя С.В. Римского, который заключает, что «закон 20 июля 1842 г. противопоставил духовенство прихожанам, подменяя добровольные отношения обязательной повинностью, уподобляя клир помещикам-полякам» [29, с. 28].

Важной ошибкой имперского правительства так же являлось его недостаточное внимание к церковно-строительному делу. Правительство не выделяло достаточно средств для ремонта старых и строительства новых церквей. Усилиями архиепископа Иосифа (Семашко) в первой половине 1840-х годов были восстановлены и отреставрированы несколько древних православных храмов в Вильно, Ковно, Пожайском монастыре. Они являлись живым свидетельством древнего западнорусского православия. Но в общем ситуация была безрадостной. В 1851 и 1852 годах последовали высочайшие повеления о приглашении гражданскими властями помещиков заботиться о православных храмах. Было также предложено рассмотреть вопрос о строительстве в белорусско-литовских губерниях православных церквей по типовым проектам [21, л. 48–55, 57–64]. Однако повеления императора ни к чему не привели [5, т. 3, с. 1194]. Польские землевладельцы-католики со злорадством наблюдали за тем, как ветшали православные церкви, ничего не предпринимая для исправления ситуации. Некоторый сдвиг наметился в царствование Александра II [5, т. 3, с. 1192]. Однако в отчете за 1863 год С.Ф. Панютин писал: «Часть церквей помещается в частных домах, другая в полуразрушенных деревянных зданиях, едва имеющих подобие церквей» [26, л. 63].

Убогое состояние многих православных храмов резко контрастировало с величественными и богато украшенными костелами, о которых, не жалея средств, заботилось все шляхетское католическое общество. Со стороны католической знати это было наглядное заявление о том, что белорусско-литовские губернии продолжают оставаться польскими провинциями, лишь по историческому недоразумению вошедшими в состав России.

Приходится признать доведение до бедности воссоединенного от унии православного духовенства и отсутствие должной заботы о церковно-строительном деле провалом конфессиональной политики российского правительства. Этот провал вел к дискредитации православия и усилению полонизма и католичества в западных губерниях, а, следовательно, к возобновлению и нарастанию польских амбиций, подорванных после подавления восстания 1830–1831 годов.

Провал конфессиональной правительственной политики в крае был усилен конкордатом, заключенным между Римско-Католической Церковью и Российской империей 22 июля 1847 года [28, л. 41–44]. Положения конкордата не вели к значительному усилению католичества в России, но сам факт его заключения воодушевил польское общество и дал мощный импульс активизации Костела. Помимо этого, конкордат повлиял на высшее чиновничество в западных губерниях, заставил его не ограничивать деятельность католического духовенства, но во многих случаях потакать ему. 30 октября 1851 года митрополит Иосиф (Семашко) в прошении, поданном на имя императора Николая I, с тревогой писал, что позиция по отношению к католичеству, занятая государственной администрацией в западных губерниях после 1847 года, ведет к тому, чтобы, по словам владыки, «уронить дело воссоединения и посрамить делателей на его пользу, а может быть, их примером отклонить навсегда попытки действовать на пользу России и Православия» [5, т. 2, с. 448].

Впрочем, отсутствие должной поддержки восстановлению позиций Православной Церкви после воссоединения униатов со стороны российских чиновников, а прежде всего со стороны виленских генерал-губернаторов, отвечавших за западный регион империи, объясняется не только и не столько конкордатом 1847 года. Подробное рассмотрение взаимоотношений митрополита Иосифа (Семашко), стоявшего на острие противостояния русского и польского духа, и виленских генерал-губернаторов Ф.Я. Мирковича (1845–1850), И.Г. Бибикова (1850–1855), В.И. Назимова (1856–1863) позволяет выявить основополагающую причину проблем с утверждением православия в 1840–1850-х годах. Она не заключалась, как полагали многие дореволюционные авторы, в личностной составляющей. Несмотря на значительную разницу во взглядах и личное положение при дворе, виленские генерал-губернаторы в это время неизменно воспроизводили одно и то же отношение к Православной Церкви в крае. Также не выглядит состоятельным то предположение, что их конфессиональная политика была связана с попытками либо силой замирить польскую элиту, либо уступками добиться с нею примирения в зависимости от общего направления царствований императоров Николая I и Александра II. Представляется, что причина, по которой высшие должностные лица Северо-Западного края вопреки их прямым обязанностям препятствовали успехам православия на белорусско-литовских территориях, заключается в следующем.

Как известно, Николай I тяготился сложившейся в России дворянократией, но, несмотря на желание, не решился подорвать ее фундамент – крепостное право. Сверх того, наложив на общественную жизнь страны строгие ограничения, он фактически согласился с мнением самого дворянства о том, что оно является самой верной опорой трона. При императоре Николае Павловиче певцы русской народности и православия пели свою песнь в цензурной клетке.

Такие отношения самодержавной власти и дворянства проецировались на западные губернии. Эти земли император Николай I стремился бесповоротно интегрировать

в состав империи. Но здесь высший слой составляли польские и полонизированные западнорусские дворяне, ненавидевшие Россию. Тем не менее их могущество сохранялось. На них, при всех оговорках, власть пыталась опереться в западных губерниях так же, как и на русских дворян в глубине России.

Польскому католическому высшему обществу Николай I не доверял, зная его мечты возродить Речь Посполитую в границах 1772 года. Поэтому он постарался держать его в «ежовых рукавицах». Чтобы вырвать западнорусское население из религиозной зависимости от католичества, он поддержал инициативу упразднения церковной унии. Чтобы сократить власть помещиков над крестьянами, ввел инвентари. Чтобы усмирить полонизм, наложил на польскую культуру и польский Костел разного рода запреты и ограничения. Но это были лишь полумеры. Они не могли привести западные губернии к окончательной интеграции с Россией. Единственный выход заключался в том, чтобы найти опору власти помимо польской шляхты, подорвав дворянократию в белорусско-литовских землях. Вместо шляхты можно было опереться на белорусское, уже православное после 1839 года крестьянство. Для этого требовалось отменить крепостное право в западных губерниях, социально и экономически поддержать крестьян, противопоставив их польской элите, решительно поддержать Православную Церковь и подорвать сложившееся во времена польского господства доминирование католичества, обеспечивавшего идеологический фундамент полонизма. Осуществление такого сценария было невозможно в рамках идеологии русской имперской государственности, отвергавшей, в отличие от, например, этноконфессиональной политики Австрийской империи, практику противопоставления друг другу разных этнических и конфессиональных групп населения.

В условиях опоры высшей власти на польское католическое дворянство русские чиновники высшего ранга в западных губерниях вынуждены были лавировать между интеграционными интересами государства и интересами польской знати. Им необходимо было найти такой компромисс, который не позволил бы развиваться польским национальным инстинктам. Поэтому единственной целью русского чиновничества могло стать только достижение видимого спокойствия и порядка. Отсюда становится понятным, что лишь при поверхностном взгляде можно сделать вывод о безыдейности русской власти на западном краю империи в николаевскую эпоху. Например, В.И. Назимов писал: «Перед нашими глазами мелькали постоянно, как в калейдоскопе, облики главных начальников западного края, присылаемых туда из столицы без заранее обдуманного плана, административной системы, без всякой политической программы, незнакомых с местными обстоятельствами и складом этнографических элементов, присущих краю, не вооруженных знанием минувших судеб страны» [15, с. 395].

На самом деле политическая программа существовала, хотя и не была во всеуслышание озвучена. Она состояла в попытке достичь интеграции при враждебности польской элиты и в условиях сохранения дворянократии. Это очень похоже на самоубийственную политическую эквилибристику. Проще говоря, вся энергия Петербурга в середине XIX века уходила не на интеграцию белорусско-литовских губерний с их населением в целом, а на интеграцию чужеродного для России социального тела польской и полонизированной западнорусской шляхты, что заведомо было обречено на провал из-за мировоззрения этих людей, насквозь пропитанного русофобией.

Апофеозом искусственной слепоты русского чиновничества в Северо-Западном крае империи можно считать отрывок из отчета упоминавшегося виленского гражданского губернатора С.Ф. Панютина за 1860 год: «Местное губернское управление... всемерно старалось о сближении, о примирении двух национальностей, совместно живущих в здешнем крае, то, по всей справедливости, оно в праве считать себя истинно исполнившим свой

долг» [20, л. 115–116]. Эти слова были написаны в начале 1861 года, когда уже завершилась подготовка польских революционеров к вооруженному выступлению.

Бесперспективность политики самодержавия того времени на западе империи отмечается многими современными исследователями. Например, В. Швед, выступая в Белостоке на конференции под названием “Droga kuwzajemnosci”, говорил: «Так называемый польский вопрос возник в Европе со времени разделов Речи Посполитой… Главный смысл польского вопроса, на мой взгляд, выразила Конституция 3 мая 1791 г.: быть свободным от “позорного превосходства чуждых повелений, оценивая дороже не свою жизнь и личное счастье, а политическое существование, внешнюю независимость и внутреннюю свободу народа”» [33, с. 273]. «Поляки были единственным народом, зависимым от России, – пишет Анджей Кузельчук о времени после разделов Речи Посполитой, – который доминировал цивилизационно от начала над народом господствующим и в котором было развито чувство превосходства над ним, что представляло постоянную проблему для русского имперского сознания» [36, с. 172].

Положение не изменилось с началом правления императора Александра II. Во второй половине 1850-х годов его реформы, подорвавшие в итоге русскую дворянократию, только планировались. Все сводилось к разговорам и обсуждениям. Правительство обратило пристальное внимание на укрепление Православной Церкви в Северо-Западном крае. Проявлялось гораздо больше, чем прежде, заботы о строительстве и починке православных храмов, материальном обеспечении духовенства. Среди крестьян начали распространять русскую грамотность, привлекли к народному образованию православное духовенство. Но все усилия нивелировались либеральным подходом, который диктовал генеральную линию уступок полонизму. Поэтому между политикой Николая I и тем, что правительство предпринимало в первые годы царствования Александра II, с точки зрения Православной Церкви в крае, была лишь та разница, что стало еще хуже, чем было.

В целом можно говорить о том, что Петербург не сумел оценить значение воссоединения униатов и воспользоваться его плодами. «Один раз, – пишет А. Пыпин, – прошла в крае сильная полоса исторического движения – это уничтожение унии (1839); этот знаменательный факт мог бы навести местное общество на новые мысли о положении народного вопроса, но бытовая рутина была еще так сильна, что это событие произвело, кажется, меньше впечатления и действия, чем можно было бы ожидать» [19, с. 126].

Подход правительства к решению проблем в западных губерниях в 1840–1850-х годах вел к тому, что православное духовенство в целом и митрополит Иосиф (Семашко) как главный поборник возрождения православия в крае оказались для высших чиновников края очень неудобными. Как «предатель и могильщик унии» – именно так митрополита Иосифа называли польские патриоты – Семашко раздражал шляхетское общество уже самим фактом своего пребывания здесь. К тому же он поставил перед собой цивилизационную сверхзадачу, которую во всеуслышание обозначил в проповеди, сказанной в 1840 году во время освящения древней Никольской церкви в Вильно. Он говорил: «Не скорбите о торжестве нашем, ревнители западной церкви. Взгляните беспристрастно на здешний край – это достояние Православной Церкви. Много ли здесь коренного народа римской веры? Он ограничивается пределами северной части Виленской губернии; остальной совращен из Православия… Взгляните на самую Вильну, двести лет тому назад здесь еще было тридцать шесть православных церквей. За что ж порицать Церковь Православную; если она простирает материя свои объятия к детям своим, хотя и забывшим ее, но все для нее не чуждым» [6, с. 14–15].

Эта проповедь была опубликована и наделала в обществе много шума. Для русских, живших в крае, такое открытое нападение на полонизм казалось немыслимым,

самоубийственным. Польские патриоты и римское духовенство пребывали в шоке. Впервые за столетия владычества в белорусско-литовских землях они увидели перед собой идейно убежденного, морально сильного противника.

Сверхзадача, поставленная митрополитом Иосифом перед самим собой, заставляла его поступать весьма нетипично для православного архиерея той эпохи. Его независимое поведение [5, т. 1, с. 157], обращения к правительству для решения епархиальных проблем, которые, на взгляд местных функционеров власти, должны были решаться ими [5, т. 2, с. 286, 311; 9, с. 271], резкие ответы чиновникам[1], попытки выйти из рамок церковного служения и повлиять на государственную политику [24, л. 12–18; 22, л. 1–8 об.] и проч. – все это не могло не раздражать Мирковича, Бибикова, Назимова, которые не видели или не хотели видеть глубинную мотивацию действий владыки. Более того, его деятельность мешала им в достижении видимого спокойствия.

Таким образом, главным противником и препятствием на пути укрепления православия в 1840–1850-х годах стали не польское католическое общество в крае и не латинское духовенство. Самой большой сложностью возрождения православия после Полоцкого объединительного Собора 1839 года оказалось преодоление сопротивления государственного аппарата. К середине 1850-х годов его нижний и средний слой наполняли представители католической шляхты, которые приложили много усилий для дискредитации православного духовенства и лично митрополита Иосифа. Однако их действия имели силу настолько вредить Православной Церкви, насколько им позволяла высшая государственная власть в крае.

Приходится говорить о том, что главным препятствием на пути духовной интеграции возвращенных от Польши территорий стала деятельность виленских генерал-губернаторов и прочего высшего чиновничества. За малым исключением это были православные русские люди. Системной причиной сохранения доминирования католичества и торможения развития православия в западных губерниях являлось коренное противоречие между интересами воссоединенной из унии православной паствы и двусмысленной политикой Петербурга в западных губерниях. Православное духовенство во главе с митрополитом Иосифом (Семашко) бередило польский вопрос, более того, расширяя влияние православия, оно реально действовало против полонизма и католичества, чем озлобляло католическую знать, нарушая хрупкое равновесие. Правительство и на словах, и материально, хотя и крайне недостаточно, поддерживало Православную Церковь. В то же время восстановление позиций православия было невыгодно местным властям, стремившимся сохранить спокойствие и установить порядок, то есть замаскировать все более разогревающийся и готовый взорваться паровой котел польских амбиций.

В результате законодательные ошибки в материальном обеспечении православного духовенства и церковном строительстве, моральное возвышение Костела, произошедшее после заключения конкордата в 1847 году, опасливое отношение высшего слоя русского чиновничества к восстановлению позиций Православной Церкви в условиях опоры имперского правительства на католическое польское дворянство – все это в совокупности помешало в 1840–1850-х годах процессу закрепления плодов упразднения Брестской церковной унии, которое, по своей сути, являлось цивилизационной победой России на западнорусских землях. Это в немалой степени рождало у польских революционеров иллюзию возможности восстановить Речь Посполитую с западнорусскими территориями

[1] Вот яркий пример такого ответа: «Правительство или те, которые действуют его именем, приучат наконец здешнюю польско-римскую партию к мысли, что она все может сделать криком. На нас клевещут, и нам молчать! Нас притесняют, и мы же притеснители! Нас обижают всякими противозаконiями, и нам терпеть да молчать! – и страданиям здесь верных слуг Церкви Православной и России, может быть, поверят разве тогда, когда увидят их трупы бездыханные!» [5, т. 2, с. 373].

в ее составе. Таковыми в общих чертах представляются конфессиональные предпосылки восстания 1863–1864 годов.

Итак, конфессиональная политика Российской империи в западных губерниях не воспрепятствовала нарастанию польских революционных сил, но скорее поспособствовала этому процессу. Между тем религиозный фактор играл в подготовке и в ходе восстания большую роль. В работе "Powstane Styczniowe 1863–1864" польский исследователь Славомир Калембки пишет: «Часть западных губерний Российской империи была населена несколькими народностями. Среди насчитывающего почти 5500 тыс. населения этих земель наибольшую группу составляли белорусы (51,05%), далее литовцы (19,82%), евреи (10,44%), поляки (8,27%), украинцы (3,5%), русские (2,99%), латыши (3, 34%), немцы (0,47%), татары (0,12%)… В губернии Виленской было их [поляков – *А.Р.*] больше всего – 17,31% от общего количества проживающих, в Минской – 11,71%, в Гродненской – 9,53%, в Витебской – 5,49%, в Ковенской – 2,95%, в Могилевской – 2,75%. Около 60% проживающих на этих землях поляков было сосредоточено в губерниях Виленской и Минской» [35, s. 349]. Из приведенных данных видно, что православные белорусы, украинцы и русские составляли 57,99% общего населения края, в то время как поляки-католики, к которым С. Калембки относит и полонизированную белорусскую шляхту, – только 8,27%. Даже в местах наибольшей концентрации польского католического населения оно по сравнению с православными находилось в значительном меньшинстве. Исключение составляли только сама столица Северо-Западного края – Вильно, а также прилегающие к ней окрестности. Католиков-литовцев в данном случае не имеет смысла принимать во внимание, поскольку они, несмотря на пропаганду революционеров, серьезно не влияли на ход событий. Отсюда следует, что восставшая шляхта надеялась расширить социальную базу своего предприятия за счет православного большинства местного населения. Их надежды могли питаться только расчетом на культурно-историческую близость к ним белорусов, а следовательно, на их сочувствие политическим интересам Польши. «Во время восстания, которое вспыхнуло на территории Польши, Литвы и Белоруссии в 1863–1864 гг., – пишет В.В. Григорьева, – делалась ставка на то, что идеи униатства еще не погасли в душах бывших униатов и их священников» [3, с. 68].

На самом деле никто доподлинно не знал, как в такой ситуации поведут себя белорусы, вернувшиеся в лоно православия двадцать четыре года назад. Важным в таких обстоятельствах становилось отношение к восстанию со стороны воссоединенного в 1839 году из унии белорусского духовенства, еще помнившего униатские времена, и их детей – нового поколения белорусских пастырей. От направления их влияния на воссоединенный из унии православный народ не во всем (большую роль играло освобождение крестьян от крепостной зависимости), но во многом зависели масштаб и судьба восстания. В конфессиональной плоскости вопрос заключался в религиозной и народной правде упразднения в 1839 году Брестской церковной унии как цивилизационной победе России. Именно поэтому православные священники играли в планах повстанцев главную роль как наиболее близкая к народу, обладающая духовными и интеллектуальными силами социальная группа. На привлечение православного духовенства к поддержке восстания была направлена активная пропаганда. Священников призывали осознать себя поляками, старались навязать им польские патриотические чувства. Например, в одном из обращений к бывшим униатским духовным лицам говорилось: «Восстаньте от грехов, опомнитесь, вы рождены вашими матерями полячками, которые вас питали своей грудью, проводили беспокойные ночи над вами, чтобы воспитать в вас сынов отечества и добродетельных пастырей народа» [13, с. 47].

В исследованиях, посвященных восстанию 1863–1864 годов, позиция, которую заняло православное духовенство в отношении восставших, раскрыта вполне

удовлетворительно. Отмечается, что священники в целом сохранили верность российскому правительству. Из исследования О.В. Карповича, осуществившего попытку перепроверить и согласовать противоречивые данные, приводимые разными авторами касательно поддержки восставшим со стороны православного духовенства, следует, что содействие мятежникам в той или иной форме оказали то ли 8 [7, с. 21], то ли 10 [7, с. 22] лиц, принадлежавших православному духовному ведомству.

Здесь имеет смысл детальнее рассмотреть некоторые наиболее показательные примеры действий православных священников, которые как церковными, так и светскими властями были квалифицированы в качестве поддержки восставшим.

Так, православный священник одной из церквей Волковысского уезда Антон Шишко оказался под подозрением властей за то, что «не донес начальству об уходе его сына в шайку мятежников» [7, с. 22]. Безусловно, это странная вина.

Ссылаясь на материалы Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно, О.В. Карпович пишет, что некий священник Куханович находился в составе брестского отряда Казимира Нарбута, одного из жестоких повстанческих начальников Брестчины [7, с. 22]. Однако этот случай можно поставить под сомнение. Дело в том, что в фундаментальном труде священника Григория Сосны, в котором представлены имена всех униатских и православных священнослужителей белорусских земель, действовавших в XIX–XXI веках, нет сведений о священнике Кухановиче, который мог бы участвовать в событиях 1863–1864 годов [37]. Вполне можно допустить, что это был либо самосвят, либо извергнутый из сана бывший священник.

В деревне Добромысль Пружанского уезда священник Гриневич принимал присягу «на верность польской короне» [7, с. 22]. Однако не совсем ясно: Гриневич делал это по убеждению, либо проявив слабость под угрозой расправы со стороны повстанцев. Подобную слабость проявили молодые священники Гродненской губернии Андрей Жебровский и Филарет Белевич. В мае 1863 года они под угрозой казни подписали за своих прихожан присягу незаконному польскому правительству. Правящий архиерей митрополит Иосиф (Семашко) запретил обоих священников в священнослужении, а затем отправил их на три дня в Свято-Успенский Жировичский монастырь, чтобы они перед образом Божией Матери очистили свою совесть. Кроме этой епитимии, высокопреосвященный предложил консистории рассмотреть вопрос: «Не уронили ли себя означенные священники малодушным поступком в глазах своих настоящих прихожан, и не следует ли их в таком случае переместить на другие приходы» [9, с. 411].

На престарелого священника Нарочанской церкви Вилейского уезда Александра Скабалановича вместе с его двумя дочерями, воспитанными в католичестве, пало подозрение в общении с польскими партизанами и снабжении их продовольствием. Назначенное расследование не нашло бесспорных доказательств их вины, но М.Н. Муравьев просил митрополита Иосифа (Семашко) удалить из края и Скабалановича, и его дочерей. В ответ высокопреосвященный Иосиф поместил этого священника на иеромонашескую должность в Гродненский Рождество-Богородичный женский монастырь, но отказался от решения вопроса с его дочерями, так как они, рожденные и воспитанные в латинстве, не подлежали ведению православного духовного начальства [9, с. 411–412].

Вопиющий случай поддержки восставших польских патриотов со стороны православного священника связан с именем Николая Мороза, настоятеля храма в деревне Лопатин Пинского уезда. Он был обвинен в том, что в один из воскресных дней собрал в своем доме восемь православных шляхтичей, проживавших на его приходе, и прочитал им воззвание польского революционного правительства, в котором содержался призыв к восстанию, а также уговаривал их вступать в мятежные отряды. Когда же шляхтичи на это не согласились, то сказал: «За это можно получить и пулю в лоб». Кроме того, он прочитал

это воззвание своему дьякону Прокоповичу. Когда же тот заявил, что в случае прихода повстанцев он спрячется в лесу, Мороз ответил: «Нечего бояться повстанцев, я и себя, и вас смогу защитить». Слухи о действиях Мороза стали известны священнику Страховичу из Мисятич, который сообщил о его деятельности полиции» [4]. Николай Мороз по настоянию М.Н. Муравьева был лишен сана и приговорен к десяти годам каторги [7, с. 22]. Это был исключительный случай для православного духовенства западных губерний России.

Таким образом, можно смело делать вывод об общей верности белорусского православного духовенства Русской Православной Церкви и российскому Престолу. Случаи колебаний и откровенной поддержки восстанию были единичными.

Без сомнения, на отношение священнослужителей к вооруженному выступлению польских националистов повлияла позиция православной иерархии, действовавшей на территориях, наиболее пораженных мятежом. Надо отметить, что правящие архиереи Виленской – митрополит Иосиф (Семашко), Минской – архиепископ Михаил (Голубович), Полоцкой – архиепископ Василий (Лужинский), были теми церковными деятелями, которые искренне послужили воссоединению униатов с православными в 1839 году. Их позиция была выражена в окружных посланиях к подчиненному духовенству.

Например, 15 июня 1863 года архиепископ Василий (Лужинский) обратился к подчиненному духовенству с архипастырским посланием, в котором говорил: «Мы переживаем теперь такую эпоху, когда в западном крае вера и православие наиболее нуждаются в деятельности духовенства, – такой притом, которая бы сопровождалась пламенным усердием и растворялась любовью, благоразумием и энергией. Неужели же вы, избранные, в благонадежности которых я никогда не сомневался, захотите явить себя пред всем миром несоответствующими своему призванию и назначению, – равнодушными и к долгу службы и присяги своей, и к патриотическим чувствам, заявленным так торжественно всеми сословиями в государстве, тогда, когда на край наш обращено напряженное внимание всей России? Ужели вы уступите место козням врагов порядка и дадите простор в среде народа православного наглой, пагубной деятельности подземного польского революционного комитета и отчаянных покушений пропаганды, посягающих и на целость русской Державы, и на нашу святую веру, и на благоденствие всего народа русского, и на славу отечества нашего – благословенной России, и тем самым захотите заслужить постыдную память своему имени и званию, или название изменников, поправших святость долга службы и присяги, к уничижению детей и внуков ваших пред лицом Церкви и отечества? Вот это было бы вашим истинным несчастьем, вашею нравственною смертью в жизни, а за гробом вы были бы безответными пред Богом, чего я вам не желаю, и отчего да сохранит всех вас милосердый Бог. – Стойте же непоколебимо на страже, служите и действуйте, сколько достанет ваших сил, в вертограде Христовом, чтобы потомство радовалось деятельности вашей, и небесный вертоградарь – Спаситель уготовал вам венец вечной славы там – на небе» [30].

В послании архиепископа Василия содержится призыв к духовенству хранить верность православию и России, но в то же время в них можно уловить слабые нотки неуверенности в том, что все священники займут такую позицию. Действительно, в тот тревожный момент никто не мог с полной уверенностью сказать, как поведут себя духовные лица, помнившие унию и испытавшие от российской правительственной политики много неприятностей в 1840–1850-х годах.

Особенное значение для духовенства в это тревожное время имели деятельность, личный пример и слова митрополита Иосифа (Семашко), с именем которого по преимуществу связывалось дело упразднения унии. Этот иерарх возглавлял Литовскую и Виленскую епархию, располагавшуюся в пределах современной Литвы, а также Гродненской и Брестской областей современной Республики Беларусь. Она на 100% состояла из бывших

униатов. К тому же именно в этом регионе сосредотачивалось польское католическое население и были наиболее сильны мятежные настроения, а повстанческие отряды были наиболее многочисленными.

Митрополит Иосиф тонко чувствовал ситуацию и начал противостоять польскому восстанию заранее. Он видел, что уже со второй половины 1850-х годов в белорусско-литовских губерниях все смелее разворачивалась откровенная антирусская и антиправославная пропаганда. В мае 1861 года возрастающее напряжение выплеснулось в открытые манифестации польских националистов. Застрельщиками протестов выступили ксендзы. Особенно многочисленные толпы собирались с пением религиозных и революционных гимнов в Вильно перед часовней Остробрамской иконы Божией Матери. Все русское и православное, особенно духовенство, подвергалось осмеянию, кощунству, оскорблениям словами и действиями [9, с. 384]. 25 августа 1861 года правительство вынуждено было объявить Северо-Западный край на военном положении, запретив совершать уличные процессии и собираться толпами на площадях. В результате осенью 1861 и в течение всего 1862 года белорусско-литовские губернии внешне успокоились [31, с. 33–34], но это было затишье перед бурей.

В это смутное время высокопреосвященный Иосиф не покинул Вильно, невзирая на ранее озвученные планы взять лечебный отпуск, не соблюдал никаких мер предосторожности, хотя тревожные обстоятельства заставили его опасаться насильственной смерти. М.О. Коялович, посетивший Вильно в 1862 году, оставил воспоминание об обстановке, которая окружала владыку. «В 1862 году, – пишет он, – во время первого моего путешествия по западной России, я был в Вильне, во второй половине мая, и в одну из моих поездок к митрополиту Иосифу в его загородный дом (Тринополь) сидел с ним и беседовал в его саду в возвышенной местности, с которой открывается прекрасный вид на р. Вилию, а поближе через дорогу наискось видна одна из кальварийских часовен. К часовне стала подходить группа народа с обычным пением песен. Как только в группе заметили митрополита Иосифа, так сейчас же пение превратилось в неистовый рев, и это явное кощунство способно было глубоко возбудить всякого. Мы умолкли. Я взглянул на митрополита Иосифа. Ни один мускул на его лице не изменился, только дальнозоркие глаза его устремились по направлению к часовне, у которой совершалась эта латино-польское кощунство. Этот великий западно-русский святитель и великий западно-русский человек, без всякого сомнения, возвышался тут над этим грехом неведения родного народа, а в этом неистовом реве угадывал степень фанатизма латино-польских вождей, и оставлял их всех в покое» [10, с. 8].

Окруженный стеной ненависти со стороны польских латинян, митрополит Иосиф сделал приписку к завещанию, приготовленному еще в 1852 году. В ней, обращаясь к императору, он просил в случае его насильственной смерти в единственное наказание убийцам забрать у католиков некогда принадлежавшую православным Остробрамскую икону Божией Матери и поместить ее в соборе Свято-Духова монастыря в Вильно. Это завещание владыка передал на хранение в Свято-Духов монастырь 1 июня 1861 года [22, л. 1–3; 9, с. 383]. То есть перед лицом ожидавшихся потрясений он решительно заявил, что останется на своем посту и приготовился к смерти. Для священников Литовской епархии, которые, несомненно, узнали о позиции митрополита Иосифа от виленских монахов, она являлась воодушевляющим примером.

Военное положение, объявленное правительством в крае, не могло остановить подготовку восстания. Открытые манифестации прекратились, но усилилась тайная пропаганда. Особенно усердствовало римско-католическое духовенство, которое с амвонов обвиняло власти в притеснениях веры, осквернении храмов и многом другом [1, с. 154]. Возрос натиск на православных крестьян с целью привлечь их на свою сторону. Для этого,

между прочим, старались устранить воздействие на них православного духовенства. Священников пугали местью, если они будут проповедью удерживать своих пасомых от участия в антиправительственных действиях, обещали скорое восстановление унии. Понимая, что в это предгрозовое время необходимо поддержать пастырей и народ, дать им пример стойкости, настроить на твердое исполнение долга перед Отечеством, митрополит Иосиф 19 декабря 1861 года составил и разослал всем благочинным Литовской епархии окружное послание. В нем начальствующему духовенству предписывалось внушать подчиненным священникам строго блюсти народ от польско-католического и революционного воздействия. В послании говорилось:

«Не малое уже время, в нашей стране, на наших глазах, мятутся жалкие страсти, возбужденные чуждыми для нас интересами, чуждою народностью. Слабые духом, слабые познаниями увлекаются злонамеренностью в тяжкие заблуждения. Явную ложь принимают за непреложную истину, уклоняются от повиновения законным властям; ни во что не ставят принесенную верноподданническую присягу; глумятся над самыми храмами Божиими, принося в них песнопения, которые можно считать скорее кощунством над святынею, нежели молитвою. Я не считал бы себя в праве заявлять эти плачевные обстоятельства, если бы они касались только паств для меня сторонних. За них отвечают свои пастыри перед Богом и перед людьми. Но я получаю постоянно сведения: что злонамеренные люди сеют неправду и между православными, стараясь совратить их с пути истины. Смущают их ложными вестями и внушениями. Распространяют тайными путями и подлогами мятежные воззвания. Стращают верных своему долгу священников местью поляков. Эти воззвания и внушения сколько дерзки, столь же и невежественны. Нам указывают на Польшу! Но какое нам дело до Польши? Мы русские, дети бесчисленной русской семьи, потомки св. Владимира, – мы родились в России, присягали на верность русскому царю. Нас стращают поляками! Не потому ли, чтобы напомнить нам вековые страдания наших отцов, присоединившихся было доверчиво вместе с Литвой к Польше? Неужели хотят воскресить память предков наших, падших в кровавой брани за свои права и за свою веру? Нам указывают на униатскую веру! Как бы была, или могла быть униатская вера!? Как бы Уния не была лишь коварной приманкой для отклонения отцов наших от России и от истинно-православной Восточной Церкви!? Как бы эта несчастная Уния не была орудием тяжких терзаний и гонений, которые испытали предки наши в течении трехсот лет; пока мы, потомки их, не обрели наконец тихого пристанища и успокоения на лоне России и матери своей Православной Церкви!.. Все это совершенно известно духовенству Литовской епархии, получившему по большей части светлое образование. Его не обмануть злоумышленникам хитросплетенною ложью; его не застращать и угрозами. Если злонамеренным стало дерзости на неправедные покушения; то добрым ли пастырям православного стада малодушествовать, и в соблюдении своего долга не обрести сугубых сил к охранению истины и к обличению неправды? Но могут быть неопытные, могут быть неосторожные. Могут быть и несведущие, могут быть особенно небрежные в усердном надзоре за своими паствами» [18, с. 43–46].

В связи со сказанным митрополит Иосиф посчитал своим долгом усилить контроль над ситуацией. Он обязал благочинных: 1) предостеречь лично каждого священника, дав прочесть им это послание; 2) внушить духовенству блюсти свою паству от «наговоров и подстрекательств»; 3) дать соответственные местным обстоятельствам наставления всем священнослужителям, чтобы они незамедлительно докладывали о случаях революционной пропаганды и представляли напечатанные прокламации и воззвания, если такие получат; 4) полученные от духовенства сведения представлять в епархиальное управление, «дабы мог я [владыка Иосиф – *А.Р.*] принимать соответственные меры к охранению православной паствы» [18, с. 46].

Окружное послание от 19 декабря 1861 года произвело на духовенство огромное впечатление. Священникам, находившимся под прямым воздействием польской пропаганды, получавшим революционные прокламации и воззвания, не видевшим рядом с собой твердой русской власти, оно напоминало о прочном основании правоты их дела, указывало, как себя вести в этих сложных обстоятельствах. Нельзя не согласиться с мнением Г.Я. Киприановича, который очень высоко оценил линию поведения, выбранную митрополитом Иосифом во время назревавшего шляхетского вооруженного выступления: «…когда все наши власти в западном крае были в крайнем расслаблении, когда в иных местах их почти не существовало, один Иосиф спокойно и твердо держал в своих руках все нити своего управления и… делал своему духовенству, а через него и народу, указания как вести себя. Как бороться с поляками. Этим в значительной степени нужно объяснить то ясное понимание своего положения, каким обладал народ перед смутой, и то спокойствие, которое он сохранял среди панских козней. Этим также нужно объяснить и то, что самые слабые священники верно исполняли свой долг в те трудные времена и не поддались полякам» [9, с. 389].

Действительно, если единичные случаи поддержки православными священниками восстания выразилась в невнятных действиях, которые квалифицировались как проявление слабости перед лицом угроз, за которые их только до покаяния отлучали от священнослужения и переводили на другие приходы (за исключением Николая Мороза), то факты верности белорусского духовенства православию и империи носили массовый характер. Священники терпели избиения и издевательства, были вынуждены скрываться, лишались имущества и даже шли на смерть, но отказывались быть пособниками мятежников [16, с. 55–63; 34]. Как известно, от рук польских патриотов приняли мученическую смерть священники Даниил Конопасевич, Роман Рапацкий и Константин Прокопович[1], а также принадлежавшие духовному ведомству дьячок церкви Святая Воля Пинского уезда Федор Юзефович и учитель Субочевского сельского училища Вилкомирского уезда Викентий Смольский [16, с. 58–59, 61–63].

Итак, православное духовенство решительно отказало польскому восстанию в поддержке. В то же время остается актуальным вопрос: почему так случилось, почему бывшие униатские священники не пожелали возрождения унии и поддержали правительство? Проблема состоит в том, что, как уже говорилось, после Полоцкого объединительного Собора 1839 года не произошло ни улучшения материального положения, ни возвышения в глазах местного общества социального статуса белорусских православных священников. Они не чувствовали особой заботы и поддержки со стороны правительства. Российские власти в 1840–1850-х годах совершили целый ряд непродуманных и даже вредных политических и социально-экономических действий, которые затормозили развитие Православной Церкви на белорусских землях, не допустили значительного подрыва влияния Католической Церкви, что в немалой степени послужило причиной восстания 1863–1864 годов. Пожалуй, единственным российским чиновником, который осознал масштаб и значение совершившейся в Северо-Западном крае в 1839 году перемены был камергер В. Скрипицын. В одном из своих рапортов, адресованных обер-прокурору Н.А. Протасову в 1839 году, он написал, что воссоединение униатов представляет собой не шаг на пути к интеграции белорусско-литовских губерний в имперское тело, а решающую победу России на этих землях [25, л. 30–31 об.]. Судя по правительственной конфессиональной политике в западных губерниях, его голос услышан не был.

Так почему же священники не поддержали восставших польских националистов-революционеров? Без сомнения, на позицию православного духовенства повлияло

[1] В убийстве священника Прокоповича принимал участие местный ксендз Моравский [8, с. 116–119].

воспитание и духовная жизнь в православной вере как помнивших унию священников, так и их детей – нового поколения белорусских пастырей. Этот фактор зачастую не учитывается современными светскими историками. Между тем стоит обратить внимание на малоизвестное событие, которое во многом объясняет провал надежд польских повстанцев 1863–1864 годов на поддержку православного духовенства и возрождение унии.

25 мая 1850 года во время посещения Вильно императором Николаем I архиепископ Иосиф (Семашко) (в сан митрополита он был возведен в 1852 году) с крестом в руках во главе духовенства встречал монарха на паперти кафедрального Никольского собора. Царь приложился ко кресту, поцеловал руку владыки и в его сопровождении вошел в храм. Здесь по одну сторону стояли высшие чиновники во главе с генерал-губернатором И.Г. Бибиковым и представители дворянства и общественности края, в подавляющем большинстве тайные патриоты Речи Посполитой и ярые русофобы. По другую сторону рядами стояли скромные учащиеся Литовской духовной семинарии. После обычного в таких случаях молебна случилось то, что всколыхнуло весь город и вызвало волну недовольства владыкой Иосифом у всех облеченных властью и именитых присутствовавших. Владыка взял императора Николая I под локоть правой руки, демонстративно провел его мимо блестящего виленского общества, подвел к семинаристам и в ответ на недоумение самодержца указал на них со следующими словами: «Добрая молодежь и надежная» [5, т. 2, с. 483].

Продуманным нарушением протокола визита и этими словами владыка со всей отчетливостью показал императору, что, по его мнению, православное духовенство является не только главной и надежной, но и единственной опорой России в Северо-Западном крае. Такое действие Семашко обличало всех тех, кто нес государственную ответственность за благополучие белорусско-литовских земель, со всей очевидностью раскрывало настоящее настроение местной знати, в среде которой культивировалась ненависть к России. Этот эпизод описал в своих воспоминаниях сам митрополит Иосиф. То, что все это действительно имело место, подтверждает в своих воспоминаниях протоиерей Игнатий Пашкевич, которой был там. Мало того, он добавляет, что Николай I после слов Семашко сказал семинаристам: «Дай Бог быть вам такими, какими следует быть» [17, с. 372]. При этом отец Игнатий делает очень ценное наблюдение – среди семинаристов стоял юный Роман Рапацкий, который в иерейском сане в 1863 году под угрозой смерти не отрекся от своего священнического долга и принял мучительную смерть от рук восставших патриотов Речи Посполитой. Видимо, отец Роман хорошо помнил слова митрополита Иосифа и императора Николая I, полагал их руководством для жизни и церковного служения. Такую школу воспитания не только словами, но и неординарными делами прошли все священнослужители белорусско-литовских епархий.

Так же можно не сомневаться, что священники хорошо помнили времена унии, когда они представляли собой второсортное католическое духовенство, помнили презрение, которое они испытывали как со стороны ксендзов, так и со стороны католической шляхты. Возвращение к униатской старине для них означало возвращение к унижениям. Так же они чувствовали ответственность за свою паству, понимали, куда и ее хотят вернуть восставшие, – к религиозному и культурному порабощению, нищете и невежеству. Такое понимание бывшего униатского духовенства хорошо выразил священник Август Куцевич. Он писал по этому поводу: «Когда литовский крестьянский народ [то есть население запада современной Белоруссии – *А.Р.*] страдал под тяжелым гнетом крепостного права; когда литовское [то есть ополяченное и окатоличенное западнорусское – *А.Р.*] дворянство, давно утратившее свою веру и народность, видя в народе что-то чуждое для себя, рвало все духовные родственные свои связи с ним и облагало оный всевозможными тягостями: в то время, кто, как не православное духовенство, было хотя немощным, но всегда сердобольным опекуном несчастного народа и защищало его от насилий и изуверства, часто

при самых невыгодных для себя от того последствиях? Кто видел в крестьянине своего брата, своего друга? Кто его измученного и униженного согревал своей любовию и утешал надеждою счастливейших дней? Когда этот отверженный народ коснел в самом непроходимом невежестве, и когда наши патриоты-дворяне считали образование даже вредным для народа, – кто первый, как не тоже духовенство, стал убеждать крестьянина в пользе образования? Кто указывал ему на образование, как на единственное средство к выходу из несчастного положения? И кто затем первый сделался проводником просвещения в массы народные?» [12, с. 748–749].

Наконец, самое главное. Полоцкий объединительный Собор 1839 года, разорвавший Брестскую церковную унию в пределах России, был возможен исключительно при одном условии: униатское духовенство не было уверено в религиозной правде католичества. Наоборот, в результате богословских изысканий и духовных размышлений оно пришло к убеждению в том, что Христианская Истина содержится во Вселенском Православии. Это был сложный путь, но он был пройден священниками. На первый взгляд такой вывод слишком пафосен, да и его трудно обосновать. Однако стоит обратить внимание на память, которую оставил в среде белорусских священников, отказавшихся в 1839 году от унии с Римом, митрополит Иосиф (Семашко) – главный инициатор и совершитель воссоединения униатов с православными. Например, вот что сказал протоиерей Павел Круковский своему сыну, когда в ноябре 1868 года получил известие о кончине митрополита Иосифа: «Без него [митрополита Иосифа – *А.Р.*]… не подымется к новой жизни наш край! Не будет уже в Белоруссии такого митрополита; никто не направит новое поколение духовенства к заветам вечной правды, никто не вдохнет живой веры в святое дело народного обновления» [11, с. 245]. Стоит отметить, что эти слова отец Павел говорил не для широкой публики, а в узком семейном кругу, что, помимо прочего, снимает проблему пафосности и говорит о том, что белорусские священники действительно увидели в православии путь к религиозному спасению. Более того они рассматривали возвращение к православию, а Семашко был его духовным символом, в качестве нового, более справедливого этапа народной жизни, ее обновления. Таких людей было бесполезно призывать вернуться в униатский извод католичества. В отказе от унии, а следовательно, и в разделении своих и польских интересов, они видели религиозную и народную правду, что позволило им перетерпеть все несправедливости от российского правительства в 1840–1850-х годах, а во время польского восстания с достоинством вынести издевательства, побои, ограбление и даже идти на смерть.

Надо сказать, что позиция, занятая православным духовенством, как уже было отмечено, определила масштаб восстания. Можно предположить, что в случае перехода на сторону восставших большого числа священнослужителей за ними последовали бы и более или менее значительные крестьянские массы. Тогда события 1863 года приобрели бы характер национально-освободительного восстания. Справиться с таким явлением российскому правительству было бы трудно. Позиция, занятая духовенством, превратила вооруженное выступление польских националистов в мятеж узкой группы шляхты, обреченный на провал из-за недостаточной социальной базы. К сожалению, значимость роли православного духовенства в событиях 1863–1864 годов практически не учитывается современными историками.

Принимая во внимание позицию, занятую в отношении польских мятежников православным духовенством, приходится сказать, что подавление вооруженного выступления сторонников восстановления Речи Посполитой не является поворотной точкой в исторической судьбе белорусского народа, как полагают многие историки. Дело в том, что мятежники проиграли не тогда, когда их отряды были разгромлены правительственными войсками, а тогда, когда белорусские православные священники (и воссоединенные из

унии в 1839 году, и их дети – молодое поколение православных священнослужителей) не поддержали пропаганду ксендзов и шляхетских революционеров, не ответили согласием на их призыв возродить церковную унию. Наоборот, они заняли твердую православную и проправительственную позицию. В результате М.Н. Муравьеву пришлось иметь дело не с широкомасштабным народным восстанием, а с мятежом представителей высшего сословия, не имевшим опоры в массах. Можно с полным правом говорить о том, что события 1863–1864 годов на белорусских землях стали проверкой убеждений православного духовенства и его паствы. Но эти убеждения не могли сложиться за короткое время активной фазы мятежа. Они сформировались ранее. Это произошло в ходе подготовки и совершения воссоединения униатов с православными в 1839 году. Кроме того, взгляды православного белорусского духовенства выдержали испытание недальновидной конфессиональной политикой правительственных кругов Российской империи в 1840–1850-х годах. Так что поворотным пунктом в истории белорусов, изменившим вектор их национально-культурного развития, нужно считать Полоцкий объединительный Собор 1839 года, а не усмирение мятежа 1863–1864 годов, как полагают многие современные историки. Как уже говорилось в начале статьи, так полагал сам граф Михаил Николаевич Муравьев, который в своих действиях по разгрому мятежников смог твердо опереться и на православное духовенство, и на православный белорусский народ.

Таким образом, среди конфессиональных аспектов, повлиявших на события польского восстания 1863–1864 годов, наиболее важными представляются следующие. Во-первых, правительственная политика Российской империи в 1840–1850-х годах не обеспечила в полной мере возрождение православия в западных губерниях. Это позволило сохраниться господству полонизма и католичества в крае и питало надежды польских патриотов на воплощение их мечтаний. Во-вторых, политический курс на включение польской и ополяченной белорусской шляхты в государственное строительство, проводимый в рамках обычной российской имперской практики, оказался несостоятельным на бывших территориях Речи Посполитой. Несмотря на это, восстание 1863–1864 годов со всей очевидностью продемонстрировало факт прочного вхождения западнорусского населения в русский религиозный и историко-культурный мир. Позиция воссоединенного от унии православного белорусского духовенства подтвердила историческую и религиозную справедливость упразднения Брестской церковной унии в 1839 году. Ее следствием явился провал попыток польских повстанцев опереться в ходе восстания на широкие народные массы.

Литература

1. *Брянцев П.Д*. Польский мятеж 1863 г. Вильна: Тип. А.Г. Сыркина, 1892. 263 с.
2. Высочайше утвержденное положение об обеспечении православного сельского духовенства землями, домами и единовременными пособиями в губерниях: Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской, в Ковельском и Овручском уездах Волынской и в Белостокской области // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 17. Отд. 1: 1842 г. № 15872. С. 771–780.
3. *Грыгор'ева В.В.* Русіфікацыя насельніцтва і канфесіянальная палітыка царызму на Беларусі (1861–1904) // Канфесіі на Беларусі. Минск, 1998. С. 60–84.
4. *Ильин А.* Ян Позняк – первый исследователь участия православного духовенства в восстании 1863–1864 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Сьвіслацкіяаркушы – Кастусь Каліноўскі - Бібліятэка (arkushy.by) (дата обращения: 26. 01. 2023).
5. *Иосиф (Семашко), митр*. Записки Иосифа митрополита Литовского, изданные Императорскою Академиею Наук по завещанию автора: в 3 т. СПб.: Тип. имп. Академии наук, 1883.
6. *Иосиф (Семашко), митр.* Семь слов Синодального Члена Иосифа, Архиепископа Литовского и Виленского, говоренные при важнейших случаях служения. Вильно: Тип. Завадского, 1848. 100 с.
7. *Карпович О.В.* Участие духовенства в восстании 1863–1864 гг. на землях Беларуси // Вестник Брестского государственного технического университета. 2008. № 6. С. 20–22.
8. *Карпович О.В*. Участие духовенства в повстанческом движении на Белорусских землях в 1863 г. // Хрысціянства ў гістарычным лесе беларускага народа: зб. навук. арт. Гродна, 2008. С. 116–119.
9. *Киприанович Г.Я.* Жизнь Иосифа Семашки, митрополита Литовского и Виленского и

воссоединение западно-русских униатов с православною церковию в 1839 г. 2-е изд., испр. и доп. Вильна: Тип. И. Блюмовича, 1897. 613 с.

10. *Коялович М.О.* Поездка в середину Белоруссии. СПб.: Тип. Деп уделов, 1887. 17 с.

11. *Круковский А.В.* Страничка из истории белорусского духовенства // Русская старина. 1910. Т. 143. С. 240–245.

12. *Куцевич А., свящ.* Ответ на воззвание антинародного правительства // Литовские епархиальные ведомости. 1863. № 19. С. 748–749.

13. *Миловидов А.И.* Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Кн. VI. Ч. 1: Переписка по политическим делам гражданского управления с 1 января 1862 по май 1863 г. Вильно, 1913. 462 с.

14. *Муравьев М.Н.* Граф Михаил Николаевич Муравьев: Записки его об управлении Северо-Западным краем и об усмирении в нем мятежа, 1863–1866 гг. // Русская старина. 1882. Т. 36. С. 623–646, 630–632.

15. *Назимов И.В.* Владимир Иванович Назимов: очерк из новейшей летописи Северо-Западной России / сост. А.С. Павлов // Русская старина. 1885. Т. XLV. Январь – март. С. 385–410.

16. *Наумович И.* Пятидесятилетие (1839–1889) воссоединения с православной церковью западно-русских униатов: ист. очерк. СПб.: Синод. тип., 1889. 62 с.

17. *Пашкевич И., свящ.* Мои семинарские воспоминания // Гродненские епархиальные ведомости. 1909. № 34. С. 361–372.

18. Предписание Высокопреосвященнейшего Иосифа, митрополита Литовского и Виленского, всем благочинным Церквей и Монастырей от 19 декабря 1861 г. // Литовские епархиальные ведомости. 1863. № 2. С. 43–46.

19. *Пыпин А.Н.* История русской этнографии. Минск: БелЭн, 2005. 256.

20. Совет министра внутренних дел: По отчету Виленской губернии за 1860 г. // РГИА. Ф. 1281. Оп. 6. Д. 29.

21. Дело о разрешении постройки в белорусских губерниях православных церквей по упрощенным типовым проектам // РГИА. Ф. 1284. Оп. 225. Д. 24.

22. Записки митр. Иосифа о своей жизни и деятельности, с включением копий оригинальной переписки и письма имп. Александру II: Автографы и писарские копии // РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 281.

23. Всеподданнейшая записка митр. Иосифа о Польше и о борьбе с польским влиянием в западных губерниях // РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 283.

24. Запрос обер-прокурора Синода и представление архиепископа Василия о состоянии базилианских монастырей в Белорусской униатской епархии во время воссоединения. Приложение: перевод статей из периодических газет о жестоких притеснениях монахинь базилианского ордена // РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 294. Л. 12–18.

25. Рапорты камергера Скрипицына по обозрению им грекоуниатской епархии // РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д. 18.

26. Отчет Виленского гражданского губернатора за 1863 год (к журналу Комитета от 12 мая 1864 г.) // РГИА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 4.

27. Указ Святейшего Синода Литовскому митрополиту Иосифу об обозрении Могилевской и Полоцкой епархий // РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 280.

28. Исторический очерк учреждения и деятельности Римско-католической духовной Коллегии, составленный чиновником МВД А. Мамантовым // РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 41.

29. *Римский С.В.* Конфессиональная политика России в Западном крае и Прибалтике XIX столетия // Вопросы истории. 1998. № 3. С. 25–44.

30. Слова, речи и архипастырские послания к духовенству Полоцкой епархии преосвященного Василия, архиепископа Полоцкого и Витебского. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Luzhinskij/slova-rechi-i-arhipastyrskie-poslanija/#0_48 (дата обращения: 06. 04. 2023).

31. *Утрата С., диакон.* Восстание 1863–1864 гг. и церковная жизнь в Белоруссии: дис. … канд. богословия / Московский Патриархат, Белорусская Православная Церковь; Минская Духовная Академия имени святителя Кирилла Туровского, каф. Церковной Истории. Жировичи, 2000. 201 с.

32. *Филарет (Дроздов), митр.* Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского по учебным и церковно-государственным вопросам, издаваемое под редакциею преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского: в 7 т. СПб.; М.: Синод. тип., 1885–1887. Т. 4.

33. *Швед В.* Польскае пытанне і Беларусь у 1772–1863 гадах // Шлях да ўзаемнасці: матэрыялы VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Беласток, 16–18 июля 1999 г. Беласток, 2000. С. 268–280.

34. *Щеглов Г., иерей.* Страдания православного духовенства в дни польского восстания 1863–1864 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elib.minda.by/bitstream/123456789/759/1/33-48.pdf (minda.by) (дата обращения: 20. 04. 2023.

35. *Kalembki S.* Powstane Styczniowe 1863–1864. Warszawa, 1990. 650 s.

36. *Kusielczuk A.* Polityka narodow osciowa Rosji a polskie i bialoruskie kwestie narodowe na przelomie XIX–XX wieku // Шляхдаў заемнасці: матэрыялы VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Гродна, 1999. С. 167–179.

37. *Sosna G., ksiądz.* Hierarchia i klerkościola prawoslawnego w granicach II Rzeczy pospolitej i Polski powojennej w XIX – XXI wieku / ksiądz Grzegorz Sosna, m. Antonina Troc-Sosna. Ryboly: ORTHDRUK, 2012. 1007 s.

Аннотация. В статье выявляются конфессиональные предпосылки польского восстания 1863–1864 годов, рассматривается позиция, которую заняло православное духовенство по отношению к повстанцам, раскрывается значение этой позиции для масштаба и итогов события. Делаются выводы о несостоятельности конфессиональной политики империи в западных губерниях, подчеркивается значительный вклад православных священников в подавление восстания.

Ключевые слова: восстание 1863–1864 годов, Российская империя, западные губернии, конфессиональная политика, православное духовенство.

Protopriest Alexander A. Romanchuk, Chairman, Synodal Historic Commission, Belarusian Exarchate, Moscow Patriarchy; MA in Theology, Head, Department of Church History and Church-Practical Disciplines, Minsk Theological Seminary; Associate Professor, Department of Church History and Church-Practical Disciplines, Minsk Theological Academy. E-mail: romanchuk_alex@ma

Confessional Aspects of the Polish Uprising of 1863–1864

Abstract. In the article the author reveals the confessional prerequisites of the Polish uprising of 1863–1864, examines the position taken by the Orthodox clergy in relation to the rebels, discloses the significance of this position for the scale and outcome of the event. He draws the conclusion regarding the inconsistency of the confessional policy of the empire in the western provinces, and stresses the significant contribution of Orthodox priests to the suppression of the uprising.

Keywords: Uprising of 1863–1864, Russian Empire, Western Provinces, Confessional Policy, Orthodox Clergy.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-62-95

Александр Бендин

Проблемы обеспечения безопасности Российского государства после разделов Речи Посполитой и образования Царства Польского (конец XVIII – первая половина XIX века)

Вооруженный мятеж 1863 года, вспыхнувший в Царстве Польском, а затем перекинувшийся в Северо-Западный и Юго-Западный край России, оказался неожиданным не только для правительства, но и для великорусского общества. Правительством и императором Александром II новый польский мятеж был воспринят как очередная попытка нарушения территориальной целостности Российской империи, которая вызвала экстренную необходимость принятия адекватных мер для его подавления. Правительство, действовавшее доселе нерешительно и уступчиво, пусть и не сразу, но все же начало осознавать политический и геополитический смысл вооруженного конфликта, который начался на западе Российской империи.

В связи с этим стала формироваться и реакция правительства на поведение дипломатии и общественного мнения Великобритании, Франции и Австрии, которые выступили в поддержку вооруженной попытки расчленения России. В то же время запрос на понимание смысла происходивших событий стало выказывать и образованное великорусское общество, которое нуждалось в выработке своего отношения к вооруженному мятежу и к решениям правительства по защите суверенитета и территориальной целостности государства. Сложилась экстремальная ситуация, когда правительство, преследуя государственные интересы, остро нуждалось в общественной поддержке, общество же, в свою очередь, было заинтересовано в понимании целей, задач и действий правительства по отношению к мятежникам, общественному мнению и дипломатическому шантажу государств Западной Европы.

Для этого обществу предстояло осознать, что такое «польский вопрос» и как он воздействует на геополитическое и внутреннее положения империи, каким становится теперь отношение к России в славянском мире, как соотносятся между собой цивилизационная принадлежность России и Польши и, наконец, самое главное, почему «роковой вопрос», вновь принявший форму жесткого вооруженного противостояния, является в то же время и «русским вопросом» [1]. Оставалось выяснить, в чем же заключается эта неразрывная связь, и почему на западных окраинах России успешное для государства разрешение «польского вопроса» становилось невозможным без столь же успешного разрешения «вопроса русского».

Литература о «польском вопросе», созданная как до революции, так и в советский и постсоветский период, весьма обширна и до сих пор непрерывно пополняется новыми исследованиями. «Польский вопрос» был чрезвычайно популярным в великорусском обществе. О нем писали славянофилы и западники, радикальные, либеральные и консервативные публицисты, социальные философы и литературоведы [2–11]. Не менее

Бендин Александр Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, Институт теологии Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь).E-mail: abendin@yandex.ru

обширной является и российская историография «польского вопроса», включая советский и постсоветский периоды [12–16].

Объясняя великорусскому читателю, почему «роковой вопрос» в силу сцепления совокупности цивилизационных и политических причин является также и «вопросом русским», Н.Н. Страхов указывал на условия, при выполнении которых политика российской власти по отношении к бывшим польским территориям обретала созидательный смысл и безусловную моральную правоту: «Польша не имеет никакого права на русские области только в том случае, если у русской земли есть своя судьба, свое далекое и важное назначение. Защищая наши коренные области, мы будем правы только тогда, если этим самым приобщаем их к тому великому развитию, в котором одном они могут достигнуть своего истинного блага» [1, с. 161; 17].

На поставленный известным публицистом вопрос о политической, религиозной и национальной судьбе населения «русских областей» бывшей Польши ответом стали как правительственные решения, так и рефлексия общественно-политической мысли по поводу проблем формирования русской идеологии, общерусского самосознания и интеграции западных окраин в состав России [18].

Научным же ответом на поставленный в публицистике «русский вопрос» стало появление западнорусской историографии, основателем которой был М.О. Коялович. Наиболее видными представителями западнорусского направления российской историографии стали П.Н. Жукович, Г.Я. Киприанович, П.Дм. Брянцев, А.И. Миловидов, К.В. Харлампович, прот. И.А. Котович и др. Проблематика исследований, методологические подходы, сюжеты и оценки западнорусской историографии исходили из основополагающей концепции единства большого русского народа – великорусов, белорусов и малороссов. В рамках этой концепции «русский вопрос» был конкретизирован и осмыслен как «вопрос западнорусский». Объектом исследования западнорусской историографии являлась социальная, этническая и церковная история западных русских – белорусов и малороссов в Древней Руси, Великом княжестве Литовском, Речи Посполитой и Российской империи.

Следует отметить, что внимание большинства известных российских историков – С.М. Соловьева, Н.И. Кареева, А.Л. Погодина, А.А. Корнилова, Ф.И. Смита, Н.К. Шильдера и др. привлекал в первую очередь «польский вопрос», который рассматривался с точки зрения межсубъектных и внутрисубъектных российско-польских отношений, включая проблемы разделов Польши, истории Царства Польского, действий правительства по подавлению мятежей 1830–1831 и 1863–1864 годов и т.д.

В рамках же гораздо менее известной западнорусской историографии внимание исследователей привлекали вопросы внутреннего русско-польского противостояния в области политической, религиозно-этнической и культурной, проблемы сохранения русской идентичности и православной веры в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой. Темами исследования являлись также вопросы государственной и конфессиональной политики России в «губерниях, от Польши возвращенных».

В отличие от обширной и постоянно растущей российской историографии «польского вопроса», успешно пережившей марксистскую интерпретацию, а ныне столь же успешно переживающей интерпретацию либеральную, судьба консервативной западнорусской историографии сложилась и складывается принципиально иначе. Концепция единства большого русского народа, положенная в основу дискурса западнорусской историографии, оказалась идейно и политически неприемлемой ни для советских марксистов, ни для современных российских либералов, ни для пришедших к власти на некоторых постсоветских территориях русофобских националистов.

В связи с этим преданный принудительному забвению в советский период консервативный западнорусский историографический дискурс не получал распространения в

современной России и фактически запрещен в Белоруссии и на Украине [17]. Идейно-политические перемены, происходящие в России в последнее время, предоставили возможность продолжения и развития традиций консервативной западнорусской историографии и модернизации ее научного дискурса. Попыткой продолжения и развития этих дискурсивных традиций историографии является настоящая статья.

Политическим ответом на «русский вопрос» 1863 года стал длительный процесс превращения западнорусского населения в объект государственной политики системного реформирования и обрусения Западного края. Если говорить об истории этого процесса, то следует отметить, что появление его связано с реализацией одного из направлений внешней политики России в отношениях с Речью Посполитой во второй половине XVIII века. Став составной частью внутренней региональной политики, «русский вопрос» начал решаться правительством в рамках сословной, конфессиональной и национальной политики, подчиненной задачам инкорпорации «губерний, от Польши возвращенных», в состав России.

По мере присоединения западнорусских земель к Российской империи объектами государственной политики становились польская шляхта, католическая церковь, еврейские общины и т.д. Стараясь обеспечить безопасность Российского государства на западных рубежах, правительство выстраивало отношения с этими объектами, используя универсальные модели инкорпорации присоединенных территорий в состав империи, которые учитывали их сословные, конфессиональные и социально-экономические интересы. Проблемы политической лояльности России, возникавшие в результате применения названных моделей инкорпорации, не были присущи западнорусскому населению, в основном крепостному, которое сохраняло в своей массе верность российской монархии. В этих условиях проблемами безопасности Российского государства становились отношения зависимости крепостного западнорусского крестьянства от польского дворянства и шляхты «губерний, от Польши возвращенных».

Цель данной статьи – рассмотреть проблемы обеспечения безопасности Российского государства в связи с образованием Западной России и Царства Польского (конец XVIII – первая половина XIX века). Задачи статьи заключаются в следующем:

1) проанализировать политические мотивы и результаты разделов Речи Посполитой 1772–1795 годов и появления феномена Западной России с точки зрения безопасности Российского государства;

2) раскрыть содержательные аспекты понятия «геополитический просчет», допущенный императором Александром I при создании Царства Польского;

3) рассмотреть события мятежа и русско-польской войны 1831 года как опыт решения «польского» и «русского» вопроса.

4) выявить основные проблемы интеграционной политики Николая I в Царстве Польском и Западной России.

Появление феномена Западной России и проблемы ее интеграции в состав Российского государства

Возвратив в 1772–1795 годах территории Западной Руси, которые находились в составе упраздненной тремя державами Речи Посполитой, Екатерина Великая существенным образом отодвинула границы России на запад [19, 20]. Тем самым было положено начало становлению такого территориально-этнического и конфессионального явления как Западная Россия[1].

[1] «Под именем Западной России нужно разуметь не одну Белоруссию или Литву, а вместе с ними и Малороссию, т.е. нужно разуметь всю ту страну, которая лежит на запад от Днепра и юго-запад от Двины до границы Царства Польского и Австрийской империи» [см. 21, с. 3–4].

Продолжая начатое Петром Великим строительство империи, Екатерина восстановила рубежи России там, где некогда проходили границы Древнерусского государства и где по-прежнему сохранялись этнические границы расселения западнорусской ветви большого русского народа и этнических литовцев [22]. Упразднение господства Польского государства над православным западнорусским населением, которое подвергалось религиозно-национальным гонениям со стороны польской шляхты и католического духовенства, стало его *политическим освобождением*, которое произошло под властью российской короны. Формирование административно-политического статуса территорий, включаемых в состав России, происходило постепенно. В 1772 году было учреждено Белорусское генерал-губернаторство, в состав которого вошли Псковская и Могилевская губернии. После присоединения к России новых западнорусских земель Екатериной Великой было учреждено Литовское генерал-губернаторство с центром в Вильне. В это же время на присоединенных землях Волыни в 1795 году было образовано Волынское наместничество с центром в Житомире [23, 24].

По словам историка С.М. Соловьева, Екатерина Великая продолжила начатый русскими царями процесс «собирания русских земель» на западе, прерванный «вечным миром» с Польшей в 1686 году [25]. С возвращением исторических западнорусских территорий и присоединением этнической Литвы начался процесс создания оптимальной модели взаимоотношений региональной власти и имперского центра, а также организация «имперской инфраструктуры региона» [26, с. 221] на основе инфраструктуры польской, призванные, в совокупности, обеспечить безопасность Российского государства от внешних угроз, исходивших от западноевропейских соседей – Австрии и Пруссии.

Геополитический вектор, которому следовала Екатерина Великая, стратегически и тактически не был направлен на дальнейшее движение империи на запад и участие в разделах исторических польских земель (Великой и Малой Польши). В связи с этим дополнительным фактором, ослаблявшим потенциальных врагов и обеспечивавшим внешнюю безопасность России на долгосрочную перспективу, становились сложные проблемы массового польского ирредентизма, которые должны были решать Австрия и Пруссия, разделившие между собой практически все земли этнической Польши[1].

На исторических западнорусских территориях, возвращенных Россией, католическая польская шляхта представляла собой сословно-этническое меньшинство, рассеянное на большой территории среди преобладающего западнорусского (белорусы и малороссы)

[1] Следует отметить, что основатель западнорусской школы историографии М.О. Коялович охарактеризовал упразднение Польского государства как «исторический приговор, давно заявленный историей» [21, с. 358–359]. В свою очередь, военный историк А.К. Пузыревский, следуя в русле консервативного русского дискурса, рассматривал вопрос раздела Польши и присоединения исторических западнорусских земель как наступательные действия российской монархии для «прочнейшего своего обеспечения и национального объединения». «Замечательно, – отмечал он, – что этот раздел, называемый некоторыми «величайшей несправедливостью XVIII века», не вызвал осуждения у многих передовых мыслителей Западной Европы, «друзей человечества», как, например, у Ж.-Ж. Руссо, или у одного из известнейших новейших проповедников свободы, а именно у Прудона, полагающего, что «никогда в истории не было столь заслуженного наказания»; он же приводит слова историка Сальванди, что история Польши может быть с самого начала ее определена словами «постепенный упадок» [27, с. 2].

Точку зрения А.К. Пузыревского разделял и биограф М.Н. Муравьева Д.А. Кропотов: «Не в силу денежных исков, а ради собственной безопасности, необходимой для ее существования, Россия имела право уничтожить государство второстепенное, не имевшее ни народа, ни будущности и вредное по своей нравственной импотенции не только для соседей, но и для своих подданных. Наконец, Россия не отделяла от Польши стран, населенных поляками, но возвращала свои собственные древние русские области, населенные единородным и единоверным русским племенем. Право России составляет высшее из всех человеческих прав, право самосохранения» [28, с. 322]. Отношение к разделам Польши, характерное для различных направлений в дореволюционной российской историографии, изложено в монографии Т.Т. Кручковского [29].

и литовского населения, как правило, крепостного крестьянства[1]. Теперь эта политически враждебная социальная группа запиралась в государственных границах России, которые служили препятствием для ирредентистского движения по объединению этого меньшинства с основной массой шляхты на территории этнической Польши, разделенной и подвластной Австрии и Пруссии. Разумеется, угроза появления сословного польского ирредентизма в Западной России не исчезала, однако вероятность возникновения сепаратистского мятежа была существенным образом сокращена.

Важной составляющей внешней политики Екатерины Великой, реализованной в разделах Польши, являлось территориально-политическое и церковное воссоединение великорусов Центральной России с белорусами и малороссами Западной Руси. Разделы Польши упразднили границу, разделявшую большой русский народ, историческое единство которого основывалось на общем этническом происхождении, истории, культуре и православной вере. «Единоплеменные» западные русские и восточные русские после длительного исторического перерыва вновь воссоединились в новых границах единого Российского государства. Принадлежащий к разным сословиям, многочисленный, сложный и многообразный по своим историко-культурным и региональным особенностям и традициям, большой русский народ восстановил свою территориально-политическую общность в результате внешнеполитических компромиссов, достигнутых Екатериной Великой с монархами Австрии и Пруссии [31, с. 388–389][2].

Особенность общерусского воссоединения заключалась в том, что «единоплеменные» белорусы и малороссы принадлежали к низшим сословиям, в основном, к крепостному и униатскому крестьянству, в то время как православные великорусы представляли собой все сословия российского общества, в том числе и основную часть «благородного» дворянского сословия. Западнорусское дворянство и шляхта, принадлежавшие к Православию, были малочисленны и не могли ни экономически, ни культурно конкурировать с доминирующей польской социальной элитой. В связи с этим «русский вопрос» в Западной России становился в первую очередь вопросом социальным и церковным, что придавало ему особую сложность и затяжной, трудно разрешимый характер.

Вместе с тем территориально-политический процесс «собирания русских земель» создавал правовые и канонические условия для церковного воссоединения белорусов и малороссов с великороссами, которое было связано с расширением границ и государственно-правовой защитой западнорусского Православия[3]. Начиная с периода формирования Западной России (1772–1795) национальный «русский вопрос» в процессе своего становления и дальнейшей эволюции начал формулироваться и решаться Екатериной Великой

[1] Социальное положение многочисленной поместной и беспоместной шляхты и меры правительства по интеграции шляхты в состав российского дворянства рассмотрены в диссертационном исследовании К.О. Трояновского [30].

[2] Положительную оценку результатам «собирательной» деятельности Екатерины Великой, давала западнорусская историография – М.О. Коялович и его последователи [см. 23, с. 313; 24, с. 234; 32, с. 208; 22, с. 22]. Следует отметить, что одна часть коренного западнорусского населения Холмской Руси до 1815 года находилась под властью Австрии, Пруссии и Наполеона, войдя затем в состав населения Царства Польского [см. 33, с. 1–6]. Другая часть – русины Карпатской Руси – оставалась под властью Австрии [34].

[3] В 1686 году Константинопольский патриарх Дионисий IV и Синод Константинопольского патриархата передали Западно-Русскую церковь (Киевскую митрополию) под юрисдикцию Московского Патриархата на постоянной основе. С учреждением Святейшего Синода в 1721 году Киевская митрополия продолжала оставаться в юрисдикции Русской церкви. Заграничная часть митрополии (Могилевская епархия) находилась на территории Речи Посполитой. Церковное подчинение православных подданных польской короны Синоду Русской церкви не стало препятствием для их религиозного угнетения со стороны римо-католиков и греко-католиков. Упразднение Польского государства и вместе с ним господствующего положения Римско-католической церкви остановило католическую экспансию и связанную с ней религиозную нетерпимость, поставив бывшую заграничную часть Киевской митрополии под защиту российских законов [см. 35–37].

как вопрос церковно-освободительный, подчиненный решению стратегической задачи – закреплению за Россией Восточной России Западной [21, с. 3–16; 38, с. 78–80].

Для церковного воссоединения западных русских (белорусов и малороссов) с православными великорусами существовали канонические и догматические препятствия, которые были созданы во времена Речи Посполитой в виде Брестской церковной унии, заключенной с Римом в 1596 году [39, с. 49–55]. Насильственное и длительное насаждение унии и латинского католичества привело к тому, что в начале XVIII века на территории Речи Посполитой осталась единственная православная епархия с центром в Мстиславле (Могилеве) [40, с. 287; 41, с. 145–197].

По словам М.О. Кояловича: «Униатская церковь готова была в эти времена довершить свою победу над западнорусским православием. Белоруссия, по-видимому, не представляла ей уже никакого затруднения. <…> К началу второй половины XVIII столетия в Могилевской епархии оставалось всего лишь 130 приходов и положение их было так тягостно, что, по свидетельству русского посланника в Варшаве (1752 г.), весь народ (белорусский) по нестерпимому гонению уже преклонялся на унию» [42, с. 5].

В официальных документах о возвращении западнорусских земель в состав России в 1793 и 1795 годах мотивационная составляющая манифестов о защите православных Речи Посполитой от религиозно-национальных гонений со стороны польской шляхты и ксендзов никогда не декларировалась как главная. В новом политическом дискурсе «собирания русских земель» [43, с. 245–258] превалировали две темы: политические и военные угрозы для безопасности Российской империи, которые исходили от анархической польской шляхты; преимуществ правопорядка, социального и религиозного мира, которые монархия гарантировала своим новым подданным. Религиозная и национальная нетерпимость к православным была представлена в манифестах как одно из проявлений той политической анархии, которая разрушала общественный и политический строй в Речи Посполитой.

Заявляя, например, свое право на исторические русские земли, Екатерина Великая в манифесте от 27 марта 1793 года указывала, что в политическом хаосе и беспорядках, которые охватили Польскую республику под воздействием идей и практик Французской революции, она с «особым соболезнованием <…> всегда взирала на те притеснения, которым земли и грады, к Российской империи прилеглые, некогда сущим ее достоянием бывшие и единоплеменниками ее населенные, созданные и православной христианской верой просвещенные и по сие время оную исповедующие, подвержены были» [44].

Несмотря на то, что главной причиной, заставившей императрицу прибегнуть к очередному разделу Польши, указаны угрозы политические и военные, появление официального дискурса «собирания русских земель» связано, по мнению М.О. Кояловича, с национальной и религиозной нетерпимостью польской шляхты к западнорусскому населению и попытками манипулирования им в антироссийских интересах: «Страшные неистовства поляков над русским народом, и православным, и униатским, беззаконные действия их по отношению к русским подданным и к православному епископу Виктору, затем старания их оторвать совершенно от России русский народ Польского государства, привлечь его к себе, поднять его у себя и даже народ самой России против русского правительства, уничтожили все благожелательные намерения Екатерины к Польше и привели ее к убеждению, что нужно разрешить в основе русско-польскую тяжбу, – избавить от польского ига русский народ этой страны» [42, с. 352][1].

[1] С точки зрения западнорусской историографии, официальный политический дискурс, который идеологически обосновывал разделы Польши, стал одним из результатов реакции Екатерины Великой на насилие и нетерпимость к русскому населению Польши со стороны шляхты и католического духовенства. Можно, разумеется, говорить о том, что утверждение это является дискуссионным, однако А.Б. Каменский,

Подтверждением тезиса М.О. Кояловича стала активная практическая реализация, второстепенного, на первый взгляд, положения манифеста о необходимости защиты религиозной совести, национальных чувств и безопасности «единоплеменного» и «единоверного» населения Речи Посполитой от царившего произвола, политических насилий и религиозно-национальных гонений со стороны польской шляхты и ксендзов. Эти положения манифеста, ставшие составной частью нового имперского дискурса «собирания русских земель», явились идеологическим обоснованием государственно-церковной политики национально-церковного освобождения западнорусской части большого русского народа. Начавшийся процесс церковной реконкисты привел к масштабным изменениям в конфессиональном составе западнорусского населения присоединенных территорий и кардинальным переменам в правовом положении западнорусского Православия.

Во-первых, бывшая прежде объектом гонений и нетерпимости со стороны Польского государства, магнатов, шляхты и римско-католического духовенства Могилевская православная епархия, подчиненная Святейшему Синоду, получила защиту и исключительные привилегии со стороны Российского государства [44, № 17108, 17114][1]. В результате присоединения новых территорий в 1793 году была образована новая Минская епархия, подчиненная архиепископу Виктору (Садковскому), который принял деятельное участие в воссоединении униатов с Православием [44, № 17113, 17289, 17290, 17318, 17319, 17323, 17333; 45].

Власть российского монарха освобождала западнорусских православных от подчинения польским законам, стоявшим на страже интересов воинствующего католичества, а униатам давала право на освобождение от канонической власти Рима и возвращение в Русскую церковь. По инициативе «снизу», то есть со стороны униатского духовенства и мирян, при деятельной поддержке императрицы и Святейшего Синода, местного священноначалия и духовенства в Западной России, прежде всего среди малороссов на Волыни и Подолии, начались массовые добровольные возвращения униатов в Русскую православную церковь. В результате церковной реконкисты в 1794–1796 годах от канонической власти Рима было освобождено около 1 600 000 униатов [42, с. 352–392; 24, с. 234–245; 23, с. 322–324; 32, с. 209–212; 46, с. 227–236].

Для белорусов и малороссов добровольное возвращение из принудительно навязанной унии открывало путь к церковному воссоединению с великороссами Центральной России, этническая идентичность которых была неразрывно связана с Православием. Массовое возвращение униатов и наделение воссоединенного западно-русского Православия исключительными привилегиями господствующей Русской церкви явилось первым крупным этапом церковного освобождения от канонической власти Рима, последовавшего за освобождением политическим. Совершенное Екатериной дело «собирания русских земель» неизбежно повлекло за собой и процесс церковного собирания большого русского народа. Национальный «русский вопрос», решенный как территориально-политический, приобретал теперь новую форму церковной реконкисты, связанной с процессами ликвидации униатского наследия Речи Посполитой. Однако значительное число белорусов и малороссов Западной России в Белоруссии и Литве все еще оставалось в унии, которая постепенно латинизировалась и полонизировалась, втягиваясь в орбиту влияния польского католического духовенства [40, с. 323–331].

анализируя условия формирования политического дискурса «собирания русских земель», не учитывает, на наш взгляд, названную точку зрения западнорусской историографии и выводы, сделанные Н.Н. Бантыш-Каменским. Следовательно, политический дискурс «собирания русских земель» содержательно не полон без своей неотъемлемой составной части – западнорусского дискурса защиты религиозной совести и церковного собирания большого русского народа, или православной церковной реконкисты [см. 39, с. 329–340].

[1] Во время посещения Белорусского края в 1780 году Екатерина при приезде в какой-либо город первыми посещала церкви и монастыри, а также молилась в них каждый воскресный и праздничный день, давая этим ясно видеть основную руководящую идею своих действий – православно-русскую [см. 22, с. 321].

Наряду с преобразованиями в области устройства и развития церковной жизни, императрица создавала институты государственного управления, которые, с одной стороны, препятствовали ополячению и окатоличению западнорусских подданных, а с другой – способствовали формированию этнической общности великороссов, малороссов и белорусов в новых церковных и политико-правовых условиях [44, № 17112, 17325, 17327–17329, 17332, 17334, 17335]. Восстановление исторических русских границ на западе, как политических, так и этнических, повлекшее за собой расширение канонических границ западнорусского Православия, положили начало созданию массовой социальной опоры российской власти в лице коренного западнорусского населения в новообразованной Западной России [21, с. 361; 32, с. 208][1].

Закрепление геополитического выигрыша, полученного в результате возвращения западнорусских и литовских земель, осуществлялось Екатериной Великой с помощью идейно обоснованной политики строительства империи [47]. Для того чтобы новые территории стали плацдармом, способным обеспечить военную и политическую безопасность России на западе, проводилась политика имперского прагматизма, которая предусматривала сохранение социальных привилегий католической польской шляхты и магнатов, норм местного законодательства и установление отношений веротерпимости к католичеству, иудаизму, исламу и протестантизму [48, с. 805–810; 49, № 13850; 50, № 1, с. 78–93, № 2, с. 267–268, 306–313].

С утверждением российского суверенитета над регионом, в «губерниях, от Польши возвращенных», начался процесс инкорпорации сословий, этнических групп, конфессий и религиозных общин в административно-правовое, экономическое, социокультурное и религиозное пространство России. Появился слой православных русских помещиков, получавших конфискованные имения бывших польских владельцев в результате высочайших земельных пожалований [23, с. 315–325; 51, с. 82–114; 22, с. 22–30, 52–60].

В качестве субъектов инкорпорации выступали монархия, имперское правительство, губернская администрация и Православная церковь, которая объединяла часть западнорусского крестьянства. Политика инкорпорации названных территорий в состав России, предусматривала в качестве административного механизма интеграции общероссийскую модель административного управления при сохранении местного социально-экономического уклада, партикулярного законодательства и религиозно-культурных традиций. В «губерниях, от Польши возвращенных», происходила постепенная унификация

[1] Современная российская полонистика, ставшая либеральной, все еще сохраняет оценки разделов Польши, которые утвердились в советской историографии и в польском историческом дискурсе. Об этом напоминает известный исследователь славист Л.М. Аржакова, цитируя утверждение С.М. Фалькович о том, что «разделы Польши оказали глубокое влияние на русское общество, заставив наиболее прогрессивную его часть (подчеркнуто нами. – *Л.А.*) осудить их, испытать чувство вины и стыда, выразить полякам симпатию и сочувствие, предложить им союз для совместной борьбы за свободу» [см. 13, с. 127]. Раз уж в цитируемом тексте маститого историка-полониста С.М. Фалькович затронута тема взаимосвязи прогресса и свободы, хотелось бы отметить, что для западнорусского населения «губерний, от Польши возвращенных», торжество польской «свободы» означало отторжение от России ее исторических западнорусских земель и восстановление над этими территориями польского суверенитета. В таком случае с высокой долей вероятности следовало ожидать усиления колониальной эксплуатации западных русских, их принудительную религиозную и этническую ассимиляцию и неизбежное превращение в политических врагов России и православных великорусов.

Таковыми представляются перспективы реализации свободолюбивых чаяний «наиболее прогрессивной части» русского общества, совпадавших с целями польской «свободы». Выходит все же, что, скорее всего, исторически правы были осуждаемые доныне российские «реакционеры», «охранители» и проводники «угнетательской» политики «царизма». Их историческая вина перед либеральными полонистами заключается в том, что они не дали реализоваться «прогрессивной» русской и польской «свободе» ни в 1830–1831, ни в 1863–1864 годах, защитив тем самым суверенитет и территориальную целостность России, а вместе с ней свободу и этничность западных русских – белорусов и малороссов. О чем постоянно и напоминала упорно замалчиваемая с советских времен дореволюционная западнорусская и консервативная российская историография.

местных узаконений с российским законодательством, осуществлялась сословная интеграция польской шляхты в состав российского дворянства, вводилась система российского судоустройства и судопроизводства. Тем самым был взят стратегический курс на постепенное обрусение западных губерний как средство инкорпорации региона в состав России [21, с. 361–367; 28, с. 248; 22, с. 326–331, 337–338, 342–343; 51, с. 25–47, 64–69, 79–82].

Безопасность России на западных рубежах обеспечивала центральная власть российского императора и созданный этой властью местный административный аппарат, бюрократическая централизация и унификация, а также весомое военное присутствие в регионе. Геостратегический выигрыш, полученный Екатериной Великой при разделах Польши, был реализован во время Отечественной войны 1812 года. Накануне войны на возвращенных западнорусских и литовских территориях была создана оборонительная линия вдоль рек Западная Двина – Березина – Днепр. Опираясь на эти линии, русские войска во встречных сражениях сдерживали нашествие Наполеона, что позволило выиграть время для воссоединения 1-й и 2-й армии под Смоленском [52, с. 55, 64–66, 191–222; 53, с. 187; 54].

Однако несмотря на прагматизм российской региональной политики, вызванной стремлением к минимизации политических рисков в отношениях с польской шляхтой и католическим духовенством, на возвращенных территориях сохранялась потенциальная угроза шляхетского ирредентизма и вооруженного сепаратизма. Многочисленная польская шляхта (поместная и беспоместная), магнаты и католическое духовенство, проявляя внешнюю покорность власти российского императора, в действительности являлись силой, политически враждебной, готовой при всяком удобном случае поднять вооруженный мятеж с помощью внешнеполитических врагов Российской империи[1].

Появление внутренней угрозы безопасности Российского государства стало одним из результатов интеграционной политики Екатерины Великой, которая имела также и негативную составляющую, обусловленную господствующими в это время социальными институтами и социально-экономическими отношениями. Наиболее полно негативный эффект этой политики проявился в области сохранения сословных привилегий польских магнатов и шляхты, а также в сословной интеграции этой социальной группы в состав российского дворянства [20, с. 12–13; 55, с. 86–87].

Стремясь заручиться политической поддержкой привилегированного сословия польского общества, императрица сохранила за ним монопольное право на земельную собственность и власть над крепостным западнорусским и литовским крестьянством, предоставив одновременно возможность получения привилегий российского дворянства [50, с. 77, 93–94]. В результате католическому сословно-этническому меньшинству была сделана крупная односторонняя уступка, которая существенным образом снизила политическую эффективность стратегического выигрыша, полученного Россией от разделов Польши, породив так называемый польский вопрос [23, с. 314–316].

Суть тактической уступки – в институциональном континуитете, благодаря которому социальный институт польского крепостного права был адаптирован российским законодательством и получил новый импульс для своего дальнейшего развития [56, с. 563]. В связи с этим в Западной России продолжил свое развитие периферийный польский колониализм, основой которого стала культурная дистанция между эксплуататорами – польскими панами и шляхтой, и эксплуатируемыми – западнорусским крепостным крестьянством [57, с. 108–112].

[1] Следует отметить, что первую вооруженную попытку польской шляхты воспрепятствовать «собиранию русской земли», которое было продолжено Екатериной Великой после Вечного мира 1686 года, предпринял Т. Костюшко во время восстания 1794 года [25, с. 2, 322–356; 22, с. 41–49].

Существование культурной дистанции, определявшей сущность феномена колониальной эксплуатации, было обусловлено различиями в этнической принадлежности, сословном положении, образовании, а также противоречиями между польским костелом и русским Православием.

Польская элита утратила в Западной России политическую власть, однако сохранила свою собственность и сословное господство над западнорусским крепостным крестьянством, легитимность которому придавала теперь суверенная власть российского императора [50, с. 76–79]. В связи с этим периферийный польский колониализм принял своеобразную усадебную и частновладельческую форму. Многочисленные локусы концентрации колониальной эксплуатации – частновладельческие усадьбы и фольварки с их земельными угодьями и крепостными крестьянами, представляли собой сеть опорных пунктов, которые превращали территорию Западной России в сословную польскую колонию.

Легитимный и привилегированный статус частновладельческого колониализма постоянно воспроизводил рост польского дворянства, шляхты и воинствующего польского католичества, что неизменно приводило к различным формам противодействия интеграционной политике обрусения региона. В частности, феномен колониальной эксплуатации тактически обеспечивал реализацию скрытой долгосрочной стратегии, рассчитанной на постепенную полонизацию и латинизацию западнорусского униатского населения, что приводило на деле к росту социальной базы польского ирредентизма и вооруженного сепаратизма [55, с. 79–81, 84–96].

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что политические интересы польских магнатов и шляхты, получивших сословные привилегии российского дворянства, не только не совпадали, но и радикально противоречили интересам безопасности Российского государства. Дворянско-шляхетское землевладение в его различных формах и колониальная эксплуатация западнорусского крепостного крестьянства стали экономической основой для появления и роста враждебного России польского ирредентизма и территориального сепаратизма. Принесение социально-экономических и национальных интересов западнорусского крестьянства в жертву колониальным сословным интересам польских магнатов и шляхты не обеспечили их политическую лояльность российской монархии, что в итоге и определило противоречивый и непоследовательный характер екатерининской интеграционной политики обрусения региона [50, № 2, с. 257–258, 270–272, 287; 32, с. 217; 23, с. 314–315].

Колониальная эксплуатация, основанная на крепостном праве и культурной дистанции, характеризовалась не только внеэкономическим принуждением, но также и угнетением национальным и религиозным, объектом которого являлось православное западнорусское крестьянство и духовенство[1]. В этом и заключалась трагическая парадоксальность колониальной ситуации, сформировавшей в Западной России, когда национальное и религиозное угнетение православного западнорусского крестьянства и духовенства осуществлялось в рамках польского частновладельческого колониализма, существовавшего с санкции верховной власти при господствующем статусе Русской церкви и институциональной веротерпимости к католичеству (латинскому и униатскому)[2].

[1] «Крестьянское население Западной Руси и особенно северо-западной, закрепощенное иноплеменному дворянству, вынесло на себе такую тяжесть крепостного права, какая внутри России являлась лишь в виде злоупотребления и исключения» [58, с. 716].

[2] В Прибалтике (Лифляндской, Эстляндской и Курляндской губерниях) крепостное право в отношении латышских и эстонских крестьян было отменено Александром I в 1804–1819 годах. По настоянию императора остзейские дворяне согласились на освобождение своей «крещеной» иноэтничной собственности без земли [см. 59, 60]. В связи с получением личной свободы колониальная эксплуатация латышского и эстонского крестьянства немецким дворянством существенным образом изменилась. В Западной России правовых перемен в структуре польского частновладельческого колониализма не произошло.

Исходя из этого, следует сказать, что «польский вопрос», возникший таким образом в Западной России, нашел свое выражение в феномене колониальной эксплуатации западнорусского крепостного крестьянства. Об этом красноречиво свидетельствует наказ польского дворянства Полоцкого воеводства своим депутатам на сейме 1791 года. В нем говорится, чтобы депутаты «употребили все средства» для сохранения зависимого положения крепостного крестьянства, потому что «хлопство необходимо для шляхетства, шляхетство погибнет при малейшей воле хлопства» [21, с. 357].

Как показали дальнейшие события, в этой трагической парадоксальности существования православных белорусов и малороссов была и положительная сторона, так как вопросы церковного, национального и социального освобождения (русский вопрос) оказались неразрывно связанными с вопросами территориальной целостности и безопасности Российского государства. Появление угрозы польского ирредентизма и сепаратизма заставляло верховную власть идейно, политически и военным путем отстаивать право на Западную Россию как историческую русскую территорию. В связи с этим Западная Россия становилась объектом внимания не только правительства и Православной церкви, но и общественно-политической мысли [19, с. 652–653; 51 с. 64–69; 61; 62].

Геополитический просчет Александра I и его последствия для Западной России и безопасности империи

Образование и присоединение к екатерининской Западной России александровского Царства Польского привело к дальнейшему продвижению границ империи на запад. В результате прежняя система безопасности, выстроенная Екатериной Великой на западных границах России, претерпела существенные изменения. Новое геополитическое положение России, возникшее в начале XIX века, стало оказывать воздействие на решение внутреннего «русского вопроса» в Западной России, его содержание, эволюцию и основные направления.

Появление Царства Польского стало результатом победного завершения наполеоновских войн. Предыстория его такова. В 1807 году Наполеон по итогам Тильзитского мира из польских территорий, принадлежавших Пруссии и Австрии, создал зависимое от Франции конституционное Великое герцогство Варшавское, которое стало плацдармом для французской агрессии на Восток. По требованию императора правительство Герцогства сформировало крупные польские части, вошедшие в армию, которая готовилась для нападения на Россию. В начале Отечественной войны 1812 года часть польской шляхты, проживавшей в Литве, Белоруссии и на Волыни, изменив императору Александру I, присягнула Наполеону и вошла в состав армии агрессора. По словам Ф. Смита: «Ревностные союзники всемирного завоевателя, они внесли в самое сердце Русского государства опустошение, огонь и меч. Они действовали против России как злейшие ее неприятели, как враги, которые в борьбе на жизнь и на смерть ищут удовлетворение давно питаемой ненависти» [63, с. 3][1].

Польское правительство Герцогства и поддержавшая Наполеона польская шляхта Литвы и Волыни рассчитывали в результате победы над русской армией вернуть в состав восстановленного Польского государства территории Западной России [52, т. II, с. 94–103; 64, с. 154–161]. Попытка возвращения екатерининского наследия 1772–1795 годов, предпринятая в 1812 году с помощью французской военной агрессии, свидетельствовала о начавшейся эволюции в развитии «русского вопроса», который приобрел геополитическое, экзистенциальное измерение, будучи связанным с существованием Российского

[1] Как отмечал Д.А. Кропотов, «Из всех народов, вторгнувшихся тогда в Россию, ни один не обнаружил такой страсти к бесполезному разорению жилищ, и такой беспощадной ненависти к русским, как поляки Великой армии» [28, с. 328].

государства, то есть с его суверенитетом, территориальной целостностью, конфессиональной принадлежностью и политической лояльностью западнорусского населения.

Русская армия в результате победоносной кампании 1813 года, разгромив французские и польские войска, заняла Великое Герцогство Варшавское, установив над ним власть императора Александра I. Судьба этнических польских земель решалась на Венском конгрессе 1815 года. Абсолютные монархи Австрии и Пруссии включили отошедшие к ним территории Герцогства в состав своих государств, не придавая им особого политико-правового статуса. Абсолютный монарх Александр I поступил принципиально иначе. По утверждению Г.В. Макарова: «Благодаря твердой позиции российского императора, решительно отстаивавшего внешнеполитические интересы России, на Венском конгрессе восторжествовала его точка зрения, и польское государство с конституционным устройством, на тот момент еще только провозглашенным, было восстановлено под названием Королевство Польское («Царство Польское») и на правах автономии вошло в состав Российской империи» [14, с. 97].

В связи с названным утверждением автора, характерным для либерального дискурса, нельзя не отметить, что успешное отстаивание на Венском конгрессе внешнеполитических интересов России от притязаний стран – победительниц Наполеона, завершившееся образованием конституционной монархии в Польше, отнюдь не стало гарантией обеспечения государственной безопасности Российской империи на ее западных границах, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Более того, в данном случае представляется уместным говорить не о защите внешнеполитических интересов Российского государства, а о лоббировании Александром I национальных интересов польской социальной элиты с далеко идущими и отнюдь не радужными военно-политическими последствиями для России[1].

В связи с этим достаточно напомнить, что в подготовке либеральной конституции Царства активное участие принимали польские аристократы – А. Чарторыйский, Ст. Потоцкий, кн. Шанявский, И. Соболевский, а заключительный акт конгресса предусматривал вероятность присоединения к Царству Польскому западнорусских земель и этнической Литвы, которые были возвращены для России императрицей Екатериной Великой в 1772–1795 годах [63, с. 11][2].

Согласно заключительному акту конгресса, новое государство «безвозвратно» соединялось с Российской империей своей конституцией, и становилось вечным владением «его величества императора всероссийского и его наследников и преемников» [63]. С этого времени Царство Польское, приобретенное по «праву завоевания», становилось конституционной монархией в составе Российской империи, которое было связанно с ней персональной унией. Польское государство в форме широкой автономии имело собственное правительство, выборный сейм, регулярную армию, национальную систему образования и казну. Александр I принял титул короля Польши [66, с. 122; 67, с. 527–540].

[1] Военный историк А.К. Пузыревский сообщая о том, что еще в ноябре 1812 года Александр I говорил князю М.К. Огинскому, что восстановление Польши будет им совершено, «так как это согласно с его (Александра) убеждениями, с чувствами его сердца, и даже (!) интересами России», не мог скрыть своего удивления, поставив в цитате восклицательный знак [см. 27, с. 6]. К сожалению, император всего шесть лет не дожил до того времени, чтобы убедиться воочию, какой большой кровью и страданиями русских солдат и офицеров пришлось расплачиваться за специфически понимаемые им «интересы России».

[2] Пользовавшиеся доверием императора польские аристократы А. Чарторыйский и М. Огинский еще накануне Венского конгресса обращались к Александру с предложениями о восстановлении Польши, образовав государство из герцогства Варшавского и восьми западных русских губерний (Виленской, Гродненской, Витебской, Минской, Могилевской, Волынской, Подольской и Киевской). Императору пришлось умерять чрезмерные национальные аппетиты своих польских соратников. «Не забывайте, – писал он Чарторыйскому, – что Литва, Подолия и Волынь считают себя русскими областями, и что никакая логика в мире не уверит Россию, что бы они могли выйти из-под власти русского монарха» [65, т. IV, с. 572–573].

Следует отметить, что дипломатическими усилиями Александра I и его аристократических польских единомышленников была создана международно-правовая ловушка, из которой Россия была уже не в состоянии выбраться без существенных потерь для своего суверенитета. Какими бы высокими мотивами ни руководствовался Александр I, рассчитывая, очевидно, на ответную благодарность врагов, побежденных в Отечественной войне 1812 года, для его преемников на российском престоле кажущийся тактический выигрыш на Венском конгрессе обернулся реальным и крупным геополитическим просчетом[1]

Следует отметить, что образование Царства Польского и наделение его либеральной конституцией до сих пор не воспринимается как крупный геополитический просчет России ни в либеральном дискурсе, ни в дискурсе историко-правовом. Вот, например, как оценивает проект Александра I по превращению побежденных врагов в «верных союзников» В.Ю. Захаров.

По его мнению, «Подобный подход должен был обеспечить поддержку со стороны польского населения российскому правительству. Ничего нового Александр I и его советники не изобрели. Прецедент уже имелся – точно такие же меры были приняты в отношении Финляндии после ее присоединения к Российской империи в 1809 г. И меры эти дали очень хороший результат в виде почти полного отсутствия сепаратизма со стороны финского населения. Однако в отношении Польши такой рецепт преодоления сепаратизма не сработал, хотя уступки были сделаны огромные. Естественно, возникает вопрос, почему так произошло? Ответ, что называется, лежит на поверхности.

Дело в том, что Финляндия до 1809 г. никогда не имела своего самостоятельного государства, поэтому местное население рассматривало предоставленную автономию как огромное благо. Тогда как Польша имела тысячелетнюю государственность, которой она в силу разных исторических обстоятельств оказалась лишена в конце XVIII века. Поэтому польское общественное мнение никогда и ни при каких обстоятельствах не могло быть удовлетворено предоставленной автономией, пусть даже и учитывавшей национальные особенности поляков.

Польша мечтала о восстановлении самостоятельного польского государства, пусть и не в границах 1772 года, и никакая, даже самая широкая автономия удовлетворить поляков не могла, они рассматривали ее лишь как шаг на пути воссоздания единого польского государства. Поэтому политика “конституционной дипломатии” в отношении Польши не принесла должного эффекта» [70].

С нашей точки зрения, политические последствия образования Царства Польского для достижения внутренней и внешней безопасности России не исчерпываются эффектом недостигнутой цели и отнюдь не являются дипломатическими успехами Александра, а вполне укладываются в понятие крупного геополитического просчета[2]. Для доказательства

[1] «Создание Царства Польского и дарование ему Александром I Конституции большинством российских историков связывалось с польским вопросом и к тому же рассматривалось как ошибка, так как она, по их мнению, не только не отвечала интересам России, но и стала преградой для русификации Польши и западных губерний (А.А. Корнилов, Н.И. Кареев, А.Л. Погодин, Н.Н. Любович, Д.И. Иловайский, Н.К. Надлер, Н.К. Шильдер, М.О. Коялович и др.)» [см. 68, с. 62].

В дореволюционной польской историографии существовала точка зрения, что после победы в наполеоновских войнах и занятия Великого герцогства Варшавского сложились уникальные условия, при которых: «Никогда ни раньше, ни потом, в руках России не было такого количества польских земель как тогда – между 1813 и 1815 годом. И никогда Россия не была так близка к разрешению польского вопроса в свою пользу» [см. 69, с. 17]. О том, что с образованием Царства Польского «польский вопрос» неизбежно становился экзистенциальной угрозой безопасности империи и уже никак не мог разрешиться в «пользу» России, будет сказано ниже.

[2] В дореволюционной западнорусской историографии образование Царства Польского тоже оценивалась как «попытка неудачная и бесплодная» [см. 23, с. 339].

данного тезиса приведем следующие аргументы, которые позволят раскрыть конкретное содержание этого понятия.

Однако прежде чем приступить к определению этого понятия, следует выяснить вопрос о том, как же решали для себя «польский вопрос» на Венском конгрессе союзники Александра I – абсолютные монархии Австрии и Пруссии. Начнем с того, что по решению Венского конгресса была образована Краковская республика, которая своим существованием лишь подтвердила политическую нежизнеспособность конституционных попыток восстановления польской государственности из обломков Речи Посполитой. Конгресс наделил Краков правовым статусом «вольного города», который сохранял независимость и строгий нейтралитет под протекторатом трех государств. Краковская республика имела свою конституцию, разработанную тем же А. Чарторыйским. Исполнительная власть принадлежала сенату, законодательная – сейму.

В 1846 году в Кракове вспыхнул мятеж, после подавления которого город и принадлежавшие ему небольшие территории на левом берегу Вислы были присоединены к Австрии. Произошедшая же под воздействием «Краковской революции» попытка польской шляхты поднять вооруженный мятеж против австрийского владычества в Галиции была жестоко подавлена крестьянами русинами в результате так называемой галицийской резни 1846 года [71, с. 552–553, 647–651].

Новая попытка шляхты поднять сепаратистский мятеж в Галиции во время венских беспорядков «Весны народов 1848 года» также была подавлена властями с помощью тех же крестьян, испытывавших социальную ненависть к своим сословным польским угнетателям. На этом ирредентизм и вооруженные мятежи прекратились, и политическая ситуация на польских землях Австрии стала стабилизироваться. С 1867 года интеграционные процессы в этом государстве происходили уже в рамках двуединой конституционной Австро-Венгерской империи.

В соответствии с решениями Венского конгресса на западных землях Герцогства Варшавского было создано великое княжество Познанское, получившее от прусского короля административную автономию. Действовал также сословный сейм с совещательными функциями. К Пруссии отошел и вольный город Гданьск. Польская элита княжества в 40-х годах XIX века вместо ирредентизма и вооруженных мятежей против Пруссии предпочитала «органичную работу» по защите экономических и культурных интересов польского населения. Попытка же воспользоваться беспорядками в Берлине во время «Весны народов 1848 года» и поднять в княжестве вооруженный сепаратистский мятеж не увенчалась успехом. В результате великое княжество Познанское утратило автономию и стало Познанской провинцией Прусского королевства. В то же время польские депутаты провинции вошли в состав германского рейхстага, определив новый путь имперской интеграции в условиях дуалистической монархии [66, с. 133–140; 20, с. 36–41].

Абсолютные монархи Австрии и Пруссии при разработке, принятии и реализации решений Венского конгресса по «польскому вопросу», определяя правовой статус присоединенных земель Герцогства Варшавского, руководствовались в первую очередь собственными государственными и геополитическими интересами. В связи с этим правовой статус присоединенных польских территорий и объем гражданских и политических прав, дарованных новым подданным Австрии и Пруссии, никогда не превышали прав и привилегий, которыми обладали исторические территории и коренное население [72, с. 149; 20, с. 10–12].

Поставленные на первое место интересы безопасности и территориальной целостности этих немецких государств диктовали им прагматический подход к решению «польского вопроса» на своих территориях, который предусматривал инкорпорацию и интеграцию новых подданных на основе общеимперского и королевского законодательства и усвоения германской культуры.

Как показал исторический опыт, все пути восстановления польской государственности, будь то в форме республиканского устройства, конституционной монархии или административной автономии, оказались тупиковыми. Вооруженный экстремизм как единственное средство восстановления независимого Польского государства во всех случаях неизменно одерживал верх, избавляя от конституционных иллюзий и возвращая монархические правительства к политике интеграционного прагматизма и германизации, способной обеспечить территориальную целостность и безопасность немецких государств [69, с. 151, 159; 73, с. 229–293; 74, с. 3–10]. Как видим, инкорпорация польских земель в состав Австрии и Пруссии тоже не обошлась без вооруженных конфликтов, однако их разрушительные масштабы, острота, жестокость и международный резонанс не шли ни в какое сравнение с кровопролитными мятежами, которые происходили в Российской империи.

Возвращаясь к задачам определения понятия крупный «геополитический просчет» в области российской внешней политики, отметим, что с образованием Царства Польского государственные границы, бывшие до 1815 года военно-политической преградой для польского ирредентизма в Западной России, стали отныне внутрироссийскими – административными и таможенными. Александр I практически восстановил Речь Посполитую в восточных границах 1772 года, которая состояла теперь из двух политически разнородных частей – конституционной автономии этнической Польши и литовско-белорусских губерний Западной России, управляемых абсолютной монархией.

Политическое благодеяние, совершенное императором Александром в интересах польской аристократии и шляхты, привело к тому, что на территориальной основе Великого герцогства Варшавского было вновь воссоздано моноэтническое и моноконфессиональное государство, потенциально претендующее на территорию Западной России с преобладающим западнорусским населением [73, с. 229–293]. Таким образом, жест доброй воли монарха позволил сформировать военно-политические, этнические и религиозные условия для провоцирования и воспроизводства вооруженных конфликтов с Российской империей на территории, простиравшейся до западных границ 1772 года[1].

С констатации этого факта можно приступать к определению понятия «геополитического просчета», которое отчетливо характеризует результаты дипломатической и внешнеполитической деятельности императора Александра в 1815 году. В связи с этим зададимся вопросом: почему же дипломатическое приобретение Александра I, наделенное автономией, регулярной армией и либеральной конституцией, не только не улучшило, а напротив, серьезно ухудшило геополитическое положение России на западных границах? Причем ухудшило настолько, что дважды создавалась реальная угроза потери не только Царства Польского, но и Западной России. Не следует забывать и о дипломатическом шантаже западных держав, и об угрозе иностранной военной интервенции на территорию России, которые были вызваны мятежом 1863 года [76, с. 78–90].

Для ответа на этот вопрос следует в первую очередь указать, что включение Царства Польского в пространство власти Российской империи и появление внутренних границ, отделявших автономное Царство от губерний Западной России, создали благоприятные условия для развития шляхетско-ксендзовского ирредентистского движения. После 1815 года конституционное Царство Польское с компактно проживавшим польским

[1] Генерал-губернатор Варшавского герцогства в 1813–1815 годах В.С. Ланской предупреждал императора Александра о том, что политические уступки побежденным врагам бесполезны, так как поляки не удовлетворятся конституцией Царства Польского, и что «благосердие твое и все усилия наши не могут быть сильны сблизить к нам народ, и вообще войско польское, коего прежнее буйное поведение и сообразное оному наклонности противны священным нашим правилам, и потому, если я не ошибаюсь, то в формируемом войске питаем мы змия, готового всегда излиять на нас яд свой» [см. 65, т. IV, с. 573]. Обзор значительно выросшего театра военных действий в Царстве Польском и Западной России дан у Н.Д. Неелова [см. 75, с. 1–12].

этническим населением стало выполнять притягательную роль своеобразного «титульного» государства, на воссоединение с которым было нацелено польское ирредентистское движение в Западной России. В свою очередь сепаратистское движение в самом Царстве Польском активно поддерживало встречный шляхетско-ксендзовский ирредентизм, низменно ставя своей целью возвращение Западной России в состав независимой Речи Посполитой в границах 1772 года [73, с. 103–104].

Взаимное притяжение, усиление и слияние в одно целое двух враждебных России политических сил, происходившее во время сепаратистских мятежей, было целиком обусловлено результатами дипломатической сделки на Венском конгрессе 1815 года. Преследуя национальные интересы польской аристократии, император Александр I создал необходимые политико-правовые институты (автономия плюс конституция) для формирования на территории Царства такой социальной общности, как «польская нация», представленная многочисленной шляхтой. Политические решения императора о создании и развитии национального шляхетского государства, пусть и лишенного суверенитета, не учитывали политические риски, связанные с неизбежным появлением радикального польского национализма, идеи которого стали движущей социальной силой антироссийского сепаратизма [27, с. 17–18][1].

Следуя концепции К. Шмитта, можно сказать, что российский император, исходя из либеральных представлений и кажущихся рациональными соображений политической целесообразности, предпринял попытку превращения вчерашнего политического врага в друга, дав Царству Польскому либеральные права и свободы, которыми не обладали подданные российских губерний [77, с. 40–42; 74, с. 3]. Однако ожидаемого чудесного превращения, увы, не произошло. На деле решения Александра I привели к тому, что прежний враг времен Т. Костюшко и эпохи наполеоновских войн, не утратил своей идейно-политической сущности. Враг лишь видоизменился, представая теперь в форме польского территориального сепаратизма, порождаемого идеями, институтами и группами радикалов и экстремистов в национальном шляхетском государстве. В Западной же России, сконструированный екатерининской интеграционной политикой польский частновладельческий колониализм воспроизводил, в свою очередь, такого же политического врага в лице польского ирредентизма, представленного шляхтой и католическим духовенством [55, с. 102–104].

В обоих случаях верховная власть России шла на максимально возможные уступки польской элите для сохранения своего суверенитета над присоединенными и возвращенными территориями. Однако эти уступки, социальные компромиссы и широкая веротерпимость к западнорусской унии и польскому католичеству приносили эффект, обратный ожидаемому. Правительство явно не учитывало степень влияния национальных идей, патриотических и церковных ценностей на политическое поведение польской шляхты, стремясь решить проблемы лояльности в парадигме защиты сословных интересов. В итоге конституционные права, сословные привилегии и веротерпимость, дарованные российскими монархами, как правило, лишь усиливали степень враждебности шляхты

[1] О том, что в случае образования конституционного Польского государства в составе Российской империи растущий польский сепаратизм станет угрожать не только России, но также Австрии и Пруссии, проницательно указывал императору Александру прусский представитель на Венском конгрессе барон Г.Ф. Штейн. Позицию прусского барона разделял и представитель Великобритании – министр иностранных дел Р.С. Каслри, который настаивал на возвращение к итогам раздела Польши 1795 года [см. 69, с. 18–26; 72, с. 148]. Ситуация, сложившаяся на Венском конгрессе, была воистину уникальна. Европейские дипломаты, отстаивая интересы своих государств, в то же время объективно содействовали интересам безопасности России. Они настойчиво предупреждали российского монарха об угрозе сепаратизма, возникновение которого станет неизбежным при восстановлении Польского государства. Однако Александр не внял рациональным аргументам барона Штейна и виконта Каслри, уступая «страстному желанию целой нации». Результаты этой уступки не заставили себя ждать. Зато для польской аристократии и шляхты Александр I стал Восстановителем.

и католического духовенства к господствующему Российскому государству [27, с. 13; 21, с. 378].

Полагая, что действует рационально, прогрессивно и гуманно, верховная власть как в Царстве Польском, так и в губерниях Западной России, откровенно потворствовала интересам польской аристократии, шляхты и католического духовенства, демонстрируя, что является для них другом [23, с. 314–315, 339–432]. Однако последовательное превращение российской власти в друга польской социальной элиты явно вышло за рамки рационального политического поведения в области имперского управления западными окраинами. После разделов 1772–1795 годов и участия в наполеоновских войнах для радикально настроенной польской шляхты и ксендзов главный враг был уже окончательно определен, и врагом этим были ни Австрия, ни Пруссия, вражда к которым отошла на второй план, а самодержавная Россия[1].

И вот, вместо того чтобы разъединить две враждебные России политические силы и переложить основную тяжесть борьбы с польским сепаратизмом на территориях бывшего герцогства Варшавского на монархии Австрии и Пруссии, Александр I поступил «благородно». Император, взяв на себя политическую ответственность за будущую лояльность облагодетельствованной им шляхты, объединил силы политических врагов в Царстве и Западной России границами своего государства, возложив на русскую армию и большой русский народ главные тяготы предстоящей с ними борьбы. Результатом становились неизбежные в таком случае огромные людские и материальные потери, страдания и бедствия западнорусского населения. Конкретными политическими результатами геополитического просчета императора Александра стали следующие исторические факты.

Во-первых, образовав автономное Царство Польское, Россия объективно создавала единственный в тех условиях стратегический этнорелигиозный и конституционный (до 1831) плацдарм для сборки разделенной нации, превращаясь тем самым в главного врага польской независимости, что, собственно, и подтвердили ирредентизм и массовые антироссийские мятежи 1830–1831 и 1863–1864 годов.

Во-вторых, территориальное восстановление Речи Посполитой в границах Российской империи превратило Царство в идейно-политический центр организации сепаратистских мятежей, которые затем уже распространялись на Западную Россию, что приводило к умножению численности мятежников, увеличивая и расширяя территориальные и социальные масштабы вооруженных выступлений, насилия и терроризма.

В-третьих, практическое воссоединение двух частей бывшего Польского государства в составе империи создавало социально-политические условия для выработки общей идеологии радикального антироссийского сепаратизма и появления общих целей в борьбе с Россией, которые заключались в восстановлении независимой Польши в восточных границах 1772 года.

В-четвертых, территория Царства Польского (после 1863 года – Привисленского края) стала местом развития и трансляции идеи польского национализма, которые оказывали воздействие на становление центробежных национализмов – белорусского, украинского, литовского, латышского и др., что нашло свое проявление в революционных событиях 1905–1907 годов.

В-пятых, организованный и массовый характер шляхетско-ксендзовского ирредентизма и сепаратистских мятежей в Западной России был во многом обусловлен притягательным конституционным статусом Царства, а также идейным, политическим и военным

[1] Глубокий анализ негативных последствий геополитического и внутриполитического характера, которые неизбежно станут реальностью для России в случае принятия Александром I титула короля Польского и восстановления конституционной Польши в границах 1772 года, был дан императору генералом К.О. Поццо ди Борго в октябре 1814 года [см. 78]. Император был предупрежден, но не внял (кроме вопроса воссоединения западных губерний с Польшей) предостережениям ни Поццо ди Борго, ни В.С. Ланского, ни западных дипломатов [см. 20, с. 26; 79, с. 195–196].

руководством, которое осуществляли польские «правительства» из Варшавы через свои нелегальные региональные отделения.

В-шестых, Царство Польское с его высоким религиозно-культурным и экономическим потенциалом стало неформальной митрополией для частновладельческого польского колониализма в губерниях Западной России. Тесные связи с митрополией стимулировали деятельность дворянства, шляхты и ксендзов по ополячению и окатоличиванию западнорусского населения в расчете превратить его во врага России.

В-седьмых, внутрироссийские мятежи, возникавшие на обширной территории бывшей Речи Посполитой, получали политическую, дипломатическую, общественную и информационную поддержку западноевропейских стран и Ватикана, что провоцировало появление внешних угроз безопасности Российского государства.

Таким образом, соединение Царства Польского и Западной России под властью российского императора стало триггером, запустившим центробежные процессы разрушения империи, – польского ирредентизма, радикального национализма и вооруженного сепаратизма. Политические и правовые условия для воссоздания и объединения перманентно враждебных России сил были созданы самой верховной властью, делавшей ставку на сословный и конфессиональный союз с польской социальной элитой и католическим духовенством.

Приведенные аргументы свидетельствуют о том, что учреждение Царства Польского, сделанное Александром I в результате решения Венского конгресса, укладывается в понятие крупного «геополитического просчета», который был допущен в процессе строительства империи. Как результат – на западных границах возник и усилился постоянный источник угроз безопасности и территориальной целостности Российского государства, борьба с которым потребовала чрезвычайных военных и административных усилий, многочисленных жертв и материальных затрат[1].

Иными словами, допущенный геополитический просчет привел к обострению «польского вопроса» в Западной России, который представлял собой комплекс проблем колониальной эксплуатации, порождавших шляхетско-ксендзовский ирредентизм. В то же время «польский вопрос» в Царстве Польском следует определить как парадоксальную попытку обеспечить безопасность России на западе с помощью либеральных конституционных механизмов, работающих на развитие социальных носителей религиозно-этнического антироссийского сепаратизма.

К счастью, для безопасности Российского государства и его православных западнорусских подданных, Александр I не решился выполнить настойчивые пожелания польского аристократического лобби и своего друга А. Чарторыйского о присоединении к Царству Польскому территориальных результатов геополитической стратегии и тактики Екатерины II – малороссийских и литовско-белорусских губерний Западной России [69, с. 88; 23, с. 339; 24, с. 256; 20, с. 23–25]. Решительным противником такого воссоединения являлся император Николай I [73, с. 125]. Сохранение Западной России, управляемой и унифицируемой имперским центром в качестве окраинных российских губерний, усилило исторически сложившиеся линии социального и религиозно-этнического разлома среди местного населения.

[1] О том, что созданное Александром I Царство Польское стало тяжким экономическим и политическим бременем для России и что его дальнейшее конституционное существование в границах 1815 года противоречит «истинной пользе России», размышлял Николай I во время русско-польской войны 1831 года. При этом император вынашивал мысль о разделе Царства Польского с целью передать Австрии и Пруссии большую часть его территории и установить новые границы России по рекам Висле и Нареву. Император полагал, что такое решение позволило бы радикально уменьшить военно-политическую опасность на западе России, возникшую благодаря «убеждениям» и «чувствам сердца» Александра I. Однако замыслы эти не получили практического воплощения [см. 80, с. 344–349].

Польская шляхта, католическое духовенство и часть крестьянства (римо-католики и греко-католики) политически и церковно тяготели к Варшаве, Кракову и Риму, западнорусская православная часть населения и духовенство – к Петербургу, Москве и Киеву. Российское правительство пыталось добиться лояльности польской шляхты и католического духовенства Западной России, проявляя веротерпимость и усиливая горизонтальные, сословные связи внутри корпоративного дворянского сословия.

В то же время западнорусское православное крестьянство, сословие в основном крепостное, связывалось с Россией вертикальным церковным подчинением синодальной иерархии Православной церкви. Как уже отмечалось, в отношении крестьянства «русский вопрос» осознавался и решался в это время правительством и Святейшим Синодом не как политика национальная, а как политика церковная, от реализации которой зависели интеграционные процессы, этническая идентичность и политическая лояльность западнорусского населения[1].

Вооруженный экстремизм «польского вопроса» 1830–1831 годов

Появление в империи Царства Польского как катализатора ирредентизма и антироссийский мятежей, с одной стороны, осложнило, а с другой – ускорило решение национального «русского вопроса» в форме деполонизации и деунизации Западной России [83, с. 639–642]. Главной причиной, вновь поставившей на политическую повестку дня российской власти решение названного вопроса, стал польский мятеж и русско-польская война 1831 года. Осложнила же его решение предшествующая региональная политика российских монархов, восшедших на престол после Екатерины Великой.

Для начала следует отметить, что процессы деунизации и церковного воссоединения большого русского народа, получившие мощный импульс к развитию как «снизу», так и «сверху» в 1794–1796 годах, стали тормозится в период правления императора Павла I (1796–1801) и обратились вспять во время царствования Александра I [21, с. 372–379; 42, с. 392–400; 84, с. 209]. Во время правления этого императора происходила усиленная полонизация Западной России, которая осуществлялась А. Чарторыйским и результаты которой нашли свое социальное проявление в сепаратистском мятеже 1831 года в Литве, Белоруссии, на Волыни и в Подолии [85, с. IV–V; 86, с. 96].

Следует отметить, что с учреждением Царства Польского были созданы политические и религиозно-этнические условия, создававшие угрозу решению национального «русского вопроса» по таким важным направлениям как церковная реконкиста и интеграция Западной России с Россией Восточной. Более, того, само существование «русского вопроса» стало политически проблематичным, так как аристократические лоббисты и польские мятежи неизменно ставили своей целью ликвидацию екатерининской Западной России, что неизбежно вело к вторичному разделению большого русского народа и вытеснению Русской Православной церкви церковью Греко-католической и Римско-католической.

Существование Царства Польского под властью России стало не только военной, но также и политической проверкой империи на структурную прочность ее внутреннего устройства. Польские радикалы и экстремисты, объединенные националистической идеологией и лозунгами «национального освобождения», относились к России как приоритетному врагу, победа над которым приведет к восстановлению Польского государства в восточных границах 1772 года [20, с. 28–29; 87; 88]. Для противной стороны успехи и поражения в подавлении мятежей зависели от степени решимости монарха, высшей бюрократии и

[1] В это время правительство пыталось защитить западнорусских греко-католиков, сохранявших отчасти в унии русскую этническую идентичность, от поглощения их римо-католиками, насаждавших своей западнорусской пасте идентичность польскую [см. 21, с. 379–385; 81; 82, с. 25–74].

военного руководства империи стать таким же непримиримым врагом мятежников, каким были мятежники в отношении к России.

Для европеизированного русского общества суровая политическая необходимость подавления сепаратистских мятежей, которые поднимали «сословно близкие» представители «высокой европейской цивилизации» под прогрессивными и патриотическими лозунгами «национальной свободы», стала испытанием на патриотизм, национальное самосознание и верность монархии.

Реакция на мятежи различных социальных групп российского общества – политическая, идейная и эмоциональная – во многом зависела от понимания смысла событий и связанного с ним осознания степени их опасности для территориальной целостности России и положения православного западнорусского населения. Иными словами, от того, с каких идейных позиций воспринимались мятежи общественным сознанием, зависела способность общества увидеть в мятежниках либо политических врагов, либо борцов «за вашу и нашу свободу», хотя сами мятежники осознавали и вели себя как идейно и религиозно мотивированные враги Российского государства и Православия.

Предупреждение прусского барона Штейна сбылось в ноябре 1830 года. За геополитический просчет Александра I, который привел к появлению сильного вооруженного врага, объединенного границами империи, российскому обществу и государству пришлось заплатить высокую кровавую цену. Ставший результатом военного заговора антироссийский мятеж в Варшаве, начавшийся в ноябре 1830 года, перерос в кровопролитную русско-польскую войну1831 года [71, с. 582–624]. Следует отметить, что вооруженный конфликт 1830–1831 годов имел свои отличительные особенности в сравнении с мятежом, который последовал через три десятилетия, в 1863–1864 годах. Эти различия были существенны и заключались в следующем.

Несмотря на то, что польский сейм 25 января 1831 года разорвал династическую унию с императором Николаем I, эта война, навязанная России мятежниками, носила в основном конвенциональный характер: регулярная русская армия вела боевые действия с такой же регулярной польской армией на территории Царства Польского и отчасти Литвы [27, 89, 90]. Несмотря на произошедший мятеж, который разрушил легальность новоявленного Польского государства и его институтов власти, российская верховная власть великодушно признавала регулярную армию своего врага стороной, воюющей по правилам конвенциональной войны.

В связи с этим уголовному преследованию подлежали лишь участники иррегулярных формирований, а также лица из Царства и губерний Западной России, которые приняли непосредственное участие в мятеже, а также в убийстве офицеров и генералов, сохранивших верность присяге, данной российскому императору. К мятежникам, раскаявшимся и незапятнанным в военных и уголовных преступлениях, применялась амнистия [91, 92][1].

[1] Наказания, которые понесли мятежники в соответствии с российским законом, стали не только правомерным, но и закономерным результатом их противоправных действий, квалифицируемых юридически как государственные преступления. Однако для российских историков-полонистов – последователей польского исторического дискурса – политически и юридически обоснованные действия императора Николая I по наказанию мятежников неизменно характеризуются как «репрессии». Использование этого термина предполагает, что вооруженный сепаратистский мятеж подданных, переросший в полномасштабную войну, – для государства явление совершенно невинное и безопасное. Посему российская верховная власть должна была отнестись к его участникам с христианской любовью и великодушно простить нарушителей закона. То есть самой стать преступником, умышленно уклонившись от применения статей Полевого уголовного уложения, которые предусматривали наказания за государственные преступления. Однако вышло иначе, и верховная власть предпочла действовать в соответствии с законом, или, по утверждению либеральных российских полонистов, применять «репрессии». Налицо явная тенденциозность, когда польские «революционеры», совершившие

Участие в войне иррегулярных отрядов польской шляхты и литовских крестьян, опиравшихся на поддержку польского дворянства, римско-католического и униатского духовенства, носило вспомогательный характер и происходило на территории западных российских губерний (Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Волынской, Подольской и Киевской губерний) [93–97].

Возникшее в результате мятежа нелегитимное «национальное правительство» для решения военных и политических задач борьбы с Россией задействовало чрезвычайные государственные механизмы управления и мобилизации людских и материальных ресурсов. При этом широко использовались государственный терроризм, шпиономания, бессудные жестокие расправы над невинными, а также националистическая и католическая пропаганда [15, с. 31, 60, 62; 28, с. 338–339; 63, с. 335].

Так как война против России носила в основном конвенциональный характер, вопросы идейной мобилизации низших сословий не выступали на первый план. Однако были и исключения. В частности, в литовских губерниях, в Подолии и на Волыни участники военных действий с польской стороны были в прямом смысле слова мятежниками, на которых не распространялись правила конвенциональной войны. Вооруженные формирования в губерниях Западной России и этнической Литвы были иррегулярными и состояли в основном из местного дворянства и шляхты. Для организации иррегулярной войны в Литве воспроизводилась традиционная практика времен Речи Посполитой в форме организации местных шляхетских конфедераций. В качестве инструмента мобилизации крепостного крестьянства в мятеж использовались власть помещиков, социальные обещания, а также духовная власть епископата и ксендзов над католической паствой [27, т. 1, с. 281–298].

Историк Д.А. Кропотов отмечал, что после выступлений в Варшаве, народная молва в Литве «постоянно указывала на латинское духовенство, как на главных возбудителей вражды против русских. <…> Но участие ксендзов в смутах не ограничивалось одними подстрекательствами в храмах во время исповеди; на сборные пункты в стан мятежников первыми всегда являлись высланные епископами ксендзы, которые и сопровождали повстанцев в странствии по лесам» [28, с. 341–349]. В это же время приходские ксендзы на Волыни произносили зажигательные проповеди и угрожали проклятием и гневом Божиим тем из своих прихожан, кто не хотел выступить с оружием в руках против «москалей» и «схизматиков» [74, с. 17–18; 32, с. 233–236].

Польский мятеж в Западной России и этнической Литве наглядно показал, что часть католического духовенства (униатского и латинского) использовала свою духовную власть над крепостной крестьянской паствой для реализации политических целей, стремясь превратить западнорусских униатов и литовских католиков в послушный инструмент вооруженной борьбы за сословные колониальные интересы польской шляхты [98, с. 183–184]. Однако результаты католической духовной мобилизации в мятеж оказались незначительными. В то же время екатерининская политика интеграции региона и церковное собирание большого русского народа принесло ожидаемый политический эффект. Западнорусские крестьяне, как православные, так и униаты, за исключением части литовских крестьян-католиков, сохранили верность императору Николаю I. Вооруженную поддержку русской армии оказали великорусские старообрядцы, проживавшие в Виленской губернии [99, с. 72, 217, 232, 184–185, 274–278; 63, т. 2, с. 392–393; 28, с. 349–351].

В связи с этим нельзя не отметить социально-политические особенности мятежа в Западной России. Против власти российского монарха выступили колониальные

государственные преступления, преподносятся как невинные жертвы «репрессий», а виновным назначается реакционный «царизм», который обязан был защищать суверенитет Российского государства и наказывать преступников в судебном порядке [см. 15, с. 91–92, 87–100].

эксплуататоры, крепостные владельцы западнорусского крестьянства и связанная с ними мелкая шляхта и ксендзы, которые воспринимали свое положение в категориях национального и религиозного угнетения. Эти сословно привилегированные группы стремились восстановить в регионе свое политическое и религиозное господство над западнорусским населением, утраченное в 1772–1795 годах. В итоге возникло такое уникальное явление, как мятеж угнетенных угнетателей, поднятый в защиту свободы колониальной эксплуатации с привлечением к нему самих эксплуатируемых [55, с. 92–93].

Руководители мятежа и «национального правительства» как в свое время и правящая верхушка Герцогства Варшавского вновь ставили своей целью возвращение в состав Польши екатерининского наследия 1772–1795 годов. В этих условиях военное и политическое решение «русского вопроса» впервые стало осуществляться в форме подавления польского сепаратистского мятежа в Царстве Польском и западных губерниях России. Мятеж в Западной России и этнической Литве наглядно выявил основные противоречия интеграционной политики Екатерины Великой и негативные последствия политики императоров Павла I и Александра I, способствовавшей полонизации, социокультурной дезинтеграции региона и появлению вооруженного ирредентизма. В это же время главным показателем интеграционного потенциала екатерининской политики обрусения региона стала массовая лояльность западнорусского населения, православного и униатского, российскому монарху. В ситуации жесткого военного противостояния двух армий «русский вопрос» осознавался и решался верховной властью как вопрос поддержания суверенитета государства над территорией и населением Западной России [100, с. 707].

В целом же вооруженное противоборство с Российской империей носило военный и политический характер, целью которого являлось завоевание независимости для Царства Польского с включением в его состав западно-русских и литовских земель, инкорпорированных Россией в 1772–1795 годах. В этой войне добиться независимости и восстановления границ старой Польши можно было только путем «уничтожения России», на что, собственно, и рассчитывали шляхетские экстремисты [63, т. 3, с. 335].

О том, что в предстоящей схватке должны погибнуть либо Польша, либо Россия, уверен был и Николай I. Понимание подлинной цены как победы, так и поражения, требовало от императора максимальной ответственности за принимаемые им кадровые и политические решения. И только тогда, когда все возможные мирные предложения относительно избежания конфликта были исчерпаны, для Николая оставался только один выход – военная победа и упразднение государства, элита которого насильственно разорвала условия легитимности его конституционного существования[1].

С началом мятежа шляхетскими депутатами мятежного сейма был подготовлен манифест, который должен был выполнить непростую идеологическую и пропагандистскую

[1] Сообщение о трудном решении, которое приходилось принимать и о котором Николай говорил в переписке с братом Константином, вызвало моральное негодование российских историков–полонистов, проницательно узревших подноготную в рассуждениях двуличного императора: «Царь по-прежнему даже в переписке с братом лицемерно демонстрировал благородство монарха, подчинившегося воле Провидения. На деле же была провозглашена цель уничтожения польской государственности даже в том ограниченном виде унии Королевства Польского с империей Романовых, в каком она существовала на основе Конституции 1815 г.» [15, с. 27]. Российские либеральные полонисты, вероятно, свято уверены в том, что решение императора (даже после вооруженного мятежа и войны!) сохранить Польское государство в его неизменном виде было бы единственно правильным политическим решением. Выходит, следовало не исправить, насколько это было возможно, геополитический и стратегический просчет Александра I, а вновь наступить на конституционные грабли в интересах вероломной польской шляхты, которая изменила присяге, данной своему конституционному монарху. Однако в отличие от своего венценосного брата Николай мыслил рационально и действовал прежде всего в интересах безопасности Российского государства. Поэтому решение ликвидировать конституционную государственность Польши было в тех условиях единственно верным политическим выбором.

задачу как внутреннюю, так и внешнюю. Необходимо было аргументировано и убедительно донести до населения, шокированного произошедшими событиями, что военный мятеж против законного государя был поднят в целях освобождения «польской нации», и что следствием мятежа станет неизбежная война с Россией. Прежде всего следовало убедить вполне благополучных обывателей Царства в том, что «польская нация», получившая от Александра Восстановителя государственность, либеральную конституцию и благоприятные условия для развития экономики и национальной культуры, является угнетенной и униженной. И в связи с этим найти морально-политическое оправдание измены присяге, данной императору Николаю I, который в 1829 году короновался в Варшаве польским королем и принял присягу на соблюдение польской конституции[1].

Для того чтобы доказать свое «право мятежа», авторам манифеста, ставшего пропагандистской прелюдией к будущей государственной катастрофе, предстояло подменить реальность идеологическими мифами о национальном угнетении Польши. То есть представить в негативном свете все предыдущие действия российской верховной власти, направленные на восстановление и развитие «польской нации», ее национальной культуры, модернизацию национального образования, экономики, финансов и утверждение либеральных свобод [14, с. 195–429; 101, с. 319–320]. Так как убедительно и честно доказать недоказуемое было невозможно, то манифест стал образцом политической демагогии, который был предназначен как для внутреннего пропагандистского использования, так и для стран Западной Европы.

Следует отметить, что либеральные российские историки-полонисты во многом следуют польскому историческому дискурсу о мятеже 1830–1831 годов и в наукообразной форме лишь повторяют пропагандистские аргументы авторов манифеста о причинах возникновения мятежа. Например: «Такое выступление, состоявшееся 29 ноября 1830 г., не было лишь патриотическим порывом, не возникло внезапно и спонтанно, а явилось естественным закономерным итогом все нараставшего сопротивления общества наступлению на его конституционные национальные и гражданские права» [14, с. 521][2].

Суть этой аргументации состоит в том, что вина за возникновение мятежа целиком возлагалась на «российский абсолютизм», который не пожелал смириться и удовлетворить непомерные политические амбиции группы шляхетских националистов, истинной целью которых было «избавиться от русского владычества» [74, с. 10]. При этом авторы не желали учитывать, что содеянный мятеж и разрыв персональной унии с российским монархом лишают силы положения Венского трактата 1815 года о польской автономии и делают нелегитимным пришедший к власти политический режим не только для России, но и для боготворимой ими Европы в лице Австрии, Пруссии и союзных им государств. С точки

[1] Описывая коронацию Николая I в сенаторском зале королевского замка, историк Н.К. Шильдер приводит слова очевидца события А.Х. Бенкендорфа: «Он принес присягу с чистыми помыслами и с твердой решимостью свято ее соблюдать. Рыцарское его сердце всегда чуждалось всякой затаенной мысли». В подтверждение слов Бенкендорфа Шильдер приводит следующие аргументы: «Сами поляки признают теперь, что император Николай не нарушил принятых им на себя обязательств, как конституционного короля Польши. «Он сделал это к тому же с полной предупредительностью, предоставляя полякам прекрасный случай загладить их ошибки и с своей стороны набросить на прошлое покров забвения». В это же время экстремисты из тайного общества подхорунжих, поддерживаемые либеральной оппозицией, готовили заговор с целью ареста или в крайнем случае убийства Николая I накануне коронации [см. 80, с. 220–222].

[2] Отмеченная выше стойкая приверженность либеральных полонистов польскому историческому дискурсу во многом обязана сохранившемуся в исследовательской практике дискурсивному наследию советской историографии, которая, игнорируя право России на защиту своих имперских границ и интересы западнорусского населения, страдавшего от колониальной эксплуатации, неизменно становилась на сторону польских «революционеров», боровшихся с «царизмом» за «нашу и вашу свободу». Однако нетрудно заметить, что этот пылкий «революционный» призыв был выдвинут и использован в интересах шляхетского национального эгоизма, который был направлен на разрушение Российского государства, что неизбежно влекло за собой тяжелые политические, социальные и материальные последствия для большого русского народа [см. 102–107].

зрения консервативного и западнорусского дискурса польское «общество», прежде всего, политизированная шляхта, оказалось органически не способно разумно воспользоваться дарованными ему правами и институтами в русле «органичной работы», необходимой для развития страны, и безответственно предпочло ей военный мятеж и безнадежную кровопролитную войну, тяжелые последствия которой пришлось испытать всему населению Царства и губерний Западной России [63, т. 3, с. 718–722; 108].

Как уже отмечалось выше, в манифесте, составленном депутатами сейма, российская власть без всяких серьезных на то оснований обвинялась в тяжких преступлениях против «польской нации», ее свободы и достоинства и, в частности, в несоблюдении норм дарованной конституции. Разумеется, при этом авторы не задавались справедливым вопросом о том, насколько соотносилось политическое поведение национальных активистов с нормами конституции, злоупотребление которыми заставляло польскую администрацию и верховную власть принимать вполне адекватные меры по сохранению правопорядка и контроля над общественными процессами [63, т. 1, с. 79–103][1].

В нашем случае преследовалась принципиально иная цель. Создавая искусственный образ Польши как несчастной жертвы, безвинно страдавшей от произвола российского деспотизма, депутаты сейма пытались склонить государства Европы начать вооруженную агрессию против России в целях защиты самопровозглашенной польской независимости. В манифесте старательно перечислялись все выгоды, которые получат европейские народы в случае победы освобожденной Польши над деспотической Россией, а также и все беды, которые принесет цивилизованной Европе поражение «национальной революции».

Поляки, говорилось в нем, «суть спасители свободы, которой хотят нанести смертельный удар; они буду оберегать и защищать цивилизацию и не допускать до Европы дикие орды севера; для соседних народов, владеющих частями Польши [Австрии и Пруссии – *А.Б.*] и питающих, может быть, недоверие к ним, они будут служить только опорой, блюстителями и защитниками их свободы; если бы они не были даже поддержаны, то они все-таки решились одни вести борьбу за всех и, если принуждены будут пасть, то умрут со сладким чувством, что они защищали человеческие права европейских народов» [63, т. 1, с. 216–219].

Как видим, составители манифеста от имени «польской нации» самочинно брали на себя мессианскую роль катехона, который призван ценой своей жизни удерживать «дикие орды севера», угрожавшие европейской свободе и цивилизации. Идейная концепция врага, изложенная в манифесте, газетных публикациях, заявлениях лидеров мятежа и проповедях ксендзов, преподносила войну против России как «национальную революцию», которая ведется «независимой нацией» против угнетателей – русских варваров, «татар» и «схизматиков», отколовшихся от истинной Римско-католической церкви и стоящих на низшей ступени культурного и политического развития[2].

[1] Депутаты сейма, ставшие мятежниками, не прислушались к словам императора Александра, сказанным на открытии сейма в сентябре 1820 года. «Без сомнения, – говорил император, – век, в котором мы живем, требует, чтобы общественный порядок имел основанием и ручательством законы его охраняющие. Но сей же век налагает на правительство обязанность ограждать законы от пагубного влияния страстей, всегда слепых, всегда беспокойных. В этом отношении и на вас, и на мне лежит важная ответственность. Она указывает вам следовать неизменно по пути, начертанному вам благоразумием и правотой» [см. 65, т. V, с. 475].

[2] В связи с мессианскими претензиями взбунтовавшей польской шляхты рядиться в тогу цивилизованных защитников европейской свободы уместно привести слова известного военного теоретика Карла фон Клаузевица, характеризующие состояние политической культуры Польского государства и его лидеров, которые привели государство к катастрофе XVIII века: «Можно ли было смотреть на Польшу как на европейское государство, заслуживающее одинаковой мерки с другими членами европейского концерта? Нет. Это было государство варварское, которое, вместо того чтобы лежать, как Крымское ханство на берегу Черного моря, на грани европейского государственного мира, было расположено среди него на Висле. Мы не хотим этим сказать что-либо презрительное о польском народе, не хотим этим и оправдывать раздела этой страны, но стремимся лишь взглянуть на вещи так, как они есть. В течение ста лет это государство, в сущности, не играло ника-

Русский враг – «москаль», «схизматик» – демонизировался, умышленно выводился из круга равных себе европейцев, превращаясь в примитивное существо низшего культурного порядка, война с которым становилась в то же время высокой миссией защиты цивилизации от варварства, свободы от деспотизма. Используемая в пропаганде мятежа национальная идея цивилизационно-культурного, шляхетского превосходства, мобилизующая и мотивирующая на войну с национальным врагом – русским «варваром», стала неотъемлемой частью политической, этнической и религиозной русофобии, имевшей в Польше глубокие исторические корни [110, с. 32–36, 43; 86, с. 7–8].

С началом мятежа в иерархии врагов польской независимости произошли существенные перемены, так как «революционная» пропаганда стала демонстрировать жертвенную готовность «польской нации» защищать свободу своих европейских угнетателей – Австрии и Пруссии. Теперь уже расчленители Польши вместе с революционной Францией и революционной Бельгией стали нуждаться в защите «своих человеческих прав», а русские «варвары» окончательно превратились в единственного, абсолютного врага польской и европейской свободы. Накануне падения Варшавы лозунги сейма, призванные поднять «поголовное восстание» против русского врага, по-прежнему не могли обойтись без воинственной риторики самозваных «европейских» защитников и звучали так: «…во имя Бога, во имя свободы, во имя настоятельной опасности, во имя веры, во имя польских королей и героев, павших за Европу, но и во имя будущего поколения, во имя освобождения народов» [63, т. 3, с. 199].

В свою очередь, император Николай I в преддверии неизбежной войны в декабре 1830 года обратился с манифестом к своим подданным. В нем говорилось о мятеже и бедствиях, охвативших Царство Польское в результате «гнусной измены» и «злодеяний возмутителей». Император не сомневался в верности россиян: «Сердца ваши, пылающие ревностью к престолу, понимают все чувства нашего сердца. На первую весть об измене вы ответствовали повторением клятв непоколебимой верности; и ныне, во всем пространстве нашей обширной империи мы видим одно движение; все одушевляются одним желанием, не щадить трудов, жертвовать достоянием и жизнью за честь царя своего, за целость государства». Манифест стал демонстрацией твердой воли Николая «ограждать неприкосновенность прав престола и отечества и намерение столь же твердо щадить заблуждение, очищаемое раскаянием».

Император призывал своих подданных в предстоящей войне следовать моральным, политическим и военным правилам, которые позволят сохранить достоинство государства и честь русской армии. В манифесте излагалась идейная концепция политического врага, который не имел национальной и религиозной окраски и характеризовался лишь с моральной и политической точки зрения. К таковым врагам относились лишь непосредственные «участники бунта», которые нарушили присягу и в силу этого становились «изменниками» и «мятежниками». Все остальные российские поданные Царства могли рассчитывать на защиту и милосердие верховной власти.

«Россияне! – говорилось в манифесте. – Пример царя вашего будет вашим руководством; правосудие без мщения; непоколебимость в борьбе за честь и пользы

кой политической роли и служило лишь яблоком раздора для других. При его состоянии и государственном устройстве оно никоим образом не могло бы долго просуществовать среди других государств, а существенное изменение в его варварском состоянии потребовало бы половины или целого столетия при условии, если вожди польского народа этого пожелали бы. Однако эти последние сами были еще слишком варварами для того, чтобы захотеть подобного изменения. Государственная неурядица и безграничное легкомыслие шли рука об руку, и они, таким образом, покатились в бездну» [см. 109, с. 174]. Уничижительная оценка, данная К. фон Клаузевицем «вождям польского народа» 1772–1795 годов, столь же точно характеризует и революционных «вождей» 1830–1831 годов.

государства без ненависти к ослепленным противникам; наказание одним изменникам; любовь и уважением к тем из подданных наших Царства Польского, кои верны данной нам клятве; готовность к примирению со всеми, кои возвратятся к долгу» [111, с. 95–96] .Таким образом, с идеологической точки зрения, начавшаяся война велась не против восставшей за свою свободу «польской нации», а против самопровозглашенной власти «бунтовщиков» и «изменников» из высших сословий, которая подчинила себе «народ Царства Польского».

Несмотря на многочисленные трудности для русских войск, действовавших на растянутых и нарушаемых мятежниками коммуникациях, эпидемию холеры и ошибки командования, стойко сражавшаяся польская армия в короткий срок была разгромлена и капитулировала. Были разбиты и рассеяны иррегулярные отряды мятежников в Литве, на Волыни и в Подолии. Русская армия в войне с достойным, сильным и мужественным врагом проявила героическое самопожертвование, твердость духа, отвагу и силу воли [80, с. 375]. Политические руководители мятежа и часть военных бежали за границу. В результате возникло такое политически опасное для интересов Российского государства явление, как массовая польская эмиграция в Западной Европе, ставшая в европейском общественном мнении одним из самых активных трансляторов русофобских взглядов и настроений [112, 87, 71, 113, 114].

Русское образованное общество начала 1830-х годов, включая и первых либералов, не могло воспринять польско-русскую войну как справедливую национально-освободительную борьбу «польской нации» за независимость, достойной пусть даже и не идейной поддержки, то хотя бы морального сочувствия. Определяющими для настроений русского общества, вызванных войной, были положения манифеста, с которым обратился император к России в декабре 1830 года. В связи с этим общество воспринимало события на западе империи как мятеж против законной власти монарха, неприемлемый по своим «национальным» и «революционным» целям и методам ни с политической, ни с моральной точки зрения.

Польский мятеж стал катализатором, пробудившим русское общественное мнение, которое не могло примириться с политическими претензиями побежденных врагов 1812 года. Доминировавшие в обществе национально-патриотические чувства и настроения, вызванные глубоким пониманием смысла происходивших событий, выразили А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, П.Я. Чаадаев и др. [13, с. 126–132]. Цель мятежников – возвращение Западной России в состав восстановленной Речи Посполитой – стала сигналом к пробуждению общерусского национального самосознания. В классической поэтической форме осознание неразрывности Западной и Восточной России выразил А.С. Пушкин:

Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов? [115, 116]

Формой обратной связи с верховной властью стал общественный резонанс, вызванный известием о победе в русско-польской войне. «Восторг Петербурга описать нельзя, только что с ума не сходят, что будет в Москве» – так отзывался Николай I о реакции

столичного общества, извещенного о взятии Варшавы. Столь же восторженно встретила императора-победителя и древняя русская столица – Москва [80, с. 375, 384–386].

В Манифесте, изданном 6 октября 1831 года, Николай I объявил своим подданным, что цель, поставленная Россией в этой войне, достигнута: «народ Царства Польского освобожден от насилия мятежников». Сказано было также и о том, что правила конвенциональной войны, данные императором своим войскам накануне военных действий, были ими соблюдены. Русская армия воевала с врагами с максимально допустимыми в тех условиях гуманностью, милосердием и состраданием. «Неприятель, – говорилось в манифесте, – был равно изумлен великодушным мужеством победителей и уважением их к жизни и собственности побежденных. Но сею кротостью в победе, сим бескорыстием и человеколюбием ознаменованы и все действия наших воинов в Царстве Польском. Помня слова наши, они среди самых кровопролитий старались уменьшить ужасы сей междоусобной брани, везде щадили падших, заблуждающихся и всех возвращающихся к долгу принимали как братьев».

Попытки решения «польского» и «русского» вопросов после победы в русско-польской войне

Пытаясь исправить негативные последствия геополитического просчета 1815 года, император заявлял о новом подходе к решению «польского вопроса». Как уже отмечалось, Николай I не решился реализовать проект 1831 года о разделе Царства Польского и передаче его провинций за Вислой и Наревом Австрии и Пруссии. Тем самым немецкие государства и на этот раз счастливо избежали существенного округления своих владений и неизбежных в таком случае суровых последствий, связанных с подавлением растущего польского сепаратизма и германизацией новых иноэтничных подданных.

С окончанием войны проектируемого упразднения Царства Польского в границах 1815 года не произошло, значит, не исчезла и угроза возникновения на этой территории нового сепаратистского мятежа. Следовательно, кровавый урок политического вероломства, щедро преподнесенный мятежниками, не был усвоен в полной мере. Вместе с тем пережитый и осмысленный опыт мятежа и тяжелой войны заставлял императора избирать принципиально другие способы управления Царством и определять иной характер его отношений и связей с Россией. Император по праву считал себя свободным от всяких обязательств, принятых императором Александром в конституции 1815 года за себя и своих преемников, а Царство Польское правомерно рассматривал как страну, завоеванную русским оружием [20, с. 31]. Теперь вместо политически дискредитировавшей себя конституционной государственности, которая не предусматривала интеграции Царства в правовое, административное и социокультурное пространство России, в манифесте провозглашалась политика, предусматривающая меры по «теснейшему, твердому соединению сего края с прочими областями империи» [111, с. 97].

Восстановив суверенитет России над Царством Польским, император отменил либеральную конституцию, которая показала свое явное несоответствие «революционной» политической культуре польской шляхты, способствуя на деле лишь росту радикального национализма, ирредентизма и сепаратизма. 14 февраля 1832 года императором был издан Манифест «О новом порядке управления и образования Царства Польского», реализация положений которого была призвана: 1) предотвратить новый мятеж; 2) обеспечить «спокойствие и неразрывное соединение двух народов»; 3) сделать Царство Польское «нераздельною частью Империи Нашей» [15, с. 741–751].

Однако в интеграционных замыслах императора, провозглашенных в манифесте, имелся существенный изъян. Не реализовав планы о разделе Царства Польского, позволявшие исправить геополитический просчет 1815 года, Николай I не устранил

базовые условия, провоцирующие возникновение нового мятежа. Не сумев избавиться от взрывоопасной обузы, возложенной на империю его предшественником, император смог предложить лишь паллиативное решение «польского вопроса» в рамках широкой административно-культурной автономии, рассчитанной на постепенную интеграцию Царства в административную систему управления империей [117].

Столь же непоследовательные перемены коснулись и екатерининских «губерний, от Польши возвращенных». Совершенная во время мятежа вооруженная попытка завоевания и отделения Западной России от России Восточной оказала воздействие как на содержание, так и на правительственную политику решения «русского вопроса». Комплекс мер, осуществляемых Комитетом Западных губерний в 1831–1848 годах, представлял собой опыт частичного «обрусения» региона, что предопределило в итоге лишь фрагментарную административно-правовую и социокультурную интеграцию в состав России [118].

В это же время в Западной России вслед за воссоединением территориально-политическим завершился в основном и процесс церковного собирания большого русского народа, приостановленного в период правления Павла I. На Полоцком соборе 1839 года уния с Римом, заключенная в 1596 году, была упразднена. Подписанный епископатом и духовенством Соборный акт был утвержден императором Николаем I. В результате исторического решения Полоцкого собора более полутора миллионов греко-католиков Западной России и Литвы возвратились в Православную церковь [119, с. 54–57; 120, с. 314–316].

Как отмечал М.О. Коялович: «После политического освобождения западно-русского народа от Польши, неизбежно должно было последовать и духовное от нее освобождение. Воссоединения – при Екатерине и в 30-х годах – были первыми его актами» [21, с. 390–391]. «Русский вопрос», взятый как церковная реконкиста, принявшая форму деунизации Западной России, канонически и юридически был решен. «Отныне, – сообщал православный автор, – можно смело сказать, что кроме лишь собственно так называемой Литвы и Жмуди, все основное население западных областей есть не только русское, но и православное» [см. 121, с. 148][1]. Вместе с тем на территории Западной России продолжала существовать охраняемая законами о веротерпимости Римско-католическая церковь латинского обряда, представленная польским дворянством, шляхтой, этническими литовцами и частью западнорусского крестьянства [122, 123].

Однако и в случае с возвращением униатов не обошлось без парадоксов, характерных для колониальной ситуации в Западной России. Численно выросшее сословие воссоединенного духовенства, принадлежавшего к господствующей в империи Русской Православной церкви, сохранило экономическую зависимость от польских помещиков-католиков. В крепостной зависимости от польских помещиков оставалось и многочисленное сословие западнорусской православной крестьянской паствы [124, с. 53–55].

Что же касается сферы политической то, как показали дальнейшие события, закрепить результаты трудной победы в русско-польской войне императору так и не удалось. Ни данная в виде гуманного наказания за политическое вероломство широкая административно-культурная автономия, закрепленная в «Органическом статуте Царства Польского» 1832 года[2], ни строгое управление Царством наместника И.Ф. Паскевича, ни

[1] Упразднение униатской церкви в 1839 году произошло только в Западной России. В Царстве Польском (в Холмской Руси), следовательно, и во всей Российской империи упразднение унии окончательно совершилось позже, в 1875 году в Холмской епархии [см. 33, с. 204–211]. Брестская уния 1596 года продолжала свое существование на территории Австрийской империи.

[2] Как отмечал А.А. Корнилов: «Статут этот, обнародованный, но никогда не введенный в действие, упраздняя особое государственное существование Царства Польского и низводя его до положения простой имперской провинции, давал однако же этой провинции особое своеобразное административное устройство,

деятельность Комитета Западных губерний не смогли обеспечить успешное достижение тех интеграционных политических целей, которые были сформулированы и поставлены Николаем I [125, с. 305–311; 126, с. 380–398].

И этому явлению есть объяснение. Предпринятые императором паллиативные меры не были рассчитаны на принципиальное устранение последствий геополитического просчета 1815 года. Дипломатическая ловушка решений Венского конгресса, подготовленная Александром I, сработала и на этот раз. Взрывоопасное Царство Польское было отвоевано силой оружия и в политически измененной форме сохранено в составе империи. Как отмечалось выше, уроки мятежа и войны не были усвоены в полной мере.

Вместо жесткой правовой и административной централизации управления и системной русификации, осуществляемой по образцу германизации в Пруссии, Николай I продолжил тупиковую политику национальных уступок польской шляхте, столь радикально начатую его предшественником. В то же время действенные меры по формированию социальной опоры российского правительства среди низших сословий польского общества предприняты не были. В связи с этим начавшаяся после 1831 года смена политической тактики николаевского правительства в Царстве Польском не смогла изменить объективных условий для вызревания нового сепаратистского мятежа.

Не претерпели изменений и базовые условия для возникновения новой вооруженной ирредены в Западной России. Участие политизированной части шляхты и ксендзов в войнах против России в 1812 и 1831 годах выявили как сложности, так и системные ошибки в политике инкорпорации в состав России «губерний, от Польши возвращенных».

Названные события показали, что универсальная модель инкорпорации новых территорий в состав империи, представленная политикой сословной интеграции местной социальной элиты в состав российского дворянства, в случае с польской шляхтой оказалась неэффективной. Такой же политически неэффективной в Западной России оказалась и институциональная веротерпимость к сословно привилегированному польскому католичеству, которое сохраняло свой идеологизированный и политизированный характер[1]. Следовательно, николаевская политика сословной и конфессиональной интеграции Западного России и Царства Польского в состав Российского государства, использовавшая универсальные модели строительства империи, не могла достигнуть поставленных целей.

В этих специфических условиях политика, способная обеспечить превентивную безопасность на западных рубежах России, должна была совершить радикальный сословный поворот, поставив своей целью защиту интересов польского и западнорусского крестьянства. Однако после политического и церковного (в большинстве своем) освобождения западных русских от власти Польши и Рима, начавшееся решение «русского вопроса» было приостановлено. Главным препятствием на пути дальнейшего социально-экономического и национально-культурного освобождения западнорусского крестьянства являлись юридически установленные Российским государством властные отношения частнособственнической колониальной эксплуатации.

при котором она должна была сохранить в своем административном и судебном строе совершенно оригинальные черты, резко выделявшие ее из числа остальных частей Российской империи» [см. 20, с. 31–32].

[1] Универсальная модель инкорпорации новых территорий с помощью включения местной социальной элиты в состав российского дворянства и правила института веротерпимости к инославному и иноверному населению были использованы в Прибалтике, Финляндии, Крыму, Поволжье, Западной России, Сибири и т.д., успешно решая вопросы внутренней геополитики Российской империи [см. 127, с. 30–34]. Острые проблемы, политические риски и военные угрозы в форме ирредены и сепаратистских мятежей возникали только в отношениях с польской шляхтой и польским католическим духовенством в связи с их национальными особенностями и неизменной антироссийской политизацией, которая была присуща этим привилегированным сословиям [128; 18, с. 57–117].

Именно эти колониальные отношения, основанные на крепостном праве и культурной дистанции, имманентно порождали и воспроизводили социально-экономическую базу шляхетского ирредентизма и вооруженного сепаратизма. Широко интерпретируемые правительством и губернской администрацией правила веротерпимости для польского католичества усиливали, в свою очередь, процессы полонизации западнорусских католиков из низших сословий, способствуя росту социальной базы антироссийских выступлений.

В результате николаевская интеграционная политика в Западной России унаследовала противоречия екатерининской эпохи, обусловленные сословной, дворянской природой Российского государства. Сохранение «польского вопроса» в форме узаконенной практики колониальной эксплуатации провоцировало процессы дезинтеграции и сецессии, умножая число привилегированных врагов империи как светских, так и религиозных. В то же время православное западнорусское крестьянство, бывшее единственной массовой опорой монархии в регионе, находилось в частной собственности польских дворян и шляхты, которые независимо от уступок правительства в массе своей были враждебны Российскому государству.

Следовательно, для достижения политических целей интеграции и безопасности государства требовалась решительная ликвидация условий, порождавших колониальную эксплуатацию в Западной России. После объединительного Полоцкого собора 1839 года успехи интеграции Западной России в состав России Восточной, как и вопросы обеспечения безопасности Российского государства, стали практически целиком зависеть от решения «русского вопроса», то есть от результатов социально-экономического и национально-культурного освобождения западнорусского крестьянства.

Литература

1. *Русский* [*Страхов Н.Н.*] Роковой вопрос // Время. 1863. № 4. С. 152–163.
2. *Карамзин Н.М.* Мнение русского гражданина // Неизданные сочинения и переписка Н.М. Карамзина. СПб., 1862. С. 3–20.
3. *Гильфердинг А.Ф.* Польский вопрос / А.Ф. Гильфердинг // Собр. соч. Т. 2. СПб., 1868. С. 291–363.
4. *Самарин Ю.Ф.* Современный объем польского вопроса / Ю.Ф. Самарин // Сочинения. Т. 1: Статьи разнородного содержания и по польскому вопросу. М., 1877. С. 325–350.
5. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1863 год. М., 1897.
6. *Аксаков И.С.* Сочинения. Т. 3: Польский вопрос и западно-русское дело. Еврейский вопрос. 1860–1886. Статьи из «Дня», «Москвы», «Москвича» и «Руси». М., 1886.
7. *Погодин М.П.* Статьи политические и польский вопрос (1856–1867). М., 1876.
8. *Градовский А.Д.* Отдел третий. Польский вопрос / А.Д. Градовский // Собр. соч. Т. 6. СПб., 1901. С. 603–626.
9. *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. М., 1991.
10. *Чичерин Б.Н.* Польский и еврейский вопрос: ответ на открытые письма Н.К. Ренненкампфа. Берлин, 1899.
11. *Герцен А.И.* Собр. соч.: в 30 т. Т. 17. М., 1959.
12. *Кручковский Т.Т.* История Польши в основных концепциях русской историографии XIX – начала XX века: Монография. Гродно: ГрГУ, 2016.
13. *Аржакова Л.М.* Польский вопрос и его преломление в российской исторической полонистике XIX в.: дис. … докт. ист. н. СПб., 2014.
14. Польша и Россия в первой трети XIX века: Из истории автономного Королевства Польского. 1815–1830. М.: Индрик, 2010.
15. Меж двух восстаний: Королевство Польское и Россия в 30–50-е годы XIX в. / отв. ред. С.М. Фалькович; Институт славяноведения. М.: Индрик, 2016.
16. Польское Январское восстание 1863 года: Исторические судьбы России и Польши / отв. ред. Н.А. Макаров; Институт славяноведения РАН. М.: Индрик, 2014.
17. *Бендин А.Ю.* Рец. на: Журналы Комитета Западных губерний / изд. подг. Т.В. Андреева, И.Н. Вибе, Б.П. Миловидов, Д.Н. Шилов. Т. 1: 1831–1835 гг. СПб.: Дмитрий Буланин, 2017. 848 с.; ил.; Т. 2: 1836–1840 гг. СПб.: Дмитрий Буланин, 2021 // Петербургский исторический журнал. 2022. № 3 (35). С. 266–281.
18. *Бендин А.Ю.* Рождение «русской идеи» и ее политическая реализация в подавлении польского мятежа и реформировании Северо-Западного края России (1863–1865) // Тетради по консерватизму: Альманах. 2020. № 2. С. 57–117.

19. *Стегний П.В.* Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772. 1793. 1795. М., 2002. С. 3–8.

20. *Корнилов А.А.* Русская политика в Польше со времени разделов до начала XX века. Пг., 1915. С. 7–10.

21. *Коялович М.О.* Лекции по истории Западной России. М., 1864.

22. *Жукович П.Н.* Управление и суд в Западной России в царствование Екатерины II // Журнал министерства народного просвещения. 1914. № 5. С. 8–9.

23. *Батюшков П.Н.* Белоруссия и Литва: исторические судьбы Северо-Западного края. СПб, 1890. С. 307–313.

24. *Батюшков П.Н.* Волынь: Исторические судьбы Юго-Западного края. СПб., 1888. С. 231–234.

25. *Соловьев С.М.* История падения Польши. М., 1863. С. 1–4.

26. *Ковалева А.О.* Генезис геополитической стратегии Российской империи в Тихоокеанском регионе (1724–1917 гг.) // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2015. № 4.

27. *Пузыревский А.К.* Польско-русская война 1831 г. 2-е изд., перераб., испр. и доп. Т. 1, 2. СПб., Воен. тип., 1890.

28. *Кропотов Д.А.* Жизнь графа М.Н. Муравьева, в связи с событиями его времени и до назначения его губернатором в Гродно. СПб., 1874.

29. *Кручковский Т.Т.* История Польши в основных концепциях русской историографии XIX – начала XX века: Монография. Гродно: ГрГУ, 2016.

30. *Трояновский К.О.* Политика Российской империи в отношении беспоместной шляхты западных губерний 1795–1870 гг.: дис. … канд. ист. н. СПб., 2017.

31. *Кареев Н.И.* «Падение Польши» в исторической литературе. СПб., 1888.

32. *Батюшков П.Н.* Подолия: Историческое описание. СПб., 1891.

33. *Батюшков П.Н.* Холмская Русь: Исторические судьбы Русского Забужья. СПб., 1887.

34. *Свистун Ф.* Прикарпатская Русь под владением Австрии: в 2 ч. Львов: Тип. Ставропигийского института, 1896.

35. Воссоединение Киевской митрополии с Русской православной церковью. 1676–1686 гг.: Исследования и документы / под общ. ред. митрополита Волоколамского Илариона. М., 2019.

36. *Филарет (Гумилевский), архиеп.* История Русской Церкви: Период пятый, синодальное управление. (1721–1826 гг.). 5-е изд. М., 1888.

37. *Беднов В.А.* Православная Церковь в Польше и Литве. Минск, 2002.

38. *Липранди А.П.* [*Волынец А.*] «Отторженная возвратих»: падение Польши и воссоединение Западно-Русского края. СПб., 1893.

39. *Бантыш-Каменский Н.Н.* Историческое известие о возникшей в Польше унии, с показанием начала и важнейших, в продолжении оной чрез два века, приключений… Вильно, 1866.

40. *Смолич И.К.* История Русской церкви. 1700–1917. Часть вторая. М., 1997.

41. *Зноско К., прот.* Исторический очерк церковной унии. М., 1993.

42. *Коялович М.О.* История воссоединения западнорусских униатов старых времен. СПб., 1873.

43. *Каменский А.Б.* «Отторженная возвратих»: разделы Польши и концепция собирания русских земель // Труды по россиеведению. Вып. 6. 2016.

44. ПСЗРИ. I. Т. XXIII.

45. *Рункевич С.Г.* История Минской архиепископии (1793–1832): с подробным описанием хода воссоединения западно-русских униатов с Православной Церковью в 1794–1796 гг. СПб., 1893.

46. *Романчук А., прот.* Возвращение к православию белорусско-украинских униатов в правление императрицы Екатерины II (1780–1795): Опыт интеграции в Российской империи // Тетради по консерватизму. 2022. № 1.

47. *Императрица Екатерина Вторая.* Наказ, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2008.

48. *Мадариага Исабель де.* Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 805–810.

49. ПСЗРИ. I. Т. XIX.

50. *Жукович П.Н.* Сословный состав населения Западной России в царствование Екатерины II // Журнал Министерства народного просвещения. 1915. № 1, 2.

51. Белоруссия в период феодализма: Сборник документов и материалов. Т. 3. Минск, 1961.

52. *Богданович М.* История Отечественной войны 1812 года, по достоверным источникам. Т. I, II. СПб., 1859.

53. *Щепкин Е.Н.* От Вильны до Смоленска: Взятие Смоленска // Отечественная война и русское общество. Т. III. М., 1912.

54. *Лукашевич А.М.* Беларусь и война 1812 г. Минск, 2013.

55. *Бендин А.Ю.* Михаил Муравьев-Виленский: усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи. М., 2017.

56. *Коялович М.О.* Встреча народности в Западной России с Русской государственностью и великорусской народностью. По поводу народных караулов в Западной России // Шаги к обретению России. Минск, 2011.

57. *Эткинд А.* Русская литература, XIX век: Роман внутренней колонизации // Новое литературное обозрение. 2003. № 59.

58. *W.* Крестьянское дело в северо-западном крае // Русский вестник, 1868. № 10.

59. *Каxк Ю.Ю.* «Остзейский путь» перехода от феодализма к капитализму: Крестьяне и помещики Эстляндии и Лифляндии в 18 – первой половине 19 в. Таллин, 1988.

60. *Россохина А.В.* Решение земельного вопроса при освобождении крестьян в Остзейских губерниях в 1816–1819 гг. // Вестник Ленинградского гос. ун-та имени А.С. Пушкина. 2011. Т. 4. Вып. 4. С. 82–88.

61. *Карамзин Н.М.* О древней и новой России / Н.М. Карамзин // Избранная проза и публицистика. М.: Жизнь и мысль, 2002. С. 436–438.

62. *Долгих А.Н.* Попытка восстановления Польши при Александре I и общественная реакция в России (на примере позиции Н.М. Карамзина) // Гуманитарные исследования Центральной России. 2019. № 3 (19). С. 7–20.

63. *Смит Ф.И.* История Польского восстания и войны 1830 и 1831 годов. Т. 1–3. СПб., 1863–1864.

64. *Пичета В.И.* Польская конфедерация в 1812 г. // Отечественная война и русское общество. Т. III. М., 1912.

65. *Богданович М.И.* История царствования императора Александра I и России в его время. Т. IV, V. СПб., 1869–1871.

66. Нарыс гісторыі Польскай Дзяржавы і Народа. X–XXI ст.ст. Варшава, 2005.

67. Конституционная хартия Царства Польского // Польша и Россия в первой трети XIX века: Из истории автономного Королевства Польского. 1815–1830. М.: Индрик, 2010.

68. *Кручковский Т.Т., Котусев Е.Н.* Основная проблематика российской политики в Центральной Европе в первой трети XIX века в оценке русской исторической науки второй половины XIX – начала XX века (на примере Герцогства Варшавского и Царства Польского) // Вестник БарГУ. Серия: Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки. 2020. Вып. 8. Декабрь.

69. *Аскенази Ш.* Царство Польское 1815–1830 г. М., 1915.

70. *Захаров В.Ю.* Российский и зарубежный конституционализм конца XVIII – 1-й четверти XIX вв.: Опыт сравнительно-исторического анализа. Ч. 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sci-book.com/gosudarstva-prava-istoriya/struktura-sudebnoy-vlasti-53978.html

71. *Грабеньский М.* История польского народа. Минск, 2006.

72. *Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы: Политическая борьба в России в начале XIX в. М., Наука, 1989.

73. *Погодин А.Л.* История польского народа в XIX веке. М., 1915.

74. *Брянцев П.Дм.* Восстание поляков в 1830 и 1831 гг. Вильна, 1896.

75. *Неелов Н.Д.* Воспоминания о польской войне 1831 года. СПб., 1878.

76. *Айрапетов О.Р.* Царство Польское в политике Империи в 1863–1864 гг. // Русский сборник: Исследования по истории России / ред.-сост. О.Р. Айрапетов, Мирослав Йованович, М.А. Колеров, Брюс Меннинг, Пол Чейсти. Т. XV: Польское восстание 1863 года. М., 2013.

77. *Шмитт К.* Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 1.

78. Записка, поданная императору Александру I генералом Поццо ди Борго, перед открытием Венского конгресса // *Богданович М.И.* История царствования императора Александра I и России в его время. Т. IV. СПб., 1869. С. 66–72.

79. Современное обозрение // Время. 1863. № 4.

80. *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый, его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 2.

81. *Бобровский П.О.* Русская Греко-униатская церковь в царствование императора Александра I. Минск, 2014.

82. *Носко М. прот.* Униатская церковь в первой трети XIX века: Движение к воссоединению с Православием. Минск, 2014.

83. *Коялович М.О.* Настало ли время мириться с поляками? // Шаги к обретению России, Минск, 2011.

84. *Коялович М.О.* История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. 4-е изд.. Минск, 1997.

85. *Жукович П., проф.* Записка об открытии духовной академии в Вильне // Приложение. Вестник Виленского Свято-Духовского братства. 1914. № 5.

86. *Филевич И.П.* Польша и польский вопрос. М., 1894.

87. *Берг Н.В.*Записки Н.В. Берга о польских заговорах и восстаниях: 1831–1862. М., 1873.

88. *Ратч В.Ф.* Сведения о польском мятеже в Северо-Западной России. Вильна, 1867.

89. *Tokarz W.* Wojna polsko-rosyjska, 1830 i 1831. Warszawa, 1993.

90. *Zaewski W.* Powstanie listopadowe.1830–1831: Polityka – Wojna – Dyplomacja. Toruń, 2003.

91. ПСЗРИ. II. Т. VI. Ч. 1. № 4444.

92. ПСЗРИ. II. Т. IX. Отд. 2. № 7383.

93. *Гарбачова В.В.* Паўстанне 1830–1831 гадоў на Беларусі. Мінск: Беларус. дзярж. ун-т, 2001.

94. *Левицкий Н.* Эпизод из польского мятежа 1831 года в Киевщине. Киевская типография университета Святого Владимира, 1899.

95. *Баженов Л.В.* Восстание 1830–1831 гг. на Правобережной Украине: автореф. дис. … канд. ист. н. Киев, 1973.

96. *Слесарюнас Ф.* Восстание 1830–1831 гг. в Литве: автореф. дис. … канд. ист. н. Вильнюс, 1971.

97. *Курбатов Ю.И.* Польское восстание 1830–1831 гг. в освещении русской дореволюционной историографии: автореф. дис. … канд. ист. н. М., 1984.

98. [*Муравьев М.Н.*] Четыре политические записки графа Михаила Николаевича Муравьева Виленского // Русский архив. 1885. № 6.

99. Хронограф Литовский, сиречь Летописец степенный древлеправославного христианства. Вильнюс, 2011.

100. *Пыпин А.Н.* Польский вопрос в русской литературе // Вестник Европы. 1880. № 2.

101. *Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е.* История Польши. М., 2004.

102. *Смирнов А.Ф.* Революционные связи народов России и Польши: 30 – 60-е годы XIX в. М., 1962.

103. Русско-польские революционные связи 60-х годов и восстание 1863 года. М., 1962.

104. Русско-польские революционные связи: в 2 т. М.; Вроцлав, 1963.

105. *Дьяков В.А., Миллер И.С.* Революционное движение в русской армии и восстание 1863 г. М., 1964.

106. *Фалькович С.М.* Идейно-политическая борьба в польском освободительном движении 50–60-х гг. XIX в. М., 1966.

107. Очерки революционных связей народов России и Польши: 1815–1917. М., 1976.

108. *Давыдов Д.В.* Воспоминания о польской войне 1831 года // Русская старина. 1872. Т. VI. С. 7–15.

109. *Клаузевиц К. фон.* О войне. Ч. V–VI. М.; Берлин, 2016.

110. *Неменский О.Б.* Русофобия как идеология // Вопросы национализма.2013. № 1 (13).

111. Государственные преступления в России в XIX веке: Сборник извлеченных из официальных изданий правительственных сообщений / под ред. Б. Базилевского (В. Богучарского). Т. I: 1825–1876 год. СПб., 1906.

112. *Ратч В.Ф.* Польская эмиграция до и во время последнего мятежа 1831–1863 г. Вильна, 1866.

113. *Денисов Ю.Н.* Россия и Польша: История взаимоотношений в XVII–XX веках. М., 2012.

114. *Kalembka, Sławomir.* Wielka Emigracja: polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831–1862. Warszawa, 1971.

115. *Пушкин А.С.* Бородинская годовщина // На взятие Варшавы: Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина. СПб., 1831. С. 11–15.

116. *Муравьева О.* «Вражды бессмысленный позор…»: Ода «Клеветникам России» в оценках современников [Электронный ресурс] // Новый мир. 1994. № 4. Режим доступа: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/1994/4/vrazhdy-bessmyslennoj-pozor.html

117. *Андреева Т.В.* Трансформация имперской политики в Польше от конституционализма к бюрократической централизации // Вестник СПбГУ. История. 2020. Т. 65. Вып. 3. С. 722–726.

118. Журналы Комитета Западных губерний: в 2 т. / изд. подгот. Т.В. Андреева, И.Н. Вибе, Б.П. Миловидов, Д.Н. Шилов. СПб., 2017 (т. 1), 2021 (т. 2).

119. *Киприанович Г.Я.* Высокопреосвященный Иосиф Семашко, митрополит Литовский и Виленский: Очерк его жизни и деятельности по воссоединению западнорусских униатов с Православной церковью в 1839 г. Вильна, 1894.

120. *Шавельский Г., прот.* Последнее воссоединение с Православной церковью униатов Белорусской епархии (1833–1839 г.г.). СПб., 1910.

121. Воссоединение униатов с Православной церковью в Российской империи. Б.м. Б.г.

122. *Толстой Д.А.* Римский католицизм в России: Историческое исследование. Т. 2. СПб., 1876.

123. Атлас народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям / сост. при Министерстве внутренних дел, в канцелярии заведующего устройством православных церквей в Западных губерниях. 2-е изд., исправ. и доп. СПб., 1864.

124. *Миловидов А.И.* Заслуги графа М.Н. Муравьева для Православной церкви в Северо-Западном крае. Харьков, 1900.

125. *Выскочков Л.В.* Император Николай I: человек и государь. СПб., 2001.

126. *Выскочков Л.В.* Николай I и его эпоха: Очерки истории России второй четверти XIX века. М., 2018.

127. *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX вв.). Т. 1. СПб., 1999.

128. *Бендин А.Ю.* Государственно-религиозные институты Российской империи в XVIII – начале XX в.: эволюция отношений «свой – иной – чужой» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: история России. 2021. Т. 20. № 1. Февраль. С. 8–31.

Аннотация. В статье раскрываются проблемы обеспечения безопасности Российского государства на основе анализа интеграционной политики империи в Западной России и в Царстве Польском. Рассмотрены вопросы разделов Речи Посполитой, политики «собирания русских земель» Екатериной II и возникновение феномена Западной России. Показано, что непоследовательность в политике воссоединения западнорусских униатов с Православием и сохранение института крепостного права, восстановившего отношения колониальной эксплуатации, стали препятствием для интеграции Западной России в состав Российского государства. В статье акцентируется внимание на проблемах образования Царства Польского, создание которого характеризуется как «геополитический просчет» дипломатии Александра I. С этой целью рассматриваются события мятежа 1830 года и русско-польской войны 1831 года. Отмечено, что сохранение автономного Царства Польского в составе империи стало источником угроз безопасности и территориальной целостности Российского государства. Рассмотрены шаги по интеграции Западной России и Царства Польского в состав империи, предпринятые правительством Николая I и Русской церковью. Научная новизна исследования заключается в выявлении проблем безопасности Российского государства, возникших после разделов Речи Посполитой и образования Царства Польского. В результате выявлены основные причины появления угроз не только целости и единству государства, но и единству большого русского народа.

Ключевые слова: Российское государство, Речь Посполитая, Западная Россия, Царство Польское, католичество, уния, Православие, интеграция, ирредентизм, сепаратизм, мятеж, «польский вопрос», «русский вопрос», западнорусская историография.

Alexander Yu. Bendin, PhD in History, Professor, Department of Theology, Institute of Theology, Belarusian State University. E-mail: abendin@yandex.ru

Security Problems in the Russian State after the Polish-Lithuanian Commonwealth Partition and the Creation of the Kingdom of Poland (End of the 18th – First Half of the 19th Century)

Abstract. In the article the author examines the problems of security protection in the Russian state analyzing the integration policy of the empire in the regions of Western Russia and Kingdom of Poland. He considers the issues of Poland partitions, "Russian lands collecting" policy of Catherine the Great and the appearance of Western Russia phenomenon. The author shows that the inconsistent policy of the reunion of Western Russian Uniats with the Orthodox church and preservation of serfdom, which re-established the relations of colonial exploitation, were the obstacles on the way of Western Russia integration with the Russian State. He focuses on the problems of the Kingdom of Poland creation which is characterized as "geopolitical error" of the diplomacy of Alexander I. To prove this the author examines the events of the 1830 uprising and the Russian-Polish war of 1831. The author concludes that preservation of the autonomous Kingdom of Poland within the empire became a threat for the security and territorial integrity of the Russian state. He considers the steps taken by the government of Nicolas I and the Russian Church to integrate Western Russia and the Kingdom of Poland into the empire. The scientific novelty of the research consists in the exposure of the security problems of the Russian state that arose after the partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth and the creation of the Kingdom of Poland. As the result the author reveals the principal causes for the appearance of the threats not only for the integrity and unity of the state, but also for the unity of the large Russian nation.

Keywords: Russian State, Polish-Lithuanian Commonwealth, Western Russia, Kingdom of Poland, Catholicism, the Orthodoxy, Integration, Irredentism, Separatism, Mutiny, "Polish Issue", "Russian Issue", Western Russian Historiography.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-96-109

Александр Киселев

Состояние общей полиции белорусских губерний в оценках местной высшей администрации накануне Январского восстания 1863 года

В современной белорусской историографии деятельность общей полиции накануне польского восстания 1863–1864 годов до недавнего времени не являлась предметом отдельного рассмотрения. В частности, в обобщающей работе «Беларусь в составе Российской империи» не нашлось места не только для факта преобразования исполнительной, или общей полиции в декабре 1862 года, но в принципе никак не описывалась полиция как государственный институт местного управления [4]. Напротив, в многотомном коллективном труде «История белорусской государственности» уже значительное место выделяется описанию исполнительной полиции, однако характеристика состояния уездных и городских полиций непосредственно перед восстанием в данном издании не дается [6, с. 74–75]. В случае изучения политики властей накануне и во время польского восстания 1863–1864 годов основной акцент делается на содержании предпринимаемых правительством мер, а не на анализе государственных институтов, их осуществляющих [11]. Вместе с тем исследование самих властных структур, в том числе полиции, позволяет лучше понять особенности происходивших политических процессов: от результативности внутренней политики до причин значительного размаха политического протеста во время Январского восстания 1863 года. В этой связи представляет интерес оценка представителями высшей администрации состояния общей полиции в белорусских губерниях в период от вступления на престол императора Александра II до начала восстания в губерниях Западного края.

Интереснейшая характеристика положения и деятельности полиции в западных губерниях империи содержалась в секретной «Записке о состоянии четырех западных губерний: Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской», представленной императору Александру II министром внутренних дел С.С. Ланским в феврале 1856 года. К сожалению, нам неизвестно авторство данного документа, что не уменьшает значения высказанных на его страницах суждений. В частности, в записке утверждалось, что прежде всего из всех чиновников западных губерний следует обратить внимание на служащих полиции, «которые определяются на службу не по выборам, но по представлениям местного начальства» [33, л. 11]. Уездные и городские полиции «составляют важнейшую часть управления», являясь конечными исполнителями всех распоряжений властей и следователями по всем уголовным делам. В записке отмечалось, что никто до конца не отдает себе отчет в том, как «много весьма важных дел, восходящих на рассмотрение высших государственных мест, принимают начало из рук низших полицейских чиновников!» [33, л. 11]. Однако при этом их подбор «бывает нередко» плохим. В результате местные жители имеют массу оснований для недовольства правительством из-за деятельности полицейских чинов.

Киселев Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент, Белорусский государственный экономический университет. E-mail: kiselev@list.ru

Согласно записке, «довольно часто, что становые приставы и даже исправники, не имеют достаточного понятия о порядке следственного производства, не знают существующих по сему предмету законов и потому производят следствия кое-как, или даже поручают их своим вольнонаемным писцам» [33, л. 12]. Зачастую протокол допроса составляется без допрашиваемого, которому предоставляется лишь право его подписи или, в случае с неграмотными крестьянами, постановкой пресловутых трех крестиков. Единственный способ повышения правовой компетентности чиновников составитель записки видел во введении серьезного экзамена при губернском правлении для всех кандидатов на полицейские должности, принимаемого комиссией из высших должностных лиц губернии. По его мнению, на данный момент не только в западных губерниях, но и в целом по империи полицейские должности «почитаются весьма ошибочно самыми ничтожными и их представляют всем желающим, почти без разбору». Подобная кадровая политика приводила к тому, что после многочисленных выговоров, понуждений и взысканий, которыми «забрасывают полицейских чиновников губернские правления» [33, л. 13], так же легко чиновников отстраняли от должностей. В конце записки ее автор высказывал предположение, что рациональными мерами положение можно исправить.

Нарекания в свой адрес вызывала полиция не только приграничных губерний Западного края, но и полицейские чины Витебской и Могилевской губерний. Так, во всеподданнейшей записке последнего витебского генерал-губернатора кн. М.А. Урусова от 31 марта 1856 года причинами слабой управляемости, накопления недоимок по налоговым сборам назывались «бездействия низших инстанций, и в особенности городских и земских полиций, в которых сосредоточена вся исполнительная власть». Генерал-губернатор констатировал, что многочисленные распоряжения прежних глав губернской администрации не привели к каким-либо положительным изменениям в деятельности полиций. Начальник края потребовал применения более действенных кадровых мер, причем сам показал соответствующий пример. В частности, он воспользовался указом от 22 декабря 1853 года, дававшим право замены выборных от дворянства исправников назначаемыми лицами. По его мнению, применение этого указа привело к тому, что дела «приняли быстрейший и более правильный ход». Так, в Витебском нижнем земском суде после назначения нового исправника из накопившихся без какого-либо внимания с 1832 года 882 дел и 10 502 бумаг удалось за восемь месяцев решить 630 дел и 7197 бумаг. Смена начальника витебской городской полиции и частных приставов позволила уменьшить уровень городской преступности и повысить взыскание недоимок.

Давая общую характеристику состояния исполнительной полиции, генерал-губернатор писал, что «средства городских и земских полиций, особенно в белорусских губерниях, недостаточны и действия их весьма слабы» [14, л. 587]. Низкую исполнительность полиции начальник края объяснял и местной спецификой, в частности населенностью края евреями, которые «склонны к разного рода спекуляциям, плутовству и обману, возрождают множество дел и ябед, запутывающих полиции». В условиях нехватки «способных чиновников» и их занятости расследованием тяжких преступлений от убийств до контрабанды складывалась ситуация, при которой полиция не имела «возможности следить за действиями евреев, в особенности в некоторых местах». В качестве примера генерал-губернатор указывал на то, что в Шклове, который являлся «главным пунктом еврейских спекуляций», за порядком был обязан надзирать становой пристав, но последний находясь постоянно в разъездах по делам следствий не «имел никакого надзора за евреями». В свою очередь накопившиеся невыплаты податей за помещичьими имениями объяснялись главой администрации тем, что «исправники, завися от выбора помещиков, поставлены были в необходимость угождать им и способствовать их уклончивости от платежа податей и других повинностей» [14, л. 588]. В качестве средства по исправлению ситуации

генерал-губернатор использовал чиновников особых поручений при своей канцелярии, которые командировались им приглядывать за деятельностью исправников. Помимо этого, генерал-губернатор своей властью устранял от должности тех чиновников земской полиции, которые проявляли пассивность при взыскании недоимок и иных повинностей.

Не менее показательна оценка состояния общей полиции, данная Виленским военным, Гродненским и Ковенским генерал-губернатором В.И. Назимовым в рапорте от 1 августа 1856 года. Характеризуя ситуацию в целом, недавно назначенный генерал-губернатор отмечал, что, в отличие от внутренних губерний, местным органам управления приходилось действовать в условиях «гражданской жизни, гораздо более многосложной, чем в наших внутренних губерниях». Сложность заключалась в склонности «к тяжбам» местного мелкопоместного и беспоместного дворянства и еврейского населения, контрабанде, близости границы. Вместе с тем при составлении рапорта специально было выделено, что земская или уездная полиция, являющаяся одним из «главных орудий местной власти», по своему личному составу «не вполне соответствует своему назначению» [15, л. 775]. На страницах донесения давалась далеко не лестная оценка служебных качеств чинов земской полиции, которые характеризуются как люди «без роду и племени», не имеющие «в себе достаточных нравственных условий и потому не в состоянии внушить к себе уважение местных жителей». По словам генерал-губернатора, ни в одной из частей империи полиция так не нуждается в том, чтобы «нравственно возвысить класс полицейских чиновников», делая «осмотрительный выбор» лиц желающих служить в земской полиции и практикуя «более человеческое, приветливое обращение к ним высшего начальства». Отчасти курьезные рассуждения В.И. Назимова о «человеческом» отношении к чиновникам уездной полиции дополнялись уничижительной характеристикой городских полиций в уездных городах подведомственных ему губерний. Так, в своем рапорте он констатировал, что «благоустроенной полицейской и пожарной части почти не существует» [15, л. 778]. Исключение делалось лишь для городской полиции губернского Вильно.

В обязательном порядке в силу структуры всеподданнейших годовых отчетов губернаторам приходилось сообщать сведения, характеризующие состояние подведомственных им полиций. Так, минский губернатор Ф.Н. Шкляревич в отчете за 1855 год отмечал «весьма ограниченный штат» [18, л. 899] городских полиций, а их «медленность в производстве дел» выводил из «недостатка средств». Такую же приблизительно характеристику губернатор дал деятельности земской полиции, отметив ограниченность средств и факт «медленности и упущений по делам судебно-полицейским и по денежным взысканиям» [18, л. 902]. В конце отчета губернатор посчитал нужным заявить, что считает «слабой стороной» управления уже упоминавшуюся ограниченность полицейских средств. Отдельно Ф.Н. Шкляревич отметил фактическое отсутствие в земской полиции «нижних полицейских служителей, кои избираются из крестьян, не имеющих никакого понятия о служебных обязанностях» [18, л. 917]. В обозрении Гродненской губернии губернатора И.А. Шпеера от 26 ноября 1856 года отмечалось, что городские полиции практически повсеместно демонстрировали многочисленные нарушения в делопроизводстве, медленное проведение следствий и крайне неудовлетворительную деятельность по взысканию недоимок.

По его мнению, в худшую сторону выделялась Белостокская городская полиция, что происходило «от недостатка чиновников и канцелярии, для управления сим городом» [16, л. 780]. Губернатор отмечал, что еще в 1849 году предпринималась попытка расширить штат и содержание чиновников, но Министерством внутренних дел в просьбе было отказано. Начальником губернии принимались и кадровые решения: некомпетентность письмоводителя Бельской городской полиции обернулась для последнего понижением в должности, а городничего перевели в заштатный Дрогичин. В земской полиции ведение делопроизводства было не только лучше, чем в городских полициях, но в целом

оказалось неожиданно лучшим среди всех уездных учреждений. Однако в плане эффективности деятельность полиции оставляла желать лучшего. Например, уже привычно не взыскивались подати и демонстрировалось крайне медленное ведение дел. По оценке губернатора, только в четырех уездах Гродненской губернии становые приставы более-менее своевременно справлялись с делами, а за остальными становыми числилось «весьма значительное количество не оконченных дел и не исполненных поручений, с давних лет, в числе которых оказались и такие, по коим допущено замедление без основательных причин» [16, л. 781]. В качестве дисциплинарной меры губернатором был снят с должности белостокский исправник, а один из становых, проявивший халатное отношение к розыску и преследованию конокрадов, был примерно уволен в назидание прочим.

Сходные оценки можно легко встретить в отчетах о положении дел в других белорусских губерниях. Например, в ежегодном рапорте могилевского губернатора Н.А. Скалона за 1856 год отмечалось, что одним из слабых мест управления являлась «недостаточность штата полиций и особенно земских» [19, л. 581]. В свою очередь витебский губернатор Г.Д. Колокольцов в рапорте от 31 декабря 1856 года, указывая на постоянный рост загруженности полиций, отмечал невозможность выполнить многочисленные поступающие дела из-за малочисленности штатов, без расширения которых «трудно ожидать быстрого исполнения возлагаемых на них обязанностей» [17, л. 420].

Развернутая характеристика состояния полиции в Виленской губернии была представлена недавно назначенным губернатором М.Н. Похвисневым на страницах его рапорта за 1858 год. В целом характеризуя положение полиции, губернатор сосредоточился на функциональных и организационных недостатках общей полиции. В первую очередь М.Н. Похвиснев указал на несоответствие между широким кругом разных обязанностей, возлагаемых на чинов полиции, и персональными возможностями по их исполнению. По словам губернатора, «соединение разнородных и многочисленных занятий, в одном и том же лице, едва ли совместимо для самого образованного человека» [21, л. 398]. Это обусловливало практически повсеместную неспособность своевременно исполнять должностные обязанности, медленность и накопление неисполненных поручений и дел. В этой связи им рекомендовалось отделить от полиции функции «следственной части от исполнительной» [21, л. 398].

Следующим недостатком в полицейском устройстве являлось «недостаточное содержание и низкое общественное и служебное положение чинов полиции». Губернатор обратил отдельное внимание на служебную несостоятельность нижних полицейских служителей земской полиции в лице тысячских, пятисотских, сотских и десятских. Тысячские и пятисотские, получая за свою службу содержание, «которое зависит от произвола помещиков и обществ, вместо исполнения своей обязанности и надзора за благочинием и порядком, часто сами потворствуют злу и тем самым затрудняют искоренение воровства, бродяжества и пристанодержательства» [21, л. 398]. Сотские и десятские, оставаясь крепостными крестьянами и «отбывая барщину наравне с прочими крестьянами, также мало соответствуют своему назначению» [21, л. 398]. В целях исправления этих недостатков губернатор рекомендовал установить постоянное жалованье тысячским и пятисотским, а сотских и десятских освободить от барщины и прочих повинностей на время исполнения ими своих обязанностей. Сельские же общины следовало обязать «приискать местные средства к их содержанию» [21, л. 399].

Характеризуя же в целом состояние уездного управления, губернатор отметил, что недостатки в деятельности всех местных учреждений, в том числе полиций, коренились в их относительной бесконтрольности со стороны губернских властей в силу территориальной отдаленности, отсутствия координации между местными учреждениями от суда и земской полиции до казначейства, низкого материального содержания.

Далекая от оптимизма картина деятельности городских и уездных полиций предстает и на страницах всеподданнейшего отчета витебского губернатора П.Н. Клушина. Последний констатировал, что делопроизводство городских полиций «находится в расстроенном положении», что выражалось в многочисленных нарушениях при регистрации и оформлении, накопившихся в полициях без всякого движения дел, причем «многие из них утрачены» [21, л. 839]. Общую причину такого отношения губернатор видел в «ограниченности штатов полиции и скудности получаемого чинами их содержания» [21, л. 840]. Впрочем, начальник губернии не ограничился констатацией этой причины, но отчитался о предпринятых им кадровых мерах. В частности, он поменял местами двух начальников городских полиций, уволил следственного пристава в Витебске, направил на службу в полоцкую городскую полицию несколько чиновников, состоявших при губернском правлении «кандидатами на полицейские должности» [21, л. 840]. Прочим чинам городской полиции было предписано следовать нормам законодательства и устранить к установленному губернатором сроку отступления от порядка делопроизводства. Вслед за городской полицией пришлось отметить, что и действия земской полиции не отличались «ни большею правильностью, ни быстротою и сопровождаются отступлениями от законного порядка» [21, л. 842]. Отдельно П.Н. Клушин указал на отсутствие контроля исправников над своими подчиненными, несмотря на «чрезвычайные медленность и не исправность сих последних». Как и в случае с чинами городской полиции, губернатор старался повысить исполнительность чинов земской полиции, путем постепенного замещения новыми служащими и предоставлением подающим некоторые надежды становым исправительного срока.

Могилевский губернатор А.П. Беклемишев считал, что причина «общей медленности земской полиции заключается в совершенной недостаточности ее штатов и получаемом чиновниками полиции содержании, далеко не обеспечивающем их быта» [22, л. 307]. В силу этого «большая часть мест земской полиции принимается чиновниками только по крайней необходимости». При первой возможности, приобретя опыт государственной службы, чиновники предпочитали переводиться на службу по другим ведомствам, чтобы получить более-менее приемлемое жалованье. В итоге канцелярии земских судов при ограниченности их состава оставались со служащими, «не приспособленными к делопроизводству» [22, л. 308]. В целях повышения жалованья губернатор советовал, не прибегая к дополнительным расходам, сократить число уездов по губернии с 11 до 8. Характеризуя городскую полицию, он отмечал, что трудности в ее функционировании коренились не столько в персональных недостатках ее чинов, сколько «в недостаточности средств городских полиций и преимущественно полиции губернского города, где при огромном поступлении бумаг, год от года накоплялись нерешенные дела» [22, л. 308].

Сходную точку зрения на уездную полицию высказал минский губернатор Э.Ф. Келлер, посчитав, что она «в настоящем ее составе едва удовлетворяет главным обязанностям службы и не в силах доставить вообще законам точное исполнение» [20, л. 667]. Губернатор возлагал надежды лишь на грядущее преобразование полиции. В отличие от земской городская полиция получила от начальника Минской губернии удовлетворительную оценку, поскольку он признал ее в «состоянии исполнять свои обязанности и действия ее соответствуют потребностям службы и нуждам городского населения» [20, л. 666].

В своей конфиденциальной «Записке о состоянии Витебской губернии» от 17 декабря 1859 года витебский губернатор П.Н. Клушин, характеризуя личный состав чиновников, отметил, что «даже полицейские должности замещаются местными дворянами» [13, л. 9]. В результате «некоторые земские исправники, большая часть становых приставов <…> принадлежат к тому же дворянскому сословию или по состоянию или по вере», что приводит к саботированию ими мер, направленных на предотвращение перехода из православия в католичество, улучшение положения православного духовенства, разрешение

конфликта между помещиками и их крепостными крестьянами прочими делами, в «которых виды помещиков противоречат видам правительства» [13, л. 10]. Во всех таких случаях чины уездной полиции «чаще всего ограничиваются формальною, почти бесплодною отпискою, и таким образом в делах, касающихся личности или прав местных дворян, искажается действительное положение дел к затмению истины» [13, л. 10]. Напротив, в своем всеподданнейшем отчете о состоянии губернии за 1859 год начальник Витебской губернии предпочел не говорить о причинах того, почему земские полиции не справляются с данными обязанностями. Так, он писал о том, что исправники не контролируют деятельность подчиненных им становых приставов. В результате делопроизводство ведется с многочисленными нарушениями, дороги своевременно не ремонтируются, «взыскание казенных недоимок доведено до преступного послабления, а частные сопровождаются неуловимыми проволочками» [23, л. 228]. Расследование преступлений помимо медленности велось настолько небрежно, что при рассмотрении дела в суде «при самых ясных выводах несоблюдение форм и обрядов избавляет виновных от заслуженного наказания» [23, л. 228]. Губернатор П.Н. Клушин считал, что некомпетентность отдельных чиновников и укоренившаяся привычка сосредотачиваться исключительно на самых простых делах «чрезвычайно замедляют улучшение полиций» [23, л. 228].

Виленский губернатор М.Н. Похвиснев в 1859 году ограничился отсылкой на свои размышления из прошлогоднего отчета, упоминая о «неустройствах нашей администрации, в особенности же по части полицейского и судебного управления» [23, л. 732]. Минский губернатор Э.Ф. Келлер в отчете за 1859 год просто повторил свои прежние оценки практически слово в слово [23, л. 824].

В следующем году виленский губернатор ограничился сухими статистическими данными о делопроизводстве полиции, упомянув детально лишь о появлении института судебных следователей. В свою очередь гродненский губернатор И.А. Шпеер, отрапортовав о соответствии городской полиции своему предназначению, вынужден был отметить, что в Пружанах ревизия вскрыла многочисленные нарушения. Это потребовало отстранить городничего от должности и инициировать следствие для предания виновных суду. Ссылаясь на показатели делопроизводства в гродненской городской полиции, губернатор признавал, что результаты ее служебной активности далеко не такие хорошие, но, глядя на «крайне ограниченный состав полиции» [25, л. 1123], рассчитывать на лучшее не приходилось. При характеристике службы земской полиции губернатор отметил, что при постоянном росте поступающих дел «по крайне ограниченному составу земской полиции» [25, л. 1125], полиция в принципе не могла справиться со всеми задачами. Однако определенные надежды И.А. Шпеер возлагал на улучшение ее исполнительности после появления судебных следователей и дополнительных ассигнований на содержание нижних земских судов.

Напротив, могилевский губернатор А.П. Беклемишев, сообщая о выявленных недостатках в делопроизводстве гомельской городской полиции, ожидал исправления ситуации только «от готовящегося соединения городских полиций с земскими, которым уничтожится излишняя между ними переписка и предоставится возможность определять в канцелярии их чиновников более способных и благонадежных» [24, л. 488]. Вслед за своим коллегой из Гродненской губернии могилевский губернатор надеялся на то, что с началом деятельности судебных следователей и дополнительным финансированием удастся привлекать на службу более способных чиновников. Любопытно, что при общей характеристике губернского чиновничества губернатор, ссылаясь на свой опыт и общественное мнение, утверждал, что чиновники Могилевской губернии «лучше, чем во многих других» губерниях. Показательно, что в целях обоснования своей точки зрения он сослался на то, что даже «встречаются нередко люди в самых низших полицейских должностях совершенно честные, другие отличаются особенною распорядительностью и деятельностью, – это

строгие исполнители распоряжений правительства, хотя не всегда совершенно бескорыстные» [24, л. 456].

Интересные замечания о полиции содержались в отношении виленского генерал-губернатора В.И. Назимова от 9 июня 1861 года начальнику Третьего отделения В.А. Долгорукову. Рекомендуя запретить приезд студентов из числа уроженцев западных губерний на каникулы, начальник края ссылался на то, что наблюдение «возлагается на туземных чиновников полиции, из коих одни представляются не вполне благонадежными, а другие, более преданные правительству или, лучше, более благоразумные и осторожные, удаляются таким образом от жителей в частных к ним отношениях» [34, с. 31–32]. По мнению В.И. Назимова, надзор оказался бы неэффективным, поскольку «полицейские чиновники не могут быть поставлены в уровень с студентами ни в материальных средствах, ни в общественных сношениях, ни в умственном современном образовании» [34, с. 32]. По словам генерал-губернатора, было бы странным видеть в борьбе с политическим идейным протестом опору «в лишенном средств к жизни, необразованном и, если можно так выразиться, завербованном на улице полицейском чиновнике» [34, с. 32].

Витебский губернатор А.С. Оголин, характеризуя деятельность подведомственных ему городских полиций за 1861 год, доносил о том, что «действия городских полиций слабы и не достигают вполне цели сих учреждений». Причина этого явления заключалась в том, что невозможно привлечь на службу «способных и деятельных чиновников, при скудном содержании, ими получаемом» [27, л. 694]. Применительно к земской полиции, начальник губернии давал более положительную характеристику, но признавал, что и «здесь ощутителен недостаток в деятельных и честных чиновниках». Такой кадровый «дефект» полицейских чиновников объяснялся тем, что они с «давнего времени, вследствие различных обстоятельств, не пользуются в общественном мнении должным уважением» [27, л. 697]. В итоге на службу оказалось «трудно приискать людей, преданных не личным интересам, а служению обществу» [27, л. 697]. По словам губернатора, он принял все меры, для того чтобы «возвысить значение полиции», однако в своем всеподданнейшем отчете он умолчал о характере этих мер.

Виленский губернатор М.Н. Похвиснев непосредственно в самом отчете не делал таких обобщающих замечаний о деятельности полиции. Лишь отметил, что многочисленные жалобы на чинов городских полиций стали предметом дознаний, но их результат привел к тому, что «особенно важных злоупотреблений не открыто» [28, л. 398]. Касаясь деятельности земской полиции в разрезе состояния делопроизводства, он отметил, что в целом оно было «по возможности удовлетворительным» [28, л. 400]. Однако в заключительной части губернатор в очередной раз представил развернутые суждения на предмет полиции. Во-первых, он констатировал, что «состав, устройство и способы содержания, как земской, так и городской полиции, давно уже признаются неудовлетворительными» [28, л. 406]. Во-вторых, несмотря на то, что полиция призвана обеспечивать личную и общественную безопасность, ее чиновники «не пользуются у нас ни доверием, ни уважением в народе» [28, л. 406]. В-третьих, губернатор отметил низкий размер материального содержания чинов полиции, причем недавнее повышение жалованья чиновников земской полиции лишь «несколько способствовало к улучшению ее состава». Данную меру начальник губернии предлагал распространить «и на городские полиции, которые в уездных городах крайне затруднены в своем существовании» [28, л. 406]. Наконец, будучи наверняка осведомленным о готовящихся преобразованиях общей полиции, М.Н. Похвиснев рекомендовал для повышения эффективности полицейской деятельности осуществить «слияние городской и земской полиции в одну уездную полицейскую власть» [28, л. 406]. Все эти меры по благоустройству полиции губернатор предлагал предпринять в первую очередь «в современных обстоятельствах здешнего края» [28, л. 406]. Рассуждения виленского

губернатора заслуживают внимания в силу того, что после исполнения губернаторских обязанностей М.Н. Похвиснев занял должность директора Департамента исполнительной полиции Министерства внутренних дел.

Достаточно подробно осветил в своем годовом отчете за 1861 год деятельность полиции могилевский губернатор А.П. Беклемишев. Он, ставя себе в заслугу замещение полицейских должностей в городской полиции «людьми распорядительными и усердными» [28, л. 199], считал, что полиция в целом справилась с обеспечением «общественного спокойствия» в городах [28, л. 199]. Однако им признавалось, что состояние делопроизводства, косвенно отражавшее повседневную деятельность полиции, оставляет желать лучшего. Губернское руководство в целях исправления ситуации направляло в полиции временных чиновников. Так, в могилевской городской полиции «накопление и запущение дел сделалось до того велико», что пришлось с санкции Министерства внутренних дел учреждать временное отделение для разбора запущенного делопроизводства. Причина несостоятельности полиции, по мнению губернатора, крылась в «недостаточности их штатов, при которых исправное ведение дел часто бывает положительно невозможно или вызывает городничих на содержание на свой счет вольнонаемных писцов» [28, л. 200]. В последнем случае губернатор намекал на неизбежность коррупции, поскольку городничие шли «на пополнение таких издержек разными косвенными доходами» [28, л. 200]. Более того, в заключительной части своего отчета губернатор недвусмысленно заявил, что ограниченное содержание городской полиции не дает «возможности служить честно» [28, л. 213]. Ограниченность материальных средств городской полиции становилась особенно заметной на фоне повышенного содержания земской полиции. По словам А.П. Беклемишева, выделенные дополнительные средства позволяли набирать на службу в уездную полицию «людей вполне честных и дельных, а канцелярии земских судов содержать в достаточном числе» [28, л. 203].

Главным, по мнению губернатора, стало то, что теперь губернская администрация получила нравственные основания более последовательно применять строгие меры в борьбе с проявлениями служебных злоупотреблений, на которые прежде «стеснялось брать <…> ответственность», поскольку «сознавало крайнюю недостаточность предоставленного полицейским чиновникам содержания, вовсе не обеспечивавшего их существования» [28, л. 203]. На страницах губернаторского отчета рисуется достаточно оптимистическая картина кадрового обновления состава земской полиции. Губернатор утверждал, что «молодые образованные люди принимают должности исправников и становых приставов, вполне добросовестно исполняют возложенные на них обязанности и облагораживают тем самым должности, которые долгое время считались как бы исключительным достоянием людей не вполне благонадежных» [28, л. 212]. Вслед за главой Виленской губернии могилевский губернатор надеялся на улучшение полицейской организации, уповая на грядущее «соединение городских полиций с земскими» [28, л. 200]. Наконец, минский губернатор Э.Ф. Келлер в своем отчете за 1861 год признавал, что земская полиция «в настоящем своем составе едва удовлетворяет главным обязанностям службы и не в силах доставить вообще законам точное исполнение» [26, л. 292]. Чуть более позитивных оценок удостоились городские полиции. Признавалось, что они «более или менее в состоянии исполнять свои обязанности» [26, л. 290].

Если первые замечания губернского начальства на предмет надежности полиции в условиях нарастающего политического протеста появляются в 1861 году, то уже во всеподданнейших отчетах следующего года эта тема представлена более широко. Кроме того, на 1862 год приходится преобразование общей полиции, что тоже не могло пройти мимо внимания губернаторов. В частности, военный губернатор Гродно и гродненский гражданский губернатор И.В. фон Галлер в своем рапорте от 20 марта 1863 года в целом высказал достаточно критический отзыв о состоянии и деятельности общей полиции.

Так, И.В. фон Галлер констатировал, что городские полиции «по крайне недостаточному своему составу и весьма скудному содержанию», которое в силу ограниченности средств городского бюджета выплачивалось нерегулярно, находились «в самом неудовлетворительном состоянии» [31, л. 107]. Отчасти положение по охране порядка в Гродно, Бресте, Белостоке и Бельске упрощалось благодаря военно-полицейским командам, сформированным после объявления военного положения. Губернатор возлагал надежды на то, что с «преобразованием полиций и с увеличением окладов полицейским чиновникам» данное учреждение, наконец, займет «то место, которое по важности обязанностей, должно принадлежать им в губернской администрации» [31, л. 108]. Характеризуя уездную полицию, он отмечал важность данного института, особенно с учетом пограничного положения Гродненской губернии с Царством Польским. На протяжении пятисотверстной границы, «открытой для злонамеренных попыток в политическом отношении», приходилось бороться с контрабандой и нелегальным корчемством. Выделенные в 1862 году денежные средства позволили поощрить отдельных чиновников земской полиции и направить «в состав оных особых чиновников». Вместе с тем проведенная губернатором ревизия вскрыла неудовлетворительное ведение текущего делопроизводства. А главное оказалось, что чиновники уездной полиции, «по весьма малому между ними числу русских уроженцев православного исповедания, при тревожных политических обстоятельствах, оказались почти всегда бездействующими» [31, л. 130].

Ранее в своем письме от 9 января 1863 года на имя министра внутренних дел П.А. Валуева И.В. фон Галлер дал более развернутое описание положения чинов земской полиции. Он утверждал, что чиновники земской полиции преимущественно «местные уроженцы, с крайне ограниченным содержанием и с сильною материальною поддержкою от дворянства» [12, л. 119]. Те из них, кто сохранял лояльное отношение к имперским властям, становились жертвой клеветы, которая «не медлила чернить их репутацию» [12, л. 119]. Губернатор положительно расценивал формирование уездных полицейских управлений, что «устранило все эти неудобства» [12, л. 119]. Однако в письме он настаивал на том, чтобы губернское руководство назначало исправников «из великороссийских уроженцев, чуждых местным интересам, и от которых православный народ Литвы, по непрестанным и близким отношениям, будет постоянно слышать живое слово языка русского» [12, л. 120]. Развивая эти соображения в своем всеподданнейшем отчете, губернатор предлагал назначать если не всех чиновников полиции, то по крайней мере всех исправников и их помощников из «русских уроженцев» [31, л. 130]. При этом он рекомендовал сохранить кандидатам на эти должности из армейских офицеров военные чины и мундир с правами лиц, находящихся на действительной военной службе. Начальник губернии признавал, что эта мера необходима даже при увеличившихся окладах служащих полиции, поскольку «ощущается крайний недостаток» в чиновниках. Наконец, губернатор просил учредить в пограничных уездах специальные конные полицейские команды.

В отчете за 1862 год могилевский губернатор, в целом положительно оценивая деятельность городских полиций, в особенности акцентируя внимание императора на успехах могилевской городской полиции, утверждал, что в уездных городах «везде положительно ощущался недостаток полицейских штатов и неудобство отдельного полицейского управления в незначительных городах» [32, л. 213]. Основной проблемой в устройстве городских полиций губернатор называл состав и численность городских полицейских команд. Последние состояли из полицейских служителей «по большей части старых, увечных», а в некоторых городах губернии продолжали исполнять эту обязанность «вольнонаемные или по наряду обыватели» [32, л. 213]. А.П. Беклемишев считал, что такой порядок «не может быть терпим» при текущих политических условиях западных губерний, когда «надзор и деятельность полиций должны быть усилены» [32, л. 215].

Как и в случае с земскими полициями, губернатор возлагал значительные надежды на реализацию указа от 25 декабря 1862 года, учредившего уездные и городские полицейские управления. Более того, при характеристике уездной полиции А.П. Беклемишев утверждал, что после преобразований 25 декабря 1862 года «более или менее удовлетворительное состояние полиции будет зависеть исключительно от губернского начальства и останется на его ответственности» [32, л. 217]. В своем отчете о состоянии полиций в Витебской губернии за 1862 год губернатор А.С. Оголин ограничился замечанием о том, что в городах «действия полиций были доселе слабы, по недостатку добросовестных и энергических исполнителей закона, которых невозможно было приискать по скудному содержанию» [29, л. 478]. Напротив, после указа от 25 декабря 1862 года, повысившего содержание чиновникам, губернатор предположил в перспективе кадровое обновление состава городских полиций «людьми способными и надежными» [29, л. 478].

Эту же тему продолжил минский губернатор, отметив, что в городской полиции «чины их не безупречны» [30, л. 277]. Причину таких служебных качеств полицейских городских полиций следовало отнести «главным образом к скудости получаемого ими содержания» [30, л. 277]. Однако А.Л. Кожевников вслед за остальными губернаторами ожидал последствий преобразования полиции, которые дают «надежду, что доселе встречаемые здесь злоупотребления прекратятся» [30, л. 277]. Кроме повышения жалованья от реформы полиции предполагалось получить сокращение переписки, благодаря чему «обязанности не будут превышать их сил» [30, л. 286]. Виленский губернатор М.Н. Похвиснев ограничился лишь пожеланием необходимости «скорейшего введения в действие нового положения о полициях, при настоящих обстоятельствах здешнего края, с каждым днем, становится настоятельнее» [30, л. 384].

Таким образом, оценивая состояние общей полиции в белорусских губерниях накануне Январского восстания 1863 года, губернаторы проявляли единодушие в том, что существующие штаты исполнительной полиции являлись ограниченными по численности. Служебные и нравственные качества полицейских чинов оценивались как низкие, что считалось последствием незначительного размера их жалованья, не позволявшего привлечь на полицейскую службу достойных кандидатов. В отдельных случаях губернаторы напрямую сообщали о коррупционной составляющей в деятельности полиции. Неоднократно отмечался низкий престиж чинов полиции в общественном мнении, причем заметно, что сами высшие должностные лица в своих оценках не оспаривали сложившиеся стереотипы о полицейских чинах.

Губернаторы признавали в теории ключевое значение общей полиции в системе местного управления, что вступало в очевидное для администрации противоречие с ее реальным состоянием. При этом отмечалась специфика исполнения полицейских обязанностей в Западном крае, вызванная полиэтническим составом населения: польским дворянством и еврейскими жителями городов и местечек; пограничным положением губерний. Организационная слабость сказывалась на хроническом накоплении неисполненных поручений и дел, сборе податей, преследовании преступников. Только после повышения жалованья чинам земской полиции в 1860 году и решения о создании уездных полицейских и городских управлений в 1862-м губернаторы стали сообщать об улучшении материального положения уездной полиции и надеяться привлечь на службу в городскую полицию более подходящие кадры.

По мере нарастания политических волнений в губерниях Западного края высшая администрация стала чаще обращать внимание на несостоятельность полиции в борьбе с политическим протестами вследствие организационной слабости, некомпетентности и отчасти из-за ее комплектации местными уроженцами. Следует отметить единодушное положительное отношение губернаторов к созданию полицейских управлений, от скорейшего

введения которых ожидали разрешения части организационных и кадровых проблем полиции. Во всеподданнейших отчетах губернаторы далеко не всегда напрямую высказывали обеспокоенность, предпочитая доводить свои опасения до Министерства внутренних дел путем личной и деловой переписки. При этом лишь отдельные губернаторы детально вникали в недостатки полицейской организации, указывая на фактическое отсутствие надежных кадров низших полицейских служителей в составе уездной полиции, чрезмерно широкий круг обязанностей, возлагаемых на полицейских чиновников.

Разразившееся Январское восстание 1863 года обнажило значительную часть проблем в устройстве и деятельности полиции. Ситуация осложнялась еще и тем, что оно началось практически накануне реорганизации земской и городской полиции, поскольку штатное расписание для полицейских управлений белорусских губерний было утверждено Министерством внутренних дел 17 февраля 1863 года и не учитывало реалий восстания. Очевидно, что незначительная численность полиции, невозможность быстро заместить ее дееспособными кадрами, укомплектованность полиции местными уроженцами католического вероисповедания не могли стать существенным препятствием на пути повстанцев и обусловили ставку властей на военную силу.

В самом начале восстания в своем рапорте от 16 января 1863 года жандармский штаб-офицер по Виленской губернии подполковник А.М. Лосев предположил, что полицейские чиновники-поляки «скорее буду агентами мятежников, нежели правительства» [3, с. 104]. Сообщая о формировании в Виленской губернии повстанческих отрядов, в донесении от 29 января 1863 года А.М. Лосев утверждал, что «правительству рассчитывать на верность полиции положительно невозможно, ибо нельзя допустить, чтобы она, пред глазами которой составляются шайки мятежников, не знала и не могла бы предварительно доносить о том начальству» [5, с. 490–491].

В своем донесении от 26 апреля 1863 года жандармский штаб-офицер полковник Б.К. Рейхарт писал о том, что повстанцы хорошо осведомлены о нехватке войск в Минской губернии. Эта информированность обусловлена тем, что «во всех присутственных местах и канцеляриях они имеют своих агентов между служащими, которые большею частью поляки, а главное неудобство при теперешних обстоятельствах оказывается то, что полиция городская и земская, без малого изъятия, состоит из католиков, – впрочем и некоторые туземные православные (бывшие униаты) не лучше их, особенно у которых жены католички, – тому служит доказательством то, что нашлись между ними охотники присоединиться к повстанцам» [5, с. 516].

Характеризуя ситуацию в Белостокском уезде Гродненской губернии 29 мая 1863 года, жандармский офицер майор С.И. Штейн обратил внимание на отсутствие сведений о повстанческом движении от чинов полиции. По его словам, «чиновники земской и городской полиции большей частью из здешних уроженцев, до ныне мало содействовали к открытию злоумышленников; одни увлечены общим в здешних местах сочувствием к восстанию, другие, находясь в отдаленных местах, где не находится наших войск, в случае нападения мятежников, могущих их защитить оружием, уклоняются от долга службы, из опасения быть умерщвленными мятежниками, при разъездах по делам службы» [5, с. 527].

В отчете витебского губернатора В.Н. Веревкина о событиях в пределах губернии заявлялось, что «весь состав полиции того времени, сформированный почти преимущественно из одних католиков, значительно способствовал к постоянному закрытию виновных, а в случаях, когда действия крамольников и обнаруживались, то факты представляемы были не в надлежащем их значении» [5, с. 483].

Сомнения в лояльности престолу уездной полиции разделял и виленский генерал-губернатор В.И. Назимов. В своем отношении министру внутренних дел от 23 февраля 1863 года он писал, что полиция, подчиненная власти военных начальников, «поставлена

в необходимость действовать согласно с распоряжениями начальства и преследовать злоумышленников, но за всем тем, сочувствуя стремлениям своих соотечественников-поляков, она не упускает удобного случая, чтобы способствовать им всеми зависящими от них мерами укрываться от преследования правосудия» [1, с. 297].

Начальник края не ограничивался одними подозрениями, но практиковал отстранение от должностей и возбуждение расследований с перспективой отдачи под суд заподозренных в сочувствии восстанию чиновников. Так, 21 февраля 1863 года виленский генерал-губернатор В.И. Назимов потребовал отстранить от должности станового пристава Р.Ф. Сухоцкого Лидского уезда (Виленская губ.) за старание «всеми средствами скрывать действия мятежнических партий и по этому случаю не доводить до сведения начальников ближайших воинских команд и других властей в уезде о направлении и местах, где шайки эти скрываются» [1, с. 293]. По факту недонесения о ночлеге повстанческого отряда в м. Шаришове (Кобринский уезд.) генерал-губернатор приказал лишить должности станового пристава. В случае выяснения, что это произошло «вследствие сочувствия его к стремлениям злоумышленников» [1, с. 295], чиновника предписывалось предать военному суду.

Однако говорить о всеобщем предвзятом отношении к чинам полиции все же не представляется возможным. Так, в своем рапорте от 26 января 1863 года трокский военный начальник аттестовал земскую полицию «преданной, сколько я уже мог заметить, вполне законным своим обязанностям» [1, с. 239].

Местные власти отдавали себе отчет в том, что в условиях восстания слабость полиции обусловливалась и ее беззащитностью перед повстанцами. Например, в записке виленского военного начальника генерал-губернатору от 7 мая 1863 года констатировалось, что «становые квартиры и земские почты предоставлены на произвол инсургентам и, опасаясь мести, становые приставы парализованы в своих действиях и даже при редком усердии, как они, так и уездная полиция вообще должны ограничиваться пассивным донесением о случившемся и то едва ли не с разрешения самих инсургентов» [2, с. 151]. На подавленность чинов полиции указывал и брестский военный начальник, когда в рапорте от 30 июня 1863 года писал о том, что от «полицейских служителей, по страху на них наведенному, сведения получать почти нет никакой возможности» [2, с. 245].

Неспособность пресечь формирование повстанческих отрядов была обусловлена не столько национальностью чиновников, сколько тем, что уездная полиция, «не имея в своем распоряжении ни предполагаемой конной стражи, ни даже нескольких казаков, не в состоянии препятствовать явному вербованию шаек без всякого уже стеснения, самым наглым насилием, ничтожной горсти мятежников» [2, с. 151]. Начальник IV округа Корпуса жандармов А.М. Гильдебрант, докладывая 8 мая 1863 года о положении в крае, констатировал, что «земская полиция, можно сказать, не существует более: она поражена ужасом от внезапного появления мятежников на пунктах, где их вовсе не ожидают и где они оставляют следы вопиющих злодеяний» [5, с. 518–519].

Показательно, что в составленной в окружении виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева «Записке об усилении уездной полиции» уже после подавления вооруженного сопротивления повстанцев, признавалось, что, помимо нелояльности чиновников, симпатизировавших восстанию, основная проблема слабости полицейского контроля коренилась в самой организации уездной полиции в крае [10, л. 314–322]: от малочисленности до зависимости от местного населения в силу материальной необеспеченности. Именно поэтому уже во время самого восстания и после его окончания как по инициативе Министерства внутренних дел, так и местных властей были разработаны ряд проектов и предприняты меры, направленные на корректировку полицейского устройства края.

Некоторые из них, например, инициированный министром внутренних дел П.А. Валуевым проект по введению полицейской стражи или предложения по созданию должности

помощника станового пристава, исходившие из администрации виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева, не получили воплощения [7]. Другие, в том числе негласный запрет от 17 февраля 1863 года на назначение на полицейские должности лиц римско-католического вероисповедания, расширение нововведенных штатов городских и уездных полицейских управлений, выборочное повышение денежного содержания, реорганизация службы нижних чинов уездной полиции, временное подчинение полиции военным начальникам, позволили на некоторое время улучшить полицейскую деятельность в крае [8, 9].

Однако все это происходило уже после Январского восстания и являлось запоздавшей реакцией на неудовлетворительное состояние полиции накануне политических событий 1863 года.

Литература

1. Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Ч. 1: Переписка по политическим делам гражданского управления с 1 января 1862 по май 1863 г.: с двумя хромолитографическими снимками и шестью цинкографическими факсимиле в тексте / сост. А.И. Миловидов. Вильна: Губ. тип. 1913. 464 с.
2. Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края, Ч. 2: Переписка о военных действиях с 10-го января 1863 года по 7-е января 1864 года: с девятью цинкографиями в тексте / предисл. А. Миловидова. Вильна: Губ. тип., 1915. 466 с.
3. Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг.: материалы и документы / гл. ред. С. Кеневич. М.: Наука, 1965. 586 с.
4. Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак XX ст.) / М.В. Біч і інш.; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) і інш. Мінск: Экаперспектыва, 2005. 519 с.
5. Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах Т. 2: (1772–1903 гг.) / пад рэд. Н.М. Нікольскага, Д.А. Дудкова, І.Ф. Лочмеля. Мінск: Выд-ва АН БССР, 1940. 938 с.
6. История белорусской государственности: в 5 т. Т. 2: Белорусская государственность в период Российской империи (конец XVIII – начало XX в.) / Н.В. Смехович и др.; отв. ред. тома: Н.В. Смехович, А.В. Унучек, Е.Н. Филатова. Минск, 2019. 413 с.
7. *Киселев А.А.* Полицейская стража: несостоявшийся проект // Беларуская думка. 2013. № 2. С. 68–73.
8. *Киселев А.А.* Полицейская реформа Александра II в Западном крае империи // Родина. 2014. № 4. С. 83–84.
9. Киселев А.А. Реформа службы нижних чинов уездных полицейских управлений губерний Северо-Западного края Российской империи в 60-х гг. XIX в. // Петербургские славянские и балканские исследования. 2010. № 2 (8). Июль – декабрь. С. 172–186.
10. ЛГИА. Ф. 378. Оп. 71. Д. 18.
11. *Лишай Д.В.* Политика российских властей в отношении общественных протестов на территории Минской губернии в 1861–1862 гг. // Научные труды Республиканского института высшей школы. 2021. Вып. 21. Ч. 1. С. 301–308.
12. РГИА. Ф. 908. Оп. 1. Д. 121.
13. РГИА. Ф. 982. Оп. 1. Д. 33.
14. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2544.
15. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2555.
16. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2605.
17. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2607.
18. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2611.
19. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2621.
20. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2760.
21. РГИА.Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2766.
22. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2767.
23. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2825.
24. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2892.
25. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2902.
26. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2960.
27. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2961.
28. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2964.
29. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3026.
30. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3029.
31. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3030.
32. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3036.
33. РГИА. Ф. 1286. Оп. 17. Д. 812.
34. Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861–1862 гг. / предисл. Ю. Жюгжды и С. Лазутка; ред. колл.: В. Дьяков и др. М.; Wroclaw: Наука, 1964. 707 с.

Аннотация. По мнению высших должностных лиц местной администрации белорусских губерний, уездная и городская полиция состояла в большинстве своем из некомпетентных чиновников. Если городская полиция в основном справлялась со своими обязанностями, то уездная полиция не выполняла ряд полицейских функций. Полицейские чиновники получали незначительное жалованье, их численность была относительно невелика. В общей полиции наблюдались коррупционные явления. Уездная полиция находилась в зависимости от местного дворянства. Эти особенности не позволили подавить восстание полицейскими мерами. В период польского восстания 1863–1864 годов правительству пришлось вносить изменения в полицейское устройство, однако эти меры имели характер запоздавшей реакции.

Ключевые слова: уездная полиция, городская полиция, белорусские губернии, Российская империя, польское восстание 1863–1864 годов.

Alexander A. Kiselev, PhD in History, Associate Professor, Belarusian State Economic University. E-mail: kiselev@list.ru

General Police of the Belarusian Provinces State in the Estimates of the Local Higher Administration on the Eve of the January Uprising of 1863

Abstract. According to the top officials of the local administration of the Belarusian provinces the county and city police consisted mostly of incompetent officials. If the city police basically coped with their duties, the county police did not perform a number of police functions. Police officials got little salaries and were relatively few in number. Corruption phenomena were registered in the general police. The county police were dependent on the local nobility. Those features prevented the rebellion suppression by police forces. During the Polish Uprising of 1863, the government had to make changes in the police structure, but those measures were late in time.

Keywords: County Police, City Police, Belarusian Provinces, Russian Empire, Polish Uprising of 1863–1864.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-110-116

Александр Киселев

Террор против чинов исполнительной полиции белорусских губерний в условиях Январского восстания 1863 года

Вопрос о терроре против чинов полиции тесно связан с проблемой политического террора в период польского восстания 1863–1864 годов как такового. Если при характеристике числа погибших от рук повстанцев в пределах Царства Польского в отчете Третьего отделения указывалось, что «число несчастных жертв, замученных или повешенных инсургентами с 10/22 января 1863 по 2/14 января текущего года, дошло до 924 человек» [15, с. 627], то применительно к губерниям Западного края просто констатировался «ряд самых безобразных злодеяний, которых жертвами соделались многие преданные правительству лица, в том числе священники, чиновники земской полиции, крестьяне и попадавшиеся в плен военные – достаточно свидетельствуют о свирепости мятежа» [15, с. 631]. При этом конкретных цифр о числе пострадавших не приводится.

В частности, в монографии А.А. Комзоловой указывается, что до сих пор сложно «сказать сколько всего крестьян, православных священников, должностных лиц погибло от рук польских повстанцев» [5, с. 72]. В своей книге историк сослалась на сведения из воспоминаний А.Н. Мосолова, который называл цифру 600 чел., павших от террора повстанцев к осени 1863 года [6, с. 27], при этом в обществе циркулировали слухи о 1200 погибших [5, с. 73]. В своей работе А. Дюков, основываясь преимущественно на материалах прессы и списке на мемориальных плитах из Пречистенского собора Вильно, установил личности 452 убитых повстанцами [4, с. 103–104]. В целом считая указанную Мосоловым цифру достоверной, исследователь признавал, что информация о всех погибших нуждается в дальнейших уточнениях и проверках. Вместе с тем существует проблема разграничения тех погибших, кто лишился жизни в результате целенаправленного политического террора, а кто погиб в боестолкновениях с повстанцами.

Как представляется, решить вопрос о численности пострадавших от рук повстанцев возможно с помощью введения в научный оборот новых документов официального делопроизводства, не исключая уже опубликованные документальные источники. В частности, на основании двухнедельных ведомостей о происшествиях по губернии, обобщавших донесения начальников полиции и отсылавшихся губернатором в Третье отделение и отдельной копией на имя министра внутренних дел, можно уточнить данные о количестве жертв в результате террора повстанцев [8–13].

Например, в донесениях о происшествиях по Могилевской губернии за 1863 год не упоминаются факты убийств вследствие политического террора повстанцев. В данном случае их достоверность подтверждается рапортом могилевского губернатора А.П. Беклемишева на имя виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева от 16 июля 1864 года. В нем

Киселев Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент, Белорусский государственный экономический университет. E-mail: kiselev@list.ru

начальник губернии отметил, что «во время происходивших в апреле месяце прошлого года беспорядков польскими мятежниками никто не повешен» [7, с. 225]. Однако он отметил, что при преследовании повстанческих отрядов и при нападении на Горки в губернии погибли 13 чел., в том числе 9 нижних чинов горецкой инвалидной команды, 3 крестьянина и 1 мещанин. Ничего не упоминается о случаях террора против крестьян и чинов полиции в сводках происшествий по Витебской губернии. При этом в двухнедельных обобщениях сведений из рапортов полицейских чиновников находилось место для описания убийств младенцев, ограблениях, побегах арестантов, несчастных случаях, пожарах и т.п. В случае нескольких сообщений об обнаруженных мертвых крестьянах или мещанах просто сообщалось о том, что имеются признаки «насильственной смерти» [9, л. 127], но никаких предположений о возможности приписать убийство повстанцам в рапортах не делалось.

Анализ двухнедельных отчетов по Ковенской, Виленской, Гродненской и Минской губерниям за 1863 год показал, что жертвами расправ со стороны повстанцев являются 130 чел., среди которых оказались 2 становых пристава, 7 сотских и десятских, 7 пятисотских и 3 тысячских, то есть 15% всех попавших в донесения представляли чины уездной полиции. Следует отметить, что львиная доля всех пострадавших приходится на Ковенскую губернию – 61% (79 чел.). На втором месте оказалась Гродненская губерния – 20% (26 чел.), а на третьем – Виленская с 16% (21 чел.). Заметную часть убитых составили 11 (8%) представителей сельской администрации (старшины, старосты и писари). Вопреки стереотипу повстанцы подвергали террору и дворян. По крайней мере выявлено 11 случаев, когда убитыми оказались частные лица из дворян.

К сожалению, данный источник не позволяет разрешить вопрос о точной оценке численности жертв повстанческого террора. В частности, в сводках по Минской губернии за февраль 1863 года не сообщается о нападении на встреченного повстанцами в имении Невеле пятисотского Берестовича, которого повесили «на дереве, потом, сняв и посадив на льду полумертвым, дали в него четыре выстрела» [2, с. 66]. При нападении на почту этим же отрядом был убит ямщик пароконной эстафеты. В донесениях за апрель 1863 года по Гродненской губернии не упоминается то, что в ночь с 10 на 11 апреля 1863 года в заштатном Брянске Бельского уезда становой пристав «Курганович и отставной солдат Радзицкий возле своих квартир повешены на деревьях мятежниками» [1, с. 375]. Также мы не встретим сообщения о повешении повстанцами обер-объездчика пограничной корчемной стражи отставного майора Хлуса в ночь с 5 на 6 апреля в местечке Цехановце. В сводку попал факт о повешении повстанцами двух крестьян и бессрочно отпускного солдата, но не было включено сообщение о повешении на столбе в местечке Боцьки Бельского уезда отставного солдата М. Дмитриева и о повешении 16 апреля отставного солдата и крестьянина в Белостокском уезде [1, с. 427]. Не нашли отражения в ведомостях о происшествиях за вторую половину апреля 1863 года по Минской губернии сведения о трех убитых крестьянах в дер. Новоселки Игуменского уезда, о которых сообщается в рапорте Б.К. Рейхарта от 26 апреля 1863 года на имя начальника Третьего отделения. Показательно, что в сводку о происшествиях не попал случай убийства повстанцами православного священника Д.С. Конопасевича 23 мая 1863 года. Не встретим и описания убийства крестьянина Туринской волости Минской губернии К. Гузака [3, с. 439].

Кроме того, информация в этих сводках о происшествиях не отличалась исчерпывающим характером, могла дублироваться и конкретизировалась лишь в иных материалах делопроизводства. Так, в сообщении о происшествиях за вторую половину июня 1863 года по Ковенской губернии упоминается информация от тельшевского исправника о повешенном 22 мая лукницком пятисотском Борткевиче [11, л. 80], а в донесении россиенского исправника, попавшем в сводку о происшествиях за вторую половину мая, то есть более раннюю по времени, сообщается о найденных в Цитовянском лесу трех повешенных

повстанцами крестьянах «по прозваниям еще неизвестных» [11, л. 76]. Однако в записке тельшевского военного начальника от 27 августа 1863 года указывалось, что повешенными в лесу близ местечка Цитовяны оказались лукницкий пятисотский Борткевич, вешвянский сельский старшина Шилинский и объездчик лесной стражи Можейко [3, с. 226]. Показательно, что в сводку за вторую половину июня не попали сведения о личности и должности повешенных вместе с пятисотским старшины и объездчика.

Данные особенности источника обусловливают то, что выявленные на основании ведомостей сведения о пострадавших чинах полиции не будут исчерпывающими. В частности, составленный А. Дюковым список погибших включает 3 приставов, 8 тысячских, 7 пятисотских, 8 сотских и десятских, то есть на 7 человек больше [4, с. 106–150], чем удалось выявить в ведомостях о происшествиях по губерниям.

Приведенные выше статистические сведения показывают, что принадлежность к нижним чинам уездной полиции существенно повышала вероятность стать объектом политического террора со стороны повстанцев. Такая перспектива складывалась не вследствие спонтанной реакции инсургентов, но изначально предусматривалась повстанцами на программном уровне. Например, повстанческая инструкция, изданная Временным провинциальным правительством Литвы и Белоруссии не позже 27 февраля 1863 года, недвусмысленно предписывала «истреблять московскую полицию всеми способами» [4, с. 9]. Сохранялась такая установка и в последующем.

Так, в инструкции командиру отряда «Юзюку из Белостока» от исполняющего обязанности военного начальника Гродненского воеводства от 11 августа 1863 года первым пунктом приказывалось «уничтожить чинов полиции и шпионов в южной части Волковысского повета согласно указаниям национальных властей» [4, с. 379]. Вступая в населенные пункты, повстанцы публично распространяли известия о том, что чинам полиции предписывается покинуть службу под угрозой смерти. В частности, в донесении ковенского губернатора от 30 марта 1863 года указывалось, что вечером небольшая повстанческая партия в местечке Попеляны Шавельского уезда окружила квартиру пристава и, «угрожая лишением жизни пристава Геральтовского, если он станет дальше заниматься своею должностью и решится доносить о них начальству и, прикладывая к его груди пистолеты, отобрали от него насильным образом имеемое им оружие» [1, с. 381]. После этого ему вручили письменный приказ, в котором пригрозили смертью за попытку донесения о случившемся. Далее, подъехав к местному костелу, при стечении крестьян, праздновавших Пасху, предводитель повстанцев заявил, что он «полицию уничтожил, которую никто не должен слушать и повиноваться, что если становой пристав, или другой чиновник, осмелится распоряжаться, то они будут убиты» [1, с. 381].

Угрозы повстанцев воспринимались как вполне реальные. Так, 13 апреля в Шавельском уезде векшнянский тысячский Рачинский был взят в плен повстанцами, однако спустя два дня его отпустили под обещание покинуть службу и не доносить правительству. Вернувшийся Рачинский «состоя с пятью малолетними детьми в самобеднейшем положении, но, чтобы не быть повешенным через инсургентов, отказался от дальнейшей службы и просил назначить на его место кого-либо другого» [1, с. 386]. 18 мая 1863 года большой отряд численностью 600 пеших и 40 конных занял местечко Олькеники. Двое мятежников пришли в сельское управление, где «объявили приказ военного начальника Трокского уезда Виленского воеводства, которым вменятся в обязанность чинам земской полиции подать в отставку под страхом наказания» [8, л. 66]. 12 июня 1863 года повстанцы зашли в Сумилишское сельское управление Трокского уезда, где не только уничтожили бумаги и забрали деньги, но предводитель повстанцев Сендек «оставил в управлении письменный приказ, чтобы поселяне не смели составлять сельских караулов, и что не исполнившие этого будут преданы смерти, а дома их сожжены» [8, л. 70]. Эти приказы не были пусты-

ми угрозами. В этот же день другая повстанческая партия численностью 30 чел., проходя через деревню Богдананцы, схватила «трех человек временнобязанных крестьян, исполнявших обязанность караульщиков» [8, л. 70]. Недалеко от деревни их «повесили на дереве, оставив записку, угрожающую смертью каждому, кто будет усердно служить русскому правительству» [8, л. 70].

Впрочем, достаточно было просто быть нижним чином сельской полиции, чтобы стать жертвой террора. Так, в ночь с 18 на 19 июня 1863 года мятежники, окружив деревни Стравенчики и Кибучи, повесили «тамошних десятских Мартына Лукашевича и Ивана Будониса с женой» [8, л. 71]. 7–8 июля 1863 года в Лидском уезде были обнаружены захороненные в лесу тела захваченных повстанцами десятского Г. Крещика и крестьянина Я. Курочки. Осмотр тел показал, что на них оказались «знаки от петель и самые петли» [8, л. 98].

Иногда служащим земской полиции помогал избежать встречи с повстанцами случай. Так, в местечке Щучине отряд повстанцев 10 марта окружил квартиру станового, но последний «успел уйти» [8, л. 32]. Вместе с тем не всегда столкновение с повстанцами оборачивалось физической расправой над представителями полицейской власти. Так, 19 мая в м. Ширвинтах Виленского уезда «шайка мятежников, в 150 человек пеших и 30 конных, уничтожив дела местных станового пристава и судебного следователя, забрала их с собою в лес» [8, л. 57]. Вслед за ними повстанцы задержали врача, отдыхавшего в корчме помещика графа Чапского, пятисотского и отставного солдата-еврея. Все эти лица после того, как их продержали в лесу в течение 5 часов, «были ими освобождены» [8, л. 57]. 9 мая 1863 года в Вилейском уезде в местечко Долгиново зашел повстанческий отряд численностью 500 чел. Блокировав поселение пикетами, они зашли в становую квартиру и забрали «у пристава два пистолета», но уплатили за них «впрочем, 10 рублей» [8, л. 64]. После этого шайка «разломала в канцелярии государственные гербы, уничтожила бумаги, книги и все находившееся в канцелярии разбросала по полу» [8, л. 64]. При этом сам пристав не пострадал.

Деятельность уездной полиции во время восстания проходила в условиях террора против ее нижних полицейских служителей. В качестве примера рассмотрим несколько случаев, произошедших в пределах Трокского уезда Виленской губернии. Так, 31 марта 1863 года повстанческий отряд численностью 250 чел. был преследуем и настигнут военными частями, потерпел поражение, но не был полностью уничтожен. На обратном пути сопровождавшие воинские части пятисотский Юхневич и десятский еврей Х. Кац были перехвачены повстанцами, в результате чего десятский Кац был «найден потом повешенным, с привязанною к груди его подписью на польском языке «участь московского шпиона» [8, л. 40–41]. 28 апреля 1863 года перед рассветом «мятежники в числе 8 до 10 человек, вошли насильно в дом пятисотского Скерневича и увели его с собой, объявив его матери, что он будет жить только до 12 часов утра» [8, л. 48]. Угроза была реализована, что впоследствии подтвердили показания одного из членов шайки, сообщившего о том, что ключвойта Скерневича повесили в лесу 1 мая 1863 года по приказу предводителя шайки Любича [3, с. 178]. 13 мая 1863 года рядом с местечком Высокий Двор повстанческая партия прибыла на мызу помещика Милевского, забрав лошадей и еду, увела за собой силой в лес «тамошнего пятисотского рядового Миглина» [8, л. 57]. О судьбе пятисотского более не сообщалось. 6 мая повстанческой партией в дер. Шиланах был схвачен попорцкий пятисотский отставной чиновник Велигоров и крестьянин деревни Ловмянцы Татронис. Мятежники «повесили их на одном дереве» [8, л. 61].

Подобная террористическая деятельность привела к парализации власти на местах. В донесении шефу жандармов В.А. Долгорукову от 23 апреля 1863 года полковник И.Н. Скворцов отметил, что в Ковенской губернии повстанческие отряды «нападают на становые квартиры и сельские управления», а также «вешают и мучат полицейских

служителей и доносчиков» [3, с. 187]. Так, предводители шайки «повесили уже двух пятисотских и, связав находящегося в Оникштах станового пристава, объявили жителям об уничтожении Ковенской губернии и об учреждении Ковенского польского воеводства» [3, с. 188]. В результате, по словам И.Н. Скворцова, сложилась ситуация, при которой «действия мятежников совершенно уронили законную власть. Исправники, становые приставы, судебные следователи и другие чиновники, не имея возможности выехать в уезды без военного отряда, лишились возможности исполнять свои обязанности» [3, с. 188]. В свою очередь «нижние же полицейские чины из опасения быть повешенными отказываются от службы правительству или, оставаясь на службе, исполняют распоряжения не своего начальства, а мятежников» [3, с. 188]. Следует отметить, что по Ковенской губернии повстанцам удалось достигнуть наибольших успехов в дезорганизации уездной полиции. По крайней мере в донесении генерал-губернатору от 17 июля 1863 года командующий войсками 2-го отдела генерал-лейтенант Е.И. Майдель отметил, что для окончательного подавления мятежа необходимо «стараться об утверждении в крае нашей власти, и восстановление становых квартир будет к тому первым шагом» [3, с. 212].

Следует отметить, что установка на террор против полиции со стороны повстанцев не прошла мимо местных властей и вызвала ответные меры. В частности, виленский генерал-губернатор В.И. Назимов распорядился о том, чтобы «в местностях, где мятежники расстреливают или вешают должностных лиц земской полиции, требовать от жителей выдачи не только участников или пособников злодейства, но и лиц знавших о том благовременно; если же жители не выдадут таковых людей и будут явно изобличены в укрывательстве их, то на всю деревню или местечко накладывать контрибуцию от 50 к. до 1 р. на каждого обывателя» [14, л. 120]. Показательно, что такая мера не вызвала одобрения министра внутренних дел П.А. Валуева. Его отрицательное отношение обусловливалось тем, что «наше законодательство не допускает денежного штрафа за потворство убийству, а указывает на иные карательные меры» [14, л. 123–124]. Министр внутренних дел предписывал в условиях военного положения «поступать с нарушителями общественного спокойствия по всей строгости полевых уголовных законов» [14, л. 124].

Появление подобных мер в ответ на террор стало попыткой местной администрации хоть как-то оградить чиновников от насилия и ответом на поступавшие от них обращения о помощи. В частности, в своей записке от 20 февраля 1863 года россиенский исправник А. Семененко просил усилить средства земской полиции «для охраны чиновников, долженствующих действовать в стране, заявившей свою непокорность и находящейся накануне мятежа» [1, с. 292]. После того, как 2 апреля в Россиенском уезде лишили «жизни пристава 4 стана Постернакова, повешением на шоссейном шлагбауме» [12, л. 55], А. Семененко болезненно отреагировал на весть о гибели своего подчиненного, написав в рапорте от 7 апреля 1863 года о том, что «постоянно делал представления по начальству, как о бессилии и беззащитности полицейского управления и чиновников» [1, с. 362].

Показательно, что недовольство министра внутренних дел не сказалось на последующей местной практике. В частности, в Инструкцию от 24 мая 1863 года было внесено дополнение 17 июля 1863 года, согласно которому в случае насилия над «крестьянами или иным кем» предписывалось «облагать всю околицу военною контрибуцией, от 10 до 25 р. со двора, в пользу семейств, пострадавших от той шайки» [16, с. 125]. Так, после рапорта борисовского исправника об убийстве 19 сентября 1863 года станового пристава А. Ляцкого временный военный губернатор Минской губернии генерал-лейтенант В.И. Заболоцкий 20 сентября 1863 года приказал наложить на проживавшую в стане шляхту контрибуцию в размере от 15 до 25 руб. с каждого двора, представить сведения о размере земли в поместных имениях для последующего контрибуционного сбора, а проживавшую рядом с местом преступления шляхту рекомендовал выселить [7, с. 388].

Таким образом, основной жертвой повстанческого террора среди полицейских чинов стали служащие именно уездной полиции, причем ими преимущественно оказывались выборные от крестьян нижние чины десятские, сотские, а также пятисотские и тысячские, из классных чиновников – становые приставы. Повстанцами были казнены и убиты по меньшей мере 3 становых пристава, 8 тысячских, 8 пятисотских, 8 сотских и десятских. Максимальный размах террора против чинов полиции приобрел в Ковенской и Виленской губерниях, но, по всей видимости, не затронул Могилевскую и Витебскую губернии.

К сожалению, вопрос о точном числе погибших от рук повстанцев в западных губерниях до сих пор остается открытым в силу несовершенного порядка сбора сведений, поступавших с мест. Эта особенность проявилась в таком источнике, как ведомости о происшествиях по губерниям, которые дважды в месяц отсылались в Министерство внутренних дел и Третье отделение. Как представляется, решение вопроса о численности жертв террористической деятельности польских повстанцев лежит на пути обобщения и перепроверки информации из материалов официального делопроизводства. По крайней мере это предположение косвенно подтверждается тем, что до сих пор исследователям приходится оперировать примерными данными о числе погибших, при том что в их распоряжении имеются точные данные о лицах, которые понесли наказание за участие в восстании.

Следует согласиться с выводом А.Р. Дюкова о том, что террор со стороны повстанцев не являлся реакцией на репрессивные действия российских властей, но был идеологически обоснован как мера по дезорганизации местного российского управления и утверждения политической власти повстанческих структур и реализовывался практически с самого начала Январского восстания. В отдельных случаях повстанцам на некоторое время удавалось ликвидировать присутствие полиции в сельской местности. В особенности ярко это проявилось в Ковенской губернии. Вместе с тем нельзя утверждать, что во всех или большинстве случаев столкновение с повстанцами заканчивалось гибелью для чинов полиции. В большинстве случаев повстанцы ограничивались временным задержанием, словесными угрозами лишения жизни при отказе оставить службу, изъятием оружия и уничтожением символов власти, документации, личных вещей или нанесением служащим телесных повреждений.

Литература

1. Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края: в 2 ч. Ч. 1: Переписка по политическим делам гражданского управления с 1 января 1862 по май 1863 г. / сост. А.И. Миловидов. Вильна: 1913. 464 с.
2. Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края: в 2 ч. Ч. 2: Переписка о военных действиях с 10-го января 1863 года по 7-е января 1864 года. Вильна: 1915. 466 с.
3. Восстание в Литве и Белоруссии. 1863–1864 гг. / предисл. Ю. Жюгжды и В. Неупокоева; ред. колл: В. Дьяков и др. М.; Wroclaw: Наука, 1965. 586 с.
4. *Дюков А.Р.* Неизвестный Калиновский: Пропаганда ненависти и повстанческий террор на белорусских землях, 1862–1864 гг. М.: Фонд «Историческая память», 2021. 160 с.
5. *Комзолова А.А.* Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. М.: Наука, 2005. 380 с.
6. *Мосолов А.Н.* Виленские очерки. 1863–1865 гг.: (Муравьевское время). СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1898. 254 с.
7. Паўстанне 1863–1864 гадоў у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскайгубернях: Дакументы і матэрыялы Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі / уклад. Дз.Ч. Матвейчык; рэдкал.: У.І. Адамушка [і інш.]. Мінск: А.М. Вараксін, 2014. 544 с.
8. РГИА. Ф. 1286. Оп. 24. Д. 1018.
9. РГИА. Ф. 1286. Оп. 24. Д. 1020.
10. РГИА. Ф. 1286. Оп. 24. Д. 1032.
11. РГИА. Ф. 1286. Оп. 24. Д. 1045.
12. РГИА. Ф. 1286. Оп. 24. Д. 1056.

13. РГИА. Ф. 1286. Оп. 24. Д. 1058.

14. РГИА. Ф. 908. Оп. 1. Д. 193.

15. «Россия под надзором»: отчеты III отделения 1827–1869: Сборник документов. / сост. М. Сидоров и Е. Щербаков. М.: Рос. фонд культуры; Российский архив, 2006. 710 с.

16. Сборник распоряжений графа Михаила Николаевича Муравьева по усмирению польского мятежа в северо-западных губерниях, 1863–1864 / сост. Н. Цылов. Вильна: Тип. А. Киркора и бр. Роммов, 1866. 383 с.

Аннотация. Жертвами политического террора против полицейских чинов в белорусских губерниях стали служащие уездной полиции, подавляющее большинство которых были нижние чины. Вместе с тем до сих пор остается открытым вопрос о точной численности жертв террора повстанцев. Больше всего политический террор проявился в Ковенской губернии, а меньше всего – в Витебской и Могилевской, в которых не было зарегистрировано случаев политических убийств.

Ключевые слова: политический террор, польское восстание 1863–1864 годов, уездная полиция, белорусские губернии, исторический источник.

Alexander A. Kiselev, PhD in History, Associate Professor, Belarusian State Economic University. E-mail: kiselev@list.ru

Terror against Executive Police Officials of the Belarusian Provinces under the Conditions of the January Uprising of 1863

Abstract. The victims of political terror against police officials in the Belarusian provinces were employees of the district police, the vast majority of which were lower ranks. At the same time, the issue of the exact number of victims of the terror by the rebels still remains open. Most of all, political terror manifested itself in the Kovno province, and least of all – in Vitebsk and Mogilev, where any cases of political assassinations were not registered.

Keywords: Political Terror, Polish Uprising of 1863–1864, County Police, Belarusian Provinces, Historical Source.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-117-136

Алексей Хотеев

Сельские караулы в белорусско-литовских губерниях как форма проправительственной деятельности крестьян в 1863–1864 годах

В январе 1863 года в Царстве Польском началось восстание против российской власти, перекинувшееся и на соседние литовско-белорусские земли. Литовский провинциальный комитет повстанцев в конце января выпустил воззвание в поддержку выступления поляков с призывом подняться на «москалей», которое заканчивалось словами: «Боже, спаси Польшу!» [1, с. 1]. Борьба во имя возрождения Польши акцентировалась и в воззвании к жителям Литвы и Белоруссии варшавского Национального правительства от 29 января 1863 года: «Восстание Литвы решает вопрос о воскрешении Польши» [1, с. VI], а в манифесте 1 февраля то же правительство заявляло литовцам и белорусам, что их области только заняты Россией, на самом же деле «это земля польская» [1, с. 3]. Закономерно, что Литовский провинциальный комитет 27 февраля 1863 года сначала был реорганизован в один из распорядительных отделов польского Национального правительства [1, с. 11–12], а затем 26 июня 1863 года стал лишь его исполнительным органом [1, с. 31–33]. По верному замечанию польского исследователя С. Киневича, участие на стороне повстанцев на землях к востоку от этнической Литвы определялось польским происхождением и католическим вероисповеданием [2, s. 390]. Все это позволяет обозначить восстание, частично поддержанное в белорусско-литовских губерниях, как польское по заявленной цели, по своей организации и этнической самоидентификации участников.

Удача или неудача антироссийского вооруженного выступления на белорусских землях обусловливалась способностью повстанцев обеспечить себе широкую социальную поддержку, в особенности среди крестьянства. Первым шагом в этом направлении стало обещание Национального правительства (Жонда) передать помещичьим и государственным крестьянам землю, которой они пользовались, без какого-либо выкупа и платежей, взамен от крестьян требовалось защищать эту землю «от москалей» (названный выше манифест от 1 февраля 1863 года [1, с. 3]).

Данное заявление заключало в себе двойственность: для реализации обещания революционному правительству нужно было сначала стать реальной властью, утвердиться в этом качестве силой восстания, но крестьяне призывались к антироссийскому выступлению так, будто бы они уже стали фактическими собственниками пользуемой земли по одному объявлению польского Жонда. В условиях восстания крестьяне, выступившие открыто против российской власти без надлежащего военного снаряжения, стали бы просто пушечным мясом перед регулярной российской армией. Понятно, что уже по одной этой причине не стоило ожидать от них активной поддержки антиправительственного выступления.

Кроме того, имелся важный вопрос социально-экономического порядка: были ли крестьяне довольны тем наделом земли, который на тот момент находился у них

Хотеев Алексей Сергеевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь. E-mail: hoteev@tut.by

в пользовании и который Национальное правительство им обещало? Поскольку местные помещики накануне отмены крепостного права в 1861 году проводили политику обезземеливания крестьян, а в условиях распределения земли и повинностей по правилам аграрной реформы (составление уставных грамот, выкупных и арендных актов) были допущены многочисленные нарушения в пользу помещиков и арендаторов государственных земель, недовольство крестьян своим положением только возросло. Создавалась конфликтная ситуация, которая, казалось бы, играла на руку повстанцам. Крестьянское недовольство могло привести самую большую социальную группу в повстанческий лагерь. Однако этого не произошло. Как заметил о крестьянах один из сторонников восстания С.С. Окрейц: «Никакие обещания воли и земли не подкупали их» [3, с. 191].

Если рассмотреть фактические данные об участниках восстания, то на первый взгляд число крестьян среди повстанцев кажется пропорциональным числу всего крестьянского населения шести губерний Северо-Западного края. Однако необходимо обозначить долю крестьян не только среди участников восстания, но и количественное отношение крестьян-повстанцев к общему числу сельских обывателей белорусско-литовских губерний. По статистическим показателям за 1860–1863 годы, общее количество жителей в Литве и Белоруссии составляло ок. 5,5 млн чел., из которых крестьянами были почти 4 млн (ок. 73%). Такие цифры получаются путем сложения статистических сведений по губерниям Виленской [4, с. 72], Витебской [5, с. 201], Гродненской [6, с. 147–149], Ковенской [7, с. 16–17], Минской [8, с. 4, 8] и Могилевской [9, с. 69, 71]. Если обратиться теперь к числу репрессированных, оставленных под наблюдением полиции и помилованных участников восстания, то имеются данные о 21 712 лицах всех сословных состояний из белорусско-литовских губерний [1, с. 95–98]. Это составляет 0,4% общего числа жителей. Из числа участников восстания к «простолюдинам», то есть людям из податного состояния, отнесены 15 226 чел. [1, с. 95–98]. Таким образом, крестьяне и мещане составляли ок. 70% среди повстанцев, при этом доля крестьян-повстанцев от всех крестьян шести губерний Северо-Западного края составляет 0,4%.

Однако последний показатель существенно уменьшится, если принять во внимание только губернии со значительным процентом жителей-белорусов. Необходимо исключить Ковенскую губернию, где они составляли всего лишь 0,07% [10, с. 100]. Такое исключение заметно снижает и без того низкий процент участников восстания для белорусских земель. Советский историк В.М. Зайцев провел статистическое изучение участников восстания, которые были привлечены к судебной ответственности (автор не рассматривал данные о привлеченных к административной ответственности и помилованных). Согласно его подсчетам, в Белоруссии и Литве были репрессированы по решению суда 8375 чел. (то есть 39% привлекавшихся к судебной ответственности по шести губерниям), однако из них на долю одной Ковенской губернии приходится ок. 3000 чел. (36%) [10, с. 107]. Следовательно, число участников для остальных пяти губерний, где белорусы составляли большинство населения, должно быть уменьшено по крайней мере на 1/3. Заметно уменьшится и доля крестьян среди повстанцев. Если по шести губерниям крестьян было репрессировано 1833 чел., то из них на Ковенскую приходится почти половина [10, с. 105, 107]. По отношению к 3,3 млн крестьян Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний эта доля составляет менее 0,03%. В сравнении же с числом остальных репрессированных участников восстания в пяти этих губерниях доля крестьян будет 16,7%, то есть менее 1/5.

Даже с оговоркой, что приведенные выше данные суммируют число жителей обоего пола, а в антиправительственном выступлении принимали активное участие главным образом мужчины, доля повстанцев среди мужского населения белорусско-литовских губерний все равно не составит и одной десятой процента. Создается впечатление, что

белорусы по отношению к восстанию заняли пассивную позицию, а крестьянство вообще было какой-то огромной инертной массой. Однако не будет ли превратным такое представление? Сколько бы ни были детальны подсчеты участников восстания, их общая доля среди жителей белорусско-литовских губерний не увеличится, а вот учет тех жителей, которые заняли активную проправительственную позицию и приняли участие в подавлении восстания, покажет, можно ли говорить о пассивности местных жителей, в первую очередь белорусских крестьян. Более того, актуализируется малоизученный в литературе вопрос о борьбе сельских обывателей против повстанцев.

В советской историографии утверждалось, что переход сельских жителей на сторону правительства обусловливался либо принуждением (репрессиями), либо желанием награды [11, с. 130–133, 136, 157, 172–173; 12, с. 289]. Общим местом стало также мнение, что и повстанцы, и царская администрация старались привлечь крестьян на свою сторону с помощью агитации и различных обещаний. При этом признается, что успех в этом противостоянии оказался на стороне российского правительства. Так, советский историк восстания 1863 года А.Ф. Смирнов после положительной характеристики усилий демократического крыла, руководимого К. Калиновским, вынужденно заключает: «Демократические силы не смогли придать движению народный социальный характер в Литве, Белоруссии, Царстве Польском» [11, с. 246]. По мнению того же автора, общим сочувствием восстанию со стороны крестьянской массы его организаторы не сумели воспользоваться из-за ошибок в аграрном и национальном вопросе, почему «крестьянство, открыто выступая против местного дворянства, отождествило с ним повстанческое движение» [11, с. 248] – социальная революция не удалась. О создании сельских караулов советский историк упоминает вскользь, акцентируя, что они создавались насильно, а крестьяне шли в них неохотно [11, с. 246–297].

Такие же тенденции при объяснении позиции крестьян прослеживаются в работах немалого числа современных белорусских историков. Например, С.М. Токть пишет, что крестьяне Гродненской губернии шли за повстанцами, поверив их обещаниям (об угрозах со стороны повстанцев ни слова), что русская власть запугивала крестьян, сжигая их дома и выселяя их в центральные губернии и Сибирь. Отмечается даже то, что у крестьян отбирали оружие и поэтому они якобы не могли защищать свой скот от нападения диких зверей [13, с. 229]. При этом автор игнорирует смысл самого запрещения: контроль над распространением огнестрельного оружия в условиях военного положения. Данный запрет имел условный характер, разрешение на приобретение и использование ружей выдавалось уездными воинскими начальниками [14, л. 176]. Точно так же действовало ограничение на покупку кос, которое не означало, что крестьянам запрещалась косьба, просто распространение кос как потенциального холодного оружия ставилось под контроль и разрешалось по распоряжению гражданских губернаторов [15, л. 43].

Другой современный белорусский исследователь, А.Ф. Ратько, подводя итог своему анализу правительственных мероприятий по корректировке условий реформы по отмене крепостного права в белорусских губерниях в связи с восстанием, вообще приходит к весьма спорному заключению, что «крестьяне не стали надежной социальной опорой царизма на этих территориях» [16, с. 29]. Такое утверждение контрастирует с выводами уже упомянутого польского исследователя С. Киневича, который, подчеркивая отличие в отношении крестьян к восстанию в Царстве Польском от ситуации на Украине и в Белоруссии, как раз указывал, что в Польше властям не удалось организовать сельские караулы в отличие от белорусских и украинских губерний [2, s. 390].

В единственной небольшой статье современного белорусского автора, А.А. Башкова, специально посвященной сельским караулам на материалах Гродненской губернии, все-таки делается вывод об успехе правительственной политики по привлечению крестьян на свою сторону из-за идеологической сложности взаимопонимания между ними и

теми представителями «белорусского общества», которые приняли участие «в борьбе за национальное освобождение» [17, с. 52].

Несколько особняком в белорусской историографии стоят авторы, акцентирующие польский характер восстания в Белоруссии и Литве, а также указывающие на враждебное отношение к пропаганде и действиям повстанцев со стороны простого народа, в частности – Я.И. Трещенок [18, с. 132], В.Ф. Гигин [19], О.В. Карпович [20]. Однако в их работах фактические данные о создании сельских караулов не нашли заметного применения. В российской историографии тему сопротивления крестьян затронул в публикации о К. Калиновском А.Р. Дюков, который уточнил список убитых повстанцами людей разных сословий [21].

Таким образом, в исторической литературе в настоящее время высказываются противоположные мнения об отношении сельского населения белорусских губерний к польскому восстанию 1863 года. С одной стороны, еще с советского времени сохраняется тенденция героизации восстания, при этом отсутствует внимание к проблеме организации и деятельности сельских караулов как формы местной поддержки правительству и сохраняется приверженность к марксистской трактовке восстания как выступления против царской власти, задуманного в интересах простого народа. В таком случае объяснение фактических данных о незначительной поддержке польского движения 1863 года в белорусских губерниях (ничтожный процент участников из простонародья в повстанческих отрядах по отношению к общему числу жителей губерний) подается как результат запугивания и обещаний правительственной пропаганды. С другой стороны, обратное утверждение об отсутствии широкой народной поддержки восстания не вполне иллюстрируется фактами об активной проправительственной деятельности крестьян, в частности, в форме сельских караулов.

Отмеченные недостатки обусловливают актуальность вопроса о создании, функциях и эффективности этой формы крестьянского движения в пользу российского правительства в белорусских губерниях. Документальные и нарративные источники (воспоминания) сообщают разносторонние сведения о сельских караулах, достаточные для их общей характеристики и в конечном счете определения той роли, которую они сыграли в подавлении начавшегося выступления. Многие материалы по интересующей теме опубликованы в составе различных археографических сборников, однако для выяснения деталей имеет смысл также обратиться к неопубликованным и малоизвестным документам, хранящимся в архивных собраниях.

Военным столкновениям в западных губерниях в 1863 году предшествовали манифестации и повстанческая агитация 1861–1862 годов. В этот подготовительный период на позицию крестьян обращалось внимание с обеих сторон – правительственной и повстанческой. В записке Министерства внутренних дел, составленной на основании сведений МВД и III Отделения канцелярии Его Величества в конце 1862 года, говорилось: «Правительство в Западном крае не имеет на своей стороне никого, кроме масс сельского населения, которые не могут быть употреблены в дело без кровопролития, без ниспровержения общих начал гражданского порядка и без опасения поколебать эти начала не только во всем пространстве Западного края, но и в смежных с ним губерниях, а затем, под влиянием заразительного примера, и в других частях империи. Конечно, можно поднять крестьян против помещиков. Известные галицийские сцены обратят в бегство большинство дворян, ныне кичливо называющих этот край Литвой или Польшей. Но можно ли решиться на употребление этого средства, а при употреблении его можно ли остановить его на идеальной черте, означающей границу того или иного уезда?» [22, с. 16].

Из текста видно, что правительство видело враждебность дворянства западных губерний, но опасалось использовать сочувствующих русской власти крестьян против

помещиков, имея в виду галицийские убийства и погромы 1846 года, когда крестьяне, вдохновленные австрийской администрацией, стремившейся пресечь готовящееся поляками восстание против австрийской власти, жестоко расправлялись с польскими помещиками, чиновниками и священниками. Очевидно, что крестьянский бунт, организованный по такому образцу, невозможно было бы заключить только в пределах западных губерний без угрозы распространения социальных потрясений на центральные российские губернии. С учетом этого российское правительство рассматривало сельское население как «материальную», а не как военную силу, впрочем, как говорилось далее в документе, «в виду стремления польских агитаторов сблизиться с народом, склонить его на свою сторону поземельными уступками и влиять на него посредством школ, необходимо обратить внимание на скорейшее разрешение крестьянского вопроса и на устройство народных училищ» [22, с. 19]. Таким образом, в правительстве осознавали, что повстанцы постараются использовать условия крестьянской реформы 1861 года, чтобы направить недовольство сельских жителей на российскую власть, и поэтому понимали важность смягчения правил реформы в пользу крестьян.

Действительно, по полицейским сведениям, становилось известным, что местные помещики и назначенные из их среды мировые посредники польского происхождения или ополяченные стремились посеять раздражение среди крестьян против правительства, стараясь при всякой удобной возможности призывать военную силу к усмирению бывших крепостных, недовольных составлением земельных актов и определением выкупных платежей. Для этого применялась разная тактика. Например, представляли «всю трудность выкупа в собственность полевых земель и других угодий и обещали подарить им эти земли» (из донесения россиенскому, ныне Расейняй, земскому исправнику от 22 ноября 1861 года [22, с. 207]). Употреблялись и способы обратного характера – братания с поселянами, когда устраивались пиршества для поселян, помещики переодевались в крестьянскую одежду, призывали детей простого народа к обучению польской грамоте, мирские съезды устраивались как политические совещания (из рапорта россиенского земельного исправника ковенскому губернатору от 16 декабря 1862 года [23, с. 210–212]). Все эти меры по нравственному сближению шляхты с крестьянами «как братьев с братьями», по прекращению битья панами крестьян и подстрекательству крестьян против панов пропагандировались в повстанческом послании жителей Варшавы ко всем уроженцам Польской земли, распространявшемся в литовских губерниях [22, с. 120–123]. В обращение также пускался подложный царский манифест, в котором крестьянам обещалась полная свобода и собственность на землю [23, с. 66]. Мировой посредник из Гродненской губернии С.Т. Славутинский писал в своих воспоминаниях о деятельности польских помещиков и местного чиновничества: «Во-первых, крестьяне, несочувственно расположенные к замыслам восстания, запугивались русской властью, через то должны были враждебно настраиваться в отношении к ней и, в конце концов, искать защиты у поляков; во-вторых, крестьянская реформа столь неугодная помещикам в ее окончательной постановке правительством, если не приостанавливалась совсем, то, по крайней мере, замедлялась и запутывалась чрезвычайно» [24, с. 74].

Агитация повстанцев обращалась к разным социальным группам жителей белорусско-литовских губерний. Известны различные листовки-обращения в виде проповеди холмского ксендза-униата, польского католического духовенства к православным священникам Белоруссии и Литвы, русским солдатам и отдельно к офицерам, к учащейся молодежи и евреям [23, с. 26, 47–48, 51–56, 59, 67, 164–166, 174; 11, с. 97]. Конечно, не оставлены без внимания и крестьяне, среди которых распространялись поэтические прокламации вроде «Гуторки старого дзеда» [41, с. 67–72] и листовки «Мужицкая правда» [25, с. 45–61; 26, с. 124–133; 11, с. 128]. Главная мысль этих произведений заключалась

в том, чтобы идеализировать положение крестьян в Речи Посполитой и агитировать за возвращение крестьянской свободы в неопределенных выражениях, условием чего объявлялось неподчинение распоряжениям царского правительства. Такие воззвания не производили должного впечатления. Витебский гражданский губернатор А.С. Оголин в своем сообщении могилевскому губернатору А.П. Беклемишеву о распространении «Мужицкой правды» от 23 февраля 1863 года свидетельствовал, что «крестьяне видят в таких покушениях только обман» [27, с. 76].

В начале военного этапа восстания в январе-феврале 1863 года у некоторых представителей российской администрации создалось впечатление, что крестьяне литовско-белорусских губерний могут перейти на сторону повстанцев. Это касалось прежде всего областей, смежных с Царством Польским. Так, жители имения Рудки Бельского уезда Гродненской губернии участвовали в нападении на казацкий отряд, а крестьяне ближайших деревень (Грохи, Посвенты, Пенково, Данилино) стали прятаться по лесам при приближении отряда российской армии под руководством генерала З.С. Манюкина. По его сведениям, сельских жителей повстанцы рекрутировали насильно (приставляли пистолеты ко лбу), вооружали косами и в случае атаки гнали таких пикинеров из крестьян перед собой, прикрываясь ими, как щитом. Многие крестьяне ночью пробирались из повстанческих лагерей в свои дома за провизией, пользуясь всякой возможностью не возвращаться обратно в отряды [29, с. 23–24]. После случившегося следом сражения под Семятичами и поражения повстанцев, З.С. Манюкиным были отпущены до 200 крестьян, взятых с оружием [11, с. 130–132]. В своей записке военному министру от 16 февраля генерал обосновывал необходимость снисхождения и дарования крестьянам льгот в виде облегчения выкупной операции, а также организации собственной полиции [30, с. 498]. В результате решительных действий генерала местные крестьяне, напуганные штурмом Семятич, стали передавать в руки военных связанных лиц, подозреваемых в сочувствии повстанцам [29, с. 52]. Очевидно, что сельские жители склонялись на ту сторону, на которой была в данный момент большая сила. Жандармский офицер А.М. Лосев в своем донесении виленскому губернатору В.А. Долгорукову от 16 января 1863 года сообщал о настроениях в Виленской губернии: «На крестьян надежда плохая; это стадо баранов, а пастухи этого стада – посредники, старейшины и писари – как известно, первые пропагандисты революционной идеи» [1, с. 104].

По мнению советского историка А.Ф. Смирнова, правительство испугалось перехода крестьян на сторону повстанцев и поэтому поспешило перехватить инициативу по их привлечению, подготовив Манифест от 1 марта 1863 года, в котором отменялись все повинности крестьян в отношении помещиков (барщина и другие виды отработок), а выкупные платежи на землю снижались на 20% [11, с. 153–158; 28, с. 196–198]. Такая правительственная тактика имела смысл, поскольку повстанцы кроме первых нападений на почтовые кареты, денежные кассы и чинов военной, полицейской и гражданской администрации зачитывали манифесты народного Жонда об освобождении крестьян, призывая их к неповиновению царским властям.

Характеризуя деятельность повстанческих отрядов, могилевский губернатор А.П. Беклемишев рапортовал впоследствии виленскому генерал-губернатору М.Н. Муравьеву: «Все вообще начальники мятежнических шаек действовали по одному плану, заключавшемуся в следующем: в возбуждении народонаселения, особенно крестьян, против правительства, в чтении революционных манифестов, в склонении шляхты и однодворцев преимущественно р.-католического исповедания к поступлению в шайки, в увлечении некоторых силою и посредством угроз, в уничтожении мостов и переправ, порче телеграфических столбов, в действиях, где представлялась возможность, против отряда русских войск» [29, с. 423]. С учетом этого следует более обстоятельно остановиться на предыстории появления Манифеста от 1 марта 1863 года.

Во-первых, нельзя игнорировать факты содействия крестьян правительству, которые открывались по мере появления вооруженных отрядов повстанцев и революционных агитаторов. Здесь очевидна разница между отдельными уездами, пограничными с Царством Польским, и целыми губерниями, где большинство сельского населения составляли православные белорусы. Так, рогачевский земский исправник М.П. Явшиц сообщал в своем рапорте могилевскому гражданскому губернатору А.П. Беклемишеву 22 февраля: «Народ почти весь исповедует православную веру и совершенно предан правительству, а в особенности крестьяне за освобождение их из крепостной зависимости» [27, с. 312]. В середине февраля трое крестьян задержали на берегу Припяти близ местечка Скрыгалова переодетого в простую одежду ксендза – законоучителя мозырской гимназии по подозрению в переходе на сторону повстанцев [23, с. 289–290]. В начале марта 1863 года крестьяне уже участвовали в аресте мятежников в Ковенской губернии (показания дворянина В. Довьята) [1, с. 115].

Генерал-майор граф И.Г. Ностиц, преследовавший в феврале-марте 1863 года группу Р. Рогинского в Припятском и Мозырском уездах, рапортовал: «Во все время командования моего отрядом, я находил в сельском населении полную готовность всеми силами содействовать войскам к потушению мятежа. Везде, где я являлся с отрядом, местные сельские обыватели, ободренные присутствием войск, смело останавливали мятежников и доставляли их ко мне; везде скоро и охотно заготовляли подводы и в некоторых местностях отказывались от следовавшей им поверстной платы, выражая при случае свои верноподданнические чувства и полную готовность действовать против мятежников» [29, с. 108]. Тот же генерал в одном из своих рапортов отметил только один случай, когда крестьяне села Лунное под Пинском отказались давать подводы русской роте из-за боязни мести повстанцев, в то же время, несмотря на уговоры инсургентов, крестьяне отказывались вступать в их отряды [29, с. 68].

По свидетельству штабного офицера полковника Винберга, передвигавшегося в феврале с военным отрядом в Ошмянском уезде, «здешнее население не только не содействует войскам, но напротив того, скрывает мятежников и всеми мерами им потворствует» [29, с. 76]. Однако уже в марте военный начальник соседнего Лидского уезда полковник Амсаров сообщал военному начальнику Виленской губернии: «Крестьяне везде расположены к войскам, изъявляют преданность правительству, доставляют точные сведения о движении шайки и немедленно возобновляют разрушенные мятежниками мосты и, вообще, встречают войска как избавителей» [29, с. 105]. Согласно рапорту пристава 2 стана Борисовского уезда А. Ляцкого минскому губернатору от 18 февраля 1863 года, местные крестьяне не сразу стали активно выступать на стороне правительства, но таились, выжидая, прибытие же военных отрядов успокоило крестьян, вследствие чего агитаторы повстанцев стали опасаться читать крестьянам манифесты революционного правительства [27, с. 364]. Данные свидетельства иллюстрируют тот факт, что крестьяне вели себя первое время настороженно, выжидали ввиду действия вооруженных отрядов с обеих сторон, однако с размещением по местам подразделений русской армии они начинали действовать активнее, содействуя преследованию и аресту повстанцев.

Во-вторых, на фоне разворачивающихся военных столкновений между восставшими и подразделениями русской армии в январе-феврале 1863 года сохранялось напряжение во взаимоотношениях между крестьянами и помещиками из-за проведения земельной реформы. Местная администрация имела все основания опасаться не столько перехода крестьян в ряды повстанцев, сколько стихийного народного бунта против своих бывших крепостных господ. Крестьяне вполне могли воспользоваться одним подозрением в нелояльности помещиков как поводом для прекращения своих обязательств, уничтожения мировых грамот и даже для нападения на поместья. «Отношения между крестьянами и

помещиками более чем недружелюбны», – сообщалось в рапорте горецкого земского исправника А.А. Цехановского от 8 февраля [27, с. 279]. В отношении минского губернского предводителя дворянства А.Д. Лаппо генерал-губернатору В.И. Назимову 6 марта 1863 года говорилось: «Судьба всех без изъятия дворян отдана в руки необразованного народа, приготовленного местным правительством и православным духовенством к социальной революции, так как в нем посеяны уже ложные социальные понятия и то убеждение, что земля будет отдана им даром и что сему препятствуют лишь помещики…» [1, с. 409]. Речь шла о том, что крестьяне повсеместно отказывались выполнять барщину и платить оброк, отмечались нападения на помещиков, арендаторов, писарей и других должностных лиц.

В связи с таким положением дел имеет значение объявление исполняющего обязанности минского гражданского губернатора А.Л. Кожевникова от 14 февраля 1863 года. Чтобы снизить социальное напряжение, сановник обещал крестьянам проверку уставных грамот, поскольку они составлялись по инвентарям, написанным еще во времена Речи Посполитой, завышали обязательства крестьян и цены на земельные участки. «Чтобы облегчить вас и разобрать все по правде, – писал А.Л. Кожевников, – в Минскую губернию будут присланы нынешнею весною поверочные комиссии. Верные люди, присланные по воле государя, при мировых посредниках, выборных людях из ваших братий крестьян и с землемерами проверят ваши грунты, рассудят, сколько они дают дохода, положат оброк и цену на выкуп по чистой совести и правде» [23, с. 273]. Тут же губернатор убеждал не верить повстанческим манифестам, обещавшим землю даром, тех же, кто будет подговаривать к бунту «задерживайте и доставляйте к местным властям, к становым, исправникам, военным начальникам, но не делайте сами им никаких истязаний и побоев». Вследствие такого распоряжения, опубликованного в № 6 местных губернских ведомостей, крестьяне практически повсеместно прекратили 19 февраля 1863 года исполнение уставных грамот, ожидая их проверки, как сообщил А.Л. Кожевников генерал-губернатору В.И. Назимову [1, с. 411].

Поскольку минский губернский предводитель дворянства А.Д. Лаппо в обращении к тому же виленскому генерал-губернатору прямо назвал прокламацию А.Л. Кожевникова причиной крестьянского неповиновения [1, с. 408], и.о. минского губернатора вынужден был по этому поводу писать объяснение В.И. Назимову: «Не нахожу уместным прибегать к мерам, крайне строгим в отношении крестьян, которые с 19 февраля прекратили работы в пользу помещиков, потому что эти бедные люди, колеблемые в своих мыслях манифестациями польских демократов, могли легко спутаться в понятиях об обязанностях в отношении к землевладельцам и им трудно различить в них две разные личности – помещика и поляка». Далее А.Л. Кожевников пояснял: «Прибегать к строгим мерам и особенно телесным наказаниям я признаю очень неудобным и даже опасным еще потому, что в жалобах помещиков на крестьян просвечивается неудовольствие, которое они встречают в них при своих политических замыслах. Жестокое обращение правительства с крестьянами очень желательно для их целей, но, сделав крестьян недовольными, правительство лишилось бы той поддержки, какою ныне пользуется при преследовании мятежников». В заключение минский губернатор предлагал ускорить работу поверочных комиссий, которые бы на деле убедили крестьян, кто является настоящим их защитником от притеснителей [1, с. 412]. Генерал-губернатор В.И. Назимов обобщил различные мнения гражданских начальников и сформулировал свои предложения, которые были обсуждены 23 февраля в восстановленном Комитете западных губерний (об ускорении работы поверочных комиссий, отрешении мировых посредников, введении выкупных платежей и проч.) [30, с. 500–501]. Решения Комитета легли в основу дальнейших шагов правительства по крестьянскому вопросу.

Таким образом, царский манифест от 1 марта 1863 года стал развитием той системы мер, которую уже практиковали военные и гражданские начальники в белорусско-литовских губерниях, чтобы вывести крестьян из неопределенного выжидательного положения,

противодействовать обещаниям агитаторов восстания и поставить энергию крестьянского недовольства тяжестями уставных грамот под правительственный контроль. Примечательно, что в объявлении и.о. минского гражданского губернатора сельские жители призывались производить аресты повстанцев. Именно А.Л. Кожевниковым был сделан 14 февраля 1863 года первый шаг к официальному призыву крестьян помогать военным.

Организация своего рода крестьянской полиции входила в комплекс разрабатываемых правительством мер. Виленский генерал-губернатор В.И. Назимов 7 апреля подал министру внутренних дел П.А. Валуеву проект с предложением привлечь крестьян для поиска повстанцев. К каждому воинскому уездному начальнику предлагалось отрядить по 10 крестьян-хозяев, которые должны были направляться еженедельно сельским управлением и являться со своими лошадьми и повозками, чтобы помогать перемещать солдат-стрелков и быть проводниками. За это крестьянам в сутки предполагалось отпускать на продовольствие и фураж по 25 копеек. Проект был одобрен Западным комитетом с оговоркой, чтобы не отягощать крестьян подводной повинностью в рабочую пору [27, с. 65, примеч. 2]. Документ лег в основу позднейших Правил о создании крестьянских караулов от 24 апреля.

В апреле военное противостояние между повстанческими отрядами и частями регулярной армии обострилось. Каждая из сторон требовала у сельских жителей подводы, провизию, помощь проводников, сведения о передвижении. Будучи вовлеченными в эту войну, крестьяне, сохранявшие верность царскому правительству и оказывавшие содействие армии, становились жертвами повстанцев. Об интенсивности военных действий и активном участии в них крестьян свидетельствуют данные из всех белорусских губерний. Так, инсургенты, пришедшие из Царства Польского, повесили в середине апреля трех крестьян и двух отставных солдат в Бельском и Белостокском уездах Гродненской губернии [23, с. 427]. Штаб-офицер майор Штейн сообщил 18 апреля, что в имении Анаполь Белостокского уезда были повешены еще 10 крестьян, которые сообщали о передвижении повстанцев или отказались вступить в их отряд [30, с. 510–511]. В Минской губернии в то же время крестьяне задержали несколько повстанцев возле имения Околово в Борисовском уезде, а 21 апреля у фольварка Новоселки в Игуменском уезде при попытке аналогичного ареста были убиты восемь крестьян [27, с. 378, 395]. Ненависть крестьян к повстанцам здесь была настолько велика, что они даже уклонялись от обязанности хоронить убитых и собирать раненых повстанцев [29, с. 199].

Сельские жители участвовали в поимке повстанцев возле местечка Налибоки Ошмянского уезда [27, с. 421], производили аресты и обыски в Речицком уезде [27, с. 442–443]. Из представления и.о. минского гражданского губернатора А.Л. Кожевникова виленскому генерал-губернатору от 26 апреля 1863 года становится известным, что в местечке Тимковичи крестьяне захватили семь человек повстанцев, и когда их попытались отбить, крестьяне собрались «до 1000 человек, вооружась топорами и кольями, оказали особенное рвение», при этом один тысяцкий тяжело ранен, а заседатель от поселян Барановский уведен мятежниками; в Бобруйском уезде крестьяне «оказывают свою к ним [повстанцам – *А.Х.*] ненависть и для ограждения селений учреждают из среды своей караулы» [29, с. 133–134; 1, с. 421]. В Мозырском уезде крестьяне Мухаедовской сельской управы 6 мая доставили трех пленников и дали верные указания о местонахождении военного обоза повстанцев [29, с. 163]. В Могилевской губернии среди убитых в апреле значились два крестьянина и один дворовой человек, участвовавшие в преследовании повстанческого отряда [27, с. 226, 247].

Сельские жители неоднократно проводили аресты повстанцев в Оршанском, Быховском, Мстиславльском, Климовичском и Гомельском уездах [27, с. 267, 270, 271, 277, 285–287, 297, 304]. Причем в Быховском повете у деревни Долгий Мох крестьяне,

организованные местным священником Павлом Крупским, арестовали 30 апреля 1863 года 13 повстанцев, захватив при этом крупную сумму похищенных казенных денег [27, с. 270], а в тот же день у Пропойска отряд из 144 повстанцев Звеждовского целиком положил оружие и был арестован. По показанию участника отряда К. Стампковского, «повстанцы единогласно признали – лучше сложить оружие, чем драться с мужиками, которые не склонялись в их пользу» [31, с. 46–47].

Командующий русскими войсками в Мстиславльском повете Литвинов 29 апреля просил разрешения губернского воинского начальника организовать крестьян для поимки инсургентов в Чаусском повете: «Крестьяне воодушевлены преданностью Государю Императору, и говорят: приди только войско и позволь нам только вооружиться чем попало и присоединиться к войску, то мы найдем в Зеленой Дубраве мятежников и уничтожим их, ибо мы теперь целые ночи не спим и ждем поджогов мятежников-поджигателей» [27, с. 334]. В Чериковском уезде (местечко Кричев и ближайшие деревни) крестьяне арестовали 45 повстанцев [27, с. 336]. В рапорте командира резервного батальона Брянского полка полковника Беляева от 30 апреля 1863 года говорилось: «К отряду чаусовскому [регулярной армии – *А.Х.*] собралось до 400 крестьян, вооруженных ружьями, копьями и пиками, которые особенную услугу оказали доставлением самовернейших сведений о движении мятежников, и из числа пленных трое доставлены крестьянами» [27, с. 338]. В Гомельском уезде 10 мая в селении Папсуевке крестьяне-старообрядцы, организовавшие ночной караул, задержали телегу с человеком местного мирового посредника по подозрению в перевозке оружия, но после разбирательства транспорт был отпущен [27, с. 277].

В Витебской губернии крестьяне также активнейшим образом участвовали в противодействии повстанцам. В середине апреля они арестовывали инсургентов в Динабургском, Себежском, Полоцком, Лепельском и Витебском уездах [29, с. 383]. В частности, в Лепельском уезде 23 апреля крестьяне преследовали группу повстанцев и не смогли их захватить только потому, что те были вооружены ружьями, а их преследователи – нет [27, с. 149]. В Дриссенском уезде группа повстанцев из 23 человек была окружена в Зябецких лесах крестьянами Княжицкой волости [27, с. 131]. Едва ли не самым резонансным делом стало участие крестьян-старообрядцев в Динабургском уезде в поимке отряда графа Л. Плятера, совершившего нападение на транспорт с оружием 13–15 апреля 1863 года. Крестьяне захватили тогда 67 человек, в числе которых был и сам предводитель отряда. Возбуждение охватило Динабургский и Режицкий уезды.

В донесении жандармского офицера А.М. Гильтебрандта начальнику III Отделения В.А. Долгорукову от 24 апреля говорилось, что крестьяне ходили толпами с кольями и косами, устраивали баррикады, утверждая, что хотят защититься от мятежников, арестовывали помещиков и мировых посредников, при этом были разграблены 15 господских дворов и 4 сожжено [1, с. 497–500]. А.М. Гильтебрандт также сообщал: «Было бы весьма неосторожно и даже при нынешних обстоятельствах опасно подвергать вышедших из должного повиновения и порядка крестьян всей строгости существующих на этот предмет законов. Нельзя, с одной стороны, не оценить вполне оказанную ими приверженность к престолу, которая могла бы поколебаться вследствие строгих преследований и под влиянием злоумышленников принять даже противное направление. С другой же стороны, нельзя, мне кажется, оставить, как некоторые думают, без всякого взыскания произведенные ими пожары, грабежи и насилия…» [1, с. 498–499].

Жалобы владельцев были направлены в следственную комиссию. Впоследствии председатель динабургской следственной комиссии С.Ф. Панютин отчитывался в Петербург 6 мая 1863 года: «Крестьяне брали всех, кто только не был одет в крестьянскую одежду»; «они, словом сказать, как ураган, положили конец всем замыслам витебских мятежников и

уничтожили их, как прах» [1, с. 504–505]. В итоге крестьянское выступление осталось без наказания со стороны властей.

Таким образом, крестьянское движение стало приобретать массовый характер, переходя порой от самозащиты к стихийному самоуправству, поэтому правительству было необходимо направить эту опасную энергию в организованное русло. Так, вследствие обозначившегося на местах общественного движения появились утвержденные императором Правила об образовании в западных губерниях сельских вооруженных караулов от 24 апреля 1863 года.

Обращают на себя внимание следующие пункты Правил [23, с. 405–408]. Караулы формируются из временно обязанных и государственных крестьян в количестве от 60 до 100 чел., из которых не менее 10 чел. были конными. Состав каждого отряда наполнялся из желающих по вызову сельских старшин или по приговору сельского схода. Служба не была постоянной, ротации производились не чаще чем раз в две недели. Во главе отряда ставился назначенный из регулярной армии унтер-офицер. Сельский караул состоял в подчинении военного уездного начальника. Губернское начальство само должно было определить количество караулов, их численный состав и пункты размещения. Крестьянские отряды должны были заниматься патрулированием вверенной территории, организовывать заставы, осматривать леса, преследовать разбитые отряды повстанцев, охранять пленных, сопровождать регулярные войска, выполняя вспомогательные функции. За исключением случаев преследования и оказания экстренной военной помощи караулы не должны были покидать вверенную им территорию. Вооружение отрядов производилось по усмотрению местного военного начальства. Ответственные за наблюдение за хозяйственной и продовольственной частью отряда выбирались самими крестьянами. Воспрещалось всякое самоуправство и своеволие сельских караулов.

Реализация Правил о создании караулов (сельской стражи) началась незамедлительно под непосредственным контролем назначенного 1 мая 1863 года виленским генерал-губернатором на место В.И. Назимова М.Н. Муравьева. В первую очередь стартовала ведомственная переписка о количестве планируемых отрядов и их расположении. Согласно специальной Инструкции уездным воинским начальникам о создании караулов, после получения предписания от воинского начальника губернии с росписью количества караулов уездный начальник должен был провести в сборных пунктах сельские сходы, объяснить крестьянам правила и обязанности, вооружить их на первое время «холодным оружием: топорами, косами, вилами, а где можно и охотничьими ружьями» (только после уверенности, что отряд умеет действовать дисциплинированно, возможно было вооружение крестьян ружьями со складов военного ведомства), проконтролировать подготовленность крестьян к боевым действиям, «не вдаваясь в обучение караулов фронтовой службе» [32, с. 164–167].

Одним из первых (9 мая 1863 года) о создании крестьянских военных караулов распорядился витебский гражданский губернатор А.С. Оголин. Они формировались в трех уездах: в Дриссенском уезде – четыре караула по 60 чел., в Полоцком – три по 60 чел., в Лепельском – четыре караула по 60 чел. Отдельные караулы учреждались для государственных и временнообязанных крестьян, но по местным условиям в данном случае допущено отступление: один общий караул мог организоваться из тех и других [27, с. 76–78].

Учреждение сельских караулов в других белорусско-литовских губерниях пришлось на конец мая – начало июня. Командир Новоингермландского полка издал 21 мая 1863 года распоряжение об организации караулов и военно-полицейского управления в Минском уезде. Согласно этому приказу, в военно-полицейское управление назначались еженедельно по 10 чел., «а для содержания в каждом из сборных пунктов должно избирать 400 человек и разделить их на четыре смены с тем, чтобы каждая из этих смен несла службу не менее

двух недель» [15, л. 9–9 об.]. Воинский начальник Витебской губернии предписал приступить к созданию сельских караулов 28 мая 1863 года на основании утвержденных правил и инструкции. В его распоряжении говорилось: «Стража эта при появлении мятежников обязана тотчас же нападать на них, вооружаясь чем попало: дубинами, косами и т.п., когда же появятся значительные шайки, то сельская стража нескольких селений сможет собираться вместе в одну партию и стараться всеми мерами захватывать в плен и уничтожать мятежников». Далее: «Учредить небольшие конные разъезды, не более 6–10 человек в селении, которые должны посылаться ежедневно от одного селения к другому и тотчас давать знать о появлении мятежников, как старшим сельской стражи, так и начальнику войска, расположенного по волости» [33, л. 1 об., 2–2 об.]. В дальнейшем (13 июня) вышло новое распоряжение витебского губернского воинского начальника о выдаче «со строгой осмотрительностью» крестьянским караулам ружей из арсенала Динабургской крепости. Здесь же говорилось о возможности уменьшить численность в крестьянских караулах военных чинов из действующих войск [33, л. 61, 61 об.].

Впрочем, формирование караулов порой затягивалось или совершалось с перерывами. Например, минский военный губернатор В.И. Заболоцкий отчитался перед М.Н. Муравьевым 28 мая, что в губернии на стадии образования 25 караулов, однако из резолюции виленского генерал-губернатора от 4 июля становится известным, что в Минской губернии «сельских караулов нет, крестьяне не знают кому верить» [29, с. 218, 264]. Слова генерал-губернатора не следует понимать как указание на существование сельских страж в Минской губернии только на бумаге. Через два дня (7 июля) М.Н. Муравьев уже передавал временному военному губернатору Минской губернии свою благодарность крестьянским обществам, участвовавшим «в составлении сельских караулов», «из которых многие уже с храбрыми войсками нашими отличились деятельным преследованием бунтовщиков» [27, с. 344]. Понятно, что все это не могло совершиться за несколько дней. По Виленской губернии М.Н. Муравьев сделал 7 сентября 1863 года дополнительное распоряжение об устройстве сельской стражи, в котором приказал «обратить особенное внимание, чтобы везде были устроены сельские караулы и преимущественно в тех местах, где расположены части войск [29, с. 319–320]. Следовательно, караулы не везде действовали постоянно, периодически восстанавливались или увеличивались в количестве.

Численность стражи также колебалась. Отряд от 60 до 100 человек мог дробиться на части. В одном из предписаний воинского уездного начальника становому (11 августа 1863 года) имеется рекомендация, в случае необходимости разделить сельский вооруженный караул из 100 чел. на части, в каждой должно быть не менее 25 чел., или от 25 до 40 чел. [14, л. 76–76 об., 164]. В рапорте воинского начальника Суражского уезда (Витебская губерния) от 5 июня 1863 года сообщается об устройстве трех сельских караулов по 60 человек. Из этих 60 ратников 54 должно было быть пеших и 6 конных. Однако отряд мог уменьшаться и до 40 чел. (36 пеших и 4 конных) [33, л. 42]. При этом из рапорта по конкретному делу крестьянского караула (задержанию подозреваемого) видно, что число крестьян в карауле бывало еще меньше – доходило до 19 чел. [33, л. 57].

Интересен также вопрос о добровольности и вообще мотивации вступления в крестьянские отряды на стороне правительства. Как уже говорилось выше, Правила об образовании сельских караулов предписывали формировать стражи из добровольцев, а если таковых не находилось, то посылать в них по приговору сельского схода. Мотивировать крестьян должна была сама цель создания караула, а именно самооборона. Понятно, что крестьяне не всегда горели желанием участвовать в военных действиях и лезть под пули. Впрочем, находились и охотники. Так, в стычке с повстанцами возле местечка Кривошин в Новогрудском уезде 9 июня вспомогательную помощь оказали 40 крестьян-добровольцев из караула, вооруженных одними пиками [29, с. 209].

Определенную роль при этом играло и денежное вознаграждение. Причем это хорошо понимали и повстанцы. Например, В.Л. Баратынский, действовавший в отряде С. Лесковского в Слуцком уезде, отметил в своих воспоминаниях, что крестьяне неохотно шли провожатыми российских войск, принуждаемые силой и грубостью, в то время как начальник повстанческого отряда хорошо оплачивал услуги крестьян-проводников [34, с. 434]. В самом деле, допросы участников восстания показали, что крестьянам в отрядах обещали платить по 5 злотых или по 1 серебряному рублю в сутки [1, с. 482, 483]. Царское правительство не предлагало таких щедрых суточных. Первоначально по поводу содержания временно обязанных крестьян, вошедших в караулы, необходимо было обращаться к уездным предводителям дворянства, чтобы они выделяли из магазинов (зерновых складов) по два гарнца озимых и по одному гарнцу ярового в неделю [33, л. 33]. 11 июня это правило было дополнено распоряжением выдавать еще по 3 фунта печеного хлеба и по 10 коп. [33, л. 53]. В тот же день М.Н. Муравьев издал циркуляр, в котором предписывал передавать отобранные у однодворцев за участие в восстании участки земли в распоряжение сельских обществ для вознаграждения крестьян, «оказавших особые услуги по содействию своему к преследованию и уничтожению мятежников» [27, с. 80].

Еще одной мерой по заинтересованности крестьян к активности в караулах было назначение денежных премий. 7 июля виленский генерал-губернатор назначил караульным награду за каждого пойманного повстанца без оружия 3 руб. серебром, а за вооруженного – 5 руб. серебром [27, с. 344]. По крайней мере странным выглядит утверждение современного исследователя Д.Ч. Матвейчика, что в фондах Национального исторического архива Беларуси (НИАБ) до сих пор не обнаружено свидетельств о фактической выплате этих сумм [27, с. 344, примеч. 1]. Пример для Поневежского уезда Ковенской губернии был уже давно опубликован из архива Муравьевского музея [29, с. 383]. Однако и в НИАБ имеется фонд 295 (Канцелярия Минского гражданского губернатора), в котором хранится дело № 1627 об отпуске средств для вознаграждения крестьян. Уездные воинские начальники еженедельно отчитывались перед военными губернаторами о поимке повстанцев (были они или не были). Денежные вознаграждения выдавались из сумм 10%-ного сбора с помещиков. Известны следующие примеры. Из рапорта бобруйского военного начальника от 14 октября 1863 года: старосте Григорию Мильковичу, который задержал трех повстанцев, выдана награда 9 руб. серебром – по 3 руб. за человека [35, л. 48 об.]. Новогрудский уездный воинский начальник сообщил 1 ноября 1863 года о поимке крестьянами вооруженного повстанца и, соответственно, выплате 5 руб. серебром [35, л. 62]. Игуменский воинский начальник сообщал, что из полученных им 330 руб. ассигнациями и 93 руб. серебром в качестве вознаграждения крестьянам он выдал 3 руб. серебром, остальные вернул в казначейство [35, л. 95]. Другое дело, что отчеты пестрят сообщениями, что за выплатами никто не обращался, и это понятно, поскольку выдачи вознаграждения зависели от количества арестованных, а число последних обусловливалось интенсивностью боестолкновений. Когда активность повстанческого движения пошла на спад, отпала и нужда в выплатах. Показательны в этом отношении слова бобруйского воинского начальника: по причине восстановившегося в уезде спокойствия «крестьяне, несмотря на ревностное желание содействовать правительству», «не имели случая воспользоваться таковыми наградами» [35, л. 48].

После того, как активность повстанческих отрядов фактически сошла на нет, вознаграждение стало выдаваться и за обнаруженные тайники с оружием от 50 коп. до 3 руб. (инструкция М.Н. Муравьева от 3 ноября 1863 года) [32, с. 137].

Если же говорить в целом об отношении крестьян к караульной службе в белорусских губерниях, то характерными представляются слова воинского начальника Слуцкого уезда от 3 октября 1863 года: «При настоящем волнении края они по первом требовании

правительства учредили из среды своей сельские вооруженные караулы, которые много способствовали и способствуют к охранению их общественного блага. Это самое побудило некоторых из них в первом стане ныне заявить мне общественными приговорами свою готовность содержать помянутые караулы как провиантом, так и приварком на счет общества с 1 октября по 1 января будущего 1864 г.» [27, с. 460]. В этих словах открывается удовлетворенность созданием сельских страж, и отмечаются даже случаи их самостоятельного содержания. Трудно объяснить такое рвение крестьян иначе, чем их доброй волей.

Функции караульных отрядов, согласно Правилам от 24 апреля, были вспомогательные. Какие есть данные о фактическом их выполнении на местах? В активной фазе военных действий караульные оказывали содействие регулярным армейским частям при преследовании повстанческих отрядов, контролировали дороги, арестовывали подозрительных лиц и передавали их полиции. Как можно видеть на примере циркуляра военного губернатора Витебской губернии Э.К. Длотовского от 29 мая, обязанность слежки за неблагонадежными помещиками и дворянами возлагалась также на сельских старост [27, с. 80]. Аналогичные распоряжения на уездном уровне делались и для крестьянских караулов [27, с. 94]. Сельские вооруженные караулы, а также добровольные обывательские караулы должны были постоянно находиться при въездах в каждую деревню и при корчмах [14, л. 77–77 об.]. В рапорте мстиславского поветового исправника от 15 мая отмечалась успешность выполняемых стражами функций: «Все, что можно было сделать для обороны от таких врагов, сделано: в городе и селениях жители устроили караулы, строго наблюдают за людьми неизвестными, подозрительных задерживают и без всякого насилия представляют в полицейское управление» [27, с. 304]. Есть пример того, как крестьянский караул действовал как настоящая боевая единица: 11 июня под Поставами сельская стража под началом унтер-офицера Д. Кирилова преследовала повстанческий отряд из 30 человек и загнала его в лесную чащу до подхода военной команды [29, с. 232–233].

Когда в начале лета стало очевидным, что повстанцы не собирают более крупных отрядов, значение сельской стражи в активных действиях повысилось. 19 июня 1863 года М.Н. Муравьев издал предписание командующему Виленским военным округом не посылать больше против небольших групп инсургентов (до 100 человек) значительные по численности воинские команды, но поскольку «мятеж ослабел», посылать роту или взвод и действовать с помощью крестьянских караулов [29, с. 238]. Эффективностью сельской стражи в деле уничтожения мелких отрядов повстанцев объясняется уже упомянутый выше приказ виленского генерал-губернатора по Виленской губернии от 7 сентября [29, с. 319–320]. Аналогичное распоряжение последовало и в отношении Игуменского уезда Минской губернии 7 октября [29, с. 343]. Эффективность караулов подтверждается и докладами воинских начальников с мест. Так, из рапорта подполковника Полтавского резервного полка от 10 августа 1863 года становится известно, что поселяне «много способствовали» взятию в плен рассеявшихся повстанцев из отряда Р. Траугутта, когда ими были захвачены 30 чел. [36, л. 257]. В рапорте воинского начальника Пинского уезда от 26 октября представлялись к награждению военные чины, а также крестьяне, которые наводили войска на скрывавшиеся отряды и содействовали их уничтожению [36, л. 299].

Летом-осенью 1863 года особенной активностью отличились сельские караулы в Бельском уезде Гродненской губернии. Сюда из соседнего Царства Польского нередко направлялись отряды повстанцев, пытавшиеся проникнуть в литовско-белорусские губернии. Крестьянские стражи сами становились здесь объектом нападения. Так, 28–29 июня 1863 года группа повстанцев напала на сельский караул (80 чел.) и отряд солдат в м. Домочеве Брестского уезда. Из караула были убиты четыре человека и один ранен [29, с. 256]. Со своей стороны, повстанцы сами пытались производить в Гродненской губернии наборы

из крестьян. Из предписания гродненского губернатора И.Н. Скворцова бельскому воинскому начальнику от 5 августа 1863 года: «Мятежники… приходят в деревни, собирают народ, приказывают отправляться в шайки по имеющимся у них спискам молодых крестьян… и крестьяне все это исполняют беспрекословно, под опасением быть повешенными или подожженными» [1, с. 377].

Такие обстоятельства вынуждали местных уездных воинских начальников действовать более решительно в деле организации и вооружения крестьянских караулов. Если в более восточных белорусских губерниях в одном уезде могли формировать в среднем четыре караула, то в Бельском уезде Гродненской губернии к началу октября их было образовано 21 и еще три были на стадии формирования (из донесения бельского воинского начальника от 3 октября 1863 года) [1, с. 386]. Если принять среднюю численность одного отряда 80 чел., то получится, что в уезде были мобилизованы почти 2 тыс. крестьян. Крестьянские караулы здесь постоянно перемещались по подведомственной территории, на въездах в населенные пункты стояли заграждения (рогатки) и стража, по лесам были сделаны просеки, наблюдение за которыми было поручено все тем же караульным из крестьян. Не случайно распорядительность бельского воинского начальника полковника Борейши была поставлена в пример другим воинским начальникам, когда копия его отчета от 9 октября была разослана по белорусским губерниям [38, л. 405–408 об.][1].

На заключительном этапе подавления восстания осенью 1863 года сельским стражам предписывалось вдобавок к охранению территории проводить обыски в монастырях, костелах и домах ксендзов, как это видно из распоряжения воинского начальника Минского уезда от 25 октября [27 с. 410]. Такие же обыски с октября крестьяне должны были проводить и по лесам. После зимы эти действия возобновились в целях поиска запасников с оружием. 20 апреля 1864 года М.Н. Муравьев издал соответствующее распоряжении [27, с. 352]. В частности, из отчета волостного управления 1-го участка Минского уезда обнаруживается, что с участием 250 крестьян в апреле проводился обыск по лесам Соломерецкой волости, который не выявил ничего подозрительного (то есть оружия и припасов) [37, л. 17–17 об.]. После этих весенних обысков нужда в сохранении сельских караулов отпала.

По итогам усмирения восстания для отличившихся чинов была учреждена особая бронзовая медаль. Согласно циркуляру витебского гражданского губернатора В.Н. Веревкина от 25 декабря 1865 года, были определены следующие правила награждения этой медалью: медаль светлого вида давалась в том числе и крестьянам, участвовавших в усмирении мятежа с оружием в руках в составе сельской стражи, а темная – крестьянам, которые состояли в сельской страже, но не участвовали в военных действиях [27, с. 72].

В период организации и деятельности крестьянской стражи важной задачей властей было поддержание дисциплины и недопущение стихийных расправ и грабежей. В этом отношении показательно предписание воинского начальника Минского уезда от 4 августа 1863 года воинскому начальнику 2-го стана (М. Раков): «Иметь наблюдение за строгим и добросовестным исполнением обязанностей сельскими вооруженными караулами, расположенными во вверенном Вам стане, не допуская их до грабежей и своеволия; иметь неослабный надзор за обывательскими караулами, сельскими стражами, и вообще за всеми учреждениями, установленными для скорейшего подавления мятежа и успокоения края», все нарушения падут на ответственность начальника [14, л. 54].

Действия крестьянских караулов (и вообще крестьян) не всегда удавалось удерживать в пределах правил и строгой дисциплины. По поводу крестьянских нападений на имущество помещиков случались судебные разбирательства. Одно из них в Витебской

[1] Материал любезно предоставлен А.Ю. Бендиным.

губернии закончилось 20 ноября 1863 года тем, что суд, рассмотрев обстоятельства дела, признал невиновными крестьян, арестованных за разграбление имущества помещиков и волостных правлений, «так как это был не грабеж со стороны крестьян, но преследование ими мятежников, преступно поднявших оружие против законного правительства» [27, с. 143].

Местной администрации приходилось разбирать дела о крестьянском неповиновении помещикам и замечать в них все тонкие грани. Подтверждение тому – распоряжение Муравьева от 3 октября 1863 года витебскому губернатору о прекращении следственных дел в отношении крестьян, которые обвинялись в сопротивлении введению уставных грамот «и тому подобные поступки» в четырех инфлянтских уездах Витебской губернии [27, с. 87]. Однако были примеры и другого рода. Так, 12 августа 1864 года последовал приказ М.Н. Муравьева о наказании солдат Камского пехотного полка за самовольный обыск и грабеж имений Язвино и Жеробычи Витебской губернии. В приказе излагается само дело. Двое рядовых вместе с крестьянами напали на помещика Коссова по подозрению в связях с повстанцами. Проверка показала ложность доносов и разбойничий характер нападения, почему виновные были приговорены к ссылке на каторгу [27, с. 98–99].

Каким образом отреагировали на создание сельских караулов повстанцы? В распоряжении гродненского воеводского начальника от 24 мая 1863 года говорилось: «Вам известно, что русские распорядились об организации милиции из наших крестьян для преследования и поимки повстанцев. Шайки эти должны насчитывать от нескольких десятков до 200 человек каждая. В их состав войдут русские солдаты для строевого обучения и ознакомления с оружием, а также для поддержания дисциплины среди крестьян. Насколько эта затея может нам повредить, пояснять не надо, так как все убеждены в этом. Поэтому задача повстанческих властей и всех честных патриотов состоит в том, чтобы проявить усердие и повлиять на крестьян в таком направлении, которое соответствует нашей цели и общему благу, чтобы они действовали на пользу родине и во вред врагу <…>. Решительно требуйте от окружных начальников, чтобы они следили и при первых попытках формирования милиции сообщали ближайшим военным начальникам и своим уездным с большей точностью, в какой местности формируется милиция, какова численность крестьян, войск, какой вид оружия раздается крестьянам» [1, с. 388, примеч. 1]. В Приказе польского правительства над краем Литовским и Белорусским к народу литовскому и белорусскому от 11 июня 1863 года была написана прямая угроза: «Милиции и караулов по селам чтоб никаких нигде не было, потому что если поймают кого в карауле или милиции, то раньше или позже без лишних слов повесят» [1, с. 31].

Подобные распоряжения, фактически действовавшие и раньше, приводились в исполнение. Так, в Кобринском уезде в мае отрядом повстанцев командовал Р. Траугутт, который агитировал крестьян защищать «святое дело защиты отчизны», за что обещал награду землями, в противном случае их будут «вешать и казнить». Чтобы слова польского манифеста оказывали должное впечатление, во время его чтения производилось повешение дьячка Александровича и лесного стражника Кузьмицкого (местные жители насилу уговорили Р. Траугутта вынуть приговоренных из петли) [29, с. 399]. Примерно тогда же под м. Дрогичиным повстанцы захватили у деревни Гошева двух караульных крестьян, а затем убили их [29, с. 400]. Изучение документов об обстоятельствах убийства дьячка церкви в деревне Святая Воля Феодора Юзефовича подтверждает, что он был повешен повстанцами за активное содействие сельскому караулу (участвовал в обыске багажа местного помещика и экономa, которые пообещали, что еще отомстят) [36, л. 319, 323–324]. В письме одного их соратников К. Калиновского (В. Малаховского?) встречается такое признание: «Мы вешаем крестьян, когда они по неразумности, не понимая своего положения и цели борьбы, шпионят, доносят, вредя сами себе же» [11, с. 259].

Однако подобные меры не смогли пресечь проправительственную активность крестьян. Можно утверждать, что сельские стражи в белорусско-литовских губерниях действовали в целом достаточно эффективно, их формирование задерживалось только там, где население было сильно запугано действиями повстанцев, например, ксендзом Анастасием Мацкевичем в Поневежском уезде Ковенской губернии [29, с. 344]. Однако, как уже отмечалось выше, конфессиональная и этническая ситуация в Ковенской губернии сильно отличалась от других белорусско-литовских губерний, почему и восстание здесь сказалось сильнее.

Крестьяне в массе своей заняли твердую проправительственную позицию, и это послужило одной из главных причин скорого поражения восстания. Не случайно один из его руководителей (О. Авейде) второй причиной этого после введения системы военной администрации (очевидно, военно-гражданских округов) назвал позицию простого народа: «Второй причиной постепенного упадка революции было равнодушие крестьян. С приближением зимы только крестьяне могли поддержать дело восстания; без их участия, без открытия новых сил и возрождения новых благоприятнейших обстоятельств никакие усилия, никакой в мире разум не были в состоянии не только победить, но держаться и сделать хотя бы шаг вперед более того, что было сделано до августа месяца. При условиях, в каких находилась революция, без участия крестьян, июль месяц был зенитом возможных ее успехов. При тайной системе действий (а только сила крестьян могла сделать ее явной), по моему мнению, никакие администраторы не были в состоянии не только улучшить организацию, но даже поддержать ее в прежнем состоянии» [39, с. 619].

По официальным данным, в 52 уездах Северо-Западного края к концу 1863 года в составе крестьянских караулов было 3778 солдат, 259 казаков, 21 343 пеших и 1838 конных ратников, всего более 27 тыс. чел. [11, с. 296]. Это в два раза превышает число «простолюдинов» (8848 осужденных к разного рода наказаниям, 3516 освобожденных от наказания и оставленных под надзором полиции, не считая 2611 добровольно явившихся с повинной и амнистированных), проходивших по обвинению за участие в восстании в шести белорусских и литовских губерниях [1, с. 95–98].

Рассмотренные материалы позволяют пересмотреть устоявшиеся в советской и польской исторической литературе мнения, что крестьянские караулы на стороне правительства действовали неэффективно, создавались насильно, были результатом прагматической тактики правительства по снижению платежей и др. [11, с. 296–297; 40, s. 495–496]. При этом нужно иметь в виду, что и повстанцы привлекали крестьян на свою сторону обещаниями земли и воли, денежными выплатами, а также угрозами, осуществляли против активно выступавших за Россию сельских жителей показательные казни.

В итоге проведенного исследования исторических источников и литературы по обозначенному вопросу можно сделать следующие выводы.

1. Характер польского восстания 1863–1864 годов в белорусско-литовских губерниях не может определяться количественными данными о социальном составе повстанческих отрядов без учета того, что число самих повстанцев в сравнении с остальным населением губерний в Белоруссии и Литвы было ничтожно мало. По одному только количественному показателю число крестьян, выступивших на стороне правительства, в рядах сельских караулов в два раза превышает число «простолюдинов» в отрядах восставших. Более того, в виду ротации внутри крестьянских караулов, непостоянства их организации, то сокращения, то увеличения их численности можно допустить еще большую цифру караульных по сравнению с официальными данными. Но главное заключается в том, что огромная крестьянская масса, кажущаяся инертной силой, в действительности не была таковой, чему подтверждением являются сельские стражи как выражение активной позиции крестьян, настроенных в пользу российского монарха и правительства.

2. Отношение поселян к восстанию в значительной мере определялось ходом крестьянской реформы 1861 года. Попытка повстанцев воспользоваться недовольством крестьян уставными грамотами и выкупными актами, направить его против российского чиновничества и царя натолкнулось на недоверие крестьян революционным обещаниям земли и воли в идеализируемой Польше. Российское правительство со своей стороны опасалось стихии народного бунта против помещиков, почему далеко не сразу решилось привлечь крестьян в качестве военно-вспомогательной силы. Поселяне же сами оказались перед необходимостью организации самозащиты при неожиданном появлении вооруженных отрядов повстанцев.

3. Все распоряжения официальной власти (Манифест от 1 марта о прекращении обязательных отношений крестьян к помещикам, Правила 24 апреля о создании караулов) фактически оформляли уже сложившееся положение дел. В частности, мысль о создании отрядов крестьянской самообороны в белорусских губерниях была впервые высказана в записке генерала З.С. Манюкина 16 февраля 1863 года. Открытый призыв к сельским обывателям арестовывать неблагонадежных лиц сделал в своем объявлении 14 февраля и.о. минского гражданского губернатора А.Л. Кожевников. 7 апреля виленский генерал-губернатор В.И. Назимов уже сформулировал предложение о создании сельских страж министру внутренних дел П.А. Валуеву, что нашло поддержку и на заседании Комитета западных губерний. Все эти меры обсуждались и принимались уже в то время, когда крестьяне стихийно собирались в отряды и противодействовали повстанцам как вместе с регулярными частями, так и отдельно по собственной инициативе.

4. В организованном воинскими начальниками виде сельские стражи появились в белорусских губерниях во второй половине мая, однако процесс проходил не одномоментно. Проведение крестьянских сходок, объяснение Правил и выбор первых караульных заняло некоторое время, почему сельские стражи не везде быстро приступили к своим функциям по официальным предписаниям. Между тем именно в апреле – июне военные столкновения между войсками и повстанцами достигли наивысшей напряженности. Особенно острыми они были в уездах, пограничных с Царством Польским. Здесь организация крестьянской самообороны диктовалась самой обстановкой и была образцовым способом (с точки зрения администрации) осуществлена в Бельском уезде Гродненской губернии.

5. Добровольность вступления крестьян в караулы в определенной мере предусматривалась самими Правилами их организации и ввиду того, что отряды сельской самообороны стали действовать еще до положительных распоряжений со стороны правительства, можно утверждать высокую степень свободного желания записаться в стражи. Однако в условиях сельских работ долгое пребывание в карауле было обременительно для крестьян, почему проводились регулярные двухнедельные ротации. Есть основания полагать, что периодами число караульных не достигало положенной численности, а по мере затухания военных действий и сами стражи фактически переставали действовать. Для поощрения крестьян выплачивались денежные награды за пойманных повстанцев и обнаруженные склады оружия, раздавалась конфискованная земля, объявлялись прилюдные благодарности и вручались медали.

6. Эффективность крестьянских караулов многократно отмечалась как военными чинами регулярной армии, так и самими повстанцами, которые угрозами и расправами пытались отбить у поселян охоту помогать русским войскам. Заслуга крестьян в подавлении восстания заключалась в пленении отдельных повстанцев, слежке за неблагонадежными, контроле дорог, обысках по лесам и имениям. Особенно эффективной была эта помощь летом-осенью 1863 года, когда восставшие перестали собирать большие отряды и перешли к партизанской тактике малых групп. Вместе с тем в караулах поддерживалась дисциплина, чтобы самооборона не выливалась в разбой или произвольные расправы.

Наконец, поставленная тема обладает большим потенциалом для более детального исследования по обилию имеющегося материала и своей актуальности для изучения особенностей восстания 1863–1864 годов на белорусских землях.

Литература

1. Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг. М.: Наука, 1965.
2. *Kienewiecz S.* Trzy powstania narodowe. Warszawa, 2006.
3. *Окрейц С.С.* Воспоминания инсургента // Исторический вестник. 1912. Т. 129. № 9. С. 880–913; Т. 130. № 10. С. 191–220.
4. Памятная книжка Виленской губернии на 1861 год. Ч. II. Вильно: Тип. А. Сыркина, 1861.
5. Памятная книжка Витебской губернии на 1864 год. СПб.: Тип. К. Вульфа, 1864.
6. Памятная книжка Гродненской губернии на 1864 год. Гродно: Тип. губерн. правления, 1864.
7. Памятная книжка Ковенской губернии на 1863 год. Ковно: Тип. Соколовского, 1863.
8. Памятная книжка Минской губернии на 1865 год. Минск: Губерн. тип., 1864.
9. Памятная книжка Могилевской губернии на 1863 год. Могилев: Тип. губерн. правления, 1862.
10. *Зайцев В.М.* Социально-сословный состав участников восстания 1863 г. (Опыт статистического анализа). М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1973.
11. *Смирнов А.Ф.* Восстание 1863 года в Литве и Белоруссии. М.: АН СССР, 1963.
12. История Белорусской ССР: в 2 т. Т. 1 / под ред. В.Н. Перцева [и др.]. Минск: Изд-во АН БССР, 1954.
13. *Токць С.М.* Паўстанне 1863–1864 гг. на тэрыторыі Гродзенскага павета: сацыяльныя аспекты // Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць: зб. навук. арт. / уклад.: В.В. Яноўская, А.У. Унучак, А.Э. Фірыновіч; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]. Мінск: Беларуская навука, 2014. С. 224–233.
14. Предписание, циркуляры, инструкции виленского генерал-губернатора. 23 января – 20 августа 1863 г. // НИАБ. Ф. 1528. Оп. 1. Д. 1.
15. Военный начальник 3 стана Минского уезда. 21 мая – 20 декабря 1863 г. // НИАБ. Ф. 1527. Оп. 1. Д. 1.
16. *Рацько А.Ф.* Урадавыя міеры прыемствы пакарэктыроўцыў моў адмены прыгоннага права ў Беларусі ў сувязі с паўстаннем 1863–1864 гг. // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований (XIX – начало XXI в.): доклады Международной научной конференции, Минск, 23 сентября 2021 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека имени И.С. Лупиновича, Институт истории; редкол.: Ю.О. Караулько (отв. ред.) [и др.]. Минск: ИВЦ Минфина, 2021. С. 23–31.
17. *Башкоў А.А.* Сялянскія вартавыя атрады ў заходніх губерніяз Расіі ў час паўстання 1863 г. // Паўстанне 1863 г. і яго гістарычнае значэнне: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 10–11 кастрычніка 2003 г. Брэст: Выдавец Лаўроў С.В., 2003. С. 50–52.
18. *Трещенок Я.И.* История Беларуси. Ч. 1: Досоветский период: Учебное пособие. Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2003.
19. *Гигин В.Ф.* Польское восстание 1863 года и белорусы [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://zapadrus.su/2012-04-11-14-59-43/2013/1863/643-2013-01-21-210406.html (дата обращения: 12.12.2022).
20. *Карпович О.В.* Повстанческий террор в Царстве Польском и Литве в 1863 году // Ученые записки Брестского государственного технического университета: гуманитарные науки = Scientific Proceedin gof Brest State Technical University: The Humanities Sciences: сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет; редкол.: М.В. Стрелец [и др.]. Брест: БрГТУ, 2021. Вып. 3. С. 27–39.
21. *Дюков А.Р.* Неизвестный Калиновский: Пропаганда ненависти и повстанческий террор на белорусских землях, 1862–1864 гг. М.: Фонд «Историческая память», 2021.
22. *Белецкий А.* Сборник документов музея графа М.Н. Муравьева. Вильна: Русский почин, 1906. Т. 1.
23. *Миловидов А.И.* Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Вильна: Губерн. тип., 1913. Ч. 1.
24. *Славутинский С.Т.* Город Гродно и Гродненская губерния во время последнего польского мятежа (отрывок из воспоминаний) // Исторический вестник. 1889. Т. 37. С. 53–79, 271–295.
25. *Калиновский К.* Из печатного и рукописного наследия. Минск: Беларусь, 1988.
26. Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861–1862 гг. М.: Наука, 1964.
27. Паўстанне 1863–1864 гадоў у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях: дакументы і матэрыялы Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі / уклад. Д.Ч. Матвейчык; рэдкал.: У.І. Адамушка. Мінск: А.М. Вараксін, 2014.
28. О мерах к облегчению и ускорению прекращения обязательных отношений между помещиками и поселенными на их землях временно-обязанными крестьянами по губерниям Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской 1 марта 1863 г. // ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 38. Отд. 1. СПб., 1866. С. 196–198.

29. *Миловидов А.И.* Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Вильна: Губерн. тип., 1915. Ч. 2.

30. Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі. Т. 2: 1772–1903 гг. / рэд.: Н.М. Нікольскі. Мінск: АН БССР, 1940.

31. *Матвейчык Д.Ч.* Паўстанне 1863–1864 гадоў у Беларусі: нарыс баявых дзеянняў. Мінск: Медысонт, 2013.

32. *Цылов Н.И.* Сборник распоряжений графа Михаила Николаевича Муравьева по усмирению польского мятежа в северо-западных губерниях 1863–1864. Вильна: Тип. А. Киркора и братьев Роммов, 1866.

33. Циркуляры воинского начальника Витебской губернии. 29 мая 1863 – 30 июня 1863 г. // НИАБ. Ф. 2569. Оп. 1. Д. 1.

34. *Баратынский В.Л.* Последняя польская смута 1863 г. // Русская старина. 1886. Т. 51. № 8. С. 421–446.

35. Дело об отпуске средств для вознаграждения крестьян. 7 июля 1863 – 15 января 1866 г. // НИАБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 1627.

36. Пинский уездный военный начальник. Циркуляры и инструкции. 1 июня 1863 – 22 ноября 1863 // НИАБ. Ф. 1521. Оп. 1. Д. 1.

37. Военный начальник 2 стана Минского уезда. Предписания и инструкции. 24 мая 1863 – 25 июня 1864 г. // НИАБ. Ф. 1528. Оп. 1. Д. 2.

38. Дело по рапорту полоцкого уездного стряпчего о распространении крестьянами слухов о каких-то указах и другие дела. 7 сентября 1863 г. – 6 февраля 1864 г. // НИАБ. Ф. 1430. Оп. 1. Д. 31437.

39. *Авейде О.* Показания и записки о Польском восстании 1863 года. М.; Wroclaw: Изд-во АН СССР, 1961.

40. *Kienewiecz S.* Powstanie styczniowe. Warszawa, 1983.

41. *Хаўстовіч М.* Даследаванніі матэрыялы. Літаратура Беларусі XIX стагоддзя. Т. 6: Беларускія тэксты Паўстання 1863 года. Warszawa, 2020.

Аннотация. Восстание 1863–1864 годов в Белоруссии и Литве имело своим следствием не только переход на сторону повстанцев части крестьян, но и выступление гораздо большей их части на стороне правительства. Активной формой выражения проправительственной позиции стали крестьянские караулы. Их появление поначалу имело стихийный характер самообороны, но весной 1863 года они приобрели организованный вид. В ходе борьбы с повстанцами крестьянские отряды выполняли вспомогательные военные функции, несли караульную службу, производили обыски, арестовывали подозрительных лиц. Эти сельские стражи формировались в значительной степени на добровольной основе. Они оказались достаточно эффективным средством укрепления российской власти и внесли значительный вклад в подавление восстания.

Ключевые слова: польское восстание 1863 года, крестьянские караулы, внутренняя политика правительства, Белоруссия и Литва.

Aleksey S. Khoteev, PhD, Senior Researcher, Institute of History, Belarus National Academy of Sciences, Minsk, Republic of Belarus. E-mail: hoteev@tut.by

The Peasant Guard in Belorussian and Lithuanian Provinces as a Form of Pro-government Activity of Villagers in 1863–1864

Abstract. There uprising of 1863–1864 in Belorussia and Lithuania had the following effects on the population: part of the peasants took the side of the rebels, but most of the peasantry supported the government. The peasant guard became an active form of pro-government views expression. At the initial stage the guard appeared spontaneously, but already in spring of 1863 it was well-organized. In the course of struggle against rebels the peasant guard functioned as support military forces, carried guard duties, conducted searches and arrests of suspicious persons. The guard was mostly formed on a voluntary basis. The peasantry regiment proved quite effective at strengthening the Russian power and made an important contribution to the suppression of the uprising.

Keywords: Polish Uprising of 1863, Peasant Guard, Government Internal Policy, Belorussia and Lithuania.

«Польский вопрос» и «Русский ответ»

Раздел второй

А.Б. Панченко
От «Времени» к «Эпохе»: польский вопрос в журналах М.М. и Ф.М. Достоевских в контексте дискурса о русской нации

О.Л. Фетисенко
Поляки – «любимые враги» России: взгляд Константина Леонтьева

Л.Е. Шапошников
Охранительный либерализм и охранительный консерватизм о Польском восстании 1863 года (Б.Н. Чичерин и М.Н. Катков)

В.Ю. Даренский
Ф.М. Достоевский и Н.Н. Страхов о «польском вопросе»

А.Ю. Бендин
Решение «русского вопроса» польскими сепаратистами и русскими «революционерами» в 1861–1863 годах)

В.Ю. Даренский
Польское восстание 1863 года в историософии Ф.И. Тютчева

Е.В. Перевалова
Информационное противостояние газеты «Московские ведомости» и европейской прессы в дни польского восстания 1863 года

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-139-151

Алексей Панченко

От «Времени» к «Эпохе»: польский вопрос в журналах М.М. и Ф.М. Достоевских в контексте дискурса о русской нации

К началу 1863 года журнал «Время», издаваемый братьями Михаилом и Федором Достоевскими, стал одним из самых популярных и влиятельных в среде образованной публики Российской империи. К этому времени число подписчиков выросло до 4300 человек, что ставило его на третье место среди «толстых» журналов: после «Современника» (7000 подписчиков) и «Русского вестника» (5700), но выше «Русского слова» и «Отечественных записок» (по 4000). Причем популярность журнала была высока не только у читателей, но и среди писателей и журналистов, о чем свидетельствует тот факт, что портфель редакции на 1863 год включал в себя 450 рукописей [14, с. 288–289]. Такая популярность накладывала и определенную ответственность, в частности – затрагивать наиболее злободневные темы. Таковой в 1863 году стало восстание в Царстве Польском, актуализировавшее множество болезненных вопросов. Однако введенная практически сразу цензура резко ограничила пространство для обсуждений. Как указывает Е.Г. Луферчик: «Редакциям журналов была запрещена печать собственных статей и заметок, в которых могли высказываться осуждения правительства в беспечности, неведении и непредупреждении готовившегося долгое время польского повстанческого движения. Позже перечень запрещенных сюжетов был расширен критикой действий австрийских и прусских властей в борьбе с инсургентами, а также решений тех правительств, с которыми Российская империя находилась в дружеских отношениях» [12, с. 95].

Однако при этом цензурой поощрялась публикация статей патриотического содержания. Поэтому, как подмечает М. Рольф: «Январское восстание по праву было названо поворотной точкой в истории русского национализма и одновременно в развитии российской журналистики. Высокие тиражи ежедневной прессы, постепенно вытеснявшей “толстые журналы”, тоже могут интерпретироваться как свидетельство того, что новый национализм совпал с чаяниями читательской аудитории. <…> С “польским вопросом” всегда были связаны и “русский вопрос”, и, следовательно, определение государственной нации» [22, с. 119]. И действительно, подавляющее число публикаций на эту тему носили ярко выраженный патриотический и антипольский характер (единственным крупным исключением стала публицистика А.И. Герцена, но пропольская позиция стала причиной резкого падения его популярности среди читателей и в среде интеллигенции), что запустило дискурс о русской нации.

И одним из ключевых вопросов здесь встала проблема самого ее существования как единого целого, что ярко проявилось в статье Ивана Сергеевича Аксакова «В чем сила народности», опубликованной в марте 1863 года в газете «День»: «Чтобы *обрусить* – надо быть русским, а русских-то между нами и нет. Поляки более поляки, чем мы русские. Прежде чем *обрусивать* (если можно так выразиться) поляков, русским следует *обруситься*

Панченко Алексей Борисович, кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарного образования Сургутского государственного педагогического университета. E-mail: alexeypank@rambler.ru

самим. Конечно, русский простой народ несомненно и неколебимо русский, но, как мы уже не раз говорили, одна непосредственная бытовая сила народности, без народного самосознания, без деятельности народного духа в высшей области мысли и знания, есть сила пассивная, не только не способная подчинять себе чужие, сколько-нибудь развитые народности, но сама легко, незаметно им подчиняющаяся. Повторяем, без высшей сознательной деятельности народного духа народность масс не надежна. Область же этой деятельности есть именно то, что называется обществом, то есть среда, где личное просвещение народных единиц, переставших быть однородною массою, образует новое сознательное народное единство, новую силу общественности. А есть ли у нас эта сила? Есть ли у нас русские, кроме простого народа, лишенного всяких средств к образованию? Есть ли у нас это русское общество?» [1, с. 189–190]. В этой статье очевидный для современников вопрос о культурных различиях между крестьянством и образованным обществом (в первую очередь дворянством) был переведен в русло дискурса о нации, в рамках которого вопрос о единстве русской нации стал вопросом ее выживания. Лишь единая нация может не только сопротивляться «германизму» и «полонизму», но и сама осуществлять активную политику в форме «обрусения», что в итоге должно избавить Россию от проблем с сепаратизмом.

Именно в рамках обсуждения вопроса о русской нации (правда, без использования самого термина, который заменялся более привычной в рамках внутриимперского дискурса народностью) взошла звезда Михаила Никифоровича Каткова как лидера нарождающегося русского национализма. Вообще следует отметить, что московские газеты и журналы вели куда более активную деятельность в процессе обсуждения как польского восстания, так и идей русского национализма, нежели петербургская пресса, что отмечал в своих воспоминаниях один из ближайших соратников братьев Михаила и Федора Михайловичей Достоевских в деле издания «Времени» Николай Николаевич Страхов: «Петербургская литература с самого начала восстания почти сплошь молчала, или потому, что не знала, что говорить, или даже потому, что со своих отвлеченных точек зрения готова была даже прямо сочувствовать притязаниям восставших. Это молчание очень раздражало московских патриотов и людей, настроенных патриотически в правительственных сферах. Они чувствовали, что в обществе существует настроение, враждебное государственным интересам той минуты, и справедливо питали гнев против такого настроения» [цит. по: 14, с. 304]. Именно это он считал причиной, по которой в дальнейшем «Время» и было закрыто, – после публикации статьи Страхова по польской тематике, которая была расценена как акт национального предательства.

Что касается петербургской публицистики, то Николай Страхов был все же не прав. Уже начиная с февральского номера в «Отечественных записках» в разделе «Современная хроника России» значительная часть места уделена именно польскому вопросу, в том числе его освещению в зарубежной прессе. Позиция редакции журнала в целом была примирительная, отмечалась разница в восприятии сложившейся кризисной ситуации со стороны русского и польского общества: «С нами враждует не польский народ и не польское государство, которое покуда еще не выходит из отвлеченной области, а общество, по необходимости неуступчивое в своих притязаниях, потому что их не умеряет охлаждающая государственная мысль, не останавливает влияние простого народа. За нас ведет общественную борьбу не русское общество, а отвлеченная сила правительства, которое не может иметь средств, принадлежащих одному только обществу, и не может внушать такого сочувствия польскому обществу, какое внушало бы польскому государству. Когда мы стоим за неотъемлемые права простого русского народа в русских краях, поляки видят в нас не русских людей, которые, естественно, не могут отречься от самих себя и защищаются от подчинения чужой народности, а русское правительство и его государственные

замыслы; видят нападение на себя там, где с нашей стороны одна законная и необходимая оборона» [25, с. 59]. Но при этом видно, что, признавая за поляками право на сохранение своей национальности, от них требовалось признать такое же право за жителями южнорусских губерний, которые в период своего нахождения в составе Речи Посполитой подвергались притеснениям и «ополячиванию». При этом по мере продолжения восстания тональность публикаций стала ужесточаться, переходя уже к прямому осуждению поляков, в первую очередь шляхты.

В «Современнике» польская тематика (тоже преимущественно с точки зрения ее обсуждения на Западе) появляется с марта 1863 года. Как указывала редакция журнала, делается это для того, чтобы успокоить читателей, «которые опасаются вмешательства Европы в пользу поляков, и для того, чтобы показать, что ни одна из великих европейских держав и не думает серьезно принять сторону инсургентов» [19, с. 307–308]. При этом выражение собственного мнения в этих публикациях почти отсутствовало, хотя использование, например, таких оборотов как «Варфоломеевская ночь» применительно к началу восстания показывало, что редакция не сочувствовала польскому делу. Даже в тех случаях, когда кто-то из сотрудников «Современника» критически отзывался о казенно-патриотической позиции (как это сделал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в неопубликованной рецензии на брошюру «О русской правде и польской кривде»), сама правота России в польском вопросе сомнению не подвергалась: «…если вы, например, думаете сами и желаете передать народу свое убеждение, что смуты, которые в настоящую минуту господствуют в Польше, имеют гнилой и зловредный корень, то и излагайте дело, как вы его понимаете, а не приплетайте же в вашу речь каких-то добродетельных помещиков, потому что, делая это, вы вредите самим себе» [24, с. 388].

Меньше внимания этой проблеме было уделено в «Русском слове», но и там в мартовской книжке польский вопрос рассматривался с позиции его значения для национальных интересов России: «Слитие народов, разделенных историческими обстоятельствами, вообще происходит тяжело и медленно, особенно когда в основании этого соединения лежат глубокие народные антипатии. Опыты прошлых веков доказали, что ничто так сильно не разделяет нации, как религиозные и политические противоречия. Вследствие их образуются противоположные убеждения и привычки. Нет сомнения, что между Польшей и Россией есть много национальных связей – географическое положение, сходство языка, расы, единство преданий, но все эти связи более нравственные, чем политические, были отчасти отравлены историческими столкновениями. Как бы сила событий не разрешила польский вопрос, но Россия должна искренне желать разрешить его как можно скорее ради своих национальных интересов, и как можно гуманнее – ради своей народной чести» [2, с. 6].

Отношение к польскому вопросу объединило западников и славянофилов (за исключением, как уже говорилось, Александра Герцена). И Москва, как и отмечал Николай Страхов, стала центром патриотической публицистики, причем не только журнальной или газетной, но и в форме отдельных изданий. Так, известный историк Сергей Михайлович Соловьев выпустил полноценную монографию «История падения Польши» [26], которая хотя и была посвящена событиям конца XVIII века, но ее издание в разгар польского восстания явно преследовало не только научную цель, но и показывало, что современное состояние Польши является не некой аномалией, вызванной злой волей России, а закономерным итогом предшествующего развития.

Да и во «Времени» публикации, посвященные польскому вопросу, появились уже в январском выпуске 1863 года. Их автором был Алексей Егорович Разин, один из выдающихся просветителей и педагогов этого времени, ведший разделы «Наши домашние дела» и «Политическое обозрение». Самая первая из заметок была, по сути, просто хроникой

первых дней восстания, однако в ее завершении было два важных замечания. Во-первых, отмечалось, что сельское население восстание не поддерживает. А во-вторых, говорилось о том, что поляки для русских являются братским народом: «опять льется с обеих сторон братская кровь» [13, с. 64]. Начиная с февральского выпуска польский вопрос переносится в раздел «Политическое обозрение» и рассматривается исключительно как отражение в политике европейских держав. Собственно проблемы Польши, взаимоотношения между поляками и Россией, вопросы польского национализма в этих публикациях просто отсутствовали – фактически все свелось исключительно к объяснению мотивов западных стран выразить (или не выразить) поддержку польскому делу, при этом не предпринимая никаких конкретных действий.

Но в апрельском номере «Времени» была опубликована статья Николая Страхова «Роковой вопрос» [23], подписанная псевдонимом «Русский», вызвавшая резко негативную реакцию как со стороны славянофилов, так и западников. Более того, она стала причиной запрета издания «Времени», то есть оказалась негативно воспринятой и на уровне имперской власти. Чем же можно объяснить столь единодушное непринятие идей Страхова, которые, судя по тому, что статья была опубликована без указания настоящего имени автора, были общей позицией всей редакции? Прежде чем перейти к характеристике собственно статьи, необходимо подробнее остановиться на взглядах того сообщества, к которому относились и Страхов, и братья Достоевские, да и другие сотрудники «Времени». В исследовательской литературе направление, к которому относилась эта группа, получило название «почвенничество», хотя ни Страхов, ни Достоевские (ни третий активный член кружка – Аполлон Александрович Григорьев) этот термин не использовали. При этом ряд исследователей (наиболее ярким из которых является В.Н. Захаров [8]) подвергает сомнению существования почвенничества как цельного течения, представители которого разделяли некую единую идеологию. Причину этого хорошо подметил В.А. Фатеев: «Ошибка Захарова и ряда других исследователей почвенничества заключается в том, что они рассматривают идеологию направления как нечто застылое и устоявшееся. Участники движения, связанного с журналом «Время», предстают мыслителями со сложившимися, неизменными взглядами. Однако Достоевский сам признавал, что единая платформа почвенников не была отвлеченной формулой, но вырабатывалась в процессе сотрудничества, спорах и колебаниях» [30, с. 45].

Именно гибкость почвеннической платформы отличала ее от славянофилов и западников, которых Ф.М. Достоевский со товарищи критиковали за догматизм. Проследить эволюцию базовых установок почвенничества можно уже по объявлениям о подписке на журнал «Время». В первом из них, опубликованном в конце 1860 года, нынешняя эпоха характеризовалась как «слитие образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, – народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью» [3, с. 35]. Это был манифест классического национализма, призывавший к установлению межсословного единства, опирающегося на чувство своей национальной самодостаточности. При этом уникальность русской национальности виделась Достоевскому в способности «отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности; способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям» [3, с. 37]. То есть та самая гибкость, выход за пределы узконациональных рамок, способность к синтезу чужих идей и культурных ценностей, при этом не теряя себя, – это важнейшая черта русского национального характера. Именно это отличало установку почвенников и от славянофилов

(с идеей полной уникальности русской народности, которую едва не разрушил Петр I), и от западников (считавших русскую народность такой же, как и все остальные европейские). Вторым отличием была принципиальная устремленность на настоящее – в противовес ностальгии о прошлом у славянофилов и верой в прекрасное будущее у западников. Почвенничество – это признание русской нации, существующей здесь и сейчас.

Спустя год Федор Михайлович был вынужден признать, что способность к «отрешению от почвы» несет в себе угрозу эту почву утратить совершенно: «Мы просто поднялись на воздух. В самом деле, наше внутреннее ощущение часто бывает теперь похоже на ощущение воздухоплавателя, поднявшегося на 7000 футов от земли. Он, конечно, с такой высоты может сделать много прелюбопытнейших наблюдений, разумеется слишком отвлеченных, не совсем близких, и главное – как-то нестерпимо свысока, а все-таки, какую бы любовь он ни питал к науке, ему всё хочется на землю» [4, с. 148]. Если прежде он призывал к единению образованного общества и простого народа, то теперь указывал, что прежде необходимо этот народ узнать, понять его – причем не на уровне отвлеченных теорий и идеальных конструктов, а как существующее в реальности сообщество.

Наконец, в последнем из объявлений, опубликованном незадолго до начала польского восстания, еще раз актуализировалась необходимость соединения в рамках одной народности образованных слоев общества и простого народа: «В наших словах о соединении не было никакого таинственного смысла. Надо было понимать буквально, именно буквально, и мы до сих пор убеждены, что мы ясно выразились. Мы прямо говорили и теперь говорим, что нравственно надо соединиться с народом вполне и как можно крепче; что надо совершенно слиться с ним и нравственно стать с ним как одна единица» [5, с. 209]. И здесь снова проявилось отличие как от славянофилов, призывавших учиться у народа, так и от западников, стремившихся народ учить. В этом плане почвенничество было шагом вперед в развитии идей национализма – в рамках него речь фактически шла о стирании границ между сословиями и создании единой общности. Столь оригинальная позиция не могла не вызвать критики как со стороны славянофилов, так и со стороны западников, но также и со стороны имперской власти, которая была принципиальным противником национализма в любом его изводе. И именно с такой позиции надо рассматривать как статью Николая Страхова «Роковой вопрос», так и реакцию на нее.

Сама по себе статья содержала в себе два важных методологических блока. Во-первых, в ней еще до выхода «России и Европы» Николая Яковлевича Данилевского были провозглашены тезисы цивилизационного подхода, когда под цивилизацией понимался не только уровень развития, но и набор ценностных и культурных характеристики, отличающий одну большую общность от другой. При этом Россия провозглашалась цивилизацией, отличающейся от Европы, хотя пока только на стадии зарождения: «Может быть, в нас таится глубокий и плодотворный дух, который хотя еще не проявился ясно и отчетливо, но уже ревниво охраняет свою самостоятельность и не дает над собой власти никакому чуждому духу, который настолько крепок, что способен отталкивать всякое влияние, мешающее его самобытному развитию» [23, с. 159]. Важным отличием от идей славянофилов (и панславистов) в данном случае было то, что поляки провозглашались частью европейской, а не славянской цивилизации, причем речь здесь шла не только о религиозных различиях, но и в целом о том, что Польша была страной с европейской культурной и образовательной традицией.

Во-вторых, Николай Страхов фактически описал процесс конструирования национальной идентичности в рамках дихотомии «свой/чужой» («Польский вопрос, вероятно, еще долго будет глубоким русским вопросом; чем он труднее и важнее, тем нужнее для нас сознавать в отношении к нему свой долг» [23, с. 163]), поскольку русская национальность у него выводится через ее противопоставление польской, в том числе и для того, чтобы

избежать ошибок, совершенных поляками. И это конструирование тоже шло в терминах цивилизации: «В европейской цивилизации, в цивилизации заемной и внешней, мы уступаем полякам; но мы желали бы верить, что в цивилизации народной, коренной, здоровой мы превосходим их или, по крайней мере, можем иметь притязание не уступать ни им, ни всякому другому народу» [23, с. 161]. Причем в отличие от автора «Русского вестника» (которым был сам Михаил Катков), который использовал оборот «роковой вопрос» еще в феврале 1863 года [21, с. 476], в данном случае речь шла не о политическом противостоянии России и Польши, а именно о противопоставлении народностей, их культур.

Вполне в духе почвеннической методологии Страхов указывал, что в процессе конструирования русской нации необходимо апеллировать не к прошлым заслугам или будущим перспективам, а в первую очередь исходить из современного состояния. Наконец, призыв установления крепкого единства между образованным обществом и народной массой (чего как раз и не хватило полякам, для того чтобы сохранить свою государственность), отказ от высокомерного взгляда на народ как исключительно материал, с которым предстоит работать интеллектуальной элите (и при этом избегание другой крайности – излишней идеализации народа), тоже был совершенно почвенническим.

Реакция на эту статью последовала незамедлительно, однако оказалась абсолютно неадекватной. Уже 22 мая 1863 года в газете «Московские ведомости» вышла статья Карла Александровича Петерсона, где главная претензия заключалась в том, что «Роковой вопрос» вышел без указания истинной фамилии автора, да еще и под псевдонимом «Русский»: «Не может ли другой подумать, что в подписи статьи словом: “Русский” таится коварный умысел. Поляки поторопятся перевести эту статью на все языки Европы и скажут: “Вот видите ли как сами Русские думают. Не правы ли мы?”» [16]. Никакого разбора сочинения Страхова по существу в этой небольшой заметке не было, но именно она послужила поводом для закрытия журнала. А уже 24 мая последовало запрещение издания «Времени» по причине публикации статьи Страхова «в высшей степени неприличного и даже возмутительного содержания по предмету польских дел, идущей прямо наперекор всем действиям правительства и всем патриотическим чувствам и заявлениям, вызванным нынешними обстоятельствами, и оскорбляющей народное чувство, а также о вредном направлении этого журнала» [14, с. 308].

Несмотря на столь серьезные негативные последствия, положительный момент заключался в том, что со стороны Николая Страхова и Федора Достоевского предпринималось несколько попыток разъяснить суть публикации, в ходе которых произошло некоторое уточнение отдельных положений злосчастной статьи. Страховым были написаны письма Михаилу Никифоровичу Каткову – издателю «Московских ведомостей» и «Русского вестника», и Ивану Сергеевичу Аксакову, издававшему газету «День», в которой он сам опубликовал критическую статью о «Роковом вопросе». Из этих писем было очевидно, что Николай Николаевич видел в европейской поддержке поляков возможность для России отказаться наконец от взгляда на Европу как на высший авторитет и начать проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику (в том числе в сфере культуры): «Европа давно уже отталкивает нас, давно уже смотрит на нас, как на врагов, как на чужих. Когда же мы, наконец, перестанем подлизываться к ней и стараться уверять себя и других, что и мы европейцы? Когда, наконец, мы перестанем обижаться, когда нам скажут, что мы сами по себе, что мы не европейцы, а просто русские, что от Европы, скорее всего, нам ожидать вражды, а не братства?» [27, с. 53] и «Европа постоянно смотрит на нас как на врагов, как на чужих. С 1812 года ее настроение в отношении к нам нисколько не изменилось. Наполеоновский поход она считает только первой неудачной попыткой против могучих варваров. Ее историки предсказывают, ее поэты пророчески воспевают будущую великую

борьбу с нами, русскими. До которых же пор мы не уясним себе этого нашего положения? Почему не скажем прямо: Европа нас не понимает и заставляет нас доказывать нашей силой и нашей кровью наши права на существование и развитие? Но мы знаем, что эти права так велики и святы, как ничьи другие в мире» [28, с. 58–59]. Кроме того, вновь было отмечена роль поляков как «другого», относительно которого следует конструировать образ своего: «Польский вопрос есть вместе наш внутренний вопрос; он должен просветлить наше сознание, должен ясно указать нам, чем мы должны гордиться, на что надеяться, чего опасаться» [28, с. 55].

Через письма пытался объяснить основную мысль статьи и Федор Михайлович Достоевский. Причем если Страхов давал пояснения в адрес славянофилов, то Достоевский – одному из видных представителей западничества Ивану Сергеевичу Тургеневу: «Мысль статьи (писал ее Страхов) была такая: “что поляки до того презирают нас как варваров, до того горды перед нами своей европейской цивилизацией, что нравственного (то есть самого прочного) примирения их с нами на долгое время почти не предвидится”. Но так как изложения статьи не поняли, то и растолковали ее так: что мы сами от себя уверяем, будто поляки до того выше нас цивилизацией, а мы ниже их, что, естественно, они правы, а мы виноваты» [7, с. 34]. Кроме того, от Федора Михайловича последовала крайне резкая реакция на статью К.А. Петерсона, которая, кстати, показала существование различий во взглядах Достоевского и Страхова.

Так, если Николай Страхов больше говорил о самоценности русской народности как таковой, то для Федора Достоевского ключевым моментом было представление о ней, как части всечеловеческой цивилизации: «…русская земля скажет свое новое слово, и это новое слово, может быть, будет новым словом общечеловеческой цивилизации и выразит собою цивилизацию всего славянского мира» [6, с. 98]. А затем, развивая мысли Страхова о существующем разрыве между образованным обществом и русским народом, Достоевский обвинял Петерсона в западопоклонничестве (переворачивая, таким образом, обвинения публициста против него самого): «…у вас и в воображении никогда не было другой мерки достоинства и развития русского, кроме европейской цивилизации quand même. Вы ее только одну и признаете. Вы не признаете национального развития, вы не признаете самостоятельности народных начал в русском племени и, во имя вашего англизированного патриотизма, обижаетесь, что поляки нас образованнее, в европейском смысле, другими словами, что русские упорно хотят остаться русскими и не обратились по приказу в немцев или французов» [6, с. 99].

При этом восприятие России как части европейской цивилизации в это время все же превалировало в образованном обществе. Любопытным примером может послужить письмо, написанное Ивану Аксакову Петром Болдыревым из Старой Руссы, в ответ на критическую заметку по поводу статьи Страхова. Причем автор письма сначала укорил самого Аксакова за неправильное толкование идей Ивана Киреевского (в том же самом Аксаков обвинял Страхова), а затем уже высказался против идей Страхова о существовании русской цивилизации: «Ваш собрат по ремеслу, творец статьи “Роковой вопрос”, тоже частию повихнулся в сторону. Например, он говорит о своеобразной русской цивилизации, к которой мы подаем чреватые надежды. Согласитесь сами, много ли родов цивилизаций в Европе, если русский народ суть европейцы? Правда, есть в настоящее время цивилизации магометанская и китайская, равно индейская; но, согласитесь, что в подобную попасть трущобу весьма неловко и даже гадко. В Европе же развивается всеми племенами одна и та же цивилизация, только в том разница, что одни ее поддерживают, другие только развивают, а третьи, как видится, законопачивают в китайский ящик, выпив наперед того с усердием, до кровавого, т.е. 9-го, пота чай, бывший в тех ящиках, именуя себя греко (Византийского века)-азиатскими цивилизаторами» [17, с. 307].

Итог дискуссиям вокруг «Рокового вопроса» был подведен в майской книге «Русского вестника» (вышедшей только в июле), где помещена большая неподписанная статья (автором которой был Михаил Катков). В ней, с одной стороны, со Страхова снимались обвинения в полонофильстве и непатриотизме, он описывался как человек, искренне желающий добра своей стране, но чрезмерно увлекшийся теоретическими построениями, мешающими ему увидеть ту самую «почву», о которой так много рассуждал. С другой стороны, статья интересна некоторыми теоретическими положениями, в том числе и с точки зрения рассуждений о специфике русской цивилизации. Так же, как и Николай Страхов, Михаил Катков считал, что в России есть своя цивилизация, причем ее он признавал вполне сформировавшейся. При этом Катков не видел ничего плохого в том, что сформировалась она под влиянием заимствований: «Нет, мы должны дорожить нашею цивилизацией, а не бросать ее под тем предлогом, что мы ее заимствовали, а не выработали из народных начал. Все друг у друга заимствуют, все друг у друга учатся, и люди, и народы. Кто бы ни помог нам выучиться, например, математике, – это все равно, лишь бы только мы хорошо выучились ей и умели употреблять ее в дело. Дурно было бы не то, что мы у кого-нибудь учились ей, а дурно было бы то, если б оказалось, что мы плохо учились, более занимаясь квадратурой круга или изыскивая способы, как бы устроить торжественную встречу параллельных линий» [18, с. 406]. Однако при этом русскую цивилизацию он считал вполне европейской (а европейскую – всемирной), а Россию – одним из важнейших столпов в европейской политике. При этом видно, что в статье Каткова понятие «цивилизация» понималось в двух различных значениях – как высшего уровня развития культуры, к которому в равной мере стремятся все страны мира, и как некоторого набора культурных черт, которые отличают одну страну от другой: «в действительности есть, во-первых, одна всеобщая, всемирная цивилизация, которая связывает все народы, которая втягивает, наконец, в свою сферу и Китай, и Японию, и, во-вторых, есть индивидуальные цивилизации отдельных исторических народов, – цивилизации, в которых выразился труд их жизни и которые составляют капитал каждого народа в особенности» [18, с. 416].

Но в целом же упор в статье делался не на вопросы культуры и национальной специфики, а, скорее, на вопрос внешнеполитических интересов России и европейских стран. Но при этом отмечалось, что «Нас, между прочим, не уважают за то, что мы слишком выбиваемся из сил, чтобы походить не на себя, и еще до сих пор наши интимные мысли, наши дружеские объяснения и конфиденциальные сообщения творим на французском языке. Нас не уважают также за то, что мы все ищем какой-то почвы, что толкуем о каких-то началах, что мы все куда-то тянемся и хотим быть русскими не просто по-русски, а по какой-нибудь немецкой метафизике. Нас не уважают за то же, за что не уважают и соплеменников наших поляков; но нас все-таки более уважают, чем их, потому что люди просвещенные и опытные, несмотря на весь сумбур, которым щеголяют наши умники, несмотря на наши французские разговоры, несмотря на наше гримасничанье, все-таки чувствуют за нами здоровые и крепкие силы цивилизации, которой нужно только освободиться от недоразумений и ложных ассоциаций, отвлекающих умы от настоящего дела» [18, с. 414–415]. То есть здесь уже против Страхова выдвигался тот же упрек, что он выдвигал против российского образованного общества – постоянное оглядывание на Европу. Стоит отметить, что это обвинение вряд ли можно считать справедливым, но оно наглядно показывало, насколько позиция почвенников оказывается непонятной для их оппонентов из консервативного лагеря (как, впрочем, и из лагеря славянофилов).

Статья Михаила Никифоровича Каткова в некотором плане сняла с редакции «Времени» обвинения во вредном направлении мысли. Хотя возобновить издание прежнего журнала было не разрешено, но Михаил Михайлович Достоевский в ноябре 1863 года подал прошение министру внутренних дел Петру Александровичу Валуеву об издании

нового журнала под названием «Правда»: «Направление моего журнала будет в полной мере русское. Внешняя политика будет разбираема со стороны русских интересов и блага нашего великого отечества; события же последнего времени, патриотическое настроение общества и великие силы народа, которые уже дают себя предчувствовать в его настоящих заявлениях, послужат твердою опорою для обсуждения вопросов внутренних» [цит. по: 15, с. 9–10]. Однако на первое прошение положительного ответа дано не было, тогда Михаил Достоевский в начале января 1864 года направил второе, в котором провозгласил ключевой задачей нового журнала «уяснить читателям те великие силы, которые таятся в русской жизни, которые служат задатками нашего будущего развития и блага и к которым так скептически и отрицательно относятся зачастую наша литература и общество» [цит. по: 15, с. 11]. В итоге разрешение было получено, правда, название журнала пришлось сменить с «Правды» на «Эпоху».

И уже в первом сдвоенном номере «Эпохи» появляются две статьи, посвященные польскому вопросу. Но в отличие от тех, что печатались во «Времени» и были посвящены актуальному его состоянию, теперь статьи носили больше характер исторической справки, в первую очередь это касается цикла из трех публикаций Ивана Григорьевича Долгомостьева, посвященных разбору книги Ф. Смита «История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов». Помимо И.Г. Долгомостьева, в первом номере и А.Е. Разин опубликовал статью, которая хотя и была историческим очерком, но важное место в ней уделялось вопросам народности.

Так, в качестве одной из важнейших причин, которые в итоге привели к падению Польши (начало которого автор относил к XVI веку), стало присоединение Литвы, но по факту – западнорусских земель: «Если бы к Польше был присоединен незначительный литовский народ, то не произошло бы никакого неудобства: он скоро был бы поглощен более многочисленным и более образованным народом польским. Но на деле это была не Литва, а целая западная половина России, что совершенно изменяет вопрос» [31, с. 396]. Причем первый шаг к падению был сделан еще в XIV веке – после женитьбы Ягайло на польской королевне Ядвиге, но тогда это было еще обратимым процессом. Однако после Люблинской унии, закрепившей западнорусские земли в составе Речи Посполитой, падение стало неминуемым. В результате значительную часть внутренних сил Польша была вынуждена тратить на борьбу с православием и распространение «латинства» на новых подданных, которые, несмотря на все эти усилия, продолжали тяготеть к России. Фактически удалось ополячить только некоторую часть политической элиты, но не народ.

Другой причиной, приведшей Польшу к падению, является самовластие магнатов, которые противостояли одновременно и народу, и государству – в отличие от России, где как раз роль дворянства в историческом процессе крайне незначительна: «Наши бары истории не делали; у нас история делалась с одной стороны народом, а с другой правительством. В Польше, напротив, народ и правительство в истории не участвовали; там от конца XVI века вплоть до нашего времени сущность истории заключалась в развитии самостоятельности каждого пана отдельно, с полным пренебрежением всех общих интересов» [31, с. 402]. Столь явное игнорирование сотрудничества неотвратимо влекло Польшу к распаду, который состоялся бы и без разделов государства. В итоге польское государство прекратило свое существование, а все последующие восстания были обречены на поражение, поскольку опирались не на идею подлинного патриотизма (любви к отечеству), а исключительно на стремление вернуть шляхетские привилегии, значительная часть которых заключалась в возможности угнетения русского православного населения Польши. Более того, сами восстания были возможны только при их инициировании извне, поскольку внутри Польши существовало лишь стремление к удовлетворению личных, а не общественных интересов.

Три статьи Ивана Долгомостьева [9–11] были во многом просто пересказом работы Фридриха (Федора Ивановича) Смита, бывшего во время польского восстания 1830–1831 годов редактором известий для зарубежной печати при штабе фельдмаршала Дибича, который занимался подавлением этого мятежа. Одина из ключевых идей, проходящая через рассматриваемую книгу, – это неблагодарность поляков, постоянная их готовность выступить против России, неспособность удовлетвориться текущим состоянием. Это сочетается с отсутствием способности рационально оценивать свои возможности, что объясняется «сангвиническим характером нации».

Наконец, в четвертом номере «Эпохи» за 1864 год была опубликована поэма Якова Петровича Полонского «Разлад. Сцены из последнего польского восстания». В уста одного из персонажей автор вложил следующее понимание ситуации в Царстве Польском во время восстания:

«Двойное иго – польский слой под русским
Народный слой под польским – вот задача!» [20, с. 142].

В нем отражается господствующий нарратив о том, что народ в Польше притесняется шляхтой польского происхождения и воспринимает русских как защиту от нее. Собственно, и польские шляхтичи описываются как люди, не воспринимающие народ в качестве своих:

«Народ,
Какой? Народ здесь ни поляк, ни русский,
Ни то, ни се: кто б ими не владел,
Им все равно. Поверьте, добрый пан,
Что наши холопы – даже не народ» [20, с. 151].

Наконец, в поэме в полной мере отражен и образ поляка как двуличного изменника, готового нарушать слово, если это ему выгодно.

Были и отдельные упоминания о польском вопросе в других разделах «Эпохи», но нельзя не остановиться еще на одной статье Николая Страхова, которая была подготовлена для первого номера журнала, но не пропущена цензурой. В ней польское восстание описывается как переломная точка, пробуждение общественного мнения и начало периода сближения образованного слоя и народа: «В польском деле мы встретились лицом к лицу со своим народом и своей историей. Встреча была неожиданная и застала нас врасплох. Блуждая в сфере общих идей и отвлеченных теорий, мы, более чем когда-нибудь, потеряли понимание истории. Мы привыкли думать, что дела в ней решаются так же легко, как легко группируются и развиваются наши мысли. Мы не хотели верить тем резким проблескам действительности, которые изредка доходили до нас» [29, с. 84–85]. Во многом эта статья повторяла мысли, высказанные в «Роковом вопросе», поляки и польская культура обозначалась в качестве эталонного «иного», отталкиваясь от которого должен происходить процесс конструирования «себя». Новым в «Переломе» было установление связи между крестьянским и национальным вопросами: «Когда крестьянское дело начиналось, всякий помнит, что у нас были опасения, как бы это дело не вооружило одного сословия против другого, или не возбудило недовольства против власти. Вследствие весьма неправильного взгляда на положение вещей многие ни за что не хотели верить, чтобы реформа прошла мирно. И что же? Эти опасения сбылись, только не там, где их ожидали, не у нас, а в Польше и в Западном крае. Там враждебно столкнулись элементы, приведенные в движение: народ поднялся против шляхты, и шляхта восстала против властей» [29, с. 90]. Освобождение крестьян, по мысли

Страхова, нанесло серьезный удар по полонизму в западных губерниях, одновременно открыв возможности для продуктивного развития русской культуры, сделав возможным союз образованного общества и народа на благо государства.

К середине 1864 года, после подавления восстания, польская тематика в «Эпохе» отошла на задний план, а уже в начале 1865 года журнал был закрыт. Однако эти полтора года – с января 1863 по июнь 1864-го – стали периодом становления дискурса о русской нации в рамках публицистики. Поляки стали тем «чужим», по отношению к которому осуществлялся процесс конструирования «своего» национального сообщества. При этом обсуждение велось в терминах национализма, тогда как имперский контекст отошел на второй план. Имперская идентичность, которая до этого была приоритетной, стала уступать место национальной, при этом единого понимания того, что собой представляет русская нация, не было (не сформируется оно и в дальнейшем, вплоть до падения империи). Возникает парадоксальная ситуация – образованное сообщество практически единогласно высказало поддержку правительству, но тем самым заложило бомбу замедленного действия под империю, поскольку дискурс о русской нации в качестве ответной реакции породил множество разных националистических дискурсов на всем пространстве империи. Причем если для русских националистов необходимым «чужим» были поляки, то для остальных национальных движений не было разницы между русской нацией и Российской империей. Империя все больше воспринималась как русское национальное государство, что оказывало серьезное влияние на поведение русских националистов, которые постепенно стали воспринимать имперское правительство как один из главных тормозов на пути развития русской нации. Краткий союз образованного общества и правительства начал трещать по швам уже спустя несколько лет после появления. На этом фоне позиция почвенников отличалась от взглядов большинства русских националистов.

Братьями Достоевскими и их соратниками по почвенническому движению (в первую очередь Николаем Страховым) на страницах «Времени» и «Эпохи» было обозначено несколько важных методологических моментов. Во-первых, это восприятие России как отдельной цивилизации, отличной от европейской (воплощением которой была Польша). Как для западников, так и для славянофилов идея принадлежности России к европейской цивилизации сомнений не вызывала (а у большинства вообще понятие цивилизации применялось исключительно к Европе, тогда как остальные регионы мира – это средоточие варварства и стагнации), просто подразумевалось существование нескольких локальных вариантов. Соответственно и противостояние России и Польши – это столкновение интересов внутри единого цивилизационного пространства, борьба за политическое господство. Для почвенников же этот конфликт носит гораздо более глубокий, ценностный характер, для победы в котором необходимо осознать принципиальное отличие России от всех европейских держав, а русских – от европейских наций. В дальнейшем эта идея получила свое развитие в сочинении Николая Яковлевича Данилевского, хорошего знакомого Николая Страхова. При этом русская нация, с точки зрения почвенников, еще не оформилась, но польское восстание в немалой степени этому способствует, став стимулом для образованного общества обратить внимание на народ, осознать свое единство с ним.

Во-вторых, из-за цивилизационных различий поляки воспринимались как «эталонный иной» для конструирования русской нации. Фактически все характеристики русского – это черты поляка, но с противоположным знаком. Вместо узкого национализма – «всемирность» русской души, вместо гипериндивидуализма и эгоизма – общинность и готовность к сотрудничеству на благо государства, вместо лживости и лицемерия – честность и открытость. Если поляки – это умирающая нация, то русские – только зарождающаяся. Кроме того, поляки представали в качестве образца негативного влияния чуждой цивилизации: будучи славянами по языку и крови, поляки усвоили европейскую культуру, которая убила

все живые самостоятельные ростки и в конечном счете привела к нынешнему печальному состоянию – отсутствию своего государства, непреодолимому разрыву между католическим меньшинством и православным большинством.

Важным условием создания и успешного развития русской нации, по мнению почвенников, является сотрудничество: между обществом и народом, между обществом и властью, властью и народом. Освобождение крестьян открыло для этого возможности, а польское восстание послужило катализатором, но для того чтобы потенциал воплотился в реальность, необходима длительная работа – в первую очередь по выкорчевыванию семян западной цивилизации, которые за предыдущую эпоху успели укорениться в России.

Литература

1. *Аксаков И.С.* В чем сила народности? // Отчего так нелегко живется в России? М.: РОССПЭН, 2002. С. 187–191.
2. Домашняя летопись // Русское слово. 1863. Март. С. 1–24.
3. *Достоевский Ф.М.* Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год / Ф.М. Достоевский // Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 18. Л.: Наука, 1978. С. 35–40.
4. *Достоевский Ф.М.* Объявление о подписке на журнал «Время» на 1862 год / Ф.М. Достоевский // Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 19. Л.: Наука, 1979. С. 147–150.
5. *Достоевский Ф.М.* Объявление о подписке на журнал «Время» на 1863 год / Ф.М. Достоевский // Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 20. Л.: Наука, 1980. С. 206–212.
6. *Достоевский Ф.М.* Ответ редакции «Времени» на нападение «Московских ведомостей» / Ф.М. Достоевский // Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 20. Л.: Наука, 1980. С. 97–101.
7. *Достоевский Ф.М.* Письмо И.С. Тургеневу 17 июня 1863 г. / Ф.М. Достоевский // Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 28 (II). Л.: Наука, 1985. С. 33–35.
8. *Захаров В.Н.* Почвенничество в русской литературе: метафора как идеологема // Проблемы исторической поэтики. 2012. № 10. С. 14–24. EDN PIXFFX.
9. [*Долгомостьев И.*] История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов. Ф. Смита. Переведено с немецкого... Квитницким. Т. I и II. СПб., 1863. Статья первая // Эпоха. 1864. № 1–2. С. 469–495.
10. [*Долгомостьев И.*] История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов. Статья вторая // Эпоха. 1864. № 3. С. 348–374.
11. [*Долгомостьев И.*] История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов: Статья третья и последняя // Эпоха. 1864. № 4. С. 257–286.
12. *Луферчик Е.Г.* Препятствуя стремлению «возбуждать умы и вселять в них недоверие»: русские журналы и цензура во время восстания 1863–1864 гг. // Славянский альманах. 2017. № 1–2. С. 94–99. EDN ZEHEPJ.
13. [*Разин А.Е.*] Наши домашние дела // Время. 1863. № 1. С. 39–64.
14. *Нечаева В.С.* Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». 1861–1863. М.: Наука, 1972. 316 с.
15. *Нечаева В.С.* Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». 1864–1865. М.: Наука, 1975. 303 с.
16. *Петерсон К.* По поводу статьи: «Роковой вопрос» в журнале «Время» // Московские ведомости. 1863. № 109. 22 мая. С. 3.
17. *Болдырев П.* Письмо от 11 июня 1863 г. // «День» И.С. Аксакова: История славянофильской газеты: Исследования. Материалы. Постатейная роспись. СПб.: Росток, 2017. Ч. 1. С. 305–308.
18. [*Катков М.Н.*] По поводу статьи «Роковой вопрос» // Русский вестник. 1863. Т. 45. С. 398–418.
19. Политика // Современник. 1863. Т. XCV. С. 307–344.
20. *Полонский Я.П.* Разлад: Сцены из последнего польского восстания // Эпоха. 1864. № 4. С. 121–256.
21. [*Катков М.Н.*] Польский вопрос // Русский вестник. 1863. Т. 44. С. 471–488.
22. *Рольф М.* Польские земли под властью Петербурга: от Венского конгресса до Первой мировой. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 576 с.
23. *Русский* [*Страхов Н.Н.*]. Роковой вопрос (Заметка по поводу польского вопроса) // Время. 1863. № 4. С. 152–163.
24. *Салтыков-Щедрин М.Е.* О русской правде и польской кривде / М.Е. Салтыков-Щедрин // Собр. соч.: в 20 т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1966. С. 387–390.
25. Современная хроника России // Отечественные записки. 1863. Т. CXLVI. № 1–2. С. 43–84.
26. *Соловьев С.М.* История падения Польши. М.: Тип. Грачева и комп., 1863. 378 с.
27. *Страхов Н.Н.* Письмо в редакцию «Московских ведомостей» // Борьба с Западом. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 50–53.
28. *Страхов Н.Н.* Письмо к редактору «Дня» // Борьба с Западом. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 53–61.
29. *Страхов Н.Н.* Статья первая. Перелом // Борьба с Западом. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 81–102.

30. *Фатеев В.А.* А было ли «почвенничество»? Полемические заметки // Словесность и история. 2020. № 3. С. 32–62. DOI 10.31860/2712-7591-2020-3-32-62. EDN KXAYKU.

31. [*Разин А.Е.*] Что такое польские восстания // Эпоха. 1864. № 1–2. С. 393–420.

Аннотация. Польское восстание 1863 года стало отправной точкой для начала дискуссий о русской нации. Активное участие в них принимали сотрудники журналов «Время» и «Эпоха», издаваемых братьями Достоевскими. Представителей этой группы можно обозначить как почвенников. Позиционируя себя как сторонников срединного пути между западниками и славянофилами, почвенники выдвинули свою концепцию формирования русской нации. Во-первых, они исходили из того, что Россия представляет собой отдельную цивилизацию, отличную от европейской. Во-вторых, поляки воспринимались как эталон «иного», отталкиваясь от которого конструировалась русская нация. В отличие от славянофилов, видевших идеал в прошлом, и западников, устремленных в будущее, почвенники исходили из того, что русская нация формируется здесь и сейчас. Предпосылкой для ее формирования стала отмена крепостного права, а катализатором – польское восстание. Успешность процесса создания русской нации зависела от двух факторов: установления единства между образованным обществом и народом и отказа от следования в русле западной цивилизации.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, Н.Н. Страхов, «Время», «Эпоха», национальный вопрос, польское восстание 1863 года, почвенничество

Alexey B. Panchenko, PhD in History, Associate Professor, Department of Social and Humanitarian Education, Surgut State Pedagogical University. E-mail: alexeypank@rambler.ru

From "Vremia" to "Epokha": The Polish Issue in the Journals of M.M. and F.M. Dostoevsky in the Context of the Russian Nation Discourse

Absract. The Polish uprising of 1863 was the starting point for the start of discussions about the Russian nation. The staff of "Vremya" and "Epokha" magazines, published by the Dostoyevsky brothers, took an active part in those discussions. Representatives of this group can be identified as Pochvennniks (national loyalists). Positioning themselves as supporters of a center path between Westerners and Slavophils, the Pochvenniks put forward their own concept of the Russian nation formation. First, they assumed that Russia was a separate civilization, different from the European civilization. Secondly, the Poles were perceived as a standard of something «different», starting from which the Russian nation was constructed. Unlike the Slavophils, who saw the ideal in the past, and the Westerners, who were focused on the future, the Pochvenniks proceeded from the assumption that the Russian nation was being formed there and then. A prerequisite for its formation was the abolition of serfdom, and a catalys – the Polish uprising. The success of the Russian nation creation process depended on the two factors: establishment of the unity between educated society and the people and the refusal to follow the mainstream of Western civilization.

Keywords: F.M. Dostoevski, N.N. Strakhov, "Vremya", "Epocha", National Question, Polish Uprising of 1863, Pochvennichestvo.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-152-159

Ольга Фетисенко

Поляки – «любимые враги» России: взгляд Константина Леонтьева

Приходит на ум строка Николая Гумилева: «Нам может нравиться прямой и честный враг…». В применении к нашей теме «прямой и честный» заменим на «явный», «не маскирующийся под друга» и в этом смысле «открытый». Борьбу с такими явными, открытыми врагами любил и в публицистике, и в дипломатической, и в цензорской своей деятельности Константин Леонтьев (1831–1891), хотя чаще ему приходилось сражаться с многоликим и почти всегда таящимся «Протеем» «всеобщего смесительного упрощения», воплощавшимся в том числе и в ведущих к этому усреднению революционных движениях.

Свойственное писателю в молодости веселое и бодрящее, «печоринское», отношение к собственным врагам он перенес и на восприятие геополитических, как сейчас говорят, процессов и столкновений: «Я люблю политических врагов России, точно так же, как Печорин любил своих личных врагов»; «…политические враги наши нередко гораздо полезнее нам и во всяком случае безвреднее, чем многие “невинные” и исполненные щедринской “благоглупости” соотчичи наши» [6, т. 6, кн. 1, с. 466, 467]. Так, польское восстание 1863–1864 годов, «усмирение» которого перешло в настоящую войну, сплотило на время большую часть русского общества. А войны Леонтьев считал «божественным учреждением» [6, т. 7, кн. 2, с. 63]: они «развивают индивидуальность как наций, так и лиц; – они прямо и косвенно подают людям повод обнаруживать творческие силы…» [6, т. 6, кн. 1, с. 18][1].

Поляки в своей «предсказуемости»[2] виделись Леонтьеву идеальными, «образцовыми» врагами России, и он едва ли разделял «розовые» надежды (политические и поэтические пророчества) Тютчева, на то, что «помирятся эти две [Русь и Польша – *О.Ф.*] <…> в Киеве и Цареграде» или где бы то ни было. Этот враг казался ему не грозным, а каким-то домашним («…враги человеку домашние его…»), тем более что значительная часть поляков была тогда под властью российской короны. Хотя Леонтьев с его «христианским пессимизмом» и не считал ни одну Империю вечной, он, как ни странно, в Польском вопросе «просчитался»: не предвидел возрождения польского государства[3], а, напротив, однажды (правда, в зачеркнутом фрагменте) намекнул, что Россия еще сможет присоединить «и че-

[1] Ср. со сказанным по другому поводу (о «нигилизме»): «Отрицательное направление <…> имеет свою пользу: оно пробуждает ум и противудействует, лишь бы оно не торжествовало» [6, т. 7, кн. 1, с. 55 (очерк «С Дуная», 1867)].

[2] «Поляки, правда, спирт легко воспламенимый; но *мы знаем,* что они спирт, и всегда более или менее готовы тушить его…» [6, т. 6, кн. 1, с. 393]. Узнав поближе южных славян, Леонтьев сделал вывод, что болгары и сербы для России по-своему опаснее поляков [6, т. 6, кн. 1, с. 393, 443], а «поляки своими движениями скорее полезны, чем вредны нам» [6, т. 6, кн. 1, с. 503].

[3] Эту идею он считал ложной, «мечтанием гибельным» [6, т. 6, кн. 1, с. 468].

Фетисенко Ольга Леонидовна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, E-mail: betsy98@mail.ru

хов, и запад<ную> часть поляков[1] и даже хорватов» [6, т. 8, кн. 2, с. 599] (на сравнительно короткое время это и сбылось в форме «соцлагеря» и Варшавского договора).

Возможно, по двум причинам Леонтьев не включил поляков в свой проект Великого Восточного Союза с центром в Константинополе[2]. Это не был панславистский «проект» (Леонтьеву виделись в подобном союзе и греки, и румыны, и турки, и персы; он находил, что истинное славянофильство должно быть противником панславизма [см. 6, т. 8, кн. 2, с. 71]), но поляки не были упомянуты или потому, что «русская» («российская») их часть вошла бы в такой союз, выражаясь современным жаргоном, «по умолчанию», или, наоборот, потому что они как чада Западной Церкви немыслимы были на Востоке. Думаю сейчас, что ближе к делу первый вариант: ведь Леонтьев не был намерен следовать пожеланию Вл. С. Соловьева «просить у Польши прощения» [6, т. 8, кн. 2, с. 245] (подцензурный эвфемизм для темы государственной независимости). Не исключаю даже того, что польские земли он включал в круг «пышных» «составных частей» России [ср. 6, т. 6, кн. 1, с. 22], и вообще, пожалуй (по крайней мере в более ранних работах), он чаще говорил о поляках (или хотя бы упоминал их в беглом перечислении славянских народов [6, т. 7, кн. 1, с. 179, 350, 352]), нежели о *Польше*, которая «стоила России столько забот и крови» [6, т. 7, кн. 1, с. 180].

Вот весьма характерный пример его настроения: в 1880 году Леонтьев настолько «спокоен» насчет положения «нескольких привислинских губерний»[3] под присмотром русских войск[4], что, проведя почти полгода в Варшаве и став ведущим автором и помощником редактора официозного «Варшавского дневника», не касается (не исключено, конечно, что из-за возможных цензурных сложностей) болезненной польской темы, а редкие отклики на местные происшествия являются случайными и всегда вызывающе парадоксалистскими и необходимыми лишь для того, чтобы вывести на излюбленные автором философские проблемы: война, прогресс, невозможность «всеобщего благоденствия» (см. три заметки из цикла «Сквозь нашу призму» [6, т. 7, кн. 1, с. 227, 229–231, 242–243][5]).

Тема «Леонтьев и Славянский вопрос» затрагивалась и при жизни мыслителя [см., напр., 7], и в современных исследованиях (вспомним хотя бы монографию известного московского балканиста В.И. Косика [5]), но почти всегда, – в согласии с самим Леонтьевым, – в развороте на южное славянство – сербов и болгар[6]. На звучащую у него польскую тему и Польский вопрос как часть более крупного Восточного вопроса обратил внимание петербургский востоковед К.А. Жуков [2, с. 27–28, 37, 110], но не остановился на этом сюжете подробно[7]. В одной из моих статей в общей панораме образов славян в художественных произведениях Леонтьева были перечислены и охарактеризованы «нарисованные» им поляки, включая закадровых эпизодических персонажей [8, с. 183–185, 191, 193].

[1] Именно их он подразумевал, когда после франко-прусской войны выражал надежду, что «более дальновидные» поляки «после германских побед» «волей-неволей» начнут больше сочувствовать России [6, т. 7, кн. 1, с. 352].

[2] Интересно также, что в гипотетическом перечислении славянских государств, которые могли бы образоваться после распада Турции и Австро-Венгрии, нет польского [см. 6, т. 7, кн. 1, с. 181].

[3] Слова из понравившегося ему ответа кн. В.А. Черкасского Ф. Ригеру во время московского Славянского съезда 1867 года [6, т. 6, кн. 1, с. 105].

[4] См. его передовую статью на эту тему [6, т. 7, кн. 2, с. 62–66].

[5] Два описанных эпизода случились в Варшаве (на Вержбовой улице и в Краковском предместье), третий относится к Келецкому уезду, но они могли произойти где угодно, в любой стране.

[6] В книге В.И. Косика польская тема отчасти присутствует [см. 5, с. 33, 72].

[7] Следует указать на фрагмент монографии, посвященный «туранской» теории Ф. Духинского [2, с. 73–78]. Неоднократно проявляли интерес к наследию Леонтьева польские гуманитарии (назову наиболее удачные труды [9–11]), но, как ни странно, работ на тему «Леонтьев о Польше и поляках» у «заинтересованной стороны» не имеется.

Наконец, в сравнительно недавнее время к польской теме в публицистике автора «Византизма и Славянства» обратилась С.И. Иванова [3, 4]. С сожалением отмечу, что, не будучи знакомой со всем комплексом текстов Леонтьева[1], а лишь с самыми известными его работами, исследовательница, в целом верно разобравшаяся в «культурном национализме» мыслителя, иногда допускает едва ли соответствующие объективной картине суждения. Например, говоря о подавлении современного Леонтьеву польского восстания, ошибочно датированного ею годом ранее, она заключала, что «и действия российского правительства автор оценивает отрицательно» [3, с. 194], приведя уместную цитату о «демократической ассимиляции», насильственно навязанной консервативной Польше, но не сказав ни слова о почти восторженном отношении философа к подавившему восстание графу М.Н. Муравьеву-Виленскому[2], которое было бы невозможным при отрицательном отношении к принятым им жестким мерам[3]. Диссонансом с общим реферативно-нейтральным тоном статьи звучат оценочные суждения автора, возмущенного «шовинистскими» теориями и «тоталитарными проектами» Леонтьева [3, с. 197, 198][4].

Чтобы получить более объемное представление о взглядах Леонтьева на наших западных соседей, нелишним будет прежде всего расширить круг привлекаемых источников и обратиться не только к публицистическим и историософским статьям, но и к мемуарным очеркам[5], дипломатическим донесениям из Адрианополя, Тульчи и Салоник и к эпизодам его биографии. При этом проще и надежнее всего придерживаться (пусть с некоторыми отступлениями) простого хронологического принципа, проверяя попутно, менялось ли отношение Леонтьева к полякам «русским» и «австрийским» (суждений о «прусской» части выявить не удалось[6]).

Важно подчеркнуть, что Леонтьев родился в год польского восстания (1831), что, кажется, не отмечалось ни его биографами, ни им самим в подробной записке «Хронология моей жизни». Между тем совпадение это знаменательно, и, несомненно, еще ребенком Леонтьев слышал рассказы о том времени из первых уст: его дядя по матери, Владимир Петрович Карабанов (1797–1842) в качестве командира Конно-егерского Дерптского полка участвовал в подавлении восстания.

Детство и юность Леонтьева прошли на границе Калужской и Смоленской губерний[7] с частыми посещениями последней (родового имения Карабановых в Вяземском уезде). В тех краях было множество польских дворянских семей (существовало понятие «смоленская шляхта», где всё было перемешано: русские, польские, белорусские, литовские роды). Трудно, между прочим, сказать – была ли одна из бабушек Леонтьева (А.Е. Карабанова, урожд. Станкевич) полькой или белоруской по отцу. Да и род Караба-

[1] Само наличие академического Полного собрания сочинений и писем Леонтьева, позволяющее прочесть его работы сколько-нибудь системно, осталось автору неизвестным. Между тем к моменту защиты С.И. Ивановой кандидатской диссертации был уже завершен выпуск трех его серий – художественной и мемуарно-автобиографической прозы и публицистики.

[2] Леонтьев причислял его к «славным лицам старого времени» [6, т. 6, кн. 1, с. 25].

[3] «Мы действовали хорошо и правильно» [6, т. 6, кн. 1, с. 462], – скажет Леонтьев по поводу подавления в 1863 году попытки поляков поднять восстание на юге России. Ср. также с его отзывом 1875 года о кн. В.А. Черкасском, служившем в Царстве Польском: «Я его любил отчасти за деспотизм, который он обнаружил в Польше…» [6, т. 6, кн. 1, с. 105]. «Суровость политических действий, – полагал Леонтьев, – есть могущество и сила национальной воли…» [6, т. 6, кн. 1, с. 470].

[4] Приписывание Леонтьеву желания «всеславянской ассимиляции» [3, с. 198] является грубой фактической ошибкой.

[5] Цитаты из них уже приводились и в начале статьи.

[6] Если не брать в расчет упоминания о «западных поляках», под которыми могли пониматься вместе как подданные Пруссии, так и Австро-Венгрии.

[7] Кудиново, где он родился, относилось к Мещовскому, но находилось на границе с Юхновским уездом, тогда принадлежащим Смоленской губернии (сейчас Юхновский район – часть Калужской области), и ближайшим городом был именно Юхнов.

новых Леонтьев, между прочим, видимо, вел не от татарских корней, а от польских. Ср. с брошенным матери в 1857 году упреком: «…в славянской натуре аристократическая спесь отнюдь не сильна, но вы не такая, потому что имеете дурную польскую каплю *Кробановских»* [6, т. 11, кн. 1, с. 207–208; пер. с фр.; курсив в цитатах здесь и далее принадлежит Леонтьеву]. Кем бы ни были Карабановы, они охотно роднились с поляками: например, одна из теток леонтьевского деда Петра Матвеевича Карабанова – урожденная Огонь-Догановская, прабабка Леонтьева, судя по второй части ее девичьей фамилии (Отрашкевич или Отрошкевич), тоже имела отношение к польскому семейству; кузина матери Леонтьева была замужем за генералом М.И. Каховским. Все эти генеалогические переплетения отчасти объясняют стойкость интереса Леонтьева к Польскому вопросу, которую легко заметить в его творчестве.

Вероятно, и в Смоленской и Калужской гимназиях, где он в разные годы учился, среди однокашников встречались поляки. Ср. с описанной в рассказе «Сутки в ауле Биюк-Дортэ» сценкой: два школьных товарища встретились во время Крымской войны и вспоминают одноклассника-поляка: «А помнишь, голубчик, как Ястрембицкий за мной гонялся, когда я ему из риторики: “бледнеет галл, дрожит сармат”… Здоровая, шельма! колотил-таки меня…» [1, с. 253; коммент. с. 660]. Подобное могло происходить с самим автором. В автобиографических произведениях ко временам детства относится лишь один «польский» эпизод, связанный со встреченным на балу в Юхнове скромным юнкером-поляком, приглашенным бывать у Леонтьевых в Кудинове [6, т. 6, кн. 1, с. 471].

Точных сведений о том, что Леонтьев интересовался польской литературой, не имеется. Но в главных образцах он ее знал, о чем свидетельствует хотя бы цитата (в собственном переводе!) из статьи Мицкевича 1829 года [6, т. 9, с. 70]. Позднее Леонтьев еще раз упомянет поэта [6, т. 8, кн. 2, с. 140][1]. Встречается однократное упоминание Коперника [6, т. 8, кн. 1, с. 409]. Немного, как видим. Зато известно, что Леонтьев любил мазурку Йозефа-Гжегоша Хлопицкого (1771–1854) («…до смерти даже люблю, когда сестра заиграет…» [6, т. 6, кн. 1, с. 471]) и польские танцы в «Жизни за царя» М.И. Глинки. И даже мелодия «Еще Польска не сгинела…» ему «ужасно всегда нравилась» [6, т. 6, кн. 1, с. 502]. У Леонтьева, в отличие, скажем, от Достоевского, была явная «эстетическая» симпатия к полякам и польскому.

Много поляков встретилось Леонтьеву в Крыму во время его службы военным лекарем. Это были в основном интенданты, что подтверждало народную молву об иноверцах, умеющих находить «теплые» места[2]. Но был там и какой-то нравившийся ему «старый военный доктор-поляк» [6, т. 6, кн. 1, с. 471], и горячий патриот России – артиллерийский поручик Ксаверий Цеханович[3], командовавший батареей, защищавшей Ени-Кале, и полки – гусары Саксен-Веймарского полка [6, т. 6, кн. 1, с. 472], в расположение которых не раз наведывался Константин Николаевич.

[1] С.И. Иванова в своей статье, упоминая об этом отзыве, допускает маленькое «передергивание»: «В качестве примера автор приводит национальную поэзию, считая Мицкевича “лучшим поэтом Польши” только благодаря тому, что он развился под русской властью» [3, с. 198]. В том-то и дело, что у Леонтьева никакого «только» и вообще никакой модальности «причинности»/«обусловленности» нет. Добавлено от себя одно слово и вносится совершенно иной смысл.

[2] Кохановская (Н.С. Соханская), писательница, творчество которой, кстати, высоко ценил Леонтьев, и, между прочим, сама по крайней мере на четверть полька (по отцу) в октябре 1864 года писала своей подруге А.В. Плетневой: «…в Акцизном Управлении открываются теперь страшные злоупотребления. Как это места были доходные и, что называется по-русски, теплые, то преимущественно немцы и поляки захватили их и за собою проволокли всякую свою родную сволочь. Начались взятки, потворство, ласкательства, интриги и всякие такие самоуправства, что честному и самоуважающему человеку нет возможности служить» (РО ИРЛИ. Ф. 234. Оп. 4. Ед. хр. 163. Л. 28 об.).

[3] Под именем «Ц-ча» он описан позднее в очерке «Сдача Керчи в 55 году» [6, т. 6, кн. 1, с. 659–661, 676]. Ксаверий Иосифович Цеханович (1830–?) – дед писателя Бориса Лавренева – не оказался достойным своих военных подвигов: женившись, он проиграл женино имение в карты, после чего скрылся.

Позднее в обширном круге общения Леонтьева практически не встречается поляков. Единственное исключение – в Москве – Яков Онисимович Орел-Ошмянцев, или Орля-Ошмянец (1828–1893), бывший секретарь Славянского комитета. Но он не был приятелем Леонтьева, и тот отзывался о нем как об «умном и *полоумном*» человеке, которому «вполне верить нельзя» [6, т. 12, кн. 3, с. 401]. Орел-Ошмянцев в 1883–1885 годах посвятил Леонтьеву несколько статей в газетах Ф.А. Гилярова «Афиши и объявления» и «Вестник литературно-политический, художественный и научный». Не сохранилось переписки ни с одним поляком – разительное отличие от И.С. Аксакова и особенно С.Ф. Шарапова, имевшего огромные связи в польском мире.

Точка поворота леонтьевской биографии приходится, как и время его рождения, на год польского восстания. В 1863 году началась, по его выражению, «буря в Польше»: «…какой гнев, какой крик негодования пронесся по всей России» [6, т. 7, кн. 1, с. 102, 103]. Леонтьев, тогда еще скорее беллетрист и литературный критик, нежели публицист, не кидается писать горячие антипольские статьи. Аксакову в газету «День» он посылает теоретическую работу «о войне» и начало статьи о национальной одежде. Обе отвергнуты. Да и в следующем году он слишком занят собой, своей жизнью и пишет «крымскую» повесть «Исповедь мужа» (готова к ноябрю 1864 года, но опубликована будет лишь в 1867-м)[1]. Но в год начала польского восстания Леонтьев сделал гораздо более важное, чем если бы стал вторить на страницах газет Каткову и Аксакову: принял решение о поступлении на государственную службу – дипломатическую[2].

К великому сожалению, писем этого периода почти не сохранилось, но есть многочисленные донесения в константинопольское посольство и Азиатский департамент, позволяющие представить себе жизнь Леонтьева в то время.

В Адрианополе, где Леонтьев служил секретарем консульства, но трижды управлял им самостоятельно, заменяя своего начальника, ему пришлось впервые вступить в борьбу с «польской интригой». Так, много хлопот доставлял русскому консульству драгоман французского консульства Подхайский, большой радетель обращения болгар в униатство. Леонтьев тоже боролся с его «происками» [6, т. 10, кн. 1, с. 31].

В мае 1865 года в Адрианополь прибыл кавалерийский полк Садык-паши (М.С. Чайковского)[3], состоящий из поляков (в том числе «потурчившихся», как и сам их командир) и болгар. Леонтьев с удовольствием общался с офицерами полка (и у него не было таких столкновений, как случались у М.И. Золотарева). Ему нравились «молодцоватые белокурые офицеры в фесках и с кривыми саблями», «лихие наездники лихого пана и поэта Садык-паши», сочетание «личного рыцарства с политической беспощадностью» [6, т. 5, с. 302, 303, 435]. Устами Ладнева в незавершенных главах романа «Египетский голубь» Леонтьев объяснит, что его привлекало в этом неофициальном общении, при котором не забывалось, что имеешь дело с врагами: «…эти враги-поляки, такие молодцы… это *примирение* в танцах (и только в танцах… вот эта-то двойственность общественного мира и государственной вражды и нравилась мне донельзя!)…» [6, т. 5, с. 431].

Донесения об этих «офицерах в фесках» писал уже не Леонтьев, а М.И. Золотарев. Но когда в конце лета 1867 года он оказался на первом самостоятельном посту – вице-консулом в Тульче на Нижнем Дунае, наблюдений за многочисленными там поляками

[1] Правда, тема войны (Крымской) окажется для этой повести очень важной, так что повесть можно воспринимать и как своего рода отклик на современные ее написанию события.

[2] Своего любимого героя, Матвеева из романа «Генерал Матвеев» («Две избранницы»), он, впрочем, отправит сражаться в польские леса, как бы проживая тем самым тот вариант жизненного пути, который пропустил сам.

[3] О Садык-паше см. [1].

было уже не миновать. Тульчинское вице-консульство и создано было в 1864 году специально «для борьбы с польской эмиграцией и крамолой» [2, с. 37].

Позднее Леонтьев сопоставлял два лика встретившейся ему польской эмиграции – адрианопольский (аристократический) и тульчинский («жалкие подонки»[1] эмиграции [6, т. 6, кн. 1, с. 507]). Но и в Тульче среди поляков он отыскал собеседника, который его заинтересовал, – некоего Жуковского, бывшего русского офицера, который, осев в Добрудже, стал, по словам Н.И. Субботина, «главным агентом Чайковского в его сношениях с задунайскими раскольниками» [цит. по: 6, т. 6, кн. 2, с. 486]. «Мне понравился этот враг…» – вспоминал Леонтьев [6, т. 6, кн. 1, с. 468]. Он «довольно часто виделся с Жуковским и с большим удовольствием слушал его рассказы» [6, т. 6, кн. 1, с. 471].

В Тульче у Леонтьева даже был специальный агент, приносящий ему сведения о настроениях польской эмиграции, имя которого он не сообщал даже в своих секретных донесениях [6, т. 10, кн. 1, с. 167, 169, 203]. Однажды, в августе 1868 года, от этого агента он узнал, что тульчинские поляки написали на него донос в Константинополь [6, т. 10, кн. 1, с. 202]. Помогали ему в слежке за поляками также пастор-методист Ф. Флокен и один из самых уважаемых на Дунае молокан некий Иван Иванович. Последний, например, обещал войти в сношение с малороссами, чтобы предотвратить их согласие вступать в полк Садык-паши [6, т. 10, кн. 1, с. 203–204].

Полтора года, проведенных в Тульче, были, по всей вероятности, самым «остросюжетным» временем из всей консульской службы Леонтьева, и его донесения этого времени, особенно как раз связанные с польской темой [6, т. 10, кн. 1, с. 131, 132, 147–148, 152–153, 159–160, 167–169, 176–177, 180–183 и др.], надо читать параллельно с созданным в 1883 году замечательным циклом «консульских рассказов», в котором реальные происшествия отражены, как выясняется, очень точно (вся фактологическая часть, разумеется, прокомментирована и в т. 6, и в т. 10, поэтому здесь не буду останавливаться на перечислении даже самых любопытных сюжетов)[2].

Покидая в октябре 1868 года Тульчу (тогда полагая, что только в отпуск), Леонтьев в инструкции своему вольнонаемному секретарю не забыл упомянуть важный пункт, который тот должен был отражать в донесениях: «…польские интриги и сношения поляков с болгарами, великорусскими раскольниками и малороссами <…> все это должно быть <…> предметом бдительных Ваших забот и наблюдений» [6, т. 10, кн. 1, с. 474]. Сам же он на время от подобных «забот» освободился: в Янине, где Леонтьев служил с февраля 1869-го до мая 1871 года, польская эмиграция не присутствовала, зато когда он находился на Афоне, самовольно покинув свой следующий консульский пост в Салониках, пришло «доверительное предписание» посла Н.П. Игнатьева о необходимости наблюдать за поляками и их сношениями с французским консульством. Леонтьев, которому помощники доставляли деловые бумаги прямо на Святую Гору, отвечал 1 октября, что «таких людей теперь здесь очень мало» [6, т. 10, кн. 1, с. 316], а 3 декабря отправил краткий (всего из девяти позиций) список поляков, находящихся в Салоникском вилайете [6, т. 10, кн. 1, с. 336]. Выяснилось, что двое из них до эмиграции были в России офицерами.

Именно в 1871 году была задумана главная книга Леонтьева «Византизм и Славянство», в которой он, между прочим, подробнее, чем где бы то ни было, рассуждает на польскую тему, не обходит вниманием польское влияние на русскую культуру в XVII веке [6, т. 7,

[1] Резкое слово употреблено исключительно в его исконном, ныне забытом смысле. Ср. у Даля: «осадок, гуща <…> что опало на дно <…> исподний, плохой слой сена в стогу».

[2] Скажу лишь, что Леонтьев выполнял далеко не только «полицейские» функции. В 1867 году он горячо откликнулся на призыв И.С. Аксакова собирать средства на Русский театр во Львове, считая это очень важным средством «убедить западных и юго-восточных славян в том, что Россия – не только великая политическая сила; но и сила культурная» [6, т. 10, кн. 1, с. 366].

кн. 1, с. 303] и замечает, что поляки и русские – из всех славян сберегли подлинное своеобразие, во многом благодаря тому, что сохранили дворянство, «*сословное воспитание нации*» и «долгую государственную выправку» [6, т. 7, кн. 1, с. 356, 357, 365], пусть даже в России дворянство зависело от монархии, а в Польше наоборот. В цикле «Письма о Восточных делах» (1882–1883) Леонтьев вернется к мысли о том, что польская государственность – единственное, что было у славян своеобразного, отметив, правда, при этом: «...блестящая и *действительно ни на что не похожая* республика польская, ничего прочного и поучительного в наследство миру по кончине своей не оставившая» [6, т. 8, кн. 1, с. 49][1]. В своей последней статье «Кто правее?» он пойдет даже дальше, говоря, что польский народ «не выступит снова никогда с силами истинно творческими на театр истории» [6, т. 8, кн. 2, с. 139].

В 1880 году была написана, но до 1882 года осталась неопубликованной статья «Православие и Католицизм в Польше» – единственное произведение Леонтьева, где «имя» Польши (а вовсе не «привислинских губерний», как у кн. Черкасского) звучит в самом заглавии. Здесь Леонтьев выступает против идеи русификации национальных окраин Империи и доказывает, что поляки-католики, либеральные «только *для своей нации*», могут стать нам союзниками в противодействии всеуравнительному прогрессу, а в своей ревности о религии могут «*и нам служить добрым примером*» [6, т. 8, кн. 1, с. 31, 34, 29]. Значительно позднее Леонтьев будет писать о том, что он хотел бы видеть не «обруселых», а *православных* поляков. А уж если не православных, то ревностных до фанатизма католиков. «…Благодаря *вражде* и благодаря *иноверию* национализм наш принял более *Православный* <…> обособляющий характер», а это значит, по Леонтьеву, – характер «более культурный» [6, т. 8, кн. 2, с. 41].

О пользе этого противостояния Леонтьев говорит в последних своих больших трудах, оставшихся неизданными при жизни: «Слава Богу, что поляки так враждебны и так упорны!» [6, т. 8, кн. 2, с. 38, а также с. 139]. Как видим, с течением времени позиция Леонтьева не менялась, как оставалось неизменным и его своеобразное любование извечным противником.

[1] В других местах этого же цикла интересны замечание о том, что польское восстание 1863–1864 годов произошло в результате допущенной Россией либеральной демократизации и космополитического однообразия идей [6, т. 8, кн. 1, с. 55; ср. 6, т. 8, кн. 2, с. 281], а также предположение о том, что Германия может когда-нибудь отнять у России часть Польши, но недолго там пробудет [6, т. 8, кн. 1, с. 79]. Два восстания (1830–1831 и 1860-х годов) Леонтьев будет сопоставлять в работе «Национальная политика как орудие всемирной революции» (1888) [6, т. 8, кн. 1, с. 504, а также с. 686].

Литература

1. *Жуков К.А.* Вестернизация османского общества глазами польского ренегата: «Турецкие анекдоты» Михаила Чайковского (Садык-паши) // Христианство и русская литература / отв. ред. В.А. Котельников и О.Л. Фетисенко. СПб., 2010. Сб. 6: Взаимодействие этнокультурных и религиозно-этических традиций в русской мысли и литературе. С. 199–227.
2. *Жуков К.А.* Восточный вопрос в историософской концепции К.Н. Леонтьева. СПб., 2006.
3. *Иванова С.И.* Национальная концепция К.Н. Леонтьева: «Польский вопрос» в идеологии русского консерватизма // Новый взгляд: Междунар. науч. вестник. Серия: Философские науки. 2014. № 6. С. 190–203.
4. *Иванова С.И.* Польский вопрос в русской философской культуре: автореф. дис. … канд. филос. наук. Белгород, 2011.
5. *Косик В.И.* Константин Леонтьев: размышления на славянскую тему. М., 1997.
6. *Леонтьев К.Н.* Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. [19 кн.] / подгот. текста и коммент. В.А. Котельникова и О.Л. Фетисенко. СПб., 2000–2021.
7. *Твердко Балканский* [псевдоним не раскрыт – *О.Ф.*]. Славянство и К. Леонтьев: Vivos Slavos voco, mortuos Byzantinos plango: От южного славянина // Современные известия. 1885. 31 окт. № 282. С. 2 [переизд.: В.В. Розанов и К.Н. Леонтьев: Материалы неизданной книги «Литературные изгнанники» / сост. Е.В. Иванова. СПб., 2014. С. 565–570].
8. *Фетисенко О.Л.* Константин Леонтьев: «Турецкий игумен» в славянском монастыре // Христианство и русская литература. СПб., 2010. Сб. 6. С. 165–198.
9. *Bohun M.* Kontrrewolucja i pesymizm: filozofia społeczna Konstantina Leontjewa. Kraków, 2000.
10. *Broda M.* Historia a eschatologia: Studia nad myślą Konstantego Leontjewa i “zagadką Rosji”. Łódź, 2001.
11. *Broda M.* “Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy. Łódź, 2011 (по указателю).

Аннотация: В статье характеризуются воззрения К.Н. Леонтьева не столько на Польский вопрос как часть Славянского и, шире, Восточного вопроса, сколько на сам польский народ в его извечном противостоянии России. Его взгляды и суждения рассматриваются на фоне биографии писателя и дипломата, начало карьеры которого пришлось как раз на время польского восстания 1863–1864 годов.

Ключевые слова: Российская империя, Польша, поляки, Славянский и Восточный вопросы, консервативная публицистика, К.Н. Леонтьев.

Olga Fetisenko, PhD in Philology, Leading Researcher, Institute of Russian Literature (Pushkin House), Russian Academy of Sciences. E-mail: betsy98@mail.ru

Poles as “Favorite Enemies” of Russia: K.N. Leontiev’s View

Abstract: The author of the article examines the views of K.N. Leontiev not so much on the Polish question (part of the Eastern question), but on the Polish people themselves in their constant confrontation with Russia. His views and opinions are considered against the background of the biography of the writer and diplomat, whose career began just during the Polish uprising (1863–1864).

Keywords: Russian Empire, Poland, Poles, Slavic and Eastern Questions, Conservative Journalism, K.N. Leontiev.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-160-169

Лев Шапошников

Охранительный либерализм и охранительный консерватизм о Польском восстании 1863 года (Б.Н. Чичерин и М.Н. Катков)

Борис Николаевич Чичерин был профессором по кафедре государственного права Московского университета, но его интересы не ограничивались лишь юриспруденцией – он еще со студенческих лет активно интересовался философией. Более того, по его мнению, понять взаимодействие личности и общества, уяснить движущие силы развития социума нельзя без философского анализа. Именно поэтому «метафизика должна занимать первое место в исследовании человеческих отношений».

Естественно, тема нашей статьи не предполагает обширного рассмотрения взглядов профессора по антропологическим проблемам и вопросам философии истории, но все же ряд моментов, без которых позиция Чичерина по польскому вопросу будет неясной, необходимо уточнить.

Мыслитель считает, что в обществе действуют две противоположные тенденции: одна – стремление к солидарности, так как «все стороны человеческого естества развиваются и достигают полноты только при взаимном общении»; другая – только «индивидуализм, состоящий в признании свободы лица, составляет краеугольный камень всякого истинно человеческого здания» [5, с. 66]. Причем для Б.Н. Чичерина именно индивидуальная свобода находится в приоритете, а теории, которые, напротив, утверждают доминирование «целого над частями», не понимают личности и «пригодны для машин, а не для людей» [5, с. 66]. В этой позиции проявляются либеральные установки мыслителя.

Они становятся еще более явными, когда он начинает рассуждать о взаимодействии личности и общества: для него «общество не представляет ничего кроме взаимодействия отдельных единиц», и, для того чтобы наполнить это взаимодействие реальным содержанием, необходима личность, именно она «есть основной и необходимый элемент всякого общежития» [5, с. 66–67]. Все дело в том, что развитие происходит благодаря целеполаганию, но «цели не существуют помимо лиц». В этой связи «духовное царство целей» должно в какой-то своей части осознаться личностью, и только тогда они «вводятся в жизнь». Однако возникает вопрос: откуда же берется это «духовное царство целей», ведь оно не может опираться на субъективные желания индивида, его источник находится «в общем разуме, присущем человеческому роду и указывающем ему объективные начала духовного мира» [5, с. 67]? Следовательно, цели развития «не создаются, а сознаются человеком», и это осознание приводит людей к «общей духовной силе», которая «служит орудием для осуществления идей».

Осознанию общих целей человеком способствует «мировая энергия», действующая и в материальном, и в органическом мире. Мировая энергия в человеческом обществе

Шапошников Лев Евгеньевич, доктор философских наук, профессор, президент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина». E-mail: shaposhnikov_le@mininuniver.ru

обеспечивает преемственность поколений, вырабатывает «духовную связь» внутри этноса, то есть формирует народность. Последняя есть «уже не физиологическая, а духовная сущность» [5, с. 68]. Народность теснейшим образом связана с государством, и если об обществе «невозможно говорить как о едином целом», то, напротив, «государство как единое целое есть реальное явление». В нем при благоприятных условиях «вырабатывается общая воля», и тогда «народность становится личностью», которая «подлежит развитию». Причем мыслитель специально подчеркивает, что общая, или совокупная, воля «является только в народности, организованной как государство» [5, с. 74].

Исторический процесс протекает неравномерно: он может остановиться на известной ступени развития, что, например, произошло у «большинства народов Востока», или народность исчерпала все свои творческие силы, и она «стареет и умирает», как случилось с Древней Грецией и Римом. Новая ситуация в истории появилась в христианский период, так как христианизированные этносы не проявляют «признаков вырождения и вымирания». Подобное различие объясняется тем, что дохристианские народы «черпали свое содержание главным образом из себя», а послеевангельские этносы «являются органами высшей сущности, представляющей неисчерпаемый источник силы и жизни человечества» [5, с. 73].

Приведенная схема имеет явные следы влияния философии истории Гегеля. Стремление Чичерина снять антагонизм между индивидуализмом личности и ее социальностью сводится к констатации трансцендентного воздействия на индивида через мировой разум, формирующий солидарные цели и «общую волю», при этом особая роль в выработке этих качеств народности отводится государству.

Наряду с народностью в истории существует и человечество как «общий дух», который слагается из духов народностей «как общее наследие, которое умножается, переходя от поколения к поколению». Совокупное развитие народностей (или человечества) также «управляется общим законом, вытекающим из самих свойств человеческого духа как реальной силы, действующей в мире» [5, с. 74]. Однако в истории встречаются народности, которые выпадают из единого всемирного процесса развития, и тогда они «обречены на бесплодие». Следовательно, как считает Чичерин, «только та народность имеет общечеловеческое значение, которая приобщается к этому совокупному процессу и усваивает себе плоды общечеловеческого просвещения» [5, с. 74].

Эти рассуждения направлены прежде всего против славянофильского учения, обосновывающего необходимость самобытного развития России и выступающего с критикой программы, предусматривающей копирование западных ценностей.

Продолжая следовать в русле философии истории Гегеля, мыслитель особое значение в развитии социума отводит великим людям. Именно они являются «инициаторами нового движения», а «толпа следовала за ними только мало-помалу». Подобная роль выдающихся личностей объясняется тем, что они выступают «орудиями всемирного духа» и в силу этого «следуют его законам». Законы имеют долгосрочное действие, создавая «подготовленную почву, иначе мысль останется бесплодною». Более того, сам успех в развитии социума зависит от того, какие «он имеет корни в прошлом». В силу этого любые радикальные перемены, совершаемые в короткие сроки, как правило, приводят к негативным результатам. Поэтому должна быть «постепенность развития», которая составляет «необходимое его условие» [5, с. 75].

Б.Н. Чичерин, анализируя общие теоретические проблемы, связанные с развитием общества, затем переходит к рассмотрению ситуации в российском социуме. Естественно, что это рассмотрение исходит из установок его философии истории, изложенных выше.

Так, утверждается, что существенные преобразования в России начались с Петра I, его правление породило «целый мир новых понятий об общественной жизни», и

не случайно для Чичерина он «величайший человек Русской земли». Особенность российской истории, которая отличает ее от других европейских народов, «состоит в преобладании начала власти», и время Петра I это наглядно подтвердило, так как император «обнимал» своей деятельностью «всю жизнь народа – от государственного устройства до частного быта». В его деятельности проявляется «смысл нашей прошедшей истории», так как «власть расширяла, строила и скрепляла громадное тело, которое сделалось Русской империей» [5, с. 452]. Преемники Петра I, хотя и с оговорками, все-таки продолжали линию на развитие России, и поэтому XIX век стал «поворотной точкой русской истории». Либеральные идеи все более проникают в образованное общество, и явление декабристов показало, что они действовали «во имя свободы и права», но их программа была «еще не по плечу русскому обществу». Николай I пытался затормозить развитие России и установил «тяжелый гнет», и «всякое свободное выражение мысли подавлялось беспощадно». Но произошло парадоксальное явление, ибо «всеохватывающий деспотизм не только не искоренил в русском обществе либеральных стремлений, а, напротив, развил их в еще большей мере» [5, с. 544].

После поражения в Крымской войне, по мнению мыслителя, «старая система управления разрушилась сама собой». Наконец, произошло освобождение крестьян, составившее «эпоху в истории», которое показало, что «мы не стоим на месте, мы идем вперед, и идем быстрыми шагами» [5, с. 373]. Однако жажда перемен часто принимала деструктивный характер, так как «в этом движении все созданное веками, все, что утвердилось на историческом предании, кажется ветхим хламом» [5, с. 390]. На передний план выходит «дешевый либерализм», призывающий к «безграничной свободе». Однако «органическое развитие общества» при этом отрицается, а оно возможно лишь при условии согласия свободы с порядком, государственностью и законом. Государство на протяжении всей отечественной истории играло громадную роль в жизни русского народа, поэтому те, кто сознательно стали в него «кидать камни», демонстрируют отсутствие «любви к отечеству». Следует также подчеркнуть, что, по мысли Чичерина, отрицание необходимости «повиновения закону» ведет к анархии, в условиях которой невозможно позитивное развитие общества.

Б.Н. Чичерин считает себя «давнишним либералом», любящим свободу, но в современных условиях, с его точки зрения, нельзя поддерживать все то, что «говорится и делается во имя свободы». Дело в том, что российский «либерализм является в самых разнообразных видах».

На самой низкой ступени находится «либерализм уличный», любящий «прежде всего шум; ему нужно волнение для волнения», и это «скорее извращение, чем проявление свободы». Другой вид либерализма «можно назвать оппозиционным»: он понимает «свободу с чисто отрицательной стороны», и все его главные лозунги – «отменить, разрешить, уничтожить». Наконец, по мнению Чичерина, есть высшая форма либерализма – это «охранительный либерализм», его сущность «состоит в примирении начала свободы с началом власти и закона» [5, с. 471].

Исходя из этой установки, мыслитель считает, что самодержавие сыграло свою позитивную роль в истории России, однако абсолютная монархия необходима лишь для юных народов и «не соответствует уже эпохе их зрелости». Органическая эволюция социума требует формирования у народа «внутренней энергии, той самодеятельности, без которых нет высшего развития». К ограничению самодержавной власти побуждает также соседство конституционных государств, достигших такой «степени развития, когда без самостоятельной деятельности общества обойтись невозможно» [5, с. 374]. Более того, российская власть должна понимать, что если она не будет следовать этим западным путем, то государство не сможет сохранить свое достойное «место в ряду других стран».

По мнению Чичерина, история нашего отечества убеждает, что «для России идеалом представительного устройства может быть только конституционная монархия» [5, с. 508]. Она, с одной стороны, сохранит значение монархической власти, а с другой – обеспечит «приобщение к ней народного представительства». Альтернативы этому пути, по которому идет просвещенная Европа, нет, и ничего мы «своего не изобретем». В этой связи ссылки «на какие-то особенности России, которые изъемлют ее из общих законов человеческого развития, опять не что иное, как пустая фантазия» [5, с. 508].

Итак, «охранительный либерализм» выступает за органическое развитие социума, отвергает радикальные методы его изменения, стремится соединить монархический образ правления с народным представительством; наконец, он признает необходимость для России повторения западного пути развития, считая его универсальным.

Теперь мы переходим непосредственно к рассмотрению Б.Н. Чичериным польских событий с позиций «охранительного либерализма». Мыслитель утверждал, что «никогда не был врагом Польши», в этой связи его анализ событий 1863 года особо ценен своей объективностью. Профессор утверждал, что разделу Польши во многом способствовали правящие круги этой страны, которые «своим легкомысленным поведением, анархическим своеволием наверху, угнетением внизу сами были причиной своей слабости и подготовили свое падение» [4, с. 70]. Русский мыслитель отмечал, что Петр Великий не дал согласия «на проект раздела Польши», предложенный ему прусским королем, и только Екатерина II поддержала это «несправедливое намерение». Однако ее внук Александр I попытался «загладить учиненную бабкою неправду»: он наметил план восстановления Польши «с свободными учреждениями под скипетром русского царя». Чичерин считал, что для «поляков такое настроение русского монарха было неоцененным даром судьбы». Действительно, они получили политическую автономию, то есть относительно независимое управление, позволяющее сохранять национальные традиции. Однако вместо благодарности поляки начали, как пишет Чичерин, «мечтать о большем». Хотя они должны были постепенно «разумным поведением» упрочить полученные блага, но вместо этого «пустились в мелочную оппозицию, раздражавшую благоволившего к ним государя» [4, с. 71]. Поэтому когда в 1830 году июльская революция «разбудила в Европе элементы брожения», поляки «схватились за оружие». Однако у них не было никаких шансов на успех, ибо русские «вдесятеро их превосходили», – в результате «это безумное восстание было, разумеется, подавлено». Положение Польши значительно ухудшилось, и наступивший «тридцатилетний гнет был заслуженным наказанием за кичливое легкомыслие». Б.Н. Чичерин подчеркивал, что печальный итог восстания 1830 года должен был убедить поляков в опасности радикальных выступлений, но «этот жесткий урок не послужил им в пользу» [4, с. 71].

С воцарением Александра II в России начались либеральные реформы, а главное – произошла отмена крепостного права. Многие участники восстания 1830 года, находившиеся в ссылке, были возвращены в Польшу, вновь «была дарована автономия». Наместником Царства Польского был назначен Великий князь Константин Николаевич, которому были не чужды либеральные идеи, а его помощником – начальником гражданского управления – стал поляк, маркиз А. Велепольский, «способный вести свое отечество по пути правильного и постепенного развития, стремившийся дать ему самую широкую автономию» [5, с. 551]. Иными словами, создавались условия, благодаря которым Польша путем эволюционного развития могла бы получить новые права и фактически государственный статус. Однако здоровым силам польской нации опять противостояли радикалы во главе с графом А. Замойским, бывшим активным участником восстания 1830 года. Причем они (под лозунгом «все или ничего») смогли убедить многих поляков в том, что необходимо «силою вырвать» то, что давалось им медленным процессом социального развития. Б.Н. Чичерин подчеркивал, что в этой программе выразился тот «недостаток

политического смысла, который издавна характеризовал этот даровитый и несчастный народ» [5, с. 551].

Радикалы начали требовать не только полной независимости для Польши, но и восстановления ее в границах 1772 года, то есть заявлять «о возвращении издревле русских областей, от которых Россия никогда не могла отказаться». Антироссийская пропаганда «действовала неутомимо», и, чтобы нанести ей удар, А. Велепольский внезапно объявил рекрутский набор, в который попали главные вожаки радикалов. Эти действия послужили «сигналом к восстанию», и методы борьбы с русской администрацией были выбраны самые кровавые. Восставшие, «не имея войска, не будучи в состоянии явно противостоять русскому оружию», повсюду начали организовывать бандитские шайки, вероломно нападавшие на русских чиновников, солдат и обычных людей. В результате в Польше установился «неслыханный террор», которому оказались подвергнуты не только русские, но и поляки, отказывавшиеся от поддержки радикалов. Таким образом экстремисты сумели «захватить страну в свои руки». Убийство ни в чем не повинных русских людей, претензии на исконно русские территории – все это всколыхнуло российское общество. Б.Н. Чичерин отмечал: «каковы бы ни были различия мыслей, когда дело шло об отечестве, русские люди всех сословий и оттенков единодушно сплотились вокруг престола» [4, с. 68].

Началась всеобщая демонстрация верноподданнических чувств: первым с патриотическим адресом выступило петербургское дворянство, затем московское и наконец представители провинции. Б.Н. Чичерин отмечает, что «одушевление было всеобщее», и выразителем народных чувств «сделался Катков, который через это приобрел необыкновенную силу». Борис Николаевич не любил «Московские ведомости» (редактором которых был М.Н. Катков), «относясь вообще очень недружелюбно к этой газете», объясняя свою позицию тем, что он имел «весьма невысокое понятие о нравственных свойствах ее редактора». Однако в период польского кризиса профессор «не мог не отдать справедливости силе таланта, выражавшейся в этих красноречивых воззваниях, полных патриотического огня» [4, с. 69].

Даже те люди, которые признавали несправедливость раздела Польши (а к ним относился и Б.Н. Чичерин, считавший, что Россия, лишив это государство самостоятельности, поступило с ним «против высших нравственных требований»), выступили против каких-либо уступок польским радикалам. Единодушно русское общество требовало также не допустить «грозящее вмешательство иностранных государств».

«Русское народное чувство» выражало «безграничную преданность престолу», а русские люди готовы были «всем пожертвовать для пользы и славы отечества» [4, с. 71]. В Москве даже возникла идея создания добровольческих отрядов в целях несения в охваченных беспорядками областях «военно-полицейской службы» для помощи правительству. Однако эта инициатива в Петербурге «была благоразумно отсрочена», а потом (по мере нормализации ситуации) «она отпала сама собою».

Пользуясь всенародной поддержкой, правительство для подавления мятежа приняло энергичные меры. Генерал-губернатор Северо-Западного края граф М.Н. Муравьев получил чрезвычайные полномочия – он «противопоставил правительственный террор революционному и тем подавил мятеж» [5, с. 552].

В то же время российские власти действовали не только репрессивными мерами. В Польшу были отправлены Великий князь Константин Николаевич и Н.А. Милютин, то есть «главные деятели по освобождению крестьян». Они и в Польше выступили с «рядом мер», облегчающих положение польского крестьянства, с тем чтобы «привязать его к России». Вывод Б.Н. Чичерина, который пристально следил за ходом восстания, был однозначным: «с польской смутой правительство справилось» [5, с. 552]. Действия властей «по усмирению Польши» Б.Н. Чичерин в целом одобрял, так как считал, что они вытекали

«из положения вещей и оправдывались обстоятельствами». При этом, будучи на позициях охранительного либерализма (но все-таки либерализма!), он считал, что последующая политика российского правительства в отношении Польши была ошибочной: это проявлялось в том, что всякая автономия польских земель была уничтожена, они были включены в состав Российской империи. По мнению Б.Н. Чичерина, «нельзя искусственным, чисто механическим образом» решать проблему государственного единства. При таком подходе болезнь загоняется внутрь, а ведь «наружная болезнь менее опасна» [5, с. 522].

Итак, в следующие после восстания годы сближения Польши и России не произошло, и в этом, как считает профессор, виноваты обе стороны: поляки «своим безумным восстанием» прервали позитивные тенденции в развитии своей страны и «надолго отдалили возможность правильного решения вопроса»; русское правительство своей политикой не умиротворяло население, а, напротив, возбуждало в нем «ненависть к иноземному владычеству». В силу этого, как подчеркивает Чичерин, проблема Польши «остается грозным вопросом будущего» [5, с. 522].

Перейдем к характеристике позиции М.Н. Каткова. Он, безусловно, относился к консервативным политическим силам, но это течение может включать разнообразные ценностные установки, поэтому в нем можно выделить различные направления. Общим для всех направлений в рамках консерватизма является позитивное отношение к традиции, но само ее понимание может быть различно. Сторонники охранительного консерватизма выступают за сохранение некоего «вечного набора» готовых истин как в сфере социально-политической, так и в области идеологических отношений. Это течение фактически внеисторично: оно настаивает на сохранении готового и с принципиальных позиций отказывается от «приобретения нового», созвучного духу времени. Сама традиция понимается с финалистских позиций как раз и навсегда сформулированное, законченное учение или определенные неизменные положения. Задача сторонников традиции в этом случае сводится лишь к ее трансляции и охранению от любых «внешних покушений».

М.Н. Катков, как мы увидим, принадлежал к охранительному консерватизму. В своей известной статье «Кое-что о прогрессе» он характеризует прогресс не как разрушение старого, отжившего, а как сохранение традиционного порядка вещей. С его точки зрения, движение вперед «может совершиться только на твердой почве и лишь в той мере, в какой почва тверда» [1, с. 8]. Следовательно, силы, выступающие с программой разрушения старого, не могут быть названы прогрессивными, и наоборот: народная жизнь была тем прогрессивнее, чем менее «забывала свое происхождение». В силу этого делается вывод, согласно которому «истинно прогрессивное направление должно быть в сущности консервативным» [1, с. 35]. Именно защита «подлинного консерватизма», или «охранительного начала», становится для М.Н. Каткова доминантной целью деятельности. Критерием позитивного, органического развития социума, с его точки зрения, выступает то, насколько «с приобретением нового не теряется прежде бывшее и вся сила прошедшего сохраняется в настоящем» [1, с. 8].

В этой связи понятно, что для него призывы отечественных либералов к принятию конституции, к ограничению самодержавия совершенно неприемлемы, поскольку нельзя «в видах благоустройства брать чужие формы и прилаживать их к себе», ведь история русского государства убеждает, что «монархическое начало не только есть коренное начало для России, но есть сама Россия» [3, с. 65].

Опасность современной общественной ситуации, по мысли Каткова, заключается в том, что многие представители так называемого образованного общества оценивают «нашу жизнь чужими, не соответствующими ей понятиями». Отсюда конституция, представительство, свобода и другие политические термины, порождающие «фальшивые и безобразные сочетания представлений», которые они «возбуждают в умах». В этих условиях

«малейшее уклонение в сторону либерализма, неприятие начала полного единовластия» будет означать для России забвение результатов «всей своей истории», поэтому «отказаться от него значило бы отказаться от себя самого» [3, с. 71].

Поэтому Катков выступил с резкой критикой речи Б.Н. Чичерина, которую последний, будучи Московским городским главой, произнес на коронации Александра III. В самом выступлении не было призыва к дарованию конституции, но утверждалось, что одно правительство (без помощи общества) не сможет преодолеть кризисные тенденции. Отсюда понятно, что необходимо развивать гражданскую инициативу и самодеятельность, а для этого нужны «свободные учреждения». Для М.Н. Каткова «придуманные» Чичериным «проекты государственных преобразований» неприемлемы. Более того, участники коронационных торжеств собрались не для того, чтобы «переделывать Россию, напротив, изъявить… преданность основам существующего государственного устройства» [2, с. 778]. Публицист, стремясь принизить значимость фигуры профессора, утверждал, что «имя его было известно только в университетских и литературных кружках», хотя в действительности Б.Н. Чичерин был ведущим преподавателем Московского университета и известным ученым.

С позиций охранительного консерватизма оценивает М.Н. Катков и польские события. В отличие от Б.Н. Чичерина, осуждавшего раздел Польши, он считал, что «обладание Царством Польским совсем не радость для России», что «оно было злою необходимостью» [3, с. 22]. Все дело в том, что польские притязания на независимость имеют целью «переделать историю и поставить Польшу на место России», отсюда необходимость для русских «держать Польшу вооруженною рукою».

Справедливость этого тезиса, по мнению Каткова, подтверждается историей взаимоотношений Польши и России. Поляки утратили свою государственность не из-за «коварства Руси»: отражая их экспансию, русский народ «с беспримерным самопожертвованием понес все тягости для утверждения своего государственного единства». Напротив, поляки «погрязли в личных амбициях», в эгоистических интересах, и этот народ утратил «свою свободу, потому что не умел ею пользоваться» [3, с. 35].

В царствование Александра I начинает утверждаться либеральная политика в отношении Царства Польского, и государь даже поддержал часть польских притязаний. Но несмотря на все это поляки в 1812 году массово предали Россию и пошли на Москву «под знаменами Наполеона». Причем «изо всех солдат Наполеона польские солдаты производили на Русской земле самые большие неистовства» [3, с. 153]. Казалось бы, такое поведение поляков должно было раз и навсегда покончить с их притязаниями на независимость. Но, как подчеркивает Катков, «судьба судила иначе». В 1815 году Александр I даровал Царству Польскому конституцию, которая предоставила Польше широкую автономию, включая возможность создания национальной администрации. В этих условиях «от самих поляков зависело содействовать дальнейшему развитию их политической жизни».

Однако «анархические наклонности», «отсутствие политического реализма», «неспособность к самообладанию» привели к тому, что Польша отвергла эволюционный путь развития. Дарование конституции не вызвало у поляков чувство благодарности, а лишь усилило их враждебность, причем «не только к России, но и к императору Александру, благодетелю Польши» [3, с. 162]. Польский радикализм привел к восстанию, которое «пришлось подавлять целыми потоками крови». Катков констатирует: «Вот чем разрешилась славянофильская политика примирения»! И ее крах должен был убедить русские власти в том, что «уступить польскому патриотизму в его притязаниях значит подписать смертный приговор русскому народу» [3, с. 23].

Б.Н. Чичерин, как мы отмечали, тоже оценивал восстание 1830 года как крах позитивного развития Польши, но если М.Н. Катков фактически осуждал политику Александра I,

то профессор к ней в целом относился позитивно. С его точки зрения, виноваты только поляки, а не русская «политика умиротворения Польши».

Период правления Александра II, как указывалось нами ранее, сопровождался рядом либеральных реформ, – они коснулись и Польши, которой вернули автономию, гражданскую администрацию из поляков (во главе ее был поставлен маркиз А. Велепольский, которого Катков, как и Чичерин, оценивал очень высоко). Публицист считал, что Велепольский был польским патриотом, «несравненно более способным оказать услуги польскому делу, чем все прочие пылкие ревнители, взятые вкупе» [3, с. 83]. Таким образом, были созданы условия для национального развития Польши – можно было сказать, что дела «шли очень хорошо в польском смысле». Однако вместо «успокоения и согласия» в польском обществе начался «полнейший разлад, волнения и смуты и, наконец, вооруженное восстание». Этот факт еще раз подтверждает своеобразие польского общества, которое «при строгом правлении» живет спокойно, а при либеральном приходит в «волнение и ожесточение».

Польское восстание застигло российские власти врасплох: несмотря на массовые убийства русских солдат, долгое время не принимались решительные меры. Более того, Александр II выступил с «Высочайшим манифестом к Царству Польскому», в котором «даровал прощение мятежникам», а также сохранял «в полной силе все дарованные Польше льготы». Однако этот «дух терпимости и прощения» не был оценен, и восстание продолжалось. Польские радикалы очень надеялись на поддержку Западной Европы, которая объединилась в настоящий антироссийский фронт. Рассуждая «о правах народности», о «принципе невмешательства», требуя для Польши полной независимости, те же Англия и Франция своей политикой полностью игнорировали интересы подвластных им некоренных народов. При этом они всеми силами стремились к тому, чтобы «русское дело в чем-нибудь потерпело ущерб» [3, с. 18].

Необходимо отметить, что польские сепаратисты и их западные покровители в целях ослабления России пытались использовать украинских националистов. Появился миф о том, что «русская народность есть призрак, что юго-западная Русь не имеет ничего общего с остальным народом русским и что она по своим племенным особенностям гораздо более тяготеет к Польше» [3, с. 143]. В этой связи становятся понятными замыслы польских интриганов, стремящихся оторвать Украину от России. М.Н. Катков убедительно доказал, что любые попытки противопоставить Малороссию Великороссии гибельны для первой и так называемые украинофилы «служат покорным орудием заклятых врагов своей Украины» [3, с. 144]. История взаимоотношений Украины и России в последующие годы и их современное состояние подтверждают справедливость оценок М.Н. Каткова.

Вообще, указывает публицист, руководители Польского восстания возвели обман в систему, а «ложь положили главным основанием святого дела», причем ложь эта направлена и на общественное мнение Европы, и на «внутреннее потребление», и, наконец, на русское общество. С этой тотальной дезинформацией необходимо последовательно бороться, противопоставляя ей «полную достоверность». В этой достоверности, по мысли Каткова, и будет заключаться «одно из главных средств к установлению правильного общественного мнения о России в Европе» [3, с. 169]. Однако, как показали и польские события, и последующая история, Запад сознательно игнорировал любую правдивую и объективную информацию, исходящую из России. Поэтому все надежды русского публициста на возможность «восстановления истины относительно России» оказались утопичными: русофобские установки как были, так и существуют в сегодняшней западной политике – именно они формируют двойные стандарты, согласно которым любая клевета на русский народ оценивается как «истина в последней инстанции».

После безуспешных попыток найти компромисс с лидерами восстания (которое было вовсе не народным, его движущей силой являлись шляхта и католическое духовенство, то есть это была «не борьба за свободу, а борьба за власть») российское правительство начало принимать решительные меры к подавлению мятежа. Особенностью русского менталитета, по мнению Каткова, является то, что «мы всегда доведем дело до последней крайности и только тогда встрепенемся» [3, с. 133]. После «встряски» русский человек действует «безукоризненно и бывает непобедим».

События 1863 года, как считает публицист, убедительно доказывают, что, «чем более достоинства и твердости с нашей стороны, тем менее будет назойливости во враждебных нам притязаниях». Та автономия, которая была предоставлена Польше Конституцией 1815 года, «осуждена историей», в силу этого возвращение к тем порядкам невозможно. Поэтому Польше необходимо стать «составной частью Российской империи», а ее бытие «под одной, общею с Россией державою должно быть понято в своем прямом и истинном смысле», иначе говоря, они «могут составлять лишь одно государство с одним центром» [3, с. 45].

Итак, выводы Б.Н. Чичерина и М.Н. Каткова по оценке политики России по отношению к Польше после 1863 года различны. Первый, будучи на позициях охранительного либерализма, был сторонником продолжения реформ по сохранению польской автономии. Второй с позиций охранительного консерватизма рассматривал Польшу как неотъемлемую часть Российской империи, лишенную всяких особых прав, и эта тенденция в политике правительства стала доминирующей. И если либеральные реформы, расширение польских прав приводили и в 1830, и в 1863 годах к восстаниям, то в последующем (вплоть до революции) широкомасштабных мятежей не было.

Оба видных российских мыслителя были патриотами, оба стремились к усилению России. И пусть предлагаемые ими варианты «усмирения Польши» были не идеальны, но они отражали общий патриотический подъем, произошедший в русском обществе в ходе восстания 1863 года. Русский патриотизм не пустые слова («тому доказательством служит российская история»), он неразрывно связан с «народными началами», органичен им. Конечно, идеальные представления о России и ее реальное состояние заметно отличаются друг от друга. Но, как справедливо указывал М.Н. Катков, мы не можем достигнуть лучшего «иначе как на основании уже существующего». Нигилистическое отношение к своей стране – неконструктивная позиция. Нужно уметь видеть те ее черты, которые позволят ей преодолеть «нестроения» и стать более совершенным государством.

Литература

1. *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. Т. 2 / под общ. ред. А.Н. Николюкина; Российская академия наук, Ин-т науч. информации по общественным наукам. СПб.: Росток, 2011. 893 с.
2. *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. Т. 3 / под общ. ред. А.Н. Николюкина; Российская академия наук, Ин-т науч. информации по общественным наукам. СПб.: Росток, 2011. 1149 с.
3. *Катков М.Н.* Собр. соч.: в 6 т. Т. 5 / под общ. ред. А.Н. Николюкина; Российская академия наук, Ин-т науч. информации по общественным наукам. СПб.: Росток, 2011. 734 с.
4. *Чичерин Б.Н.* Воспоминания: в 2 т. Т. 2. М.: Изд-во имени Собашниковых, 2010. 526 с.
5. *Чичерин Б.Н.* Философия права. СПб.: Наука,1998. 654 с.

Аннотация: В статье анализируются взгляды Б.Н. Чичерина и М.Н. Каткова на исторический процесс, выявляются различия в понимании ими движущих сил развития общества. Последнее крайне важно для оценки их позиций по вопросу о Польском восстании 1863 года. В работе констатируется, что оба мыслителя отмечают недальновидность польских радикалов, отвергнувших эволюционный путь развития, который был гарантирован российской властью. Чичерин и Катков утверждают, что польские экстремисты прибегали к террору, клевете, обману, чтобы достигнуть своих целей. Оба мыслителя поддержали решительные меры правительства по подавлению мятежа, однако последующая русская политика по отношению к Польше оценивается ими по-разному.

Ключевые слова: либерализм, консерватизм, восстание, автономия, террор, эволюция, конституция, патриотизм.

Lev E. Shaposhnikov, Doctor in Philosophy, Professor, President, Kozma Minin Nizhniy Novgorod State Pedagogical University, Russia. E-mail: shaposhnikov_le@mininuniver.ru

Protective Liberalism and Protective Conservatism
Regarding the Polish Uprising of 1863 (B.N. Chicherin and M.N. Katkov)

Abstract. In the article the author analyzes the views of B.N. Chicherin and M.N. Katkov on historical processes, and reveals differences in their understanding of the driving forces of the development of society. The latter is very important for the insight into their understanding of the role of the Polish Uprising of 1863. The author states that both thinkers highlighted the short-sightedness of Polish radicals who rejected the evolutionary path of development, guaranteed by the Russian government. Chicherin and Katkov claimed that Polish extremists resorted to terror, slander and deception in order to achieve their goals. While both scholars supported the government's decisive measures to suppress the rebellion, their evaluation of Russia's subsequent policy towards Poland differed.

Keywords: Liberalism, Conservatism, Rebellion, Autonomy, Terror, Evolution, Constitution, Patriotism.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-170-186

Виталий Даренский

Ф.М. Достоевский и Н.Н. Страхов о «польском вопросе»

Публицистические выступления Ф.М. Достоевского и Н.Н. Страхова о «польском вопросе» связаны между собой взаимодополнительностью весьма парадоксального свойства. Н.Н. Страхов по-христиански становится на точку зрения поляков и делает из нее далеко идущие как для поляков, так и для русских выводы. Но при этом его рассуждения имеют приземленный характер и вообще не касаются религиозных вопросов. Ф.М. Достоевский, наоборот, с самого начала понимает восстание 1863 года как религиозную войну, но делает из этого сугубо практические выводы. Поэтому их взгляды по этому вопросу следует рассматривать вместе не только потому, что они были «союзниками» по журнальной полемике, но также и по указанной причине.

Взгляды Ф.М. Достоевского и Н.Н. Страхова на «польский вопрос» до настоящего времени в научной литературе рассматривались мало по вполне очевидной причине – в силу их «неполиткорректности» для современного читателя: оба классика всецело поддерживали подавление восстания царем, а само восстание считали аморальным и не отражающим интересы польского народа. Уничижение поляков Ф.М. Достоевским подробно рассматривается в недавней статье Я. Углика [17]. Из новейших публикаций представляют интерес статьи российских авторов М.В. Подрезова [14] и С.И. Ивановой [7].

М.В. Подрезов отмечает, что «Достоевский считает Польшу (как и Финляндию) российской территорией, несмотря на “искусственный” характер границ. Преодоление цивилизационного разлома возможно путем превращения Старой Польши в Новую, что, в свою очередь, означает “ликвидацию” символов и сущности Старой Польши, а именно аристократии с ее европейской (латинской) культурой и тесными связями с Ватиканом. Новая же Польша – это Русская Польша, выраженная в принятии и распространении крестьянами Привислинского края идей единства государства» [14, с. 175]. Таким образом, отношение Ф.М. Достоевского к «польскому вопросу» определялось в первую очередь не прагматическими соображениями защиты целостности Империи, но чаемой перспективой создания «Новой Польши» как части славянского мира под защитой России вместо Старой Польши как форпоста католичества в войне против России.

В свою очередь, С.И. Иванова пишет о Н.Н. Страхове: «Он доказал, что мы – не европейцы, что Россия обладает собственной отдельной самостоятельной культурой, высокоразвитой цивилизацией, которая не подходит под общеевропейские мерки и не должна ими измеряться. А глубокая вера в русский народ, в историческую ценность и общечеловеческую миссию русской народности, поможет нам не только бороться с поляками, но и одержать более крупную, духовную победу – победу над “рабством перед

Даренский Виталий Юрьевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии Луганского государственного педагогического университета. E-mail: darenskiy1972@rambler.ru

Западом”» [7, с. 26]. Тем самым для Страхова тоже главенствовал не чисто практический интерес защиты целостности государства, а вопрос духовный – о становлении русского национального самосознания. Однако, отмечает С.И. Иванова, «он впервые подошел к рассмотрению польского вопроса с абстрактно-отвлеченной, философской точки зрения, не вполне понимая, какой резонанс получат его размышления в том конкретном историческом контексте» [8, с. 141].

Польские же авторы не замечают этих смысловых измерений и наивно сводят позицию Достоевского лишь к банальному «национализму» и «шовинизму». Например, С. Мацкевич пишет так: «Восстание 1863 г. вызывает у Достоевского спазм ненависти к полякам. В это время он впервые побывал за границей <...> и везде встречался с крикливой симпатией к полякам и с презрением по отношению к России. Это произвело на него очень сильное впечатление, так как любое унижение вызывает у него сильную реакцию. Вернулся на родину с душой, исполненной ненависти, как к Западной Европе, так и к полякам» [20, с. 102].

Выступить со статьями по «польскому вопросу» Н.Н. Страхова и Ф.М. Достоевского спровоцировал М.Н. Катков, который писал: «Вопрос о Польше был всегда и вопросом о России. Между этими двумя соплеменными народностями история издавна поставила роковой вопрос о жизни и смерти. Оба государства были не просто соперниками, но врагами, которые не могли существовать рядом, врагами до конца. Между ними вопрос был уже не о том, кому первенствовать или кому быть могущественнее: вопрос между ними был о том, кому существовать» («Русский вестник». 1863. № 1) [цит. по: 9, с. 185]. В своих воспоминаниях Н.Н. Страхов писал, что и ему, и братьям Достоевским не нравилась слишком «крутая и узкая» трактовка проблемы польско-русских государственных отношений. По определению Страхова, она грешила «поразительной скудостью категорий для суждений» [цит. по: 2, с. 316]. Отметим, что эта «скудость» была вполне уместной для чисто политической статьи М.Н. Каткова и не может служить поводом для упреков. Другое дело, что Н.Н. Страхов увидел в «польском вопросе» более глубокие историософские смыслы, о которых нужно было написать.

Целью данной статьи является краткое рассмотрение историософских аспектов «польского вопроса» в размышлениях Н.Н. Страхова и Ф.М. Достоевского, которые не утратили своего значения до сих пор как пример осмысления конфликта России с коллективным Западом.

В самом начале польского восстания 1863 года Достоевский отметил в своей записной книжке: «Что такое настоящая война? Польская война есть война двух христианств – *это начало* будущей войны православия с католичеством, другими словами – славянского гения с европейской цивилизацией. Итак, развитие у нас и развитие не официальное (по голландской программе), а народное» [4, с. 170]. То есть для Достоевского это война цивилизационная и даже религиозная и поэтому – это пролог будущей войны Европы против России. Польшу Европа использовала только как «пушечное мясо» – без всякой надежды на успех восстания, а только для того, чтобы хоть как-то отомстить России за провал всех своих планов в Крымской войне. Крымская война de facto завершилась поражением Запада, который не добился ни одной из своих целей (расчленения и ослабления России), хотя и одержал победу в войне информационной – убедил всех, в том числе и русофобскую интеллигенцию в самой России, в своей «победе».

Ф.М. Достоевский так описал ситуацию в изданиях 1863 года: «Наши петербургские газеты виляли туда и сюда… и либеральничали против г-на Каткова... Г-н Катков не находит разницы между нашим официализмом и русскими основными народными силами. Тут г-н Катков сломит ногу» [4, с. 170]. Как видим, с одной стороны, оживились русофобы, желавшие России поражения, а с другой – была «официозная» позиция М.Н. Каткова. При

этом Достоевский называет еще одну позицию, которая оставалась невысказанной, – это позиция «основных народных сил», которая, по мнению Достоевского, непонятна Каткову: «Не в господине же Каткове совокупилась русская красота. Кто слишком крепко стоит за насильственную целость России, во что бы то ни стало, тот не верит в силу русского духа, не понимает его, а если понимает, то явно ему зла желает. Я сам буду стоять за политическую целость этой громады, до последней капли крови, потому что это единственный хороший результат, приобретенный Россией тысячелетними своими страданиями. Но главное не в том» [4, с. 178]. А в чем главное?

Таких пунктов Достоевский выделил сразу несколько. Во-первых, «мы не общество. Простой народ общество; а мы публика» [4, с. 170]. То есть мнения журнальных авторов – это не мнения народа. Но в чем мнение народа? Это второй пункт: «Как не догадаться, что общечеловеческий дух и есть отличительная, личная способность нашей нации. (Славянофилы.)» [4, с. 170]. Это означает, что народное отношение к Польше состоит не в одном лишь интересе государственной целостности, а в том, чтобы принять Польшу в себя как свою родную часть. И это уже начало происходить: «Освобождая в Польше крестьян и уделяя им землю, Россия уж уделила Польше свою мысль, привила ей свой характер, и эта мысль – цепь, с которою теперь Польша с Россиею связана нераздельно» [4, с. 174]. Это третий и самый важный пункт, который указывает на возможность дальнейшего развития славянского единства и возникновения «Новой Польши». «Мы многому научились, что бранить на Руси, и иногда бранимся дельно. Но мы совершенно не знаем и не умеем до сих пор, что хвалить на Руси» [4, с. 178] – таков его вывод.

С начала 1861 по апрель 1863 года под редакцией М.М. Достоевского стал выходить ежемесячный журнал «Время», дух и направление которого составили совершенно особую полосу в односторонней в своих стремлениях петербургской журналистике. Он противостоял господствующему там западничеству как русское почвенничество. В 1863 году на его страницах появилась статья Н.Н. Страхова «Роковой вопрос», послужившая причиной закрытия журнала. Поскольку содержание статьи связано с восстанием в Польше, считается, что «роковой вопрос» – это вопрос русско-польских отношений, но никаких политических рецептов в статье Страхова не было. «Роковой вопрос» для него есть вопрос о нашем понимании русских духовных сил, о нашем долге и нашем самобытном развитии. Поэтому редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков назвал Страхова «метафизик-патриотом». Однако на самом деле именно этому метафизику-патриоту как раз и удалось проникнуть в суть исследуемой проблемы, а не скользить по ее поверхности. Проблему русско-польских отношений он понимал не в политическом, а в цивилизационном ключе – как проблему отличия русской цивилизации от цивилизации европейской.

Итак, в статье «Роковой вопрос» Н.Н. Страхов в первую очередь спрашивает: «Из-за чего поднялись поляки? Подводя эти явления под ходячие общие понятия, мы обыкновенно отвечаем так: 1) Они поднялись из-за идей космополитических, т.е. для всяческого улучшения своего быта и расширения своих прав. 2) Или – они поднялись из-за идеи национальности, т.е. просто для освобождения себя из-под власти чужого народа» [16, с. 37]. Таковы внешние причины, на которые указывает поверхностный взгляд. «Между тем, – продолжает Н.Н. Страхов, – в польском вопросе есть черта, которая дает ему страшную глубину и неразрешимую загадочность... Что порождает вражду, возбуждающую поляков против русских? Постараемся вникнуть в настроение поляков, перенесем себя в их положение и будем смотреть с их точки зрения… в эту вражду входит еще один элемент, который, как нам кажется, весьма существенно определяет дело. Поляки возбуждены против нас так же, как народ образованный против народа менее образованного… Каковы бы ни были поводы к борьбе, но одушевление борьбы, очевидно, воспламеняется тем, что, с одной стороны, борется народ цивилизованный, а с другой – варвары» [16, с. 38].

Итак, стоит лишь поставить себя на место поляков и посмотреть на ситуацию их глазами, то обычная точка зрения, которую, в частности, изложил М.Н. Катков, совершенно уходит в сторону, и мы вдруг видим совершенно иную картину и иной смысл происходящего. Вместо простого противостояния одного народа государству другого народа мы видим уже противостояние двух разных культурных «миров» и разных цивилизаций. И это противостояние обусловлено тем, что один из этих миров считает себя лучше другого и поэтому не желает ему подчиняться.

Страхов формулирует это так: «…постараемся понять, каким взглядом должны смотреть на нас поляки и даже вообще европейцы. Они до сих пор не причисляют нас к своей заповедной семье, несмотря на наши усилия примкнуть к ней. Наша история совершалась отдельно; мы не разделяли с Европой ни ее судеб, ни ее развития. Наша нынешняя цивилизация, наша наука, литература и пр. – все это едва имеет историю, все это недавно и бледно, как запоздалое и усильное подражание. Мы не можем похвалиться нашим развитием и не смеем ставить себя наряду с другими, более счастливыми племенами» [16, с. 39].

Однако в дальнейших своих суждениях Н.Н. Страхов, к сожалению, не только условно становится на точку зрения поляков, но и сам в значительной степени выступает как вполне западник, поскольку фактически соглашается с поляками считать Россию низшей в культурном отношении по сравнению с Европой и даже только по сравнению с одной Польшей. Он пишет: «Так на нас смотрят, и мы сами чувствуем, что много справедливого в этом взгляде. В настоящую минуту, именно по поводу борьбы с поляками, мы невольно стали искать в себе какой-нибудь точки опоры и что же мы нашли? Наши мысли обращаются к единому видимому и ясному проявлению народного духа, к нашему государству... на нашу похвалу нашим государством нам могут отвечать так: никто не спорит, что вы варвары, подающие большие надежды, но, тем не менее, вы все-таки варвары» [16, с. 39–40].

Такой взгляд Страхова вызывает большое удивление. В ту эпоху, в которую он жил, было очень странным считать поляков более развитым народом, чем русские, – как в областях «высокой» культуры, так и по уровню народной нравственности. Уже свершился «Золотой век» русской культуры, и хотя поляки в эту эпоху тоже имели двух гениев – А. Мицкевича и Ф. Шопена, – но все равно их культура была лишь культурой «второго ряда», а не первого, к которой относились культуры России, Франции, Германии и Англии. Если же рассматривать культуру простого народа, то она измеряется в первую очередь уровнем воцерковления и народной нравственности – и в этом отношении русская народная культура того времени тоже была одной из лучших в мире. Но Страхов странным образом этого не знает или не понимает. Почему так произошло? Ведь по своей идеологии он не западник, а почвенник, то есть «зрелый» славянофил.

Дело в том, что, несмотря на свое «почвенничество», Н.Н. Страхов вполне разделяет все мифы интеллигенции, на которых он был воспитан. И в первую очередь это миф об априорном «превосходстве» Запада над Россией всегда и во всем. Отказаться от этого мифа – значит, перестать быть интеллигентом и выпасть из этой среды. Для Страхова это немыслимо, поэтому он оказывается в почти безвыходной ситуации.

Как интеллигент, то есть представитель светской секты «образованных», Страхов вообще не вспоминает о том, что Россия – страна православная, а Польша – католическая. Для интеллигента это не более, чем этнографические мелочи, в то время как для русского человека это самое принципиальное отличие, которое и определяет его отношение к Польше. Для русского, а не интеллигента, Россия – это носитель истинной веры, а Польша – носитель ереси; и поэтому подавление польского восстания – это не только акт государственной необходимости, но и священная война за Православие, за чистоту Христовой истины и за истинную Церковь. Элементы русского взгляда на события 1863 года были только у Достоевского, но не у Страхова.

Для русского человека само сравнение светских культур, из которого исходит Страхов, усугубляя его еще и ложным тезисом о «превосходстве» поляков, вообще не имеет никакого значения. Для русского имеет смысл сравнивать только *веру,* и в этом отношении русский мыслит себя изначально правым в любой войне с любым врагом как защитник истинной веры. Все остальные обстоятельства уже не имеют серьезного значения. Но, как видим, Страхову, несмотря на его «почвенничество», такой взгляд неизвестен. Можно сказать, что его почвенничество оказалось весьма беспочвенным, поскольку игнорировало главную «почву» – веру.

Как мыслит русский народ, ведя войну с европейцами, которых он воспринимает всегда в первую очередь как еретиков, а вовсе не якобы «более цивилизованных», хорошо видно, например, из песен Отечественной войны 1812 года, сочиненных не профессиональными поэтами-офицерами (Ф. Глинкой и др.), а именно простыми солдатами. Вот фрагмент песни «Совет русского французам (Народная песнь)»:

Чу... и к нам уж налетела
Иноземна саранча!
Иль отведать захотела
Богатырского плеча?
Черный гад на Русь святую
Наглу лапу протянул.
Вот затеял мысль шальную,
Будто лишнее хлебнул.
На страну ты благодатну
Зубы волчьи навострил!
Иль забыл ты грудь булатну,
Их об кою иступил?
Иль забыл, что воевода
Русских воинов – сам Бог?
Что рукой Его народа
Он сотрет предерзких рог [15, с. 16–17].

Другим примером служит солдатская песня «Ночь темна была» (как отмечается ее публикаторами, «сложена в лагере Кутузова при Тарутине в 1812 году»). В ней есть такие слова:

Постараемся все, ребятушки,
Чтобы сам злодей на штыке погиб,
Чтоб вся рать его здесь костьми легла,
Ни одна б душа иноверная
Не пришла назад в свою сторону!
А народы все матерой земли,
Чтоб поведали, каково идти
Со оружием во святую Русь!.. [15, с. 12].

Как видим, русские воспринимают войну против «двунадесяти язык» именно как войну священную, войну за веру, своего рода «православный джихад», а вовсе не как войну с некими «цивилизованными европейцами». Эти «цивилизованные», с точки зрения русского человека, заслуживают только кары за то, что совершили святотатство – напали на Святую Русь, на народ Христов. Эти «души иноверные» суть антихристовы силы. Точно таким же был взгляд русского народа и на польский мятеж 1863 года. Поэтому рассуждения Страхова были восприняты всеми критиками этой

статьи только как ложь, святотатство и пособничество врагу, что и привело к закрытию журнала.

Таким образом, очевидно, что и «почвенник» вполне мог разделять западническую мифологию о России. Именно поэтому Страхову и не составило большого труда стать на точку зрения поляков – его собственное интеллигентское мировоззрение было основано на тех же самых предрассудках о России, как и мировоззрение поляков-русофобов. Поэтому он так легко пишет как о чем-то само собой разумеющемся: «Понятно, что поляки должны смотреть на нас с высокомерием... Несчастный народ! Как сильно ты должен чувствовать всю несоразмерность твоего положения с твоим высоким понятием о себе!.. Где другое племя могло бы еще примириться и покориться, там для тебя невозможно никакое примирение, никакая покорность. Таковы чувства поляков, и мы всегда более или менее их понимали. Мы признавали долю справедливости в их высокомерии, и следствием этого было смирение перед их образованностью. Это смирение выразилось даже исторически и очень явно. Только недавно стало сильнее и сильнее высказываться требование, чтобы все части империи были подведены под один уровень и пользовались бы одинаковыми правами. До сих пор этого не было: до сих пор вообще части империи, причастные европейской цивилизации, пользовались иногда больше, иногда меньше, разными преимуществами и льготами» [16, с. 40–41].

А следующий пассаж Н.Н. Страхова является высказыванием чистого западника: «Тут мы всего больше можем чувствовать несоразмерность нашей государственной силы с нашим нравственным значением. В этом смысле вопрос имеет огромные размеры. В самом деле, очевидно, что поляки, с этой точки зрения, не могли бы согласиться даже стать с нами наравне» [16, с. 41]. И вывод: «Таким образом, трудно упрекать поляков за эти притязания. Отказаться от них значило бы для поляка отказаться от значения своей цивилизации… Поляки горды своей цивилизацией; они высоко ценят все ее блага и крепко держатся за ее преимущества. Кто их осудит за это? Кто может найти здесь что-нибудь дурное? Таким образом, вопрос усложняется до высочайшей степени... Поляки со всей искренностью могут считать себя представителями цивилизации, и в своей вековой борьбе с нами видеть прямо борьбу европейского духа с азиатским варварством» [16, с. 43–44].

О лживости этих рассуждений уже сказано выше. Поляки считали себя «представителями цивилизации» в первую очередь потому, что разделяли русофобскую мифологию, внушенную им шляхтой. А эта мифология была основана на лукавой подмене понятий: шляхта сравнивалась с русским простонародьем и при таком сравнении, естественно, выглядела «цивилизованной». Но если бы шляхту сравнивали с русским дворянством, а польских крестьян – с русскими, то сравнение было бы далеко не в пользу поляков. На эту ложь и подмену понятий Н.Н. Страхову затем ясно указали его критики.

Относительно нравов простонародья интересное исследование сделал В.Б. Антонович (1834–1908) – профессор Киевского университета, историк, археолог, этнограф, член-корреспондент Петербургской Академии наук с 1901 года, сам этнический поляк. Его статья «Три национальных типа народные» была опубликована в Галиции на территории Австро-Венгрии на тамошнем «украинском» языке в 1888 году. Он писал «о украинско-русской, польской и великой русской национальности… чем они друг от друга отличаются»; в частности, в поляках он отмечает такие привычки, которые лучше всего объясняют их культуру и национальный характер: «каждый поляк без всякого дурного замера силится изображать из себя самого лучшего... каждый поляк силится показаться лучше, чем он есть в самом деле, и обратить на себя наибольшее внимание у всех. Вот старание рисоваться, эта спесь всецело зависит от потребности нервы свои удовлетворить… Поляк в любезностях иногда доходит до утрировки – padam do nóg, całuję rączki [“падаю в ноги”, “целую ручки”] – стали обычным приветствием у поляков… Поляк, когда и ругается, так

не забывает повеличаться: ругань у его кудрявая, театральная, не натуральная» [1, с. 95]. Можно ли считать это проявлением большей «цивилизованности»? Можно, только если под «цивилизацией» понимать только внешние формы поведения. Если же рассматривать с точки зрения нравственной, то «спесь», «старание рисоваться» и употребление лицемерных фраз – это признак нравственной деградации.

Именно эта нравственная деградация и гордыня, то есть нехристианский нрав, и лежит в основе польского мятежа. Н.Н. Страхов далее рассуждает об этом так: «Высокомерие и притязания поляков происходят от их европейской культуры... В самом деле, все вытекает из того положения, что мы варвары, а поляки – народ высокоцивилизованный. Следовательно, чтобы опровергнуть следствия, которые отсюда выходят, мы должны бы были доказать: 1) Или то, что мы не варвары, а народ полный сил цивилизации. 2) Или то, что цивилизация поляков есть цивилизация, носящая смерть в самом своем корне. Легко согласиться, что и то, и другое доказывать очень трудно. Очевидно, наше дело было бы вполне оправдано, если бы мы могли отвечать полякам так: “Вы ошибаетесь в своем высоком значении; вы ослеплены своей польской цивилизацией и в этом ослеплении не хотите или не умеете видеть, что с вами борется и соперничает не азиатское варварство, а другая цивилизация, более крепкая и твердая, наша русская цивилизация”» [16, с. 44–45]. Все эти рассуждения совершенно справедливы, однако для кого они предназначены? Они не нужны основной массе русского народа, который и без этих рассуждений знает, что он народ великий, а главное – православный и поэтому имеет полное нравственное право на защиту своей империи.

Но после этих рассуждений, которые имеют смысл только для западопоклоннической интеллигенции, Страхов просто перечеркивает их своими ложными и вполне русофобскими рассуждениями: «Сказать это легко, но, спрашивается, чем мы можем доказать это? Кроме нас, русских, никто не поверит нашим притязаниям, потому что мы не можем их ясно оправдать, не можем выставить никаких очевидных и для всех убедительных признаков, проявлений, результатов, которые заставили бы признать действительность нашей русской цивилизации. Все у нас только в зародыше, в зачатке; все в первичных, неясных формах; все чревато будущим, но неопределенно и хаотично в настоящем. Вместо фактов мы должны оправдываться предположениями, вместо результатов – надеждами, вместо того, что есть, – тем, что будет или может быть» [16, с. 45].

Н.Н. Страхов здесь фактически вернулся к наивной позиции «раннего» Чаадаева. Как известно, поздний, «зрелый» П.Я. Чаадаев преодолел иллюзии наивного «западничества», выраженные в «Философических письмах», и дал новое понимание исторического смысла существования России. Историософия «позднего» Чаадаева изложена в его письмах 1835 года к Александру Тургеневу. Здесь он, в частности, писал: «Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача – дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе <…> Имея возможность спокойно и с полным беспристрастием взирать на то, что волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки» [18, с. 92]. Эта ситуация обусловлена объективно, самой логикой истории, поскольку, как пишет Чаадаев: «Мы стоим по отношению к Европе на исторической точке зрения, или, если угодно, мы – публика, а там – актеры, нам и принадлежит право судить пьесу <…> Провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами <…> Оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества <…> Все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить <…> В этом наше будущее» [18, с. 96]. Это будущее в том, что «у нас другое начало цивилизации, чем у этих народов <…> Поэтому нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в истине. Тогда мы пойдем вперед,

и пойдем скорее других, потому что пришли позднее их, потому что мы имеем весь их опыт и весь труд веков, предшествовавших нам... постараемся сами открыть наше будущее, и не будем спрашивать у других, что нам делать» [18, с. 98]. И наконец: «Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас являемся ее политическим средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу. Таков будет логический результат нашего долгого одиночества; все великое приходило из пустыни <…> Мы призваны <…> обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого <…> Роковая страница нашей истории, написанная рукой Петра Великого, разорвана; мы, слава Богу, больше не принадлежим к Европе: итак, с этого дня наша вселенская миссия началась» [18, с. 99]. Последняя фраза П.Я. Чаадаева обычно сознательно игнорируется в мифе о нем как о «западнике».

Н.Н. Страхов, как видим, просто повторяет тот путь трансформации сознания, который раньше был уже пройден П.Я. Чаадаевым. И главным мотивом для него стал факт удивительной исторической устойчивости России перед перманентной цивилизационной агрессией Европы. Он пишет об этом так: «Русский элемент оказал в этом случае необыкновенную упругость, и притом не вещественную, не упругость мускулов, а неподатливость и стойкость нравственную. Он отнесся с сознательным и глубоким упорством к этой цивилизации, которая старалась нравственно покорить его» [16, с. 45]. Если для интеллигента этот факт «объяснялся» как следствие якобы «косности» русского «варварства», то есть абсолютно ложно, то Страхов, нужно отдать ему должное, пришел к мысли о том, что это сопротивляется не «варварство», а другая цивилизация.

Свой вывод он формулирует еще очень робко: «Из этого следует, что, может быть, мы и не варвары. Может быть, в нас таится глубокий и плодотворный дух, который хотя еще не проявился ясно и отчетливо, но уже ревниво охраняет свою самостоятельность и не дает над собой власти никакому чуждому духу, который настолько крепок, что способен отталкивать всякое влияние, мешающее его самобытному развитию» [16, с. 46]. Но тут же испуганно спохватывается: «Не посмеются ли они при одной мысли о возможности своеобразной русской цивилизации?.. Одни мы, русские, только и можем принять это дело серьезно. Одни мы не можем отказаться от веры в свое будущее. Чтобы спасти нашу честь в наших собственных глазах, мы должны признавать, что тот же народ, который создал великое тело нашего государства, хранит в себе и его душу; что его духовная жизнь крепка и здорова; что она со временем разовьется и обнаружится столько же широко и ясно, как проявилась в крепости и силе государства. Существенно же здесь то, что мы должны положиться именно на народ и на его самобытные своеобразные начала. В европейской цивилизации, в цивилизации заемной и внешней, мы уступаем полякам; но мы желали бы верить, что в цивилизации народной, коренной, здоровой мы превосходим их» [16, с. 47]. Последний вывод и составляет главную ценность статьи Страхова, на который почти не обратили внимание его критики.

Историософский вывод его следующий: «Если же за каждым народом мы признаем большую или меньшую самобытность, более или менее крепкую своеобразность, то мы станем не ниже поляков, а может быть выше. Польша не имеет никакого права на русские области только в том случае, если у русской земли есть своя судьба, свое далекое и важное назначение. Защищая наши коренные области, мы будем правы только тогда, если этим самым приобщаем их к тому великому развитию, в котором одном они могут достигнуть своего истинного блага... на нас лежит тяжелый долг – оправдать нашу народную гордость и силу» [16, с. 48–49].

Кроме того, историческая миссия России – осуждение европейской цивилизации как ложной, антихристианской, но «чем резче будет наше осуждение, тем большую

ответственность мы берем на себя. В этом столкновении мы можем понижать значение польской культуры не иначе, как основываясь на уважении к нашей собственной культуре. А кто вам ручается, могут возразить нам, что ваша-то цивилизация лучше?» [16, с. 47].

«Что касается до поляков, – пишет Страхов, – то им предстоит также трудная задача. Очевидно, они должны отказаться от той доли своей гордости, которая опирается на их высокую цивилизацию. Даже в том случае, когда бы Польша была независима, поляки должны подавить в себе то надмение, которое им внушает их образование: иначе они никогда не будут в силах заглушить в себе то мучительное чувство, которое возбуждает в них большее могущество России» [16, с. 49]. Это чисто практический вывод о тех последствиях ненависти, от которой сами поляки страдают до сих пор. При этом Страхов, к сожалению, забывает упомянуть еще более важный нравственный аспект: всякая гордость есть мать всех грехов.

Но главный порок статьи Н.Н. Страхова состоит даже не в наивном воспроизведении русофобской лжи о «русском варварстве», а его полной слепоте к реально существующей России – ее духовным силам и великой культуре. Он пишет позорные слова: «Русские духовные силы! Где они? Кто кроме нас им поверит, пока они не проявятся с осязаемой очевидностью, с непререкаемой властью? А их развитие и раскрытие – оно требует вековой борьбы, труда и времени, тяжелых усилий, слез и крови» [16, с. 49]. Но ведь эти века и создали великую Россию и её великую культуру! Только Страхов этого «в упор не видит», демонстрируя слепоту интеллигентского мифа.

М.Н. Катков, словно предчувствуя статью Н.Н. Страхова, заранее отвергал его позицию следующим тезисом: «Возможное ли дело, чтобы в случае борьбы или кризиса тот или другой стал мерить себя чужим аршином или, помилуй Бог, аршином своего противника?» [9, с. 183]. В газете Ивана Аксакова «День» тоже появилась его редакторская заметка, оспаривающая правомерность подхода Н.Н. Страхова в статье «Роковой вопрос» («День». 1863. 1 июня. № 22) [11, с. 88].

Характерно мнение о «Роковом вопросе» современника – известного летописца эпохи А.В. Никитенко, написавшего в своем дневнике: «В апрельской книжке журнала “Время” напечатана статья под названием “Роковой вопрос” и подписанная Русский, самого непозволительного свойства. В ней поляки восхвалены, названы народом цивилизованным, а русские разруганы и названы варварами. Статья эта не только противна национальному нашему чувству, но и состоит из лжей. Публика изумлена появлением ее в печати. Цеэ [председатель петербургского цензурного комитета] отставлен» [13, с. 335].

Такой взгляд был более чем естественным. Для аналогии можно себе представить, как восприняли бы статью, которая бы вышла, например, в Москве в июле 1941 года и сочувственно излагала бы точку зрения Гитлера на Россию, приводя тезисы о славянах как «низшей расе» и необходимости расчистки от них территорий России и лишь жалея нацистов за их наивность. Ничего подобного даже представить себе невозможно. Это, кстати, очень хорошо показывает степень реальной свободы слова в царской России. Такого не было ни в тогдашней Европе, где за русофильские высказывания можно было оказаться в тюрьме, ни в нынешней. Конечно, можно объяснить несоответствие текстов Н.Н. Страхова принятым в то время стереотипам мышления (как это сделано Е.Н. Мотовниковой в статье «Философская публицистика Н.Н. Страхова: предпосылки (не)понимания» [12]), однако факт вопиющей скандальности его статьи остается фактом.

Важно и показательно следующее замечание А.В. Никитенко о самом мятеже: «Вообще видно, что правительство отлично содействовало развитию восстания в Польше своею крайней слабостью и непринятием никаких мер. Немудрено, что народ потерял, наконец, надежду на защиту правительства, начал полагаться больше сам на себя, чем на него, и даже расправляться с бунтовщиками по-своему» [13, с. 335]. Здесь ясно говорится

о том, что восстание было спровоцировано крайним либерализмом царской власти; а кроме того, сам народ расправлялся с бунтовщиками – причем именно польский народ, поскольку мятеж был шляхетским, а не народным.

В ответ на статью Н.Н. Страхова незамедлительно вышла заметка сотрудника катковских изданий К.А. Петерсона (1811–1890) «По поводу статьи “Роковой вопрос” в журнале “Время”», которая стала объектом полемического ответа Ф.М. Достоевского. Резкая заметка Петерсона была наверняка инспирирована редакцией «Московских ведомостей». В ней издателям «Времени» предъявлялось обвинение в том, что, опубликовав статью «Роковой вопрос» без подписи, в качестве редакционной, они тем самым солидаризировались с ее автором и уподобились «бандитам», которые «наносят удары с маской на лице». Петерсон писал: «Имя автора, если б оно было известно, произносилось бы с презрением каждым истинно русским» [цит. по: 4, с. 101]. Увидев в публикации Петерсона угрозу существованию журнала, М.М. Достоевский направил «Ответ редакции» в газету «С.-Петербургские ведомости», рассчитывая, что там ответ этот напечатают незамедлительно. Однако эта попытка самозащиты не имела успеха. По свидетельству Н.Н. Страхова, статья Достоевского была набрана, но цензор, напуганный слухами о крайне негативной реакции на «Роковой вопрос» в правительственных сферах, «не решился ее пропустить». 24 мая Александр II по докладу министра внутренних дел П.А. Валуева отдает высочайшее повеление о прекращении издания журнала «Время» за статью «Роковой вопрос» «неприличного и даже возмутительного содержания», идущую «наперекор всем действиям правительства» и оскорбляющую народное чувство, а также за «вредное направление» журнала [2, с. 316]. 26 мая Валуев доводит это решение царя до сведения Цензурного комитета, а 29-го комитет оповещает о нем М.М. Достоевского. 1 июня распоряжение о закрытии журнала «Время» было официально принято и опубликовано в газете «Северная почта» (1863, № 119) [2, с. 316].

Понятно, что смысл статьи Страхова и позиция «Времени» в польском вопросе были другими: «Время» указало лишь на необходимость, с его точки зрения, перенести рассмотрение польского вопроса из одной политической в более широкую, философско-историческую плоскость и выдвинуло взгляд на польское восстание 1863 года как на результат исторически обусловленного, неизбежного столкновения двух различных религий и цивилизаций. Такое толкование «рокового вопроса» подкреплялось ссылкой на позицию Пушкина перед лицом польского восстания 1831 года (в особенности в стихотворении «Клеветникам России»), по существу же оно соответствовало характерному для Достоевского и Страхова представлению о различии глубинных основ русской и западной цивилизации. При этом решающее значение «почвенники» вслед за славянофилами 1840–1850-х годов придавали различию между восточным (православным) и западным (католическим) христианством. Тем не менее уже сама постановка Страховым вопроса о польском восстании не как о результате преступных, «злокозненных» действий повстанцев и их слепых орудий – русских нигилистов (именно так объяснял польское восстание М.Н. Катков), но как об исторически обусловленном конфликте, действительно была крайне неуместной в момент восстания. Излагая свой вывод, обозреватель Третьего отделения очень точно сформулировал главную мысль Страхова и Достоевского: по мнению журнала «Время», «для уничтожения притязаний Польши, Россия в семье славян должна принять на себя передовую роль в цивилизации» [цит. по: 2, с. 317].

В своих воспоминаниях Страхов оправдывался, что ни у братьев Достоевских, ни у него не было «и тени полонофильства», но признал, что его статья тем не менее причинила «огорчение» не только Каткову, но и «многим патриотическим людям», например И.С. Аксакову, и что автор вынес за нее немало «презрительных взглядов и холодностей <…> даже от иных близких знакомых» [цит. по: 2, с. 317]. Зато она понравилась, по словам Страхова,

многим «полякам», а те, кто сочувствовал революционной Польше, часто принимали автора «за полонофила». Причину всего этого Страхов видит в философичности своей статьи, давшей повод для превратных толкований. Она вопреки намерениям автора позволяла делать вывод, что «польское дело есть дело цивилизации». Именно поэтому долгое время журналу, по словам Страхова, «не позволялось оправдываться» [цит. по: 2, с. 317]. Тем не менее за Страхова «оправдывался» и Ф.М. Достоевский, писавший в письме Тургеневу: «Вы знаете направление нашего журнала: это направление по преимуществу русское и даже антизападное. Ну, стали бы мы стоять за поляков? <...> Мысль статьи была такая: что поляки до того презирают нас как варваров, до того горды перед нами своей европейской цивилизацией, что нравственного (то есть самого прочного) примирения их с нами на долгое время почти не предвидится» [6, с. 34]. Как видим, Достоевский повторяет здесь тот же самый ключевой аргумент Страхова о ложном самомнении поляков, которые считают себя «более цивилизованными» и поэтому не хотят подчиняться «русским варварам».

В своем вскоре последовавшем письме в редакцию «Московских ведомостей» Н.Н. Страхов оправдывался так: «…я старался показать, что осуждая поляков, мы, если хотим это делать основательно, должны простирать наше осуждение гораздо дальше, чем это обыкновенно делается, должны простирать его на величайшие их святыни, на их цивилизацию, заимствованную от Запада, на их католицизм, принятый от Рима. Обратно, я старался показать, что, гордясь собой, мы, русские, если хотим делать это основательно, должны простирать эту гордость глубже, чем это обыкновенно делается, т.е. не останавливаться в своем патриотизме на обширности и крепости государства, а обратить свое благоговение на русские народные начала, на те глубокие духовные силы русского народа, от которых, без сомнения, зависит и его государственная сила. Таков смысл моей статьи, и другого нет в ней!» [16, с. 50–51]. Петерсон на это писал: «Разве не ложь сравнивать цивилизацию высшего класса Польши с цивилизацией русского народа вообще?». В ответ Н.Н. Страхов демонстрирует полное непонимание обращенного к нему вопроса: «Что же это значит? Не то ли, что в Польше цивилизован только высший класс, а русский народ цивилизован вообще, во всех классах?» [16, с. 51]. Нет, конечно. Петерсон имел в виду то, что Н.Н. Страхов совершенно некорректно сравнивает образованный класс Польши с русским простонародьем. С тем же успехом он мог бы сравнить образованный класс России с польским простонародьем и сделать из этого торжествующий вывод о том, что русские «цивилизованны», а поляки – это «варвары». Но Страхов не видит подмены понятий в своих рассуждениях, совершая элементарную логическую ошибку, на которую ему и указал Петерсон, называя Страхова «бандитом под маскою» и угрожая «всеобщим презрением».

В ответах на критику Страхов более четко сформулировал свои выводы и дал весьма ценные формулировки: «Европа давно уже отталкивает нас, давно уже смотрит на нас, как на врагов, как на чужих. Когда же мы, наконец, перестанем подлизываться к ней и стараться уверять себя и других, что и мы европейцы? Когда, наконец, мы перестанем обижаться, когда нам скажут, что мы сами по себе, что мы не европейцы, а просто русские, что от Европы, скорее всего, нам ожидать вражды, а не братства?» [16, с. 53]. Этот вывод актуален и для нашего времени.

«…Неужели можно обвинять меня за то, что я пожелал для России слишком многого, что я выразил нетерпеливое ожидание нравственной победы России над Европой?» – писал Страхов [16, с. 53]. Нет, его упрекают совсем не за это, а за то, что он, во-первых, извратил факты; во-вторых, стал на польскую точку зрения и вообще не упоминал о русской, в-третьих, свои соображения высказал совершенно не вовремя, не считаясь с ситуацией, и поэтому был воспринят совершенно не так, как рассчитывал.

22 июня 1863 года в письме к редактору «Дня» Н.Н. Страхов писал о достижении «нравственной победы над Европою» как главной цели русского самосознания [16, с. 61].

Он впервые сформулировал агональный принцип русского самосознания уже в самом названии своей книги «Борьба с Западом». Однако то, что русское самосознание только ставило своей целью, уже было успешно достигнуто самим фактом создания великой России, устоявшей перед натиском с Запада.

Но русская мысль фундаментально отстала от русской жизни и русской истории – то, что уже давно было реализовано в истории и в жизни, она только начинала осмысливать с оглядкой на Европу. «…Все, что я старался выяснить, есть то изменение нашего умственного настроения, которое необходимо должно быть вызвано польским делом. Это роковое дело касается таких существенных наших интересов, будит в душе каждого русского такие живые и глубокие чувства, что все им противоречащее должно сгладиться и исчезнуть. Из людей отвлеченных, из общеевропейцев, из почитателей цивилизации, какова бы она ни была, хотя бы это была польская цивилизация, мы волей-неволей должны превратиться в русских. Все наносное и прививное, весь этот мир идей без жизненного корня, в котором мы жили, должен рассыпаться и развеяться» [16, с. 54].

После запрещения «Времени» братья Достоевские предприняли меры, чтобы добиться его отмены или получить возможность возобновить издание журнала. «Я тотчас написал М.Н. Каткову и И.С. Аксакову, – вспоминал Н.Н. Страхов, – составил объяснительную записку для министра внутренних дел и предполагал подать просьбу государю <…> И М.Н. Катков и И.С. Аксаков отозвались сейчас же и принялись действовать с великим усердием» [цит. по: 2, с. 318]. Перемена позиции М.Н. Каткова, вызванная тем, что автором статьи оказался Страхов, на которого Катков смотрел как на союзника в борьбе с «нигилизмом», решила дело. В № 5 «Русского вестника» за 1863 год Катков напечатал статью, повторявшую его обвинения в адрес статьи «Роковой вопрос» и журнал братьев Достоевских, но уже снимавшую со статьи Страхова упреки в полонофильстве [10]. А 24 января 1864 года царю был представлен доклад министра внутренних дел, где сообщалось, что статья «Роковой вопрос» была напечатана во время болезни редактора, «по прискорбному недоразумению» [2, с. 318].

К защите Страхова подключился и Ф.М. Достоевский своей небольшой заметкой, которая, впрочем, более ценна приведенными в ней яркими цитатами из Петерсона, чем собственными ответами Достоевского. «В № 109 “Московских ведомостей” есть против нас статья по поводу нашей статьи “Роковой вопрос” (“Время”, № 4)», – начинает Ф.М. Достоевский и далее приводит следующую цитату из Петерсона о статье Страхова:

«Вся статья основана на ложных показаниях, а следовательно, и выводы должны быть ложны. Разве не ложь сравнивать цивилизацию высшего класса Польши с цивилизацией русского народа вообще? Разве не ложь говорить, что поляки с целью распространить цивилизацию завладели Украиной и Москвой? Странно, что с подобною благородною жаждой относительно чужих народов поляки с своими собственными крестьянами обращались как с скотами. Неужели поляки считали средством цивилизации отдачу на откуп жидам церквей Малороссии? Никогда Польша вся не восставала; восставала только шляхта и ксендзы, а масса народа, то есть крестьяне, никогда не сочувствовали панам, потому что раб своему угнетателю сочувствовать не может. Вся история Польши доказывает, что этот цивилизованный народ никогда не имел политического такта, а варварская Россия еще в 1612 году доказала, что в высшей степени обладает этим тактом. На чьей же стороне перевес государственного ума? Теперь бунтует только частица Польши, и вся Россия единодушно дает ей отпор» [4, с. 97]. Все, сказанное здесь Петерсоном совершенно справедливо, блестяще сформулировано, и возражать на это было бы очень странно.

Тем не менее Достоевский возражает следующим образом: «Итак, г-н Петерсон, вы изволите говорить, во-первых, что статья наша основана на ложных показаниях. Что же в ней ложно? Вы не потрудились объяснить, в чем состоят эти ложные показания. Вы только

говорите: “Разве не ложь сравнивать цивилизацию высшего класса Польши с цивилизацией русского народа вообще?”. Но что же это означает и какая ж тут может быть ложь? Почему ложь?» [4, с. 98]. Почему это ложь, мы уже рассмотрели выше. Видимо, данное возражение Достоевского основано на непонимании.

Однако следующее его замечание принципиально важно и имеет большую ценность: «Для нас, между прочим, тем-то и важен этот вопрос, что поляки со всей своей (бесспорной) европейской цивилизацией “носили смерть в самом своем корне”. В статье нашей это сказано ясно, слишком ясно, и указано, почему это так. Именно потому, “что эта цивилизация была не народною, не славянскою, что в ней не было никакой самобытности, и потому она не могла слиться в крепкое целое с народным духом”. Вот тут невозможно не сопоставить, что цивилизация в Польше была цивилизацией общества высшего и лишена была земских элементов, удалилась от народного духа, как у нас сказано» [4, с. 98]. Все это совершенно справедливо указывает на цивилизационные отличия.

Самым важным в заметке Достоевского является следующий текст, в котором блестяще сформулирован тезис русской историософии: «…наша (теперешняя русская), заемная европейская цивилизация, в тех точках, в которых она не сходится с широким русским духом, не идет русскому народу. Что это значит втискать взрослого в детское платье. Что, наконец, у нас есть свои элементы, свои начала, народные начала, которые требуют самостоятельности и саморазвития. Что русская земля скажет свое новое слово, и это новое слово, может быть, будет новым словом общечеловеческой цивилизации и выразит собою цивилизацию всего славянского мира. Мы так верим, мы так говорили. В элементах нашей народной цивилизации мы всегда видели признаки земщины, тогда как в европейской – признаки аристократизма и исключительности. Мало того, мы признаём, что мы, то есть все цивилизованные по-европейски русские, оторвались от почвы, чутье русское потеряли до того, что не верим в собственные русские силы, не верим в свои особенности, падаем ниц, как рабы, перед петровской Голландией, смеемся над словом “народные начала”, считаем его ретроградством, мистицизмом» [4, с. 98–99].

Однако уже следующее замечание Достоевского явно неуместно: «Таковы и вы, г-н Петерсон. Мы в нашей статье посягнули на то, на что бы вы и во сне не решились, на то, что серьезно и искренно уважал даже император Александр I, который именно во имя уважения к польской цивилизации дал полякам высшее устройство, чем русским, считая русских гораздо ниже образованными поляков. Ну так вот мы даже на это посягнули, на самую их европейскую цивилизацию, на самую их образованность, на самую их гордость и славу. Если для поляков и для вас, г-н Петерсон, она всё еще гордость и слава, то мы-то ее, эту польскую цивилизацию, в грош не ставим. Для того-то и вся статья наша написана. А вы и не догадались? Мы вам скажем, почему вы не догадались: потому именно, что вы сами благоговеете перед польской цивилизацией, потому что вы ревнуете к ней, завидуете ей. Вы обиделись. “И мы, дескать, тоже образованные”… А почему вы обиделись? Да именно потому, что у вас и в воображении никогда не было другой мерки достоинства и развития русского, кроме европейской цивилизации… Вы ее только одну и признаёте. Вы не признаёте национального развития, вы не признаёте самостоятельности народных начал в русском племени и, во имя вашего англизированного патриотизма, обижаетесь, что поляки нас образованнее, в европейском смысле, другими словами, что русские упорно хотят остаться русскими и не обратились по приказу в немцев или французов. Да ведь это-то и хорошо; но ведь поляков-то и сгубила их цивилизация. Несмотря на всю их гордость этой цивилизацией, до того сгубила, что им теперь уже нет воскресения, хотя бы они и сделались политически независимыми» [4, с. 99].

Кажется весьма странным, почему Достоевский решил, что Петерсон «благоговеет перед польской цивилизацией» и «обиделся» на нее? Ничего подобного в тексте Петерсона

нет, и эти обвинения Достоевского звучат совершенно не по адресу. Однако столь большой фрагмент из заметки Достоевского приведен здесь именно потому, что в нем наиболее ярко выражена его главная мысль о России как иной, неевропейской цивилизации.

Следующая цитата важна для понимания духовных основ польской русофобии: «Европейская цивилизация, которая есть плод Европы и, в сущности, на своем месте в Европе, – в Польше (может быть, именно потому, что поляки славяне) развила антинародный, антигражданственный, антихристианский дух. Она развила у них преимущественно католицизм, иезуитизм и аристократизм, да тем и порешила. Мало того: нигде, может быть, католицизм не получал такой степени прозелитизма, как в Польше… Мало ли они донимали нас, плевали на нас как на хлопов и за людей нас не считали? Из-за чего это было, как вы думаете? Именно из католической пропаганды, из ярости уловлять прозелитов, из ярости ополячить и окатоличить. Ясное дело, что народ, который за людей не считает людей другой веры, не уважает ничего так высоко, как себя и свою веру, а следовательно, и способен употребить всё, чтоб обратить всех в свою веру. Обращенные русские дворяне становились тотчас же панами, а прочие были только хлопами. Само собою разумеется, что поляки должны были считать это не только благородным, но даже святейшим делом» [3, с. 99–100].

Завершает свои рассуждения Достоевский следующим образом: «Мы в нашей статье “Роковой вопрос” стали на точку зрения поляков и сказали, что они, страстно преданные и верующие в свою (аристократическую и католическую) цивилизацию, должны надмеваться ею, гордиться ею перед нами, которых они до сих пор считают за хлопов и варваров, и даже тем более гордиться, чем более они принижены перед нами, считать наше первенство за вопиющую несправедливость судьбы и восставать против этой судьбы; что ж, разве это именно не так, с их точки зрения? Ведь это факт, ведь факта не спрячешь в карман. Да в этом весь и вопрос, может быть, заключается, именно весь, весь! Где ж им понять, допустить и уверовать, что русская земля, может быть, заключает в себе земские начала, не низшие начал западной цивилизации. Ведь этого и Европа не допускает и нас постоянно не любит, терпеть даже нас не может. Мы никогда в Европе не возбуждали симпатии, и она, если можно было, всегда с охотою на нас ополчалась. Она не могла не признать только одного: нашу силу, – и эта физическая, материальная сила (так, по крайней мере, Европа должна была смотреть на нас) всегда возбуждала в ней негодование. Да ведь и не одна Европа. Разве вы сами не судите о русских точно так же, как судит о нас Европа?.. Тот патриотизм, который в самостоятельность русского развития не верит, может быть искренний, но во всяком случае смешной патриотизм» [4, с. 100]. Последняя фраза касается патриотов-либералов, к которым Достоевский относит и Петерсона. «Я-то, положим, не нахожу ничего, чем поляки могут славиться, – но в том-то и трагедия, что поляки верят в эту ядовитую свою цивилизацию слепо. Как в величайшую славу свою верят» [4, с. 101], – заключает Достоевский по «польскому вопросу». Тем самым он фактически дезавуировал все ложные рассуждения Страхова о превосходстве польской «цивилизации», которые и стали предметом скандала.

Мысль о том, что «не нахожу ничего, чем поляки могут славиться», Достоевский подробнее развил уже почти пятнадцать лет спустя в «Дневнике писателя» (1877. Октябрь) в заметке «Летняя попытка старой Польши мириться». «Волки перерядились в овец, – писал он, – и заговорили в тоне как будто посланников всей польской “эмиграции” за границей. Они стали предлагать примирение: примите, дескать, нас, мы видим тоже, что братство славян несомненно, и не хотим отстать. Говорили они чрезвычайно нежно и выставили резоны: “У нас, говорят они есть инженеры, химики, технологи, ремесленники, бухгалтеры, агрономы и т.п. Всего этого много в эмиграции. Пустите их к себе!.. Броцкий скульптор, Матейко живописец. Вам эти люди не нужны? Что же сказать о сонме литераторов, публицистов, промышленников,

фабрикантов и всякого рода деятелей? Вам эти люди не нужны тоже?"» [5, с. 57]. В этой показной любви к России у польской эмиграции Достоевский усматривал хитрый обман, опираясь в ответ на аргументацию из статьи известного историка Н.И. Костомарова. «Костомаров великолепно ответил в "Новом времени" на все эти заискивания… Костомаров допускает, однако же, что есть прекрасные поляки, которые могут жить даже в дружбе с иным русским, спасти его в беде, одолжить его. Это, конечно, правда, но чуть только этот русский, хотя бы даже после двадцати лет дружбы, вдруг бы выразил этому прекрасному поляку свои политические убеждения насчет Польши в русском духе, то этот поляк тотчас же, тут же, стал бы явным или тайным врагом своего русского друга… попытка "примирения", нашедшая русских защитников… есть бесспорно клерикальная к нам подсылка из Европы, отрог всеевропейского клерикального заговора. О, эти поляки Старой Польши уверяют, что они вовсе не клерикалы, не паписты, не римляне и что мы давно должны это знать про них… выходка к примирению была сделана именно в то время, когда вся эмиграция задвигалась против русских, когда созидались польские легионы, когда аристократы эмиграции являлись в Константинополь с огромными суммами денег (конечно, не своими). Всё это примирение было одно только коварство, как определил его г-н Костомаров» [5, с. 57]. Поэтому «они предлагают нам своих ученых, техников, художников и говорят: "Примите их, они ль вам не нужны!" Тут бы прибавить, что они, вероятно, считают нас диким народом и не ведают, что у нас всё то, что они предлагают, может быть, и лучше ихнего есть» [5, с. 58]. То есть даже в этой хитрости происходит саморазоблачение.

Итоговый тезис Достоевского состоит в том, что для Польши возможен путь развития в составе России, который приведет к созданию Новой Польши в составе славянского единства: «У нас было несколько поляков, которые проявили свой талант, и Россия их почитала, уважала, ставила на высоту, нисколько не разделяя их от русских. К чему же уговариваться? Приезжайте! Примиритесь и покоритесь сами, но знайте, что никогда не будет Старой Польши. Есть Новая Польша, Польша, освобожденная царем, Польша возрождающаяся и которая, несомненно, может ожидать впереди, в будущем, равной судьбы со всяким славянским племенем, когда славянство освободится и воскреснет в Европе. Но Старой Польши никогда не будет, потому что ужиться с Россией она не может. Ее идеал – стать на месте России в славянском мире» [5, с. 59].

Нужно отметить, что путь, о котором писал Достоевский, в определенной степени начал реализовываться. Новая, русская Польша действительно начала формироваться, но этот процесс был искусственно прерван катастрофой 1917 года, а затем советским периодом истории, когда вражда к СССР породила в Польше новый тип русофобии. Но уже в наши дни, несмотря на официальную русофобию польской власти, назначаемой коллективным Западом, в польском народе растет симпатия к современной России как единственной в мире защитнице традиционных христианских ценностей. Однако это процесс непубличный, редко выходящий за рамки частного общения. И все же он показывает, что мечта Достоевского о Новой Польше была далеко не беспочвенной и более того, в каком-то смысле она начинает реализоваться именно сейчас, в XXI веке.

В заключение стоит отметить, что рассуждения Достоевского о «польском вопросе» имеют особый метафизический контекст, который был сформулирован не прямо, а вложен в уста одного из героев романа «Бесы». «У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать» [3, с. 199]. Почему Достоевский не сказал это прямой речью в своей публицистике? Потому что такой тезис противоречит христианской вере, в которой очень четко определяется, что есть добро, а что зло. Добро – это то, что делается по евангельским заповедям, а зло – вопреки им. А «добро» и «зло», о которых

говорит герой романа, – это не метафизические и этические категории, а категории воли и действия. Они соотносятся между собой как форма и содержание: метафизические являются содержанием, а волевые – формой. Поэтому одному и тому же содержанию, которое универсально для всех народов, у разных народов соответствуют разные формы реализации, вплоть до прямо противоположных. Поэтому хотя и русские, и поляки как христиане понимали добро и зло совершенно одинаково, но в своих исторических деяниях воплощали это понимание прямо противоположным образом: одни хотели сделать Польшу частью России, а другие – ее врагом.

Герой Достоевского и далее развил заветную, но «скандальную» мысль самого писателя следующим образом: «Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ» [3, с. 199–200]. Таков эмпирический закон истории, который открывается только при пристальном ее изучении, и его нет смысла оценивать по шкале «хорошо – плохо». Русские только потому стали великим народом, что всегда верили и знали, что именно они защищают главную истину – Православие. Все остальные предпосылки их величия не могли бы реализоваться без этого самого главного условия. Точно так же и поляки верили, что они несут истину в виде католической церкви и европейской цивилизации, но великим народом они не стали потому, что не является истиной ни то, ни другое.

Подводя итог нашему краткому анализу, отметим, что размышления Ф.М. Достоевского и Н.Н. Страхова о «польском вопросе» выходят далеко за пределы этой частной темы и касаются самых фундаментальных вопросов русской историософии. Это не только вопрос о возможности суверенной русской цивилизации, но и еще более онтологически значимый вопрос о ценности исторического бытия того или иного народа. Рассмотренные здесь тексты имеют особую ценность потому, что эти вопросы в них осмыслены в особой экзистенциальной напряженности и обнаженности, и поэтому стали своего рода «каноном» русской мысли на все будущие времена.

Литература

1. *Антонович В.Б.* Три національні типи народні // Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: Либідь, 1995. С. 90–100.
2. *Батюто А.И.* Комментарии // *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 20: Записная тетрадь 1863–1864 гг.: Ответ редакции «Времени» на нападение «Московских ведомостей». Л.: Наука, 1980. С. 316–318.
3. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 10: Бесы. Л.: Наука, 1974. 522 с.
4. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 20: Записная тетрадь 1863–1864 гг. Л.: Наука, 1980.
5. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 26: Дневник писателя. Л.: Наука, 1984.
6. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 28: Письма. Л.: Наука, 1985. 616 с.
7. *Иванова С.И.* Идентичность сквозь призму «Рокового вопроса» в философской концепции Н.Н. Страхова (по материалам публицистики 1860-х) // Известия Тульского гос. ун-та. Гуманитарные науки. 2010. № 1. С. 19–27.
8. *Иванова С.И.* Философия почвенничества: взгляд на «польский вопрос» // Актуальные вопросы современной науки: сб. науч. тр. Вып. 51. Новосибирск, 2017. С. 140–147.
9. *Катков М.Н.* Идеология охранительства. М.: Институт русской цивилизации, 2009. 800 с.
10. *Катков М.Н.* По поводу статьи «Роковой вопрос» // Русский вестник. 1863. Май. № 5. С. 398–418.
11. *Кунильский Д.А.* Славянофилы и «Время»: к истории запрещения журнала // Вестник Череповецкого государственного университета. 2015. № 6. С. 87–90.
12. *Мотовникова Е.Н.* Философская публицистика Н.Н. Страхова: предпосылки (не)понимания // Вопросы философии. 2011. № 12. С. 88–96.
13. *Никитенко А.В.* Дневник: в 3 т. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1955. 653 с.
14. *Подрезов М.В.* Идейные воззрения Ф.М. Достоевского на место Польши в России и мире // Вестник Томского государственного университета Философия. Социология. Политология. 2019. № 49. С. 170–176.

15. Поэтические произведения, вышедшие в 1812 г. и в позднейшее время. М. [Б.и.], 2012. 34 с.

16. *Страхов Н.Н.* Борьба с Западом в нашей литературе. М.: Изд. Института русской цивилизации, 2010. 576 с

17. *Углик Я.* Образ поляков в романах и публицистике Ф.М. Достоевского // Toronto Slavic Quarterly. 2011. № 37. Summer. С. 136–149.

18. *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 2: Письма. М.: Наука, 1991. 680 с.

19. *Юдахин А.А.* Полемика Ф.М. Достоевского-журналиста с католицизмом: к постановке проблемы // Litera. 2023. № 5. С. 125–142.

20. *Cat-Mackiewicz, Stanisław.* Dostojewski. Kraków: Universitas, 2013. 334 s.

Аннотация. В статье рассматриваются размышления Ф.М. Достоевского и Н.Н. Страхова о «польском вопросе» как важном элементе русской историософии. Показано, что они выходят далеко за пределы этой частной темы и касаются самых фундаментальных вопросов. Это не только вопрос о возможности суверенной русской цивилизации, но и еще более онтологически значимый вопрос о ценности исторического бытия того или иного народа. Приведенные здесь тексты имеют особую ценность, так как эти вопросы осмыслены в них в особой экзистенциальной напряженности и обнаженности, став своего рода «каноном» русской мысли для понимания суверенности русской цивилизации.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, Н.Н. Страхов, «польский вопрос», русская историософия.

Vitaliy Yu. Darenskiy, PhD in Philosophy, Professor, Philosophy Department, Lugansk State Pedagogical University. E-mail: darenskiy1972@rambler.ru

F.M. Dostoevsky and N.N. Strakhov on the “Polish Issue”

Abstract. The article devoted to the study of the reflections of F.M. Dostoevsky and N.N. Strakhov on the “Polish question” as an important element of Russian historiosophy. It is shown that their reflections on the “Polish question” go far beyond this particular topic and concern the most fundamental issues of Russian historiosophy. This is not only the question of the potential of sovereign Russian civilization, but also an even more ontologically significant question about the value of the historical existence of a particular nation. The considered Russian texts are of particular value because these issues are revealed in them in a special existential tension and nakedness, and therefore serve as a kind of “canon” of Russian thought for the understanding of the sovereignty of Russian civilization.

Keywords: F.M. Dostoevsky, N.N. Strakhov, “the Polish Question”, Russian Historiosophy.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-187-202

Александр Бендин

Решение «русского вопроса» польскими сепаратистами и русскими «революционерами» в 1861–1863 годах

Сохранение Царства Польского в составе Российской империи после мятежа и русско-польской войны 1830–1831 годов стало решающим основанием для появления угрозы нового сепаратистского мятежа. Начавшийся в эпоху Великих реформ императора Александра II польский мятеж 1863 года, как и подготовка к нему, вновь поставили на повестку дня общественно-политической мысли России «польский вопрос». Вместе с тем, кардинальные социальные и идейные перемены, происходившие в сословном российском обществе под воздействием крестьянской реформы 1861 года, и нарастание политических конфликтов на западных рубежах России, создали принципиально новые условия для вторичного появления «русского вопроса».

В решающем 1863 году «польский вопрос» как политическая проблема – внутрироссийская и геополитическая – осмысливался и решался в категориях быть или не быть второй Речи Посполитой в восточных границах 1772 года. Зависимый от решения «польского» «русский вопрос» представлял собой комплекс проблем разного уровня, из которых главная, определяющая – быть или не быть единому и самодержавному Российскому государству, управляемому династией Романовых. В связи с этим идейным и политическим содержанием «русского вопроса» стали проблемы, производные от главной, а именно: государственная принадлежность Западной России[1]; политическая и церковная связь западных русских – белорусов и малороссов – с великорусами, Российским государством и Православной церковью; осмысление этой общерусской связи общественно-политической мыслью, идеология и практика реформирования Западной России.

В это время для российского общества и общественно-политической мысли «русский вопрос» впервые приобрел самостоятельное значение, выйдя из тени «вопроса польского», не теряя, однако, с ним внутренней связи. Начавшееся обсуждение русско-польского конфликта, которое происходило в прессе легальной, эмигрантской, а также и в подпольных изданиях, стало свидетельством появления, с одной стороны, качественно нового этапа в осмыслении политических и национальных проблем российского общества. С другой – идейное, политическое и военное противостояние с польским сепаратизмом, который поддерживали их русские и западные союзники, стало основанием для обсуждения проблем русского населения Западной России и самоосознания общерусских национальных интересов в русской общественно-политической мысли разных идейных направлений.

[1] В западнорусской историографии Западной Россией называлась территория, которая неофициально именовалась Северо-Западный и Юго-Западный край, в целом Западный край с главными городами Вильной и Киевом. Западной Россией назвались также Литва, Белоруссия и Малороссия [см. 1, с. 3–5; 2, с. 1–2; 3].

Бендин Александр Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, Института теологии Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь). E-mail: abendin@yandex.ru

В ситуации, сложившейся в это время внутри русского общественно-политического движения, как сторонники, так и противники польского сепаратизма определялись по основному конституирующему признаку – отношению к Российскому государству. В соответствии с этим признаком внутри движения произошло деление на «своих», «чужих» и «врагов». «Своими» для Российского государства являлись сторонники самодержавной монархии – широкий спектр представителей национально-патриотических, славянофильских и консервативно-либеральных направлений общественно-политической мысли[1]. «Чужих» и «врагов» представляли русские сторонники победы польского сепаратизма путем революционного разрушения Российского государства и разделения большого русского народа. К ним относились радикалы и политические экстремисты, находившиеся как внутри России, так и в эмиграции.

Поскольку сохранение территории и населения Западной России в составе Российского государства зависело от его поражения или победы над польским сепаратизмом, оппозиция, жестко разделившая русское общественно-политическое движение на «своих», «чужих» и «врагов» по названному выше признаку, определяла их отношение к содержанию и решению «русского вопроса»[2].

Актуальность выбора темы статьи обусловлена рядом причин. Исторический «национально-освободительный» дискурс, присущий советско-польской и современной либеральной историографии, исходит из презумпции виновности Российской империи в исторических бедах, постигших Польшу во второй половине XVIII – начале XX века. В рамках этого дискурса правомерные вопросы защиты безопасности и территориальной целостности Российского государства, интересы Русской церкви, православного западнорусского и великорусского населения не попадают в разряд научной проблематики. Названные проблемы, как правило, либо игнорируются исследователями, либо решаются с помощью идеологизированной критики. Инициатива в научном изучении общерусских национальных интересов и общерусского самосознания в Российской империи принадлежит сейчас консервативной и западнорусской историографии.

Предлагаемый ракурс исследования, осуществляемого в рамках западнорусского исторического дискурса, предусматривает использование соответствующего понятийного аппарата, который позволяет рассмотреть политический характер противостояния польского сепаратизма и русских «революционеров» с Российским государством и русским обществом. Предусматривается также выявление взаимосвязи между борьбой за территориальную целостность России и сохранением единства большого русского народа – великороссов, малороссов и белорусов.

[1] В начале 60-х годов XIX века решающую роль в развитии общерусского самосознания, осмыслении интересов и прав русского народа в Западной России сыграла консервативно-патриотическая и славянофильская мысль «своих», представленная именами М.Н. Каткова, И.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина, М.О. Кояловича, А.Ф. Гильфердинга, Н.Н. Страхова и др., публиковавших статьи в таких столичных изданиях, как «Московские ведомости», «День», «Северная почта», «Русский инвалид», «Русский вестник». В Малороссии органом русской общественно-политической мысли стал «Вестник Юго-Западной и Западной России», издаваемый в Киеве Кс. Говорским. С 1864 года этот журнал под названием «Вестник Западной России» стал выходить в Вильне. Продолжил русскую идейную традицию «Вестника» в Киеве Н.И. Шульгин, начавший с 1864 года издавать газету «Киевлянин». В Вильне национально-патриотическим органом Северо-Западного края России стал «Виленский вестник». Интеллектуальная элита и публицисты, работавшие в этих изданиях, предлагали свое решение «русского вопроса», которое оказывало воздействие на политику правительства в Западной России [см. 4–11].

[2] Для характеристики сообществ, готовых вести и ведущих неконвенциональную войну против Российского государства либо в форме вооруженного сепаратистского мятежа, либо с помощью организации внутрироссийского крестьянского бунта, используется понятие «политический враг» в интерпретации Карла Шмитта [см. 12].

Цель данной статьи – рассмотреть сепаратистские и радикально-экстремистские способы решения «русского вопроса», разрабатываемые и решаемые в процессе подготовки и в ходе польского мятежа 1863 года.

Задачи исследования: раскрыть цели, задачи и тактику решения «русского вопроса» в польском сепаратистском движении; рассмотреть способы решения «русского вопроса» в русском подпольном сообществе радикалов и экстремистов; выявить основные идейные и политические подходы А.И. Герцена и «Колокола» к решению «русского вопроса».

«Русский вопрос» в политической стратегии и тактике польского сепаратизма

В 1861 году в Варшаве начались антиправительственные манифестации, которые привлекли внимание российского общества, вступившего в эпоху Великих реформ. Политика уступок, проводимая в Царстве Польском новым императором Александром II, стала катализатором роста сепаратистских настроений. На территории бывшей Речи Посполитой – в автономном Царстве Польском и в Западной России – с появлением легальных общественных объединений начали возникать и подпольные организации «белых» и «красных», которые объединились накануне мятежа 1863 года [13, с. 118–119; 14, с. 45–52].

Сепаратистское подполье активно вбирало в себя радикалов и экстремистов из числа шляхты, интеллигенции, римско-католического духовенства и мещанства. Для подготовки вооруженного мятежа в Варшаве летом 1862 года был создан подпольный Центральный национальный комитет, в Вильне – Литовский провинциальный комитет, в Житомире – Провинциальный комитет на Руси [15, с. 29–31; 16, с. 85–90; 17, л. 10]. Для координации действий сепаратистского подполья с организациями в Царстве Польском и Западной России, а также с русскими политическими радикалами и экстремистами был создан петербургский польский комитет, руководимый И. Огрызко [18, с. 25–47]. Создаваемая централизованная подпольная организация, деятельность которой направлялась эмигрантским центром из Парижа, начала выполнять функции нелегальной власти, воспринимаемой сторонниками восстановления второй Речи Посполитой в качестве легитимной. Органы подпольной власти начали деятельную подготовку к мятежу, собирая денежные средства, закупая и запасая оружие [19; 20, с. 36].

Стали складываться пропагандистские механизмы формирования идейной, политической и религиозной мотивации для массового, всесословного участия в антироссийском вооруженном мятеже. Подпольная пропаганда вновь формировала образ угнетенной Польши – жертвы российского деспотизма, разжигала и провоцировала политическую, национальную и религиозную ненависть к русскому врагу – «москалю и схизматику». В роли религиозных лидеров польского сепаратизма активно выступало политизированное римско-католическое духовенство, привлекавшее на сторону мятежа свою паству из низших сословий и разных этнических групп – поляков, литовцев, белорусов, малороссов и т.д., создавая и пропагандируя фантастический культ «распятой Польши» [21, с. 66–86; 22, с. 13–31; 23, с. 62; 24, с. 80–81].

Подпольная пропаганда, направленная на идейно-религиозную мобилизацию политических врагов Российского государства, начала широко использовать принципиально новое сочетание идей всесословного польского национализма, как светского, так и религиозного, с риторикой политического и социального популизма (лозунги демократических и социальных преобразований сословного общества). Одной из задач пропаганды и новой политической тактики стало объединение представителей всех сословий, этнических групп и конфессий для участия в будущем сепаратистском мятеже [16, с. 105–106].

Наряду с подпольными органами власти стали формироваться политические программы сепаратистского мятежа, главным положением которых становилось восстановление Речи Посполитой в «древних пределах», то есть в границах 1772 года, что означало возвращение Западной России в состав нового Польского государства. Политические экстремисты (красные), к которым присоединились радикалы и умеренные (белые), рассчитывали на достижение общей стратегической цели: победы над Россией, которую предполагалось достичь с помощью организации вооруженного мятежа в Царстве Польском и Западной России, соединенного с массовыми крестьянскими бунтами в центральных губерниях и военной интервенцией Франции и Великобритании [25, с. 190–202, 205–210; 26, с. 242–243;27, с. 84-89; 28, с. 177–179].

В Западной России дворянские корпорации, состоявшие в основном из лиц «польского происхождения», поддерживаемые римско-католическим духовенством, стали выступать в роли субъектов ирредентистского движения, направленного на административное присоединение этого региона к Царству Польскому [29, с. 7–8; 30, с. 12–13, 230, 325–326, 433, 572, 595; 31, с. 110]. Центром притяжения ирредентистского движения была Варшава, в которой в конце августа 1862 года съезд дворянства Царства Польского составил адрес на имя графа А. Замойского для передачи наместнику Царства великому князю Константину Николаевичу. Составители адреса требовали административного присоединения к Царству Польскому Литвы, Белоруссии и Малороссии [21, с. 163; 32, с. 140]. Новой тактикой борьбы сепаратистов с правительством наряду с манифестациями и ирредентистскими акциями дворянских корпораций и католического духовенства Западной России и Царства Польского, становился политический терроризм [33, с. 453, 458; 15, с. 32–33].

В результате описываемых событий на западных окраинах империи стало возникать принципиально новое политическое явление – массовое сепаратистское движение, которое, несмотря на сословно ограниченный характер, стремилось приобрести характер движения всесословного, национального [20, с. 9–11]. В отличие от мятежа 1830–1831 годов, в котором главную роль играла регулярная польская армия, новый вооруженный мятеж в Царстве Польском и Западной России был принципиально иным по своему социальному составу. Главный контингент добровольной мобилизации в сепаратистский мятеж стали составлять гражданские лица, которые продолжали оставаться подданными российской монархии.

В связи с этим опасность нового гражданского мятежа заключалась не в его военной силе, а в первую очередь в самоорганизации и помощи из-за рубежа, растущей социальной базе, идейном содержании, социальной и религиозной направленности пропаганды, цель которой заключалась в максимальной вовлеченности в вооруженный мятеж не только населения Царства Польского и Западной России, но и крестьянства Центральной России. Сочувствие польскому сепаратистскому движению выражало либеральное общественное мнение России и Западной Европы [34, с. 19–21; 35, с. 321–322].

Стратегические цели, тактика действий, политическая, этническая и религиозная ненависть к России, русским и Православию, насаждаемые светской и религиозной пропагандой, свидетельствовали о возвращении прежнего политического врага, разгромленного в 1831 году. Возрождаемый враг представал теперь в новом социальном, политическом и идейном облике, приобретая черты национально-религиозного движения, которое угрожало самому существованию Российской империи, жизни, безопасности и имуществу ее подданных [9, с. 61–64]. Решение «польского вопроса» названным врагом предусматривало нанесение такого стратегического поражения Российскому государству, которое бы позволило восстановить Речь Посполитую в границах 1772 года [36, p. 159].

Решению же «русского вопроса» придавалось сугубо инструментальное значение. Западнорусское и великорусское крестьянство предполагалось использовать в интересах

победы польского сепаратизма как средство разрушения Российского государства изнутри. С этой целью в начале мятежа пропаганда сепаратистов стала активно применять популистскую риторику в отношении к белорусскому и малороссийскому крестьянству Западной России. За участие в вооруженном мятеже подпольное польское «правительство» обещало белорусским крестьянам небольшие бесплатные наделы земли, освобождение от повинностей и даже социальный статус дворянства. В Малороссии сепаратисты, призывая от имени «правительства» к мятежу против власти царя-освободителя, объявляли крестьянам «Золотую грамоту», также содержавшую социальные обещания воли и бесплатных земельных наделов [37, с. 3–4, 20; 38, с. 10–61; 39, с. 544–545].

Новая пропагандистская тактика мобилизации в мятеж предусматривала также религиозные и национальные нарративы. Например, в Литве и Белоруссии в подпольных прокламациях содержалось обещание восстановить церковную унию с Римом, упраздненную на Полоцком соборе 1839 года [40, с. 371–372; 41]. Популистский характер носили обещания о том, что восстановленная Речь Посполитая станет свободным союзом «народов Польши, Литвы и Руси» [42, с. 146].

Применяемая в Западной России пропагандистская риторика социального, религиозного и национального популизма, рассчитанная на вовлечение в мятеж западнорусского крестьянства, свидетельствовала о том, что руководители мятежа попытались перехватить реформаторскую инициативу Александра II и взять на себя несвойственную им роль «освободителей», для того чтобы разорвать связь западнорусского православного населения с Российским государством и Русской церковью, восстановленную Екатериной Великой в 1772–1795 годах.

Одновременно была предпринята попытка сепаратистов с помощью русских «революционеров» из «Земли и воли» спровоцировать социальный взрыв в Центральной России. В Поволжье польские эмиссары распространяли фальшивый манифест от имени императора Александра II, в котором призывали великорусских крестьян к бунту для исполнения настоящей «царской» воли о бесплатной раздаче земельных наделов, упразднении податей и рекрутской повинности. Весной 1863 года польские сепаратисты, в основном из числа офицеров русской армии, перешли к практической подготовке крестьянских бунтов в Поволжье. Был составлен так называемый Казанский заговор, который правительству удалось раскрыть и вовремя предотвратить готовившуюся вооруженную провокацию [43; 44, с. 95–100; 45]. Столь же безрезультатными оказались попытки А.И. Герцена и сепаратистов вовлечь в мятеж великорусских старообрядцев [46].

Таким образом, пропаганда социального, религиозного и национального популизма, ставшая новой тактикой польского сепаратизма, целиком укладывалась в логику действий политического врага Российского государства. Решение «русского вопроса» подчинялось задачам реализации политической стратегии подпольного «правительства» – разрушить Российское государство ударами извне и изнутри, расчленить большой русский народ и столкнуть его в межсословную гражданскую войну с помощью русских «революционеров».

«Русский вопрос», решаемый в России русскими радикалами и экстремистами

Очередное появление угрозы польского ирредентизма и вооруженного сепаратизма на западных границах государства совпало с усилением внутренней политической нестабильности в Центральной России. Недовольство реформой 1861 года повлекло за собой ряд крестьянских выступлений, подавленных с помощью войск [47, с. 166–176].

«В это же время оппозиционные настроения, вызванные правительственной политикой и содержанием крестьянской реформы, проявляло не только либеральное

дворянство, выступавшее с конституционными предложениями, но и консервативные по своим политическим взглядам славянофилы» [48, с. 120–121]. Сильное влияние на развитие оппозиционных правительству идей и общественных настроений оказывал «Колокол», издаваемый в Лондоне А.И. Герценом и Н.П. Огаревым [49, с. 292–295]. Активизировались и политические радикалы, группировавшиеся вокруг журнала «Современник» и «Русское слово». Стали возникать волнения и протесты среди студенческой молодежи. Политические демонстрации, происходившие в Варшаве в начале 1861 года, усиливали общественную критику правительственной политики и получали широкую поддержку в русском образованном обществе [50, с. 447–449, 468–479; 48, с. 106, 113–118, 125–126, 133].

На волне общественного недовольства наряду с либералами и радикалами появились и политические экстремисты, создавшие подпольное сообщество «Земля и воля», руководимое «Русским центральным народным комитетом»[1]. Сообщество ставило своей целью насильственное разрушение Российского государства, его политических, военных, правовых, сословных и религиозных институтов с помощью социальной «революции». К «Земле и воле» примкнул созданный в Царстве Польском подпольный «Комитет русских офицеров», изменивших присяге, данной императору Александру II. В своей агитационно-пропагандистской деятельности Комитет ставил целью идейное разложение русской армии и переход солдат и офицеров на сторону врага [53–55].

В обществе, которое испытывало социальную тревогу перед крестьянскими бунтами и поджигателями (майские пожары в 1862 году в Санкт-Петербурге) стали распространятся прокламации либерального, радикального и экстремистского содержания – «Великорусс», «К молодому поколению», «Барским крестьянам», «Молодая Россия» и др. Авторы подпольных прокламаций, подвергая субъективной критике политику правительства и существующий общественно-политический строй, выдвигали широкий спектр требований – от пересмотра крестьянской реформы и демократических преобразований в области политического устройства России до призывов к всеобщему крестьянскому бунту, ликвидации политического и социально-экономического строя, Православной церкви, а также физического уничтожения лиц дворянского сословия и бюрократии.

В отличие от польских сепаратистов, делавших ставку на политическое и религиозное объединение всех сословий для достижения цели, декларируемой как всеобщая или национальная, русские экстремисты исходили из принципиально иных идейных представлений. Декларируя идеи освобождения России, угнетенной царским деспотизмом, экстремистская пропаганда разжигала политическую, идейную и социальную вражду низших

[1] В дореволюционной и советской историографии лица, ратующие за «свержение царизма» с помощью организации общероссийского крестьянского бунта и сепаратистского мятежа в Царстве Польском и Западной России, действовавшие в начале 60-х годов XIX века в подполье или в эмиграции, именовались либо революционерами, либо революционными демократами. В современной российской историографии эти лица, подпадают под общее определение «радикалы», несмотря на существенные различия в их отношении к Российскому государству и декларируемых методах борьбы за реализации своих политических требований [51]. В данной статье используются термины «радикалы» и «экстремисты». К первым можно отнести сторонников ускоренной демократизации политических и социальных институтов Российского государства, ко вторым – сторонников насильственного политического переворота, разрушения государства и расчленения большого русского народа. Экстремистов характеризует максимальная степень идейной и политической враждебности к самодержавному Российскому государству и выбор вооруженных средств для борьбы с ним. Е.В. Сальников критикует «вольное употребление данного термина применительно к анализу революционных процессов» [52]. Полагаем, однако, что традиционно используемые термины «революционеры» и «революционные демократы» несут в своем содержании привлекательную идеологическую нагрузку прежних эпох. В то же время критерий К. Шмитта об идейной и политической враждебности, дифференцирующий носителей радикализма и экстремизма по выбору средств и методов борьбы, а также степени угрозы для Российского государства и единства большого русского народа, позволяет объективно оценивать идеи и политическое поведение этих лиц.

сословий к высшим, провоцируя межсословную резню русских дворян и чиновников русскими крестьянами во имя восстановления социальной справедливости в распределении собственности на землю.

Польские сепаратисты с помощью ирредентистского движения в Царстве Польском и Западной России прилагали усилия для воссоединения всех частей «польской нации», оказавшейся в пределах Российской империи. Русские же экстремисты, наоборот, ставили своей целью разделение большого русского народа, чтобы упразднить результаты «собирания русских земель» Екатериной II в 1772–1795 годах[1].

Если польские сепаратисты выражали готовность к вооруженной борьбе, преследуя цель воссоздания своего независимого государства, то русские экстремисты призывали великорусское крестьянство к массовому насилию в целях передела земельной собственности и уничтожения Российского государства, не задумываясь о катастрофических социальных последствиях новой Смуты для большого русского народа. Они не задавались вопросом о неизбежном в таком случае мучительном распадении и деградации огромной страны, разграблению ее материальных и культурных богатств, гибели и страданиях множества соотечественников, приносимых в жертву достижению утопических социальных и политических целей.

В своих прокламациях и программных документах «Земли и воли» политические экстремисты выказывали ничем не обоснованную уверенность в том, что после свержения монархии, в обстановке наступившего социального хаоса, безвластия и всеобщего неограниченного насилия они смогут решать вопросы строительства нового социально справедливого общества и государства. Экстремисты, не располагая ни должными ресурсами, ни централизованной всероссийской организацией, наивно рассчитывали оседлать всероссийский крестьянский бунт, захватить власть в стране и облагодетельствовать русский народ социально-экономическими и демократическими преобразованиями с помощью земских соборов и федерализации территорий бывшей Российской империи [51, с. 95–115, 120–150, 155–164].

Подобно польским ксендзам, «революционные демократы» создали культ «угнетенной России», поклонение которому требовало обильных человеческих жертв. Политический фанатизм служителей этого культа, проявляемый в достижении утопических проектов преобразования исторической России, сочетался с крайним социальным инфантилизмом, вызванным деформацией восприятия традиционных христианских ценностей – свободы, правды и справедливости. Названные особенности политического поведения превращали сообщество немногочисленных радикалов и экстремистов в опасного политического врага общества и государства. Еще более опасным политическим врагом в этот период являлось польское сепаратистское движение в силу своей организованности, идейной мотивированности и активной поддержки из-за рубежа. Провозглашаемая общность идейно-политических взглядов, целей и интересов, послужила основанием для объединения политических врагов Российского государства, получившее в советской историографии название «русско-польский революционный союз» [57, с. 6].

В это время мнение прогрессивного общества в России, находившееся под влиянием «Колокола» и либеральной западной прессы, было на стороне польского сепаратистского движения. Следуя возникшей политической конъюнктуре, радикальные подпольные издания стали предлагать общественному мнению политические проекты решения «польского» и связанного с ним «русского вопроса». В прокламации «Великорусс», изданной в 1861 году, выдвигалось требование к императору Александру собрать «представителей польской нации в ее столице Варшаве, чтобы они устроили судьбу своей Родины сообразно ее потребностям» [58, с. 963].

[1] Политические планы польских сепаратистов и русских «революционеров» по разделению России и большого русского народа перекликаются с планами английской дипломатии по «ослаблению и расчленению России», выдвинутые лордом Пальмерстоном во время Крымской войны [см. 56, с. 447.

Тот же «Великорусс» заявлял далее не только о «безусловном освобождении Польши», но и том, «чтобы дана была населению Южной Руси полная свобода располагать своей судьбой по собственной воле» [59, с. 115–116]. Столь же радикально сепаратистским было и требование «Молодой России» о «полной независимости Польши и Литвы, как областей, заявивших свое нежелание оставаться соединенными с Россией» [51, с. 148].

Авторы «Великорусса», ратуя за демократические преобразования в России, не учитывали, что ирредентистские требования о присоединении Западной России к Царству Польскому выдвигали отнюдь не представители православного западнорусского населения, сохранявшего верность России и Православию, а польское дворянство, шляхта и ксендзы. Западнорусский крестьянский народ связывал с исторической Польшей, римским католичеством и Брестской унией лишь тяжелый опыт экономического, национального и религиозного угнетения и возвращаться под колониальную власть восстановленной Польши отнюдь не желал. В Западной России только польское дворянство и ксендзы с покорной им католической паствой с помощью адресов и манифестаций требовали от правительства административного воссоединения всех земель бывшей Речи Посполитой в восточных границах 1772 года [28, с. 107–119; 60; 61].

Парадоксальность этой ситуации заключалась в том, что русские «революционные демократы», представляя себя защитниками интересов крестьянства, сторонниками социального равенства и политических свобод, в решении «русского вопроса» в Западной России неизменно становились на сторону эгоистических национальных требований социального и этнического меньшинства – польского дворянства, шляхты и римско-католического духовенства. Радикальный «Великорусс», находясь под влиянием прогрессивных идей «свободы, отечества и национальности», игнорировал законные национальные интересы подавляющего большинства – православного западнорусского крестьянства, защищая интересы его давних колониальных эксплуататоров – социально привилегированного дворянства, шляхты и ксендзов, представлявших «угнетенную Польшу».

Выступая за разрушение и расчленение Российского государства, радикалы и экстремисты были одновременно и сторонниками разделения большого русского народа. Решая «русский вопрос» в рамках польского сепаратистского дискурса, это нелегальное сообщество исходило из идейных представлений о том, что белорусы и малороссы – это не часть большого русского народа, исторически, этнически и религиозно единые с великороссами, а народы самостоятельные, которые вправе выбрать свое будущее в союзе с Польшей.

Свое понимание «русского вопроса» высказал в «Обращении» Русский центральный народный комитет тайного общества «Земля и воля», которое было составлено в начале 1863 года. Авторы «Обращения» ставили своей целью восстановить общественное мнение против политики монархии в Польше, заявляя, что «русское общество не имеет ничего общего со своим жестоким государем и его кровожадным правительством, что честные русские люди желают свободы и освобождения Польши от того же ига, что гнетет и нас». В качестве универсального средства общего освобождения предлагалась «революция», под ударами которой самодержавие должно было «пасть» [51, с. 161].

Иными словами, вину русского самодержавия перед «терзаемой Польшей» нужно было коллективно искупить всем русским крестьянам, подняв мятеж против своего государя, а солдатам и офицерам, изменив присяге и повернув оружие против Русской армии и Отечества. Ценой коллективного искупления вины самодержавия, ставшего «позором для русских», а значит, и ценой обретения «национальной свободы» для польской шляхты и ксендзов, становилось принесение в жертву Российского государства и русских людей всех сословий. То есть вину перед социально привилегированными польскими сепаратистами следовало смыть обильной русской кровью, массовыми страданиями и «революционным» разрушением собственной страны и государства. Таким образом, созданный идеологией культ «угнетенной России» был дополнен мифом «Россией угнетающей».

Первородство идеи коллективной вины русского народа перед «угнетенной Польшей» принадлежит анархисту М.А. Бакунину, который искуплением имперского греха самодержавной России считал принесение коллективной жертвы в виде всеобщего кровопролитного мятежа, который должен был принести свободу и России, и Польше [62, с. 80]. Бакунин первым сформулировал политический рецепт решения «русского вопроса», который затем использовался политическими врагами Российского государства, Герценом и «революционными» экстремистами, – свобода Польши покупается ценой разделения и самоистребления большого русского народа и насильственного уничтожения его государства.

В «Обращении» Центральный комитет уверял читателей в том, что «настоящее польское движение не имеет никаких видов посягательства на право русской национальности и на самостоятельность России <…> они не станут стеснять народной воли и примут в свое родство только те из областей, принадлежащих ныне России, где народ сам пожелает присоединиться к Польше; других намерений они не имеют. В этом мы убедились вполне вследствие наших личных сношений с руководителями польского движения и честным словом уверяем в том же всех русских» [51, с. 16—161].

Политический и нравственный инфантилизм, проявленный лидерами «Земли и воли» в готовности доверить справедливое решение «русского вопроса» и политическое будущее Западной России идейно близким польским сепаратистам, не был случайным явлением. Названное поведение было во многом обусловлено идейным воздействием «Колокола» на русское общественной движение, как легальное, так и нелегальное.

«Польский герценизм» о решении «русского вопроса»

А.И. Герцен, основатель «Полярной звезды» и «Колокола», печатно выступил в защиту польского сепаратизма еще в начале 1850-х годов. Особенно активной эта поддержка стала после антироссийских манифестаций в Варшаве в 1861 году [36, p. 156–157]. Будучи идейно ангажированным политическим журналистом, Герцен придерживался последовательной информационной стратегии, направленной на демонизацию российской политики в Польше и деморализацию русской армии, подавлявшей выступления сепаратистов [63, с. 249–257]. Убедительно и талантливо эксплуатируя притягательную силу принципов национальной свободы и социальной справедливости, Герцен умело формировал из российского самодержавия образ жестокого и кровожадного врага польской свободы, достижение которой невозможно без освобождения России от власти «императорского деспотизма».

Разделяя взгляды М.А. Бакунина, общим врагом свободы для Польши и России Герцен считал Российскую империю, для разрушения которой необходимо было объединить силы польских сепаратистов, русских радикалов и экстремистов [57, с. 124]. Победа сепаратистского мятежа, декларируемая как национальное освобождение Польши, должна была стать триггером для политического и социального освобождения России, реализуемого по отмеченному выше политическому рецепту решения «русского вопроса», сочетавшему культ «России угнетенной» с мифом «России угнетающей» [64; 62, с. 80; 34, с. 174].

«Польский вопрос» решался Герценом как достижение «государственной самобытности Польши и соединение отрезанных частей ее» [65, с. 47], свободное существование которой проектировалось вместе с освобожденной Россией в некоем будущем «славянском союзе». Затем от теоретических рассуждений «о свободе» и «высшем нравственном долге» [66][1] Герцен перешел к конкретным политическим действиям.

[1] Автор сочувственно пишет о «гуманистических позициях», с которых не отступил Герцен в 1863 году, максимально, на наш взгляд, использовав ресурсы «Колокола» для поддержки антироссий-

В сентябре 1862 года в результате лондонских переговоров, в которых участвовали А.И. Герцен, Н.П. Огарев, М.А. Бакунин и представители польского Центрального национального комитета, были выработаны основные принципы «русско-польского революционного союза». Как отмечает И.М. Белявская: «В основе этого союза была борьба за освобождение крестьян с землей и за предоставление независимости народам, входившим в состав Российской империи, а также совместная подготовка восстания. За соглашением в Лондоне последовали переговоры в Варшаве и Петербурге, завершившиеся заключением союза на основе принципов лондонского соглашения» [57, с. 124; 67, с. 382–390]. С заключением названного «союза» лозунг мятежа 1831 года «за нашу и вашу свободу» обрел конкретное политическое содержание.

Следует отметить, что польских сепаратистов и русских экстремистов объединили не столько общие идейные принципы принятого соглашения, сколько общий «макиавеллистский» подход к русскому крестьянству, которое выступало как средство достижения политических целей. Для польской стороны – практических, для русской – утопических. Как явствует из условий соглашения, решение «русского вопроса» предусматривало соединение разрушительной силы двух гражданских мятежей, сепаратистского польского и социального русского, чтобы объединенными усилиями обеспечить катастрофу российской государственности с сопутствующими ей непредсказуемыми политическими результатами и трагическими социальными, экономическими и культурными последствиями. В результате совместно организованной искупительной катастрофы русские крестьяне обретали возможность даром получить от новой «соборной» власти барскую землю, а польская шляхта и ксендзы – государственную власть не только над Царством Польским, но и над Западной Россией[1].

Таким образом, вступление «лондонских агитаторов» и Бакунина в «революционный союз» с польскими сепаратистами сделало объединение политических врагов Российского государства свершившимся фактом[2]. Принятое соглашение стало наглядным свидетельством той откровенно враждебной и провокаторской роли, которую сыграл Герцен в истории мятежа, руководствуясь, по его словам, «любовью к русскому народу и России» [68].

Русские союзники (редакция «Колокола» и руководство «Земли и воли»), вероятно, догадывались о той незавидной роли политического инструмента, которую отводили им

ского мятежа и откровенного шельмования русской армии, русских администраторов и русского патриотизма [см. 9, с. 73–77]. Это еще раз говорит о специфическом понимании гуманизма современными идейными наследниками А.И. Герцена. Оказывается, что соучастие «Колокола» в сепаратистском мятеже и провоцировании новой русской Смуты, совместно затеваемой «во имя освобождения всех угнетенных Россией наций», считается делом прогрессивным и человеколюбивым. Усомниться в этом нельзя, так как А.А. Тесля уверен, что философ И. Берлин был совершенно прав, уверяя, будто в составе России находились «угнетенные нации». Здесь уже невольно приходится говорить и о специфически либеральном понимании истории Российской империи. В таком случае остается лишь спросить: неужели идейное подстрекательство к убийству и массовому самоистреблению русских во имя чужой свободы и будущего «свободного сотрудничества Польши и России» и есть гуманизм в либеральном его понимании, независимо от эпохи и персоналий?

[1] Идеологические представления Герцена, резко контрастирующие с реальностью территориальных претензий польской шляхты на Западную Россию, «Колокол» настойчиво внушал своим русским читателям, которые затем распространяли эти идеи в подпольных прокламациях и в изданиях «Земли и воли». Обращаясь «К русским офицерам в Польше», Герцен призывал их к государственной измене и перенесении вооруженного мятежа в глубь России, уверяя при этом, «что народ польский не враг России, а враг императорского деспотизма, что он хочет своей независимости и признает независимость других народностей, соединенных прежде с Польшей. Что Польша желает остаться в федеральном союзе со всеми народами, входившими в целость Речи Посполитой, – это совершенно естественно, и что она не может признать насильственного разделения, не отрекаясь от самобытности своей, тоже ясно» [63, с. 253].

[2] Впоследствии Герцен сожалел о том, что, следуя за Бакуниным, фактически превратил «Колокол» в идейный и информационный орган польских сепаратистов, что вызвало негативную реакцию патриотического русского общества, резко отразившись на падении авторитета «Колокола» в России [см. 21, с. 239].

сепаратисты в деле освобождения «несчастной страдалицы Польши». О подлинном отношении к своим «революционным» великорусским и малороссийским союзникам, к России и русскому народу красноречиво высказался будущий «диктатор восстания» 1863 года генерал Людвиг Мерославский в Программе восстания, составленной 1 марта 1861 года.

Не скрывая своего высокомерного и презрительного отношения к «лондонским пропагандистам», этот польский патриот откровенно заявлял: «Неизлечимым демагогам нужно открыть клетку для полета за Днепр. Пусть там распространяют казацкую гайдамачину против попов, чиновников и бояр, уверяя мужиков, что они стараются удержать их в крепостной зависимости. Должно иметь в полной готовности запас смут и излить его на пожар, зажженный уже во внутренности Москвы. Вся агитация малороссианизма пусть перенесется за Днепр; там обширное пугачевское поле для нашей запоздавшей числом хмельничевщины. Вот в чем состоит вся наша панславистическая и коммунистическая школа. Вот весь польский герценизм! Пусть он издали помогает польскому освобождению терзая сокровенные внутренности царизма <…> Пусть себе заменяют вдоль и поперек анархией русский царизм, от которого, наконец, освободится и очистится соседняя нам московская народность. Пусть обольщают себя девизом, что этот радикализм послужит для “вашей и нашей свободы”. Перенесение его в пределы Польши будет считаться изменой отчизне и будет наказываться смертью как государственная измена» [48, с. 132][1].

Подлинное политическое предназначение «польского герценизма», указанное Мерославским, требует разъяснения, так как речь идет не только об использовании русских «революционеров» для пропаганды общерусского крестьянского бунта, но и о пропаганде ими русского сепаратизма, к которой начал активно прибегать «Колокол». Русский сепаратизм стал еще одним идейным вкладом Герцена в решение «русского вопроса» для Западной России. Накануне мятежа Герцен осторожно, «не предрешая», начал заявлять о праве Литвы, Белоруссии и Малороссии на самостоятельность[2].

Рассуждая в духе передовых западноевропейских представлений о правах национальностей, Герцен указывал читателям «Колокола», как следует относиться к такому архаическому явлению, как территориальная целостность этой «отвратительной империи»: «Мы признаем не только за каждой народностью, выделившейся от других и имеющей естественные границы, право на самобытность, но за каждым географическим положением. Если б Сибирь завтра отделилась от России, мы первые приветствовали бы ее новую жизнь» [63, с. 253]. Идейно-политический инструментарий, используемый польскими сепаратистами для разрушения Российского государства, Герцен предлагал сделать универсальным, распространив его действие на большой русский народ и окраинные регионы России [35, с. 380–383].

[1] Следует заметить, что польскому патриоту трудно было удержаться от сарказма, видя, как русские «революционеры», находясь под воздействием идеологических химер, усердно выполняют чужую работу по уничтожению собственного государства. К тому же Мерославскому нельзя отказать и в известной политической проницательности относительно реального состояния «русско-польского революционного союза» и его подлинных возможностей к организации столь нужного сепаратистам крестьянского бунта в Центральной России. Как сообщает С.М. Фалькович: «Узнав о заключении союза между русскими революционерами и ЦНК на основе признания права наций на самоопределение, генерал назвал его «скользким и подозрительным союзом», «эфемерным соединением», «чистой фикцией», поставив под сомнение сам факт объединения зрелой революционности Польши с Россией, где «до сих пор глухо, понуро» [см. 69, с. 140].

[2] Куда более категоричным во взглядах на разрушение Российской империи и разделение большого русского народа представал временный союзник Герцена М.А. Бакунин. В своей брошюре «Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель», написанной в 1862 году, Бакунин заявлял: «Слава богу! наша двухвековая тюрьма, петровское государство, наконец, рушится. Никакая сила не восстановит его. Мы же сами подтолкнем его в пропасть, и воля нам! воля героической Польше! воля Белоруссии, Литве, Украйне! Пусть будет Польшею все, что хочет быть Польшею. Воля Финляндии! воля чухонцам и латышам в Остзейских провинциях! А немцам пора в Германию!» [70, с. 86].

Пропагандируя право «народностей» Литвы, Белоруссии и Малороссии на «самобытность», Герцен создавал тем самым идейное обоснование нового русского сепаратизма, так же, как и польский, направленного на разрушение Российского государства и разрыв его связи с большим русским народом [21, с. 169–171]. В действительности же гипотетическая возможность реализация такого права возникала только в случае распада и гибели государства, победы польских сепаратистов и воцарения крестьянской «махновщины» на территории Центральной России.

Итоги

Военно-политические события 1863 года стали практической проверкой идейных прожектов «русско-польского революционного союза», направленных на решение «русского вопроса». Объединенная деятельность двух враждебных России сил привела к результатам, на которые русские его участники не рассчитывали. Подняв мятеж в Царстве Польском, а затем в Литве, Белоруссии и Малороссии, подпольное «правительство» откровенно заявило, что воюет за Речь Посполитую в границах 1772 года, и что мятежники отнюдь не собираются сражаться и умирать за предоставление права на независимость русским народам восточных окраин своего будущего государства [25, с. 199–200][1]. Декларируемое Герценом право на «самобытность» для белорусов, малороссов и литовцев было решительно отброшено в сторону, что, впрочем, не помешало «Колоколу» начать ожесточенную информационную войну против правительства, защищавшего территориальную целостность Российского государства.

Совершенно не готовыми к восприятию сепаратистских идей Герцена и его единомышленников из «Земли и воли», впрочем, как и к обещаниям польской пропаганды о восстановлении церковной унии с Римом и свободном союзе «народов Польши, Литвы и Руси», оказалось и православное большинство населения Западной России. И дело не только в слабой организации пропаганды и отсутствии грамотности среди крестьянства. Малороссийское и белорусское крестьянство испытывало острую социальную ненависть к своим давним колониальным эксплуататорам – польскому дворянству и шляхте, которую сдерживала и контролировала только российская власть.

В этой связи польский мятеж воспринимался освобожденным крестьянством враждебно, как вооруженная попытка польских панов, ксендзов и униатов вновь восстановить свою политическую и церковную власть над Западной Россией [28, с. 215]. Неудивительно, что никакого доверия православного западнорусского крестьянства к пропаганде сепаратистов и его русских союзников не было. Доверие было только к царю-освободителю Александру II и Русской церкви, что и подтвердили события мятежа 1863 года, когда православное малороссийское и белорусского крестьянство выступило против притязаний польской шляхты и ксендзов на Западную Россию [72, л. 3; 8, с. 525–537; 2, с. 369; 73, с. 34–36; 38, с. 10–61].

Адресованный в первую очередь русским «союзникам» в армии и в обществе прекраснодушный и, вместе с тем, политически лицемерный лозунг «за нашу и вашу свободу», на деле вновь оказался идейным симулякром. Пропаганда, призывавшая офицеров и солдат русской армии в Польше изменить данной императору присяге и перейти на сторону врага, не принесла зримых результатов. Армия, за небольшим исключением, осталась верна императору Александру, честно и мужественно выполнив свой воинский долг [69, с. 141–142; 74, ч. 2, с. 175–176, 179, 237–238]. Жестокость, которую проявляли

[1] О целях мятежников в случае победы восстановить свое «владычество над провинциями, в которых огромное большинство населения – русское по происхождению и вере, и распространить пределы Польши до двух морей» писал князь А.М. Горчаков в дипломатическом «Ответе» на депешу лорда Росселя [71].

мятежники к захваченным в плен русским солдатам и офицерам, лишь укрепляла решимость русских воинов покончить с сепаратистским мятежом [20, с. 91–92].

Польская пропаганда, светская и религиозная, направленная на мобилизацию в мятеж населения Царства Польского и Западной России, ставила своей целью формирование образа врага из великорусов, России, и русского Православия. В связи с этим главным инструментом мобилизационной пропаганды становилась агрессивная русофобия, насаждаемая не только среди польского, но и среди литовского, белорусского и малороссийского населения. В образе внешнего российского врага, которого нужно было ненавидеть и убивать, представали пришедшие с Востока «москаль» и «схизматик» – национальные и религиозные угнетатели католической Польши и ее восточных окраин. В роли внутреннего врага, которого также следовало убивать и ненавидеть еще в большей степени, выступали законопослушные жители Царства Польского и Западной России [15, с. 27–29; 66–74; 74, ч. 1, с. 29–34; ч. 2, с. 430–431; 37, с. 31]. Как результат – в условиях мятежа русофобский посыл пропаганды, формирующей образ русского врага, и призыв к «нашей и вашей свободе» оказались несовместимыми ни идейно, ни практически.

Окончательным развенчанием лозунга «за нашу и вашу свободу» в русском обществе стал терроризм, насилия и грабежи, которые осуществлялись сепаратистами с невероятной жестокостью. Многочисленными жертвами террора в Царстве Польском и Западной России стали «внутренние враги» – мирные сельские жители, чиновники, представители православного духовенства, сохранявшие верность российской монархии [75; 76, с. 390–391; 77, с. 20–40].

Нельзя не отметить и русофобскую составляющую сепаратистской пропаганды, направленную на формирование общественного мнения Западной Европы. Польские публицисты, разжигая ненависть к России, внушали своим западноевропейским читателям, что русские – это «москвитяне», которые со дня на день готовят нашествие на Европу, что за Днепром и Двиной кончается европейский мир и начинается мир азиатский и монгольский, и что только возрожденная Польша может спасти Европу от нашествия татарского варварства [78, с. 84–86; 35, с. 281].

С началом мятежа распался и политически враждебный России «русско-польский революционный союз», делавший ставку на поддержку сепаратистского мятежа организацией социального взрыва во внутренних русских губерниях. Мятеж начался, однако несмотря на предпринимаемые «союзом» усилия, массовых крестьянских бунтов в Великороссии так и не произошло. В итоге в решении «русского вопроса» «союзники» добились обратного эффекта. Общественным ответом «своих» на угрозу вторжения иностранных войск и вызов сепаратистского мятежа, стал массовый патриотический и национальный подъем, спонтанно охвативший все сословия реформируемой России [25, с. 246–254]. Подавление мятежа, поддерживаемого дипломатией Франции, Британии, Австрии и римским папой, воспринималось императором Александром, основной частью элиты и общества как правое дело защиты Отечества и западных русских, основанное на общем понимании, что представляет собой внутренний и внешний враг, против которого предпринимались военные меры и политические решения.

Начавшееся широкое общественное движение в защиту территориальной целостности Российского государства и единства большого русского народа способствовало тому, что инициативу «революционного союза» в решении «русского вопроса» перехватили правительство Александра II и национально-патриотическая пресса. Получившая массовую поддержку со стороны русского общества и Православной церкви самодержавная монархия защитила территориальную целостность Российской империи. Связь западных русских с Российским государством, великороссами и Православной церковью была сохранена и упрочена решительной победой русских войск над сепаратистами в Малорос-

сии, Белоруссии, Литве и в Царстве Польском. С отменой колониальной эксплуатации, основанной на крепостном праве, и подавлением мятежа, были созданы необходимые условия для решения «русского вопроса» в Западной России. Обеспечение безопасности Российского государства на его западных рубежах осуществлялось теперь правительством и генерал-губернаторами Западного края – М.Н. Муравьевым и Н.Н. Анненковым на основе реформ, направленных на социально-экономическое и национально-культурное освобождение западнорусского крестьянства.

Литература

1. *Коялович М.О.* Лекции по истории Западной России. М., 1864.
2. *Батюшков П.Н.* Белоруссия и Литва: Исторические судьбы Северо-Западного края. СПб., 1890.
3. *Риттих А.Ф.* Атлас народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям. 2-е изд., испр. и доп. СПб, 1864.
4. *Катков М.Н.* Польский вопрос // 1863 год: Собрание статей по польскому вопросу, помещавшихся в «Московских ведомостях», «Русском вестнике» и «Современной летописи». Вып. 1–3. М., 1887.
5. *Аксаков И.С.* Сочинения. Т. III. М., 1886.
6. *Гильфердинг А.Ф.* Собр. соч. Т. II. СПб., 1868.
7. *Самарин Ю.Ф.* Православие и народность. М., 2008.
8. *Коялович М.О.* Шаги к обретению России. Минск, 2011.
9. *Бендин А.Ю.* Рождение «русской идеи» и ее политическая реализация в подавлении польского мятежа и реформировании Северо-Западного края России (1863–1865) // Тетради по консерватизму. 2020. № 2. С. 85–92, 104–109.
10. *Котов А.Э.* «Чад полонизма и смрад герценизма»: «Вестник Западной России» против классовой революции и сословной реакции // Тетради по консерватизму. 2020. № 2. С. 118–134.
11. *Шидловский С.О.* Из проектов И.С. Аксакова по социокультурному обустройству Северо-Западного края Российской империи // Славяноведение. 2013. № 5. С. 78–85.
12. *Шмитт К.* Понятие политического // Социология власти. 2011. № 8. С. 174–190.
13. *Мольте Р.* Польские земли под властью Петербурга: От Венского конгресса до Первой мировой. М., 2020.
14. *Корнилов А.А.* Русская политика в Польше со времени разделов до начала XX века. Пг., 1915.
15. *Брянцев П.Д.* Польский мятеж 1863 г. Вильна, 1892.
16. *Смирнов А.Ф.* Восстание 1863 г. в Литве и Белоруссии. М., 1963.
17. РГИА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 9.
18. *Гогель Н.В.* Иосафат Огрызко и Петербургский революционный ржонд в деле последнего мятежа. Вильна, 1866.
19. *Kieniewicz S*. Powstanie styczniowe. Warszawa, 1983.
20. *Айрапетов О.Р.* Царство Польское в политике империи в 1863–1864 гг. // Русский сборник: Исследования по истории России / ред.-сост. О.Р. Айрапетов, Мирослав Йованович, М.А. Колеров, Брюс Меннинг, Пол Чейсти. Т. XV. М., 2013.
21. *Сидоров А.А.* Польское восстание 1863 года: Исторический очерк. СПб., 1903.
22. *Цылов Н.И.* Сигизмунд Сераковский и его казнь с предшествовавшими польскими манифестациями в Вильне в 1861–1863 годах. Вильна, 1867.
23. Вестник Юго-Западной и Западной России. Разд. IV. Т. IV. 1863.
24. *Лясковский А.И.* Литва и Белоруссия в восстании 1863 г. (по новым архивным материалам). Берлин, 1939.
25. *Милютин Д.А.* Воспоминания. 1863–1864. М., 2003.
26. *Айрапетов О.Р.* Внешняя политика Российской империи. 1801–1914. М., 2006.
27. *Черевык К.А.* Вмешательство великих держав в польское восстание 1863 г. и позиция России // Грамота. 2019. Т. 12. Вып. 6.
28. *Бендин А.Ю.* Михаил Муравьев-Виленский: усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи. М., 2017.
29. *Белецкий А.В.* Сборник документов музея графа М.Н. Муравьева. Т. 1. Вильна, 1906.
30. Революционный подъем в Литве и Белоруссии. М., 1964.
31. Восстание 1863 года: Материалы и документы: Общественно-политическое движение на Украине в 1856–1862 гг. Киев, 1963.
32. *Ратч В.Ф.* Сведения о польском мятеже в Северо-Западном крае России. Т. I. Вильна, 1867.
33. *Татищев С.С.* Император Александр II: Его жизнь и царствование. Т. I. СПб., 1903.
34. *Герцен А.И.* Движение общественной мысли в России. М., 1907.
35. *Ратч В.Ф.* Польская эмиграция до и во время последнего польского мятежа 1831 и 1863 г. Вильна, 1866.
36. *Šliwowski R., Šliwowska W.* Герцен, поляки и польский вопрос // Cahiers du monde russe et soviétique. 1987. Vol. 28. N°2. Avril – Juin.
37. Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг.: Сборник документов. М.; Вроцлав, 1965.

38. Восстание поляков в Юго-Западной России в 1863 г. Киев, 1863.

39. *Бовуа Д.* Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914). М., 2011.

40. *Бендин А.Ю.* Роль римско-католического духовенства Северо-Западного края Российской империи в польском восстании 1863 г. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: история России. 2018. Т. 17. № 2.

41. *Шавельский Г. прот.* Последнее воссоединение с Православною Церковью униатов Белорусской епархии (1833–1839 гг.). СПб., 1910.

42. Нарыс гісторыі Польскай Дзяржавы і Народа. X–XXI стст. Варшава, 2005.

43. Виленский вестник. 1863. 23 мая.

44. *Козьмин Б.П.* Казанский заговор 1863 года. М., 1929.

45. *Гришин Я., Шарафутдинов Д.* Казанский заговор // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2009. № 2. С. 87–97.

46. *Зеньковский С.А.* Русское старообрядчество. Т. 2: Духовные движения XVII–XIX веков. Статьи. М., 2009. С. 494–530.

47. *Зайончковский П.А.* Отмена крепостного права в России. М., 1968.

48. *Корнилов А.А.* Общественное движение при Александре II (1855–1881): Исторические очерки. М., 1909.

49. История русской журналистики XVIII–XIX веков / под ред. проф. А.В. Западова. 3-е изд., испр. М., 1973.

50. *Лемке М.К.* Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». СПб., 1908.

51. Революционный радикализм в России: век девятнадцатый / под ред. Е.Л. Рудницкой. М., 1997.

52. *Сальников Е.В.* Революционеры или экстремисты: отдельные вопросы современной методологии исследования революций // История: факты и символы. 2017. № 3 (12). С. 47–54.

53. Очерки революционных связей народов России и Польши 1815–1917 / под ред. В.А. Дьякова, А.Я. Манусевича, И.С. Миллера (отв. ред.), И.А. Хренова. М., 1976.

54. *Дьяков В.А. и Миллер И.С.* Революционное движение в русской армии и восстание 1863 г. М., 1964.

55. К столетию героической борьбы «за нашу и вашу свободу»: Сборник статей и материалов о восстании 1863 г. М., 1964.

56. История дипломатии / под ред. В.П. Потемкина. Том первый. М., 1941.

57. *Белявская И.М.* А.И. Герцен и польское национально-освободительное движение 60-х годов XIX века. М., 1954.

58. Колокол. М., 1962.

59. Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917 / под ред. В.Г. Тюкавкина. М., 1990.

60. Житомир в 1861 и 1866 годах // Русский вестник. 1866. № 8. Т. 64. С. 585–615.

61. *Омелянский Л.* Курьезы из времени последнего польского восстания // Исторический вестник. 1896. Т. LXIII. С. 267–277.

62. *Кудряшев В.Н.* А.И. Герцен и М.А. Бакунин о «польском вопросе» (40–60-е гг. XIX в.) // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 326.

63. *Герцен А.И.* Статьи из «Колокола» и другие произведения 1862–1863 годов / А.И. Герцен // Собр. соч.: в 30 т. Т. XVI. М., 1959.

64. Колокол. 1863. 1 октября.

65. *Герцен А.И.* Статьи из «Колокола» и другие произведения 1861 года / А.И. Герцен // Собр. соч.: в 30 т. Т. XV. М., 1958.

66. *Тесля А.А.* «Польский вопрос» в публицистике А.И. Герцена (в первые месяцы 1863 года) // Ученые заметки ТОГУ. 2016. Т. 7. № 3 (2). С. 80–84.

67. *Линков Я.И.* Революционная борьба А.И. Герцена и Н.П. Огарева и тайное общество «Земля и воля» 1860-х гг. М., 1964.

68. Колокол. 1863. 15 декабря

69. Польское Январское восстание 1863 года: Исторические судьбы России и Польши / отв. ред. Н.А. Макаров. М., 2014.

70. *Бакунин М.* Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель / М. Бакунин // Избранные сочинения: Федерализм, социализм и антитеологизм. Т. III. Пг.; М., 1920.

71. Виленский вестник. 1863. 13 июля.

72. ЛГИА. Ф. 439. Оп. 1. Д. 43.

73. *Миловидов А.И.* К 50-летию освобождения крестьян Северо-Западного края. Вильна, 1911.

74. Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Переписка о военных действиях с 10-го января 1863 года по 7-е января 1864 года / сост. А.И. Миловидов. Вильна, 1913–1915.

75. *Павлищев Н.И.* Седмицы польского мятежа 1861–64 гг.: в 2 ч. СПб., 1887.

76. «Готов собою жертвовать…»: Записки графа М.Н. Муравьёва об управлении Северо-Западным краем и об усмирении в нем мятежа 1863–1866 годов. М., 2008.

77. *Дюков А.Р.* «Кто против польского правительства, тому огонь и виселица»: Повстанческий террор 1863–1864 гг.в Царстве Польском и Северо-Западном крае Российской империи // Белорусский исторический обзор. 2021. № 2 (5).

78. *Прудон П.* О польском вопросе // Сборник статей, разъясняющих польское дело по отношению к Западной России / сост. С. Шолкович. Вильна, 1885.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с выявлением идейно-политического содержания и взаимосвязи «польского» и «русского вопроса» в 1861–1863 годах. В этой связи дан анализ трех подходов к идейно-политическому решению «русского вопроса»: польского сепаратизма, русских радикалов и экстремистов в России, А.И. Герцена и эмигрантов, объединенных вокруг лондонского «Колокола». Выявлены общие для трех подходов идейные основания, стратегические цели и тактические приемы решения «русского вопроса» в рамках заключенного «русско-польского революционного союза». Показано, что идейно-политическая общность этого «союза» была основана на признании необходимости победы польского сепаратизма, разрушения Российского государства и разделения большого русского народа. Инструментом разрушения наряду с сепаратистским мятежом в Царстве Польском и Западной России становились провоцируемые «революционной» пропагандой крестьянские бунты в Центральной России. Научная новизна исследования заключается в выявлении угроз безопасности Российского государства и большого русского народа, исходящих от «русско-польского революционного союза». В заключение показана реакция православного западнорусского населения и великорусского общества на угрозу иностранной интервенции, вызов вооруженного мятежа и способы решения «русского вопроса», предпринимаемые участниками «революционного союза».

Ключевые слова: Царство Польское, Западная Россия, Российское государство, «русский вопрос», «польский вопрос», сепаратизм, мятеж, крестьянский бунт, политический враг, радикалы, экстремисты, «русско-польский революционный союз», «Колокол», западно-русский исторический дискурс.

Alexander Yu. Bendin, PhD in History, Professor, Department of Theology, Institute of Theology, Belarusian State University. E-mail: abendin@yandex.ru

“Russian Issue” Solution by the Polish Separatists and Russian Revolutionaries” in 1861–1863

Abstract. In the article the author examines the issues related to the exposure of the ideological and political content and interdependence of the “Polish” and “Russian issues” in the years of 1861–1863. Thereupon the author analyzes the three approaches to the ideological and political solution of the “Russian issue”: that of the Polish separatists, Russian radicals and extremists in Russia and that of A.I. Herzen and the emigrants united around the “Kolocol” (“Bell”) magazine published in London. He reveals the ideological principles, strategic goals and tactical methods common for the three approaches employed to sole the “Russian issue” in the context of the concluded “Russian-Polish revolutionary union”. The author shows that te ideological and political commonness of that “union” was based on the recognition of the necessity of Polish separatism victory, Russian state destruction and disintegration of large Russian nation. And the instruments for reaching those goals besides the separatist uprisings in the Kingdom of Poland and Western Russia were the peasant revolts in Central Russia provoked by “revolutionary” propaganda. The scientific novelty of the research consists in revealing the threat for the Russian state and Russian nation security posed by the “Russian-Polish revolutionary union”. To conclude, the author shows the reaction of Western-Russian Orthodox population and the Great Russian nation to the threat of foreign intervention, the challenge of armed rebellion and methods of the “Russian issue” solving brought about by the members of the “revolutionary” union.

Keywords: Kingdom of Poland, Western Russia, Russian State, “Russian Issue”, “Polish Issue”, Separatism, Mutiny, Peasant Revolt, Political Enemy, Radicals, Extremists, “Russian-Polish Revolutionary Union”, “Kolocol”, Western-Russian Historical Discourse.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-203-220

Виталий Даренский

Польское восстание 1863 года в историософии Ф.И. Тютчева

Это чисто личный спор между Россией и ее будущностью.

Ф.И. Тютчев

Среди русских мыслителей – современников польского восстания 1863 года особое место принадлежит Ф.И. Тютчеву[1]. В наши дни нового военного противостояния с Западом, воюющего против России руками своего вассала, как это было и в 1863 году, многие люди обращаются к стихотворению Ф.И. Тютчева, написанному как реакция на это событие и так потрясающему современного читателя своей актуальностью и пророческим смыслом:

Ужасный сон отяготел над нами,
Ужасный, безобразный сон:
В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон.

Осьмой уж месяц длятся эти битвы,
Геройский пыл, предательство и ложь,
Притон разбойничий в дому молитвы,
В одной руке распятие и нож.

И целый мир, как опьяненный ложью,
Все виды зла, все ухищренья зла!..
Нет, никогда так дерзко правду Божью
Людская кривда к бою не звала!..

И этот клич сочувствия слепого,
Всемирный клич к неистовой борьбе,
Разврат умов и искаженье слова –
Все поднялось и все грозит тебе,

[1] Осмысление Ф.И. Тютчевым польского восстания 1863 года до настоящего времени еще не было предметом специального анализа: можно указать лишь на работы Э. Задорожнюк, Б.Н. Тарасова и В.А. Твардовской, которые вскользь касаются этой темы [6, 13, 15].

Даренский Виталий Юрьевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии Луганского государственного педагогического университета. E-mail: darenskiy1972@rambler.ru

О край родной! – такого ополченья
Мир не видал с первоначальных дней...
Велико, знать, о Русь, твое значенье!
Мужайся, стой, крепись и одолей!

В этом стихотворении, возникшем в ответ на конкретное событие, поэт сумел в частном явлении прозреть вечную судьбу России как страны, борющейся с міровым злом в его разнообразных воплощениях. Однако Ф.И. Тютчев откликнулся на польское восстание 1863 года не только этим гениальным стихотворением, пророческий смысл которого стал в полной мере понятен только в наше время, но и рядом высказываний в частной переписке. Некоторые из них никогда не публиковались в научных изданиях его текстов по причине их «неполиткорректности» по отношению к полякам. Так, письма Тютчева к жене Эрнестине были опубликованы только однажды в 2003 году в журнале «Наш современник» – и только благодаря тому, что их туда передал В.В. Кожинов, имевший доступ к архивным материалам во время своей работы над книгой о Тютчеве для серии «Жизнь замечательных людей» (эта книга Кожинова уже сама стала классикой). В частности, в одном из этих писем есть такое «скандальное» высказывание: «Во внутренней политике Муравьев продолжает творить чудеса. Я только что читал самый покорный и верноподданнический адрес, подписанный 500 дворянами-помещиками Виленской губернии. Какое, однако, жалкое отродье эти поляки, несмотря на всю их храбрость» (1 августа 1863 года) [16, с. 29]. Почему Ф.И. Тютчев называет поляков «жалким отродьем»? Непосредственно потому, что они очень легко пошли на верноподданническое примирение, как только поняли, что из их затеи ничего не выйдет. При этом они не смущались тем, что до этого по их вине творились зверства, и погибло много людей.

Для понимания контекста такого радикального высказывания приведем еще фрагменты писем Федора Ивановича, в которых описывается важная эмпирическая конкретика. Так, 19 мая 1863 года он писал о поляках: «Эти милые люди имели наивность изъявить претензию, чтобы, в случае совершения одним из них политического преступления, он был судим особым судом. Муравьев ответил им, что не видит никакого основания для подобного преимущества и что, в случае доказанной измены, священник будет повешен, как и всякий другой. Говорят, что это произвело на них сильное впечатление… Становится все более очевидным, что продлению беспорядка способствовала до сих пор чрезмерная безнаказанность. На этот счет рассказывают прямо невероятные вещи» [16, с. 21]. Пример тому можно узнать из письма от 8 июня: «Недавно богатый польский помещик вздумал в своем имении повесить православного священника на воротах своего замка. Немедленно отдан был приказ провести плугом по этому месту и посеять там соль – что и было исполнено. И рота, которой была поручена эта разрушительная работа, отслужила панихиду по бедному повешенному священнику и сделала складчину в пользу его вдовы и детей, причем собрали 80 рублей… Припадок ярости и сумасшествия всей этой нации представляет что-то невероятное. Так, например, один мой знакомый поляк, сильно обрусевший, рассказывал мне недавно, что он ездил навестить родственников в Минской губернии, кажется. Это были кузины, которые потеряли уже четверых братьев в восстании. Когда он явился, они были убеждены, что он присоединился к бандам, но убедившись, что это вовсе не его намерение, они повернули ему спину и порвали всякие сношения с ним. В Киевской губернии матери-польки посылают четырнадцатилетних детей в банды, чтобы служить освобождению отчизны, – и сейчас же сельское население убивает их. Таким образом, при помощи иноземной войны есть всякое вероятие думать, что целая нация будет истреблена» [16, с. 23].

Таким образом, Тютчев называет польское восстание сумасшествием в первую очередь потому, что оно истребляет сам польский народ. Кроме того, он исходит из того факта, что это не восстание польского народа, а именно сословное восстание шляхты за свои

привилегии, которые, впрочем, они даже и не теряли при вхождении в состав Российской Империи. Как известно, с 1815 по 1830 год Царство Польское de facto было отдельным государством, формально объединенным с Империей только лишь монархической унией, – русский император был одновременно и польским царем, но Польша была полностью свободна во всем, кроме внешней политики. Эту фактическую независимость Польша отчасти утратила – и только по собственной вине – после восстания 1830 года: пришлось ввести наместничество, которое также фактически ничего не меняло в ее внутреннем самоуправлении. От такого положения дел имел большую выгоду польский народ, который наконец-то получил спокойную мирную жизнь после нескольких веков беспредела шляхты. Но шляхта была оскорблена в своей гордыне. Именно эта гордыня – антихристианское бесовское чувство – и было причиной ее восстаний.

Тютчев увидел в этом восстании фундаментальный историософский смысл, проливающий свет на всю мировую судьбу России – именно потому, что здесь столкнулось два диаметрально противоположных понимания сути государственности как таковой: гордое антихристианское, представленное бунтом поляков, и христианское у России, основанное на принципе служения высшим ценностям любви и братства, а не собственной гордыне. Первым на это обратил внимание В.С. Соловьев в своей статье о Тютчеве, где он так пишет о его «прекрасном стихотворении «На взятие Варшавы». В своей борьбе с братским народом Россия руководилась не зверскими инстинктами, а только необходимостью «державы целость соблюсти», для того, чтобы

Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленную рать.

И это высшее сознанье
Вело наш доблестный народ
Путей небесных оправданье
Он смело на себя берет.

Он чует над своей главою
Звезду в незримой высоте
И неуклонно за звездою
Идет к таинственной мечте.

Эта вера в высокое призвание России возвышает самого поэта над мелкими и злобными чувствами национального соперничества и грубого торжества победителей. Необычной у патриотических певцов гуманностью дышат заключительные стихи, обращенные к Польше:

Ты ж, братскою стрелой пронзенный,
Судеб свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер.

Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода
Как феникс возродится в нем» [12, с. 119].

В.С. Соловьев хорошо сформулировал и мировоззренческую основу такого взгляда: «Как по словам одного учителя Церкви, душа человеческая по природе христианка, так Тютчев считал Россию по природе христианским царством. Так как смысл истории в христианстве, то Россия, как страна по преимуществу христианская, призвана внутренно обновить и внешним образом объединить все человечество» [12, с. 116]. Сам Ф.И. Тютчев свой взгляд основывал не только на евангельском понимании задачи государства, но и на особых качествах русского православного народа. В письме жене Эрнестине от 23 октября 1863 года он утверждал: «…ведь правда, что нигде, кроме как в России, не встретишь христианства столь коренного, христианства столь непосредственного, христиан, которые не воспитываются, а сами рождаются. Так же как дивные голоса в Италии» [16, с. 50].

Еще ранее у Тютчева было очень показательное стихотворение «От русского по прочтении отрывков из лекций г-на Мицкевича» (1842):

Небесный царь, благослови
Твои благие начинанья –
Муж несомненного призванья,
Муж примиряющей любви…

Недаром ветхие одежды
Ты бодро с плеч своих совлек.
Бог победил – прозрели вежды.
Ты был Поэт – ты стал Пророк…

Мы чуем приближенье Света –
И вдохновенный твой Глагол,
Как вестник Нового завета,
Весь Мир Славянский обошел…

Мы чуем Свет – уж близко Время –
Последний сокрушен оплот, –
Воспрянь, разрозненное племя,
Совокупись в один Народ –

Воспрянь – не Польша, не Россия –
Воспрянь, Славянская Семья! –
И, отряхнувши сон, впервые –
Промолви слово: «Это я!» –

Ты ж, сверхъестественно умевший
В себе вражду уврачевать, –
Да над душою просветлевшей
Почиет Божья Благодать! [10, с. 173].

В этом стихотворении наиболее ясно выразилось то христианское имперское сознание, которое легло в основу его отношения к польским событиям. Важно понять сам феномен Ф.И. Тютчева как поэта Империи, то есть как поэта, выразившего особый опыт имперской истории и души. Империя как высшая историческая форма бытия нации является не только феноменом политическим, социально-экономическим, военным и локально-цивилизационным, но и феноменом духовно-экзистенциальным.

Последний составляет основание всех остальных, поскольку без культивирования особого человеческого типа, который может быть назван имперским, создание имперских

политических, экономических, цивилизационных и других структур в принципе невозможно. Он является их живым носителем, который иначе и не мыслит свою историческую и нравственную самореализацию. В свою очередь, падению всех великих империй всегда предшествует иссякание и почти полное исчезновение этого человеческого типа. Современный кризис подлинной имперскости является в первую очередь культурно-антропологическим кризисом, кризисом определенного экзистенциального типа человека, способного к великим историческим свершениям, конечным выражением которых всегда являлось создание имперской государственности и имперского типа культуры.

Важнейшим источником познания имперского народа и личности являются великие культуры, созданные их представителями, в частности художественная литература. Все великие литературы были имперскими литературами – они выражали тот же самый подвижнический дух, который двигал создателями великих государств. И это естественно, поскольку Империя всегда основана на том, что утверждает героический и творческий человеческий идеал и поэтому осознает уникальность своей исторической миссии. Отражением имперского сознания Ф.И. Тютчева в его поэзии считаются в первую очередь произведения, написанные «на злобу дня», являющиеся непосредственным откликом на важные исторические события, происходившие при его жизни. Особенно значительным в этом отношении является стихотворение, обращенное к либералу К.В. Нессельроде («Нет, карлик мой, трус беспримерный...»), касающееся «вопроса о проливах», который для России был вопросом не геополитическим, а духовным – вопросом о наследии Византии, о судьбе Константинова Града, а значит, и вопросом о предназначении России, воспринявшей преемство Православного Царства. В этом стихотворении есть слова: «То, что обещано судьбами / Уж в колыбели было ей / Что ей завещано веками / И верой всех ее Царей... / Венца и скиптра Византии / Вам не удастся нас лишить! / Всемирную судьбу России – / Нет, вам ее не запрудить!..».

Это однозначное указание на *всемирную судьбу*, которая вместе с тем обещана «в колыбели», не может возникнуть в качестве простого обобщения исторического пути, сделанного «задним числом», но в первую очередь является проявлением особого типа исторического сознания, свойственного только человеку и поэту Империи. При другом типе этого сознания никакой всемирной судьбы с колыбели у России узреть невозможно, но не потому, что его нет, а потому, что для этого требуется особый орган видения и понимания исторических фактов и явлений, особая экзистенция целостной личности, этот орган и это видение формирующая. Это и есть экзистенция Империи в ее индивидуальном проявлении, отсутствие которой делает человека поистине слепым по отношению к самым глубоким и самым важным смыслам истории своей нации и человечества в целом. Такая слепота по отношению к историческому бытию России как Империи была свойственна очень многим российским поэтам, что особенно проявилось в их текстах, появившихся в 1905 и в 1917 годах. На этом фоне имперское поэтическое мышление Ф.И. Тютчева, как и ранее А.С. Пушкина, становится понятным во всем его величии и благородной исключительности.

Историософия Ф.И. Тютчева впервые была сформулирована в статьях о. Георгия Флоровского «Исторические прозрения Тютчева» и «Тютчев и Владимир Соловьев». В них было проанализировано экзистенциальное основание историософского мышления поэта, «православный империализм Тютчева». По утверждению о. Георгия, «Можно без преувеличения сказать, что Тютчев – ключ к Достоевскому, поскольку речь идет об историософском предвидении» [20, с. 234]. В свою очередь, Н.А. Бердяев в книге «Русская идея» утверждает, что «у Тютчева было целое обоснованное теократическое учение, которое по грандиозности напоминает теократическое учение Вл. Соловьева» [2, с. 117]. В 1854 году поэт напишет пламенные провидческие строки, также звучащие в наше время с особой актуальностью:

Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное…

Ложь воплотилася в булат;
Каким-то Божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем…

Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы!

Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, –
Ты – лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!

О, в этом испытанье строгом,
В последней, в роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед Богом.

Ограничение внимания только на политических стихотворениях Ф.И. Тютчева для понимания его как поэта Империи является ошибочным. Во-первых, такое ограничение дает возможность идеологам русофобии утверждать, что эти стихотворения якобы не более чем «дань предрассудкам времени». Ложность последнего тезиса не требует особых доказательств, поскольку в своих политических стихотворениях Ф.И. Тютчев высказывал отнюдь не ходячие предрассудки, но глубоко выстраданные и продуманные личные мысли, изложению которых он посвятил свои публицистические труды. Душа человека Империи как характеристика личности и народа ни в коем случае не сводится к их политическим или даже историософским взглядам, но глубоко входит во все их мировосприятие. Поэтому самую глубинную сущность человека Империи следует искать не в политических стихотворениях поэта, а в его главных, вершинных творениях, в которых он раскрывает свое переживание вечных устоев бытия – Космоса, Народа, Правды и своей обращенности к Богу. Именно в этих стихотворениях и в их смысловой соотнесенности между собой следует искать «формулу» души и духа имперской личности и народа. А стихотворная реакция на исторические события оказывается проявлением этого глубинного мироощущения. Об этом сам Ф.И. Тютчев ясно и недвусмысленно говорит во многих своих стихотворениях, но особенно в строфе, под которой мог бы подписаться каждый христианин: «Пускай страдальческую грудь / Волнуют страсти роковые, – / Душа готова, как Мария, / К ногам Христа навек прильнуть». «Страсти роковые» побеждаются только жизнью во Христе, и опустошенность души человека Нового времени у Ф.И. Тютчева преодолевается только возвращением ко Христу: «Растленье душ и пустота, / Что гложет ум и в сердце ноет, – / Кто их излечит, кто прикроет?.. / Ты, риза чистая Христа…»

Этимологически слово “imperium” обозначало область распространения чьей-либо воли; соответственно, слово “imperator” первоначально применялось к удачливым военачальникам, обладавшим особой волевой харизмой. Перенос этой терминологии в намного более широкий контекст – для обозначения особого типа государственного устройства

и правления – был связан с необходимостью отличить их от обычных государственных образований типа полисов и небольших царств, представлявших собой, по сути, просто самоорганизацию местных территориальных общин. Поэтому термин “imperium” по отношению к ним совершенно избыточен – это образование, не связанное напрямую с достижением каких-либо прагматических выгод для ее населения (хотя впоследствии они оказывались очень существенны – и для провинций не менее, чем для метрополии), – это в первую очередь деяние чистой воли, проявление исторической свободы личности и народа, действующих за пределами естественной необходимости, движимых принципиально непрагматическими, ценностными мотивами. Поэтому глубоко закономерно, что именно империи были создателями новых форм свободы в обществе и культуре: преодоление рабовладения, победа Христианства в Римской империи; институты прав личности, созданные в Британской и Французской империях, наконец, самое глубокое раскрытие духовной свободы в русской литературе и философии. Человек Империи как таковой никогда не действует, исходя лишь из естественной необходимости и выгоды, но в первую очередь – из чувства долга, из императива наполнения жизни новым ценностным содержанием. Поскольку же императив (понятие, однокоренное слову «империя») всегда универсалистичен, то имперское деяние стремится охватить всю ойкумену.

Еще в античную эпоху человек Империи формируется именно как особый духовный тип, о котором А.Ф. Лосев писал следующим образом: «Мелкие полисы объединялись в огромные монархические организации... а для обслуживания такой разросшейся государственной системы понадобилась и тонко развитая личность», но «однажды вызванная к жизни новой общественно-экономической основой, личность уже не могла ограничиваться только государственными функциями. Она тут же начинала углубляться уже в свое собственное, чисто субъективное самочувствие», и чем больше развивалась имперская государственность, «тем больше крепли углубленная и утонченная лирика и весьма изощренный эстетический вкус. При этом, как всегда, лирики презирали государственных дельцов, а эти последние ставили ни во что лириков; а тем не менее те и другие были продуктом одного и того же развития... требовавшего для себя уже не наивной, но глубоко развитой человеческой личности и активного самоутвержденного субъекта» [11, с. 409–410]. Древний Рим породил своего имперского поэта – Вергилия, осмыслившего особое призвание римского народа («Пусть другие тоньше выкуют дышащую бронзу, живыми выведут облики из мрамора, лучше будут говорить речи, тростью расчертят движение небес и предскажут восходы светил – ты же, римлянин, помни державно править народами, и будут искусства твои: налагать обычаи мира, щадить покоренных, а заносчивых смирять оружием» (Эн. VI, 847–853)) и выразившего имперский дух всемирного по размаху деяния древних римлян в «Энеиде». Как пишет М.Л. Гаспаров, «эти слова замечательны: поэт говорит о Риме, но в поле его зрения – весь круг земной… Эгоцентризма (на этот раз национального) нет и здесь. Римляне – народ избранный, но не потому, что он лучше других, а потому, что он способнее поддерживать мирное единство всех остальных народов» [4, с. 144].

В свою очередь, в Ф.И. Тютчеве эти выделенные А.Ф. Лосевым два продукта имперской государственности – политик и лирический поэт – объединились в одной личности (это происходило и у А.С. Пушкина, но ранняя смерть помешала ему вполне проявиться как государственному мужу). Вместе с тем, наиболее важной и специфической чертой имперского духа в поэзии Ф.И. Тютчева является та, которая рождена христианским пониманием подлинной Империи как Православного Царства. Именно это понимание в своей не догматической, но утонченно-поэтической форме манифестировано в гениальном стихотворении «Эти бедные селенья...». В нем имперское призвание русского народа осмыслено и пережито не в историософских абстракциях, но путем подлинного наития, мгновенного прозрения в то, что являет нам «грубая плоть» его конкретно-исторического

бытия. Смысл стихотворения чрезвычайно прост и именно поэтому вызывает недоумение у читателей, отчужденных от традиционного народного сознания. «Бедность» селений, «скудость» природы и соответствующее им «долготерпение» тягот земного бытия как основная нравственная черта народа поняты здесь не как «естественноисторические» и природные факторы, но как духовные категории, явственно свидетельствующие об особой направленности исторического бытия народа, конкретно выраженной в выборе именно таких условий и такого подвига. Естественно, что эти путь и выбор сути национального бытия не могут быть обоснованы только отчужденно-рассудочным способом (хотя рациональные аргументы выбора при этом нисколько не отрицаются), но в основе своей они результаты и дары подвига, поэтому к ним можно лишь свободно и героически приобщиться, но отнюдь не взять и усвоить их как нечто данное и готовое.

А это приобщение есть всегда результат нравственного выбора и особого духовного прозрения человека, не способного ограничивать свою жизнь исключительно прагматическими целями, но чающего высшего призвания. В сюжете стихотворения этот закон духовного бытия человека и нации выражен одним немыслимо емким словосочетанием о способе того прозрения, о котором было сказано выше, – «тайно светит». Тайное свечение – это тот способ явленности самых глубоких законов бытия, которые определяют подлинное бытие человека, в отличие от низменной навязчивости повседневных фактов. «Гордый взор» человека, желающего, чтобы ему все было обеспечено и дано, не соответствует подлинному человеческому бытию, а потому он «не поймет и не заметит» самого главного, для чего стоит жить. Тем самым Россия здесь показана именно как страна, в максимально неприкрытой и потому особо беззащитной форме являющая извечные законы общечеловеческого бытия.

Выбор смиренного долготерпения как сущности национального бытия, естественно, не может произойти на каких-либо иных основаниях, кроме православно-христианских. А поскольку сама способность к смиренному несению своего креста всегда есть дар благодати, то образ Царя Небесного, ходящего по Русской земле и благословляющего ее на этот подвиг, имеет в стихотворении отнюдь не условно-метафорический, а подлинный духовно-реалистический смысл. И Царь Небесный ходит по Руси именно «удрученный ношей крестной» – тем самым путь Руси и русского народа прозревается как подобие пути Христа на Голгофу. (Весьма важно и то, что само слово «долготерпение», характеризующее у Ф.И. Тютчева основную нравственную черту русского народа, – взято из языка Св. Церкви, именующей Христа долготерпеливым). Соответственно, имперское призвание русского народа, по поэтическому прозрению Ф.И. Тютчева, основано не на силовом самоутверждении и корысти («на Западе империя всегда была основана на грабеже и узурпации власти», – писал поэт в одном из своих трактатов), но, наоборот, – на том, что русский народ способен к большему смирению, чем другие. И не просто смирению, а смиренному несению света Истины в мир, которое не может по своей сути не быть подобным крестному пути на Голгофу. Как писал об этом стихотворении известный русский философ С.А. Аскольдов, в нем Ф.И. Тютчев «понял, что это долготерпение было не простое усилие воли… но именно крест, носимый во имя Христа и мистически сливающийся с Его крестной ношей… Да, слово “рабская” не было позорной кличкой для России былых времен, поскольку это рабство как-то отождествлялось с “рабским видом” Христа. И эту тайну слияния если не понимало, то, несомненно, чувствовало народное сознание» [1, с. 41]. Трагичность и катастрофизм русской истории свидетельствуют как раз о том, что русский народ не изменяет своему подлинному призванию. Таким и должен быть путь Православного Царства как истинной Империи, в отличие от западных лжеимперий, основанных на принципе корысти.

Логика духовных явлений, к числу которых относится и Православная Империя (а ее эмпирическое бытие может быть далеко не адекватным своей духовной сущности, о чем почти с отчаянием писал Ф.И. Тютчев в своих письмах), не может быть логикой приземленного ума и корыстного рассудка, но открывается только в целостном познании всего духовного разума человека, формирующегося на основе смиренного служения Истине, что возможно только в единстве с соборным сознанием Св. Церкви. Именно об этом знаменитое стихотворение «Умом Россию не понять...». Действительно, «умом» в нем назван тот приземленный, гордый и корыстный рассудок, которым привыкли смотреть на Россию европейцы и местные либералы. Но это не тот «орган», которым можно понять духовно-историческое предназначение России. Здесь требуется именно та действенная вера, в которой рассудок соединен с нравственным чувством и целостным духовным познанием исторических явлений.

«В Россию можно только верить» – в первую очередь в том смысле, что цель и сущность исторического бытия России как Православного Царства не дана нам как нечто готовое и неизменное, но задана как предмет и цель постоянных усилий, как особый подвиг несения креста Правды в мир, составляющий суть подлинного имперского бытия. Как известно, «вера без дел мертва есть», вера есть деятельный подвиг, ежемгновенное свободное усилие, а отнюдь не состояние пассивной созерцательности. И только на основе такой веры, говорит нам Ф.И. Тютчев, и возможно бытие России, достойное ее вечного призвания. Экзистенциальной противоположностью подлинной Империи являются не только корыстные лжеимперии Запада, но и национальные государства, озабоченные исключительно достижением материального «процветания», своим комфортом и безопасностью. В обоих указанных случаях суть этих государств – в служении не Богу и его вечной Правде, но «Маммоне» и своему эгоизму. Поэтому борьба православной Империи со своими врагами в экзистенциальном плане предстает как борьба Добра и Зла, сил Света и сил Тьмы – совершенно независимо от личных качеств и личных целей людей, которые в ней участвуют с обеих сторон. Отсюда столь эсхатологичное восприятие Ф.И. Тютчевым достаточно локального явления – польского восстания 1863 года.

Приведенное выше высказывание Тютчева о поляках как «жалком отродье» на первый взгляд может показаться оскорбительным по отношению к полякам вообще, а тем более по отношению к участникам восстания, именуемого якобы «национально-освободительным». Однако на самом деле это было не национальное, а сословное восстание шляхты, боровшейся только за свои привилегии, то есть фактически из-за корыстных побуждений, прикрытых «патриотической» риторикой и с самого начала основанной на предательстве – расчете на помощь Запада. Именно эта неспособность к имперскому служению высшим ценностям, ослепление корпоративно-эгоистическими интересами (в том числе национальными и особенно сословными, как у шляхты, поднявшей восстание) и вызывает такое нравственное отторжение у Ф.И. Тютчева.

В этом отношении польское восстание стало самым ярким выражением нового духа Европы, отступающей от христианства и уже исповедующей неоязыческое «человекобожие», то есть самообожествление человека. В 1873 году Тютчев писал: «Что меня наиболее поражает в современном состоянии умов в Европе, это… обоготворение человека человеком, – это все та же человеческая воля, возведенная в нечто абсолютное и державное, в закон верховный и безусловный. Таковою проявляется она в политических партиях, для которых личный их интерес и успех их замыслов несравненно выше всякого иного соображения» [17, с. 222].

Западный оппонент Тютчева, знаменитый историк Жюль Мишле в 1851 году писал о тютчевской позиции: «Против кого направлен этот крестовый поход? Против демократического индивидуализма» [цит. по: 8, с. 195]. Но Тютчев уже заранее ответил на это

возражение в 1849 году в набросках первой главы своего трактата: «Как хотите вы, чтобы человеческое я, эта определяющая частица современной демократии, не сделало себя предметом идолопоклонства, и поскольку, в сущности, оно вовсе не обязано признавать иную власть, кроме своей, то кого же должно оно обожествлять, как не самого себя? Если б оно не поступало так, то, право, с его стороны это являлось бы чрезмерной скромностью. Согласимся же, что Революция, до бесконечности разнообразная в своих степенях и своих проявлениях, едина и тождественна в своем принципе, и из этого-то принципа – надобно же в том признаться – и вышла вся нынешняя цивилизация Запада» [17, с. 166]. Он утверждал, что во главе оказалось «меньшинство западного общества», которое как раз, по его словам, «порвало с исторической жизнью масс и отрешилось от всех положительных верований... Безымянный этот люд во всех странах одинаков. Это личности, которым свойственен индивидуализм, отрицание» [17, с. 167].

Во введении к своему трактату «Россия и Революция» Тютчев очень четко определяет антихристианскую Революцию как закономерный итог всей истории Европы: «Революция, если рассматривать ее с точки зрения самого ее существенного, самого элементарного принципа, – чистейший продукт, последнее слово, высшее выражение того, что <...> принято называть цивилизацией Запада. Это современная мысль, во всей своей цельности <...> Мысль эта такова: человек, в конечном счете, зависит только от себя самого <...> Всякая власть исходит от человека; все, провозглашающее себя выше человека, – либо иллюзия, либо обман. Словом, это апофеоз человеческого я в самом буквальном смысле слова. Таково, – и кто же не знает этого? кредо революционной школы; но разве, серьезно говоря, общество Запада, цивилизация Запада имеет иное кредо?» [17, с. 151].

Это обусловлено исторически. Начало того отступления Запада от христианства, которое привело к Революции как апофеозу восстания против Христа, уже изначально было заложено в отпадении Запада от Православия. В статье «Папство и Римский вопрос» Тютчев писал: «Скоро исполняется восемь веков с того дня, как Рим разорвал последнее звено, связывавшее его с православным преданием Вселенской церкви, Рим, отделившись от единства, счел, что он имеет право в интересе, который он отождествил с интересом самого христианства, устроить это Царство Христово как царство мира сего <...> Рим, конечно, поступил не так, как протестантство: он не упразднил христианского средоточия, которое есть церковь, в пользу человеческого, личного я; но зато он проглотил его в римском я» [17, с. 161]. И поэтому «Революция <...> есть не что иное, как апофеоз того же самого человеческого я, достигшего до своего полнейшего расцвета» [17, с. 164].

Отпав от Православной Церкви, Запад упорно старался не замечать ее и созданную ею цивилизацию. В письме «Россия и Германия» Тютчев отмечал: «В течение целых столетий Европейский Запад с полнейшим простодушием верил, что не было и не могло быть другой Европы, кроме его <...> Чтобы <...> существовала другая Европа, восточная Европа, законная сестра христианского Запада <...> чтобы существовал там целый мир, единый по своему началу, солидарный в своих частях, живущий своею собственной органическою, самобытною жизнью, – этого допустить было невозможно <...> Долгое время это заблуждение было извинительно; в продолжение целых веков созидающая сила оставалась как бы схороненной среди хаоса; ее действие было медленно, почти незаметно; густая завеса скрывала тихое созидание этого мира... Но, наконец, когда судьбы свершились, рука исполина сдернула эту завесу, и Европа Карла Великого очутилась лицом к лицу с Европою Петра Великого!» [17, с. 112]. Однако это определение Тютчевым России как «другой Европы» следует понимать в том точном контексте, в котором употреблял это выражение сам Тютчев, и не приписывать ему современный смысл, как это делают некоторые в наше время, пытаясь даже представить Тютчева как едва ли не «западника» [7]. На самом же деле здесь Тютчев употреблял слово «Европа» еще в традиционном – не

политическом, а религиозном смысле – как синоним понятия «христианский мир» (в этом же смысле употреблял термин «Европа» и Пушкин в своих записях). Тем самым он пишет о России именно то, что Европа лицемерно не хотела никогда считать ее частью христианского мира, насильно выталкивая к «варварам». И это происходило не из-за невежества Европы, о котором Пушкин высказал свой знаменитый афоризм, а с вполне сознательным лукавством. Ибо для Европы признать Россию частью своего христианского мира автоматически означало расстаться с собственной претензией на гегемонию.

События в Польше 1830 и 1863 годов заставили-таки Европу понять, что время ее гегемонии прошло, Россия стала сверхдержавой, равновесной всей Европе в целом. Именно осознание этого факта и приводило в бешенство европейских политиков и идеологов, а вовсе не их лицемерное сочувствие Польше. Впервые Европе это пришлось понять еще раньше – во время Венского конгресса 1815 года, на котором русский царь был главной силой и решал вопросы границ и общеевропейской безопасности. Причем делал это Александр I исходя именно из общеевропейских интересов, а не только из интересов России. Такой подход был настолько чужд европейцам, что фраза царя «То, что нужно для Европы, и составляет право» [14, с. 208] шокировала Талейрана, который смог ответить на нее только демагогией.

О самой истории роста России в течение веков Тютчев писал, что в конце концов «не могла не уясниться действительная причина этих быстрых успехов, этого необычайного расширения России, поразивших вселенную изумлением; сделалось очевидным, что эти мнимые завоевания, эти мнимые насилия были делом самым органическим... какое когда-либо совершалось в истории; что состоялось просто громадное воссоединение» [17, с. 121]. Здесь же он говорит, что в результате Россия создала «целый мир, единый по своему началу, солидарный в своих частях, живущий своею собственною органическою, самобытною жизнью» [17, с. 121]. Характерно, что и враг Тютчева А. Герцен через тринадцать лет, в 1857 году, идентично писал о том же самом главном законе русской истории: «Россия расширяется по другому закону, чем Америка, оттого, что она не колония, не наплыв, не нашествие, а самобытный мир, идущий во все стороны» [3, с. 428].

Такой способ расширения России как органического единства разных народов означал, по Тютчеву, что Россия может включить в себя и многие народы Европы для их собственного блага. В письме А.И. Георгиевскому 15 февраля 1866 года он писал: «Мы не имеем никакого повода созидать на Востоке искусственные политические самостоятельности и скреплять их чуждыми нам династическими интересами. Это было бы столько же противно истории, сколько и России. Для органического строя всей этой области православного Востока, или, лучше сказать, всей Восточной Европы, пора бы наконец понять, хоть нам по крайней мере, что тут места нет отдельным державствам, как в Западной Европе, – что для всех этих земель и племен нет и быть не может законной Верховной Власти вне России, вне русского единодержавия, и что всякая попытка созидать там какие бы то ни было организации, отрешенные от нас, от органической солидарности с нами, – никогда ни к чему не поведут, т.е. ни к чему прочному» [18, с. 398]. Именно такая общая геополитическая концепция и лежала в основе его отношения к Польше.

В свою очередь, эта концепция имела не только геополитический, но и историософский, и даже религиозный смысл. Суть его в том, что Россия была призвана к миссии удержания народов Восточной Европы от сползания в апостасию, в антихристианскую Революцию. В письме Л.В. Тенгобоскому в 1849 году Тютчев писал об этом так: «…в отчаянной борьбе между Россией и революцией, где обе являются средоточием и силы и принципов, действительно нейтральными оставались до настоящего времени только эти народы... Очевидно, что та из двух сил, которая сумеет первой привлечь их на свою сторону, собрать их под своим знаменем, эта сила, повторяю, получит более шансов выиграть

великую тяжбу, при которой мы присутствуем... А что было бы, если бы свершилось невозможное, если бы нам самим стал до такой степени безразличен принцип исторического развития России, если бы мы сами оказались до такой степени предателями своего собственного дела, что перестали бы понимать, перестали бы ощущать тесную, нерушимую солидарность, которая связывает эти народы с народами России, если бы мы дошли до того, что утратили бы понимание неотъемлемых прав, которые у них имеются по отношению к нам, а у нас по отношению к ним, и оказались бы до того слабыми, что были бы не в состоянии открыто и решительно отстаивать их, когда придет время?» [10, с. 539].

Именно понимание этой великой исторической миссии России в Европе и дало Тютчеву возможность трезво оценивать происходящее в Польше. В письме А.М. Горчакову 28 июля 1863 года Тютчев возмущался: «…что творится в Варшаве... Я не смогу передать вам чувства отвращения, все более и более ожесточенного, которое вызывается здесь зрелищем происходящего там... пока великий князь в Варшаве, никакие серьезные и действенные меры к укреплению там власти невозможны. Его личность слишком отождествляют с существовавшей до сих пор нелепой системой управления, плоды коей мы пожинаем, чтобы можно было надеяться на то, что, не поставив себя в еще более неловкое положение, он сумеет примениться к прямо противоположной системе – абсолютному единовластию, сиречь к военной диктатуре. Одним словом, здесь не слишком уверены в том, что великий князь обладает способностями диктатора. И вот, князь, этого исхода, столь желанного, столь очевидно необходимого – скорейшего уничтожения позорного и опасного порядка, – этой выдающейся услуги отчизна ожидает опять-таки от вас, от вашего законного влияния. Пора, давно пора» [18, с. 36–37].

В другом письме Тютчев всего несколькими предложениями очень точно характеризует всю политическую ситуацию – как внутри Польши, так и в Европе в целом: «Вчера здесь было получено из Вильны известие чрезвычайной важности. И вот какое. Депутация крестьян из Царства Польского явилась к Михаилу Николаевичу Муравьеву умолять его, чтобы он согласился взять их под свою защиту, – дескать, на варшавские власти надежды мало. Депутация предполагалась двухтысячная, и только по просьбе Муравьева ограничились двадцатью выборными. Какое разоблачение и какой урок!.. Судя по всему, перелом в Вильне явно наступил, и даже большая часть польского общества настроена против террористов... В прошлый понедельник, 5-го, Горчакову должны были вручить ноты. Однако теперь это вызывает только любопытство. Коалиция в данный момент в полном разброде – благодаря Англии. Наполеон III в дураках. Надо еще будет поглядеть, куда после этого поражения, самого тяжелого из всех, что он потерпел в жизни, заведет его ярость» [18, с. 39–40]. Ноты, о которых идет речь, были вручены Горчакову 5 апреля. Англия требовала амнистии восставшим полякам и восстановления конституции в Польше в соответствии с Венскими трактатами 1815 года. Французская нота намекала на необходимость восстановления независимости Польши. Австрия выражала озабоченность «возбуждением» в принадлежавшей ей Галиции под влиянием польского восстания. В ответных нотах 14 апреля Горчаков отверг все ссылки на Венские трактаты и отклонил все эти требования. В письме М.Н. Каткову 7 октября 1863 года Тютчев отмечал: «Известия из Англии удовлетворительные. По-видимому, заговор против нас решительно расстроен» [18, с. 48].

В письме от 26 августа 1863 года Тютчев сделал вывод: «Я был там свидетелем таких вещей, историческое значение которых неоспоримо. Я имею в виду то, как были восприняты общественным мнением депеши князя Горчакова. Может быть, поистине впервые действия русской дипломатии затронули национальные струны души» [18, с. 42–43]. Наконец, общий итог он подвел в письме жене Эрнестине 27 июня 1863 года: «Здесь, как и по всей России, настроение хорошее, но опасаются слабости и непоследовательности

правительства. Нечего обманывать себя. Дело идет о самом существовании России. Я ожидаю всего – всего наихудшего – и, чувствуя, что мои жизненные силы и отпущенное мне время на исходе, уж и не надеюсь увидеть тот день, который воссияет после угрожающей нам катастрофы» [18, с. 24]. А в письме 21 июля сделал историософское обобщение: «Это чисто личный спор между Россией и ее будущностью» [18, с. 33].

В основе бытия Православного Царства как единственной истинной Империи лежит принцип «священной правды-справедливости» (А.С. Панарин), не только допускающий, но и обязывающий подавлять любые эгоистические и корпоративные интересы сословий и малых народов, входящих в ее состав. Однако в отличие от лжеимперий Запада, изначально основанных на корыстном насилии, для православной Империи такое подавление имеет исключительно вынужденный, оборонительный характер. Его стараются избежать до последней возможности (например, в той же Польше все сословия имели больше прав и свобод, чем в остальной Империи), поскольку любое, даже справедливое, насилие разрушает основной принцип истинной Империи – принцип свободного единения. Православная Империя не создавалась и в принципе не может существовать на основе насилия, но только на основе добровольного принятия подвига имперского служения всеми входящими в нее народами. На этом подлинном типе имперского сознания основан ответ Ф.И. Тютчева тезису Бисмарка, высказавшему суть западных лжеимперий, не только германской:

«Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней...

Падение Православного Царства, как известно, произошло не из-за его слабости (наоборот, материально оно на тот момент было сильно, как никогда ранее), а из-за морального упадка части народа, в которой иссякала подлинная христианская любовь и понимание своего земного предназначения. И жертвенный подвиг святого русского Царя полностью соответствует смыслу этой строфы Ф.И. Тютчева. Свобода жертвенного служения высшим ценностям и защиты самой Истины в ее земных воплощениях; свобода, предполагающая подвиг и суровую самодисциплину, требующая особой культуры души и духа, – эта имперская свобода противостоит западному представлению о «свободе» как инфантильном потакании своим эгоистическим интересам и прихотям, ненавидящем все, что этому препятствует. Когда же последнее начинает доминировать в сознании широких масс и правящей элиты, Империя неизбежно погибает.

Это аспект внутреннего вырождения и предательства «элиты» империи, которое позже, в 1917 году, привело к ее разрушению, Тютчев тоже остро пережил и отразил в стихотворении в период польского восстания. Речь идет о стихотворении, обращенном к генерал-губернатору Санкт-Петербурга А.А. Суворову-Рымникскому. 23 ноября генерал А.И. Философов писал об этом стихотворении Тютчева «Его светлости князю А.А. Суворову»: «Здесь общество разделилось на две партии – одна стоит за Муравьева и превозносит его до небес, другая называет действия его действиями людоеда. Первая в день Михаила архангела послала ему образ при письме, – а вторая, в голове которой <стоит> Суворов, сказавший, узнав о посылке: “Comment, une image a cet Ogre?” (“Как, образ этому людоеду?”) На это восклицание Тютчев, отец фрейлины, написал стихи, которые тебе посылаю. Эти стихи огорчили Суворова, который не хочет допустить мысли, чтобы дед его подписал письмо, ежели бы был жив» [цит. по: 9]. Вот этот текст:

Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам – наш симпатичный князь,

Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские – Европы не спросясь…

Как извинить пред вами эту смелость?
Как оправдать сочувствие к тому,
Кто отстоял и спас России целость,
Всем жертвуя призванью своему –

Кто всю ответственность, весь труд и бремя
Взял на себя в отчаянной борьбе –
И бедное, замученное племя,
Воздвигнув к жизни, вынес на себе?..

Кто избранный для всех крамол мишенью,
Стал и стоит, спокоен, невредим –
На зло врагам, их лжи и озлобленью,
На зло, увы, и пошлостям родным.

Так будь и нам позорною уликой
Письмо к нему от нас, его друзей –
Но нам сдается, князь, ваш дед великий
Его скрепил бы подписью своей.

Стихотворение Тютчева датировано 12 ноября 1863 года и опубликовано было в «Колоколе» 1 января 1864 года – видимо, как только один из шпионов Герцена доставил его в Лондон. Герцен, нанятый Ротшильдом в качестве профессионального русофоба, опубликовал его с «разоблачительной» целью – чтобы показать «жестокость» самодержавия. Однако вышло наоборот – для русского человека это стихотворение является гениальным выражением понимания своего исторического долга и нравственного понимания войны.

Стоит отметить, что в своем стихотворении Тютчев является верным продолжателем идей А.С. Пушкина. В финале стихотворения «Бородинская годовщина» дана такая поэтическая оценка взятия Варшавы Паскевичем:

Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы.

Более того, Тютчев был не одинок и среди поэтов – его современников. Князь П.А. Вяземский – друг и учитель Пушкина – поддержал Тютчева своим стихотворением, которое, к сожалению, сейчас известно только специалистам, поэтому здесь стоит привести существенную часть текста Вяземского целиком:

Да князь! поэтъ правъ: вѣрно вашимъ дѣдомъ
Было-бы скрѣплено письмо друзей къ тому,
Котораго вы, князь, честите людоѣдомъ
За то, что онъ казнилъ по долгу своему.

Какъ вы, онъ не искалъ въ народѣ популярность,
Нежданная она пришла къ нему;
Слыветъ онъ извергомъ, однакоже гуманность,
Гдѣ можно допустить, доступна и ему.

Онъ жертвовалъ собой въ минуту, гдѣ Россія
Потрясена была злодѣйствами враговъ;
Онъ подавилъ мятежъ; дѣла его благія.
Дай Богъ побольше намъ такихъ, какъ онъ, головъ!

Не много толку въ томъ, кто вмѣстѣ съ крикунами
Готовъ порочить всѣхъ, лишь болтовней пустой;
Кричать не мудрено, а мудрено дѣлами
Такъ править хорошо, какъ Муравьевъ – Литвой.

Какъ вѣрный русскій, самъ онъ дѣйствовалъ съ отвагой;
Онъ былъ увѣренъ въ томъ, что Русь вся за него;
Хотя теперь перомъ дрался онъ, а не шпагой,
Но имя на Руси прославилось его.

И такъ, гуманный князь, отдайте справедливость
Тому, кто заслужилъ сочувствіе сердецъ,
Иль вы не русскій, князь! Его неустрашимость
Пріобрѣла ему безсмертія вѣнецъ! [цит. по: 19, с. 50–51].

В духе всего стихотворения автор вполне логично завершает его следующей строфой:

Кто Муравьеву врагъ, его кто порицаетъ,
Россіи тотъ не сынъ и русскому чужой.

В письме А.Ф. Аксаковой от 20 сентября 1867 года Тютчев дал классическую характеристику тем, кто стал России «не сын и русскому чужой», впервые вводя в русский язык слово «русофобия»: «Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего все более патологический характер. Это русофобия некоторых русских людей – кстати, весьма почитаемых... Раньше они говорили нам, и они, действительно, так считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т.д., и т.п., что потому именно они так нежно любят Европу, что она бесспорно обладает всем тем, чего нет в России... А что мы видим ныне? По мере того, как Россия, добиваясь большей свободы, все более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только усиливается. В самом деле, прежние установления никогда не вызывали у них столь страстную ненависть, какой они ненавидят современные направления общественной мысли в России. И напротив, мы видим, что никакие нарушения в области правосудия, нравственности и даже цивилизации, которые допускаются в Европе, нисколько не уменьшили их пристрастия к ней. Они все еще жалеют поляков, они считают совершенно естественной позорную политику западных государств в отношении христиан Востока и т.д., и т.п. Словом, в явлении, которое я имею в виду, о принципах как таковых не может быть и речи, здесь действуют только инстинкты, и именно в природе этих инстинктов и следовало бы разобраться» [18, с. 306].

Впрочем, в письме к Э.Ф. Тютчевой от 30 ноября 1854 года он писал, что такое «извращение» сознания «относится лишь к накипи русского общества, которая мнит себя цивилизованной, к публике, – ибо жизнь народная, жизнь историческая еще не проснулась в массах населения. Она ожидает своего часа, и, когда этот час пробьет, она откликнется на призыв и проявит себя вопреки всему и всем. Пока же для меня ясно, что мы еще на пороге разочарований и унижений всякого рода» [16, с. 23]. В поэзии Ф.И. Тютчева есть несколько острых эпиграмм, характеризующих этот новый тип людей, утративших

представление о подлинной свободе – свободе жертвенного служения святыням. Например: «Напрасный труд – нет, их не вразумишь, – / Чем либеральней, тем они пошлее, / Цивилизация – для них фетиш, / Но недоступна им ее идея». Исходная «идея» любой цивилизации – воплощение и защита определенных ценностей; но появляется тип людей, для которых цивилизация – это только готовый набор средств для комфортной жизни и не более того, то есть примитивный фетиш. Отсюда – особое лакейство духа: «Куда сомнителен мне твой, / Святая Русь, прогресс житейский! / Была крестьянской ты избой – / Теперь ты сделалась лакейской». Естественно, здесь речь идет уже не о Святой Руси, а о том, что возникает на ее месте, – той «мерзости запустения», которая неизбежно водворяется при утрате высших духовных ориентиров жизни, которые культивировались в крестьянской избе, но недоступны сознанию «цивилизованного» либерального лакея.

18 ноября в письме к О.А. Новиковой Тютчев отвечал отказом на просьбу прислать ей стихотворение «Его светлости князю А.А. Суворову». Вместо этой «побрякушки» он советует ей прочитать статью А.Ф. Гильфердинга «Положение и задачи России в Царстве Польском»: «Вот это явление поистине значительное. Непременно прочтите ее, милостивая государыня, и посоветуйте прочесть ее нашим европейским друзьям» [18, с. 64]. Каковы выводы этой статьи, восхитившей Тютчева? Во-первых, А.Ф. Гильфердинг четко объяснил, что польское восстание – вовсе не «народное», а по своей сути, наоборот, антинародное, поскольку не может принести блага основной массе польского народа. Он писал: «При таких отношениях между польским простонародьем и обывательскими классами наша власть в Царстве Польском едва ли может считаться случайностью или простым грубым фактом материальной победы, одержанной одним племенем над другим. Кажется, что наша власть в Польше имеет свое непосредственное историческое призвание в отношении к развитию самой польской жизни. Пособить польскому крестьянству, вывести его из апатии, дать ему голос в стране – вот, по-видимому, прямая задача наша в Царстве Польском» [5, с. 245].

Что же должна делать Россия в Польше? «Наша обязанность там – и для нашей собственной пользы, и для блага польской нации – доставить самостоятельность польскому крестьянству и употребить все усилия для распространения в Польше серьезного научного образования. Эти вопросы несравненно важнее всяких вопросов о политическом устройстве Царства. Никакое политическое устройство, никакая система управления не может удовлетворить поляков; польский вопрос, как я сказал, неразрешим никакими политическими мерами, польский вопрос может быть только упразднен, и упразднить его могут только социальные средства» [5, с. 251]. В реальности на протяжении ста лет государственного объединения России и Польши (1815–1915) Россия в Польше занималась именно этим. Возможно, были здесь какие-то ошибки в деталях, но общий итог этого столетнего единства был для Польши исключительно позитивным – особенно по контрасту с подлинным угнетением поляков на тех их землях, которые достались Германии и Австро-Венгрии. На этих землях не происходило восстаний именно потому, что они там были просто невозможны из-за жестокой немецкой власти – по контрасту с беспредельным либерализмом России в Царстве Польском.

Польские события 1863 года стали «пробным камнем» для философии истории Ф.И. Тютчева, изложенной в его трактатах. И эта историософия, как и историософские стихотворения поэта, продемонстрировали гениальную силу прозрения, которая стала еще более очевидной в наше время.

Литература

1. *Аскольдов С.А.* Религиозный смысл русской революции // Из глубины: Сборник статей о русской революции. М.: Изд. МГУ, 1990. С. 20–54.
2. *Бердяев Н.А.* Русская идея // О России и русской философской культуре. М.: Наука, 1990. С. 37–234.
3. *Герцен А.И.* Еще вариация на старую тему / А.И. Герцен // Собр. соч.: в 30 т. Т. 12. М.: Изд. АН СССР, 1957. С. 423–436.
4. *Гаспаров М.Л.* Вергилий, или поэт будущего / М.Л. Гаспаров // Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. Риторика. СПб.: Азбука, 2000. С. 110–147.
5. *Гильфердинг А.Ф.* Польский вопрос / А.Ф. Гильфердинг // Россия и славянство. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 168–251.
6. *Задорожнюк Э.* Восток, Запад и славянский вопрос: Утопии и прозрения Ф.И. Тютчева // Свободная мысль. 2013. № 2. С. 23–34.
7. *Кантор В.* Иная Европа Федора Тютчева // Вестник Европы. 2004. № 12. С. 156–181.
8. *Кожинов В.* Незавершенный трактат «Россия и Запад» Тютчева: Вступительная статья // Литературное наследство. Т. 97: Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. М.: Наука, 1988. С. 183–200.
9. Летопись жизни и творчества Тютчева. 1863 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tutchev.lit-info.ru/tutchev/bio/letopis/1863.htm
10. Литературное наследство. Т. 97: Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. М.: Наука, 1988. 589 с.
11. *Лосев А.Ф.* История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития: в 2 кн. Кн. 1. М.: Искусство, 1992. 656 с.
12. *Соловьев В.С.* Поэзия Ф.И. Тютчева / В.С. Соловьев // Литературная критика. М.: Современник, 1990. С. 105–121.
13. *Тарасов Б.Н.* «Тайна человека» и тайна истории: Непрочитанный Чаадаев. Неопознанный Тютчев. Неуслышанный Достоевский. СПб.: Алетейя, 2012. 352 с.
14. *Тарле Е.В.* Талейран. М.: АСТ, 2010. 348 с.
15. *Твардовская В.А.* Тютчев в общественной борьбе пореформенной России // Ф.И. Тютчев: pro et contra / сост. К.Г. Исупов. СПб.: РХГИ, 2005. С. 764–823.
16. *Тютчев Ф.И.* «И верит сердце в правду и любовь...» (Тютчев в письмах к жене Эрнестине) // Наш современник. 2003. № 12. С. 7–32.
17. *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч.: в 6 т. Т. 3: Публицистические произведения. М.: Классика, 2003. 528 с.
18. *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч.: в 6 т. Т. 6: Письма. М.: Классика, 2004. 592 с.
19. *Федута А.И.* «Гуманный внук воинственного деда» (А.А. Суворов-Рымникский в русской поэзии) // Philologica. 2012. Т. 9. С. 38–55.
20. *Флоровский Г.* Исторические прозрения Тютчева / Г. Флоровский // Из прошлого русской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 233–252.

Аннотация. В статье рассматривается оценка и осмысление польского восстания 1863 года в историософии Ф.И. Тютчева. Рассмотрены различные тексты, касающиеся данной темы, – письма, трактаты и стихотворения в широком контексте данной эпохи. Обоснован тезис о том, что, согласно историософии Тютчева, в данном событии здесь столкнулось два диаметрально противоположных понимания сути государственности как таковой: гордое антихристианское, представленное бунтом поляков; и христианское у России, основанное на принципе служения высшим ценностям любви и братства, а не собственной гордыне. Тютчев увидел в польском восстании и в событиях, с ним связанным, фундаментальный историософский смысл, проливающий свет на всю мировую судьбу России.

Ключевые слова: Польша, 1863, восстание, Тютчев, историософия.

Vitaliy Yu. Darenskiy, PhD in Philosophy, Professor, Philosophy Department, Lugansk State Pedagogical University. E-mail: darenskiy1972@rambler.ru

The Polish Uprising of 1863 in the Historiosophic Works of F.I. Tyutchev

Abstract. In the article the author examines the assessment and understanding of the Polish uprising of 1863 in the historiosophic works of F.I. Tyutchev. He examines various texts related to this topic – letters, treatises and poems in the broad context of that era. The author substantiates the thesis that, according to Tyutchev's historiosophic views, two diametrically opposite understandings of the essence of statehood as such collided there in that uprising: the proud anti-Christian one, represented by the revolt of the Poles; and the Christian one in Russia, based on the principle of serving the highest values of love and brotherhood, and not one's own pride. Tyutchev saw in the Polish uprising and in the events associated with it a fundamental historiosophic meaning, shedding light on the entire world fate of Russia.

Keywords: Poland, 1863, Uprising, Tyutchev, Historiosophy.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-221-234

Елена Перевалова

Информационное противостояние газеты «Московские ведомости» и европейской прессы в дни польского восстания 1863 года

«Не имея чести Вас лично знать, но преисполненный глубоким уважением к столь полезной Вашей деятельности и высоко ценя оказанные Вами услуги Отечеству в тяжкую для него годину, я решаюсь обратиться к Вам, милостивый государь, с просьбой не отказать своим всегда теплым и радушным содействием в настоящее трудное время», – эти строки генерал М.Н. Муравьев, назначенный в апреле 1866 года председателем комиссии по делу о покушении Дмитрия Каракозова на императора Александра II, адресовал публицисту М.Н. Каткову, призывая его «могучим пером поразить гидру крамолы, безверия и разврата» [1, л. 141–142].

Это обращение видного государственного деятеля к авторитетному московскому журналисту было далеко не случайным. Их заочное знакомство состоялось в дни «военной тревоги 1863 года», когда редактируемая Катковым газета «Московские ведомости» стала единственным изданием, открыто поддержавшим действия Муравьева, назначенного в самый разгар антироссийского восстания в Царстве Польском виленским, гродненским и минским генерал-губернатором.

Генерал столкнулся не только с ожесточенным сопротивлением польских повстанцев и ничем не прикрытой ненавистью гражданского населения к русской администрации, но и с беспрецедентной антироссийской информационной кампанией в европейской прессе, которая энергично выступила в защиту восставших поляков, доказывая обоснованность их требований и активно возбуждая среди своих читателей русофобские настроения и открытую вражду по отношению к России и к русским. С резкой критикой политики Российской империи в Польше выступили многие западные общественные и политические деятели, ученые, представители творческой интеллигенции; в печати публиковалась неоднозначная, утрированная информация, а зачастую и дезинформация о событиях в западных губерниях России, приводились факты жестокого обращения русских войск с местным польским населением и т.п., что еще более усиливало негативный настрой европейцев, и без того с предубеждением относившихся к России.

Так, к примеру, во французской печати регулярно публиковались многочисленные сочувственные письма в адрес польских повстанцев, обращения добровольцев, вступающих в ряды польских отрядов, сообщения об антироссийских студенческих манифестациях в Париже, Лионе и Марселе, информация о сборе денежных средств в помощь полякам и т.п. Польские повстанцы в западной печати изображались как истинные патриоты своей родины, гуманные, честные и благородные, которых взяться за оружие вынудила «нестер-

Перевалова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой журналистики и массовых коммуникаций имени М.Ф. Ненашева Московского политехнического университета. E-mail: nhelenpv@yandex.ru

пимо жестокая» антипольская политика российского правительства, тогда как действия русских войск в крае описывались как нашествие кровожадных «варваров», «гуннов», «татар», «каннибалов», свирепых мародеров, которые лишь жгут, грабят и убивают.

В крупнейших европейских газетах – “Le Monde”, “Union”, “Opinion Nationale” и других – преобладала антироссийская риторика и ежедневно по крайней мере один столбец посвящался описанию «зверств» российских солдат и офицеров в обращении с мирными польскими жителями, тогда как любые гуманные меры русского командования, направленные на урегулирование ситуации в крае (например, решение отпускать на свободу без суда взятых с оружием в руках несовершеннолетних повстанцев), либо замалчивались, либо рассматривались как проявление слабости России, вынужденной идти на уступки, так как «боятся слишком строгого образа действий» [2]. По мере развития событий и затягивания вооруженного конфликта в западной печати все чаще высказывались мнения, что Россия «слабеет день ото дня», что регулярная двухсоттысячная русская армия «упала духом, офицеры утомлены своей ролью и желают другого порядка вещей», а потому Москва ничего не может противопоставить «горстке польских юношей», героически отстаивающих свободу своей Отчизны. Польские издания “Dziennika Narodowego”, “Niepodlegloso”, “Wiadomosci Polityczne” и др. энергично убеждали европейских читателей, что польская национальность представляет собой часть европейской католической цивилизации, а потому судьба Польши неразрывно связана с судьбами всех других европейских государств; что цивилизованная Польша служит преградой между варварской Россией и Европой, вследствие чего в интересах самих европейцев заступиться за нее и спасти от деспотичной Москвы.

Именно «Московские ведомости» с первых дней восстания оказывали Муравьеву информационную поддержку, предлагая читателям четкий, весьма определенный взгляд на происходящее и информируя их о действительном состоянии дел на охваченных мятежом территориях. По свидетельству сотрудника газеты профессора Н.А. Любимова, редакция газеты превратилась в те напряженные недели 1863 года в «не знающую роздыха государственную службу особого рода, едва ли когда-либо встречавшуюся в истории. <…> стала государственной инстанциею, голос которой сделался необходимостью в обсуждении и решении всех сколько-нибудь серьезных государственных дел» [3, с. 239].

В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть выступления «Московских ведомостей» по «польскому вопросу» в контексте их противостояния антироссийской информационной кампании в европейской прессе, выявить роль этого издания в формировании общественных настроений в России и за рубежом. Для анализа использованы передовые статьи Каткова, документальные материалы, письма собственных корреспондентов «Московских ведомостей» в Польше и другие публикации 1863 года, когда военные действия на территории края находились в самой острой фазе.

Начало антироссийского восстания в Царстве Польском, сигнал к которому был дан в ночь на 11/23 января 1863 года, почти совпало с переходом «Московских ведомостей» под редакцию М.Н. Каткова и профессора П.М. Леонтьева, которые стали хозяевами этой старейшей московской газеты с 1 января 1863 года. К тому моменту Катков имел репутацию либерала, а редактируемый им совместно с Леонтьевым литературный и общественно-политический журнал «Русский вестник» – славу одного из самых смелых изданий, в котором, по словам современников, пропускались «такие штуки, что ваша лондонская книгопечатня» [4, л. 1]. Однако, как справедливо отмечает А.А. Тесля, «расхожее понимание либеральных принципов оказывалось несовместимо с позицией, занятой им [Катковым – *Е.П.*] в польском вопросе» [5, с. 87]. После первых же сообщений об антироссийских выступлениях в Польше Катков действовал как государственник, однозначно увидев в стремлении поляков к политической обособленности огромную опасность для

целостности Российской империи. В требованиях руководителей мятежа восстановить Польшу «от моря до моря», то есть в границах Речи Посполитой XVI–XVII веков, когда территории Польского королевства и Великого княжества Литовского простирались от Балтийского моря до Черного, журналист увидел проявление крайнего национализма поляков. Предоставление Польше независимости, по его мнению, стало бы «самоубийством» для России и «источником неисчислимых смут и бедствий для обеих народностей» [6], а потому он решительно отказывался поддерживать любые предположения по созданию польской автономии.

Будущее польской народности Катков видел исключительно в соединении с Россией, «под сенью общего скиптра», при условии, «чтобы поляки отказались от всяких дальнейших притязаний». В его представлении территория Царства Польского должна оставаться неотъемлемой частью Российской империи, а поляки – отказаться от каких-либо претензий на исключительность и привилегии по национальному признаку. Единая общность – «русский народ» – понималась им как единая категория граждан, в основе которой лежит не национальное, этническое или культурное, а политическое единство, то есть признание себя подданными Российской империи.

Для достижения этой цели публицист считал необходимым усилить влияние русской общественности в западных губерниях, упрочить и всячески развивать русское землевладение в крае, ввести русский язык в католическое богослужение, административную и образовательную сферы и т.п. «Московские ведомости» с одобрением реагировали на каждую новую инициативу М.Н. Муравьева в этом направлении, рассматривая его жесткие и системные действия, направленные на ликвидацию польско-католического доминирования в западном крае, как единственную возможность создать долговременные условия для упрочения русского элемента в западных губерниях и последующей их русификации. Со страниц газеты звучали энергичные требования крепкой, верной и надежной администрации в крае; указывалось на необходимость решительных действий по отношению к мятежникам, на неуместность введения каких-либо льгот для польского населения и т.п.

Опытный журналист, Катков придавал большое значение оперативной и достоверной информации с места событий. Поэтому сразу же после начала военных действий для получения верных и более точных сведений им были командированы в Варшаву и Вильно в качестве собственных корреспондентов газеты поручик П.Н. Юшенов и полковник Н.П. Воронцов-Вельяминов [7]. Их миссии придавалось настолько важное значение, что решение об их командировании согласовывалось с не только с генералом М.Н. Муравьевым, но и с самим наместником в Польше великим князем Константином Николаевичем, а перед поездкой они были приняты министром внутренних дел П.А. Валуевым [8] и министром народного просвещения А.В. Головниным [9]. И если в первые недели восстания «Московские ведомости» были вынуждены перепечатывать сообщения из «Русского инвалида» – официального печатного органа Военного министерства, то уже с марта в них начали публиковаться материалы собственных корреспондентов, что, безусловно, давало газете возможность сообщать читателям эксклюзивную информацию «из первых рук».

В контексте противостояния с европейской печатью публикации «Московских ведомостей» условно можно разделить на несколько идейно-тематических групп.

В первую очередь следует выделить публикации, в которых польский кризис рассматривался как результат совместных дипломатических усилий крупнейших западных держав – Англии, Франции, Австрии, имевших целью придать событиям на западных окраинах Российской империи международный статус и таким образом навязать нашей стране невыгодные ей политические уступки в пользу Царства Польского. Эта тема развивалась в многочисленных передовых статьях самого Каткова, всегда полемически направленных по адресу европейской печати. Московский публицист энергично утверждал, что решимость

польских инсургентов искусно подогревается обещаниями помощи, исходящими от европейских политиков, для которых Польша всегда была и есть «орудие к поддержанию политического равновесия Европы против России» [10].

В «польском вопросе» журналист видел своего рода индикатор роли Российской империи в международной политике, решительно заявляя, что «значение великой европейской державы есть для России вопрос жизни и смерти» [11] и что любые уступки в адрес Польши будут расценены европейским сообществом как поражение России, снижение ее международного авторитета и утрата статуса великой европейской державы.

Одной из самых резонансных стала передовая статья от 16 апреля 1863 года, написанная в связи с получением Россией депеш от английского, австрийского и французского правительств, которые в ультимативной форме требовали от нашей страны урегулирования конфликта в Польше. Наиболее враждебную позицию заняла Англия, игравшая в европейской политике тех лет роль «верховного судьи» и «вершительницы судеб». Ее министр иностранных дел лорд Джон Россель, будучи уверен в слабости России и возможности действовать по отношению к ней с позиции силы, проводил в своей ноте мысль, что Россия, отвергая политическую самостоятельность Польши, тем самым исключает себя из общения с цивилизованным миром. Более миролюбивые требования были заявлены в ноте Франции, которая предлагала вынести решение польского вопроса на новый европейский конгресс. Наконец, австрийцы ограничились достаточно абстрактными рассуждениями о затруднениях, которые могут возникнуть в связи с ситуацией в Польше в жизни Габсбургской монархии, Пруссии и России. Содержание депеш активно муссировалось в европейской печати, с нетерпением ожидавшей ответных шагов со стороны России, которая стояла перед нелегким выбором. Уступить требованиям европейских держав значило бы не только уронить свой международный престиж, уже и без того изрядно пострадавший после поражения в Крымской войне 1853–1856 годов, но и подвергнуться риску отделения сначала Польши, а вслед за ней, возможно, и Литвы, и Белоруссии, и Западной Украины. Но и идти наперекор объединенным усилиям европейской дипломатии для России было бы весьма рискованно, так как это могло обернуться ее международной изоляцией и, возможно, привести к войне с Англией и Францией, к которой обескровленная крымской кампанией страна была абсолютно не готова.

Напечатанная сразу вслед за тем, как стало известно о содержании депеш, передовая «Московских ведомостей» начиналась энергичным восклицанием-вопросом «Мир или война?» и представляла собой страстный монолог, в основе которого лежала мысль о недопустимости международного вмешательства во внутренние дела России, к числу которых публицист относил и российско-польский конфликт. Он требовал дать твердый отпор натиску европейской дипломатии, подчеркивая, что, согласившись на ее требования, Россия незамедлительно утратит авторитет одной из самых влиятельных стран Европы и будет вынуждена идти на дальнейшие уступки. «Твердость и решительность со стороны русского правительства найдут в настоящее время более сознательное и более восторженное сочувствие в массе нашего народа, чем в какую-либо из прежних эпох русской истории, – без колебаний утверждал публицист. – Вся Россия более или менее понимает, какое жизненное значение имеет для нее польский вопрос, и как важно решить его внутренним государственным, а не международным порядком, который не устранил бы на будущее время ни одного из теперешних затруднений и открыл бы иностранной дипломатии путь к вмешательству в наши внутренние дела, к вмешательству, несовместимому с достоинством великой державы» [12]. Катков в буквальном смысле чуть ли не диктовал российскому внешнеполитическому ведомству условия, которые, по его мнению, должны соблюдаться в отношениях с европейскими державами: «Теперь мы должны действовать с полной решимостью, – писал он спустя два дня. – Наши действия должны быть

направлены не к тому, чтобы угодить той или иной державе, задобрить тот или другой оттенок общественного мнения Европы <…>. Энергия наша должна состоять не в том, чтобы поражать и разбивать шайки, сгоняемые терроризмом, а в том, чтобы оградить мирных людей от этого терроризма» [13].

Еще более решительно мысль о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела России и требование проявить твердость в отношениях с Европой была заявлена в передовой статье Каткова от 14 мая 1863 года, поводом для которой послужили новые ноты европейских держав, которые носили еще более ультимативный и враждебный характер. От России требовали не только согласия на созыв конгресса «великих держав» для решения польского вопроса, но и настоятельно рекомендовали ей, во-первых, провозгласить в Польше общую амнистию, не ставя ее в зависимость от окончания вооруженного восстания, во-вторых, созвать в Польше представительное собрание, в-третьих, даровать ей местную автономию; в-четвертых, обеспечить права католической церкви; ввести польский язык в правительственные учреждения и учебные заведения и, наконец, издать удовлетворяющие поляков новые правила о рекрутских наборах.

Эти требования, заявленные в категорической форме, по сути, ставили страну на грань войны с могущественными европейскими державами. Новое оскорбление, нанесенное России, задевающее ее честь и достоинство, глубоко возмутило публициста, который, обращаясь к национальной гордости и достоинству русской нации, с жаром вопрошал: «Что лучше, открытая и честная война, или война другого рода, которая ведется подземными кознями, революциями и мятежом, и сверху имеет благовидную наружность дипломатических переговоров и международных конференций?» [14]. Катков с возмущением писал о том чувстве постоянного унижения, в котором находится русская нация, которую европейские державы держат «под судом и следствием», об оскорблении, которое «нестерпимо для народа, не лишенного чувства чести и уважения к себе, и совершенно невозможно для великой державы», о том, что «сам факт этих объяснений есть для России невыносимая обида», «есть надругательство над ними, есть оскорбительное изобличение нас в несостоятельности; этим фактом вынуждаемся и сами мы чувствовать себя бессильным и униженным народом» [14]. «Только к слабому и презрительному можно обращаться так, как обращаются к нам теперь европейские державы» [15], – этими обидными для русского сердца словами Катков словно бы хотел вывести русское общество из столь привычной и уже вошедшей в пословицу апатии и призвать к решительному и энергичному отпору притязаниям европейских держав.

Не призывая к вооруженному конфликту с Европой, «Московские ведомости» вместе с тем недвусмысленно давали понять, что для предупреждения войны «надобно показать серьезную к ней готовность. Вооруженный и готовый к защите менее подвержен опасности нападения, нежели не вооруженный и беззащитный…» [14]. Газета чутко реагировала на настроения своей аудитории, оперативно отвечая на патриотические инициативы русской общественности и придавая им масштабность и значительность. Упомянутая передовая статья Каткова от 14 мая 1863 года, поводом к которой стало предложение Московской городской думы создать местное народное ополчение, произвела сильное впечатление на читателей. Как уже отмечалось, Катков с негодованием писал об унижениях, которым подвергается Россия со стороны европейских держав, требующих от нее объяснений и оправданий в польском вопросе. В этой же статье он, обращаясь к национальной гордости и достоинству россиян, настаивал на действительных и неотлагательных «защитительных» мерах, которые бы подняли дух народа и распространили среди него всеобщее чувство безопасности и силы. Убедительно, искренне и решительно написанная статья была высоко оценена современниками: «В № 103 “Московских ведомостей” помещена весьма сильная статья, – писал профессор А.В. Никитенко. – Приводится мысль, возбужденная в Москве,

об образовании городового ополчения для охранения внутренней безопасности. Надобно всячески будить правительство и пользоваться одушевлением народа» [15, с. 332].

Еще одну группу составляют материалы на тему истории взаимоотношений России и Польши в конце XVIII – начале XIX века. В противовес западной печати, утверждавшей, что Россия по отношению к Польше всегда вела вероломную политику, нацеленную на ликвидацию ее как самостоятельного государства, авторы «Московских ведомостей» – профессора-историки С.М. Соловьев, М.П. Погодин – приводили документальные подтверждения, что Россия и русские никогда не желали подавления польской национальности и стремились к единению, независимо от вероисповедания, но все усилия наладить взаимодействие с Польшей наталкивались на агрессивную русофобию со стороны поляков. В их публикациях анализировались безуспешные попытки «приобщить» Польшу к России и склонить польское дворянство к лояльности в годы правления царствования императора Александра I, указывалось на льготы и преимущества, которыми пользовалось население Царства Польского и которых не имелось у жителей остальной России, и т.д. Неудачный исход всех усилий российской стороны в этом направлении историки объясняли неуемными националистическими амбициями поляков и опять-таки «внешним воздействием» со стороны европейских «союзников России», не желавших ее усиления и потому активно поддерживавших враждебные антироссийские настроения среди польского дворянства.

Одновременно изобличалась лицемерная политика европейских держав, в первую очередь наполеоновской Франции, «заигрывания» с Польшей, обещания восстановить ее независимость и освободить от ненавистного русского подданства. Российские историки разоблачали утверждения, что Наполеон I якобы имел намерение вернуть Польше независимый статус, объясняя подобные обещания французского императора исключительно конъюнктурными соображениями, не имевшими ничего общего со стремлением к возрождению Польши как независимого государства: «Он не имел ни малейшего сочувствия к восстановлению Польши, к делу польской национальности, прежде всего потому, что не сочувствовал никакой национальности, – писал С.М. Соловьев. – Но он был очень рад, что нашел в Европе народ, который волновался и предъявлял беспрестанно свои претензии на самостоятельное существование. Наполеону было нужно время от времени манить этот народ, чтобы пугать им соседей» [16].

Сквозной нитью во многих публикациях проходила мысль о разнице в интересах польского народа и польской шляхты, о том, что восстание в Польше не является общенародным, общенациональным делом. В ответ на утверждения европейской прессы, что едва ли не повсеместно население всего западного края противодействует русской администрации и ненавидит все, что так или иначе связано с Россией, Катков убеждал, что «все восстание является делом шляхтичей, мелкого безземельного и бездомного дворянства да католического духовенства, а вовсе еще не целого народа» [17]. Собственные корреспонденты «Московских ведомостей» на многочисленных примерах доказывали, что истинными инициаторами мятежа являются привилегированные слои польского дворянства, преследующие исключительно националистические цели, тогда как низшие слои населения края в этом конфликте занимают сторону России и не только не сочувствуют, но и не могут сочувствовать восставшим.

Не скрывая, что большая часть польского дворянства открыто демонстрирует свою неприязнь и даже ненависть к русским, авторы газеты приводили факты и свидетельства, подтверждающие, что среди низших сословий Польши (крестьян, ремесленников, промышленников) не было и нет враждебности к России. «Крестьяне не сочувствуют движению, – сообщалось в одном из частных писем в редакцию. – Например, в Радомской губернии крестьяне очень энергически принялись действовать против бунтовавших помещиков. Выражение неудовольствия доходило до таких размеров, что было найдено нужным принять

меры к удержанию крестьян в пределах нужного повиновения» [18]. В газете публиковалось немало частных писем из Польши, содержание которых свидетельствовало о равнодушии белорусского, украинского и польского крестьянства к повстанческому движению. Очевидцы мятежа рассказывали, что крестьяне при приближении отрядов мятежников бегут в леса, чтобы избежать мобилизации в ряды повстанческих отрядов, а при случае даже ловят и доставляют русскому командованию польских помещиков, выражающих сочувствие восставшим.

Так, в мае в рубрике «Польские дела» описывался характерный случай, когда в Киевском округе повстанцы попытались привлечь крестьян к участию в мятеже обещанием земель и свободы: «Но крестьяне, понимая, какого рода благ можно ожидать от Польши, отвергли эти предложения и усердно помогают войскам, разделяя с ними опасности и действуя с полным самоотвержением – некоторые из них ранены. Крестьяне иногда управляются с мятежниками даже и без содействия войск – так, в Бердичевском уезде они взяли более ста мятежников с оружием, а в Радомысльском уезде жители деревни Соловьевки, отбив сделанное на них нападение, отняли у мятежников оружие и знамя» [19].

Нередко приводились факты, когда восставшие шляхтичи насильно сгоняли крестьян в леса, пытаясь таким образом пополнить редеющие повстанческие ряды и, по сути, обрекая тысячи этих «новобранцев» на гибель от руки регулярных правительственных войск. Убедительность этим публикациям придавали обязательные указания на место и время событий, а нередко и имена их участников.

В публикациях газеты подчеркивалось, что действия восставших на территориях, особенно там, где среди низших классов преобладают белорусы, малороссы и литовцы, антинародны и преступны. «Всего более страдают польские крестьяне, у которых мятежники отбирают косы, топоры, лошадей. Польша край небогатый. Восстание пало всей своей тяжестью на крестьян и сильно отразилось на их материальном быте», – писал некий автор из Варшавы, и в качестве доказательства приводил примеры мародерства, производимого партизанскими польскими отрядами, которые «перерезывают телеграфную проволоку, снимают рельсы с железной дороги, а в деревнях мстят тем лицам, которые во время действия банд отказываются принять явное участие в восстании или способствовать ему деньгами и снабжением» [20].

Своеобразным подтверждением подлинности и достоверности выше приведенных фактов служили регулярно публикуемые в «Московских ведомостях» выдержки из польских подпольных прокламаций и газет, а также декреты, приказы и воззвания так называемого Жонда народовы – «Польского национального правительства», верховного органа исполнительной власти Польши в период восстания. Несмотря на то, что Жонд работал подпольно, он представлял собой реальную силу, его распоряжения были обязательны к выполнению всеми поляками, которые даже платили ему налоги. Так, к примеру, в июле 1863 года «Московские ведомости» опубликовали декреты Жонда, согласно которым требовалось закрыть сообщение на участке Петербургско-Варшавской железной дороги в пределах Царства Польского, а также передвижение по железной дороге, ведущей к границе Пруссии, и прекратить работу телеграфной линии на этих участках. Дорожной прислуге предписывалось немедленно удалиться от места своего служения, машинистам воспрещалось вести локомотивы, телеграфистам – передавать депеши; частным лицам – ездить и пересылать товары по этим дорогам [21]. Всем нарушителям приказа грозило суровое наказание. Все всяких сомнений, реализация этих декретов больно била по экономике Польши и карману ее населения, и, таким образом, их публикация демонстрировала, что меры, предпринимаемые Жондом для борьбы с русским присутствием в крае, в первую очередь усложняют положение самих жителей края и ведут к их обнищанию.

Публикуя документы «Жонда народовы», газета отмечала, что руководители восстания не брезгуют никакими предосудительными средствами, вплоть до откровенных провокаций и инсинуаций. В качестве примера подобного рода приемов можно привести опубликованное «Московскими ведомостями» воззвание Жонда к военнослужащим русской армии от имени солдат-дезертиров, в котором тем из них, кто перейдет с оружием на сторону восставших, обещалось вознаграждение 15 рублей серебром [22]. Еще один прием – распространение польской печатью заведомо завышенных цифр потерь русской армии и заниженных потерь среди повстанцев.

Еще одна постоянная тема «Московских ведомостей» – изобличение жестокости польских повстанцев по отношению к русским воинам, мирным жителям русской, еврейской и даже польской национальности, к православному духовенству, рассказы об убийствах, грабежах, поджогах, кражах, совершаемых инсургентами в целях устрашения населения и пополнения своих ресурсов.

Едва ли не в каждом номере газете публиковались письма собственных корреспондентов, показания очевидцев и т.п., свидетельствующие о жестоком обращении повстанцев с крестьянами, о пытках и издевательствах над православными священниками, насильственных экспроприациях имущества, о фактах насильственного обращения православного населения края в католичество и т.п. Нередко эти сведения группировались в подборки, что, несомненно, усиливало силу их воздействия на читателей. Так, в июне 1863 года сразу в нескольких номерах печатался обширный «Перечень злодейств, совершенных польскими мятежниками», где перечислялись случаи грабежей, разбоев, разграбления помещичьих усадеб, истребления конных заводов и домашнего скота, убийства мирных жителей, совершенные с особой жестокостью, и т.п. При этом указывались имена и фамилии погибших, места совершения казней и пыток, точные цифры денежных средств, изъятых у мирного населения от имени «Польского национального правительства». К примеру, собственный корреспондент в Варшаве сообщал, что повстанцы «в девяти местах повесили несколько мужчин, из крестьян и отставных солдат, пятидесятилетнюю мещанку и служанку. Кроме того, в трех местах уведено для повешения шесть человек. Теперь число повешенных доходит до 428 человек» [23]; в корреспонденции из Ковна сообщалось о жестоком убийстве старика-старообрядца и его семьи, в том числе малолетних внуков, которые были распяты прямо на глазах у родителей [24]. В одном из частных писем сообщалось об изощренных издевательствах, которым подверглись попавшие в плен к инсургентам казаки: «Недавно они, здесь же в окрестности, повесили за ноги казака, на груди его прикрепили бумажную цепь и на нем учились меткости в стрельбе; другому пойманному ими казаку они разрезали кожу на груди и завернули ему ее назад наподобие гусарского ментика, подсмеиваясь, что теперь может служить в гусарах. Этого несчастного я сам видел в лазарете» [25]. Подобные натуралистические подробности разрушали в сознании общественности представление об инсургентах – благородных борцах за независимость родины и создавали образ мстительного, фанатичного и безжалостного варвара со склонностью к изуверству и бессмысленному мучительству.

Стремясь развеять создаваемый в западной прессе романтический ореол вокруг повстанческого движения и его участников как героев и «борцов за свободу отечества», «Московские ведомости» приводили факты, что «в глубине лесов инсургенты предавались неслыханным излишествам», а в их лагерях «были найдены огромные запасы всякого рода съестных припасов, сваленных кучами и тратившихся беспорядочно» [26]. Газета регулярно сообщала точные сведения о суммах, похищенных мятежниками у мирного населения, в городских кассах, на почтах и в банках. Так, на 4 июля, общая сумма похищенного составила 471 048 рублей [27], к 11 июля она выросла до 481 106 рублей [23] и т.д.

Во многих публикациях «Московских ведомостей» рассказывалось о деятельности кинжальщиков и жандармов-вешателей – карателей, уничтожавших по приказу «Польского национального правительства» представителей русской администрации и противников восстания среди крестьян и духовенства. Кинжальщики вели настоящую охоту за русскими офицерами и чиновниками, а вешатели действовали с особой жестокостью, устраивая образцово-показательные казни для устрашения мирного населения края, чтобы отбить у него охоту оказывать помощь русской администрации и правительственным войскам. Число их жертв исчислялось сотнями. Так, в одной из корреспонденций из Польши со слов очевидца – крестьянина деревни Липновского уезда, насильно захваченного повстанцами, описывалась такая «показательная» казнь пойманного в лесу еврея, осуществлял которую «специальный человек», даже костюм которого отличался от одежды других инсургентов [28]. В октябрьском номере газеты были опубликованы чертежи оружия, которым пользуются кинжальщики, – копье с зазубринами, отравленное стрихнином [29]. Действия этих «народных героев» оценивались «Московскими ведомостями» как диверсионно-террористические, противоречащие и юридическим законам Российской империи, и общечеловеческим гуманистическим нормам.

При этом неоднократно указывалось на двойные стандарты западной печати, в которой вешатели и кинжальщики позиционировались как благородные борцы с российским имперским режимом за национальную независимость Польши, тогда как ответные меры русского правительства рассматривались как неоправданно жестокие и изуверские. «Иностранные газеты наперерыв, одна перед другой, на основании слухов, распускаемых гнусными агентами центрального комитета, стараются оклеветать наше правительство. Нашим официальным донесениям, депешам и частным известиям не верят. Если бы редакторы этих газет знали, сколько несчастных жертв пало от рук злодеев, – писал варшавский корреспондент «Московских ведомостей». – Жаль, что корреспонденты иностранных газет не хотят открыть глаза и посмотреть на все хладнокровно!» [30]

Приводимые в газете многочисленные факты о жертвах террора как среди военных, так и среди гражданского населения не могли не оправдывать в глазах читателей жестких мер, предпринимаемых М.Н. Муравьевым для умиротворения в крае. Во избежание инсинуаций в западной прессе «Московские ведомости» нередко публиковали полные тексты распоряжений генерала, его обращения к народу Польши, к польскому духовенству и т.д., сопровождая их комментариями, поясняющими и обосновывающими суть того или иного принятого решения.

Особую группу публикаций «Московских ведомостей» составляли выдержки из военных рапортов и донесений, показания пленных и т.п., содержание которых служило надежным и убедительным свидетельством подлинности событий, происходивших на территориях, охваченных восстанием, и доказывало, что факты, приводимые в западной прессе не просто искажают истинное положение дел в крае, но и представляют собой заведомую и сознательную фальсификацию. Точное указание фамилии автора донесения, его должности, места службы, названия воинского подразделенияи т.д. – все это не только давало читателям возможность узнать о военных действиях, что называется, «из первых рук», но и убеждало в том, что все описываемое реально происходило в действительности.

В качестве яркого примера подобных публикаций приведем напечатанные в апреле 1863 года извлечения из донесения майора Шмидта прусской службы Первого Померанского уланского полка о переходе в прусские владения – в результате кровопролитного боя с превосходящими по численности отрядами польских повстанцев и с целью избежать окружения – двух русских рот Олонецкого пехотного полка под командованием майора Нелидова. Факт перехода границы русскими подразделениями, безусловно, стал широко известен и использовался в европейской и польской печати как аргумент в пользу слабости и

уязвимости регулярных русских войск в столкновениях с польскими партизанскими отрядами. Из подробных выдержек из рапорта немецкого офицера следовало, что русские войска перешли границу в отличном порядке, а солдаты подавали пример мужества и стойкости. «Покрытые сажей лица, закоптелые от порохового дыма штыки, раненые люди и лошади, – но, несмотря на то и на усталость от усиленного марша, люди смотрели молодцами и соблюдали совершенный порядок», – подчеркивалось в рапорте. Особо отмечалось, что «люди отряда продовольствовались привезенными с собою запасами: пищу варили в поле, для чего дрова были куплены на наличные деньги. <…> майор Нелидов платит по 5 зильбергрошей в день на человека» [31]. Спустя несколько дней в «Московских ведомостях» были опубликованы дополнительные сведения о двухдневном пребывании наших пехотинцев в Пруссии, и среди прочего приводился эпизод, доказывающий, до какой степени развиты чувства чести и долга у русского солдата: один из обывателей потерял кошелек, который нашел наш солдат и отдал хозяину, отказавшись при этом от вознаграждения: «Нет, брат дойче, стой! Деньги счет любят, а то скажешь, что дескать, русский человек у тебя стащил что-либо» [32]. Факты, подобные приведенным выше, способствовали формированию в глазах читателей совершенно иного образа русского солдата, нежели тот, который тиражировался в западной прессе: человека порядочного и благородного, верного присяге, имеющего высокие представления о воинской чести и долге. И этими качествами простой русский солдат разительно отличался от польских повстанцев, которые, напротив, рисовались как люди безнравственные и жестокие, которые, воодушевившись патриотическими лозунгами, не брезгуют ничем ради достижения своих целей.

Безусловно, вышеперечисленными темами далеко не исчерпывается содержание публикаций «Московских ведомостей» по «польскому вопросу». Важно другое: газете с успехом удавалось противостоять агрессивной антироссийской информационной кампании и откровенной русофобии в европейской печати, разоблачая ее инсинуации и представляя своим читателям российскую интерпретацию событий. Благодаря своей смелой и бескомпромиссной позиции, обилию точной и оперативной информации, патриотическому одушевлению передовых статей, через которые красной нитью проходила идея общегосударственного единства и неприкосновенности существующих границ России, звучал призыв защитить большинство населения Царства Польского и западнорусских губерний, обреченного стать жертвой междоусобной славянской войны, «Московским ведомостям» в 1863 году удалось сформировать в России консолидированное общественное мнение. Подтверждение чему можно найти в многочисленных свидетельствах современников.

Так, А.А. Киреев, адъютант великого князя Константина Николаевича, в своем дневнике отмечал, что московский публицист «сделался решительно властью» [33, л. 95], а журналист Е.Ф. Феоктистов отмечал, что он «приобрел неслыханную диктатуру над умами». «Кто пережил это время, тот никогда его не забудет, – писал Феоктистов. – Отрадно было видеть, как под влиянием громовых статей “Московских ведомостей” рассеивался мало-помалу хаос в понятиях общества и как проникалось оно сознательным участием к своим интересам. О Каткове можно без преувеличения сказать, что он создал здравое общественное мнение; у него был целый сонм пламенных приверженцев, которые чуть не клялись его именем, и множество исступленных врагов, которым хотелось бы стереть его с лица земли. <…> “Московские ведомости” читались нарасхват, имя его гремело во всей России, едва ли кто после Пушкина пользовался такою славой» [34, с. 144]. «Катков – знаете ли, сила, авторитет, личность историческая! Я помню его передовые статьи – самостоятельные, дельные, в высшей степени логичные, прочитанные всей Россией во время польской неурядицы, – вторил Феоктистову поэт и публицист Ф.Н. Глинка, вспоминая о событиях 1863 года. – Он истый Цицерон, как будто говорит с трибуны: “Вижу тебя, Катилина!”» [35, л. 16]

Творческая и научная интеллигенция видела в Каткове защитника интересов России, первым поднявшимся на защиту ее национального единства и территориальной целостности, и искренно признавала его заслуги. Так, Советы Московского университета и университета Святого Владимира в Киеве подавляющим большинством голосов избрали редактора «Московских ведомостей» почетным членом [36, л. 137; 37. л. 137], отметив, что его имя занимает «одно из почетных мест в ряду современных нам публицистов, неразрывно связано с русской национальной политикой, составляющей славу настоящего царствования, с речью о нравственном достоинстве русского народа, с голосом общественного мнения в России» [38, л. 146–147]. Профессор Киевского университета и постоянный автор изданий Каткова Н.Х. Бунге в письме Каткову прямо признавал, что этим избранием ученое сообщество выразило свое негативное отношение к господствующей в Польше в предшествующие восстанию годы «примирительной политике, более опасной, чем восстание», и тем самым «Университет присоединится открыто началам, которые были провозглашены и с такой энергией отстаиваемы Вами» [39, л. 106].

Писатели, публицисты и общественные деятели почитали за честь печататься в газете Каткова. В редакцию «Московских ведомостей» потоком шли письма с выражением поддержки позиции издания, причем значительная их часть представляла собой коллективные послания из самых разных регионов империи: из Тифлиса, Черни, Казани, Пензы, Астрахани, Калуги, Сызрани, Курска, Симферополя, Владимира, Скопина, Каширы, Херсона, Омска, Тулы, Вильно, Липецка, Нижнего Новгорода, Воронежа и др. [40]. Показательно, что авторами писем были не только представители дворянства и образованной интеллигенции, но и купцы, мещане, крестьяне. Одно коллективное письмо было подписано даже заволжскими старообрядцами. Каждый свежий номер газеты с нетерпением ожидали не только тысячи подписчиков в разных городах России, но и сотни обывателей, не имеющих возможности подписаться на издание, но жаждущих познакомиться с его содержанием. «Ежедневно утром целые массы народа толпились перед редакцией в ожидании, что кто-либо из грамотеев, присланных за получением “Московских ведомостей”, прочтет толпе только что отпечатанную статью по польскому вопросу, – вспоминал А.И. Георгиевский, заведовавший редакцией газеты в 1863–1866 годах. – Таких грамотеев оказывалось немало: толпа разбивалась на большое число кучек, покрывавших собой весь Страстной бульвар и жадно внимавших чтению своего грамотея» [41, с. 115].

Не менее существенной была роль газеты в формировании взгляда на события в Польше среди политического истеблишмента России. Подтверждение тому мы можем найти в письмах высокопоставленных чиновников. Так, вятский вице-губернатор Д.И. Батурин в адресованных Каткову письмах признавал, что его газета служит «верным изображением и истолкованием народных мыслей, чувств и желаний» и потому вызывает «всеобщее сочувствие и уважение» в силу «высокого интереса, занимательности и истинно русского патриотизма» [42]. Писатель И.А. Гончаров, в дни польского восстания – сотрудник департамента Министерства финансов, отмечал, что Катков «первый энергически обличил ложь пропаганды, падавшей на восприимчивую почву молодых умов возраставшего поколения» [43, с. 270], подразумевая под «пропагандой», как можно предположить, публикации герценовского «Колокола», который горячо поддержал польских повстанцев, увидев в их действиях в первую очередь протест против самодержавной власти русского императора.

Российские чиновники, служившие непосредственно в Польше, признавали, что «Московские ведомости» в дни польского восстания «руководили общественным мнением России в этом отношении и служили нам в Западном крае как бы поддержкой». «Читать “Московские ведомости” сделалось у нас такою же необходимостью, как исполнять свои служебные обязанности», – вспоминал А.Н. Мосолов, один из чиновников при генерале М.Н. Муравьеве [44, с. 296].

В глазах политиков и дипломатов позиция «Московских ведомостей» в дни польского восстания служила своеобразным индикатором настроений российского общества, а ее публикации – важным источником достоверной и оперативной информации. К примеру, посол России во Франции барон А.Ф. Будберг не скрывал, что в 1863 году, при получении почты из России, он в первую очередь начинал читать «Московские ведомости», а уже затем принимался за дипломатические депеши и другие деловые бумаги, присланные из Министерства иностранных дел, и с изрядной долей иронии по отношению к внешнеполитическому ведомству заявлял: “Je preferais toujours l’original a la copie” [«Я предпочитал всегда оригинал» (*фр.*)] [34]. Косвенным свидетельством значения публикаций «Московских ведомостей» по «польскому вопросу» может служить адресованное Каткову письмо одного из руководителей восстания Ярослава Домбровского, который, несмотря на ненависть к московскому журналисту, не мог не признать, что тому «удалось на некоторое время разбудить зверские инстинкты и фанатизм русских» [45, л. 31–32].

Показательно, что в антироссийски настроенной иностранной печати имя Каткова в 1860-х годах нередко упоминалось рядом с именем генерала М.Н. Муравьева. Одна из самых известных публикаций – статья «Россия при царе Александре II. Русское общество и русское правительство» известного французского публициста и историка Шарля де Мазада, политического обозревателя авторитетного парижского журнала “Revue des Deux Mondes”, в которой автор, рассматривая события в Польше в период восстания 1863 года, поставил московского публициста в один ряд с Муравьевым и канцлером князем А.М. Горчаковым и посвятил ему несколько страниц. Несмотря на нелицеприятную характеристику, которую получил Катков в этой статье, уже сам факт подобного «соседства», как представляется, можно рассматривать как признание существенного вклада журналиста и его газеты в формирование общественного мнения европейцев по вопросу российско-польских отношений.

Противостояние «Московских ведомостей» с ведущими западноевропейскими изданиями в период военных действий в Польше можно рассматривать как прообраз современных информационных войн, основной целью которых является формирование поведенческих установок населения и определенного общественного мнения.

Литература

1. *Муравьев М.Н.* Письмо М.Н. Каткову. СПб. 1866 г. // ОР РГБ. Ф. 120. К. 42.
2. *Щ-нь Н.* [*Щербань Н.В.*] Из Парижа // Московские ведомости. 1863. 21 марта. № 63.
3. *Любимов Н.А.* М.Н. Катков и его историческая заслуга: По документам и личным воспоминаниям. СПб., 1889. 468 с.
4. ЦГАОР. Ф. 109. Оп. 1: 1858. Д. 1802.
5. *Тесля А.А.* «Польский вопрос» в передовицах М.Н. Каткова в 1863 г. // Ученые записки ТОГУ. 2011. № 2. С. 87–97.
6. *Б.п. [Катков М.Н.]* Передовая статья // Московские ведомости. 1863. 12 марта. № 55.
7. *Катков М.Н.* Письмо М.П. Щербинину. 1863 // ОР РГБ. Ф. 120. К. 49. Ед. хр. 64.
8. *Катков М.Н.* Письмо М.П. Щербинину. Москва. 10 июля 1863 г. // ЦГА Москвы. Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 492.
9. *Головнин А.В.* Письмо М.Н. Каткову. Санкт-Петербург. 4 июня 1863 г. // ОР РГБ. Ф. 120. К. 2. Ед. хр. 29.
10. *Б.п. [Катков М.Н.]* Передовая статья // Московские ведомости. 1863. 24 августа. № 185.
11. *Б.п. [Катков М.Н.]* Передовая статья // Московские ведомости. 1863. 14 марта. № 57.
12. *Б.п. [Катков М.Н.]* Передовая статья // Московские ведомости. 1863. 16 апреля. № 81.
13. *Б.п. [Катков М.Н.]* Передовая статья // Московские ведомости. 1863. 19 апреля. № 83.
14. *Б.п. [Катков М.Н.]* Передовая статья // Московские ведомости. 1863. 14 мая. № 103.
15. *Никитенко А.В.* Дневник: в 3 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 2. 652 с.
16. *Соловьев С.* Еще заметка о Наполеоне I и Польше // Московские ведомости. 1863. 21 февраля. № 39.
17. *Б.п. [Катков М.Н.]* Передовая статья // Московские ведомости. 1863. 9 марта. № 53.

18. *Б.п.* Из Царства польского (из частного письма) // Московские ведомости. 1863. 29 марта. № 69.

19. *Б.п.* Польские дела // Московские ведомости. 1863. 3 мая. № 95.

20. *Б.п.* Из Варшавы (из частного письма) // Московские ведомости. 1863. 10 марта. № 54.

21. Московские ведомости. 1863. 5 июля. № 146.

22. Московские ведомости. 1863. 13 июля. № 153.

23. Из Варшавы (от собственного корреспондента) // Московские ведомости. 1863. 11 июля. № 151.

24. *Б.п.* Из Ковна // Московские ведомости. 1863. 25 сентября. № 208.

25. Из Царства Польского (из частного письма) // Московские ведомости. 1863. 27 марта. № 67.

26. Московские ведомости. 1863. 14 июня. № 129.

27. От специального корреспондента в Варшаве // Московские ведомости. 1863. 4 июля. № 145.

28. Из Варшавы (От специального корреспондента «Московских ведомостей») // Московские ведомости. 1863. 24 июля. № 161.

29. *Б.п.* Из Царства Польского // Московские ведомости. 1863. 18 октября. № 226.

30. *Б.п.* Из Варшавы // Московские ведомости. 1863. 31 июля. № 166.

31. Извлечение из донесения прусской службы 1-го Померанского уланского полка майора Шмидта о переходе в прусские владения двух русских рот под командованием майора Нелидова (пер. с нем.) // Московские ведомости. 1863. 26 апреля. № 86.

32. Дополнительные сведения относительно перехода двух рот Олонецкого пехотного полка чрез границу и двухдневного пребывания в Пруссии // Московские ведомости. 1863. 1 мая. № 93.

33. *Киреев А.А.* Дневник // ОР РГБ. Ф. 126. К. 2.

34. *Феоктистов Е.М.* За кулисами политики и литературы (1848–1896). Воспоминания. М., 1991. 458 с.

35. *Глинка Ф.Н.* Письмо И.И. Лажечникову. Б.д. // ОР РГБ. Ф. 120. К. 42.

36. Диплом об избрании Каткова Почетным членом Императорского Московского университета. 31 июля 1863 г. // ОР РГБ. Ф. 120. К. 42.

37. Диплом об избрании Каткова Почетным членом университета Святого Владимира. 7 ноября 1864 г. // ОР РГБ. Ф. 120. К. 42. Л. 137.

38. Протокол заседания Совета Императорского университета Святого Владимир. 2 ноября 1864 г. // Ф. 120. К. 42.

39. *Бунге Н.Х.* Письмо М.Н. Каткову. 1 ноября. Б.г. // ОР РГБ. Ф. 120. К. 21.

40. Письма М.Н. Каткову // ОР РГБ. Ф. 120. К. 42.

41. Из воспоминаний А.И. Георгиевского // Литературное наследство. Т. 97: в 2 кн. М.: Наука, 1989. Кн. 2. С. 104–163.

42. *Батурин Д.И.* Письмо М.Н. Каткову. Вятка. 2 февраля 1864 г. // ОР РГБ. Ф. 120. К. 1. Ед. хр. 29.

43. *Гончаров И.А.* Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Т. 102. М.: ИМЛИ РАН, 2000. 735 с.

44. *Мосолов А.Н.* Виленские очерки (1863–1865 гг.) // Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском / сост., предисл. и коммент. С.В. Лебедева; отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2014. С. 242–329.

45. *Домбровский Я.* Письмо М.Н. Каткову. 16 июня 1865 г. Стокгольм // ОР РГБ. Ф. 120. К. 24.

Аннотация. В статье рассматривается информационное противостояние газеты «Московские ведомости» с европейской прессой в период польского восстания 1863 года. В ответ на агрессивную антироссийскую риторику западной печати «Московские ведомости» энергично поддержали действия возглавляемой генералом М.Н. Муравьевым русской администрации в Польше. На основе анализа публикаций газеты выявлены основные идейно-тематические направления их выступлений по «польскому вопросу»: изобличение политики западных держав, использующих ситуацию в Польше для давления на Россию в целях ее ослабления; обоснование антинародного характера восстания, инициатива которого принадлежала польскому дворянству и католическому духовенству; формирование негативного образа повстанца, разоблачение фальсификаций и инсинуаций западной прессы.

Делается вывод, что выступления «Московских ведомостей» в период военных действий в Польше способствовали формированию консолидированного общественного мнения в России, а их противостояние с ведущими западноевропейскими изданиями можно рассматривать как прообраз современных информационных войн.

Ключевые слова: «Московские ведомости», М.Н. Катков, М.Н. Муравьев, польское восстание 1863 года, информационное противостояние.

Elena V. Perevalova, PhD in Philology, Associate Professor, Head, Journalism and Mass Communications Department, M.F. Nenashev Moscow Polytechnic University. E-mail: helenpv@yandex.ru

Informational Confrontation of "MoskovskieVedomosti" Journal and European Press During Polish Uprising of 1863

Abstract. In the article the author examines informational confrontation of "MoskovskieVedomosti" journal with European press during Polish uprising of 1863. In response to the aggressive anti-Russian rhetoric of the Western press, "Moskovskie Vedomosti" vigorously supported the actions of Russian administration in Poland, headed by General M.N. Muravyov. On the basis of the newspaper's publications analysis, the author reveals the main ideological and thematic directions of their statements on the Polish issue: exposes the policy of Western powers that used the situation in Poland to pressure Russia and weaken it; substantiates the the anti-national nature of the uprising, initiated by the Polish nobility and Catholic clergy; shows the formation of the rebels negative image, and exposes the falsifications and insinuations of the Western press.

The author comes to the conclusion that the publications of "Moscow Vedomosti" during the period of military operations in Poland contributed to the formation of the consolidated public opinion in Russia, and their confrontation with the leading Western European editions can be considered as prototype of modern information wars.

Keywords: Moskovskie Vedomosti, M.N. Katkov, M.N. Muravyov, the Polish Uprising of 1863, Information Confrontation.

Январское восстание: тогда и сегодня

Раздел третий

К.В. Шевченко
Польское восстание 1863 года в словацком общественном мнении и прессе

К.В. Шевченко
Польское восстание 1863 года в общественно-политическом дискурсе Чехии

Д.А. Федоров
Против полонизма и нигилизма: вопросы среднего образования в Юго-Западном крае на страницах газеты «Киевлянин» (1860–1870-е годы)

Д.В. Харитонов
Польское восстание 1863 года в политике памяти современной Украины

И.Н. Тяпин
Двенадцать мифов литвинизма

А.Д. Гронский
Конструирование национального героического пантеона, или как польский повстанец превратился в белорусского национального героя

А.Д. Гронский
Образ Константина Калиновского в белорусской исторической политике конца XX – начала XXI века

А.Д. Гронский
Образ Константина Калиновского в текстах статей в сборниках белорусских научных конференций начала XXI века

О.Б. Неменский
«История белорусской государственности» в тисках Российской империи

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-237-241

Кирилл Шевченко

Польское восстание 1863 года в словацком общественном мнении и прессе

Разделы Речи Посполитой и потеря поляками собственной государственности в конце XVIII века негативно воспринимались словацким общественным мнением, которое в целом с пониманием и сочувствием относилось к стремлению польских патриотов возродить Польшу. Вместе с тем отношение словаков к польскому национальному движению было неоднозначным, испытывая серьезное влияние широко распространенных в словацком обществе русофильских настроений, которые резко усилились после победы России над наполеоновской Францией и освободительного похода русской армии в Европу в 1813 году. По словам словацкого историка Й. Йирасека, «общеизвестно, что русофильство красной нитью проходит через всю нашу историю» [4, s. 325].

Русско-польское противоборство и национальный антагонизм болезненно воспринимались в словацком обществе, которое во второй четверти XIX века находилось под колоссальным влиянием идеи славянской взаимности. Теоретиком и пропагандистом этой идеи являлся ведущий словацкий будитель Ян Коллар, рассматривавший всех славян как один народ, состоявший из четырех основных племен – русских, поляков, чехословаков и иллиров. Уже польское восстание 1830 года вызвало серьезное размежевание среди словацкой общественности, более либеральная часть которой сочувствовала полякам, а более консервативная поддерживала Россию. В любом случае польское восстание 1830 года и его подавление русской армией в известной степени «скомпрометировали идею славянской взаимности» [2, s. 185].

Впрочем, крупнейший словацкий национальный деятель и мыслитель XIX века Л. Штур в своей книге «Славянство и мир будущего», написанной в 1851 году с учетом опыта европейских событий 1830 года и революций 1848–1849 годов, весьма критически оценивал как польскую государственность и польское национальное движение в целом, так и восстание 1830 года в частности. По словам Л. Штура, вся Польша «служила только дворянству, его прихотям и удовольствиям. Без страха перед верховной властью… оно обратило народ в самое постыдное рабство… Дворянство разучилось военному делу и легко было подкупаемо вследствие своей страсти к наслаждениям, а народ страдал в глубоком рабстве. Кто же виноват в несчастии Польши? Сами поляки. Народ, так жалко заправлявший своим государством, решительно не может иметь призвания на создание новых государственных форм или на руководство другими народами» [1, с. 162]. Комментируя стремление поляков возродить свое государство вооруженным путем, Штур обоснованно замечал, что «часто повторявшиеся после раздела Польши попытки ее восстановления ни к чему не приводили… благодаря недостатку единодушия у поляков, и некоторые из этих

Шевченко Кирилл Владимирович, доктор исторических наук, доцент, заведующий Центром евразийских исследований Филиала РГСУ в Минске, профессор кафедры правовых дисциплин Филиала РГСУ в Минске. E-mail: shevchenkok@hotmail.com

попыток страдали уже слишком большою нелепостью. Поляки дерутся на всех европейских баррикадах, – с иронией писал Штур, – но это не приносит им ни пользы, ни чести. Не знают будто поляки, что от посторонних нельзя получить жизни и свободы… Со всеми почти вступали они в союзы, и только к своим ближним, к своим братьям, становились они спиною…» [2, с. 163].

* * *

Польское восстание 1863 года вспыхнуло во время резкой активизации словацкой общественно-политической жизни в Венгрии. Конец эпохи «баховского абсолютизма», издание императором Францем Иосифом Октябрьского диплома в 1860 году и Февральского патента в 1861-м означали существенные уступки Вены венгерскому национальному движению. В результате данных уступок был воссоздан сейм Венгрии, былой централизм, характерный для Дунайской монархии, был де-факто заменен дуализмом, в рамках которого венгерская аристократия получила контроль над Венгрией, что позволило ей приступить к политике последовательной мадьяризации невенгерских народов Венгерского королевства.

В условиях усиления политики мадьяризации и подготовки к выборам в сейм Венгрии активизировалось словацкое национальное движение. Еще до издания Февральского патента известный словацкий национальный деятель Й.М. Гурбан направил в Министерство внутренних дел Австрии меморандум со словацкими требованиями, которые предусматривали соблюдение языковых и образовательных прав словаков, а также признание государственно-правового статуса Словакии и ее прав в рамках Дунайской империи. Данные требования получили свое развитие в брошюре Ш.М. Дакснера «Голос из Словакии», в которой отвергалась навязываемая венгерскими политиками теория «единого венгерского политического народа» и формулировалось требование признать словаков как особый политический народ [2, s. 195].

В марте 1861 года в Будапеште стала издаваться словацкая политическая газета «Пештбудинске ведомости», вскоре ставшая одной из ведущих словацких газет. Данный печатный орган, главным редактором которого был известный словацкий общественный и политический деятель Я. Францисци, стал основным инструментом выражения взглядов словацкой политической элиты того времени.

Именно «Пештбудинске ведомости» уделили наибольшее внимание и русско-польским отношениям в целом, и восстанию 1863 года в частности. Интерес к проблемам межславянских отношений подогревался и тем обстоятельством, что в 1863 году в Словакии широко отмечалось тысячелетие прихода славянских просветителей Кирилла и Мефодия в Великоморавскую державу. В ходе этих торжеств 4 августа 1863 года в г. Мартин состоялось учредительное общее собрание Матицы Словацкой, что положило начало существованию этой организации, сыгравшей огромную роль в развитии словацкой литературы, языка и культуры в целом [2, s. 197].

С началом польского восстания в январе 1863 года симпатии европейского общественного мнения и прессы были полностью на стороне поляков, которые изображались исключительно в позитивном свете как борцы за свободу и независимость от «деспотической России». Подобный подход был характерен и для подавляющей части чешской прессы, хотя в целом отношение к польскому восстанию в чешском обществе было неоднозначным.

На данном фоне резко выделялись словацкие «Пештбудинске ведомости», занявшие по отношению к польскому восстанию весьма критическую позицию, которая базировалась на учете общего исторического контекста русско-польских отношений. Многовековой русско-польский исторический спор в целом оценивался словацкой газетой как

достойная всяческого сожаления братоубийственная вражда, много раз приводившая к пролитию славянской крови [6, s. 1].

Вместе с тем, по мнению газеты, русско-польский конфликт побуждает славянские народы к размышлениям о сути славянства, о взаимоотношениях славянских народов и культур, а также о том, кто прав в русско-польском споре. Отвечая на этот вопрос, редакция «Пештбудинских ведомостей», в отличие от западноевропейской и большинства чешской прессы, полностью встала на сторону России, обосновывая это аргументами, которые практически не появлялись на страницах европейских газет. Критическое отношение «Пештбудинских ведомостей» и к польской государственности, и к польскому восстанию прямо перекликалось с мыслями Л. Штура, который в своей работе «Славянство и мир будущего» подверг польское национальное движение острой критике.

Критические оценки польского восстания 1863 года «Пештбудинскими ведомостями» были связаны с более широкой критикой социального и общественного устройства Польши и польской шляхты как сословия. Наш взгляд состоит в том, что Польша в действительности не воюет за то, что начертано на ее знамени: за нашу и вашу свободу, – писали «Пештбудинске ведомости» 12 июня 1863 года, – средневековая религиозная битва ведется не против русского правительства, но против русского народа…» [7, s. 1]. Поясняя свою мысль, словацкая газета подчеркивала, что «та самая шляхта, которая сейчас провозглашает свободу, в других местах объявляла войну свободным славянским народам… или же стремилась укрыться под охраной чужеземцев, будучи чуждой своему собственному народу…» [7, s. 1].

Предметом особой критики и раздражения «Пештбудинских ведомостей» являлся пафосный лозунг восставших – «за нашу и вашу свободу», который газета считала ярким примером фальши и отъявленной демагогии. «Наше мнение состоит в том, – указывали «Пештбудинске ведомости», – что восстание не является битвой «за нашу и вашу свободу», а борьбой польской шляхты за свои неограниченные права. Желание возродить национальное польское государство означает в настоящее время господство поляков над литовским и малорусским народом. Если поляки стремятся к свободе, то в первую очередь им следует отказаться от прав на литванов и малорусов, которые чужды полякам» [7, s. 1]. Именно таким образом газета комментировала стремление лидеров восстания 1863 года к восстановлению Речи Посполитой в границах 1772 года, что предполагало включение в состав Польши обширных территорий Белой и Малой Руси с доминировавшим здесь православным восточнославянским населением.

Столь критические мысли по поводу польской государственности и польского восстания вытекали из общего отношения редакции «Пештбудинских ведомостей» к Польше и России, которое имело много общего со взглядами русских славянофилов. «Мы считаем и поляков, и русских своими братьями, однако нам далеко не все равно, кто одержит победу, поскольку Россия сейчас является единственным представителем славянства. В этой роли поляки никогда не выступали и ничего в интересах славянства они не сделали… – подчеркивала газета. – Если Польша хочет найти свое спасение в славянстве, то ей лучше принять новую русскую политику. Они же, напротив, стремятся всячески задержать прогресс России» [7, s. 1].

Подобные мысли, однако, критически воспринимались более поздним поколением словацких либеральных интеллектуалов, считавших позицию «Пештбудинских ведомостей» в вопросе польского восстания чрезмерно консервативной и не вполне точной и соответствующей реалиям. Так, Й. Йирасек писал в 1923 году, что тезис о польском восстании 1863 года как об исключительно шляхетской борьбе за свои привилегии «совершенно не соответствует действительности. Все наоборот. Тот, кто анализирует зарубежную деятельность польской эмиграции в течение 15 лет до восстания 1863 г. видит,

что их лозунгом было “все для народа и для славянской свободы”. Полное освобождение крестьян без какого-либо выкупа и ликвидация шляхетских привилегий были условием и побудительным мотивом польского восстания…» [5, s. 397]. Подчеркивая, что польская шляхта в ходе восстания 1863 года была готова принести бóльшие жертвы на благо своей родины, чем русские дворяне, Йирасек замечал, что «Пештбудинске ведомости» оказались «в плену идеологии Каткова» [5, s. 398]. Впрочем, Йирасек предпочел умолчать о том, насколько последовательно польская шляхта проводила в жизнь красивые лозунги об освобождении крестьян. Оценка польского восстания газетой «Пештбудинске ведомости» в целом была близка позиции известного русского историка-славянофила А.Ф. Гильфердинга, об отношении которого к польскому национальному движению словацкая газета подробно информировала своих читателей [8].

Весьма эмоционально «Пештбудинске ведомости» отреагировали и на освещение польского восстания 1863 года в чешской прессе, которая отдавала явное предпочтение польским повстанцам, критикуя Россию за насилие и нежелание пойти навстречу полякам. Так, 12 июня 1863 года «Пештбудинске ведомости» опубликовали пространное письмо одного из своих читателей, в котором эмоционально выражалось негодование по поводу антирусской истерии, охватившей значительную часть чешской прессы. «Борьба против петербургского двора зашла уже так далеко, что… на месте русского народа перед глазами публики на карте Европы возникает империя каких-то азиатских дикарей. Славные мужи и будители чешского народа Коллар, Ганка, Гавличек, Шафарик позабыты, – с сарказмом писала словацкая газета. – Журналы состязаются с немцами в ругани в адрес русских, тщательно выискивая, вынюхивая и придумывая что-нибудь во вред России. Даже православная вера, даже славянская церковная служба, даже кириллическая письменность не могут избежать их ехидных насмешек» [7, s. 1]. При этом, выступая в защиту России, «Пештбудинске ведомости» подчеркивали, что «Россия никогда не выступала против других славян; наоборот, русский всегда был искренним братом остальным славянам. Нам известно, что у русских нравы, речь, письменность сохранились лучше, чем на Западе, где они были нарушены западной культурой…» [7, s. 1].

Полемическая статья с критикой пропольской позиции чешской прессы была использована прорусски настроенной частью чешской общественности в ее журналистской полемике с оппонентами. Так, известный чешский литератор и публицист Ф.Й. Йезбера в своей полемической брошюре, изданной в 1863 году и резко критикующей позицию ведущих чешских газет в польском вопросе, привел обширный отрывок из публикации «Пештбудинских ведомостей» [3]. Отвечая на упрек пражской газеты «Народни листы», критиковавшей словацкие газеты за то, что они пишут «полностью в интересах русского правительства», Йезбера с полным основанием указывал, что чешские газеты, в свою очередь, пишут «в интересах» подпольного польского правительства.

Традиции весьма критического отношения к польскому национальному движению, заложенные Штуром и «Пештбудинскими ведомостями», были продолжены и впоследствии, оказав заметное влияние на восприятие польско-русских отношений широкой словацкой общественностью. Так, обсуждая польский вопрос в 1877 году, популярная словацкая газета «Народне новины» констатировала, что вопрос возрождения польской государственности имеет лишь «местное значение» и только «фантазия раздула его до вопроса мирового масштаба» [5, s. 399]. Более того, в 1906 году в разгар русской революции «Народне новины» выступили даже против предоставления полякам автономии в России, объясняя это тем, что «поляки сохранили в России свой язык, веру и культурные особенности… Россия не может дать автономию, так как эта автономия угрожала бы самой польской народности. Будущее польского народа связано с судьбой русского народа!» [5, s. 400].

Литература

1. *Штур Л.* Славянство и мир будущего: Послание славянам с берегов Дуная / пер. неизданной немецкой рукописи с примеч. Владимира Ламанского. М.: В университетской типографии, 1867. 217 с.
2. Dejiny Slovenska: D. Čaplovič, V. Čičaj, D. Kovač, L. Liptak, J. Lukačka. Bratislava: AEP, 2000. 312 s.
3. *Jezbera F.J.* Rusové, Srbové, Poláci a Čechové s ostatními Slovany. S povyjasněním nevzajemného a nepravého vzhledu některých listův českých na polsko-ruskou záležitost. V Praze, 1863. 79 s.
4. *Jirásek J.* Slováci a Rusko // Prúdy. Ročník VII.1923. Číslo 7.
5. *Jirásek J.* Slováci a Rusko // Prúdy. Ročník VII.1923. Číslo 8.
6. Peštbudínské vedomosti. Ročník 1861. Číslo 9.
7. Peštbudínské vedomosti. Ročník 1863. Číslo 47.
8. Peštbudínské vedomosti. Ročník 1863. Číslo 52.

Аннотация. В статье анализируются взгляды ведущих словацких общественно-политических деятелей и словацкой прессы на различные аспекты польского национального движения. Особое внимание уделено отношению словацкой прессы и общественных деятелей к предпосылкам, ходу и особенностям польского восстания 1863 года на территории Царства Польского и в белорусско-литовских губерниях Российской империи. В отличие от чешской прессы, в целом выступавшей с пропольских позиций, словацкие деятели и словацкая пресса, включая влиятельную газету «Пештбудинске ведомости», демонстрировали критическое отношение к польскому восстанию, которое они трактовали как попытку польской шляхты отстоять свои сословные интересы. Кроме того, словацкие деятели критиковали польское движение за отстраненность от общеславянских интересов, подчеркивая в то же время, что Россия всегда стремилась защищать интересы славянских народов. Критику словацких деятелей вызывал и лозунг польских повстанцев о восстановлении Речи Посполитой в границах 1772 года, что словацкая пресса трактовала как стремление навязать польское господство населению Украины и Белоруссии. Критическое отношение к польскому национальному движению, проявившееся в 1863 году, оказало влияние и на последующее отношение словацкого общественного мнения к русско-польскому историческому спору.

Ключевые слова: Словакия, Польша, словацкая пресса, польское восстание, Россия.

Kirill V. Shevchenko, PhD in History, Associate Professor, Head, Center for Eurasian Studies; Professor, Department of Law, Minsk Branch (Belarus), Russian State Social University. E-mail: shevchenkok@hotmail.com

The Polish Uprising of 1863 in Slovak Public Opinion and Slovak Press

Abstract. In the article the author analyzes the views of leading Slovak public and political figures and the Slovak press on various aspects of the Polish national movement. Particular attention is paid to the attitude of the Slovak press and public figures to the prerequisites, course and features of the Polish uprising of 1863 in the territory of the Kingdom of Poland and in the Belarusian-Lithuanian provinces of the Russian Empire. In contrast to the Czech press, which generally took the pro-Polish stand, Slovak figures and Slovak press, including the influential Slovak "Peshtbudinske Vedomosti" journal, demonstrated a critical attitude towards the Polish uprising, which they interpreted as an attempt by the Polish gentry to defend their class and social interests. In addition, Slovak leaders criticized the Polish movement for its detachment towards common Slavic interests, emphasizing at the same time that Russia had always sought to protect the interests of the Slavic peoples. They also criticized the slogan of the Polish rebels about the restoration of the Polish-Lithuanian Commonwealth within the borders of 1772, which the Slovak press interpreted as the desire to impose Polish domination on the population of the Ukraine and Belarus. The critical attitude towards the Polish national movement, which manifested itself in 1863, also influenced the subsequent attitude of Slovak public towards the Russian-Polish historical dispute.

Keywords: Slovakia, Poland, Slovak Press, Polish Uprising, Russia.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-242-250

Кирилл Шевченко

Польское восстание 1863 года в общественно-политическом дискурсе Чехии

В идеологии чешского национального движения в XIX веке очень важное место традиционно принадлежало идее славянской взаимности. Ядром созданной Я. Колларом концепции славянской общности было «понимание славянства как единого целого – «славянской нации» [5, с. 7]. Подобные взгляды в различной степени были свойственны большинству чешских «будителей» первой половины и середины XIX века, рассматривавших чехов исключительно в общеславянском контексте. В наибольшей степени славянские чувства чехов были направлены на Россию, единственное к началу XIX века независимое славянское государство, военная мощь и политическое значение которого являлись важным стимулирующим фактором в деятельности чешских «будителей». Русофильские настроения среди чешской интеллигенции резко усилились после контактов чехов с русской армией в ходе наполеоновских войн в 1799–1800 годах и в 1813 году, когда русские войска находились на территории Чехии, где они были с радостью и воодушевлением встречены местным населением. «Малочисленность народа и его сил должна была быть компенсирована величием хотя и чужим, но все-таки величием соплеменников», – писал в 1894 году Т.Г. Масарик, пытаясь объяснить корни чешского русофильства [8, s.61].

Наряду с русофильством для чешских национальных деятелей были характерны и полонофильские взгляды. Если Россия завораживала чехов своим военно-политическим могуществом и международным авторитетом, усилившимся после наполеоновских войн и вызывавшим «усиленное биение пульса славянского чувства» [7, с. 12], то поляки вызывали сочувствие у чехов схожей исторической судьбой, заключавшейся в утрате государственной независимости и вхождением польских земель в состав других государств. Совмещение русофильских и полонофильских взглядов было в это время характерно для многих чешских национальных деятелей. Естественно поэтому, что русско-польское противоборство и польские восстания против России воспринимались чешским обществом крайне болезненно. Уже польское восстание 1830–1831 годов стало причиной серьезной напряженности и идейного размежевания в чешском обществе. В этом отношении 1830–1831 годы были предвестником еще большей напряженности в 1863 году, приведшей к открытому конфликту.

* * *

Ведущая чешская газета «Народни листы», орган чешской национальной партии, вплоть до начала беспорядков в русской Польше отзывалась о России и императоре Александре II весьма позитивно, особенно подчеркивая важность отмены крепостного права

Шевченко Кирилл Владимирович, доктор исторических наук, доцент, заведующий Центром евразийских исследований Филиала РГСУ в Минске, профессор кафедры правовых дисциплин Филиала РГСУ в Минске. E-mail: shevchenkok@hotmail.com

для всех славянских народов. По словам газеты, отмена крепостничества в России «наполняет радостью всех славян» прежде всего потому, что «завистливые народы соседние», указывая на русское крепостное право, твердили на этом основании о врожденной предрасположенности славян к «вечному рабству». Отныне, утверждали «Народни листы», это «язвительное оружие» выбито из рук славянских недоброжелателей [15].

Однако уже апрельские беспорядки в Варшаве в 1861 году, в подавлении которых участвовали русские войска, вызвали критическую реакцию ведущей чешской газеты, писавшей о жестоком поведении армии и об убийствах женщин и детей, что, по ее мнению, в значительной степени испортило репутацию Александра II как великодушного освободителя от крепостного рабства миллионов русских крестьян. Вместе с тем часть вины за происшедшее «Народни листы» возлагали и на самих поляков, «провоцирующих русскую администрацию и армию» [16]. Основную вину за резкое обострение ситуации в Царстве Польском «Народни листы» были склонны возлагать не столько на императора, сколько на русских чиновников, управлявших Польшей. По мнению газеты, лучшим способом решения польского вопроса для России было бы возвращение Царству Польскому собственной национальной администрации, финансовой системы и армии, то есть тех прав, которые оно имело в соответствии с решениями Венского конгресса 1815 года [17].

Вплоть до начала восстания чешские газеты делали попытки дистанцироваться от конфликта и играть роль бесстрастного посредника. «Мы, чехи, любим одинаково оба народа и усматриваем в них не только поляков и русских, но родственные племена славянские, на которых лежит проклятие славянства – братоубийство и разобщенность», – писали «Народни листы» в ноябре 1862 года [18]. Вместе с тем здесь же выражалось сочувствие «героическому народу польскому», на «кровоточащие раны которого», по словам газеты, чехи смотрят «глазами, полными слез» [18]. При этом «Народни листы» подчеркивали необходимость отделять русский народ, не имеющий ничего против поляков, от угнетателей польского народа, к числу которых газета относила «отвратительную касту чиновников без славянского и национального самосознания» [18], намекая на немецкую этническую принадлежность многих высших русских чиновников в Царстве Польском.

Начало январского восстания 1863 года застало чешскую прессу врасплох. Первоначально чешские периодические издания даже «не хотели верить информации о начале восстания и предрекали ему неудачу» [27, s.36]. Однако развитие событий очень быстро сделало польский вопрос и польско-русские отношения одной из главных тем в чешской прессе. В пространной статье об отношениях России и Польши, опубликованной 25 января 1863 года, «Народни листы» эмоционально и противоречиво комментировали начавшееся восстание. С одной стороны, чешская газета осудила политику Николая I в польском вопросе как деспотичную, отметив вместе с тем и разочарование поляков Александром II, реформы которого не могли удовлетворить польские ожидания [19]. С другой стороны, признавая правомерность «озлобленности и отчаяния» поляков, «Народни листы» выражали свое неодобрительное отношение к начавшемуся восстанию, поскольку, не ставя под сомнение «мужество и жертвенность поляков», они тем не менее были уверены в том, что восстание не достигнет своей цели. По мнению газеты, полякам «не хватает сил», и «преимущество русских является слишком большим» [19].

Кроме того, «Народни листы» проницательно указывали на то, что в восстании не примут участия польские крестьяне, которые, по словам газеты, «к сожалению, не столь сознательны как наши чешские крестьяне…» [19]. Здесь же высказывалось оправдавшееся позже предположение о том, что начавшееся восстание «не станет всеобщим как в 1830 году, а превратится лишь в кровавые стычки» [19]. Содержание и тон публикации свидетельствовали о полностью пропольской позиции печатного органа чешской

национальной партии, который, солидаризируясь с целями восставших, выражал несогласие лишь с методами достижения этих целей, считая их нереальными.

Если в самом начале редакция газеты «Народни листы» стремилась к сдержанности и объективности, то уже через несколько месяцев содержание газеты стало еще более пропольским, а статьи о восстании приобрели более сочувственный и оптимистичный по отношению к восставшим тон, выражая надежды на их успех. Рубрику о Польше в это время редактировал убежденный полонофил и сторонник восставших А. Котик [27, s.39]. Редакция газеты с начала восстания получала большое количество писем из Польши и Галиции, «информация которых часто была тенденциозной и не соответствующей действительности. Речь шла в основном об успехах поляков… Все это, – полагал чешский исследователь В. Жачек, – свидетельствовало о прекрасной организации польской пропаганды за рубежом…» [27, s.40]. Хорошо отлаженный механизм польского политического пиара оказал воздействие на позицию ведущих чешских газет. Если поначалу редактор газеты «Народни листы» Э. Грегр воспринимал пропольские материалы из-за рубежа скептически и не был склонен публиковать всю содержавшуюся в них информацию, то позже под влиянием полонофильского окружения изменил свои взгляды в более благоприятном для поляков направлении. Единственным членом редакции газеты «Народни листы», который занимал прорусскую позицию, был Ержабек.

В это же время наметился конфликт между редакцией «Народних листов», занимавшей откровенно пропольские позиции, и лидерами национальной партии Ф. Палацким и Ф. Ригером, которые воспринимали польское восстание как контрпродуктивное и достойное всяческого сожаления событие и в целом были на стороне России. «Московские ведомости», характеризуя отношение чехов к польскому восстанию, констатировали в апреле 1863 года, что «чешское общество в высшей степени заинтересовано теперь польскими событиями… Тут насчитываются всевозможные партии – есть партия так называемая московская, есть партия польская, есть партия Герцено-Бакунинская, партия Лангевича, партия Мерославского… Одни, видя спасение для Чехии единственно в ее союзе с ближайшим соседним народом польским, требуют окончательного истребления и изгнания из Чехии так называемого руссоманства, и разрыва всех сношений Чехии с Россией… Другие, напротив, считают необходимым идти по прежней дороге, не увлекаясь заманчивыми идеями поляков и не поддаваясь первым впечатлениям…» [4].

Весной 1863 года антироссийские и пропольские настроения чешской прессы заметно усилились. Информация о событиях в русской Польше, публиковавшаяся на страницах чешских печатных изданий, касалась главным образом успехов и героизма повстанцев; действия русских войск изображались исключительно в негативно-критическом ключе, при этом акцент делался на жестоком обращении русской армии с мирным населением и повстанцами. Широко применявшиеся повстанцами карательные акции и террор против не поддерживавшего их мирного населения в Беларуси, Литве и в самой Польше откровенно замалчивались. Избранная повстанцами тактика партизанской войны получила поддержку на страницах чешских газет, полагавших, что таким образом повстанцы приобретут необходимый боевой опыт. «Пусть военное счастье решит, кто достоин победы! – провозглашали «Народни листы» в феврале 1863 года. – Независимо от того, снискают ли поляки лавры победителей или потерпят поражение, у нас, чехов, они всегда найдут самое теплое сочувствие» [20]. Если описание действий поляков в чешских газетах непременно сопровождалось столь комплиментарными эпитетами как «храбрый», «жертвенный», «героический», то «русские солдаты изображались не только как орудие русского деспотизма, но и как крайне жестокая масса, в опьянении убивавшая раненых, жегшая дома, бесчестившая женщин…» [27, s. 41]. Подобная тональность публикаций была

предсказуемой, поскольку «основным источником для чешской прессы были польские и немецкие издания»[27, s. 41].

Большое внимание чешская пресса уделяла международной обстановке и отношению к польскому восстанию со стороны европейских государств, нередко критикуя их руководство за недостаточную поддержку восставших. «Польша истекает кровью, дипломатия и журналистика собирают урожай, – писали «Народни листы» в апреле 1863 года. – Везде лишь разговоры, действия отсутствуют. Сам Пальмерстон заявил в парламенте, что помощь полякам будет оказана, но лишь путем дипломатических переговоров. Франция, уже имевшая готовый план, отказалась от него, так как не хотела действовать в одиночку без поддержки Австрии…» [21].

Поведение европейской дипломатии и крупнейших европейских держав в лице Франции, Англии и Австрии привело редакцию «Народних листов» к выводу о том, что «ни одна из трех держав не обладает ни необходимой волей, ни отвагой действительно встать на защиту истекающего кровью польского народа…» [22]. Ожидание некой «отваги» от европейских государств в польском вопросе свидетельствовало о романтизме и дилетантской наивности чешских журналистов. Европа в первую очередь была заинтересована в решении собственных внешнеполитических задач, используя поляков в качестве инструмента. Так, например, «Лондон был не слишком обеспокоен судьбой поляков, но хотел использовать ситуацию для срыва русско-французского внешнеполитического диалога и немало преуспел в этих планах…» [1, с. 243]. Мысль о возможности беспорядков и революции в России, которые бы оказали большую помощь полякам, высказывал на своих страницах и «Глас» [12]. Примечательно, что объявленную царем амнистию повстанцам «Глас» трактовал как хитрый дипломатический маневр Горчакова, призванный внести разлад в действия европейских союзников [13].

Обсуждая возможную реорганизацию Европы в связи с гипотетическим восстановлением польской государственности, чешские газеты выражали согласие с обсуждавшимся в европейской прессе планом возрождения Речи Посполитой в составе Царства Польского, Литвы, Подолии и Украины. По мнению чешских газет, от Галиции и Познаньщины в этом случае поляки откажутся, и планируемая реорганизация Европы принесет пользу всем европейским странам, кроме России. Подобный сценарий рассматривался полонофильской чешской прессой как оптимальный. Чешских борцов за польскую независимость при этом ничуть не смущало ни то, что Познаньщина была исконно польской землей и познанские поляки подвергались жесткой германизаторской политике со стороны Пруссии, ни то, что Литва и Украина не являлись этнически польскими землями и их коренное население не проявляло желания войти в состав возрожденной Польши. Данный сюжет вообще не получил сколько-нибудь широкого освещения на страницах чешской прессы, поскольку он подрывал широко тиражируемый пропагандистский тезис о справедливости требований польских повстанцев.

Между тем ряд документов, в том числе воззвание виленского повстанческого центра к народам Литвы и Белоруссии, написанное 11 июня 1863 года на белорусском языке латинской графикой, фактически свидетельствовал о массовом неприятии повстанческой власти и сопротивлении коренного населения белорусско-литовских губерний польским повстанцам. «Польское правительство спрашивает вас, по какому праву вы смели помогать москалю в нечистом деле?! – гневно вопрошало воззвание повстанческого центра в Вильно. – Кто хочет неволи московской – тому мы дадим виселицу на суку…» [2, с. 29]. После запугивания населения петлей «справедливое польское правительство» требовало от жителей литовских и белорусских земель «не помогать больше москалю ни в чем», не участвовать «в милиции и в караулах по селам», угрожая в противном случае неизменной виселицей, а также подчиняться только польскому правительству и лишь ему платить

подати [2, с. 30]. Данный документ должен был быть прочитан «в каждой церкви, костеле и по деревням» [2, с. 30]. Сам тон и содержание данного документа свидетельствовали об отсутствии массовой поддержки у польских повстанцев в белорусско-литовских губерниях и о том, что польские повстанческие структуры тут выступали фактически в роли оккупационной администрации. О повсеместном «враждебном отношении» к повстанцам крестьянства Литвы и Белоруссии «за исключением Ковенской губернии» писал в своих мемуарах и член повстанческого правительства Оскар Авейде [3, с. 542].

Сильные пропольские эмоции и стремление во что бы то ни стало увидеть поляков в роли победителей временами приводили к тому, что чешская пресса попросту выдавала желаемое за действительное. В середине апреля «Народни листы», противореча собственным более ранним и значительно более трезвым оценкам польского восстания, писали, что повстанческое движение охватило весь народ, в том числе «шляхту, мещанство и в значительной степени сельское население. Поэтому мы думаем, что 1863 год не станет параллелью 1831 года…» [23].

С мая 1863 года польскому вопросу большое внимание стал уделять еженедельник «Болеславан», издававшийся в г. Млада Болеслав к северо-востоку от Праги. «Болеславан», получавший финансовую поддержку от демократически и полонофильски настроенного князя Турн-Таксиса, сразу занял радикально-пропольскую позицию, превзойдя в этом отношении пражскую периодику и «доходя в своем полонофильстве до крайности» [27, s. 49]. На своих страницах «Болеславан» демонстрировал почти религиозный экстаз в отношении поляков и польского восстания, рисуя мифический образ польских повстанцев как храбрых и благородных рыцарей без страха и упрека, а их противников – как заклятых врагов свободы, демократии и прогресса. Стремясь всячески способствовать распространению полонофильских настроений среди чехов, «Болеславан» апеллировал к этнической и исторической близости чехов и поляков и подчеркивал, что «народ наш осознает братство чехов и поляков и наши народы постоянно помогали друг другу в беде» [9]. Поляки часто изображались им в качестве объекта для подражания; Россия же представлялась отсталой и реакционной страной жесточайшего чиновничьего деспотизма, не имеющей права выступать в роли защитника славянских народов.

Если «Народни листы» стремились по возможности избегать конфликтов с лидерами чешской национальной партии Ф. Палацким и Ф. Ригером, занимавшими критическое отношение к польскому восстанию, то «Болеславан» открыто вступил с ними по этому вопросу в жесткую полемику. В статье, опубликованной 1 июня 1863 года, «Болеславан» обрушился с резкой критикой на Ф. Палацкого за приписываемую ему фразу о том, что «пропольские симпатии нам очень вредят в Петербурге» и что «спасение славянства – в русском царе. В победу поляков я не верю; но если они победят, это станет нашим самым большим несчастьем» [27, s. 51]. Полемизируя с Палацким, «Болеславан» писал, что спасти себя могут только сами народы, а не правительства и тем более не русский царь; что, в отличие от Палацкого, он верит в окончательную победу поляков и что только свободная Польша сможет помочь чехам [27, s. 51].

В своем пространном ответе «Болеславану», опубликованному в «Народних листах» 8 июня 1863 года, Палацкий проанализировал восстание как историк и политик в более широком общеевропейском контексте, расставив все точки над «i» и одновременно выразив отношение к польскому восстанию той части чешского общества, которая была более благожелательна к России и которую раздражала откровенно полонофильская позиция ведущих чешских газет. Констатировав, что «Болеславан» исказил его слова вплоть до откровенной лжи, Палацкий отметил, что спасение славянства он всегда усматривал в самом славянстве, а отнюдь не только в русском царе. Выразив свое сочувствие ведущим неравный бой полякам, Палацкий тем не менее категорически заявил, что считает

восстание колоссальным несчастьем для славян вообще и для поляков в особенности [24]. По словам ведущего чешского политика и историка, «только революционеры и враги славян, а также крайне недальновидные и несамостоятельные в своих суждениях люди могут радоваться военным действиям в Польше» [24]. Чешский политический деятель также подчеркнул, что польское восстание выгодно прежде всего тем, кого страшит растущая мощь России и кто хотел бы поставить этому барьер в лице возрожденной Польши; при этом остальные славяне, по словам Палацкого, станут добычей немцев [24].

Конкретизируя свою мысль, Палацкий подчеркивал, что не имеющая поддержки собственных крестьян польская шляхта может победить только с чужой помощью, главным образом с помощью немцев, что сделает ее зависимой от немецкой политики. Реагируя на популярные в чешской полонофильской прессе панегирики польскому свободомыслию, Палацкий не без иронии напоминал оппонентам, что польская шляхта совершенно равнодушна к судьбе своих «хлопов» и что она без всяких на то оснований присваивает себе право господства даже над русским Киевом. Задав риторический вопрос о том, кто предпочтительнее для польских крестьян – собственные паны или русское правительство, Палацкий затронул и табуизированный в чешской прессе сюжет о широко практикуемых повстанцами карательных акциях в отношении тех, кто отказался поддерживать восстание, крайне негативно отозвавшись о подобной практике.

Реакция Палацкого на польское восстание вызвала большой интерес в России. Газета «Русский инвалид» полностью перепечатала данную статью Палацкого в одном из своих номеров под названием «Суждение г. Палацкого о польском вопросе». При этом в перепечатанной статье был оставлен и весьма нелестный отзыв Палацкого о русском царизме как о симбиозе татарских и немецких государственных начал [6]. Если оценка Палацким польского восстания была с пониманием воспринята в России, то реакция чешской и европейской прессы на его выступление была прямо противоположной. Во враждебной Палацкому прессе распускались слухи о том, что он получает деньги из России, за которые его зять Ригер приобрел крупное земельное имение и замок Малеч [14, s. 197]. Редактор «Народних листов» Э. Грегр, опубликовавший статью Палацкого, был в этом споре на стороне его противников и впоследствии даже высказывал сожаление в связи с тем, что согласился ее опубликовать [27, s. 53]. Спор лидеров национальной партии Палацкого и Ригера с редакцией газеты «Народни листы», являвшейся печатным органом их партии, впоследствии перерос в открытый конфликт, результатом которого было основание Палацким новой политической газеты «Народ». Данный конфликт стал впоследствии одной из существенных причин раскола национальной партии на старочехов и младочехов.

Позиция ведущих чешских газет в русско-польском противоборстве вызвала гневную реакцию некоторых словацких печатных изданий. Издававшиеся в Будапеште «Пештбудинске ведомости», оценивая публикации в чешской прессе, писали 12 июня 1863 года, что «борьба против петербургского двора зашла уже так далеко, что… на месте русского народа оказалась некая империя азиатских дикарей. Славные мужи и будители чешского народа забыты… Журналы смыкаются с немцами в брани и ругани в адрес русских, тщательно выискивая или выдумывая что-нибудь против России…» [25].

Характеризуя само восстание, газета отмечала, что «Польша… не борется за «нашу и вашу свободу», а ведет борьбу не против русского правительства, но против самого русского народа…» [25]. Крайне негативно «Пештбудинске ведомости» отзывались о польской шляхте и ее отношении к собственному и другим славянским народам. По словам газеты, «та самая шляхта, которая сейчас провозглашает свободу, объявляла войну… славянским народам или отдавалась под охрану иностранцев, будучи чуждой собственному народу…» [25]. Вокруг «Пештбудинских ведомостей» постепенно сформировался круг русофильски настроенных словаков, сербов, чехов и русинов, проживавших в Венгрии.

Полемика вокруг польско-русского вопроса в Чехии не ограничилась только прессой. С лета 1863 года там появилось несколько брошюр, посвященных польско-русским отношениям, авторы которых не были удовлетворены освещением данного сюжета в чешских газетах. Так, например, очень критически в адрес поляков и более позитивно в адрес России высказался чешский филолог Й. Ранк, который в своей брошюре, полемизируя с чешскими полонофилами, указал на многочисленные проблемные сюжеты в польско-чешских отношениях и крайне негативно отозвался о поведении польских повстанцев в 1863 году. Солидаризируясь с Палацким, Ранк осуждал польское революционное правительство за санкционированный им террор, грабежи и насилие, что, по его мнению, ставило польских повстанцев в один ряд с заурядными бандитами. По словам Ранка, вина за тяжелое положение в Царстве Польском лежит исключительно на самих поляках, склонных к постоянным революциям и не дающих русскому правительству возможности осуществить реформы, от которых они только выиграли бы [26]. Обвинения Ранка подтверждались самими повстанцами. Так, член повстанческого правительства до августа 1863 года О. Авейде признавал, что в силу незначительности добровольных пожертвований в пользу восставших, самым важным источником финансирования восстания «были деньги, захваченные повстанцами из законных правительственных касс…» [3, с. 529].

Наиболее радикальным в своей критике поляков стал известный чешский литератор и общественный деятель Ф.Й. Йезбера, опубликовавший за свой счет брошюру «Русские, сербы, поляки и чехи с остальными славянами», которая была призвана дать ответ всей полонофильской чешской журналистике. Уже в январе 1863 года в письме М.Ф. Раевскому, священнику русского посольства в Вене, Йезбера высказывал свое негодование по поводу «чешских магометан и революционеров», которые «радуются теперешней революции польской, желая раздробления русского народа и разрушения русского государства» [10, s. 107]. В предисловии к своей работе Йезбера высказывал сожаление по поводу «странного и неразборчивого» отношения чешских журналистов к таким основополагающим понятиям как «правда» и «право». Иллюстрируя свою мысль, чешский литератор язвительно замечает, что чешские газеты с энтузиазмом выдают за доблесть и героизм грабежи русских банков польскими революционерами и совершаемые ими убийства русских и их сторонников с помощью кос и виселиц, в то время как наказания поляков, виновных в этих преступлениях, объявляются чешской прессой самым отвратительным варварством [11, s. 1].

Предваряя свою оценку польского восстания 1863 года обширным историческим экскурсом, Йезбера оппонирует «Болеславану», подчеркивавшему вековую дружбу чехов и поляков, приводя многочисленные проблемные факты в истории чешско-польских отношений. Так, Йезбера не без удовольствия цитирует «Краледворскую рукопись», где поляки названы врагами чешской земли, и указывает на захват поляками Праги и их последующее изгнание местным населением в 1004 году [11, s. 33]. В разделе, посвященном сути польско-русского спора в 1863 году, Йезбера солидаризируется с Гильфердингом, провозглашая, что в данном конфликте речь не идет об освобождении польской народности от угнетения и о восстановлении польской независимости от России. По убеждению Йезберы, речь идет о раздроблении русского народа, о восстановлении «в западной части русских земель ига польского меньшинства над русским народом и о разрушении Российской империи» [11, s. 53]. Продолжая эту мысль, Йезбера подчеркивает, что польские повстанцы претендуют не только на польские этнические земли, но и на области, где «русский народ был и остается ядром населения. Поляки постоянно ссылаются на некое историческое право… Я не буду говорить тут о средневековом историческом праве, в соответствии с которым все решал меч… Напоминаю, – писал Йезбера, – что есть более святое право и это право национальное. Польские повстанцы в своей гордости и

спеси встали под ложное знамя… и их лозунг “за нашу и вашу свободу” является ложным. Они стремятся не к свободе и равноправию, а к господству» [11, s. 62].

В качестве иллюстрации к своим мыслям Йезбера приводил статистические данные, в соответствии с которыми поляки составляли незначительное меньшинство в украинских и белорусско-литовских губерниях. Так, из 1 804 970 населения Киевской губернии поляки составляли лишь около 100 000; из 877 200 населения Гродненской губернии поляки насчитывали только 82 000 человек. «Проанализировав все статистические данные, – резюмировал Йезбера, – мы можем убедиться в том, что на землях, где поляки хотят восстановить свое господство, проживает 11 274 287 русских и лишь около 600 000 поляков. В землях, где звучит польский язык, каждый благородный славянин желает братскому польскому племени свободу… но требовать, чтобы незначительное польское меньшинство господствовало над русским большинством, карая и наказывая его, есть преступление…» [11, s. 66]. В заключение Йезбера вновь предпринял экскурс в историю, напомнив всем «надменным и высокомерным полякам» время, когда они господствовали над всей Западной Русью, «истребляя злонамеренно и обрекая на муки православную веру и русскую народность. Все то, что их постигло, – утверждал Йезбера, – есть не что иное, как наказание за их нехристианскую гордость и высокомерие» [11, s. 73]. «Народни листы» не остались в долгу и ответили Йезбере пространным ироничным фельетоном, приклеив ему ярлык «чешского Муравьева».

* * *

Польское восстание 1863 года способствовало поляризации чешской интеллигенции и разделению чешского общественного мнения на два лагеря, отстаивавших противоположные взгляды в польском вопросе; при этом «чешская журналистика была полностью на стороне поляков» [27, s. 72]. Это обстоятельство вскоре отразилось на чешской политической жизни. Идейная борьба и журнальная полемика вокруг польского вопроса ускорили процесс политического размежевания и постепенное оформление в рамках чешской национальной партии либерального оппозиционного крыла. Окончательное размежевание противоборствующих политических групп в рамках национальной партии произошло в 1874 году, когда она разделилась на старочехов и младочехов.

Литература

1. *Айрапетов О.Р.* Внешняя политика Российской империи (1801–1914). М.: Европа, 2006. 668 с.
2. Восстание 1863 года: Материалы и документы: Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг. М., 1965. 517 с.
3. Восстание 1863 года: Материалы и документы: Показания и записки о польском восстании 1863 г. Оскара Авейде. М., 1961. 639 с.
4. Московские ведомости. 1863. 4 апреля. № 71.
5. *Рокина Г.* Теория и практика славянской взаимности. Изд-во Казанского ун-та, 2005. 223 с.
6. Русский инвалид. 1863. 7 (19) июня. № 124.
7. *Францев В.А.* Очерки по истории чешского возрождения. Варшава, 1902. 217 с.
8. *Masaryk T.G.* Česká otázka. Snahy a tužby národního obrození. Praha, 1969. 175 s.
9. Boleslavan. 12.06.1863.
10. Cesty na východ: Češi v korespondenci M.F. Rajevského. Praha: Masarykův ústav, 2006. 378 s.
11. *Jezbera F.J.* Rusové, Srbové, Poláci a Čechové s ostatními Slovany. S povyjasněním nevzajemného a nepravého vzhledu některých listův českých na polsko-ruskou záležitost. V Praze, 1863. 79 s.
12. Hlas. 8.IV.1863.
13. Hlas. 14.IV.1863.
14. *Morava J.* Palacký. Čech, Rakušan, Evropan. Praha, 1998. 231 s.
15. Národní Listy. 30.III.1861.
16. Národní Listy. 20.IV.1861.
17. Národní Listy. 19.VIII.1861.
18. Národní Listy. 2.XI.1862.

19. Národní Listy. 25.I.1863.
20. Národní Listy. 19.II.1863.
21. Národní Listy. 3.IV.1863.
22. Národní Listy. 11.IV.1863.
23. Národní Listy. 16.IV.1863.
24. Národní Listy. 8.VI.1863.
25. Peštbudínské vědomosti. 12.VI.1863.
26. *Rank J.* Poláci a Rusové. Úvahy slovanské. Praha, 1863. 154 s.
27. *Žaček V.* Ohlas polského povstání r. 1863 v Čechách. Praha, 1935. 289 s.

Аннотация. В статье анализируются взгляды ведущих чешских общественно-политических деятелей и публицистов на предпосылки, ход, особенности и потенциальные последствия польского восстания 1863 года, вспыхнувшего на территории Царства Польского и белорусско-литовских губерний Российской империи. Большинство чешских газет, первоначально стремясь к объективному освещению восстания, вскоре полностью перешло на пропольские позиции. Это объяснялось как влиянием польской пропаганды, так и позицией западноевропейской прессы, поддерживавшей польских повстанцев. Вместе с тем, ряд ведущих чешских политиков, включая известного историка Ф. Палацкого и Ф. Ригера, выступили с критикой польского восстания, отмечая, что планы польских политиков включить в состав будущей Польши обширные украинские и белорусские земли являются несправедливыми. Кроме того, Палацкий резко критиковал польских повстанцев за радикализм и использование методов террора. По его мнению, польское восстание изначально было обречено на неудачу и явилось колоссальным несчастьем для всех славянских народов, поскольку объективно пользу из него извлекали только противники славян и России. С аналогичной критикой польского восстания выступил ряд чешских ученых и публицистов, в том числе Ф. Йезбера и Й. Ранк. Идейная борьба и полемика вокруг польского восстания политизировала чешское общественное мнение и способствовала расколу ранее единой национальной партии на старочехов и младочехов.

Ключевые слова: Чехия, Польша, польское восстание, Россия, общественное мнение, пресса.

Kirill V. Shevchenko, PhD in History, Associate Professor, Head of Center for Eurasian Studies, Professor, Department of Law, Russian State Social University, Branch in Minsk (Belarus). E-mail: shevchenkok@hotmail.com

The Polish Uprising of 1863 in the Social and Political Discourse of the Czech Kingdom

Abstract. The article analyzes the views of leading Czech public and political figures and publicists on the prerequisites, course, features and potential consequences of the Polish uprising of 1863, which broke out on the territory of the Kingdom of Poland and the Belarusian-Lithuanian provinces of the Russian Empire. Most Czech newspapers, initially striving for objective coverage of the uprising, soon completely switched to pro-Polish positions. This was explained both by the influence of Polish propaganda and by the position of the Western European press, which supported the Polish insurgents. At the same time, a number of leading Czech politicians, including the famous historian F. Palacky and F. Rieger, criticized the Polish uprising, noting that the plans of Polish politicians to include vast Ukrainian and Belarusian lands in the future Poland are unfair. In addition, Palacky sharply criticized the Polish rebels for their radicalism and the use of terror methods. According to Palacky, the Polish uprising was initially doomed to failure and was a colossal misfortune for all Slavic peoples, since objectively only opponents of the Slavs and Russia benefited from it. Similar criticism of the Polish uprising was made by a number of Czech scholars and publicists, including F. Jezbera and J. Rank. The ideological struggle and controversy surrounding the Polish uprising politicized Czech public opinion and contributed to the split of the previously unified Czech national party into Old Czechs and Young Czechs.

Keywords: Czech Kingdom, Poland, Polish uprising, Russia, Public opinion, Press.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-251-259

Дмитрий Федоров

Против полонизма и нигилизма: вопросы среднего образования в Юго-Западном крае на страницах газеты «Киевлянин» (1860–1870-е годы)[*]

Польские восстания и рост революционных настроений внутри самой России традиционно рассматривались русской консервативной мыслью как взаимосвязанные явления: в консервативной парадигме только «польская интрига» могла побудить русского человека выступить против законной национальной власти, и только предательство русских могло дать шансы польским мятежникам [17, 15]. Однако с обеими разновидностями крамолы следовало бороться не только вооруженным путем: важным инструментом власти служила система образования, и связанная с ней проблематика была одной из постоянных тем консервативной публицистики. Особенно острыми были эти проблемы в Юго-Западном крае, где даже в 60-х годах XIX века сохранялось влияние польской интеллигенции, и не только Киевский университет, но и средние учебные заведения должны были отстаивать и распространять среди местного населения «начала русской народности».

Общественных сил, на которые могла опереться русская администрация, в юго-западных губерниях было сравнительно немного. Местное русское общество было слабо организовано, что поддерживало надежду относительно многочисленного и сплоченного польского дворянства на восстановление Польши «от моря до моря» с включением юго-западных окраин. Польское восстание 1863 года было направлено на достижение этой же цели. Мятеж был подавлен, но вместе с тем в русском обществе пришло понимание, что для обрусения края требуются и культурные силы, средством объединения которых к началу 60-х годов XIX века стала печать. Во многом поэтому при содействии киевской губернской администрации 1 июля 1864 года в Киеве вышел первый выпуск газеты «Киевлянин», ставшей главным периодическим изданием местной русской общественности. Сформировавшийся вокруг редакции кружок интеллигенции (позднее трансформировавшийся в Киевский клуб русских националистов) состоял по преимуществу из местных университетских профессоров, к числу которых принадлежал и основатель газеты В.Я. Шульгин. Все это также способствовало тому, что проблемы образования занимали на страницах «Киевлянина» весьма значительное место [42, с. 111–121].

Проблемы эти имели свою предысторию и свою региональную специфику. В начале XIX века юго-западные губернии входили в состав Виленского учебного округа под управлением Виленского университета [31, с. 442]. Попечителем округа был Адам Чарторыйский, которого позднее консервативный публицист И.Г. Кулжинский [13, с. 3–24] называл «хитрым и богатым полонизатором» [21, с. 3]. Веривший в возрождение польского королевства [23, с. 332] и пользовавшийся «мечтательным полонофильством» императора

* Исследование выполнено в рамках гранта № 19-18-00073-П «Национальная идентичность в имперской политике памяти: история Великого княжества Литовского и Польско-Литовского государства в историографии и общественной мысли XIX–XX вв.» Российского научного фонда.

Федоров Дмитрий Андреевич, лаборант-исследователь Института истории СПбГУ. E-mail: DA.Fedorof@yandex.ru

Александра I, Чарторыйский для руководства учебными заведениями Юго-Западного края назначил графа Фаддея Чацкого, чьи усилия к полонизации местного населения одобрялись попечителем [24, с. 220]. Именно Чацкий предложил основать в городе Кременце (Волынской губернии) гимназию и убедил дворянство и духовенство окрестных губерний выделить для этого средства [33, с. 5]. «Своим предложением он [Чацкий – *Д.Ф.*] привел в восторг земляков. После речи никто не сомневался в необходимости гимназии – и дело решилось» [20, с. 332]. 1 октября 1805 года состоялось открытие гимназии. Стремление Чацкого распространить убеждение о новом учебном заведении как о «метрополии» образованности увенчалось успехом: «…через несколько лет Кременецкая гимназия получила почетную известность и в западно-русском крае, и в австрийской и прусской Польше: со всех сторон шли сюда за образованием» [46, с. 24]. 5 ноября 1809 года при участии Чацкого и польского дворянства в Киеве также открылась гимназия. 27 октября 1814 года гимназия была основана и в Подольской губернии. Обе гимназии были устроены по типу Кременецкой, а потому преимущественное значение в преподавании уделялось католицизму, польской истории и культуре [45, с. 28].

Чацкий намеревался превратить Кременецкую гимназию в центр политического объединения «осколков Речи Посполитой». Поэтому гимназия стала совершенно польским заведением, где на шестьсот учеников-поляков приходилось тридцать четыре русских [10, с. 4]. На протяжении почти двадцати лет выстроенная Чацким система обучения в крае преследовала цели польского национального движения, когда «язык русский едва был слышен на этом огромном пространстве. «…» «Словом, образование юношества было устроено не в видах общей государственной пользы, но под влиянием местных страстей и предрассудков» [41, с. 37].

Следствием упомянутых порядков стало Польское восстание 1830–1831 годов, а участие в нем воспитанников учебных заведений побудило правительство принять решительные меры. 1 мая 1832 года последовало распоряжение об упразднении Виленского учебного округа и закрытии Виленского университета. 14 декабря этого года три юго-западные губернии выделялись в отдельный Киевский учебный округ. Новая система обучения, основанная на тройственном начале православия, самодержавия и русской народности, должна была сменить польские школы Чацкого.

Возлагая на учебные заведения столь важную задачу, правительство фактически подчинило народное просвещение в крае не только учебному ведомству, но и административной власти генерал-губернаторов. В 1838 году киевским генерал-губернатором стал яркий представитель «николаевского режима» Д.Г. Бибиков. Не задаваясь никакими педагогическими вопросами, Бибиков требовал от учителей, чтобы польские дети скорее стали русскими. При этом за незначительный проступок генерал-губернатор угрожал педагогам розгами, а повиновение у гимназистов воспитывал командами «Ложись! Храпи! Спи!» [3, с. 9, 10, 12]. В 1848 году Бибиков был официально назначен и попечителем округа. С этого момента начался период беспрекословного соблюдения учащимися всех мелочных правил одежды, прически и т.д. [6, с. 63; 26, с. 512–513]. Начальство киевских гимназий, не зная, на что именно может обратить внимание генерал-губернатор, доводило дисциплину до крайностей [40, с. 391]. Однако ужесточения касались только внешнего порядка, не решая проблем в поведении и нравственности молодежи [2, с. 98–99].

Ближайшим помощником генерал-губернатора стал заместитель попечителя учебного округа М.В. Юзефович [18], считавший, что порядок и дисциплина поддерживаются криком и суровым обращением [37, с. 184]. По воспоминанию либерально настроенного современника, «так было тогда в целой России, но едва ли не горше еще было в нашем крае вследствие исключительных местных обстоятельств, без меры отягощавших положение деятелей на поприще просвещения» [22, с. 442]. И лишь после вступления на престол

императора Александра II «суровый бибиковский режим миновал навсегда; забитое и загнанное учительство вздохнуло свободнее; директоры нас перестали пугать попечителем, как букой; даже громовержец Михаил Владимирович [Юзефович – *Д.Ф.*] должен был изменить свое обращение с подчиненными на более вежливый тон» [43, с. 12].

Лишь по счастливой случайности будущий редактор «Киевлянина» – гимназист Шульгин – избежал «драконовской строгости». Обучаясь в киевской гимназии с 1833 по 1838 год, Шульгин застал первые годы действия гимназического устава 1828 года. Новый устав, как и устав гимназий 1804 года, определял среднюю школу как общеобразовательное учебное заведение. Несмотря на принципиальные указания Николая I придать гимназиям «сословную окраску» и ввести для наказания розги, устав определял весьма благоприятную обстановку для развития гимназистов. Общие положения устава сводились к улучшению положения учителей, упорядочению и сокращению многопредметного учебного курса. Для повышения качества обучения была дана возможность собирать педагогические советы [1, с. 117–120].

Преобразованные гимназии давали достаточно возможностей для творческого развития воспитанников. Подобные условия ранее способствовали раскрытию таланта Пушкина, Жуковского, Гоголя. Во многом поэтому Шульгин тоже отличался литературными дарованиями. В 1838 году он был принят в Киевский университет, где усидчивость и тяга к знаниям резко отличали молодого студента. В 1842 году Шульгин завершил свое обучение, став учителем истории в гимназии и Киевском институте благородных девиц. По воспоминаниям учащихся, Шульгин был одним из немногих «высокоталантливых» преподавателей, кто пробуждал «работу ума» на занятиях, в которых «было столько осмысленности, захватывающего интереса, это вызывало в нас такой энтузиазм, что мы точно воскресали от какой-то умственной дремоты, предавались шумному восторгу, ходили точно в блаженном чаду» [5, с. 55]. Педагогический талант Шульгина проявился и при составлении учебников истории для гимназий, которые, по отзыву чиновника Главного управления училищ, «оставляют за собой далеко все учебники, которыми мы руководствовались до настоящего времени» [34, с. 6]. Учебники Шульгина считались одними из лучших, пользуясь популярностью у всех, кто учился в гимназии [9, с. 148]. «Как можно менее голых чисел и безличных имен и как можно более живых людей» [47, с. V] – в этом Шульгин видел главный принцип изложения истории. Положительные отзывы позволили включить учебники Шульгина в список учебных руководств Министерства просвещения [7, с. 125–160].

Даровитый педагог и приверженец науки, Шульгин с увлечением принялся и за издание газеты. Первые годы «Киевлянина» пришлись на то время, когда необходимость принятия нового устава гимназий стала очевидной. Начало подготовительных работ еще в середине 50-х годов XIX века завершилось 19 ноября 1864 года при министре народного просвещения А.В. Головнине утверждением нового устава гимназий. Устав определял цель обучения в гимназии – получение общего образования для последующего поступления в высшее учебное заведение. Гимназии разделялись на классические и реальные. В классических гимназиях преподавались латинский и греческий языки. В реальных гимназиях древние языки отсутствовали, но было увеличено число уроков по математике, физике, новым языкам, рисованию и черчению. Реальные гимназии не являлись полноценными учебными заведениями, так как только выпускники классических гимназий могли поступать в университет. Всесословный характер обучения, гуманность воспитательных мер, увеличение штатов и окладов учителей – все это нашло отражение в уставе 1864 года.

Появление нового устава вызвало в педагогической среде настоящую «оттепель»: «Легко дышалось в гимназии; мир юности, действительно, был светлый, не подавленный, и учитель дышал свободно, не угнетаемый массой правил, циркуляров, предписаний, которые не дают ступать свободно. Отсутствие излишнего формализма делало то, что не

только учителя имели некоторую свободу в выборе и расположении учебного материала, но и ученики могли до некоторой степени проявлять свою индивидуальность» [4, с. 58].

Вместе с тем утверждение устава совпало с ростом протестных настроений среди учащейся молодежи, выражавшихся «большей частью, в общих волнениях, в неповиновении учителям или начальству, в массовых заявлениях неудовольствия на какого-либо члена инспекции, в грубых выходках, доходивших иногда до пощечин и других чисто физических выражений неудовольствия» [1, с. 276–277]. Одной из причин таких настроений современники прямо называли последствия минувшего царствования: «…это было время реформ, время радости, но радость эта была, так сказать, на подкладке ненависти. Ненавистное крепостное право, только что повергнутое в прах 19-м февраля, ненавистная волокита старых судов, кровавые зрелища публичных казней на площадях, произвол, определявший отношения высших к низшим, – все, что ненавидела всей душой лучшая часть русского общества…» [38, с. 143]. Острая неприязнь к общепринятым нормам поведения дореформенного общества получила название нигилизма. Само слово «нигилист» стало восприниматься как синоним «поджигателя» или «заговорщика», убежденного в том, что для достижения «благих целей» оправданы любые средства [19, с. 5–93].

4 апреля 1866 года Д. Каракозов в Петербурге совершил покушение на Александра II. Вскрывшиеся обстоятельства покушения привлекли внимание к учебным заведениям. Либерального министра народного просвещения Головнина консервативные круги обвиняли в «нравственном растлении» учащейся молодежи. Поэтому 14 апреля 1866 года последовало назначение министром Д.А. Толстого, кандидатура которого стала знаменем надвигавшейся «реакции» [25, с. 239, 240, 288]. Свою деятельность новый министр начал с пересмотра устава гимназий 1864 года.

Шульгин как видный представитель русской интеллигенции Киева не мог не отозваться на происходящее. Будучи противником любых «разрушительных» идей, он еще в программе издания газеты указывал, что редакция «Киевлянина» будет выступать против нигилизма [27, с. 118]. Но в то же время Шульгин обвинял в распространении нигилистических понятий не сторонние влияния западных учений, а внутренний гнет «омертвелых форм бюрократизма». Именно чиновничество удерживало русское общество от самостоятельного политического развития, всегда рискующего из-за этого попасть под влияние «бьющих на эффект» теорий. Все это, уверял Шульгин, подготовило почву для нигилизма, усугубившегося в Юго-Западном крае замыслами польской шляхты и «украинствующих» [30, с. 253–254].

Свою точку зрения на события 4 апреля высказал и другой киевский публицист, М.В. Юзефович. Завершив карьеру в учебном округе в 1856 году, он стал активно заниматься публицистикой, возглавив «все русское» в Киеве [9, с. 138]. Убежденный апологет николаевского наследия, Юзефович после кончины императора стал замечать, что состояние молодого поколения ненормально [50, с. 3]. Покушение Каракозова побудило его обратиться к выяснению настоящего положения, используя, с разрешения Шульгина, газету «Киевлянин».

Юзефович считал причиной роста нигилизма отсутствие самобытной умственной деятельности, сложившейся на почве западной, пересаженной петровскими реформами «готовой науки». Поэтому обучение в России давало не собственное умственное развитие, а преклонение перед западными мыслителями. Каракозов показал, на что способны такие «мыслители». По этой причине Юзефович превозносил николаевского министра народного просвещения С.С. Уварова, поддержавшего борьбу с западным направлением в образовании [32, с. 4]. Министр понимал под гимназиями только классические школы. Классицизм Уварова был строго последователен и способен к развитию. Но все достижения были потеряны, когда наступивший «горячечный прогресс» уничтожил классическую систему как

устаревшую, исказив отношения между учащимися и педагогами, к тому же омрачившись беспорядками. Возлагая надежды на скорую деятельность Толстого по обузданию молодежи и восстановлению классицизма вместо навязанного реализма, Юзефович призывал покончить с гуманностью и всячески оправдывал единоличное «полновластие» [48, с. 427; 49, с. 430–431].

Резкие высказывания Юзефовича привлекли внимание цензуры. Совет главного управления по делам печати пришел к выводу, что подобные статьи недопустимы в подцензурном издании [14, с. 375]. Однако редакция «Киевлянина» также поспешила сообщить о своем несогласии с Юзефовичем и обещании опровергнуть его выводы [35, с. 6 и об.].

Автором ответной статьи стал сам Шульгин. Редактор «Киевлянина» не соглашался со стремлением Юзефовича обвинить петровские реформы. Не это лишило науку самостоятельного развития, а «административная диктатура». Пик ее пришелся на 40-е годы XIX века, когда бюрократическая опека определяла направление обучения, а дело воспитания детей сводилось к строгой системе «застегнутых на все крючки воротников». Но возможна ли при такой опеке самостоятельная научная подготовка? Шульгин считал, что легкомысленное отношение молодежи к знаниям и увлечение нигилизмом не являлись следствием насаждаемого Петром западного образования. Нигилизм зародился тогда, когда на бумаге «все обстояло благополучно», но трагически вскрылось во время Крымской войны. Какой взгляд на науку могло вынести молодое поколение в поверхностном воспитании? Какие плоды принесла «дрессировка» юношей в повиновении? Не это ли усилило развитие нигилизма у «дрессированных»? Строгая охранительная система не уничтожала зла, а загоняла внутрь и вместе с тем сковывала пробивавшиеся «жизненные соки». Под гнетом стеснений, доведенных до абсурда, эти «соки» получили извращенное направление и прорвались наружу нигилизмом. Можно преклоняться перед личностью Уварова, завершал Шульгин обращение к Юзефовичу, но не нужно забывать, что истинным олицетворением дореформенных порядков были такие «печальной памяти» чиновники, как попечитель Казанского учебного округа Л.В. Магницкий [44, с. 445–447]. В этом контексте редактор «Киевлянина» Шульгин рассматривал вопрос возникновения нигилизма в середине 1850-х – начале 1860-х годов.

Тем временем подготовка Толстым гимназической реформы постепенно обретала конкретные очертания. Осенью 1866 года в Министерстве просвещения приступили к пересмотру действующего устава гимназий. При этом Толстой начал всячески подчеркивать, что именно классическое образование позволит отбросить «ребяческие бредни» нигилистов [36, с. 1, 4]. 5 октября 1866 года Толстой потребовал от попечителей учебных округов представить свои соображения о неудобствах устава 1864 года. Полученные ответы показали преимущество классических гимназий при полной несостоятельности реальных. К марту 1870 года работы в Ученом комитете и в Совете министра народного просвещения по составлению нового устава были завершены. 27 февраля 1871 года Толстой внес в Государственный совет представление об изменениях в уставе 1864 года и отдельный проект реальных училищ, призванных заменить реальные гимназии. Несмотря на то, что при обсуждении в общем собрании Государственного совета 15 мая 1871 года большинство членов выступило против предпринятой меры, Александр II согласился с мнением меньшинства и утвердил оба законопроекта. 30 июля 1871 года был опубликован устав гимназий, а 15 мая 1872 года устав реальных училищ [12, с. 173–174].

Устав 1871 года устанавливал классическую гимназию как основной тип средней школы, выпускники которой могли продолжать обучение в университете. Наибольшее количество часов в учебной программе отводилось древним языкам и математике, что достигалось за счет сокращения других предметов (например, изучение латинского языка доведено до 49 часов, изучение греческого до 36, то есть 42,5% всего учебного времени).

В качестве меры усиления надзора за учащимися новый устав увеличивал продолжительность обучения с семи до восьми лет. Устав сокращал полномочия педагогических советов и усиливал власть директора. По уставу в гимназиях могли обучаться дети всех сословий. В свою очередь устав реальных училищ упразднял реальные гимназии и вводил реальные училища как сугубо технические учебные заведения с правом поступления в высшее учебное заведение, но не в университет [28, с. 113–114]. С этого момента средняя школа в России становилась узконаправленной (филологической или технической), а не общеобразовательной.

В ходе реформы были также приняты меры против нежелательных нововведений. 12 ноября 1866 года был опубликован министерский циркуляр о необходимости ограничить число учебных пособий в гимназиях, а имеющиеся заменить более благонадежными. Вслед за тем поступило и прямое указание председателя Комитета министров об изъятии «вредных» книг [28, с. 47]. Вследствие этого на предложение преподавателей некоторых гимназий включить учебник Шульгина в учебную программу следовал отказ из-за того, что этот учебник более не был разрешен и даже запрещен циркуляром. Вместо этого в гимназиях стали вводиться новые учебники, содержание которых, по отзывам педагогов, было «притчей во языцех» [11, с. 137].

Параллельно с деятельностью Толстого началась широкая пропаганда реформы в печати. С самого начала подготовка нового устава проходила бюрократически путем, без привлечения общественности. Исключение было сделано только для редактора «Московских ведомостей» М.Н. Каткова, взявшегося идейно обосновать необходимость предпринятой меры. Классическая школа и реальные училища были созданы Толстым по внушению именно Каткова и сотрудников его редакции. В то же время в противовес Каткову и в пользу реальной школы высказывались такие либеральные издания как «Голос», «Санкт-Петербургские ведомости» и «Вестник Европы». Как вспоминал директор Первой киевской гимназии А.Ф. Андрияшев, «в периодической печати возгорелась страшная полемика по школьному вопросу. Одни доказывали, что классицизм потерял свое значение и что филология может составлять только специальный предмет в университетских курсах, а в средних учебных заведениях необходимо обратить внимание на общие реальные предметы образования. Против этого писал Катков, указывая на опасность реального направления для государства, и доказывал, что будущее спасение Отечества в основательном изучении древних языков» [3, с. 574].

Борьба классиков и реалистов стала одной из важных дискуссионных тем 1860–1870-х годов. Редакция «Киевлянина» до этого момента не вступала в принципиальный спор. Шульгин как опытный педагог указывал, что в разгаре полемики противоборствующие стороны довели свои аргументы до крайностей. По его мнению, истинное предназначение школы заключалось в получении общего образования. В этом смысле лучше совсем обойтись без математики или древних языков, если они не служили этой цели. Шульгин настаивал, что дело обучения состоит не в программе учебных предметов и не в количестве часов, а в умении учить, понимая при этом общеобразовательный характер передаваемых знаний. Поэтому сам спор Шульгин называл «бесплодными словопрениями», недоразумением [39, с. 1]. Считая лучшим образцом средней школы общеобразовательную гимназию по уставу 1828 года, Шульгин заявил, что редакция «Киевлянина» воздерживается от участия в полемике двух враждебных лагерей ввиду «страстной односторонности той и другой стороны», из-за которой поплатятся будущие поколения [29, с. 1].

О пагубных тенденциях в развитии среднего образования писал не только «Киевлянин», но и многочисленные публицисты – в том числе консервативных взглядов. По утверждению Д.И. Иловайского, именно классическая система стала причиной «упадка интереса к отечественной истории и древностям», отмеченного им в западнорусских губерни-

ях [16, с. 62]. Не принимали систему и сами учащиеся. Уже упоминаемый нами Андрияшев удрученно отмечал «пресловутую борьбу из-за классицизма», когда «Министерство придумывало меры, чтобы во что бы то ни стало изучать латинскую и греческую грамматику, а родители и дети из кожи лезли, доказывая, что изучение сих грамматик, на которые по новому уставу назначена половина учебного времени, бесполезно в жизни» [3, с. 575].

Чрезмерная строгость и требовательность обучения в гимназии по новому уставу не принесла ожидаемого усмирения учащейся молодежи. Напротив, озлобление против реформы только усилилось. При таком настроении умов в подпольную деятельность вовлекалось все большее число молодежи. С.Ю. Витте позднее вспоминал: «Это было в 1875–1876 гг., т.е. в то время, когда и в прессе, и в общественном мнении начал очень сильно проявляться тот дух, который был посеян Писаревым, Добролюбовым и Чернышевским, т.е. дух известной ненависти к лицам, которые по своему положению или материальному достатку выдаются из ряда средних людей; это и есть то самое чувство, которое, в сущности говоря, во многом руководит социалистами и анархистами, – вообще революционной чернью. Но тогда это настроение царило во всем интеллигентном либеральном слое. Это и было то общественное настроение, то общественное течение, которое через 5–6 лет спустя кончилось 1 марта 1881 г.» [9, с. 96–97].

Радикализация общественных настроений, отразившаяся и на киевской учащейся молодежи, не могла не вызвать осуждения редактора «Киевлянина». Шульгин считал, что воспитание молодого поколения совершается под влиянием двух сил: школы и общества. По этой причине Шульгин подчеркивал важную особенность процесса обучения в Юго-Западном крае в стремлении уберечь детей от влияния «антирусских идей» полонизма [8, с. 70] и нигилизма, главным средством борьбы с которыми считал науку. Сохраняющаяся враждебность польской шляхты к России, по мнению редактора «Киевлянина», могла быть ослаблена пропагандой науки и «мягкой силой».

Литература

1. *Алешинцев И.* История гимназического образования в России (XVIII и XIX век). СПб.: Тип. акц. о-ва тип. дела в СПб., 1912. 346 с.
2. *Андрияшев А.Ф.* Воспоминания старого педагога // Русская старина. 1911. № 4. С. 95–101.
3. *Андрияшев А.Ф.* Воспоминания старого педагога // Русская старина. 1913. № 3. С. 563–578.
4. *Белявский Е.В.* Педагогические воспоминания. 1861–1902 гг. М.: Изд. редакции журнала «Вестник воспитания», 1905. 247 с.
5. *Воропанова М.* Институтские воспоминания // Русская школа. 1902. № 10–11. С. 35–59.
6. *Ге Н.* Киевская первая гимназия в сороковых годах // Сборник в пользу недостаточных студентов университета Св. Владимира. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1895. С. 52–65.
7. *Ешевский Е.В.* Курс всеобщей истории, составленный В. Шульгиным (для воспитанниц благородных институтов и воспитанников гимназий): История Средних веков // Атеней. 1858. Ч. 5. С. 125–160.
8. Еще об одной стороне латино-польской пропаганды в Юго-Западном крае // Киевлянин. 1866. № 18. 10 февраля. С. 70.
9. [*Витте С.Ю.*] Из архива С.Ю. Витте : воспоминания. Т. 1. Кн. 1: Рассказы в стенографической записи / редкол.: Б.В. Ананьич [и др.]. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 521, [2] с.; [16] л. ил.
10. *К-ий А.* Университет Св. Владимира // Киевская мысль. 1913. № 309. 8 ноября. С. 4.
11. *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 382 с.
12. *Коваленский М.Н.* Средняя школа // История России в XIX веке. Т. 7. Ч. 3. СПб.: А. и И. Гранат, 1909. С. 170–202.
13. *Котов А.Э.* «Заветные принципы» Ивана Кулжинского // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2021. № 1. С. 3–24.
14. *Котов А.Э.* «Царский путь» Михаила Каткова: Идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860–1890-х годов. СПб.: Владимир Даль, 2016. 486 с.
15. *Котов А.Э.* «Чад полонизма и смрад герценизма»: «Вестник Западной России» против классовой революции и сословной реакции // Тетради по консерватизму. 2020. № 2. С. 118–134.
16. *Котов А.Э.* Был ли Катков православным консерватором? // Тетради по консерватизму. 2018. № 3. С. 59–66.

17. *Котов А.Э.* Бюрократический национализм Михаила Каткова // Вопросы национализма. 2014. № 1 (17). С. 174–186.

18. *Котов А.Э.* Михаил Юзефович – идеолог русского политического предмодерна // Вопросы истории. 2018. № 6. С. 105–121.

19. *Котов А.Э.* Русская консервативная мысль и левый радикализм // «Под каким соусом нас съедят»: русский антинигилистический памфлет второй половины XIX века / сост. А.Э. Котов. СПб.: Владимир Даль, 2019. С. 5–93.

20. *Кудринский Ф.* Фаддей Чацкий // Киевская старина. 1893. № 2. С. 319–343.

21. *Кулжинский И.* Воспоминания о Волыни // Вестник Западной России. 1865. № 1. С. 1–12.

22. *Левицкий О.* Из жизни учебных заведений Юго-Западного края в 1840-х годах // Киевская старина. 1906. № 3–4. С. 421–432.

23. Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I. Т. 1 / пер. с фр. А. Дмитриевой; ред. и вступ. ст. А. Кизеветтера. М.: Книгоизд-во К.Ф. Некрасова,, 1912. [2], X, 388 с.

24. Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I. Т. 2 / пер. с фр. А. Дмитриевой; ред. и вступ. ст. А. Кизеветтера. М.: Книгоизд-во К.Ф. Некрасова, 1913. [2], 362, III с.

25. *Милютин Д.А.* Воспоминания. 1865–1867. М.: РОССПЭН, 2005. 694, [1] с.

26. *Нос С.* Страничка из моих воспоминаний // Киевская старина. 1893. № 6. С. 510–513.

27. Бунге Николай Христианович: Переписка его с разными лицами // ОР ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 4. Д. 547.

28. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в. / отв. ред. А.И. Пискунов. М.: Педагогика, 1976. 600 с.

29. Передовая статья // Киевлянин. 1871. № 83. 15 июля. С. 1.

30. По поводу нашего местного нигилизма // Киевлянин. 1864. № 63. 24 ноября. С. 253–254.

31. ПСЗРИ. Т. XXVII. Отд. 1. № 20598. СПб., 1830. С. 442.

32. *Юзефович М.В.* Дополнение к нескольким словам г-на М.С. о памятнике Тысячелетия России // РГАЛИ. Ф. 472. Оп. 1. Д. 712.

33. Дела о пожертвовании дворянством Волынской губернии средств в пользу учреждаемой в городе Кременце Волынской гимназии, об открытии гимназии и об отказе удовлетворить ходатайство евреев кременецкого кагала об освобождении их от взноса средств, пожертвованных в пользу Киевского университета. 13 января 1805 г. – 15 июня 1836 г. // РГИА. Ф. 733. Оп. 62. Д. 54.

34. Дело о введении руководством «Всеобщей истории» Шульгина части 3-й. 19 апреля 1861 г. – 31 мая 1863 г. // РГИА. Ф. 733. Оп. 108. Д. 417.

35. Дело об издании газеты «Киевлянин». Ч. I // РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 411.

36. *Толстой Д.А.* Речи и статьи. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1876. [4], 187 с.

37. *Романович-Словатинский А.* Моя жизнь и академическая деятельность // Вестник Европы. 1903. № 1. С. 138–197.

38. *Селиванов Т.Н.* Харьковская третья гимназия 25 лет тому назад // Харьковский сборник. Харьков: Тип. губ. правления, 1896. С. 119–153

39. Спор между классиками и реалистами // Киевлянин. 1871. № 53. 6 мая. С. 1.

40. *Тумасов Н.* История Киевской второй гимназии // Киевская старина. 1902. № 3. С. 391–416.

41. *Уваров С.С.* Десятилетие Министерства народного просвещения (1833–1843). СПб., 1864. [1], 161 с.

42. *Федоров Д.А.* Публицистика газеты «Киевлянин» о проблемах начального школьного образования в Юго-Западном крае (60–70-е гг. XIX в.) // Вестник МГПУ. Серия: Исторические науки. 2022. № 4. С. 111–121.

43. *Чалый М.* Вторая Киевская гимназия (1852–1861). Киев: Тип. имп. Ун-та Св. Владимира, 1900. 88 с.

44. *Шульгин В.* Откуда взялся нигилизм? (Ответ г. Юзефовичу) // Киевлянин. 1866. № 112. 22 сентября. С. 445–447.

45. *Шульгин В.Я.* Историческое обозрение учебных заведений в юго-западной России с конца XVIII века до открытия университета в Киеве // Русское слово. 1859. № 9. С. 1–39.

46. *Шульгин В.Я.* История университета Св. Владимира. СПб.: Тип. Рюмина и Ко, 1860. [2], 230 с.

47. *Шульгин В.Я.* Курс всеобщей истории (История средних веков). Киев: универ. тип., 1862. XX, 278 с.

48. *Юзефович М.* Несколько мыслей и соображений по поводу покушения 4-го апреля // Киевлянин. 1866. № 107. 10 сентября. С. 427.

49. *Юзефович М.* Несколько мыслей и соображений по поводу покушения 4-го апреля (2) // Киевлянин. 1866. № 108. 13 сентября. С. 430–431.

50. *Юзефович М.В.* Общие соображения о народных у нас школах. Киев, 1862. 8 с.

Аннотация. После подавления польского мятежа 1863 года проблемы полонизма и нигилизма привлекли внимание не только столичных, но и южнорусских публицистов. Центром их объединения в 1860–1870-х годах стала газета «Киевлянин» – главный вестник русских общественных сил Киева и Юго-Западного края (Киевская, Волынская и Подольская губернии). В консервативном дискурсе эпохи великих реформ борьба с нигилизмом и полонизмом как общественными явлениями тесно связывалась с положением просвещения и прежде всего средней школы. Редактор «Киевлянина», талантливый педагог прогрессивных взглядов Виталий Яковлевич Шульгин, видел главной причиной возникновения нигилизма в административном произволе времен «николаевского режима» 1830–1850-х годов. В ходе начавшейся полемики он подчеркивал пагубное влияние бюрократической «дрессировки», с которой публицист тесно связывал увлечение молодежи нигилизмом, усугубившееся в западных губерниях «польской интригой». Во многом поэтому редактор «Киевлянина» придавал особое значение воспитанию подрастающих поколений. Сохраняющаяся враждебность польской шляхты к России, по мнению Шульгина, могла быть ослаблена только пропагандой науки и «мягкой силой».

Ключевые слова: среднее образование, гимназия, «Киевлянин», В.Я. Шульгин, М.В. Юзефович, Д.Г. Бибиков.

Dmitry A. Fedorov, Research Assistant, Institute of History, St. Petersburg State University. E-mail: DA.Fedorof@yandex.ru

Against Polonism and Nihilism: the Issues of Secondary Education in the South-Western Territories as Given in the "Kievlyanin" Journal (1860–1870)*

Abstract. After the suppression of the Polish uprising of 1863, the problems of polonism and nihilism attracted special attention of the publicists not only in the country capital, but also in the South Russian. "Kievlyanin" journal became the center of their consolidation in the 60-70s of the 19th century – it was the main bulletin of Russian social forces of Kiev and the South-Western region (Kiev, Volyn and Podolsk provinces). In the Russian conservative discourse of the 'great reforms period'the struggle against nihilism and polonism as social phenomena was closely connected with the state of affairs in education, especially secondary school. "Kievlyanin" journal's chief editor VitalyYa. Shulgin, who was also a talented teacher of progressive views, believed that nihilism was brought about by the administrative arbitrariness during 'Tsar Nikolas regime' in 30 – 50s' of the 19th century. In the course of the initiated disputes Shulgin emphasized the pernicious influence of bureaucratic "training", which the publicist saw as closely linked with the young people enthusiasm for nihilism, aggravated in the western provinces by the "Polish intrigue". Therefore, the editor of "Kyivlyanin" attached special importance to the education of younger generations. The continued hostility of the Polish gentry towards Russia, according to Shulgin, could only be decreased by the propaganda of science and "soft power".

Keywords: Secondary Education, Gymnasium, "Kievlyanin", V.Ya. Shulgin, M.V. Yuzefovich, D.G. Bibikov.

* This research was supported by the "National Identity in the Imperial Politics of Memory: History of The Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian State in Historiography and Social Thought of the 19th–20th Centuries" grant №19-18-00073-P of the Russian Science Foundation.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-260-275

Даниил Харитонов

Польское восстание 1863 года в политике памяти современной Украины

Сегодня на территории Украины происходят поистине тектонические изменения во всех сферах жизни общества. На фоне попыток властей мобилизовать население страны для поддержки проводимого государством курса особенно выделяются усилия Киева на «историческом фронте». Еще с момента получения Украиной независимости в 1991 году политика памяти стала основным инструментом, с помощью которого не только происходила ревизия прошлого в «правильном» его понимании, но и решались актуальные задачи по социальному конструированию в рамках государственной культурно-идентичностной политики.

Польскому мятежу 1863 года в этих построениях долгое время сколько-нибудь заметного места не отводилось. Однако с учетом сегодняшней ситуации и внешнеполитического контекста в Киеве, похоже, решили по максимуму использовать восстание для получения политических дивидендов, «встроив» его в собственный исторический нарратив. Это обуславливает актуальность всестороннего анализа данного явления с точки зрения российских интересов.

Дополнительную важность изучению темы польского восстания 1863 года придает то обстоятельство, что возрастающий в российских научно-экспертных кругах и общественной среде интерес к событиям русской истории, связанным с польскими выступлениями в XIX веке, во многом ограничивается Северо-Западным краем, а особенности их развития в Юго-Западной России пока остаются «за кадром». Упускать из виду данный исторический сюжет не следует, поскольку это чревато рождением новых исторических фальсификаций и конъюнктурной инструментализацией прошлого. Примером таких манипуляций, несомненно, может служить использование Украиной восстания 1863 года в собственной политике памяти. В данной статье представлены эволюция его роли и места в исторической политике Киева с акцентом на новые тенденции, обозначившиеся в ней в последнее время.

Ввиду того, что единого понимания относительно содержания понятий «историческая политика» и «политика памяти» в академической среде до сих пор не выработано, далее для упрощения подачи материала они будут использоваться как синонимы в значении совокупности практик различных акторов по утверждению определенных интерпретаций прошлого и его использованию для достижения целей в настоящем.

Говоря о попытках Украины «застолбить» восстание в коллективной исторической памяти, прежде всего необходимо прояснить присущие ему терминологию и контекст. В первую очередь это касается номинации исторического события. Важно понимать, идет ли в украинском культурно-историческом дискурсе речь о «польском восстании»,

Харитонов Даниил Владимирович, магистр международных отношений. E-mail: d.v.kharitonov@yandex.ru

«польском освободительном восстании» или о «январском восстании» (во всех случаях подразумевается 1863 год).

Некоторую путаницу здесь вносит тот факт, что «январским восстанием» в советской исторической традиции называли два события января 1918 года: вооруженное выступление большевиков на заводе «Арсенал» в Киеве, а также восстание рабочих железнодорожных мастерских Одессы (которые позднее были преобразованы в завод тяжелого краностроения, во времена СССР носивший имя как раз «местного» январского восстания). Более того, определение «январское» иногда давалось восстанию спартакистов в Германии в 1919 году.

При выборочном анализе украинской историографии и учебной литературы с начала XX века и по настоящее время можно наблюдать следующую картину. В работах зачинателя украинской исторической школы М. Грушевского [16, с. 337; 17, с. 500] восстание 1863 года именуется исключительно польским и затрагивается вскользь. «История Украинской ССР», изданная АН УССР в 1951–1954 годах, повествует о «польском восстании» [32, с. 366]. Одновременно с этим выступление на заводе «Арсенал» январским не называется. Название вышедшей в Киеве в 1967 году монографии Г. Марахова «Польское восстание 1863 года на Правобережной Украине» с точки зрения номинации исторического события говорит само за себя [41]. В двухтомной «Історії Української РСР», увидевшей свет в том же году, восстанию 1863 года даются определения «польское» и «польское освободительное» [33, с. 442]. В десятитомной «Истории УССР», изданной на украинском языке, а затем переизданной на русском (1981–1985), речь также идет о «польском освободительном восстании» [30, с. 287]. В то же время там упоминается «Январское вооруженное восстание – выступление революционных рабочих на заводе “Арсенал” в Киеве» [31, с. 263].

Что касается украинской эмигрантской историографии, то и здесь мы можем видеть характеристику восстания 1863 года как «польского» [89, с. 11]. В одном из исторических бестселлеров начала 1990-х годов на Украине – научно-популярном очерке канадского историка украинского происхождения О. Субтельного «Україна. Історія» – говорится о «восстании поляков» [69, с. 227]. Вышедшее на рубеже веков многотомное издание «Україна крізь віки» (1999) описывает восстание 1863 года в качестве эпизода польского освободительного движения [79, с. 210]. В капитальном десятитомном труде Национальной академии наук (НАН) «Енциклопедія історії України» (2003–2019) историческому событию посвящена статья «Польское восстание (январское)», где оно определяется как «национально-освободительное восстание против Российской империи» [23, с. 210]. В издании также присутствует статья «Киевское (январское) вооруженное восстание» [22, с. 210]. В книге украинского историка, профессора Гарвардского университета С. Плохия «Врата Европы. История Украины» (впервые вышла на английском языке в 2015 году) автор пишет о «вооруженном выступлении поляков» [54, с. 244]. В современных украинских школьных учебниках истории восстание рассматривается как «польское», а также в качестве эпизода «польского освободительного движения» [4, с. 14; 14, с. 109; 68, с. 119; 72, с. 179; 78, с. 17].

Вместе с тем в украинском сегменте интернет-энциклопедии «Википедия» статьи, посвященные восстанию 1863 года в целом [63] и на Правобережной Украине в частности [64], имеют в заглавии определение «январское». При этом можно заметить, что такая номинация в целом стала чаще использоваться в качестве дополнительной, например, в скобках после определения «польское». Однако употребление термина «январское восстание» сохраняются на современной Украине в отношении событий 1918 года как в Киеве [40], так и в Одессе [35].

Ситуация кардинально изменилась в 2022–2023 годах, когда в украинском официальном дискурсе произошел переход к однозначной номинации события как «январское восстание», о чем речь пойдет далее. При ретроспективном рассмотрении академического

контекста, в котором находилась проблематика восстания после 1991 года, можно заключить, что мятежу как таковому не отводилось особого места в историописании. В изучении общественных движений XIX века доминирование советской трактовки о «совместной борьбе русских, украинских и польских революционных демократов» против царских властей (польское восстание считалось одним из ее эпизодов) сменилось фокусировкой на истории украинского национального движения. При таком «украиноцентризме» исследование восстания 1863 года не выходило за рамки общего анализа всего комплекса украинско-польских отношений и оставалось на второстепенных позициях.

Еще одно (достаточно оригинальное) объяснение, почему восстание практически не интересовало украинских ученых, предложил львовский историк Л. Зашкильняк. В своей статье «Польське Січневе повстання 1863–1864 років у висвітленні сучасної української історіографії» [26], опубликованной в 2014 году, он подвел некоторые промежуточные итоги изучения темы восстания после 1991 года и посетовал на то, что украинская историческая наука не уделяла ей достаточного внимания (к примеру, не вышло ни одной монографии, непосредственно посвященной данному событию). Причина, по мнению Л. Зашкильняка, заключалась в следующем: «Польское национально-освободительное восстание 1863–1864 гг. не относится к приоритетным темам современной украинской историографии. <…> Это неудивительно, поскольку украинским историкам приходилось и приходится обновлять и очищать от многочисленных фальсификаций и искажений события собственной истории, поэтому на историю соседей остается не так много времени и сил» [26, с. 393].

Кроме того, по утверждению ученого, украинская историография и образовательные программы в своих интерпретациях во многом по инерции сохраняли как российские, так и советские «имперские» подходы. Если, с одной стороны, якобы используемые российские дореволюционные трактовки подкрепляли недоверие украинцев к Польше и к полякам как наследникам традиций шляхты и играли на руку пророссийским силам на Украине, то, с другой стороны, в «неосоветской» версии истории проводился ложный тезис о ведущей роли русского революционного движения в создании условий для восстания поляков [26, с. 396, 399].

Украинская исследовательница Ю. Конаровская в своей статье 2017 года «Проблематика польського визвольного руху середини XIX століття на Правобережній Україні у роботах українських істориків початку XXI ст.» [37] вторит Л. Зашкильняку (основная мысль: тема восстания в украинской историографии после 1991 года изучалась недостаточно), но отмечает, что в связи со 150-летием с даты выступления интерес к восстанию начал постепенно возрастать, а спектр исследований расширился.

Это утверждение можно считать в целом справедливым. Действительно, 2013 год стал своего рода поворотным моментом в восприятии на Украине польского восстания 1863 года. К его 150-й годовщине Национальный архив Украины опубликовал подборку документов, освещавших деятельность повстанцев и усилия российских властей по усмирению мятежа [58]. Вышел ряд статей, посвященных полякам – главарям выступления, родившимся на территории современной Украины [44, 81]. Были организованы выставки и тематические мероприятия, состоялись памятные церемонии [24], Хмельницкая областная ГТРК выпустила документальный фильм [71], а на юбилейную дату обратили внимание СМИ [50].

Заметный интерес к событиям 1863 года на Правобережной Украине стало проявлять академическое сообщество. Возросло количество публикуемых научных статей, посвященных мятежу, в том числе по вопросам политики памяти [52, 53]. Значимым событием стал выход в свет коллективной монографии, посвященной восстанию [55]. Спонсором такого рода изданий выступало посольство Республики Польша на Украине.

Более того, польские дипломатические представительства и общественные организации поляков на Украине стали активными пропагандистами и инициаторами коммеморации участников мятежа, в рамках которой к традиционным местам памятных церемоний (Лычаковское кладбище во Львове и музей «Киевская крепость») добавились новые мемориалы (например, открытый по двусторонней инициативе в юбилейном 2013 году памятник в Хмельницкой области) [45].

Интересно, что польская сторона не упускала возможности проводить на украинской земле акции, посвященные восстанию 1863 года, не только в связанные с ним годовщины, но и в другие знаковые для истории Польши даты. В качестве иллюстрации можно привести памятные церемонии в Косом капонире Киевской крепости [77] (место казни нескольких поляков – главарей мятежников) в День независимости Польши 11 ноября, ничего общего с историей восстания не имеющий и связанный с перипетиями окончания Первой мировой войны. Такой «пакетный формат» мероприятий выглядит как попытка поляков укоренить свое присутствие в общественно-культурном пространстве Украины. Причем не только посредством использования отдельных тем, событий и личностей польской истории, но и путем своеобразного «экспорта» исторических нарративов, связывающих между собой сразу несколько эпох.

Таким образом, можно говорить о том, что к 2022–2023 годам обозначилось два тренда. С одной стороны, все большее применение при номинации исторического события определения «январское», которое, впрочем, все же уступало по частоте использования национальному маркеру «польское». С другой – академический и публицистический дискурсы Украины в целом начали освещать тему все более пристально. При этом сохранялось позиционирование восстания 1863 года как элемента, скорее, польской истории, что обуславливало относительное отсутствие интереса к нему со стороны украинских исследователей и в то же время оживление деятельности Варшавы по героизации участников восстания и увековечению памяти о нем на Украине.

Нынешний 2023 год отмечен резким ростом внимания к восстанию 1863 года и настоящим всплеском активности по использованию его в политике памяти. Здесь уместным будет говорить уже о попадании темы в широкое публичное пространство, чего ранее не наблюдалось. Необходимо отметить, что готовиться к предстоящей памятной дате польского восстания начали загодя. Постановлением Кабинета министров Украины № 644 от 1 июня 2022 года было принято решение о создании Оргкомитета по совместной подготовке и празднованию Украиной и Польшей 160-й годовщины восстания [56]. Согласно решению Правительства, Оргкомитет возглавил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, в состав руководства вошли среди прочих министр культуры и информационной политики, глава Украинского института национальной памяти (УИНП), министр иностранных дел. Постановлением была предусмотрена подготовка в трехмесячный срок плана совместных мероприятий. Данный документ, однако, был утвержден лишь 10 февраля 2023 года (распоряжением Кабмина № 128-р) [61].

Уже с самого начала 2023 года усилия Украины по глорификации польского мятежа были погружены в международный контекст (надо полагать, при полном содействии Варшавы). На состоявшемся во Львове 11 января втором саммите так называемого Люблинского треугольника (трехсторонняя региональная платформа, преследующая цель интеграции Украины в евроатлантические структуры) президенты Украины, Польши и Литвы в преамбуле совместной декларации отметили, что встреча прошла «накануне 160-летия нашего общего январского восстания, направленного против тирании и гнета» [66]. Прошедшую 21 января в музее «Киевская крепость» памятную церемонию, посвященную годовщине выступления поляков, посетили главы польской (Б. Цихоцкий) и литовской (В. Сарапинас) дипломатических миссий на Украине [75].

По случаю 160-летия со дня начала восстания в Варшаве 23 января были организованы торжества с участием президентов Польши и Литвы, представителей Украины и белорусской политической эмиграции во главе с С. Тихановской. Посол Украины в Польше В. Зварыч обратился к собравшимся с посланием от президента Украины В. Зеленского, которое (в отличие от выступлений А. Дуды и Г. Науседы) не содержало никаких упоминаний о роли белорусов в восстании 1863 года. Хотя в начале своей речи дипломат поприветствовал «представителей белорусского народа», такая «забывчивость» В. Зеленского вызвала крайне болезненную реакцию среди белорусских оппозиционеров [28]. Можно предположить, что это связано с тем, что миф об одном из вожаков мятежа – «белорусе Кастусе Калиновском» – является краеугольным камнем псевдоисторической пропаганды белорусских русофобов, и такое нарочитое игнорирование «белорусской» составляющей мятежа со стороны дружественного (по части неизбывной враждебности к России) официального Киева вызвало недоумение и обиду.

Вместе с тем Украина (нужно подчеркнуть, в рамках сложной дипломатической игры) привечает деятелей белорусской оппозиции, которые в своей политике используют тему восстания. В качестве наиболее красноречивого примера тут стоит привести полк имени К. Калиновского, который в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостоит «российской агрессии» и ведет свою «идеологическую родословную» от мятежников 1863 года.

Кстати, в рамках системной политики по «деколонизации» и дерусификации Украины (продолжают изначально запущенную в 2014 году кампанию по декоммунизации) в 2022–2023 годах в ряде украинских городов улицы, название которых связано с Белоруссией, были переименованы в честь «Кастуся» Калиновского [25, 84]. Дальше всех пошел Житомирский горсовет, который в июне 2023 года принял решение о переименовании улицы Белорусской в улицу «Имени полка Кастуся Калиновского» [74]. Такие акции хотя и не связаны напрямую с событиями 1863 года, а проводятся, скорее, в пику официальному Минску (вместе с Калиновским были увековечены имена белорусов, участвовавших в «Майдане» 2013–2014 годов и конфликте в Донбассе), тем не менее косвенно вновь актуализируют тематику восстания в украинском общественном пространстве.

Продолжается взаимодействие Киева с отдельными политиками из белорусских эмигрантских кругов. В частности, на памятные мероприятия во Львове 23 января наряду с представителями городских и областных властей, местных польских организаций, дипмиссий Польши и Литвы был приглашен лидер белорусской партии КХП-БНФ З. Позняк. Выступая с речью на Лычаковском кладбище (где расположено крупнейшее совместное захоронение участников мятежа 1863 года: по разным оценкам, там покоятся останки нескольких сотен повстанцев [70]), он заявил, что «сегодня враг тот же, что и в 1863 году». Поэтому, мол, необходимо всячески помогать Украине, чтобы «этот Мордор был разбит» [51].

То есть, несмотря на возможные конфликты за историческое «наследство» между различными государствами и политиками, считающими себя идейными продолжателями дела повстанцев, всех их объединяют одновременно исторические комплексы жертв «имперского порабощения» со стороны Петербурга/Москвы и непреходящая ненависть к России.

Говоря о внутриполитическом аспекте исторической политики Украины в отношении восстания 1863 года, следует констатировать, что в 2023 году она получила качественно новое наполнение. Так, несколько областных архивов выложили в сеть оцифрованные документы, посвященные событиям мятежа [9, 19], а Нацархив Украины отметился дополненной публикацией материалов 2013 года [59]. В рамках реализации уже упомянутого Плана Кабмина на базе Государственного архива Киевской области 5 мая 2023 года состоялся круглый стол «Искры и пепел Польского январского восстания» с участием не только представителей Украины, но также Польши и Великобритании (в том числе директора Польского института в Киеве Р. Чижевского) [1, 73].

Польский дипломат активно участвовал и в масштабном академическом мероприятии, проведенном в соответствии с Планом, – международной научной конференции «Украинские измерения антиимперского восстания 1863–1864 годов», которая состоялась 19 мая на базе Киевского национального университета имени Т. Шевченко [80]. Ее соорганизаторами выступили УИНП, Польский институт в Киеве, Институт украинской археографии и источниковедения имени М.С. Грушевского НАН Украины, Институт истории Украины НАН Украины, Центральный государственный исторический архив Украины и Национальный историко-архитектурный музей «Киевская крепость».

Мероприятие прошло в смешанном формате участия и включало в себя три панельные дискуссии: «Восстание 1863-го и Украина: идеи, люди, события», «Влияние восстания на Украину и развитие украинского движения», «Современные измерения памяти о восстании». Была организована прямая видеотрансляция [42]. С докладами выступили ученые и музейные работники с Украины, из Польши и Литвы, а также белорусские исследователи-эмигранты [27].

Примечательным моментом стала сама формулировка названия конференции, поскольку оно полностью отразило основную направленность перемен в исторической политике Украины касательно восстания 1863 года. Интересная деталь: в ходе дискуссии украинские ученые демонстрировали различные подходы к вопросам истории восстания, а вышеупомянутый Р. Чижевский оспаривал исключительно польский характер мятежа, представляя его как совместный опыт четырех народов, представители которых участвовали в научном мероприятии. При этом обратило на себя внимание, что белорусы отметились неубедительными попытками тиражирования избитых клише и мифов о К. Калиновском как якобы деятеле белорусского национального движения.

Наряду с академическим сообществом вопросы политики памяти затрагивали в своих публикациях украинские СМИ, которые выпустили материалы о ее региональных особенностях (например, в Тернопольской области [67]). В организации тематических лекториев и презентаций о польском восстании были задействованы даже средние общеобразовательные школы [3].

И все же важнейшей особенностью продвигаемого на Украине нарратива о восстании 1863 года стал однозначный поворот к восприятию его как составляющей собственно украинской истории. Это выразилось в дистанцировании от прилагательного «польское» и практически полном переходе к номинации «январское» в новых официальных документах и текстах, связанных с памятью о восстании. Проследить это можно по деятельности основных акторов исторической политики Украины, среди которых, помимо негосударственных организаций и историков, выделяются государственные институты, обладающие наиболее мощным ресурсом.

Весьма показателен здесь пример УИНП, который в вопросах истории превратился в подобие «министерства правды». Созданный по инициативе президента В. Ющенко в 2006 году (по образцу польского Института национальной памяти) УИНП в соответствии с предложенной политологами М. Бернхардом и Я. Кубиком типологией мнемонических акторов [86, с. 4], безусловно, относится к мнемоническим «бойцам», или «воинам» (англ. mnemonic warriors). Такие акторы стремятся утвердить свою версию прошлого как единственно правильную, а существующая в их понимании историческая истина является основанием для проведения границы «свой – чужой», то есть для конструирования идентичности.

На официальной интернет-странице УИНП восстание 1863 года именуется исключительно январским и антиимперским [7]. К тому же оно выставляется как «массовое вооруженное выступление народов бывшей Речи Посполитой», «совместный исторический опыт польского, литовского, белорусского и украинского народов». Тут же делается реверанс в сторону мифа о «белорусе» К. Калиновском с упоминанием белорусского полка ВСУ.

Это демонстрирует изменение восприятия восстания 1863 года в государственной политике памяти Украины: перестав быть польским, оно теперь подается как совместное антиимперское выступление «угнетенных наций». К слову, такая трансформация может иметь отсылку к модному сегодня антиколониальному дискурсу, где официальный Киев охотно примеряет на украинцев роль пострадавших от «колониального гнета» России.

При рассмотрении инструментария акторов исторической политики на Украине, небезынтересным будет обратиться к их научно-популярной продукции. Можно с высокой долей вероятности предполагать, что среди них наиболее активны и обладают значительной аудиторией онлайн-ресурсы, к примеру, на видеохостинге YouTube. Так, один из двух крупнейших украиноязычных исторических каналов на YouTube «Історія без міфів» (на начало сентября 2023 года – 728 тыс. зарегистрированных подписчиков и суммарно почти 102,9 млн просмотров [39]) не обошел стороной годовщину восстания 1863 года, посвятив ему специальный выпуск [65]. Для «опровержения российских исторических мифов» на канале ранее вышло видео об истории Речи Посполитой, в котором делается акцент на том, что это государство не угнетало православное население территорий современной Украины, а было для него настоящим отечеством [60].

Такое внимание к польскому восстанию 1863 года, попытки выпячивания его как значимого эпизода совместной борьбы против извечного «врага с Востока» приобретают черты новой тенденции. Она нашла свое отражение и в деятельности украинских и польских академических кругов по случаю годовщины восстания. В начале 2023 года их представители «перекрестно» выступили в СМИ обеих стран с пропагандой «объединительного» нарратива. Известные польские историки [13, 46] опубликовали свои статьи в крупных украинских медиа[1], а украинский исследователь И. Кривошея дал интервью «Польскому радио» [57]. Посыл таких выступлений неоригинален: Россия в силу своей внутренней природы якобы всегда была и остается общим врагом украинцев и поляков. Исследователи обеих стран так же на взаимной основе принимали участие в проводимых на Украине и в Польше конференциях по тематике восстания [20], при этом все большую активность в изучении восстания проявляют украинские региональные вузы [43].

Параллельно с этим в украинском инфополе СМИ местных организаций поляков (например, луцкая газета “Monitor Wolynski” [92], выходящее в Виннице “Slowo Polskie” [96, с. 1] и “Radio Lwów” [95]) отметились публикациями материалов и выпуском специальных передач, посвященных годовщине восстания. Показательно, что в терминологии данных информресурсов восстание теперь именуется преимущественно январским. Традиционно активно участвовали в памятных и тематических акциях польские дипломаты [1, 59], представители Союза поляков Украины провели мероприятия, посвященные восстанию 1863 года, в Житомире [96, с. 3] и Хмельницком [18].

Наряду с этим восстание как историческое явление сегодня на Украине стало объектом «национализации» и одновременно «суверенизации» прошлого. В терминологии украинского историка Г. Касьянова «национализация» прошлого подразумевает присвоение определенных фрагментов прошлого коллективным субъектом, достигающим самоопределения (нацией), оформление их в связанный мастер-нарратив и его огосударствливание [34, с. 305]. «Суверенизация» представляет собой ревизию и отрицание «неправильного» прошлого (которое в случае Украины ранее было представлено общим российским/советским нарративом), а также воссоздание «правдивой» исторической картины [34, с. 309].

Именно в духе «национализации» и «суверенизации» прошлого обращается современная политика памяти Украины к личностям повстанцев, которых объявляют «этнически-

[1] Стоит добавить, что польские медиаресурсы сами тиражировали многочисленные материалы на украинском языке, посвященные годовщине восстания.

ми украинцами». Такой подход, к слову, не нов и оформился еще в СССР. Хрестоматийным тут является образ уроженца Полтавской губернии подпоручика Андрея Потебни [6], который примкнул к мятежникам и погиб в бою с российскими регулярными войсками в Радомской губернии. Из А. Потебни делали «украинского героя» восстания, что укладывалось в сконструированную в советское время идеологему о «революционных демократах» и «интернационалистах», которые сражались с царизмом на стороне польских повстанцев.

Прах инсургента был перезахоронен с воинскими почестями в братской могиле повстанцев в 1953 году уже в коммунистической Польше. Однако в «экспортном варианте» А. Потебня неожиданно стал русским: на месте захоронения был сооружен мавзолей-памятник для пропаганды польско-советской дружбы, а на надгробии содержалась информация о «русском офицере А. Потебне, который своей кровью освятил союз между поляками и русскими» [91].

Поэтому после 1991 года все настойчивее звучали требования «украинизировать» мемориал А. Потебне. Сегодня в качестве акта восстановления «исторической справедливости» выставляется тот факт, что усилиями Генконсульства Украины в Кракове в 2000 году табличка на памятнике была заменена на новую, где сообщается, что А. Потебня «украинец» (упоминание о том, что он соратник А. Герцена и бывший офицер российской армии, оставили) [12].

Советская традиция «поиска украинцев» в рядах мятежников и их чествования жива и в наши дни. Планом Кабинета министров Украины [61] предусмотрены установка мемориальных досок и присвоение названий географическим объектам в честь А. Потебни и «украинца» П. Свенцицкого. Интересно, что в Кракове и Вроцлаве давно существуют улицы А. Потебни, в Варшаве проводятся выставки, посвященные украинцам – участникам восстания [50], а в 2023 году на тематических экспозициях в польской столице были представлены экспонаты, относящиеся к истории восстания, в том числе из музеев Украины [90].

Одновременно с этим Киев стремится внести собственно «украинцев» из числа участников мятежа в современный пантеон героев. Это можно трактовать как своего рода «этнизацию» нарратива памяти. При этом, в отличие от советских клише, речь теперь идет не о «революционерах-интернационалистах», а о роли в восстании 1863 года украинцев как одного из «порабощенных» народов.

Более того, официальная политика памяти на современном этапе начинает обращаться к теме участия «украинцев» в восстании 1863 года на тогдашней территории Царства Польского, в том числе на Холмщине и в южном Подляшье (восток сегодняшней Польши) [36]. В этих регионах до наших дней сохранились памятники отдельным повстанцам, которых Украина пытается «присвоить» себе. Следовательно, представляется возможным говорить об «экспансии» уже на территорию других государств нарратива о вкладе украинцев в борьбу с российской «неволей».

В то же время традиционно основными объектами глорификации из числа вожаков восстания на территории современной Украины были именно поляки. В этом контексте нельзя обойти стороной Галичину и Львов в частности, который уместно назвать «заповедником коммеморации» польских мятежников. Особенностью львовских мемориалов, посвященных восстанию 1863 года, является их своеобразная «мультимодальность»: они одинаково являются местом памяти для современных идейных наследников инсургентов не только с Украины и из Польши, но и привлекают «исторических паломников» из Литвы [5] и Белоруссии [76].

В 2022 году вышла в свет книга «Учасники Січневого повстання у Львові» (на польском и украинском языках одновременно), которая посвящена судьбам повстанцев, оказавшихся во Львове или погребенных в местных некрополях [97]. Ее авторами стали украинский историк И. Черновол и польский исследователь С. Стемпень, при участии

которого ранее был издан сборник биографических очерков о повстанцах, находившихся в заключении в Киевской крепости [98]. Оба издания финансировались польским правительством и были подготовлены к 160-й годовщине восстания.

Кстати, помимо многочисленных захоронений и мемориалов, связанных с польскими восстаниями 1863 и 1830 годов, во львовском городском историко-культурном ландшафте до сих пор присутствуют памятники полякам (Я. Килинскому, Б. Гловацкому), воевавшим против России еще в ходе восстания Т. Костюшко 1794 года. Показательно, что эти монументы спокойно пережили бурный XX век, менялись лишь их смысловое наполнение и символическая роль.

Любопытно, что в данный момент в некоторой мере допустимо говорить о возрождении и повторных проявлениях нарратива памяти о польских повстанцах на землях, входящих в состав Украины. В период Второй Речи Посполитой в рамках торжественных мероприятий в 1933 году в г. Ровно на здании кураториума Волынского школьного округа была установлена мемориальная доска в честь поляка Марьяна Дубецкого – преподавателя ровенской мужской гимназии, активного участника восстания и секретаря отдела Руси «национального правительства» мятежников. В дальнейшем памятный знак был утрачен [50]. А уже в 2023 году власти г. Изяслав Хмельницкой области (уроженцем которого был М. Дубецкий) приняли решение переименовать улицу Чехова в честь польского повстанца [49].

Еще одной заслуживающей внимания тенденцией является то, что культ памяти мятежников намеренно встраивают в общий нарратив героизации погибших защитников Украины от «агрессии России» на протяжении нескольких исторических эпох. Соответствующие мемориальные мероприятия могут включать в себя, например, поочередное поминовение польских повстанцев 1863 года и военных ВСУ, погибших на Востоке Украины [38], или делать акцент на сравнении репрессивных мер против польских мятежников с депортацией населения Западной Украины в лагеря ГУЛАГа [8].

Сегодня можно наблюдать и «территориальное расширение» нарратива памяти о повстанцах внутри самой Украины, а именно – его распространение от традиционных мест коммеморации (Киев, Львов) на новые регионы. Хотя в большей степени такой процесс характерен для Правобережья и Запада страны, он охватил также Сумскую область [61]. Это относится к объектам микротопонимики, мемориалам, памятным знакам, мероприятиям, печатной и аудиовизуальной продукции и в целом к созданию новых смыслов, отсылающих к тематике польского восстания. Рассматривая места памяти в духе концепции французского историка П. Нора [48], трудно не заметить, что «ареал» таких символических мест на Украине, относящихся к восстанию 1863 года, значительно расширился.

Таким образом, напрашивается вывод, что память о восстании 1863 года становится важным фактором украинско-польского сближения. Как представляется, возросшая активность украинских властей на данном направлении исторической политики не в последнюю очередь обусловлена сегодняшней сложной ситуацией, в которой оказалась Украина. Варшава, традиционно выступавшая «адвокатом» Киева на международной арене и оказавшая Украине наибольшую поддержку после февраля 2022 года, сейчас стремится закрепить выгодную для себя роль ближайшего партнера. Естественно, польская сторона, помогая Украине, работает над достижением собственных целей, пытаясь зафиксировать создавшееся зависимое положение Киева, в том числе через гуманитарное взаимодействие. Историческая политика и инструментализация прошлого занимают в этом контексте одно из ведущих мест.

Польское восстание 1863 года целенаправленно делают важной частью совместной истории украинцев и поляков. Причем не просто истории, а значимым элементом нарратива жертв России и борьбы с перманентной российской «агрессией». Данные взгляды постепенно проникают в риторику высшего руководства Украины. Так, председа-

тель Верховной рады Украины Р. Стефанчук, выступая 25 мая 2023 года в Варшаве перед обеими палатами польского Парламента, призвал чтить «братство украинцев и поляков по оружию» и не забывать, как они «объединились в ходе январского восстания против российского гнета» [10].

Как видится, такое позиционирование польского восстания 1863 года выгодно как Украине, так и самой Польше. Киеву это дает возможность заручиться дальнейшей поддержкой официальной Варшавы для достижения собственных внешнеполитических целей. При этом игнорируется тот исторический факт, что подавляющая часть населения затронутых мятежом Волынской, Киевской и Подольской губерний к выступлению поляков отнеслась как минимум нейтрально, чаще всего помогая властям в борьбе с восставшими. Это не оспаривается даже наиболее рьяными украинскими пропагандистами от истории. В свою очередь Польша, кажется, готова поделиться с Украиной опытом культивирования комплекса «жертвы коварных соседей», продвигая попутно собственное влияние во внутриукраинских делах.

Проведенный в статье анализ показывает неприятную на первый взгляд для Польши тенденцию: фактически речь идет о том, что в украинском прочтении восстание 1863 года – одно из центральных для польской истории последних веков событий – теряет свой польский характер и становится «совместной борьбой наций», сформированность двух из которых и сейчас является предметом дискуссий. Между тем такая тактическая уступка может быть частью стратегии Варшавы по дальнейшему отрыву Украины от России. Следует заметить, что опыт по разработке и реализации подобных концепций у польских интеллектуалов и политиков имеется достаточный.

Обозначенный внешнеполитический контекст накладывается на действие внутри Украины вышеупомянутых «национализации» и «суверенизации» прошлого, что в итоге приводит к «исторической апроприации» польского восстания 1863 года Киевом как важного элемента собственной истории, смысл которой все более сводится уже к борьбе не с внешними врагами, а единственным главным врагом.

Используя оптику норвежского исследователя И. Нойманна [47], можно выдвинуть предположение, что проводимая Украиной политика памяти имеет своей целью сделать Россию основным «конституирующим Другим» для украинской идентичности, а аналогичная роль Польши, хотя и остается пока значимой, может значительно «ретушироваться» в угоду сиюминутным интересам и оценкам Киева.

Однако проблемы в украинско-польских отношениях по-прежнему остаются. В особенности это касается исторического диалога о событиях XX века. Своеобразным маркером здесь может выступать тема украинско-польского конфликта на Волыни в 1942–1944 годах, вылившегося в массовое уничтожение населения по этническому признаку. Несмотря на то, что в преддверии 80-й годовщины апогея резни 1943 года (11 июля) официальные лица с обеих сторон отметились рядом острых заявлений [85], президенты Украины и Польши приняли совместное участие в траурных мероприятиях в Волынской области, лейтмотивом которых стало поминовение всех жертв массового убийства [2]. В попытке окончательно избавиться от взаимных обид политики и историки двух стран по традиции разыгрывают «российскую карту», обвиняя в создании предпосылок для трагедии, ее использовании для порабощения народов и искусственном нагнетании ненависти между украинцами и поляками Российскую империю, Советский Союз и современную Россию соответственно [11]. На этом поприще особо отметился премьер-министр Польши М. Моравецкий, который в июле 2022 года назвал «Русский мир» и Президента России В. Путина «наследниками Организации украинских националистов и УПА» [89].

Подводя итог, трудно не согласиться с замечанием американского политолога Г. Хирша: «Контроль над памятью является формой власти» [67, с. 23]. Пример современной

Украины отлично подтверждает данный тезис. Инструментализация прошлого затрагивает такие ранее находившиеся на периферии коллективной памяти исторические события и сюжеты, как польское восстание 1863 года, и служит для закрепления и дальнейшего воспроизводства украинской идентичности. Она по-прежнему конструируется «от противного», на противопоставлении с русской. Не подлежит сомнению, что проводимая Киевом историческая политика не только оказывает решающее воздействие на процесс формирования рамок украинской идентичности, но и «подпитывает» ее антирусский базис.

С точки зрения российских интересов, происходящее на территории нашей юго-западной соседки требует пристального внимания и скрупулезного анализа. Правильное понимание актуальной ситуации невозможно без всестороннего изучения Украины, ее истории и географии, политики, общества и экономики, культуры и региональных особенностей. В этой части отечественная украинистика, безусловно, обладает серьезными резервами для дальнейшего развития.

Одновременно с этим нужно отдавать себе отчет в том, что за тридцать два года независимости страна сильно изменилась (особенно после 2014 года), и скорость изменений все возрастает. Такая ситуация требует от исследователей постоянного совершенствования их инструментария. Было бы ошибочным недооценивать глубину происходящих на Украине перемен и решительность тех, кто их инициирует и проводит в жизнь, а также поддаваться иллюзиям, что официальный Киев является чьей-либо марионеткой, находящейся под абсолютным внешним диктатом. На фоне медийного шума, недостатка информации, стереотипов и клише, сопровождающих украинскую тематику в российском научном и общественном дискурсах, принципиально важно понимать, как украинцы сами видят себя и на что они делают акцент в своем идентичностном конструировании. Для этого среди прочего необходимо наблюдать историческую политику Украины в динамике и во всей широте проявлений.

К сожалению, стремление Москвы развивать с государствами Восточной Европы и постсоветскими республиками коммуникацию по вопросам истории в духе агонизма, когда даже конфликт памяти может оставаться объектом взаимоуважительного диалога, а стороны готовы выслушивать друг друга, нашими контрагентами поддержано не было[1].

Сегодня, хотим мы того или нет, историческая память превратилась в поле соперничества/конкуренции/битвы смыслов, проектов, интерпретаций и символов. Те, кто не придает этому значения, в конечном итоге могут остаться не у дел.

Как представляется, выстраивание Россией взаимодействия с зарубежными странами в сфере исторической политики с опорой лишь на события недавнего прошлого обладает ограниченным потенциалом. Чрезмерная концентрация на одних и тех же периодах истории ведет к «выпадению» из повестки дня других исторических эпох и эпизодов. Это чревато тем, что их в своих целях могут использовать политтехнологи, пропагандисты и псевдоученые, прекрасным примером чему служит эксплуатирование темы польского восстания 1863 года в политике памяти сегодняшней Украины.

Для противодействия таким фальсификациям и пропаганде следовало бы активнее использовать в исторической политике и научно-просветительской деятельности как в самой России, так и за рубежом, «долгий горизонт отечественной истории», уделяя внимание всему разнообразию ее аспектов и проявлений. Данная задача требует системной работы, нередко – творческих подходов и актуализации «незаезженных» тем. Хорошим подспорьем в этом послужило бы распространение качественной исторической научно-популярной продукции на максимально широкую, в особенности молодежную, аудиторию. Это предполагает подключение академических кругов, результаты работы которых часто, к сожалению, остаются

[1] Дискуссия о необходимости агонистской культуры памяти в противовес антагонистическому подходу была инициирована бельгийским философом Ш. Муфф, подробнее см. [93, 94].

«вещью в себе» и не доходят до широкой общественности, равно как и задействование современных технологических средств и разработок, мультимедийных ресурсов.

Необходимо постепенно возвращать регионы, эпохи и исторических деятелей в общерусский исторический нарратив. Прежде всего это относится к территории исторической Западной Руси, которая в силу разных причин была из него фактически вырвана, а события ее локальной истории часто становились и остаются жертвой тенденциозных трактовок. Польское восстание 1863 года исключением не является. Оно нуждается в дальнейшем всестороннем изучении в целях опровержения бытующих вокруг него уже более чем полтора столетия мифов.

В связи с этим первостепенное значение имеют анализ исторических первоисточников и их публикация в доступном для массового читателя виде вкупе с усилиями по установлению имен жертв повстанческого террора и павших при усмирении мятежа российских солдат (особенно на территории Юго-Западного края) для увековечения их памяти. Хорошие примеры такой работы по проблематике восстания 1863 года в Северо-Западных губерниях уже имеются [11, 14, 82, 83].

Литература

1. 5 травня 2023 року в Державному архіві Київської області з нагоди відзначення 160-річчя Січневого повстання 1863–1864 років було проведено круглий стіл [Электронный ресурс] // Державний архів Київської області: офіційний сайт. 05.05.2023. Режим доступа: https://dako.gov.ua/5-travnya-2023-roku-v-derzhavnomu-arkhivi-kyiv/ (дата обращения: 01.09.2023).
2. 80-і роковини Волинської трагедії: хто був зацікавлений під час Другої світової війни у деполонізації Волині [Электронный ресурс] // Радіо Свобода. 10.07.2023. Режим доступа: https://www.radiosvoboda.org/a/volyn-tragedja-upa-rosija/32496602.html (дата обращения: 03.09.2023).
3. 160 років Січневому повстанню [Электронный ресурс] // Сайт Школи № 42 м. Києва. Режим доступа: https://school42.kiev.ua/160-rokiv-sichnevomu-povstannyu/ (дата обращения: 31.08.2023).
4. Атлас Історія України / упорядник Л.Б. Хмара. Київ: ДНВП «Картографія», 2018. 21 с.
5. *Белявців Б.* Історична пам'ять Литви в Галичині [Электронный ресурс] // Zbruč. 18.12.2015. Режим доступа: https://zbruc.eu/node/45256 (дата обращения: 12.08.2023).
6. *Боровець З.* Андрій Потебня. «За нашу та вашу свободу» та лицемірство москви [Электронный ресурс] // Український погляд. 03.03.2023. Режим доступа: http://ukrpohliad.org/blogs/andrij-potebnya-za-nashu-ta-vashu-svobodu-ta-lytsemirstvo-moskvy.html (дата обращения: 23.08.2023).
7. В Україні відзначили 160 років Січневого повстання проти Російської імперії [Электронный ресурс] // Український інститут національної пам'яті: офіційний сайт. 23.01.2023. Режим доступа: https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/v-ukrayini-vidznachyly-160-rokiv-sichnevogo-povstannya-proty-rosiyskoyi-imperiyi (дата обращения: 30.08.2023).
8. Виставка «Мистецтво Contra Імперія» [Электронный ресурс] // Львівський історичний музей. Режим доступа: https://www.facebook.com/events/167501176325610/167501179658943/?locale= (дата обращения: 05.09.2023).
9. Виставка «Польське січневе повстання 1863–1864 рр. у документах Державного архіву Рівненської області» [Электронный ресурс] // Сайт Державного архіву Рівненської області. Режим доступа: https://rv.archives.gov.ua/fondy-online/171(дата обращения: 25.08.2023).
10. Виступ Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука перед обома палатами Парламенту Республіки Польща [Электронный ресурс] // Історична правда. 25.05.2023. Режим доступа: https://www.istpravda.com.ua/columns/2023/05/25/162729/ (дата обращения: 02.09.2023).
11. Волинь-1943: нові дослідження архівів про причини українсько-польського конфлікту [Электронный ресурс] // Перший Західний. 14.06.2023. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=yY7kszt39lA (дата обращения: 27.09.2023).
12. *Гавриленко І.* Два польські повстання, два полтавці (кухоль дьогтю до «Меморіалу Паскевича»): Фінал [Электронный ресурс] // інтенет-видання Полтавщина. 28.04.2012. Режим доступа: https://blog.poltava.to/igor-gavrylenko/965/ (дата обращения: 07.09.2023).
13. *Ген-Конарський Т.* Січневе повстання, або x=x+y+z [Электронный ресурс] // Україна модерна. 02.03.2023. Режим доступа: https://uamoderna.com/blogy/sichneve-povstannia-abo-x-x-y-z/ (дата обращения: 17.08.2023).
14. *Гісем О.В.* «Історія України»: підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. Харків: ТОВ Видавництво «Ранок», 2022. 212 с.: іл.

15. *Гронский А.Д.* Список русских солдат и офицеров, погибших в период подавления польского восстания 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края Российской империи [Электронный ресурс] // Портал «Западная Русь». 26.01.2013. Режим доступа: https://zapadrus.su/bibli/arhbib/85-spisok-pogibshih-russkih-soldat-v-1863. html%20%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b0%20%d0 %b4 %d0%be %d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0:%2026.01.2013 (дата обращения: 28.08.2023).

16. *Грушевскій М.С.* Иллюстрированная исторія украинскаго народа. СПб.: Тип. Т-ва «Екатерингофск. Печатное дѣло», 1913. 366 с.

17. *Грушевський М.С.* Ілюстрована історія України. Київ: Друкарня С.В. Кульженко, 1913. 524 с.

18. До 160-річчя січневого повстання [Электронный ресурс] // Сайт Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Режим доступа: http://web.itt-ua.net/news/2023/2023_01_23_2/2023_01_23_2.php (дата обращения: 01.09.2023).

19. До спільного відзначення у 2023 році Україною та Республікою Польща 160-ї річниці Січневого повстання 1863–1864 років [Электронный ресурс] // Сайт Державного архіву Миколаївської області. 21.04.2023. Режим доступа: https://archive.mk.ua/news/do-spilnogo-vidznachennya-u-2023-rotsi-ukrayinoyu-ta-respublikoyu-polshha-160-yi-richnytsi-sichnevogo-povstannya-1863-1864-rokiv/ (дата обращения: 03.09.2023).

20. Доцентка Інна Шостак взяла участь у міжнародній конференції «Січневе повстання 1863 року – перебіг, учасники і традиція» [Электронный ресурс] // Сайт НУ Острозька Академія. 24.04.2023. Режим доступа: https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2023/22-04-01 (дата обращения: 07.09.2023).

21. *Дюков А.Р.* Неизвестный Калиновский: Пропаганда ненависти и повстанческий террор на белорусских землях, 1862–1864 гг. 2-е изд., испр. и доп. М.: Фонд «Историческая память», 2021. 160 с.

22. Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка – Ком / редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2007. 528 с.: іл.

23. Енциклопедія історії України. Т. 8: Па – Прик / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2011. 520 с.: іл.

24. З нагоди повстання України і Польщі проти Російської імперії у Тернополі вшанували загиблих Героїв // Тернопільська міська рада: офіційний сайт. 05.02.2013. Режим доступа: https://ternopilcity.gov.ua/news/15744.html (дата обращения: 01.09.2023).

25. Замість Білоруської, Мінської, Брестської – вулиці на честь білорусів Калиновського, Жизневського, Скобля та «Литвина» [Электронный ресурс] // Радіо Свобода. 25.04.2023. Режим доступа: https://www.radiosvoboda.org/a/vijna-bilorusy-dekomunizacija-front/32378177.html#:~:text=%D0%A3%20%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8E,%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2. (дата обращения: 01.09.2023).

26. *Зашкільняк Л.* Польське Січневе повстання 1863–1864 років у висвітленні сучасної української історіографії [Электронный ресурс] // Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Режим доступа: https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Польське-Січневе-повстання-1863–1864-року-висвітлення-сучасної-української-історіографії-1.pdf (дата обращения: 25.08.2023).

27. Запрошуємо журналістів та всіх зацікавлених відвідати міжнародну конференцію до 160-річчя антиімперського Січневого повстання [Электронный ресурс] // Сайт Українського інституту національної пам'яті. 17.05.2023. Режим доступа:https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/zaproshuyemo-zhurnalistiv-ta-vsih-zacikavlenyh-vidvidaty-mizhnarodnu-konferenciyu-do-160-richchya-antyimperskogo-sichnevogo-povstannya (дата обращения: 31.08.2023).

28. Зразумець нельма крыўдзіцца. Зяленскі забыў Беларусь у заяве пра паўстанне Каліноўскага [Электронный ресурс] // Белсат. 24.01.2023. Режим доступа: https://belsat.eu/news/24-01-2023-zrazumets-nelga-kryudzitstsa-zyalenski-zabyu-belarus-u-zayave-pra-paustanne-kalinouskaga (дата обращения: 29.08.2023).

29. История Украинской ССР: в 2 т. Т. 1. Киев: Изд-во АН УССР, 1951. 612 с.

30. История Украинской ССР: в 10 т. Т. 4: Украина в период разложения и кризиса феодально-крепостнической системы. Отмена крепостного права и развитие капитализма (XIX) / редкол.: Ю.Ю. Кондуфор (гл. ред.) и др.; редкол. тома: Н.Н. Лещенко (отв. ред.) и др. Институт истории АН УССР. Київ: Наукова думка, 1983. 694 с.

31. История Украинской ССР: в 10 т. Т. 6: Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война на Украине (1917–1920) / редкол. тома: Н.И. Супруненко (отв. ред.), Ю.М. Гамрецкий (зам. отв. ред.), Ю.Ю. Кондуфор, И.И. Минц, Р.Г. Симоненко, Ю.И. Терещенко (отв. секретарь), И.С. Хмель. Институт истории АН УССР. Київ: Наукова думка, 1984. 656 с.

32. История Украинской ССР: в 2 т. Т. 1 / ред. кол.: А.К. Касименко, Ф.Е. Лось, В.А. Дядиченко, П.А. Лавров, Ф.П. Шевченко, Ф.Я. Ястребов. Институт истории Украины АН УССР. Київ: Изд-во АН УССР, 1951. 652 с.

33. Історія Української РСР: у 2 т. Т. 1. Київ: Наукова думка, 1967. 807 с.

34. *Касьянов Г.* Украина и соседи: историческая политика. 1987–2018. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 632 с.

35. *Ковальчук М.* Січневе збройне повстання в Одесі у 1918 р. // Український визвольний рух: наук. зб. Львів, 2015. Збірник 20. С. 74–97.

36. *Колянчук О.* Українські епізоди в січневому повстанні (1863–2013) [Электронный ресурс] // Наше слово. 05.03.2013. Режим доступа: https://nasze-slowo.pl/ukrayinski-epizodi-v-sichnevomu-povst/ (дата обращения: 26.08.2023).

37. *Конарівська Ю.* Проблематика Польського визвольного руху середини XIX століття на Правобережній Україні у роботах українських істориків початку XXI ст. // Україна – Європа – Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (вип. 19). Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. С. 300–306.

38. Максим Козицький спільно з представниками польського та литовського Сеймів вшанували пам'ять полеглих Героїв України та учасників Січневого повстання [Электронный ресурс] // Львівська обласна державна адміністрація, попередня версія офіційного сайту. 02.04.2022. Режим доступа: https://old.loda.gov.ua/news?id=66839 (дата обращения: 20.08.2023).

39. Маніфест – рейтинг ютуб-каналів українською мовою [Электронный ресурс] // Історія. Режим доступа: https://manifest.in.ua/rt/history/?order_type=_viewcount&order=DESC (дата обращения: 06.09.2023).

40. *Манчук А.* Січневе повстання. «Роля хлопчаків» [Электронный ресурс] // Історична правда. 29.01.2011. Режим доступа: https://www.istpravda.com.ua/columns/4d4376f1674ac/ (дата обращения: 02.09.2023).

41. *Марахов Г.И.* Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине. Киев: Изд. Киевского ун-та, 1967. 258 с.

42. Міжнародна наукова конференція «Українські виміри антиімперського повстання 1863-1864 років» [Электронный ресурс] // YouTube канал Українського інституту національної пам'яті. 19.05.2023. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=5WIPK0k8W64 (дата обращения: 30.08.2023).

43. Міжнародний круглий стіл з нагоди 160-річчя Січневого повстання 1863–1864 років [Электронный ресурс] // Сайт Історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.. 08.05.2023. Режим доступа: https://history.udpu.edu.ua/39-novyny/2893-90898-8k98h-3g-52u-47ek-2t-377682k-147 (дата обращения: 02.09.2023).

44. *Мозговий І.* Січневе повстання в Польщі і Україна // Світогляд – Філософія – Релігія: збірник наукових праць. Вип. 7. Суми: УАБС НБУ, 2014. С. 105–119.

45. Не забуваємо історію... [Электронный ресурс] // Антонінська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області громада: офіційний сайт. 23.01.2021. Режим доступа: https://antoninska-gromada.gov.ua/news/1611839939(дата обращения: 02.09.2023).

46. *Новак А.* Поляки, українці, литовці та білоруси не згинають спину [Электронный ресурс] // LB.ua. 20.01.2023. Режим доступа: https://lb.ua/news/2023/01/20/542947_polyaki_ukraintsi_litovtsi.html (дата обращения: 05.09.2023).

47. *Нойманн И.* Использование «Другого»: образы Востока в формировании европейских идентичностей / пер. с англ. В.Б. Литвинова и И.А. Пильщикова; предисл. А.И. Миллера. М.: Новое издательство, 2004. 336 с.

48. *Нора П.* Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция – память. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 17–65.

49. Обговорювались питання перейменування вулиць громади [Электронный ресурс] // Сайт Ізяславської міської громади. 12.05.2023. Режим доступа: https://izyaslav-miskrada.gov.ua/news/1683879846/ (дата обращения: 05.09.2023).

50. *Одарченко В.* Польське повстання 1863 року: український аспект [Электронный ресурс] // Радіо свобода. 22.01.2013. Режим доступа: https://www.radiosvoboda.org/a/24880389.html (дата обращения: 22.05.2023).

51. Пазьняк прыехаў у Львоў. Што ён гаварыў аб паўстаньні Каліноўскага, Усходняй Эўропе і Ўкраіне [Электронный ресурс] // Радыё свобода. 24.01.2023. Режим доступа: https://www.svaboda.org/a/32235529.html (дата обращения: 02.09.2023).

52. *Параційй В.М.* Могили повстанців 1863 р. як символи Національної пам'яті (на історичному цвинтарі Бережан) // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Польське національне повстання 1863 р.», присвяченої 154 річниці Січневого повстання 1863 року (м. Київ, 25 квітня 2017 р.). Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця». Київ, 2017. С. 83–91.

53. *Парнікоза І.Ю.* Місця пам'яті, пов'язані з визвольним повстанням 1863 р. у Києві // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Польське національне повстання 1863 р.», присвяченої 154 річниці Січневого повстання 1863 року (м. Київ, 25 квітня 2017 р.). Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця». Київ, 2017. С. 67–82.

54. *Плохий С.Н.* Врата Европы: История Украины / пер. с англ. Сергея Лунина. М.: Corpus, 2018. 544 с.

55. Польське національне повстання 1863–1864 рр. на Правобережній Україні : від міфів до фактів: [колективна монографія] / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. 184 с.

56. Постанова Кабінету міністрів України від 01 червня 2022 р. № 644 «Про утворення Організаційного комітету з підготовки і проведення спільного відзначення у 2023 році Україною та Республікою Польща 160-ї річниці початку Січневого повстання 1863–1864 років» // Урядовий портал. Режим доступа: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-organizacijnogo-komitetu-z-pidgotovki-i-provedennya-spilnogo-vidznachennya-u-2023-roci-ukrayinoyu-ta-respublikoyu-i010622-644 (дата обращения: 12.08.2023).

57. Професор Ігор Кривошея: Прояви польського та українського визвольних рухів мають багато спільного [Электронный ресурс] // PolskieRadio.pl. 26.01.2023. Режим доступа: https://www.polskieradio.pl/398/7866/artykul/3108963,професор-ігор-кривошея-прояви-польського-та-українського-визвольних-рухів-мають-багато-спільного (дата обращения: 04.09.2023).

58. *Путова Г.* До 150-річчя початку Польського повстання 1863–1864 рр. [Электронный ресурс] // Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України): офіційний сайт. Режим доступа: https://cdiak.archives.gov.ua/v_do_150_pochatku_Polskogo_povstannya_1863-1864.php (дата обращения: 30.08.2023).

59. *Путова Г.В., Кузьмук О.С.* До 160-річчя початку Польського повстання 1863–1864 рр. [Электронный ресурс] // ЦДІАК України: офіційний сайт. Режим доступа: https://cdiak.archives.gov.ua/v_do_160_pochatku_Polskogo_povstannya_1863-1864.php (дата обращения: 30.08.2023).

60. Річ Посполита: руйнуємо російсько-імперські наративи // 10 запитань історику [Электронный ресурс] // Історія без міфів. 30.07.2022. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=IXPdAGenN2Q (дата обращения: 17.08.2023).

61. Розпорядження Кабінету міністрів України від 10 лютого 2023 р. «Про затвердження плану заходів з підготовки і проведення спільного відзначення у 2023 році Україною та Республікою Польща 160-ї річниці початку Січневого повстання 1863–1864 років» // Урядовий портал. Режим доступа: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-planu-zakhodiv-z-pidhotovky-i-provedennia-spilnoho-vidznachennia-u-2023-rotsi-ukrainoiu-ta-respublikoiu-polshcha-160-i-richnytsi-i100223-128 (дата обращения: 12.08.2023).

62. *Савицький Ю.* Українці у Січневому повстанні проти Російської імперії [Электронный ресурс] // Радіо свобода. 23.01.2013. Режим доступа: https://www.radiosvoboda.org/a/24881992.html (дата обращения: 17.08.2023).

63. Січневе повстання (1863) [Электронный ресурс] // Вікіпедія: Вільна енциклопедія. Режим доступа: https://uk.wikipedia.org/wiki/Січневе_повстання_(1863) (дата обращения: 25.08.2023).

64. Січневе повстання на Правобережній Україні (1863–1864) [Электронный ресурс] // Вікіпедія: Вільна енциклопедія. Режим доступа: https://uk.wikipedia.org/wiki/Січневе_повстання_на_Правобережній_Україні_(1863–1864) (дата обращения: 24.08.2023).

65. Січневе повстання: як Польща боролася проти російської імперії [Электронный ресурс] // Історія без міфів. 11.01.2023. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=viwz6cci_qQ (дата обращения: 29.08.2023).

66. Спільна декларація Президента України Володимира Зеленського, Президента Литовської Республіки ГітанасаНаусєди та Президента Республіки Польща Анджея Дуди за результатами другого саміту Люблінського трикутника [Электронный ресурс] // Офіційне інтернет-представництво президента України. 11.01.2023. Режим доступа: https://president.gov.ua/news/spilna-deklaraciya-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-80321 (дата обращения: 22.08.2023).

67. *Степаненко О.* «За нашу і вашу свободу!»: 160 років тому почалося Січневе повстання [Электронный ресурс] // Zbruč. 22.01.2023. Режим доступа: https://zbruc.eu/node/114382 (дата обращения: 31.08.2023).

68. *Струкевич О.К.* Історія України: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Грамота, 2017. 240 с.: іл.

69. *Субтельний Орест.* Україна: історія. 2-е вид. / пер. з англ. Ю.І. Шевчука; вст. ст. С.В. Кульчицького. Київ: Либідь, 1992. 512 с.: іл.

70. Територія Личаківського цвинтаря – цвинтар Січневого повстання 1863/1864 рр. [Электронный ресурс] // Інтерактивний Львів: сайт проекту. Режим доступа: https://lia.lvivcenter.org/uk/objects/polish-cemetery/ (дата обращения: 09.09.2023).

71. ТРК «Поділля-центр» створила фільм до 150-річчя повстання поляків «Навмисне шаленство» [Электронный ресурс] // Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо): офіційний сайт. 05.07.2013. Режим доступа: https://comin.gov.ua/news/trk-podillya-tsentr-stvorila-film-do-150-richchya-povstannya-polyakiv-navmisne-shalenstvo(дата обращения: 22.08.2023).

72. *Турченко Ф.Г.* Історія України: підруч. для 9 кл. загально освіт. навч. закл. / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко. Київ: Генеза, 2017. 384 с.: іл., карти.

73. У Державному архіві Київської області відбувся круглий стіл із нагоди відзначення 160-річчя Січневого повстання 1863–1864 років [Электронный ресурс] // Київська обласна військова адміністрація: офіційний веб-сайт. 06.05.2023. Режим доступа: https://koda.gov.ua/u-derzhavnomu-arhivi-kyyivskoyi-oblasti-vidbuvsya-kruglyj-stil-iz-nagody-vidznachennya-160-richchya-sichnevogo-povstannya-1863-1864-rokiv/ (дата обращения: 03.09.2023).

74. У Житомирі з'явилася вулиця полку імені Кастуся Калиновського [Электронный ресурс] // Житомирська міська рада. 29.06. 2023. Режим доступа: https://zt-rada.gov.ua/?pages=17086 (дата обращения: 02.09.2023).

75. У Київській фортеці вшанували учасників Січневого повстання 1863–1864 років [Электронный ресурс] // Укрінформ. 21.01.2023. Режим доступа: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3656670-u-kiivskij-forteci-vsanuvali-ucasnikiv-sicnevogo-povstanna-18631864-rokiv.html (дата обращения: 30.08.2023).

76. У Львові вшанували білоруських повстанців [Электронный ресурс] // DailyLviv.com. 28.11.2016. Режим доступа: https://dailylviv.com/news/istoriya/u-lvovi-vshanuvaly-biloruskykh-povstantsiv-39125 (дата обращения: 21.08.2023).

77. У столичному музеї вшанували пам'ять героїв Січневого повстання 1863 року [Электронный ресурс] // Вечірній Київ. 12.11.2021. Режим доступа: https://vechirniy.kyiv.ua/news/58312/ (дата обращения: 04.09.2023).

78. Україна: Історичний атлас: 9 клас / Ю. Лоза. Київ: ТОВ «Видавництво "Мапа"», 2018. 32 с.

79. Україна крізь віки: у 15 т. Т. 9 Національне відродження України / за заг. ред. В. Смолія НАН України. Інститут історії України. Київ: Альтернативи, 1999. 336 с.

80. Українські виміри антиімперського повстання 1863–1864 років: Міжнародна наукова конференція [Электронный ресурс] // Сайт Історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. 02.06.2023. Режим доступа: http://www.history.univ.kiev.ua/2023/06/02/ukra%D1%97nski-vimiri-antiimperskogo-povstannya-1863-1864-rokiv-mizhnarodna-naukova-konferenciya/ (дата обращения: 06.09.2023).

81. *Усенко П.Г.* Життєвий подвиг Зиґмунта Сераковського (до 150-річчя повстання 1863 р.) // Український історичний журнал. 2013. № 5. С. 100–116.

82. *Щеглов Г.Э., свящ.* Год 1863: Забытые страницы. 2-е изд., доп. Минск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви, 2007. 98 с.

83. *Щеглов Г.Э., свящ.* Отнятый крест. Минск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви, 2013. 40 с.: ил.

84. Як в Україні перейменовують вулиці на честь білорусів [Электронный ресурс] // DW. 01.06.2023. Режим доступа: https://www.dw.com/uk/zaginuv-za-ukrainu-imena-bilorusiv-u-nazvi-ukrainskih-vulic/a-65790782 (дата обращения: 31.08.2023).

85. Ambasador Ukrainy odpowiada na słowar zecznika MSZ Polski. «Niedopuszczalne i godneubolewania» [Электронный ресурс] // Onet Wiadomości. 20.05.2023. Режим доступа: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ambasador-ukrainy-odpowiada-na-slowa-rzecznika-msz-polski/jyehmy5 (дата обращения: 22.08.2023).

86. *Bernhard M., Kubik J.* A Theory of the Politics of Memory // Twenty Years after Communism: The Politics of Memory and Commemoration / ed. by M. Bernhard, J. Kubik. Oxford: Oxford University Press, 2014. 326 p.

87. *Hirsch H.* Genocide and the Politics of Memory: Studying Death to Preserve Life Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1995.

88. *Luciw W.* Ukrainians and the Polish Revolt. New Haven, Conn.: Slavia Library, 1961. 65 p.

89. Mateusz Morawiecki podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez UPA [Электронный ресурс] // Kancelaria Premiera. 11.07.2022. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=7SZI0UBDMdM (дата обращения 05.09.2023).

90. Miłość i obowiązek. Powstanies tyczniowe 1863 [Электронный ресурс] // Zamek Królewski w Warszawie–Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. Режим доступа: https://www.zamek-krolewski.pl/milosc-i-obowiazek (дата обращения: 02.09.2023).

91. Mogiła powstańców styczniowych [Электронный ресурс] // Platforma “Turistickétrasy Malopoľska”. Режим доступа: https://malopolska.szlaki.pttk.pl/sk/1876-pttk-malopolska-mogila-powstancow-styczniowych (дата обращения: 27.08.2023).

92. Monitor Wolynski. 2023. 26 января. № 2 (322) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://monitorwolynski.com/uk/pdf/2023 (дата обращения: 20.08.2023).

93. *Mouffe C.* An Agonistic Approach to the Future of Europe // New Literary History. 2012. V. 43 (4). P. 629–640.

94. *Mouffe C.* On the Political. London, 2005.

95. Radio Lwow [Электронный ресурс] // Audycje, 21. stycznia 2023. Режим доступа: https://radiolwow.org/audio/BROADCAST (дата обращения: 22.08.2023).

96. Slowo Polskie. 2023. № 1 (126). Styczeń [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://slowopolskie.online/wp-content/uploads/2023/01/slowopolskie_nr_126_3.pdf (дата обращения: 29.08.2023).

97. *Stępień S., Czornowoł I.* Powstancy styczniowiwe Lwowie // Zanaszą i waszą wolność... Fundacja Wolność i Demokracja, 2022. 70 s.

98. *Stępień S.* Powstańcy styczniowi więzieni w twierdzy kijowskiej. Zarysy biogramów // Południowo-Wschodni Instytut Naukowyw Przemyślu, 2022. 314 s.

Аннотация. Статья посвящена политике памяти Украины в отношении польского восстания 1863 года. Рассмотрена эволюция его восприятия в украинских академическом и общественно-политическом дискурсах после 1991 года: от эпизода польской истории до позиционирования данного события как совместного опыта антиимперской борьбы «порабощенных народов». Показана активизация деятельности акторов исторической политики по включению восстания в продвигаемый официальным Киевом нарратив перманентного противостояния с Россией. Раскрывается внешнеполитический контекст исторической политики Украины. Проанализирована заинтересованность и роль Польши в интенсификации использования тематики восстания для достижения собственных целей на украинском направлении. Особое внимание уделено оценке современных коммеморативных практик на Украине, связанных с восстанием 1863 года, и их роли в конструировании украинской идентичности.

Ключевые слова: польское восстание 1863 года, январское восстание, Украина, Польша, политика памяти, историческая память, мнемонические акторы, места памяти, Украинский институт национальной памяти, национальная идентичность.

Daniil V. Kharitonov, Master’s of Arts in International Relations. E-mail: d.v.kharitonov@yandex.ru

Polish Uprising of 1863 in Memory Politics of Contemporary Ukraine

Abstract. The article is devoted to the memory politics of Ukraine in relation to the Polish revolt of 1863. It examines perceptions of the insurrection in the Ukrainian academic and public spheres after 1991. The essay provides a vivid illustration of the Kiev authorities’ use of mythologized representations of the past to mobilize memory as an instrument of politics in the present. The author scrutinizes the entwined efforts of Ukraine and Poland to portray the image of the Polish uprising as a joint anti-imperial struggle of “enslaved nations” in Kiev’s narrative of permanent confrontation with Russia. Particular attention is paid to modern commemorative practices in Ukraine regarding the uprising of 1863 and their impact on the construction of Ukrainian national identity..

Keywords: Polish Uprising of 1863, January Insurrection, the Ukraine, Poland, Memory Politics, Historical Memory, Mnemonic Actors, Sites of Memory, Ukrainian Institute of National Memory (Remembrance), National Identity.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-276-285

Игорь Тяпин

Двенадцать мифов литвинизма

Одним из парадоксальных явлений эпохи глобализации стала активизация процессов поиска этнической идентичности, высшим проявлением которого является нациостроительство. С одной стороны, разрушение традиций порождает интенсивное конструирование разнообразных групповых идентичностей, с другой – данное конструирование в ситуации конкуренции идентичностей нередко пытается опереться на апеллирование к традиции. Если в прошлом образование этносов в основном зависело от материальных условий жизни социальных групп, то в настоящее время оно определяется действием субъективных социально-политических факторов [8]. При этом можно констатировать не столько стихийный, сколько организованный характер процессов этнической динамики, их использование теми или иными политическими силами для достижения своих стратегических целей.

Нациестроительство в эпоху глобализации не просто совпало, а во многом оказалось следствием геополитических разломов в разных регионах планеты в ходе краха двухполярного мира, одним из которых стала Восточная Европа (разрушение социалистического лагеря и СССР). Победители объединялись, побежденные по воле первых разобщались, стремясь тем самым обрести статус младшего члена в лагере победителей.

Ни одна из попыток организованного нациестроительства и обретения (либо возрождения) «лица» и «духа» народа не может обойтись без формулирования национальной идеи. Как мировоззренческая система национальная идея стала важной частью духовного развития стран и народов – лидеров модернизации в Новое время, становления наций как субъектов истории. Затем процессы поиска национальной идентичности закономерно затронули и регионы последующих «эшелонов модернизации». Разработанная национальная идея является не только философемой, но даже философией истории, дающей более или менее адекватное представление о месте страны и общества среди других народов, смысле их существования, исторической судьбе. Иными словами, национальную идею допустимо воспринимать как социально-гносеологический идеал. Как отмечает Л.В. Крымец, объективное в национальной идее поднимается до уровня целей и стремлений субъекта, становится знанием, имеющим аксиологические основания, определяющим национальное бытие, побуждающим стремление к практической реализации общих замыслов [6, с. 48].

Именно с позиций гносеологического идеала, в том числе и объективности описания и истолкования прошлого (а через это – настоящего и будущего) следует анализировать и оценивать национальную идею, сравнивать национальные идеи разных стран и народов либо же различные трактовки национальной идеи одной страны. Глубина и историческая достоверность содержания национальных идей могут весьма различаться,

Тяпин Игорь Никифорович, доктор философских наук, кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры философии Вологодского государственного университета. E-mail: i.n.tyapin@mail.ru

достигая в одних случаях высокой степени, в других – превращаясь в чистые социальные мифы, подчас деструктивные для самого носителя. В долгосрочной перспективе подлинная эффективность национальной идеи, выражающаяся в росте и развитии народа, реальном достижении поставленных целей, напрямую зависит от ее исторической адекватности.

В силу множества факторов, главным из которых, безусловно, выступает многовековое отсутствие самостоятельной государственности и локализация в пространстве длительного культурно-цивилизационного противостояния польско-католического и русско-православного мира, Белоруссия представляет собой пример относительно позднего национально-государственного строительства. Данное обстоятельство обуславливает плюралистичность, а порой и антагонистичность поисков белорусской национальной идеи, в которых прослеживается действие как внутренних (усилия интеллигенции), так и внешних (заинтересованность иных государств и международных субъектов политики) факторов. Результаты этих поисков имеют важное значение для геополитических процессов в Евразии и в первую очередь для безопасности России.

Реальные истоки поиска белорусской идентичности связаны с разделами Речи Посполитой и появлением зачатков будущей концепции западнорусизма. Здесь стоит выделить фигуры архиепископа Георгия (Конисского), озвучившего лозунг «Отторженная возвратих» как символ возвращения России территорий Белой и Малой Руси, епископа Иосифа (Семашко) – организатора воссоединения полутора миллионов белорусско-литовских униатов с Русской православной церковью, М.О. Кояловича, который ввел в оборот термин «Западная Россия», использовал понятие «белоруссы» в значении самобытной ветви единого русского народа, уникальность культурного феномена которых состояла, по его мнению, в том, что белорусско-литовские земли на протяжении столетий были местом столкновения католической и православной цивилизаций. Суть западнорусизма выражается в идее о развитии белорусского самосознания для укрепления связи с Россией. Далее важной вехой послужил разгром польского мятежа 1863–1864 годов и разворот имперских властей в сторону белорусского народа как союзника в борьбе с польской гегемонией, широкая поддержка российской администрацией белорусского крестьянского движения по пресечению шляхетских диверсий.

Благодаря возникновению относительно благоприятных условий к началу XX века в рамках Российской империи образовались (пусть и малочисленные) националистически ориентированные белорусские кадры, взявшие за основной образец быстро формирующийся украинский национализм, декларировавшие желание создавать белорусскую культуру и в политическом плане постепенно склонявшиеся к идее автономии. В среде этнически и конфессионально неоднородной интеллигенции назревал, по утверждению Я.И. Трещенка, конфликт двух белорусских проектов: пропольского католического и западнорусистского [11], что и обусловило возникновение в «информационном поле» белорусского национализма как реалистических, так и надуманных образов прошлого. В промежуток между двумя мировыми войнами произошли такие события и процессы, как оккупация Белоруссии кайзеровской армией, 1-й Всебелорусский съезд, провозглашение марионеточной БНР, а после установления на белорусских землях большевистской власти – возникновение БССР (первоначально – ССРБ и ЛБССР (Литбел)), где проводилась политика полунасильственной «коренизации». Лишь в послевоенные годы началось неуклонное смягчение языковой политики, развитие национальной литературы и искусства в контексте классической русской и советской культуры, выделение в качестве ключевого момента национального сознания белорусов победы над фашизмом и утверждение трактовки белорусской историко-культурной идентичности в соответствии с общей для того времени концепцией «древнерусской народности».

Основным противоречием официальной концепции (вытекающей из установок советской идеологии на патриотизм и одновременно классовый интернационализм) можно считать оценку периода нахождения белорусских земель в составе Российской империи: утверждение о стремлении белорусского народа к воссоединению с Россией, о прогрессивном влиянии этого процесса на развитие региона сочеталось с идеализацией Т. Костюшко, К. Калиновского и им подобных фигур, изображаемых в качестве революционных борцов за освобождение угнетенных народных масс.

Уже в первые годы независимости Республики Беларусь можно констатировать противоборство как на государственном уровне, так и в рамках сознания гражданского общества двух полярных направлений в трактовке национальной идеи (спустя несколько лет возник еще и их «гибрид», преобладающий в Белоруссии в последние десять – пятнадцать лет на официальном уровне).

Первая версия национальной идеи в независимой Белоруссии, оформившаяся как протестная реакция на «неокоренизацию», устроенную Белорусским народным фронтом, по сути, представляет собой парадигмальный синтез западнорусизма XIX века (народная психология и христианские ценности) и советской самоидентификации (без прямых марксистских идеологем). В историческом плане разработанный такими фигурами, как Я.И. Трещенок, А.Д. Гронский, А.Ю. Бендин, В.Н. Черепица и др., он предполагает объективный взгляд на историческое прошлое, сохранение русскоязычия и устоявшегося набора ценностей (патриотизм, семья, созидательный труд, баланс интересов личности и общества, партнерство власти и народа) в рамках идеала социальной гармонии.

Параллельно с утверждением западнорусистско-просоветской идентичности усилиями так называемой белорусской оппозиции шли активные процессы детализации и пропаганды доктрины антирусско-европейской идентичности на базе соединения идеологически утрированных наработок периодов коренизации и оккупации БССР гитлеровской Германией (коллаборационизм Ф. Акинчица и др., инспирированная В. Кубе пропаганда фиктивной антисоветской «белорусизации») с преобладающими западноцентристскими цивилизационными схемами, обретшей устойчивое именование литвинства / литвинизма. Необходимость полного противопоставления Белоруссии и России закономерно подводила адептов литвинизма (среди последних поколений которых трудно выделить сколько-нибудь значимые авторитетные фигуры, однако проблема низкого качества кадров решается за счет внушительного количества копирайтеров) к потребности активного конструирования исторических мифов.

Конструктивистский подход в этнологии (Э. Геллнер, Б. Андерсон, Э. Хобсбаум и др.) рассматривает этнос как некое концептуальное построение, ментальный конструкт, искусственно созданный для мобилизации людей на коллективные действия по достижению экономических, политических и иных целей. Ключевую роль в конструировании этничности играют политические институты и элиты, которые преследуют собственные цели, а не выражают культурную идеологию группы или «волю народа». Соответственно этносы возникают в цивилизованном (или хотя бы предцивилизованном) обществе, выполняя идеологическую функцию.

Однако конструктивизм весьма часто (яркие примеры – украинство или популярный в 1990-х – 2000-х годах «поморский проект» на Русском Севере) склонен маскироваться под установки противоположного – примордиалистского – подхода (Э. Шилс, К. Гирц, П. ван ден Берге и др.), согласно которому этнос и этничность являются объективно и первозданно существующими. До того, как индивид становится членом общества или представителем народа, он уже обладает чувством общего происхождения, культурной или физической схожестью со своей этнической группой. Сторонники примордиализма отталкиваются либо от убеждения о неизменности существования связи какого-либо общества от древности

до современных наций, либо от уверенности, что все этнические символы демонстрируют непрерывную линию родства у поколений.

Аргументированная критика научно-исторической несостоятельности литвинизма представлена в библиографии достаточно широко. Однако любой из авторов по отдельности обычно сосредотачивается на выделении от одной-двух до четырех-пяти мифологем, в то время как их перечень к настоящему времени гораздо обширнее. Соответственно в ходе устной или письменной полемики адепты литвинизма в ответ на критику одних мифов не просто настойчиво воспроизводят их, но и приводят другие, стремясь обеспечить словесный перевес. Необходимость обобщенного анализа всего комплекса постулатов литвинистской мифологии выступает основной целью данной статьи.

Миф № 1
«Литвины» – основной этноним предков белорусов

Сама трактовка названия «литвин» в качестве этнонима, отдельного от «литовец», а не политонима, опирается на идеи белорусской историографии периода коренизации. К примеру, М.В. Довнар-Запольский утверждал, что название «литвин» впервые появилось в Черной Руси – области наиболее тесных контактов славянского и балтского элементов, а затем распространилось на более широкую территорию. И.Ю. Лёсик (председатель Рады БНР) в начале 1920-х годов прямо выделил схему «Литва – Беларусь». Однако в действительности в исторических документах понятия «литвин» и «литовец» не разделялись, а слово «литвин» часто встречалось рядом с этнонимом «русин» как обозначение не совпадающей с ним группы населения. Только когда дело касалось межгосударственных отношений, все жители Великого княжества Литовского становились литвинами.

Миф № 2
Преимущественно балтское происхождение предков белорусов

Сделав ставку на сознательное неразличение смысловых вариантов слова «литвин», адепты литвинизма делают вывод об отсутствии у белорусов какой-либо русской основы и пытаются усилить его историко-археологическими и генетическими «аргументами». Здесь прежде всего утверждается происхождение белорусов от ятвягов, а также идет оперирование размытым понятием «балтский субстрат» для обозначения населения, с которым взаимодействовали дреговичи, радимичи и кривичи (последние также объявлены слегка ославяненными балтами). Несмотря на широкую пропаганду «генетической уникальности» белорусов-литвинов и резких генетических отличий от русских, это мнение не выдерживает ни исторической критики (ятвяжская территория занимала лишь часть Гродненской области), ни сравнения с данными расовой антропологии [1, 3] и популяционной генетики [2, с. 60].

Миф № 3
Автономное и преемственное политическое развитие белорусских земель в Средние века

Миф сформировался на основе утрирования возникших в начале XX века и в период «коренизации» (и ныне частично устаревших!) исторических концепций М.В. Довнар-Запольского и В.М. Игнатовского о древней белорусской государственности в рамках Полоцкого и Турово-Пинского княжеств, затем – Великого княжества Литовского (теория относительно мягкого завоевания и защиты Литвой белорусских земель). Княжеские

междоусобицы Полоцка со Смоленском, Киевом, Псковом, Новгородом и др. городами в интерпретации адептов литвинизма превращаются в межнациональные конфликты. Литовские князья объявляются белорусами, несмотря на то, что от Миндовга до Витовта подавляющее их большинство носили балтские имена, являлись язычниками, а в середине XIV века государство было разделено на славянскую и балтскую части, чтобы упростить управление разнородными регионами. Строить свою государственность на наследии полоцких Рюриковичей литовские князья не стремились.

Миф № 4
Белоруссия – культурное ядро и политический центр Великого княжества Литовского

Данный миф основан на вынужденном использовании бесписьменными литовцами-язычниками русского языка в качестве языка делопроизводства. Однако принятие определенных культурных навыков и практик не привело к ассимиляции; православная культура так и не стала господствующей. После Кревской (1385) и Городельской (1413) уний, поражений православной партии (войны Ягайло с Андреем Полоцким, а позже Сигизмунда Кейстутовича со Свидригайло) права православного населения стали неуклонно сокращаться, что привело к массовым переходам западнорусской знати под крыло Москвы. Превратившись из полуязыческой страны в католическую, Великое княжество Литовское (ВКЛ) продолжило существовать в русле польской культуры и государственности (язык, система должностей, административное деление, образцы права, социальная структура).

Миф № 5
Белоруссия – один из главных центров Ренессанса

Продолжением мифа о белорусском культурном ядре ВКЛ становится миф о «золотом веке» с XV до середины XVII столетия, полноценном белорусском Возрождении, для чего гипертрофируются несколько событийных и биографических фактов сугубо регионального значения (например, открытие схоластического «третьеразрядного» университета в литовском Вильно, книгопечатание Ф. Скорины). В действительности урбанизация белорусских земель до XVI веке шла довольно медленно; основная масса русского православного населения жила как бы вне государства, уходя от него в труднодоступные места. Так, выступающие для сторонников «национального подхода» к истории в качестве знаковых фигур С. Будный и В. Тяпинский, фиксировали падение роли русского языка на своей родине («езыка своего славного занедбанне»). Попытки создания литературного западнорусского языка и издание некоторое время книг на нем произошли не благодаря, а вопреки общим тенденциям тотальной полонизации. Вдохновляемая Ватиканом феодально-католическая реакция сыграла решающую роль в подавлении русской культуры.

Миф № 6
Древность белорусского языка и его первичный, «родительский» статус по отношению к русскому

Структура и способ конструирования данного мифа почти тождественны аналогичному украинскому. Разговорный и делопроизводственный язык населения средневековой Руси вместе с церковнославянским начинает именоваться древне/старобелорусским. Далее гипертрофируется значение не столь уж многочисленных письменных памятников периода ВКЛ, а вышеупомянутые редкие попытки русинов-подвижников, получивших схоластиче-

ское образование, создать литературный язык на основе смешения церковнославянского и современного им разговорного изображаются как сверхрезультативные и имеющие массовое распространение. Наконец, фальсифицируется характер деятельности выходцев из Малой и Белой Руси, когда М. Смотрицкий, Е. Славинецкий и С. Полоцкий объявляются создателями русского языка.

В действительности, как уже отмечалось, традиция литературного западнорусского языка оказалась кратковременна. Выпускники Киевской коллегии в основном занимались упорядочиванием церковнославянской грамматики, переводом на церковнославянский книг с латыни и греческого, их правкой в период никоновских реформ и обучением иностранным языкам приказных людей. В Московской и Новгородской Руси, затем Русском централизованном государстве литературная (религиозная, политическая, правовая и др.) традиция никогда не прерывалась; русский литературный язык не конструировался, а развивался постепенно и гармонично. Современный же белорусский литературный язык – в основном плод конструирования конца XIX – первой трети XX века; он напрямую не связан даже с написанными на латинице текстами «Мужицкой правды» 1862–1863 годов (гродненский диалект белорусского с обилием полонизмов), а тем более с языком Ф. Скорины, С. Будного, В. Тяпинского.

Миф № 7
Белоруссия в период ВКЛ – правовое государство и оплот европейской демократии

Откровенно ненаучные спекуляции на темы «ордынской сущности» политической системы Русского государства, крепостного права (которое на белорусских землях фактически оформилось несколькими десятилетиями ранее, чем в России), свободы и деспотизма призваны поддерживать исторические фальсификации о демократии и высокой правовой культуре в ВКЛ и Речи Посполитой. Фетишизация защищавших права шляхетства литовских статутов XVI века и особенно растянувшегося на два с половиной столетия (с конца XIV до середины XVII, а в редких случаях даже XVIII века) дарования городам бывшей Черной и Белой Руси средневекового Магдебургского права, предназначенного со временем только для горожан-католиков, выражавшего интересы купеческой верхушки, стоявшего ниже законодательства централизованных государств, изображается как современная система демократии, утерянная после разделов Польши (в действительности замена феодального права-привилегии на российское новоевропейское законодательство была прогрессивным актом), нахождение Белоруссии в эфемерном «едином культурном и правовом пространстве с Европой».

Миф № 8
Войны России с Литвой и Польшей – цивилизационное противостояние белорусов и «финско-татарских варваров/кочевников» во имя защиты высокой европейской культуры и гуманистических ценностей

Несмотря на полную абсурдность подобных формулировок, значение данного мифа по политическим мотивам все более усиливается. Из десятков сражений и сотен событий выбраны несколько малозначительных, но подходящих фальсификаторам по результатам. Им искусственно пытаются придать едва ли всемирно-историческое значение. Чаще всего используются темы битвы под Оршей 1514 года (тактическое поражение русской армии, не повлиявшее на исход русско-литовской войны), а также уничтожения в результате

заговора городской верхушки и польских военнопленных русского гарнизона в Могилеве в 1661 году (ныне выдаваемого за всенародное восстание).

Миф № 9
Шляхетское происхождение значительной части белорусского общества
*(подтекст: литвины – потомки не холопов, а господ, «москали» – крепостных рабов***)**

В его основе лежит в принципе верный тезис о значительной (от 6 до 8–10%) доле шляхты в населении Речи Посполитой в начале – середине Нового времени, значительная часть которой обнищала и в хозяйственном отношении «опустилась» до крестьянского или мещанско-ремесленного состояния. Однако из этого делаются произвольные расчеты о том, что примерно у четверти (в радикальных вариантах – трети и более) современных граждан Белоруссии есть «благородная кровь», вслед за чем следует предъявление претензий к России по поводу того, что после разделов Польши в ходе юридических процедур проверки происхождения не за всеми «высокородными литвинами» были признаны права российского дворянства.

Даже не углубляясь в очевидную ненаучность и аморальность для XXI столетия рассуждений о «высоком» и «низком» происхождении, можно отметить, что подобные расчеты не учитывают накладывание друг на друга в Белоруссии XVII–XIX веков сословных, этнических и конфессиональных различий. К периоду Смутного времени православной шляхты почти не осталось (ополячивание и окатоличивание с последующим «дрейфом» знатных родов в собственно Польшу). Белорусские крестьянские массы (понятие «хлопы» выступало одновременно сословным и этническим само- и внешним именованием) вступали в брачные связи преимущественно между собой, а подделка генеалогических свидетельств у зажиточной части крестьян и горожан и получение нужного решения за взятку приобрели массовый характер. Что, собственно (со знаком «+» или «–»), вытекает из того, что какой-то человек имел дворянство, а все его следующие поколения крестьянствовали? Что следует из того, если среди десятков и сотен предков современного белоруса, живших во времена Речи Посполитой, найдутся два-три шляхтича? Какой процент шляхетских предков и за сколько поколений должен быть у белоруса XXI века, чтобы он считался «благородным»?

Миф № 10
Многовековой «московский геноцид» литвинов-белорусов

На материале «сырой», лишенной критики источников работы Г. Сагановича [10] (от которой он сам со временем многократно открещивался), адептами литвинизма активно культивируется сфальсифицированная доктрина о целенаправленном уничтожении (слово «геноцид» при этом активно используется) Москвой белорусов в ходе войны 1654–1667 годов, хотя действительными причинами значительного (почти в два раза) уменьшения численности населения за это время стали эпидемия чумы, несколько неурожайных лет, подавление войсками Речи Посполитой антишляхетского белорусского народного восстания, миграции в Россию и земли «Короны» [7]).

Сам факт резкого уменьшения численности населения в той или иной стране в силу одной из перечисленных причин в короткие сроки – типичное явление не только для Средних веков, но даже Нового времени. Но современного обывателя, смутно знающего историю, подобные цифры шокируют, что создает почву для фальсификаций.

А.В. Суворов, после своего стремительного броска из Малороссии разбивший в августе-сентябре 1794 года войска К.Ю. Сераковского у Дивина, Кобрина, Крупчиц и Бреста,

а затем двинувшийся на Варшаву, объявлен «палачом белорусского народа», якобы сжигавшим белорусские села и обращавшим в рабство жителей. Применительно к последующему времени продолжается поддержка мифов об истреблении большевиками большей части белорусской интеллигенции и о «Куропатах» (захоронение точно не установленного периода нескольких тысяч человек, чьи личности и происхождение – советские граждане или уничтоженные нацистами евреи – граждане восточноевропейских стран (Карпате Юден) – толком не идентифицированы, выдается исключительно за расстрелы НКВД 250 тыс. белорусов).

Миф № 11
Шляхетские восстания в Российской империи – проявление белорусского национального движения

Несмотря на почти полное отсутствие даже в середине XIX века белорусской интеллигенции (более позднее возникновение которой стало следствием именно условий, созданных царскими властями) и зачаточное состояние этнического сознания (широко цитируется утверждение Е.Ф. Карского о неиспользовании этнонима «белорус»: «Простой народ в Белоруссии не знает этого названия. На вопрос: кто ты? простолюдин отвечает: русский, а если он католик, то называет себя либо католиком, либо поляком; иногда свою родину назовет Литвой, а то и просто скажет, что он «тутэйшый» (tutejszy) – здешний…» [5, с. 116]) этому квазиромантическому мифу придается не меньшее значение, чем мифу № 8.

Между тем общеизвестно, что Т. Костюшко был законченным польским унитаристом, выступавшим с программой окончательной ассимиляции «русинов» («Приучать их [русинов] надо к польскому языку, пусть по-польски все их службы будут. Со временем дух польский в них войдет»). Восстание 1830 года в принципе не породило ярких персоналий – выходцев с территории современной Беларуси, которых можно было бы канонизировать в качестве местных «борцов за независимость». Восстание 1863 года на территорию Белоруссии почти не распространилось (задев лишь наиболее полонизированные северо-западные районы). К. Калиновский, неадекватно характеризуемый, с помощью нескольких искажений событий и артефактов вроде частично сфальсифицированных «Писем с виселицы» и полумифов вроде «Люблю Беларусь» (один из множества однодневных паролей / отзывов лживо представлен как постоянный лозунг, которым «Кастусь» точно не пользовался), как «патриот Беларуси», звал сражаться вовсе не за нее, а за все ту же Речь Посполитую – вместе с «братьями-поляками», против «москалей» и православной церкви («…разве ж мы, децюки, сидеть будем? Мы, что живем на земле Польской, что едим хлеб польский, мы, поляки из веков вечных!»). Успеха агитация нескольких выпусков «Мужицкой правды», смеси агрессивного польского шовинизма и популизма, в белорусских крестьянских массах не имела. Так, по подсчетам А.Д. Гронского, доля крестьян среди участников мятежа составляла не более 18%, а применительно ко всему мужскому крестьянскому населению белорусских земель – 0,7% [4].

Миф № 12
Белорусская этничность жителей приграничных российских регионов, «несправедливо отторгнутых» Россией

Будучи аналогичным мифу об «украинской» Кубани, он главным образом основан на двух пунктах.

1. Принадлежность в некоторые исторические промежутки (1404–1514 и 1612–1654) смоленских земель к ВКЛ / Польше и нахождение в период Российской империи Себежского уезда (юг современной Псковской области) в составе Витебской губернии.

2. Субъективная трактовка результатов этнографических исследований середины XIX – начала XX века, авторы которых (М. Цебриков, Н. Штиглиц, Е. Карский и др.), как отмечает Л.И. Пашкова, относили население западных уездов Смоленщины к белорусам, но не по его самоидентификации, а по отдельным особенностям языка, культуры, хозяйственных занятий [9].

Однако при внимательном анализе этих выводов можно понять, что они «натянуты» и трактоваться могут по-разному: в языковом отношении речь идет всего лишь об особенностях звукопроизношения и использовании некоторых диалектных слов, в культурном – элементах одежды. Характерным примером является знаменитая «Карта белорусских говоров» 1903 года, созданная западнорусистом Е.Ф. Карским (она использовалась для территориальных притязаний БНР в 1918 году, широко используется как «научное доказательство» своей правоты и современными «свядомыми» авторами), выделившим особые, отличающиеся от среднебелорусских и западнобелорусских говоры на территории крайнего востока территории будущей БССР, а также Смоленских и Брянских земель, специфика которых была им определена как «наличие мягкого Р» (как и в русском языке!) и «великорусское влияние». Возникает вопрос: может быть, в этом случае корректнее говорить о русских говорах, распространенных в том числе на территории востока Белоруссии? Так, по переписи 1897 года абсолютное (более 90%) большинство населения почти всех уездов Смоленской губернии, кроме Краснинского (где действительно явно преобладали белорусы), определило себя великороссами. В Себежском уезде доли великороссов и белорусов были практически одинаковыми.

Итогом использования всего комплекса названных мифов стало рождение мегамифа о потере Белоруссией возможности стать густонаселенной страной и центром европейского промышленного и культурного развития в результате вовлечения в пространство Российской государственности. Это в свою очередь выступает платформой для внедрения в массовое сознание утопии о будущем белорусском процветании после вхождения в военные и политические структуры Запада.

Таким образом, ключевые компоненты методологии литвинизма – тенденциозная подборка и откровенно неадекватная интерпретация фактов, пафосная эмоциональность, рассуждения на основе сравнения сфальсифицированных, искусственно сконструированных образов объектов (стран, народов, цивилизаций) по схеме «черное – белое», активное использование понятий, обладающих выраженной положительной или отрицательной коннотацией – в совокупности представляют основной набор признаков лженауки в социально-гуманитарном познании. В противоположность лженаучной литвинской методологии продуктивным методологическим принципом исследования прошлого Белоруссии может стать выделение истории белорусского народа и истории польско-литовских субъектов и институтов, а также объективная оценка процессов и последствий иностранной экспансии на ее территорию.

Литература

1. Антропология русских: Как выглядит и где живет русский народ? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://slavtradition.com/nasledie/narody/4571-issledovanie-antropologiya-russkikh-kak-vyglyadit-i-gde-zhivet-russkij-narod-chast-iii
2. Белорусы: этногенез и связь с другими славянскими народами / И. Рожанский, И. Цыбовский, А. Богачева [и др.] // Наука и инновации. 2013. № 3 (121). С. 55–62.
3. Восточные славяне: Антропология и этническая история. 2-е изд. / под ред. Т.И. Алексеевой. М.: Научный мир, 2002. 342 с.
4. *Гронский А.Д.* Национально-религиозное наполнение «Мужицкой правды» // Материалы X Международных Кирилло-Мефодиевских чтений (Минск, 24–26 мая 2004 г.): в 2 ч. Ч. 1 / отв. ред. и сост. А.Ю. Бендин. Минск: Ковчег, 2005. С. 224–233.

5. *Карский Е.Ф.* Белорусы. Т. I: Введение в изучение языка и народной словесности. Варшава. 1903. С. 116.

6. *Крымец Л.В.* Национальная идея в контексте глобализации: методологический анализ // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 8. С. 47–50.

7. *Лобин А.Н.* Неизвестная война 1654–1667 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://scepsis.net/library/id_1104.htm

8. *Осипов Н.Е.* К вопросу истории формирования этносов // Вестник Чувашского университета. 2014. № 4. С. 59–64.

9. *Пашкова Л.И.* Этнический состав населения Смоленщины во второй половине XIX века [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://old.ethnomuseum.ru/files/PDF/19_ Etno_chtenia/Section_4/i_v_pashkova.pdf

10. *Саганович Г.М.* Невядомая вайна, 1654–1667. Мінск: Навука и тэхніка, 1995. 144 с.

11. *Трещенок Я.И.* Две белорусские национальные идеи (католический национал-сепаратизм и православная национальная идея) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://zapadrus.su/zaprus/istbl/429-2011-08-29-12-22-47.html

Аннотация. Статья посвящена критическому анализу всего комплекса основных постулатов идеологии литвинизма, касающихся белорусской истории Средних веков, Нового и Новейшего времени, как одного из конкурирующих подходов к определению белорусской идентичности в контексте научно-исторической достоверности национальной идеи как мировоззренческой системы и идеала социально-гуманитарного знания. Выявлена методологическая ориентация литвинизма на этноконструктивизм, распространение которого вызвано «геополитическими разломами» эпохи глобализации, при внешнем апеллировании к примордиализму. Доказано соответствие литвинистской доктрины перечню основных признаков лженауки. Предложены продуктивные методологические принципы защиты от мифологизации истории Белоруссии.

Ключевые слова: национальная идея, белорусы, западнорусизм, литвинизм; конструктивизм, примордиализм, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, лженаука, геополитика, мегамиф.

Igor N. Tyapin, Doctor in Philosophy, PhD in History, Associate Professor; Professor, Department of Philosophy, Vologda State University. E-mail: i.n.tyapin@mail.ru

Twelve Myths of Litvinism

Abstract: The article is devoted to the critical analysis of the whole complex of the main postulates of the ideology of Litvinism pertinent to the Belarusian history of the Middle Ages, modern and recent times, as one of the competing approaches to the definition of Belarusian identity in the context of the scientific and historical reliability of the national idea as a worldview system and the ideal of socio-humanitarian knowledge. The author reveals the methodological orientation of Litvinism towards ethno-constructivism, the spread of which is caused by the "geopolitical fractures" in the era of globalization, with an external appeal to primordialism. He proves the compliance of the Litvinist doctrine with the list of the main signs of pseudoscience and offers productive methodological principles of protection against the mythologization of the history of Belarus.

Keywords: National Idea, Belarusians, Western Russianism, Litvinism, Constructivism, Primordialism, Grand Duchy of Lithuania, Polish-Lithuanian Commonwealth, Pseudoscience, Geopolitics, Megamyth.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-286-299

Александр Гронский

Конструирование национального героического пантеона, или как польский повстанец превратился в белорусского национального героя

Первые признаки белорусской исторической политики стали появляться в связи с формированием белорусского национализма, который стремился не только обозначить свое присутствие в настоящем, но и оправдать это присутствие путем подбора специальной идеологической исследовательской оптики для взгляда на прошлое. Националисты стали искать в прошлом явления, характерные для текущей стадии исторического процесса. Естественно, что прошлое, даже если оно существовало в том же регионе, что и настоящее, не всегда является удобным для современной политической или иной идеи, так как собственно история не подчиняется желаниям идеологов, чего нельзя сказать об описании прошлого, которое бывает крайне ангажировано современностью.

Для устойчивости национального мифа необходимо сформировать национальное прошлое. Причем это прошлое должно быть героическим. Для локальных национализмов, которые никогда не имели в прошлом территорий, где они являлись бы доминирующей идеологией, миф о прошлом объяснял, почему существующая национальная идея не была государственной. Объяснялось это достаточно просто – националисты назначали какую-либо политическую силу врагом, который или якобы уничтожил национальное государство в прошлом, или не дал ему зародиться.

Для придания значимости и повышения ценности национализма необходимо было сформировать пантеон национальных героев, которые за эту идею национализма боролись. А если таких героев не было, хотя бы в силу того, что национализм появился совсем недавно и потому даже в недалеком прошлом попросту не существовало тех, кто мог бы бороться за несуществующую тогда идею, тогда национальных героев нужно придумать.

Естественно, что попросту выдумать несуществовавшую личность достаточно опасно, потому что необходимо будет придумать и систему исторических источников, из которых об этой личности якобы брали информацию. Легче найти в прошлом реальный персонаж, который можно объявить собственным национальным героем. Для этого необходима интерпретация информации о нем, что является более простым способом формирования нужных для национализма представлений об историческом сюжете. Таким образом, заинтересованные лица нагружают персонаж прошлого актуальными для сегодняшнего дня идеями, выдавая все это за историческую истину. В этом случае полностью или почти полностью игнорируются реальные политические взгляды исторического персонажа, назначенного национальным героем. Эти взгляды попросту подвергаются коррекции, актуальной для современной политической повестки [19].

Для белорусского национализма назначенным героем стал польский повстанец, один из региональных руководителей польского восстания 1863–1864 годов Викентий

Гронский Александр Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской Академии наук. E-mail: agr1976@yandex.ru

Константин Калиновский (Wincenty Konstanty Kalinowski)[1]. Как повстанец он больше известен под своим вторым именем – Константин, до восстания же предпочитал называться первым именем – Викентий. Во всяком случае, именно так он подписывал письма до 1863 года.

Родился К. Калиновский в обедневшей шляхетской семье в местечке Мостовляны, которое располагалось в западной части Гродненской губернии. После перипетий XX века эта территория оказалась в Польше, в составе Подляского воеводства. А сам род Калиновских происходит из Мазовии. Будучи студентом Санкт-Петербургского университета, К. Калиновский отчаянно нуждался в деньгах. Возможно, поэтому он, как и некоторые его товарищи, ходил в рваной одежде и обуви, демонстративно носил полотенце вместо шарфа [32, с. 168]. Хотя такое поведение можно объяснить и вызовом обществу. Или совмещением вызова обществу и невозможности купить новую одежду.

В столице императорской России Калиновский познакомился с революционными идеями, причем с тем их направлением, которому был не чужд радикализм. Во время учебы он сблизился с будущими соратниками по восстанию З. Сераковским, Я. Домбровским, В. Врублевским. Домой он вернулся уже сформировавшимся революционером, принял самое активное участие в формировании подпольных польских организаций в Северо-Западном крае Российской империи и стал руководителем такой организации.

Накануне польского восстания и на его протяжении К. Калиновский выпустил ряд печатных прокламаций, обращенных к различным слоям местного населения. Часть этой пропаганды была направлена на белорусских крестьян. Однако пропаганда своих целей не достигла. Крестьяне массово игнорировали польские повстанческие призывы [17]. Более того, местные крестьяне иногда активно противодействовали повстанцам. Нежелание крестьян примыкать к восстанию за возрождение Польши вылилось в повстанческие репрессии. Польские повстанцы убивали не только тех, кто их не поддерживал, иногда под расправу попадали случайные люди, встреченные повстанцами в лесу или на дороге[2].

Сначала К. Калиновский использовал для пропаганды частично социальные, частично религиозные лозунги, призывая крестьян переходить в униатство. Помимо того повстанческие листовки формировали негативный образ страны, в которой крестьяне жили. Успехом это не увенчалось, поэтому в конце восстания К. Калиновский или кто-то из его окружения, но под тем же псевдонимом – Яська-гаспадар из-под Вильно – обратился к белорусским крестьянам с однозначно этническим призывом: «Мы, что живем на земле Польской, что едим хлеб Польский, мы, Поляки из веков вечных»[3] [56, с. 327]. Однако несмотря на все признаки того, что К. Калиновский был носителем польской идеи, его образ был белорусизирован и настолько навязан пропагандой как белорусский, что и ныне часть белорусов искренне в это верит, а сам образ активно используется в белорусском политическом и культурном дискурсе[4].

[1] О том, что на самом деле представлял собой К. Калиновский, см. [18].

[2] О жертвах среди мирного населения от рук повстанцев см., например [3, с. 427; 16; 22, с. 101–150; 51, с. 10; 55].

[3] Существует другой вариант текста, в незначительных деталях отличающийся от напечатанного А. Гиллером [см. 32, с. 241–242].

[4] Стоит отметить, что в основном образ К. Калиновского-белоруса использует белорусская оппозиция. Например, в 2006 году в период попытки провести «так называемую васильковую (другие названия – джинсовая или картофельная) революцию». «Картофельная революция» – не самое распространённое название события. Оппозиция называла Октябрьскую площадь, на которой располагался белорусский «майдан», не иначе как площадь К. Калиновского. В 2012 году именно оппозиция предложила провозгласить 2013 год годом К. Калиновского, именно оппозиция выступила в 2013 году за создание памятника повстанцу. В 2020 году массовые протесты против результатов президентских выборов в Белоруссии тоже не обошлись без образа якобы

Образ Калиновского-белоруса сложился не сразу. Для того чтобы закрепиться в сознании части белорусского общества в качестве белорусского героя, он претерпел ряд интерпретаций. Истоки этого находятся в событиях периода Первой мировой войны, когда западная часть Российской империи попала под оккупацию немецкой армии. В 1915 году немецкие войска вошли в Вильно – город, в котором находился главный центр белорусского национализма. Там остался ряд белорусских активистов, которые начали сотрудничать с оккупационным режимом. До войны белорусские националисты критиковали Россию за то, что та не обращала внимания на их требования, а в период войны эти навыки оказались полезными для немецкой оккупационной политики.

Немцы на захваченных территориях проводили антирусскую политику. Они запрещали обращаться по-русски в структуры оккупационной администрации, поддерживали националистические организации, причем даже не представляющие собой никакой силы. Например, белорусских националистов, верно оценив возможности их активистов. Так, один из немецких чиновников писал: «Белорусы не высказывали никогда стремления к государственной самостоятельности… Некоторые стремления сепаратистские, которые развивают несколько археологов и литераторов в Вильно, следует причислить к местным делам, не имеющим политического значения» [46, с. 261]. Тем не менее белорусские организации наряду с иными получили финансирование на открытие своих школ, подготовку для них учителей, выпуск прессы на своих языках и даже поддержку вооруженных формирований [23, с. 415, 418]. Именно в этих условиях начала выкристаллизовываться белорусскость польского повстанца К. Калиновского.

15 февраля 1916 года белорусский националист и по совместительству склонный к фальсификациям историк-любитель В. Ластовский разместил в издававшейся на немецкие деньги белорусской газете «Гоман» статью, которая называлась «Памяці Справядлівага» [37, 57]. Эта статья, пожалуй, впервые упоминала К. Калиновского как белорусского героя. В. Ластовский сразу же создает атмосферу таинственности и секретности. Он пишет: «Много лет пролежала у меня в секретном тайнике пачка бумаг, из которых отрывками хочу поделиться со своим обществом» [37, с. 306; 57, s. 3]. Ореол секретности на самом деле был ни к чему, поскольку под этой пачкой бумаг имелись в виду «Письма из-под виселицы». Эти так называемые письма были опубликованы еще в 1867 году в Париже одним из руководителей польского восстания 1863–1864 годов А. Гиллером [56, с. 327–335]. И уже хотя бы поэтому никакой тайны письма не составляли. Таким образом, конструирование из К. Калиновского белорусского национального героя начиналось с банальной фальсификации.

Текст статьи В. Ластовского тоже представляет собой набор фальсификаций. Без всяких отсылок к историческим источникам белорусский националист описывает усилия К. Калиновского по якобы белорусскому возрождению. Оказывается, К. Калиновский «добивался широких культурно-национальных прав для белорусского и литовского народов», руководил переводами революционных песен того времени на белорусский язык, закладывал «начальные школки с обучением по-белорусски», создавал литературные кружки молодежи, «которые обрабатывали к печати популярные белорусские книжки»[1]. Влияние К. Калиновского, по словам Ластовского, было так велико, «что даже польский Жонд Народовый [то есть польское повстанческое правительство – *А.Г.*] его слушал» [37, с. 306; 57, s. 3]. Эта уверенность

белорусского национального героя. А в марте 2022 года на Украине из белорусских националистов был создан сначала батальон, а потом и полк имени К. Калиновского. Калиновский выгоден оппозиции как образ борца с официальной властью. Помимо того, польский повстанец К. Калиновский был и продолжает оставаться символом борьбы белорусских националистов против России.

[1] Следует заметить, что белорусскоязычные эксперименты проводили и другие польские повстанцы, в частности Б. Шварц, выступавший идеологическим оппонентом К. Калиновского.

в многогранности таланта К. Калиновского настолько укрепилась среди белорусской интеллигенции, что, не подвергаясь абсолютно никакой рефлексии, существует и в XXI веке. В частности, одна из читательниц Национальной библиотеки Белоруссии с абсолютной уверенностью утверждала в частной дискуссии, что К. Калиновский беспощадно боролся за искоренение нецензурной лексики в белорусском языке[1].

Для придания белорусского имиджа конструируемому белорусскому национальному герою В. Ластовский решил снабдить его белорусскими текстами. Поскольку в реальности тексты К. Калиновского никак не соответствовали его формируемому белорусскому имиджу, их оригиналы пришлось скорректировать, путем введения в них «этничности». В оригинальном тексте К. Калиновского звучит обращение к крестьянам: «Братья мои, мужики родные!» [42, с. 46, 47; 56, с. 333]. Но В. Ластовский цитирует строчку по-другому: «Белорусы, братья мои родные!» [37, с. 307, 308; 57, s. 3]. Первая строчка стихотворения К. Калиновского «Марыська, чернобровая голубка моя» [42, с. 46, 47; 56, с. 334] превращается в «Белорусская земелька, голубка моя» [37, с. 307, 308; 57, s. 3]. Таким образом, В. Ластовский, для того чтобы хоть как-то подвести основание под утверждение, что К. Калиновский является забытым белорусским героем, был вынужден прибегнуть к фальсификации.

Современники К. Калиновского не видели в нем ничего белорусского. Например, один из его коллег по руководству восстанием в Северо-Западном крае Я. Гейштор писал, что К. Калиновский был искренним патриотом. При этом поляк Я. Гейштор не указывал, что в патриотизме К. Калиновского заметны какие-то отличия от остальных польских патриотов[2] [31, с. 167]. Русский генерал В.Ф. Ратч писал в донесении, что «Константин Калиновский с настроением герценовской школы во главе честолюбивейших личностей из красных литвинов настойчиво проводил идею о самостоятельности Литвы» [32, с. 151]. Однако в данном случае слова «литвин» и «Литва» не имеют отношения к белорусской националистической проблематике. Литвой называли территорию бывшего Великого княжества Литовского, вошедшего в 1569 году в состав Первой Речи Посполитой. Так что у поляков XIX века Литва представлялась как польский, но никак не белорусский регион. А термин «литвин» не имел этнического наполнения. Литвинами называли жителей бывшего Великого княжества Литовского. Это примерно то же самое, если житель Сибири называется сибиряком. О «литвинском патриотизме» писал создатель белорусоведения академик Е.Ф. Карский: «…этот патриотизм был “белорусский”, но сущность его была польская. Он был белорусский по любви к территориальной родине и ее пейзажной и бытовой обстановке, но вся жизнь белорусского народа понималась с чисто польской точки зрения: этот народ играл только служебную роль; его бытовое содержание, его поэзия не могли ожидать какого-нибудь собственного самостоятельного развития и должны были только послужить к обогащению польской литературы и поэзии, как самый народ должен был питать польскую национальность, в которой он считался» [34, с. 341]. Таким образом, литвинство в XIX веке представляло собой региональный вариант польскости.

В статье В. Ластовского появился еще один элемент белорусизации, использующийся и в отношении к другим персонажам истории, – переназывание лиц, получивших статус белорусского героя, белорусизированными именами. Например, Викентий Константин Калиновский, которого во время восстания знали как Константина Калиновского, получил у В. Ластовского имя Касцюк [37, с. 306; 57, s. 3]. То есть первая попытка создания из польского повстанца белорусского героя оказалась невозможной без фальсификаций и переименования.

[1] Автор лично присутствовал при этом разговоре.

[2] Вообще, для того, чтобы составить себе представление о том, воспринимали ли К. Калиновского его соратники как белоруса или нет, стоит читать не фрагменты воспоминаний повстанцев, а воспоминания целиком. Они создают четкое представление о том, что белорусского вопроса в период восстания не стояло, а К. Калиновского как белорусского националиста или как белоруса никто не воспринимал [см., напр., 1 и мн. др.].

Эта попытка оказалась незамеченной. Продолжавшаяся Первая мировая война, плавно перетекшая в гражданскую, предлагала иные актуалии. Например, в 1918 году в Минске вышла небольшая брошюра, представлявшая собой сборник кратких текстов. Называлась эта брошюра «Што трэба ведаць кожнаму беларусу» («Что нужно знать каждому белорусу») [54]. Одним из ее авторов был первый создатель К. Калиновского-белоруса В. Ластовский. Но его героическое детище оказалось на тот момент неактуальным. Каждый белорус не обязан был знать, кто такой Касцюк Калиновский. В брошюре о К. Калиновском вообще не упоминается. Важные события 60-х годов XIX века для белорусов представлены лишь отменой крепостного права в 1861 году и появившейся возможностью для крестьян учиться в школах, после чего упомянуто о «запрете» печатать книги на белорусском языке в 1865 году [43, с. 43].

Новая попытка присвоить К. Калиновскому белорусскую идентичность произошла в 1919 году. Она исходила все от того же В. Ластовского. Статья «Памяці Справядлівага», впервые опубликованная в 1916 году, через три года в немного скорректированном виде появилась в сборнике «Беларускі каляндар “Сваяк” на 1919 год». Изменения были внесены в фразу о том, что К. Калиновский встал «в ряды борцов за освобождение Литвы из-под власти Москвы» [37, с. 306; 57, s. 3]. Теперь К. Калиновский боролся «за освобождение Белоруссии из-под власти Москвы» [33, с. 484]. Таким образом, Литва превратилась в Белоруссию.

Интересно, что в том же сборнике была размещена еще одна статья В. Ластовского, которая называлась «Беларусь пад Расеяй» [36]. В ней нет упоминаний о К. Калиновском, хотя описываются события, в которых К. Калиновский участвовал. Так, упомянуто восстание 1863–1864 годов, ошибочно датированное 1861 годом. Вспомнил В. Ластовский и еще об одном польском восстании, протекавшем в 1830–1831 годах. Почему-то оно тоже ошибочно датируется 1833 годом. В статье об этих двух восстаниях Ластовский пишет именно как о польских [36, с. 320]. Похоже, что в 1919 году даже сам инициатор создания белорусской идентичности К. Калиновского не был полностью уверен в жизнеспособности своей конструкции.

В 1919 году в Берлине появилась небольшая брошюра А. Цвикевича «Беларусь. Политический очерк». В ней нет упоминания о Калиновском, хотя упоминается о восстании 1863–1864 годов, которое было определено как «польское восстание 63 года» [52, с. 11]. Упоминание о восстании перечисляется наряду с освобождением крестьян и взлетом политической мысли русского общества. Это период был определен А. Цвикевичем «временем наиболее яркой постановки белорусского вопроса» [52, с. 11].

В 1919 году был издан «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі» («Краткий очерк истории Белоруссии») В.М. Игнатовского [26]. Он представлял собой конспект лекций, которые В.М. Игнатовский прочитал перед учителями начальных школ Минской губернии. Очерк оказался популярным и впоследствии выдержал несколько переизданий. Упомянуты в очерке и события 1863–1864 годов. На польское общество, как пишет В.М. Игнатовский, повлияли европейские революции, поэтому польское национальное[1] правительство начало готовить восстание. В Белоруссии польский элемент состоял из панов и зависимых от них людей, а во главе восстания встала польская интеллигенция [26, с. 126]. Таким образом, В.М. Игнатовский восстание 1863–1864 годов рассматривает исключительно как польское, которое готовилось польским национальным правительством и возглавлялось польской интеллигенцией. О К. Калиновском в лекциях Игнатовского не упомянуто, но так как К. Калиновский был во главе восстания на территории Северо-Западного края, то, по логике Игнатовского, «белорусский национальный герой» вообще-то должен был относиться

[1] В тексте В.М. Игнатовский использует полонизм слово «нарадовае» (narodowy – национальный).

к польской интеллигенции. В.М. Игнатовский указывает, что «повстанцам нужно было привлечь к своему делу белорусского мужика» [26, с. 126], поэтому они печатали листовки на белорусском языке. Но повстанческая пропаганда провалилась. «Читали мужики эти воззвания или нет – неизвестно. Известно только то, что за повстанцами они не пошли, потому что в повстанцах видели только крепостников. Хоть они были и темной массой, но понимали, что восстание было не их социально-мужицким делом, а делом только политическим» [26, с. 126]. То есть для В.М. Игнатовского восстание 1863–1864 годов виделось исключительно польским, а попытки привлечь к нему белорусов оказались напрасными.

В 1921 году в Вильно вышло переиздание очерков В.М. Игнатовского. Видимо, это было сделано без ведома автора [27]. Помимо небольшой, не влияющей на смысл коррекции текста, в книге ничего не изменилось[1]. В том же 1921 году очерки были переизданы в Минске [28]. Описание восстания в целом не претерпело изменений. Информация о нем была лишь немного расширена. Но ее суть осталось прежней: восстание подняли поляки, они использовали белорусскоязычные листовки для привлечения к восстанию крестьян. Последние же, «хоть они были и темной массой, но понимали социальным чувством, что восстание было только политическим делом, которое совсем не затрагивало их» [28, с. 122].

Выпущенная в 1921 году книга В.М. Игнатовского «Кароткі нарыс нацыянальна-культурнага адраджэньня Беларусі» («Краткий очерк национально-культурного возрождения Белоруссии) [30] еще более однозначно указывает на этнонациональное наполнение восстания. Книга содержит раздел «Литература времен польского восстания 1863 года», в котором анализируется польская пропаганда, в том числе и тексты К. Калиновского – серийная листовка “Mużyckaja prauda” («Мужицкая правда»). Рассматривая повстанческую пропаганду, В.М. Игнатовский приходит к выводу, что «в таком польском, клерикально-шляхетском направлении написаны и все другие воззвания поляков-повстанцев к мужикам белорусам», то есть ничего белорусского национального «белорусский национальный герой» К. Калиновский не писал. В.М. Игнатовский был уверен в том, что для крестьян восстание было «делом только политическим той самой Польши, которая была им хорошо известна своим панским образом жизни», поэтому крестьянская масса не поддержала повстанцев [30, с. 28].

Нежелание участвовать в польском восстании упоминается и в других текстах М.В. Игнатовского. Так, он пишет: «…в политической жизни трудящиеся массы не принимали никакого участия. Вот поэтому для них прошлая жизнь составляла один исторический рассказ – этот рассказ о беспросветной, невольной жизни и бесконечных муках и издевательствах от руководящих обворовывающих классов» [25, с. 42]. То есть для белорусских крестьян была характерна беспросветная жизнь, а не политическая активность.

Еще одна книга, вышедшая в 1921 году, называлась «Белорусское движение» [48]. Ее автор Ф.Ф. Турук указывал, что в середине XIX века постепенно появляется новый тип белорусского патриота, который «любит свою родину – Белоруссию, как польскую провинцию, и мечтает об унии и о восстановлении исторической Польши, ибо для него “нет Литвы

[1] Коррекция заключалась в ином написании некоторых слов: «пры рускіх царах» в минском издании 1919 года (с. 127), но «пры русскіх царох» в виленском издании 1921 года (с. 112); дополнительном слове, уточняющим польский термин: «польскага нарадовага ўраду» в минском издании (с. 126), но «польскага нацыянальнага (нарадовага) ўраду» в виленском (с. 110); в написании имперских географических названий на русском языке (в старой орфографии) или на белорусском: «царства Польское» и «Прывіслянскі край» в минском издании (с. 127), но «Царство Польское» и «Привислянскій край» в виленском (с. 111); исправление описок первого издания: «роўныя з панами» в минском издании не закавычено спереди (с. 126), в виленском издании словосочетание закавычено с обеих сторон (с. 111); в творительном падеже «пры […] Мікалай II» в минском издании (с. 127), но «пры […] Мікалаі II» в виленском (с. 112) и т.д.

(исторической) без Польши, а Польши – без Литвы"» [48, с. 9]. Также Ф.Ф. Турук пишет о том, что местный патриотизм «был "белорусский", но сущность его была польская» [48, с. 10]. В отношении восстания взгляды Ф.Ф. Турука совпадали с мнением В.М. Игнатовского: «События 1863 г. затрагивают в значительной степени народные массы Белоруссии, которых польские повстанцы зовут на борьбу с русским царизмом и к отстаиванию церковной унии на их родном языке (маніхвэст, мужыцька праўда и др.), обещая им в независимой Польше "равенство и братство селян и шляхты, жизнь вольную и в добрых достатках"» [48, с. 11–12]. Единственным отличием от выводов М.В. Игнатовского можно назвать лишь то, что, по мнению Ф.Ф. Турука, восстание затронуло большое число крестьян.

Так же ничего белорусского не замечал в событиях 1863–1864 годов академик Е.Ф. Карский. В сферу его научных интересов попала повстанческая пропаганда. Те тексты, которые белорусскими националистами позже были объявлены проявлением белорусской национальной идеи, академик Е.Ф. Карский оценил достаточно критично: «В начале 60-х годов, отчасти и раньше, белорусское наречие служило орудием и другого рода литературы, имевшей целью возбуждение простого народа против православной веры и господствующей русской народности. Как показали последовавшие затем печальные политические события, эти брошюры-прокламации не оказали своего действия на белорусов, даже бывших униатов и католиков: они сначала как пассивные зрители с любопытством смотрели на начавшееся движение, а потом чаще относились к нему враждебно. Происхождения они, несомненно, в большинстве случаев польского и католического: на это указывает их латинское письмо, тенденция и некоторые другие обстоятельства. Литературного значения они не имеют. Рассматривая литературу на белорусском наречии, нельзя, однако, умолчать и о них, так как их читали белорусы, а может быть, некоторые из белорусов и сочувствовали им. Во всяком случае, некоторое их влияние на дальнейшей белорусской литературе и жизни заметно. Возможно, что и авторы их, хотя и католики, были отчасти белорусского происхождения, а некоторые из них и непритворно любили простой народ» [35, с. 311]. Вообще, судя по анализу Е.Ф. Карским подобной литературы, вся пропаганда повстанцев идеализирует Польшу, возбуждает ненависть к России и Православию и не несет ничего белорусского национального [35, с. 311–316].

Предположительно с 1920 года К. Калиновскому присвоили другое, белорусское, имя, которому было суждено стать идеологическим штампом. В книге М. Горецкого «Гісторыя беларускай літаратуры» («История белорусской литературы») К. Калиновский, пожалуй, впервые упомянут как Кастусь [10, с. 75]. Через год вышло второе издание «Истории белорусской литературы». Несмотря на то, что второе издание было представлено как исправленное, информация о К. Калиновском не претерпела никаких изменений и даже осталась на тех же страницах. Ему посвящен отдельный параграф. Еще один параграф посвящен его литературным упражнениям. При этом предложенная М. Горецким краткая биография К. Калиновского не дает повода говорить о нем как о белорусе или борце за «белорусское возрождение».

Если обратиться к анализу литературной активности К. Калиновского, то он упомянут в качестве автора «нелегальной белорусской газеты», а в реальности листовки, «Мужицкая правда» и двух воззваний «к белорусскому народу» (имеются в виду «Письма из-под виселицы»). М. Горецкий утверждает, что под влиянием и стараниями К. Калиновского польское повстанческое «народное правительство» издало написанный по-белорусски манифест к белорусскому народу. Манифест обещал, что всем «дается шляхетство навеки», а также другие вольности. М. Горецкий достаточно однозначно оценивает литературные достоинства творчества К. Калиновского: «Неизвестно, имел ли Калиновский еще какие-нибудь белорусские произведения; те же его вещи, что дошли до нас, никакого литературного значения не имеют, да и написаны они были с целями далекими от целей

художественной литературы. Их значение – моральное. Прокламации К. Калиновского и другая подобная литература свидетельствует нам, что 1) белорусское печатное слово так или иначе все более распространялось; 2) что белорусским словом пользовались тогда, когда хотели задеть струны белорусской души» [10, с. 76; 11, с. 76].

Далее М. Горецкий кратко затрагивает другие произведения польских повстанцев, написанные «тем же антимосковским, антиправительственным направлением» [10, с. 77; 11, с. 77]. Упоминается в книге и антипольская белорусскоязычная литература того времени. Показательным является вывод М. Горецкого относительно белорусскоязычных произведений первой половины 60-х годов XIX века: «Революционная и антиреволюционная литература 60-х годов не имеет литературного значения и рассматривается в нашей литературе только с исторической стороны, <…> рассмотренная тенденциозная литература обоих направлений антилитературная и не искренне белорусская, расширялась в нашем народе организованным способом и создала в нем вредный взгляд на свое печатное слово; кроме того, она углубляла раздел на “русских” и “поляков”» [10, с. 78; 11, с. 78].

Итак, по мнению М. Горецкого, тексты 60-х годов XIX века (в том числе и публицистика «белорусского национального героя» К. Калиновского), не имеют «литературного значения», являются не искренне белорусскими, тенденциозными да еще и создают «вредный взгляд» на белорусское печатное слово и разделяют белорусов на поляков и русских. Тем не менее М. Горецкий опубликовал в хрестоматии по белорусской литературе тексты К. Калиновского, но не оригинальные, а сфальсифицированные В. Ластовским [14, с. 115–116]. Вряд ли М. Горецкий знал о фальсификации, он попросту фиксировал белорусскоязычные тексты.

Родной брат М. Горецкого Г. Горецкий в одной из своих статей, впервые опубликованной в 1922 году в журнале «Маладая Беларусь», утверждал, что после вхождения Белоруссии в состав России спокойствия для белорусских земель не наступило. М. Горецкий пишет, что Белоруссию «уничтожали польские восстания» [9, с. 53]. То есть восстания, которые рассматриваются белорусским национализмом как белорусские и поднятые за независимость Белоруссии, для националиста Г. Горецкого таковыми не являлись, а всего лишь виделись как уничтожавшие Белоруссию.

Не у всех представителей белорусской идеи того времени были более-менее объективные оценки восстания 1863–1864 годов и его участников. Например, брат А. Цвикевича И. Цвикевич под псевдонимом И. Тризна опубликовал в 1922 году в издававшемся в Ковно журнале «Беларускі сьцяг» статью «Канстантын Каліноўскі (гістарычны нарыс)» («Константин Калиновский (исторический очерк)») [47]. И. Цвикевич возвращается к попытке сформировать альтернативную идентичность К. Калиновского, которую ранее предпринял В. Ластовский, приписав К. Калиновскому мифическую «сознательную борьбу за независимость и суверенность белорусского народа» и назвав польского повстанца белорусом [47, с. 10]. Цвикевич связал национальное и социальное освобождение, нагрузив «хлопоманские» симпатии К. Калиновского национальным содержанием. В частности, было безапелляционно заявлено, что К. Калиновский объявил себя «диктатором Литвы и Белоруссии, как независимой государственной единицы» [47, с. 15]. Помимо того, И. Цвикевич начал формировать образ К. Калиновского как революционера-террориста, что хорошо вплеталось в представления о большевистской героике того времени, когда теракты дореволюционных радикалов против представителей власти оценивались новым советским режимом положительно. По мнению И. Цвикевича, для того чтобы поддержать повстанческий дух, К. Калиновский использовал единственный оставшийся к концу восстания способ – «беспощадный террор в отношении ко всем трусам и предателям» [47, с. 16]. Более активно образ К. Калиновского как белорусского террориста стал эксплуатироваться через пару лет после выхода статьи И. Цвикевича.

Ситуация стала меняться в 1923–1924 годах. Если до этого представления о белорусской идентичности К. Калиновского не разделялось большинством белорусских националистов, то после образования СССР трактовки образа К. Калиновского начали претерпевать трансформацию. Появляется все больше ничем не подкрепленных заявлений о том, что К. Калиновский – это белорусский национальный герой, белорус и борец за белорусскую независимость. Это начинает проявляться в литературе. Например, в 1924 году белорусский поэт А. Гурло написал стихотворение «К. Каліноўскі» [20], где образ польского повстанца выведен как образ борца за народное счастье, который сжигает накопленные магнатами богатства, борется против панов, желающих забрать его отечество. Массой белорусского крестьянства паны и магнаты воспринимались как поляки, поэтому по сюжету стихотворения получается, что, польский повстанец борется с поляками. О борьбе К. Калиновского с русской армией или русскими чиновниками А. Гурло не упоминает.

Похожий смысл вложил в свое стихотворение «Заходнему брату» другой белорусский поэт, А. Зимёнко. Стихотворение предваряет эпиграф «Памяці К. Каліноўскага» [24]. Под «заходним [то есть западным] братом» подразумеваются жители части межвоенной Восточной Польши, которая в СССР рассматривалась как Западная Белоруссия. В этом стихотворении поляк К. Калиновский представлен как борец за освобождения белорусов Западной Белоруссии от польского влияния. Поэт как бы взывает: «Дзе ж Каліноўскі, дзе Кастусь», который должен прийти и успокоить «материнские страдания» Западной Белоруссии, находившейся в тот момент в составе Польши.

Встречается образ К. Калиновского и у А. Вольного. Он написал поэму «Кастусь Каліноўскі» [8]. Противники К. Калиновского в поэме не ограничиваются только лишь поляками, появляются и русские враги. Основными оппонентами «белорусского героя» выступают от русской стороны генерал-губернатор Северо-Западного края М.Н. Муравьёв, а от польской – один из руководителей польского восстания в Северо-Западном крае С. Сераковский. В отношении М.Н. Муравьева А. Вольный воспроизвел польский, а затем и советский миф о том, что генерал-губернатор якобы был жестоким палачом, который вешал простых людей для устрашения. В реальности Н.М. Муравьев не занимался подобными репрессиями. Русская имперская администрация казнила повстанцев (а не простых крестьян) по приговору судов, а вот сами повстанцы были не прочь ради устрашения местного населения вешать крестьян, даже случайно попавшихся на пути повстанческих отрядов[1].

Таким образом, в 1923–1924 годах образ как польских повстанцев в целом, так и К. Калиновского в частности подвергся серьезной трансформации. Поляк, боровшийся за возрождение Польши, стал восприниматься белорусом, боровшимся против Польши. А. Вольный в своей поэме даже называет повстанцев «Белоруссии лучшими детьми», а сам К. Калиновский, по мнению А. Вольного, будто смотрит серым глазом «на другую часть подневольной Белоруссии», под которой понимается находившаяся в составе Второй Речи Посполитой Западная Белоруссия.

Белорусская проза тоже не отставала от белорусской поэзии в деле распространения мифов о белорусской идентичности польского повстанца. Так, в 1924 году появился фантастический рассказ молодого писателя А. Александровича «Палёт у мінулае (ад Каліноўскага да нашых дзён)» («Полет в прошлое (от К. Калиновского до наших дней)») [2]. По сюжету рассказа трое молодых белорусских рабочих решили доказать, что в белорусском прошлом существует много героических моментов. Но почему-то кроме как о событиях польского восстания молодые рабочие не вспомнили. По сюжету рассказа они попадают в прошлое, где якобы своими глазами видят, что К. Калиновский ведет себя как белорус

[1] Кроме того, повстанцы использовали другие способы устрашения или наказания крестьян за то, что те оставались верными центральной власти. Так, известны случаи, когда повстанцы закопали крестьянина живым в землю или поджигали деревни.

и борец за права белорусского народа. Он втирается в доверие к М.Н. Муравьеву, крадет у него деньги, легко уходит от погони, но в конце концов его арестовывают и казнят.

Если художественная литература допускала вымысел в сюжете, то наука или научно-популярная публицистика этого делать не должна, но политика приписывания белорусской идентичности в отношении К. Калиновского диктовала собственные условия. В 1924 году вышло новое издание книги М. Горецкого «Гісторыя беларускай літаратуры» [12] (потом она же была переиздана в 1992 году [13]). Ранее М. Горецкий достаточно однозначно определил место польской белорусскоязычной пропаганды и ее создателей. Но в 1924 году взгляды М. Горецкого резко поменялись. Теперь, как оказалось, «из белорусских революционеров-повстанцев, писавших в 60-х годах агитационную литературу, самой выдающейся и могучей в то время фигурой являлся Кастусь Калиновский», боровшийся не только за отмену «панских привилегий», но еще и за «широкие культурно-национальные права белорусов и литвинов». Также К. Калиновский «придал восстанию в Белоруссии классовый характер и развил террор» [13, с. 229].

Фиксация на факте террора не случайна. В советском общественном мнении террорист постепенно из некоего маргинала или фанатика становится героем-революционером. Террор против господствующих классов начинает восприниматься как борьба за светлое будущее, поэтому оправдывается. Борьба за новую жизнь с обязательным уничтожением старой становится популярной темой белорусской поэзии [15, 21, 40, 53]. Террор против врагов становится не только нормой, но и возводится до героизма. В частности, когда один из белорусских большевиков и одновременно писателей Д. Жилунович критиковал поэму своего коллеги М. Чарота «Босыя на вогнішчы» («Босые на пепелище»), он заметил, что сознательный революционер не мог иметь лозунга «Каго зловіш – разарві / Хто ня наш – таго даві» («Кого поймаешь – разорви / Кто не наш – того дави»). Ему возразил А. Морозовский, который написал: «А я скажу, что у т. Жилуновича память короткая. И имел, и может иметь! Когда революции угрожала смертельная опасность от белогвардейщины, то рабочие и крестьянство <…> благословляли рабочую власть на массовый красный террор и активно помогали ей в этом» [38, с. 96]. Образ К. Калиновского в то время переформатировался под актуальные стандарты, поэтому, видимо, указание на то, что он развязал террор, делало «белорусского героя» более идеально революционным. М. Горецкий указал, что в «Мужицкой правде» К. Калиновский «призывал белорусских крестьян сбрасывать ярмо московских палачей. Зная, что народ еще находится под влиянием духовенства, К. Калиновский допускал в своих воззваниях к народу и религиозный тон, призывал идти в повстанцы, чтобы защитить и унию, веру дедов» [12, с. 214].

И все же, несмотря на смену идеологического вектора, М. Горецкий продолжает рассматривать тексты К. Калиновского не как серьезную литературу: «Произведения Калиновского написаны были с целями очень далекими от целей художественной литературы. Их значение – историческо-моральное» [12, с. 214]. Не признавая за К. Калиновским литературных талантов (этим мифологизаторы займутся позже), М. Горецкий стал утверждать, что тот действовал во благо белорусского национального проекта. М. Горецкий признаёт, что помимо текстов Калиновского «с тем же антимосковским, антиправительственным направлением было напечатано на нашем языке много прокламаций и брошюр, в большинстве неизвестно кем написанных». Но распространение они получили в основном среди «католического белорусского населения» [12, с. 214–215].

В 1925 году вышло четвертое издание книги В.М. Игнатовского «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі» [29]. В этом издании В.М. Игнатовский, подобно М. Горецкому, резко меняет оценку польского восстания на территории Северо-Западного края. Профессиональный историк В.М. Игнатовский начинает делать не только нелогичные, но и противореча-

щие друг другу заявления. Так, называя восстание 1863–1864 годов «вторым польским»[1], историк пишет, что «в Белоруссии оно стало с одной стороны крестьянским движением, направленным против панов, с другой стороны политико-освободительным движением, направленным против царизма» [29, с. 156]. По изменившемуся мнению В.М. Игнатовского, в Вильно для руководства восстанием 1863–1864 годов было организовано литовско-белорусское правительство, которое делилось на «красных» и «белых». Причем повстанцы были представлены не поляками, как утверждалось во всех предыдущих книгах В.М. Игнатовского, а белорусами. «Белые» члены «белорусско-литовского правительства» были «богатыми белорусскими панами», но эти «белорусские паны» почему-то «стояли за создание великой Польши» [29, с. 156]. «Красные» тоже вдруг перестали быть поляками. Их целями было не только «радикальное решение в Белоруссии крестьянского вопроса», но и создание «независимой от России и Польши Белорусской республики» [29, с. 157]. Во всех прошлых изданиях своей книги В.М. Игнатовский однозначно утверждает, что крестьяне не поддержали восстание. Теперь же его точка зрения меняется на противоположную. Он утверждает, что благодаря призывам «красных» крестьяне «принимают деятельное участие в восстании» [29, с. 157]. Появляется утверждение, что «белое» крыло повстанцев начало переходить на сторону властей, что спровоцировало «красных» к борьбе на два фронта: «против белых предателей и против русского правительства». Борьба оказалась непосильной для «красных», поэтому восстание постепенно затихло.

На закрепление образа К. Калиновского-белоруса повлияли не только изыскания историков-пропагандистов или художественная литература. Достаточно серьезное влияние оказала пьеса Е.А. Мировича «Кастусь Каліноўскі»[2] [39]. Основные эталонные черты К. Калиновского как носителя белорусской идентичности были ранее расписаны в статье И. Цвикевича [47], но в ней К. Калиновский упоминается еще под своим настоящим именем – Константин. Е.А. Мирович в своей пьесе окончательно меняет форму имени польского повстанца. Пьеса оказалась важным фактором в формировании представления о К. Калиновском как белорусе. М. Горецкий писал, что «известная пьеса Е. Мировича “Кастусь Калиновский” ярко передает многие исторические факты, связанные с именем К. Калиновского» [12, с. 213]. В реальности то, что для М. Горецкого было историческими фактами, передаваемыми в пьесе, на самом деле являлось художественным вымыслом или фальсификациями для создания идеологически правильного образа «белорусского героя». Пьеса была положительно встречена зрителем и быстро завоевала популярность. Наряду с «Мещанином во дворянстве» «Кастусь Каліноўскі» стал лучшим спектаклем Белорусского государственного театра в 1923 году [4, с. 4; 44, с. 4]. Естественность сюжету придавали хорошо подобранные декорации [7, с. 7]. Игравший К. Калиновского в спектакле В.Н. Крылович был популярным артистом [45]. Это также помогало утвердиться мифу о Калиновском-белорусе. Эмоциональный фон спектакля был настолько силен, что, по воспоминаниям скульптора А.В. Грубе, после просмотра спектакля он решил создать бюст К. Калиновского, а после взялся и за проект памятника [5, с. 12]. Эффект от спектакля, видимо, был мощным, и художественное произведение начали воспринимать как некое отражение правды.

Е.А. Мирович был не единственным, кто обратил внимание на возможность использовать образ К. Калиновского на сцене. В том же 1923 году популярный белорусский писатель М. Чарот «начал писать пьесу из эпохи польского восстания 1863 года. Канвой для пьесы автор берет революционную деятельность белорусского героя восстания Костуся Калинов-

[1] Первым польским восстанием было восстание 1830–1831 годов.

[2] В этом сборнике текст пьесы представлен своим вторым вариантом, написанным после Великой Отечественной войны и немного отличающимся от первоначального варианта 1923 года. Первоначальный вариант, по всей видимости, так и не был опубликован.

ского [именно так – Костуся, а не Кастуся, как принято сейчас – *А.Г.*], который руководил отрядами белорусских крестьян, ставя целью освободить Белоруссию от Московских царей и польских панов» [50, с. 149]. Похоже, эта задумка М. Чарота так и осталась нереализованной. Может быть, это произошло потому, что еще в 1922 году «Управление Белорусского Государственного Театра постановило обогатить белорусский репертуар оригинальными и переводными пьесами. С этой целью Управление хочет обратиться к белорусским писателям с пропозицией написать свои пьесы, а также просит режиссера т. Мировича, чтобы и он написал пьесу для белорусского театра» [49, с. 90]. Этой пьесой и оказался «Кастусь Каліноўскі». Еще один спектакль о К. Калиновском, который задумывал М. Чарот, был бы избыточным. Повторять один и тот же миф дважды не было смысла. Пьеса М. Чарота должна была чем-то отличаться от пьесы Е.А. Мировича, но разные повествования об одном и том же «белорусском национальном герое» могли ввести в заблуждение общество: какая же из версий мифа о «белорусском национальном герое» более точная?

Несмотря на восторженный прием публикой, некоторые белорусские интеллектуалы понимали, что пьеса Е.А. Мировича всего лишь художественная выдумка, и к реальности имеет мало отношения. В частности, белорусский писатель З. Бядуля, говоря о произведении А. Александровича «Палёт у мінулае (ад Каліноўскага да нашых дзён)», писал: «Видимо, автору канвой служили не столько исторические материалы о К. Калиновском, сколько виденная им на сцене пьеса Мировича, который ради эффектности порой отходил от исторической правды» [6, с. 2].

Таким образом, культура перехватила процесс конструирования белорусского героя Кастуся Калиновского из польского повстанца Константина Калиновского. Возможно, часть ученых отдавала себе отчет в том, что они создают миф, а не ищут истину. Видимо, делать из Константина Кастуся ученым мешали исторические источники, которые указывали на то, что К. Калиновский был носителем польской идеи. Культуре было легче подчинить общество своему влиянию. Произведения искусства не требовали научной верификации содержащейся в них информации, они могли себе позволить использовать вымысел. А если вымысел преподнести как сюжет из прошлого, то часть потребителей культурного контента без критики станет воспринимать прошлое не таким, каким оно было в действительности, а таким, каким его описала культура[1]. Видимо, не случайно в заглавной статье первого номера белорусского журнала «Полымя» было сказано, что «в Белоруссии культурная работа является исключительно политической работой; тут вопросы политики куда выпуклее выдаются в каждом культурном акте, какой бы безвинный характер этот акт в себе не имел» [41, с. 3]. Политическим мифам легче формироваться не через науку, а через культуру, что было ярко продемонстрировано с помощью придания белорусской идентичности образу К. Калиновского.

В целом, белорусизация образа К. Калиновского, начавшаяся в период Первой мировой войны, практически полностью оформилась к середине 1920-х годов. Доказательства белорусской идентичности К. Калиновского строились через фальсификацию исторических источников, голословные утверждения и переименование повстанца на белорусский манер. Серьезный вклад в дело формирования белорусского политического и исторического мифа вокруг фигуры К. Калиновского внесла белорусская культура, которая была не связана рамками исторической достоверности и могла интерпретировать сюжеты прошлого как угодно.

[1] Это относится не только к пьесе Е.А. Мировича. Например, автору этой статьи лично приходилось видеть людей, которые были уверены, что серия романов Б. Акунина о частном детективе Эрасте Фандорине является пересказом биографии реального человека, жившего в поздней Российской империи. Описание России в романах Б. Акунина воспринималось такими людьми как дореволюционная реальность.

Литература

1. *Авейде О.* Показания и записки о польском восстании 1863 года. М.: Изд-во АН СССР. Вроцлав, 1961. XLXIII, 663 с.
2. *Александровіч А.* Палёт у мінулае (ад Каліноўскага да нашых дзён) // Маладняк. 1924. № 5. С. 33–52.
3. Архивные материалы муравьёвского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края: в 2 ч. Ч. 1: Переписка по политическим делам гражданского управления с 1 января 1862 г. по май 1863 г. / сост. А.И. Миловидов. Вильна: Губерн. тип., 1913. LXVI, 464 с.
4. Бел. Дзярж. Тэатр // Савецкая Беларусь. 1924. 4-га верасьня, чацвер. № 204 (1201). С. 4.
5. *Белы А.Я.* Вобраз змагара: да 150-годдзя з дня нараджэння К. Каліноўскага. Мінск: [без изд.], 1988. 20 с.
6. *Бядуля З.* Пад сьпеў навальніцы. «Маладняк» № 5 // Савецкая Беларусь. 1924. 16-га верасьня, аўторак. № 214 (1211). С. 2.
7. *Вобраз К.* Каліноўскага ў літаратуры і мастацтве: (метадычны матэрыял у дапамогу кнігалюбам і студэнтам бібліятэчных факультэтаў) / склад. А.Я. Белы, рэд. В.Р. Варабей. Мінск: [без изд.], 1988. 27 с.
8. *Вольны А.* Кастусь Каліноўскі / А. Вольны // Чарнакудрая радасць. Мінск: Маладняк, 1925. С. 3–17.
9. *Гарэцкі Г.* На новы шлях / Г. Гарэцкі // Выбранае / уклад., камент. Р. Гарэцкага; прадмова М. Мушынскага. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2002. С. 52–64. (Впервые опубликовано в 1922 г. в журнале «Маладая Беларусь».)
10. *Гарэцкі М.* Гісторыя беларускае літэратуры. Вільня: Друкарня кооп. таварыства «Друк», 1920.
11. *Гарэцкі М.* Гісторыя беларускае літэратуры. Другое выд. (папраўленае). Вільня: Віленскае выдавецтва Б. Клёцкіна, 1921. 207 с.
12. *Гарэцкі М.* Гісторыя беларускае літаратуры // Выданьне трэцяе, перародленае і дапоўненае разглядам вуснае народнае поэзіі. М.; Л.: Дзяржаўнае выдавецтва, 1924. 382 с.
13. *Гарэцкі М.* Гісторыя беларускай літаратуры / уклад. і падрыхт. тэксту Т.С. Голуб. Мінск: Мастацкая літаратура, 1992. 479 с.
14. *Гарэцкі М.* Хрыстаматыя беларускае літэратуры. XI век – 1905 год. Вільня: Віленскае беларускае выдавецтва Б. Клёцкіна, 1922. 264 с.
15. *Грамыка М.* Сямімільнымі крокамі // Полымя. 1923. № 2. С. 29–33.
16. «Громада, что мы будем слушать эти бредни, пойдем в церковь» [Электронный ресурс] // Западная Русь: Научно-просветительский интернет-портал. Режим доступа: http://zapadrus.su/bibli/arhbib/700-vilenski-vestnik.html (дата обращения: 26.08.2022).
17. *Гронский А.Д.* «Мужицкая правда» как попытка информационного воздействия на белорусских крестьян // Романовские чтения: сб. трудов Международной науч. конференции / под ред. О.В. Дьяченко. Могилёв: МГУ имени А.А. Кулешова, 2005. С. 57–59.
18. *Гронский А.Д.* Конструирование образа белорусского национального героя: В.К. Калиновский // Белоруссия и Украина: История и культура. Ежегодник 2005/2006. М.: Индрик, 2008. С. 253–265.
19. *Гронский А.Д.* Попытка конструирования белорусской национальной героики в начале XX в.: К вопросу становления белорусского национализма // Современные политические процессы на Украине / под ред. И.П. Добаева, Э.А. Попова. Ростов-на-Дону, Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ. 2009. С. 48–57.
20. *Гурло А.* К. Каліноўскі // Полымя. 1924. № 2 (10). С. 19–20.
21. *Дудар А.* Ад усходу грымяць гарматы… // Маладняк. 1924. № 5. С. 13.
22. *Дюков А.Р.* Неизвестный Калиновский: Пропаганда ненависти и повстанческий террор на белорусских землях, 1862–1864 гг. 2-е изд., испр. и доп. М.: Фонд «Историческая память», 2021. 160 с.
23. Западные окраины Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 608 с.
24. *Зімёнка А.* Заходняму брату // Полымя. 1924. № 2 (10). С. 20–21.
25. *Ігнатоўскі У.* 1 студзеня – рэвалюцыйна-гістарычнае сьвята Савецкай Беларусі // Полымя. 1922. № 1. С. 41–50.
26. *Ігнатоўскі Ў.* Кароткі нарыс гісторыі Беларусі: Лекцыі, чытаныя настаўнікам пачатковых школ Меншчыны. Выдаецца на правах рукапісу групаю студэнтаў Менскага Педагагічная Інстытуту. Менск: Друкарня Я. Грынблята, 1919. 127 с.
27. *Ігнатоўскі Ў.* Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. 2-е выд. Вільня: Выдавецтва У. Знамяроўскага, 1921. 112 с.
28. *Ігнатоўскі Ў.* Кароткі нарыс гісторыі Беларусі: Лекцыі, чытаныя на курсах лектараў беларусазнаўства. 2-е выд. Менск: Дзержаўнае выдавецтва Беларусі, 1921. 128 с.
29. *Ігнатоўскі Ў.* Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. 4-е выд., перароб. Менск: Дзяржаўнае выдевецтва Беларусі, 1925. 176 с.
30. *Ігнатоўскі У.* Кароткі нарыс нацыянальна-культурнага адраджэньня Беларусі (лекцыі, чытаныя для студэнтаў Менскага Педагагічнага інстытуту у г. Яраслаўлі ў 1917–1918 року). Менск: Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1921. 80 с.
31. *Калиновский К.* Из печатного и рукописного наследия. Минск: Беларусь, 1988. 208 с.
32. *Каліноўскі К.* За нашую вольнасць: Творы, дакументы / уклад., прадм., паслясл. і камент. Г. Кісялёва. Мінск: Беларускі кнігазбор, 1999. 459 с.
33. *Янушкевіч Я.* Каментарыі // Ластоўскі В. Выбраныя творы / уклад., прадмова і камент. Я. Янушкевіча. Мінск: Беларускі кнігазбор, 1997. С. 457–504.

34. *Карский Е.Ф.* Белорусы: в 3 т. Т. 1: Введение в изучение языка и народной словесности / прадмова і камент. В.М. Курцовай, А.У. Унучака. Минск: БелЭн, 2006. 652 с. (первое издание вышло в 1903).

35. *Карский Е.Ф.* Белорусы: в 3 т. Т. 3. Кн. 2: Очерки словесности белорусского племени / коммент. Т.И. Вабищевич, В.М. Казберука, О.П. Кричко. Минск: БелЭн, 2007. 701 с. (первое издание вышло в 1922).

36. *Ластоўскі В.* Беларусь пад Расеяй / В. Ластоўскі // Выбраныя творы / уклад., прадмова і камент. Я. Янушкевіча. Мінск: Беларускі кнігазбор, 1997. С. 318–320.

37. *Ластоўскі В.* Памяці Справядлівага / В. Ластоўскі // Выбраныя творы / уклад., прадмова і камент. Я. Янушкевіча. Мінск: Беларускі кнігазбор, 1997. С. 306–308.

38. *Маразоўскі М.* Белы дом только журыцца… (Аб «Босыя на вогнішчы» і аб меншавіцкіх акулярах) // Полымя. 1923. № 2. С. 92–100.

39. *Міровіч Е.А.* Кастусь Каліноўскі / А.Е. Міровіч // П'есы. Мінск: Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1957. С. 3–68.

40. *Моркаўка А.* Крык вуліцы // Полымя. 1923 № 2. С. 5.

41. Нашы заданьні // Полымя. 1922. № 1. С. 3–6.

42. Паўстанне на Беларусі 1863 года: «Мужыцкая Праўда» і лісты «з-пад шыбеніцы» / тэксты і камент.: Я. Запруднік і Т.Э. Бэрд. Нью-Ёрк: Фундацыя імя П. Крэчэўскага, 1980. 69 с.

43. Пётра з Арленят: Што была і што павінно быць // Што трэба ведаць кожнаму беларусу. Зборнік артыкулаў розных аўтараў: М. Міцкевіча, Я. Лёсіка, В. Ластоўскага, М. Багдановіча, Пётры з Арленят і інш. Менск: Друкарня А.Я. Грынблята, 1918. С. 37–56.

44. Пр. Тэатр і мастацтва: Напярэдадні сэзону // Савецкая Беларусь. 1924. 6-га верасьня, субота. № 206 (1203). С. 4.

45. *Рамоновіч Аўг.* Выдатны беларуски артыст // Беларусь. 1945. № 6. С. 33–36.

46. *Станкевіч А.* Да гісторыі беларускага палітычнага вызвалення // Станкевіч А. Выбранае / уклад., прадмова і камент. Ул. Конана. Мінск: Белаурскі кнігазбор, 2008. С. 203–296.

47. *Трызна І.* [*Цвікевіч І.*] Канстантын Каліноўскі (гістарычны нарыс) // Беларускі гістарычны часопіс. 2003. № 7. С. 12–20. (Впервые опубликована в журнале «Беларускі сьцяг». 1922. № 4. С. 10–19.)

48. *Турук Ф.* Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белоруссов. М.: Гос. изд-во, 1921. 144 с.

49. Хроніка беларускай культуры // Полымя. 1922. № 1. С. 90.

50. Хроніка беларускай культуры // Полымя. 1923. № 2. С. 149.

51. *Хурсік В.У.* Трагедыя белай гвардыі: Беларускія дваране ў паўстанні 1863–1864 гг. Гістарычны нарыс і спісы. Мінск: Пейто, 2002. 130 с.

52. *Цвикевич А.* Беларусь: политический очерк / пер. с белорусск. Берлин: Издание чрезвычайной дипломатической миссии Белорусской Народной Республики, 1919. 29 с.

53. *Чарнушэвіч Н.* З цыклю «Змаганьне» // Полымя. 1924. № 2 (10). С. 29–30.

54. Што трэба ведаць кожнаму беларусу: Зборнік артыкулаў розных аўтараў: М. Міцкевіча, Я. Лёсіка, В. Ластоўскага, М. Багдановіча, Пётры з Арленят і інш. Менск: Друкарня А.Я. Грынблята, 1918. 64 с.

55. *Щеглов Г.Э.* 1863-й: Забытые страницы. Минск: Врата, 2013. 128 с.

56. *Giller A.* Historja powstania narodu polskiego w 1861–1864 r. Paryż: Księgarnia luxemburgska, 1867. 372 s.

57. *Swajak* [*Ластовский В.У.*]. Pamiaci Sprawiadliwaho // Homan. 1916. 15 lutaha. № 1. S. 3.

Аннотация. В статье исследуется формирование белорусского исторического и политического мифа о Константине Калиновском. Рассматривается зарождение мифологии о Калиновском-белорусе, указывается на фальсификации, с помощью которых был сформирован миф. Анализируется роль белорусской культуры в становлении мифа о К. Калиновском.

Ключевые слова: К. Калиновский, польское восстание 1863–1864 годов, белорусская историческая и политическая мифология.

Alexander D. Gronsky, PhD in History, Associate Professor. Leading Researcher, Section for Byelorussia, Moldavia and Ukraine, Center for Post-Soviet Studies. Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences. E-mail: agr1976@yandex.ru

National Heroic Pantheon Formation or How a Polish Rebel Turned into a Byelorussian National Hero

Abstract. The article examines the formation of the Byelorussian historical and political myth of Konstantin Kalinowski. The author considers the origin of the mythology about Kalinowski as Byelorusian and indicates the falsifications with the help of which the myth was formed. He analyzes the role of Byelorussian culture in the formation of the myth of K. Kalinowski.

Keywords: K. Kalinowski, the Polish Uprising of 1863–1864, Byelorussian Historical and Political Mythology.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-300-313

Александр Гронский

Образ Константина Калиновского в белорусской исторической политике конца XX – начала XXI века

Конструирование в первой половине 1920-х годов белорусского образа польского повстанца Константина Калиновского, его переименование в Кастуся, придание ему не свойственных для польского патриота белорусских националистических стереотипов повлияли на массовые представления об этой исторической личности. К. Калиновского стали воспринимать как белоруса. Это закреплялось в советской пропаганде, в школьных и вузовских учебниках по истории Белоруссии, в культуре.

Однако естественная историческая память народа не оставила воспоминаний о белорусском восстании 1863–1864 годов, потому что на практике в восстании не было ничего белорусского. Соответственно, образ одного из его региональных руководителей – Константина Калиновского закрепился в исторической памяти народа искусственно, путем многократного повторения пропагандой утверждения о якобы белорусском восстании и его якобы белорусском руководителе. Еще в советское время в белорусских городах и деревнях стали появляться улицы или переулки, названные в честь повстанца, а в 1987 году в г. Свислочи Гродненской области имя К. Калиновского было присвоено средней школе, которая в 2005 года была реорганизована в гимназию, сохранив его имя. Но до того, в 1958 году рядом со школой в Свислочи установили единственный в БССР памятник К. Калиновскому. (Ранее в Свислочи был еще один памятник польскому повстанцу, но его перенесли в музей.) В 1988 году в Минске была установлена посвященная ему памятная доска. Таким образом, в советское время имя польского повстанца под видом белорусского героя было относительно широко закреплено в топонимике, но мемориализация образа распространения не получила.

Перестройка и последующий распад СССР породил на осколках большой страны новые национальные элиты, внезапно из региональных ставшие государственными, которые для ускоренной легитимации были вынуждены начать формирование и укоренение среди граждан новых государств убеждений в естественности и закономерности случившегося. В связи с этим актуализировались поиск новых национальных героев и идеологическая коррекция уже существующих.

Белоруссия представляла собой достаточно интересный регион с точки зрения идеологического обеспечения новых элит «правильным» прошлым. У белорусов массово наблюдалось позитивное отношение к советскому периоду, особую гордость представляла память о победе в Великой Отечественной войне. Бои Отечественной войны 1812 года, проходившие на этих землях, тоже были поводом для гордости, но эта гордость не совсем удовлетворяла сторонников новой реальности. Ведь в 1812 году победила Россия, а в 1991 году нужно было

Гронский Александр Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской Академии наук. E-mail: agr1976@yandex.ru

показать, что Белоруссия перестала подчиняться российской столице. Если независимость рекламировалось как благо, тогда вставал вопрос, а кто мешал получить это благо ранее. И ответ на этот вопрос был однозначный – Россия. Именно поэтому требовалось срочно начать поиски тех, кто боролся против России, причем желательно, чтобы этот кто-то был или уроженцем Белоруссии, или действовал на ее территории. В данном случае на помощь пришла советская идеология, которая в силу специфики национальной политики большевиков породила или закрепила наборы локальных национальных героев внутри СССР в среде различных этнокультурных групп. Константин Калиновский как раз и стал таким востребованным национальным героем для молодой белорусской пропаганды.

В 1993 году была опубликована брошюра, получившая название «100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі» («100 вопросов и ответов из истории Белоруссии»). Несмотря на то, что среди ее авторов оказалось много профессиональных ученых, содержание брошюры было антинаучным. В частности, ее авторы не признавали существование Первой Речи Посполитой – одного из крупнейших государств Восточной Европы, которое виделось лишь как военно-политический союз Польши и Литвы. А его наличие «дало повод позднейшим историкам говорить о существовании якобы одного государства» [33, с. 31].

В этой же брошюре была размещена небольшая заметка под названием «Хто такі Кастусь Каліноўскі?» («Кто такой Кастусь Калиновский?») [39, с. 53–54]. В первом же предложении заметки четко утверждается: «Винцент Константин Калиновский (1838–1864) – наш национальный герой, вождь восстания в Белоруссии в 1863–1864 гг.» [39, с. 53]. В краткой биографии «национального героя» и «вождя восстания» было указано, что, учась в Петербурге, он состоял в революционных кружках, «где закалялись будущие борцы за волю нашего Отечества» [39, с. 53]. Однако автор заметки умолчал, что К. Калиновский состоял в польских революционных кружках, поэтому в них закалялись борцы за волю именно польского Отечества и никакого другого. Естественно, автор заметки не мог обойти упоминание о серийной листовке «Мужицкая правда», издававшейся К. Калиновским. В заметке утверждалось, что листовка призывала к борьбе за национальную и социальную свободу [39, с. 53]. Это так, но ни о какой белорусской национальной свободе речи в листовках не шло. В них содержались призывы к восстановлению Польши.

В заметке также упомянута каноническая, но сфальсифицированная версия о том, что К. Калиновский якобы «решительно проводил идею независимости нашей земли от Польши» [39, с. 54]. В записках русского генерала В.Ф. Ратча есть упоминание о том, что К. Калиновский видел Литву отдельной от Польши, однако речь шла не о белоруской или литовской ориентации польского повстанца, а о том, что К. Калиновский стремился стать независимым от варшавского повстанческого руководства, мешавшего региональному лидеру реализовывать собственные проекты перестройки общества. Проблемы в отношениях с повстанческим центром были не в области национальной идеи, а в области тактики, стратегии и решения социальных вопросов. Также упомянуто, что К. Калиновский оставил белорусскому народу духовную заповедь, что только тогда он заживет счастливо, «когда над тобой москаля уже не будет» [39, с. 54].

Еще одна статья «100 вопросов и ответов из истории Белоруссии» называется «Як беларусы змагаліся супраць расейскага панавання?» («Как белорусы боролись против российского господства?») [1, с. 51–53]. В ней также упомянуто польское восстание 1863–1864 годов. Естественно, что в заметке нет ни одного упоминания о репрессиях повстанцев против белорусских крестьян. Массовое неприятие крестьянами повстанцев тоже не упоминается. Зато указано, что российская власть смогла обмануть крестьян, настроив их против повстанцев [1, с. 52]. То, что крестьяне негативно отнеслись к «борцам за свободу Отечества» и без влияния российской администрации, заметка умалчивает, иначе был бы испорчен нужный для идеологии образ восстания.

Мифологизацию К. Калиновского продолжили высшие органы белорусской власти. В 1995 году Верховный Совет Белоруссии принял закон о государственных наградах республики [10, с. 69–73] и постановление, в котором было опубликовано положение об ордене Кастуся Калиновского [32, с. 75–76], а в начале 1996 года орден был официально учрежден указом белорусского президента [36, с. 16–21]. В положении об ордене перечислялись заслуги, за которые можно получить награду:

– за самоотверженный поступок, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, пресечение преступных покушений на их жизнь;

– за храбрость, проявленную в условиях повышенной опасности при охране общественного порядка, защите государственной собственности, при задержании преступников и разоблачении преступных групп;

– за мужество и стойкость, проявленные во время стихийных бедствий, пожаров, аварий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, в результате чего предотвращена угроза жизни и здоровью людей или спасены значительные материальные и духовные ценности;

– за другие самоотверженные действия, связанные с исполнением воинского, гражданского или служебного долга и сопряженные с риском для жизни [32, с. 75–76].

Орден был посвящен не реальному польскому повстанцу, а его вымышленной белорусской версии. Но ни реальный польский персонаж, ни сконструированный белорусский миф никак не могли быть носителем тех заслуг, за которые полагался орден Кастуся Калиновского.

Во-первых, К. Калиновский не спасал людей, не пресекал покушений на их жизнь. Наоборот, он угрожал крестьянам смертью, если те не поддерживали восстание. Во-вторых, храбрость, проявленную при охране общественного порядка, защите государственной собственности, при задержании преступников и разоблачении преступных групп, проявляли русские солдаты и состоявшие в сельских караулах белорусские крестьяне. А людьми, покушавшимися на общественный порядок, государственную собственность и создававшими преступные группы, как раз выступали повстанцы. В-третьих, повстанцы не слишком предотвращали угрозу для жизни людей и не занимались спасением материальных и духовных ценностей. В-четвертых, самоотверженные действия, связанные с исполнением воинского, гражданского или служебного долга и сопряженные с риском для жизни, проявляли как раз русские солдаты, подавляя восстание, одним из руководителей которого был К. Калиновский.

В 1997 году закон о государственных наградах был изменен в связи с появлением новых орденов. Статус ордена Кастуся Калиновского понизился, так как новые ордена оказались выше, чем эта награда. Если ранее было сказано, что «орден Кастуся Калиновского носится на левой стороне груди и располагается после ордена Воинской Славы» [32, с. 76], то в 1997 году орден Кастуся Калиновского должен был располагаться после ордена «За личное мужество» [11, с. 64].

Награждения орденом Кастуся Калиновского не производились. В Интернете можно найти информацию, что к награждению этим орденом посмертно была представлена судебный исполнитель суда Рогачевского района Гомельской области Н.Л. Комарова, погибшая в 2002 году при исполнении своих служебных обязанностей. Однако награждения орденом Кастуся Калиновского не произошло. В 2002 году погибшую судебного исполнителя наградили нагрудным знаком Министерства юстиции Республики Беларусь «Почетный работник юстиции Белоруссии» (Приказ Министерства юстиции Республики Беларусь № 206 от 22 июля 2002 года) [9]. А в 2003 году Н.Л. Комарова была посмертно награждена орденом «За личное мужество» (Указ Президента Республики Беларусь № 95 от 11 марта 2003 года) [35].

Данный факт говорит, что власти все же не спешили продолжать мифологизацию польского повстанца. А в 2004 году в новом законе «О государственных наградах Республики Беларусь» орден Кастуся Калиновского не был перечислен среди белорусских наград [12, с. 15–32]. При этом никаких документов, ликвидировавших орден, издано не было. Орден перестал существовать по факту отсутствия его в новом перечне белорусских наград.

Интересно, что «Комсомольская правда в Белоруссии» – белорусская версия российского издания – отреагировала на это заявлением, в котором было сказано: «Особенно печально, что именно в этот год отмечается сто сороковая годовщина со времени казни национального героя Беларуси» [25]. Таким образом, журналисты белорусской версии российского СМИ транслировали белорусскую националистическую версию истории.

Белорусская оппозиция не смирилась с исчезновением награды в честь своего главного антирусского мифа, поэтому в 2008 году на Конгрессе новой диаспоры был учрежден орден Свободы имени Кастуся Калиновского. На аверсе награды размещено погрудное изображение К. Калиновского, справа над которым стоит дата «1863» – год начала польского восстания. Под изображением К. Калиновского размещена надпись на белорусском языке «Каліноўскі». На реверсе тоже на белорусском языке размещена фраза «Жыві ў свабодзе!» [31].

Также белорусской оппозицией учреждена премия Кастуся Калиновского, при вручении которой выдается и глиняная медаль. В ее центре рельеф головы К. Калиновского, слева размещена надпись на белорусском языке «Каліноўскі», а снизу на ленте дата – «1863» [2].

В начале XXI века К. Калиновский оказался для белорусских властей неоднозначной исторической персоной. Скорее всего, серьезную роль в том, что орденом Кастуся Калиновского так и не было произведено ни одного награждения, сыграл тот факт, что исторический миф о К. Калиновском активно эксплуатировала оппозиция. Поддержка этого мифа делала власть вторичной в использовании образа, а его первичный вариант транслировался в массы именно в оппозиционном ореоле. Для власти это было невыгодно. Антироссийские взгляды реального Константина Калиновского, доведенные в оппозиционных идеологических реконструкциях до русофобии, все же останавливали власти от активной эксплуатации образа «белорусского национального героя» на фоне попыток получить в рамках Союзного государства ряд экономических преференций от России.

Помимо того, оппозиция активно использовала образ К. Калиновского в пикировках с властью, делая его своим символом в выступлениях против режима. Так, в 2006 году в Минске произошло выступление оппозиции, не согласной с итогом президентских выборов. Это выступление получило название «васильковой», или «джинсовой революции» из-за голубой ленточки, использовавшейся протестующими в качестве символа. В очень редких случаях событие называли «картофельной революцией», намекая на представление о Белоруссии как о стране широкого распространения картофеля. Протестующие разбили на Октябрьской площади белорусской столицы небольшой палаточный городок, а саму площадь символически переименовали в площадь К. Калиновского. После ликвидации этого белорусского «недомайдана», или майданчика, как его пытались называть, намекая на отсутствие массовости протестующих, название «площадь К. Калиновского» в отношении Октябрьской площади еще некоторое время использовалось белорусской оппозицией.

Для властей К. Калиновский все больше становился оппозиционным символом. Однако официальный Минск не стремился к дискредитации белорусского образа польского повстанца. Отчасти белорусский миф о нем был удобен, так как конструировал из поляка белоруса, сражавшегося против России. На фоне вялых попыток Москвы начать реальный процесс интеграции, исторические персонажи, противостоявшие России, были полезны в политико-мифологическом багаже белорусского государства.

В 2013 году Польша отмечала 150-летие Январского восстания, к этим торжествам примкнула на официальном уровне и Литва, а также частично Белоруссия. Восстание за возрождение Польши логично должно быть мемориализировано в Польше как дань памяти тем, кто пытался вернуть утраченную польскую государственность. Литва праздновала юбилей собственного литовского мифа, который польское восстание представлял как литовское, а поляк Константин Калиновский для литовцев презентовался как литовец Костас Калинаускас. Белорусские националисты, в основном оппозиционного толка, тоже отметили юбилей восстания, однако не как польского, а как белорусского, которое вспыхнуло якобы за независимость Белоруссии.

При этом белорусская оппозиция провела ряд мемориальных мероприятий. В память «белорусских» повстанцев в Гродненской области по частной инициативе был открыт памятник [4]. Установка памятников в Белоруссии регулировалась Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 19 сентября 2008 года «О некоторых вопросах создания (реконструкции) и приемки произведений монументального и монументально-декоративного искусства» [28, с. 17–23]. В документе указывалось, что монументы должна принимать госприемка (§ 28) [28, с. 20]. А за нарушения Положения «виновные несут ответственность в соответствии с законодательством». Также «произведения монументального и монументально-декоративного искусства, которые установлены самовольно или не прошли государственную приемку в установленном порядке, подлежат демонтажу» (§ 36) [28, с. 21].

В 2011 году в Постановление были внесены изменения, одно из которых указывало, что «создание (реконструкция) произведений монументальной скульптуры (независимо от источника финансирования) <…> осуществляется на основании заключения Министерства культуры» (§ 4) [29, с. 18].

Памятник «белорусским» повстанцам в Гродненской области был открыт тайно. По слухам, его установили осенью, а объявили об этом лишь в декабре. Естественно, никаких согласований с местными властями или заключений Министерства культуры не было. Местные власти не стали исполнять Постановление Совета министров, а объявили, что будут изучать вопрос. Боязнь негативной реакции со стороны белорусской оппозиции на снос памятника отложило на неопределенное время вопрос о законном (!) демонтаже монумента [4]. Судя по тому, что в оппозиционных СМИ проблема памятника более не поднималась, местные гродненские власти так и не исполнили Постановление белорусского правительства или же утрясли все бумажные формальности задним числом.

В том же году на Дворце борьбы имени Александра Медведя на ул. К. Калиновского была повторно повешена памятная доска, посвященная польскому повстанцу. Доска впервые была повешена еще в 1988 году. На ней, как и полагалось по советским канонам, было указано, что К. Калиновский являлся «белорусским революционером-демократом». Через десять лет доску украли, потом нашли. Здание, на котором висела доска, в 1988 году было кинотеатром, но затем (пока доска отсутствовала) его перестроили, разместив там Минский городской центр олимпийского резерва по борьбе имени трехкратного олимпийского чемпиона А.В. Медведя, или сокращенно Дворец борьбы имени А.В. Медведя. В 2013 году доску вернули по старому адресу, на уже реконструированное здание, а через непродолжительное время опять сняли. Белорусская оппозиция выступила с утверждением, «что Александр Медведь не очень доволен тем, что на спортивном объекте, названном его именем, висит доска Калиновскому» [20]. Эти данные оппозиционеры почерпнули из разговора с охранником Дворца борьбы. По информации от того же охранника, «Александр Медведь дружит с председателем Мингорисполкома Николаем Ладутько, которого попытается убедить в необходимости снять вывеску памяти Калиновскому с Центра олимпийского резерва» [20]. Откуда у охранника информация о том, какие разговоры вели между

собой А.В. Медведь и Н.А. Ладутько, скромно умалчивается. К процессу незамедлительно подключились оппозиционно настроенные интернет-ресурсы. Обсуждение темы снятия памятной доски вылилось в оскорбления трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе. Его обозвали оккупантом, заявив, что «Калиновский к борьбе имеет гораздо большее отношение, чем медведь...» и т.д. [21] Однако когда оппозиционная пресса все же решила разобраться, оказалось, что доску сняли потому, что на фоне темной плитки она смотрелась мрачно, «как крематорий», доску собирались перевесить на светлую плитку [17]. Извинений от оскорблявших А.В. Медведя, естественно, не последовало.

В том же 2013 году инициативная группа обратилась, согласно законодательству, в Минский исполком с предложением восстановить памятник Александру II, который был открыт в Минске в 1901 году на пожертвования простых жителей. Однако городские власти ответили отказом. Этот отказ стоит рассматривать в том числе и в контексте мифологизации К. Калиновского как белорусского героя, поскольку польское восстание, в котором он принимал участие, было подавлено именно в правление Александра II. То есть, с точки зрения белорусской политической мифологии, император Александр II противостоял «белорусскому герою Кастусю Калиновскому». Сначала просьба восстановить памятник была переправлена в Академию наук, откуда был получен ответ. В нем указывалось, что памятники Александру II были установлены в Хельсинки («в честь введения автономии в Финляндии в 1863 г.») и Софии («по случаю освобождения Болгарии из-под власти Османской империи»). Памятники в Хельсинки и Софии сотрудники Академии наук оценили положительно, поскольку «и в первом, и во втором случае деятельность Александра II способствовала возрождению государственности этих стран», а «идейное наполнение» минского памятника отличалось от этих мотивов [26]. Действительно, идейное наполнение памятника в Минске отличалось от мотивов установки памятников в Хельсинки и Софии. Минский памятник ставился в знак благодарности за освобождение от крепостного права.

Далее сотрудники Академии наук указали, что «роль Александра II в истории Белоруссии противоречивая, неоднозначно оценивается в современной исторической науке и обществе. Восстановление памятника Александру II может явиться демонстрацией символизма российского самодержавия на белорусских землях и будет неоднозначно восприниматься в обществе» [26]. Однако вряд ли в мировой истории есть полностью непротиворечивые личности. Если отказывать в установке памятника лишь по этой причине, ни один памятник не будет поставлен. Восстановление памятника императору, освободившему крестьян от крепостной зависимости, воспринимается белорусскими историками как «демонстрация символизма российского самодержавия», но в Белоруссии в то время существовала целая программа восстановления замков. Их хозяевами были польско-литовские магнаты, владевшие многочисленными местными крепостными крестьянами. К тому же магнаты являлись носителями польской идентичности. При всем этом белорусские ученые не считают, что польские магнаты, эксплуатировавшие местное население, играют противоречивую и неоднозначную роль в истории Белоруссии.

Кстати, отказавшись восстановить памятник Александру II, власти одобрили проект памятника польскому композитору Станиславу Монюшко и польскому поэту Винценту Дунину-Марцинкевичу. Причем если для памятника Александру II места в сквере на площади Свободы, где он раньше стоял, не нашлось, так как план застройки не позволял разместить монумент, то для памятника С. Монюшко и В. Дунину-Марцинкевичу в этом же сквере вдруг обнаружилась площадка [13, с. 42]. Оба этих человека причастны к написанию оперы «Крестьянка» (второе название «Идиллия»), которую необоснованно пытаются называть первой белорусской оперой, основываясь на том, что в ней использовался белорусский язык. Однако вряд ли стоит считать, например, роман Л.Н. Толстого «Война и мир» французским произведением только лишь потому, что автор использовал в тексте

и французский язык. Установка данного памятника косвенно связана с противостоянием мемориализации Александра II. В. Дунин-Марцинкевич подозревался российской администрацией в связях с повстанцами и создании повстанческой пропаганды. Он скрывался от властей, был арестован, помещен в тюрьму, а позже выпущен под надзор полиции. Естественно, присутствие на памятнике фигуры С. Монюшко делает его не памятником сторонникам восстания, а памятником автору текста оперы, в которой использовался белорусский язык. Однако и памятник Александру II планировалось восстановить в память отмены крепостного права, а не подавления восстания.

Вообще, площадь Свободы в Минске, являющаяся одной из туристических достопримечательностей города, застраивалась скульптурными композициями, ориентирующими наблюдателя на литовско-польский период истории. В частности, на площади нашлось место для памятника «Войт с ключом» (возле его ног лежит большая карта Минска), недалеко от него расположен памятник «Городские весы», также олицетворяющий литовско-польский период в истории города. К российскому периоду можно отнести лишь «Экипаж» – скульптуру в натуральный рост в виде пары лошадей, запряжённых в коляску, представляющей средство передвижения первого губернатора Минска. Но ни сам губернатор, ни кто-то из губернских чиновников памятника не удостоились. Российский период представлен лишь лошадьми. Главным сооружением на площади является копия ратуши (оригинальное здание было построено в XVI веке, в XVIII веке перестроено, в середине XIX века снесено по причине ветхости). Как заметил И.Ф. Зеленковский, «архитектурный облик городов бывшей Речи Посполитой <…> пытаются сейчас представить как истинно белорусский» [13, с. 40].

Несмотря на юбилейный 2013 год (в этом году отмечалось 150-летие начала польского восстания 1863–1864 годов и 175-летие со дня рождения К. Калиновского) и массовую оппозиционную пропаганду мифологического образа Калиновского-белоруса, по опросам оппозиционного Независимого института социально-экономических и политических исследований рейтинг К. Калиновского упал [23, с. 26]. Ранее он постоянно рос. Так, в середине 1996 года он составлял 4,2%, в середине 2004-го – 11%, в середине 2008-го – 13,6% и, наконец, в середине 2012 года рейтинг белорусского мифологического героя достиг 15,1% [6]. Причем рейтинг польского повстанца рос в основном за счет оппозиционно настроенных граждан и молодежи. Например, в 2012 году среди лиц от 18 до 29 лет в пантеон героев К. Калиновского отнесли 19,8%, среди лиц от 30 до 59 лет – 15,7%, а среди лиц старше 60 лет – 8,9%. Если говорить в разрезе геополитических предпочтений, то К. Калиновский был героем для 12,9% сторонников объединения с Россией и 18,5% сторонников объединения с Евросоюзом. Также К. Калиновский оказался героем для 10,9% доверяющих президенту А.Г. Лукашенко и для 18,4%, не доверяющих белорусскому лидеру [6].

Постепенный рост восприятия К. Калиновского как белорусского героя был налицо. Юбилейный 2013 год повысил интерес белорусов к этому историческому персонажу. Видимо, такой повышенный интерес подтолкнул людей к поиску не только пропагандистской информации как о восстании, так и об одном из его лидеров. В итоге белорусский образ польского повстанца не выдержал столкновения с объективными исследованиями. В марте 2013 года рейтинг К. Калиновского с 15,1% упал до 11,7% [23, с. 24]. При этом он упал среди всех категорий опрошенных. По возрасту: среди лиц от 18 до 29 лет К. Калиновский остался героем для 17,3%, среди лиц от 30 до 59 лет – для 11,6%, среди лиц старше 60 лет – для 6,4%. По геополитическим предпочтениям К. Калиновский остался героем для 7,8% сторонников объединения с Россией и для 17,3% сторонников объединения с Евросоюзом. По отношению к А.Г. Лукашенко: 8,1% сторонников президента продолжали считать К. Калиновского героем, а среди противников президента таковых было 17,5% [23, с. 25].

Оппозиционные социологи предположили, что на снижение уровня поддержки К. Калиновского повлияли публикации о его польской ориентации и не афишируемой, но достаточно однозначной позиции Православной Церкви, которая не могла питать позитивного отношения к гонителю Православия. Отчасти свою роль сыграло нежелание государства официально праздновать юбилей польского восстания, выдавая его в качестве белорусского [23, с. 25–26].

В принципе, государству было нелогично отмечать юбилей исторического события и исторической личности, использовавшихся оппозицией более эффективно, чем властью. Помимо того, в 2006 году под патронажем премьер-министра Польши была организована Стипендиальная программа правительства Республики Польша имени Кастуся Калиновского. По этой программе белорусская оппозиционно настроенная молодежь могла попасть на годичные языковые курсы по польскому языку для дальнейшего поступления в польские вузы. Естественно, что прошедшие эту программу молодые люди не высказывали никакой лояльности официальному Минску. Имя Кастуся Калиновского в очередной раз было связано с оппозицией белорусским властям. К тому же эта программа действовала на территории Польши, которая не слишком позитивно относилась к белорусской власти.

Тем не менее официальный Минск не стремился полностью убрать мифологизированный образ из идеологии. Показательной стала реакция официальной белоруской власти на перезахоронение останков польских повстанцев в Вильнюсе в ноябре 2019 года. Останки были найдены в 2016 году случайно, долго проходила экспертиза, и в 2019 году их было решено торжественно перезахоронить. В том же 2019 году в журнале «Беларуская думка» («Белорусская мысль») вышла статья, авторами которой являлись как академические ученые, так и члены белорусского Совета безопасности [18, с. 3–11]. Статья была посвящена проблеме исторической политики, а состав авторского коллектива намекал на то, что эта проблема является элементом национальной безопасности. Восстание 1863–1864 годов, с точки зрения новой исторической политики, перестало быть белорусским. Соответственно, К. Калиновский тоже переставал быть «белорусским национальным героем».

В отношении присутствия на перезахоронении польских повстанцев перед белорусским официозом встал выбор – следовать недавно объявленному курсу исторической политики, в которой восстание не является белорусским и, следовательно, его участники не воспринимаются как белорусские деятели, или проигнорировать собственную официальную версию прошлого и признать повстанцев белорусами. Власти выбрали второй вариант. Белорусская пресса услужливо подхватила это веяние. О перезахоронении К. Калиновского не как поляка, а как белоруса написали не только националистические, но и официальные издания, а также те, которые должны рассматриваться как пророссийские, – «Комсомольская правда в Белоруссии» и «Sputnik Беларусь». Ни одно издание не назвало К. Калиновского его настоящим именем – Константин, даже работающий за российские бюджетные средства «Sputnik Беларусь» предпочел использовать белорусизированную версию имени, называя польского повстанца Кастусем. Лишь единственная статья осторожно обращала внимание на то, что Кастусем Калиновский никогда не был [22]. На сайте «Комсомольской правды в Белоруссии» К. Калиновский уже не в первый раз вообще был назван национальным белорусским героем [3].

Проблему своего отношения к польскому повстанцу затронул даже А.Г. Лукашенко. Журналисты на одной из встреч задали президенту вопрос о том, как он относится к перезахоронению «белорусского героя». Но что Лукашенко ответил: «Я знаю роль Кастуся Калиновского в истории, там было очень много нюансов. Я своих политиков и ученых предостерегаю от того, чтобы мы, оценивая роль К. Калиновского, не ударились в какую-то политику. Он действовал на нашей территории, был нашим человеком, если хотите, гражданином. Это был человек нашего государства, и от этого никуда не денешься» [8]. На самом деле нюансов в деятельности К. Калиновского не так много, а при оценке его роли среди белорусских националистов уклон в политику присутствует практически всегда.

Формулировка же о том, что К. Калиновский был «нашим человеком, <…> гражданином» и «человеком нашего государства» прозвучала странно. К. Калиновский для белорусов не был «нашим», то есть белорусским с точки зрения идей, которые исповедовал. Также не был он «нашим гражданином», поскольку белорусского государства в то время не существовало даже в проекте. А заявление о том, что К. Калиновский – «человек нашего государства» заставляет предположить, что А.Г. Лукашенко или считает, что в то время существовало некое белорусское государство, или считает Российскую империю, чьим подданным был К. Калиновский, «нашим», то есть белорусским, государством. В своем ответе А.Г. Лукашенко так и не сформулировал свое четкое отношение к Калиновскому.

Данный вопрос возник у журналистов в связи с тем, что белорусские националисты захотели захоронить останки своего мифического героя в Белоруссии, для чего создали специальную петицию. Но мнения сторонников мифической белорусскости К. Калиновского разделилась. Если одни, пользуясь идеологической гибкостью власти, стремились создать в Белоруссии новое место националистической антирусской памяти, то другие сомневались в том, что благожелательное отношение власти к польскому повстанцу продлится вечно. Они были уверены, что «белорусская власть не сможет достойно увековечить память К. Калиновского». Власти Литвы проигнорировали белорусскую петицию, мотивировав это тем, что «официальной просьбы от руководства Беларуси о перезахоронении К. Калиновского на родине не поступило» [14]. Стоит отметить, что сотрудники «Комсомольской правды в Белоруссии» вполне разделяли националистические мифы о К. Калиновском. В частности, журналистка издания наивно считала Белоруссию родиной К. Калиновского. В настоящее время место рождения К. Калиновского находится на территории Польши (деревня Мостовляны Подсяского воеводства).

Вопрос о возможном захоронении Калиновского в Белоруссии был задан и А.Г. Лукашенко, на что он заявил: «Не надо. Кости ворошить не надо. Если меня похороните где-то здесь, не возите меня в другое место. Это моя житейская позиция. Не надо ворошить кости. Похоронили человека – пускай он спокойно там лежит» [19].

Если вопрос с переносом останков К. Калиновского был решен отрицательно, то проблема, как реагировать официальному Минску на акт перезахоронения в Вильнюсе, встала в полный рост. Шаблон исторической политики указывал на то, что это польские повстанцы, которые боролись против России не за белорусское государство, но текущая на тот момент ситуация сопротивления Минска углубленной интеграции Белоруссии и России подталкивала к поездке на перезахоронение. К. Калиновский как символ сопротивления Российскому государству в 2019 году был актуальным с точки зрения идеологического дискурса. Литва и Польша должны были быть представлены на траурных мероприятиях президентами, а Белоруссия оказалась в ситуации выбора уровня официального представительства. В итоге Минск сформулировал свое решение следующим образом: «Мы благодарны литовской стороне за официальное приглашение Беларуси на торжественную церемонию похорон участников восстания 1863 года. Совместная история требует совместных усилий. Мы рады, что такое понимание есть с обеих сторон. Мы были рады принять это приглашение. Делегацию нашей страны на мероприятии будет возглавлять заместитель премьер-министра Игорь Петришенко» [7]. Таким образом, государственная власть не отказалась от присутствия на церемонии перезахоронения, но статус делегации был понижен – президент Белоруссии на мероприятие прибывать не собирался. Российский эксперт А. Носович, назвал принятое решение компромиссом со стороны официального Минска, «для которого Калиновский – довольно спорная фигура. Потому что вроде как он уроженец Беларуси, но считал себя поляком и не боролся за независимость Беларуси. Он боролся за восстановление Речи Посполитой» [38].

Белорусский МИД посещение официальной белорусской делегацией мероприятия по перезахоронению польских повстанцев определил «в качестве одного из элементов формирования предпосылок для восстановления политического диалога» [24]. Руководство белорусского МИДа попыталось использовать событие для налаживания политического диалога с Вильнюсом. Еще весной 2019 года националистическое издание «Наша нива» с ссылкой на литовские источники заявляло, что «официальная белорусская сторона не проявила заинтересованности в почитании К. Калиновского». На что чиновник белорусского МИД ответил, что «это ошибочное впечатление» [27]. В интервью литовскому изданию белорусский посол в Литве, упоминая перезахоронение К. Калиновского, сказал: «Теперь у белорусов есть еще одно памятное место, которое смело можно включать в список мест, обязательных для посещения» [16]. Таким образом, белорусский дипломат заявлял о возможности создать место поклонения для белорусов из захоронения польского повстанца, пытавшегося возродить Польшу.

Во время перезахоронения белорусский вице-премьер заявил: «Знаково, что паролем повстанцев Кастуся Калиновского были слова: “Каго любіш? – Люблю Беларусь”». И связал эти слова с современным официальным лозунгом «За моцную і квітнеючую Беларусь!» («За сильную и процветающую Белоруссию!») [30]. Белорусские националисты не полностью оценили попытки белорусского чиновника через сравнение лозунгов связать мифологического белорусского героя с действующим белорусским режимом. Они назвали выступление И.В. Петришенко прекрасной речью, но указали, что она «была испорчена словами о недопустимости использования фигуры К. Калиновского “в политических целях”». После речи вице-премьера в толпе приверженцев политического мифа о Калиновском-белорусе раздались крики: «Позор!». Также выступил приехавший из Минска католический митрополит Минско-Могилевский Т. Кондрусевич. Он повторил расхожий националистический миф, назвав К. Калиновского «благородным сыном белорусского народа», который «осознавал белорусов, как отдельную нацию, которая имеет право на самоопределение» [5]. От белорусской делегации к гробам повстанцев был возложен венок в красно-зеленых цветах белорусского государственного флага [15].

Однако прошло совсем немного времени, и образ мифологического белорусского героя, захоронение которого должно было бы стать, по мнению белорусской дипломатии, «еще одним памятным местом», вдруг стал активно использоваться протестующими против результатов президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года. А после начала российской специальной военной операции на Украине именем К. Калиновского был назван батальон, позже развернутый в полк, в состав которого влились принципиальные противники белорусского режима. Его члены объявили о том, что они готовы к свержению действующей власти в Белоруссии. Образ реального польского повстанца, ставшего мифологическим белорусским героем, снова был востребован оппозицией действующему белорусскому режиму. Причем, эта оппозиция оказалась вооруженной и собранной в боевую часть. Белорусская пропаганда активно бросилась критиковать польское восстание и заявлять о польской идентичности К. Калиновского. Однако среди определенной части белорусского интеллектуального поля сторонники белорусского мифа о Кастусе Калиновском присутствуют и даже распространяют мифологию в среде старших школьников. Например, в сборнике ответов на вопросы по истории для подготовки к выпускным экзаменам в 11 классе, изданном в 2022 году, К. Калиновский указан как «первый белорусский революционный демократ» [34, с. 78].

В целом отношение к польскому восстанию 1863–1864 годов и к одному из его региональных лидеров К. Калиновскому имеет в Белоруссии несколько заметных тенденций.

Противники режима первого белорусского президента однозначно определяют К. Калиновского как белорусского героя, а его деятельность как белорусскую, а не польскую. Они игнорируют любые доказательства обратного, некорректно интерпретируют

источники, чтобы доказать наличие у К. Калиновского белорусской идеи, а иногда попросту выдумывают факты.

Сторонники режима проводят достаточно гибкую политику в отношении польского повстанца, что может говорить о наличии в его фигуре некоего идеологического потенциала для государственной власти. Данный потенциал заключается в возможности использовать фигуру К. Калиновского в качестве образа борца с российским влиянием, если это понадобится. Фраза К. Калиновского, обращенная к местному крестьянскому народу: «Тогда только заживешь счастливо, когда над тобой Москаля уже не будет» [40, с. 335], – очень удачно иллюстрирует якобы народное отношение белорусов к интеграции с Россией. Среди обслуживающих режим интеллектуалов также осталось достаточно много лиц, исповедующих миф о Калиновском-белорусе. Однако с 2022 года сторонники режима постепенно отказывают К. Калиновскому в белорусскости. Хотя опыт оценки К. Калиновского в прошлом говорит о том, что это может быть всего лишь тактикой, а не стратегией сторонников действующей власти.

Есть и третье направление в оценках К. Калиновского. Его сторонники однозначно воспринимают польского повстанца именно как польского повстанца. Оппозиционно настроенная к власти часть белорусского интеллектуального поля рассматривает таких критиков К. Калиновского как врагов. Провластная часть этого поля время от времени использует доводы и выводы противников белорусскости К. Калиновского в своих целях, иногда не делая ссылок на источники, откуда были взяты те или иные цитаты. Однако полностью солидаризироваться с критиками К. Калиновского белорусская провластная часть интеллектуального поля не может, так как время от времени К. Калиновский становится нужен властям в виде белорусского мифа.

Важность мифологемы о белорусскости К. Калиновского очень четко сформулировал оппозиционно настроенный к действующей белорусской власти публицист В.В. Хурсик. Он указывал, что место в истории К. Калиновскому обеспечил «не разум, а революционное разрушение» [37, с. 9], «Калиновский не знал своего народа» [37, с. 12], «отсутствие у Калиновского <...> ясного представления о ментальности, жизненных взглядах простого народа ставит под сомнение его компетентность как руководителя восстания национального масштаба. 26-летний молодой человек был наполнен исключительно террористическими идеями, важную роль при принятии им решений играли еще не удовлетворенные молодые амбиции» [37, с. 13]. Тем не менее В.В. Хурсик однозначно заявил: «Если отечественную историографию лишить личности Калиновского, то нация теряет не только героя, но и свое присутствие на исторической арене в конкретный период» [37, с. 11].

Именно поэтому из-за желания найти на исторической арене национальных героев в любой момент истории, даже если в этот момент героев не было, белорусские интеллектуалы, пропагандисты и ученые продолжат идеализировать К. Калиновского, находя в его польской ориентации белорусские взгляды, а его деятельность будут стараться представлять как работу на благо белорусского народа и даже на благо белорусского государства. Распространить объективный взгляд на польского повстанца и его деятельность, наверное, поможет широкодоступная публикация исторических источников, внесение изменений в белорусские школьные учебники, издание художественной, публицистической и научной литературы по данному вопросу, музейные экспозиции, изменение в символическом пространстве (памятники, мемориальные таблички), изменения в городской навигации (названия улиц), а также возможность каждому познакомиться с историей и механизмами создания исторических мистификаций и не только на примере К. Калиновского. Однако страх потерять «свое присутствие на исторической арене в конкретный период» вряд ли будет способствовать объективному взгляду на исторические события.

Литература

1. *Арлоў У.* Як беларусы змагаліся супраць расейскага панавання? // 100 пытанняў і адказаў з гісторы і Беларусі / уклад. І Саверчанка, Зм. Санько. Мінск: Рэдакцыя газеты «Звязда», 1993. С. 51–53.
2. Аўтуховіча ўзнагародзілі прэміяй Каліноўскага [Электронный ресурс] // Радыё Свабода. Режим доступа: https://www.svaboda.org/a/2014966.html (дата обращения: 17.04.2023).
3. Беларусь: итоги года – 2019 [архивная копия от 5.01.2020] [Электронный ресурс] // Комсомольская правда в Белоруссии. Режим доступа: https://web.archive.org/web/20200105224231/https://www.kp.by/best/belarus-itogi-goda-2019/ (дата обращения: 22.04.2023).
4. Белорусские власти не собираются сносить самовольно установленный памятник польским мятежникам [Электронный ресурс] // ИА REGNUM. Режим доступа: http://www.regnum.ru/news/polit/1744724.html (дата обращения: 19.04.2023).
5. Белорусский вице-премьер на прощании с Калиновским: Кого любишь? Люблю Беларусь! [Электронный ресурс] // 21.BY. 2019. 22 ноября. Режим доступа: https://news.21.by/other-news/2019/11/22/1929849.html (дата обращения: 22.04.2023).
6. Белорусский пантеон [Электронный ресурс] // НИСЭПИ. Режим доступа: http://www.iiseps.org/?p=2876 (дата обращения: 22.04.2023).
7. Вице-премьер Игорь Петришенко посетит церемонию похорон Калиновского в Вильнюсе [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. 2019. 18 ноября. Режим доступа: https://www.kp.ru/online/news/3676213/ (дата обращения: 22.04.2023).
8. Выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания [Электронный ресурс] // Президент Республики Беларусь: официальный сайт. Режим доступа: https://president.gov.by/ru/events/vybory-deputatov-v-palatu-predstavitelej-natsionalnogo-sobranija-22395 (дата обращения: 22.04.2023).
9. Живая память. Жизнь во имя закона… [Электронный ресурс] // Главное управление юстиции Гомельского областного исполнительного комитета. Режим доступа: https://gomeljust.gov.by/2020/07/14/Живая-память-Жизнь-во-имя-закона/ (дата обращения: 17.04.2023).
10. Закон Республики Беларусь № 288-З от 18 мая 2004 г. «О государственных наградах Республики Беларусь» // Национальный реестр правовых актов. 2004. № 88. 7 июня. С. 15–32.
11. Закон Республики Беларусь № 3726-XII от 13 апреля 1995 г. «О государственных наградах Республики Беларусь» // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. № 22–23. 15 августа. С. 69–73.
12. Закон Республики Беларусь № 49-З от 2 июля 1997 г. «Об утверждении Положений о звании “Герой Беларуси”, орденах, медалях и почетных званиях Республики Беларусь» // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1997. № 24. 25 августа. С. 61–78.
13. *Зеленковский И.Ф.* Признаки «идеологической ловушки» белорусской государственности на примерах архитектуры и культурной жизни Минска // История и общественно-гуманитарные науки как инструмент цивилизационной войны против Русского мира: Материалы круглого стола (Минск, 19 декабря 2014 г.). Минск: Ковчег, 2014. С. 39–46.
14. *Ивашенко О.* «Нам пашанцавала – гэтага магло не здарыцца ніколі»: спустя 155 лет после казни Калиновского и его соратников захоронили как героев [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. 2019. 22 ноября. Режим доступа: https://www.kp.ru/daily/27059.7/4126394/ (дата обращения: 22.04.2023).
15. *Ивашенко О.* После официальной церемонии перезахоронения Калиновского белорусы не расходятся [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. 2019. 22 ноября. Режим доступа: https://www.kp.ru/online/news/3681580/ (дата обращения: 22.04.2023).
16 Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Литовской Республике В. Барановского литовскому еженедельнику «Экспресс-неделя» (декабрь 2019 г.) [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Республики Беларусь. Режим доступа: https://mfa.gov.by/print/press/smi/d31ffb58442631cb.html (дата обращения: 22.04.2023).
17. «Как крематорий какой-то»: в Минске сняли памятную доску в честь Калиновского и переносят [Электронный ресурс] // Наша ніва. 2013. 11 сентября. Режим доступа: http://nn.by/?c=ar&i=115058&lang=ru (дата обращения: 19.04.2023).
18. *Коваленя А., Арчаков В., Данилович В., Баньковский А.* К вопросу об исторической политике // Беларуская думка. 2019. № 8. С. 3–11.
19. *Козлик И.* Президент про перезахоронение Кастуся Калиновского: Не надо ворошить кости [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. 2019. 17 ноября. Режим доступа: https://www.kp.ru/online/news/3674852/ (дата обращения: 22.04.2023).
20. Медведь против Калиновского [Электронный ресурс] // Белорусский партизан. Режим доступа: http://www.belaruspartisan.org/m/politic/238828/?mob=yes&PAGEN_1=4 (дата обращения: 19.04.2023).
21. Медведь против Калиновского [Электронный ресурс] // Хартыя’97. Режим доступа: http://charter97.org/ru/news/2013/8/7/73539/comments/ (дата обращения: 19.04.2023).
22. *Мироненко В.* Торжественная церемония времен постмодерна [Электронный ресурс] // Sputnik Беларусь. 2019. 25 ноября. Режим доступа: https://sputnik.by/20191125/Torzhestvennaya-tseremoniya-vremen-postmoderna-1043328331.html (дата обращения: 22.04.2023).
23. Новости НИСЭПИ: Информационно-аналитический бюллетень Независимого института социально-экономических и политических исследований. 2013. № 1 (67). 52 с.

24. Обзор итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства иностранных дел в 2019 году [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел. Режим доступа: https://mfa.gov.by/publication/reports/d850d69242f0c67a.html (дата обращения: 22.04.2023).

25. Орден Калиновского так никому и не вручили [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. 2004. 23 июня. Режим доступа: https://www.kp.ru/daily/23302/136305/?geo=1 (дата обращения: 15.04.2023).

26. Ответ Мингорисполкома на коллективное обращение по вопросу восстановления памятника Александру II в Минске [Электронный ресурс] // Западная Русь: Научно-просветительский портал. Режим доступа: http://zapadrus.su/2012-04-11-14-59-43/2013/400-let-dinastii-romanovykh/824-otvet-mingorispolkoma-na-kollektivnoe-obrashchenie-po-voprosu-vosstanovleniya-pamyatnika-aleksandru-ii-v-minske.html (дата обращения: 19.04.2023).

27. Ответ начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси А. Глаза на вопрос издания «Наша Ніва» [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Республики Беларусь. Режим доступа: https://mfa.gov.by/print/press/news_mfa/c29645a1613b7cfc.html (дата обращения: 22.04.2023).

28. Пастанова Савета міністраў Республікі Беларусь № 1372ад 19 верасня 2008 г. «Аб некаторых пытаннях стварэння (рэканструкцыі) і прыёмкі твораў манументальнага і манументальна-дэкаратыўнага мастацтва» // Национальный реестр правовых актов. 2008. № 235 (1795). 1 октября. С. 17–23.

29. Пастанова Савета міністраў Республікі Беларусь № 732 ад 8 чэрвеня 2008 г. «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у пастанову Савета міністраў Рэспублікі Беларусь ад 19 верасня 2008 г. № 1372» // Национальный реестр правовых актов. 2011. № 67. 16 июля. С. 18–22.

30. Петришенко: личность Кастуся Калиновского должна объединять народы [Электронный ресурс] // БЕЛТА. 2019. 22 ноября. Режим доступа: https://www.belta.by/society/view/petrishenko-lichnost-kastusja-kalinovskogo-dolzhna-objedinjat-narody-370307-2019/ (дата обращения: 22.04.2023).

31. *Поклад Т.* Кангрэс новай дыяспары [Электронный ресурс] // Радыё Свабода. Режим доступа: https://www.svaboda.org/a/1048695.html (дата обращения: 17.04.2023).

32. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь № 3727-XII от 13 апреля 1995 г. «Об утверждении Положений о звании “Герой Беларуси”, орденах и медалях Республики Беларусь» // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. № 22–23. 15 августа. С. 73–78.

33. *Саверчанка І.* Што такое рэч паспалітая? // 100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі / уклад. І Саверчанка, Зм. Санько. Мінск: Рэдакцыя газеты «Звязда», 1993. С. 30-31.

34. *Сасим А.М.* История Беларуси: ответы на билеты: 11-й кл.: для учащихся учреждений общ. сред. образования с рус. и бел. яз. обучения. 5-е изд., перераб. Минск: Экоперспектива, 2022. 100 с.

35. Список награжденных орденом «За личное мужество» // Государственные награды Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.awards.by/nagrazhdenija/orden-za-lichnoe-muzhestvo/ (дата обращения: 17.04.2023).

36. Указ Прэзыдэнта Рэспублікі Беларусь № 26 ад 15 студзеня 1996 г. «Аб зацьвярджэньніа пісаньня ордэнаў, мэдаляў і нагрудных знакаў да ганаровых званьня ў Рэспублікі Беларусь» // Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Кабінета мінітсраў Рэспублікі Беларусь. 1996. № 2. студзень. С. 16–21.

37. *Хурсік В.В.* Трагедыя белай гвардыі: Беларускія дваране ў паўстанні 1863–1864 гг.: Гістарычны нарыс і спісы. 2-е выд. Минск, 2002. 144 с.

38. Эксперт: кто поедет на перезахоронение Калиновского, было главной интригой // Sputnik Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sputnik.by/20191119/Ekspert-kto-poedet-na-perezakhoronenie-Kalinovskogo-bylo-glavnoy-intrigoy-1043276082.html (дата обращения: 22.04.2023).

39. *Янушкевіч Я.* Хто такі Кастусь Каліноўскі? // 100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі / уклад. І Саверчанка, Зм. Санько. Мінск: Рэдакцыя газеты «Звязда», 1993. С. 53–54.

40. *Giller A.* Historia powstania narodu polskie gow 186–1865 r. T. 1: Drugie wydanie. Paryż: Księ garnia Luxemburgska, 1867. 371 с.

Аннотация. В статье исследуется трансформация образа польского повстанца К. Калиновского в контексте его эксплуатации белорусской исторической политикой конца XX – начала XXI века. Рассматривается постепенный отход от сугубо мифологизированного образа Калиновского к более объективному взгляду на эту историческую фигуру. Выражается сомнение в том, что официальная белорусская историческая политика окончательно откажется от белорусского образа польского повстанца, так как без Калиновского как белоруса существует страх потерять свое присутствие на исторической арене в конкретный период.

Ключевые слова: К. Калиновский, польское восстание 1863–1864 годов, белорусская историческая политика, белорусская национальная героика, белорусская мифология истории

Alexander D. Gronsky, PhD in History, Associate Professor, Leading Researcher, Section for Byelorussia, Moldavia and Ukraine, Center for Post-Soviet Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences. E-mail: agr1976@yandex.ru

The Image of K. Kalinowsky in the Byelorussian Historical Policy of the Late 20th – Early 21st Century

Abstract. In the article the author examines the transformation of the image of the Polish insurgent K. Kalinowsky in the context of that image exploitation by the Byelorussian historical policy of the late twentieth – early twenty first century. He considers the gradual departure from the purely mythologized image of K. Kalinovsky to a more objective view of this historical figure. It is doubtful that the official Byelorussian historical policy will finally abandon the Byelorussian image of the Polish rebel since without K. Kalinouski as a Byelorussian, there exists ceryain fear of losing the presence in the historical arena of the particular period.

Keywords: K. Kalinowski, the Polish Uprising of 1863–1864, Byelorussian Historical Politics, Byelorussian National Heroics, Byelorussian Mythology of History.

.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-314-324

Александр Гронский

Образ Константина Калиновского в текстах статей в сборниках белорусских научных конференций начала XXI века

О Константине Калиновском написано много исследований. Его деятельность затрагивали многие белорусские историки, занимавшиеся изучением второй половины XIX века. Однако подробной монографии, объективно разбирающей взгляды К. Калиновского, в Белоруссии так и не появилось. К. Калиновский зафиксировался как белорусский национальный герой благодаря околонаучной публицистике, художественной литературе и научным статьям, основанным на некорректных, а порой и сфальсифицированных данных. Именно художественная литература и публицистика, а не наука, пожалуй, сыграли более важную роль в «белорусизации» К. Калиновского.

Для того чтобы проследить, каким образом фигура К. Калиновского поддерживается в качестве белорусского национального героя в XXI веке, интересно обратиться к исследованию текстов статей и тезисов конференций, проходивших в Белоруссии. Сразу необходимо оговориться, что данная статья не претендует на полный охват текстов о К. Калиновском, поскольку отследить все статьи и тезисы, опубликованные в сборниках конференций, достаточно сложно – не все они находятся в широком доступе. Однако нужно заметить, даже при анализе некоторых текстов, становится заметным, что представления о К. Калиновском имеют общие черты, которые считаются эталонными для белорусского национального героя. Причем эти черты не только эталонны, но еще и априорны. Они обычно не доказываются, а подаются как должные. Далеко не все анализируемые в данной работе тексты посвящены конкретно фигуре Константина Калиновского, в некоторых из них он выступает как пример патриотического отношения к белорусской родине, как «великий сын Белоруссии» и т.д. В подобных работах образ К. Калиновского используется для иллюстрации других идей, связанных с анализом патриотического воспитания и формирования мировоззрения. Анализ статей из сборников белорусских конференций представляет интерес для понимания, каким образом формируется белорусский исторический нарратив и как он отражается на представлениях не только историков, но и специалистов других дисциплин, например, филологов или философов.

Одной из эталонных и априорных черт любого национального героя должно быть стремление к независимости своей родины. Естественно, что это стремление приписываются и К. Калиновскому. Например, один из авторов пишет: «Благодаря руководителю восстания 1863–1864 гг. в белорусском национальном движении зарождается белорусская национальная идея. Исходя из анализа “Мужицкой правды”, “Писем из-под виселицы” и других документов, мы видим, что К. Калиновский мечтал про общее Белорусско-Литовское демократическое государство, связь которого с Польшей понималась как федеративная – с полной независимостью “Литвы”» [16, с. 163].

Гронский Александр Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской Академии наук. E-mail: agr1976@yandex.ru

Интересно, что ни в «Мужицкой правде, ни в «Письмах из-под виселицы» ни про Белоруссию, ни про белорусов ничего не говорится. Таких слов там вообще не встречается. Не встречается там и упоминаний о Литве и литовцах. Единственный раз обозначение «литовский» появляется в словосочетании «король польский и литовский» («Мужицкая правда» № 2) [6, с. 49], что, несомненно, относится к королю Речи Посполитой, называемому в других случаях «Королем нашим польским». Если объяснять стремление К. Калиновского к федерализму только тем, что монарх упоминается и как польский, и как литовский, тогда нужно признать, что Российская империя того времени была вообще федеративным государством, ведь в титуле российского императора было огромное перечисление отдельных регионов империи. Никаких других признаков стремления К. Калиновского к федерализму в «Мужицкой правде» и «Письмах из-под виселицы» нет. Фраза о том, что он видел связь Литвы и Польши как федеративную, появилась в стане противников восстания. Так писал российский генерал В.Ф. Ратч в своих «Записках о польском восстании». Однако когда белорусские историки говорят о федеративных мечтах К. Калиновского, они почему-то имеют в виду только «национальное» обоснование этого стремления. Известно, что К. Калиновский был очень амбициозным человеком и его стремление к федерации могло вытекать из желания получить под свой контроль часть территории будущей восстановленной Польши, чтобы проводить там политику, которую он считал более правильной. Подобная версия имеет такое же право на существование, как и «национальная». К тому же нужно заметить, что «национальная» версия никакими серьезными аргументами не подтверждается. Это скорее, некая общественная договоренность между исследователями о том, что К. Калиновским двигали именно мотивы белорусско-литовского суверенитета.

«К. Калиновским был утвержден важнейший принцип национального сознания – понимание собственного исторического пути белорусского народа, – пишет А.Ф. Ратько, – Данное им историческое, культурное, общественно-политическое и этно-территориальное обоснование реальной суверенности, самостоятельности белорусского народа и сегодня сохраняют свою актуальность. Белорусский этнос осознается им как мужицкий, крестьянский. Название его, кстати, как и название края, не были еще решены: “литвины”, “литовцы” или “белорусы” “Литва” или “Белоруссия”» [16, с. 163–164]. Утверждение о понимании К. Калиновским «собственного исторического пути белорусского народа» не более чем привычный для белорусской историографии штамп. Нигде не встречается таких заявлений повстанческого лидера, а если исследователи и говорят что-то подобное, тогда обычно цитаты приводятся без ссылок. Например, в брошюре С.Г. Паречиной «Концептуальные основы идеологии белорусского государства» есть фраза: «Как сказал К. Калиновский: “История выработала для белорусов особую национальность, и они владеют всеми условиями самостоятельного развития”» [14, с. 10]. Цитата подтверждает белорусскую ориентацию в деятельности К. Калиновского, но она дается без ссылки. Можно предположить, что эта фраза взята из какого-нибудь публицистического текста или литературного произведения и распространяется как доказательство якобы реальных слов К. Калиновского. Если бы на самом деле эта фраза была зафиксирована в источниках как высказывание К. Калиновского, тогда не пришлось бы доказывать его белорусскую ориентацию намного более сомнительными цитатами.

Также А.Ф. Ратько пишет, что «К. Калиновский был отличным знатоком белорусского народного языка и с большим мастерством им пользовался в целях революционного просвещения крестьян, а также в своей публицистике. Он смело вводил новые понятия, слова, связанные с общественно-политической жизнью, чем существенно способствовал развитию национального литературного языка. Как родоначальник белорусской революционной демократии К. Калиновский оказал большое влияние на всю последующую белорусскую

литературу и культуру, способствовал углублению в литературе и искусстве принципа реализма и народности, закреплению высоких идеалов борьбы за свободу» [16, с. 164].

То, что К. Калиновский мог знать говор гродненских крестьян, вполне логично, ведь он вырос в этом регионе. Но вопрос о том, насколько его тексты были доступны крестьянскому пониманию, вызывает сомнения. Если «белорусский национальный герой» «смело вводил новые понятия», вряд ли эти понятия адекватно воспринимались крестьянами, которые просто не знали бы таких терминов и явлений, описанных с помощью новых понятий. Также сомнительно влияние К. Калиновского на развитие национального литературного языка. Известно всего несколько документов на белорусском языке, вышедших из-под пера К. Калиновского, остальная его переписка была на русском или польском. Кроме того, тексты К. Калиновского не были известны широкой публике, о нем как о белорусе заговорили только в период Первой мировой войны, когда белорусскоязычная литература уже существовала. Вообще принято считать (и это достаточно логично), что «отцом белорусской литературы» был Ф. Богушевич, тоже бывший польский повстанец, который в 1891 году в Кракове[1] издал сборник стихов «Дудка белорусская». Эта книга нелегально переправлялась в Россию [13, с. 18], ее знали первые белорусские националисты, а вот белорусскоязычное наследие К. Калиновского они впервые признали своим только в 1916 году.

Образ Кастуся Калиновского используется и как иллюстрация того, каким должен быть белорусский патриот. В текстах, посвященных белорусскому патриотизму, его образ является востребованным. Так, в одной из статей, описывающих патриотизм как основу воспитания будущих поколений, К. Калиновский перечислен в числе тех, в чьем наследии кроются «истоки белорусского национального сознания и самосознания, традиции, стиль жизни, мышления, поведения, труда» [9, с. 55]. В тексте всего лишь раз упоминается К. Калиновский, однако именно в контексте отправного пункта для начала формирования белорусского национального сознания. Если учитывать, что «современному молодому человеку важно раскрыть сердцевину духовной жизни своего народа, показать героическое прошлое своей родины» [17, с. 257–258], то становится ясно, что конструкт по имени Кастусь Калиновский стал востребованным образом в формировании белорусской патриотики. И не потому, что этот человек был белорусским патриотом, а потому, что обществу было навязано о нем именно такое представление, не имеющее ничего общего с реальностью.

В 2003 году вышла публикация профессора Н.М. Забавского «Гістарыяграфія паўстання 1863–1864 гг.». Почему-то к историографии отнесены воспоминания очевидцев (О. Авейде, А. Гиллер, Н.И. Цылов и др.) и сборники документов («Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861–1862 гг.», «Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг.»). В данной статье проявляется стандартная для белорусской историографии позиция, которая заключается в критике большей части наследия русской дореволюционной историографии и благожелательном отношении к большей части советской (в первую очередь белорусской) и постсоветской белорусской историографии, даже если и те, и другие авторы доказывали одно и то же. Так, у Н.М. Забавского указано, что «стремление к фальсификации программы повстанцев, преувеличение роли дворянства среди участников, искажение облика его руководителей доминировало в российской историографии до 1917 г.» [5, с. 262]. То есть преувеличение роли дворянства Н.М. Забавский ставит в вину дореволюционной российской историографии. Но далее, описывая работы белорусских исследователей советского времени, он указывает, что С.М. Самбук в ряде работ доказала, что движущей силой восстания была безземельная и малоземельная шляхта [5, с. 263], Говоря о подготовке к публикации сборников документов («Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861–1862 гг.» и

[1] Краков с конца XVIII века находился в составе Австрийской (позже Австро-Венгерской империи). После ее распада вошел в состав Польши.

«Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг.»), Н.М. Забавский пишет: «В результате серьезных исследований и использования новых источников авторы остановились на том, что восстание было шляхетским» [5, с. 264]. Упоминает Н.М. Забавский и то, что белорусский исследователь Г.В. Киселев «аргументированно доказал, что это было не крестьянское восстание» [5, с. 265]. Получается, если про то, что восстание не крестьянское, говорит российская дореволюционная историография, это почему-то должно восприниматься как попытка фальсификации, а когда то же самое утверждают советские или постсоветские белорусские ученые, тогда это воспринимается как объективная истина.

Н.М. Забавский упрекает современников восстания и в их небелорусских интерпретациях событий. В частности, он констатирует, что «шляхетско-буржуазное направление в исследованиях событий 1863–1864 гг. начал А. Гиллер» [5, с. 262]. Получается, что у А. Гиллера есть огромная вина перед современной белорусской историографией. Ведь «он не выделял национальную и экономическую специфику Белоруссии и Литвы, рассматривая край как неотъёмную часть "исторической Польши". Восстание считалось польским, а его участники – поляками» [5, с. 262]. Таким образом, участнику восстания и современнику К. Калиновского автор ставит в вину то, что тот в 60-х годах XIX века мыслил категориями своего времени и не предполагал, что белорусская советская и постсоветская историографии будут мыслить по-другому. Еще раз стоит подчеркнуть, что А. Гиллер был непосредственным участником событий, в отличие от современных белорусских историков. К тому же А. Гиллер знал К. Калиновского, но не говорил о его белорусской ориентации.

Кроме того, Н.М. Забавский критикует книгу московского историка М.В. Миско «Польское восстание 1863 г.» [12]. Ее автор, как пишет Н.М. Забавский, «пробовал доказать, что К. Калиновский и его литовский соратник А. Мацкевич рассматривали Литву и Белоруссию как часть Польши и полностью разделяли программу польского повстанческого правительства, которая предусматривала включение белорусско-литовских земель в состав Польского государства…» [5, с. 264]. То есть если М.В. Миско «пробовал доказать», значит у него, по мнению Н.М. Забавского, это не получилось, другими словами, он пробовал доказать, но не доказал, потому что если бы получилось, тогда пришлось бы писать, что М.В. Миско нечто доказал. Однако документы восстания однозначно указывают на правоту выводов М.В. Миско.

Кроме того, в исследовании М.В. Миско есть один большой плюс. Он рассматривал восстание на всей территории его распространения, а не только в нескольких губерниях Северо-Западного края. М.В. Миско имел возможность видеть полную картину восстания. Белорусская же историография ограничивается лишь территорией современной Белоруссии, изучая, например, восстание даже не на всем пространстве Северо-Западного края, а только на его белорусской части. Литовская часть Северо-Западного края вообще выпадает из поля зрения белорусских авторов, хотя тот же К. Калиновский некоторое время руководил восстанием на всей территории края. Выпадение из поля зрения белорусских исследователей литовских территорий (Ковенской и части Виленской губернии) деформирует представления о силе восстания в той или иной губернии. Ведь на Ковенщине восстание проявилось очень активно. И если сравнивать белорусскую часть Северо-Западного края по интенсивности повстанческих действий, то роль в восстании тех, кого белорусские исследователи считают повстанцами-белорусами, придется еще более уменьшить. Все познается в сравнении, если есть с чем сравнивать.

Еще одна претензия к М.В. Миско достаточно стандартна. Н.М. Забавский упрекает автора в том, что тот проигнорировал «известные факты, которые свидетельствуют об остро-конфликтных взаимоотношениях К. Калиновского и Виленского повстанческого центра, а также варшавского центрального национального комитета» [5, с. 264]. Конфликт К. Калиновского с соратниками по восстанию существовал, но его истоки были

не в национально-этнических взглядах Калиновского, а в разных подходах к тактике и стратегии повстанцев – различные представители польского движения видели разные пути восстановления Польши.

Однако с общим выводом Н.М. Забавского можно согласиться. Вывод звучит так: «Несмотря на то, что тема К. Калиновского и восстания 1863–1864 гг. представлена в историографии довольно полно, дискуссия по этой проблеме продолжается…» [5, с. 266]. Стоит отметить, что о К. Калиновском и восстании написано много, но серьезного анализа идей, которые тот генерировал, в белорусской исторической науке нет. Существует лишь общепринятая и удобная для белорусского национализма версия, которая просто передается как не подвергающееся сомнению утверждение.

Статья Т.М. Кулакевич «Касцюшка і Каліноўскі – нацыянальныя героі Беларусі» уже исходя из названия определяет отношение автора к К. Калиновскому. Кроме того, она является скорее неким программным заявлением, чем исследовательской работой. «Общепризнано огромное значение исторических знаний в жизни каждого народа, – пишет Т.М. Кулакевич. – Однако в истории нашего Отечества [Белоруссии – *А.Г.*] немало сознательно забытых событий, явлений, вычеркнутых из народной памяти выдающихся деятелей. <…> Без восстановления этих страниц нашего минувшего нельзя создать объективную и полную историю, к которой мы стремимся» [8, с. 79]. Стоит отметить, что К. Калиновский не был вычеркнут из «этих страниц нашего минувшего». Например, о нем и его деятельности говорилось в советских школьных учебниках по истории БССР [см., напр., 2, с. 179–192] и в учебниках начала XXI века [см., напр., 3, с. 69–74]. А вот что действительно забыто в истории Белоруссии, так это то, что от повстанцев страдали не только православные священники или чиновники, то есть представители Русской Православной Церкви и Российского государства, а еще и простые польские, белорусские и литовские крестьяне.

Т.М. Кулакевич иллюстрирует «белорусскость» К. Калиновского тем, что тот конфликтовал с Центральным национальным комитетом – главным органом управления восстанием, располагавшимся в Варшаве. По мнению Т.М. Кулакевич, между польским национальным комитетом и польским националистом не может быть принципиальных конфликтов. Проблема использования именно этого случая в качестве неопровержимого доказательства белорусской ориентации К. Калиновского является «общим местом» в системе доказательств белорусской ориентации его действий и поднимается практически в каждой статье о «белорусском национальном герое». Опровержением того, что К. Калиновский являлся польским националистом, по мнению исследователя, служит цитата, что он «не хотел иметь никаких отношений со шляхтой, а опирался только на народ» [8, с. 80]. Где в этой цитате упоминаются белорусы, непонятно. Слово «народ» в данном случае служит противопоставлением слову «шляхта», то есть обозначает социальную, но никак не национальную общность. Подмена понятий, когда «народ», «крестьяне» или «мужики» воспринимается только в этнокультурном смысле, в белорусской историографии не редкость. Обыденное сознание тоже перенимает эти штампы[1].

Кроме того, белорусские исследователи всегда забывают, что народ Северо-Западного края – это ещё и литовские крестьяне, но, по мнению практически всех историков, К. Калиновский под народом имел в виду исключительно белорусов. Также Т.М. Кулакевич ссылается на воспоминания некоторых участников восстания, знавших

[1] Иногда в силу отсутствия хоть каких-то логичных обоснований того, что восстание было белорусским, сторонники подобной версии создают собственную систему доказательств, в которой, например, этнически окрашенными иногда становятся даже местоимения. Так, автору данного текста довелось встречать студенческую работу, где говорилось, что при прочтении текстов К. Калиновского, местоимение «мы» стоит рассматривать как синоним слова «белорусы».

К. Калиновского, и первых исследователей восстания, которые утверждали, что последний воспринимал связь Литвы и Польши «как федеративную, с полной независимостью Литвы» [8, с. 80]. Однако К. Калиновский конфликтовал с повстанческим Центром, не по этническим, а по социальным и тактическим мотивам. Известно, что он стремился опираться не на шляхту, а на крестьянство. Варшавский повстанческий центр считал, что основным двигателем должна была стать шляхта. Это, а не мнимая борьба К. Калиновского за суверенитет Белоруссии, объективно могло вызывать натянутые отношения провинциального руководителя восстания с Центром. Кроме того, напомним, К. Калиновский был достаточно амбициозным человеком и хотел автономии региона для более широкой реализации собственных полномочий.

Также никто из апологетов «белорусскости» К. Калиновского не учитывает его собственные высказывания, оставшиеся в некоторых текстах или цитируемые сторонниками повстанца. Так, один из повстанцев И. Ямонт указывал, что К. Калиновский обещал связаться с Варшавой, чтобы получить инструкцию о дальнейшей деятельности [6, с. 126], а споры с Варшавой были по причине того, что повстанческий центр не понимал «местных отличительных условий Литовского края» [6, с. 127]. Другой повстанец, Э. Заблоцкий, вспоминал: «Калиновский и Врублевский сказали мне, что составляется организация Народного польского правительства, которая скоро должна сформироваться по всей Литве» [6, с. 139]. Тот же Э. Заблоцкий писал, что когда он хотел отказаться от участия в восстании, К. Калиновский, угрожая ему, сказал: «Я вас всех вижу, а потому прибегаю к таким средствам, чтобы заставить служить Жонду Народовому [то есть варшавскому, польскому, но никак не белорусскому повстанческому правительству – *А.Г.*] и тем убедить иностранное правительство, что патриотизм у нас существует» [6, с. 142]. Российские чиновники, боровшиеся с восстанием, тоже не видели в деятельности К. Калиновского чего-то белорусского. Более того, на допросе К. Калиновский утверждал, что «был распорядителем жонда во всем крае, и, как видно из показаний других лиц, он умел поддержать падающий революционный дух польского населения» [6, с. 185]

Большинство белорусских исследователей, когда говорит о внедрении государственного, то есть русского языка в сферу образования, видит в этом наступление на белорусский язык. Например, Т.М. Кулакевич утверждает: «Во второй половине XIX в. белорусский язык стал средством консолидации белорусской нации, и К. Калиновский делал ставку на это обстоятельство, когда упрекал: “У нас, ребята, одно учат в школах, чтоб ты умел читать по-московски, а то для того, чтобы тебя совсем переделать в москаля”. Таким образом, К. Калиновский для нас является символом мужества и патриотизма» [8, с. 80–81]. Однако, белорусский язык как средство консолидации нации стал использоваться только в период советской власти, а первые попытки объявить Белоруссию там, где звучит белорусский язык, относятся к концу XIX века и сформулированы в предисловии к «Дудке белорусской» Ф. Богушевича в 1891 году.

Кроме того, обучение в школе на русском языке не означало попыток «переделать на москаля». Никто с белорусским языком не боролся, борьба шла с польским языком. То есть вопрос стоял так: или обучение на польском и постепенное формирование польской идентичности, или обучение на русском, который был государственным языком, и расширение русской идентичности.

Опять же современные белорусские авторы практически всегда игнорируют мировоззрение общества второй половины XIX века, в котором не существовало отдельного белорусского народа и самостоятельного белорусского языка. Эти представления стали появляться позже. Российская имперская администрация в 60-х годах XIX века не могла руководствоваться теми соображениями, которые появились в среде возникшего позже белорусского национализма, а потом были взяты на вооружение большевиками при формировании их национальной политики. Попытка перенести более поздние исследователь-

ские категории на все этапы исторического процесса, игнорирование того, что в каждую эпоху существовали собственные представления о формировании народов и их количестве, собственные этнокультурные стереотипы, создают повод для демонизации имперских властей, вкладывание в их действия тех смыслов, которых на тот момент попросту не существовало. Поэтому тезис Т.М. Кулакевич о том, что «восстание 1863 года способствовало пробуждению национального сознания белорусского народа» [8, с. 80] нельзя считать научно обоснованным. Формирование национального белорусского сознания как ощущения собственной отдельности от русских и поляков началось позже.

Также в анализируемом тексте можно найти фразы, которые призывают историческую науку перейти с позиций объективного изучения реальности на позиции пользы для определенной идеи. Это можно подтвердить следующим тезисом: «Перед исторической наукой сегодня, как и ранее, встает проблема: историки должны твердо уяснить, что изучают историю не для себя! Наши знания должны приносить пользу нашему народу» [8, с. 81]. Обычна в таких случаях и эмоциональная составляющая, которая часто граничит с эсхатологическими представлениями. «Мы еще продолжаем исполнять приказы Александра II и Николая I» [8, с. 81], – пишет Т.М. Кулакевич. И далее продолжает объяснять, чем должна заниматься историческая наука: «Теперь нужно вести работу, чтобы довести до осознания нашим народом, кто есть его герои. Работу нужно вести с детских садов, чтобы возобновить прерванную цепочку генетической памяти, чтобы ощущать себя настоящими белорусами. Делать это непросто, но необходимо» [8, с. 81].

Интересен пассаж про восстановление прерванной цепочки генетической памяти. Дело в том, что у белорусов не сформировалось каких-то устойчивых народных мифов про «белорусского национального героя Кастуся К. Калиновского». Сконструированный в 1916 году образ К. Калиновского-белоруса был полностью проектом интеллигента-националиста, и никакой генетической памятью обладать не мог, если, конечно, эту генетическую память искусственно не сформировать (подробнее о первой попытке конструирования Калиновского-белоруса см. [4]).

Таким образом, получается, что объективность исторических исследований должна отходить на второй план перед необходимостью формирования обоснований националистическо-патриотического дискурса. Это отчасти позволительно политикам и политически ангажированным публицистам, но к объективным историческим исследованиям имеет малое отношение.

Еще одна анализируемая статья была издана в Минске в 2004 году и посвящалась 140-летию восстания. Ее автор А.М. Лютый утверждал, что листовка (часто называемая газетой) «Мужицкая правда», выпускаемая К. Калиновским, «воспитывала у читателей чувство уважения и к другим народам – русскому, украинскому, польскому» [11, с. 92]. Если посмотреть собственно «Мужицкую правду», то можно найти следующие примеры «воспитания чувства уважения к другим народам»: «…но по соседству с нами жили немец и москаль. И тому и другому наше богатство глаза кололо – чтоб их колики схватили!» [6, с. 49], «скорей прогнать москаля с его собачьим правлением» [6, с. 49], «москаль, нечистая его сила» [6, с. 57] и т.д. В «Мужицкой правде» можно найти и примеры того, как К. Калиновский советовал относиться к православной вере. Например, «кто не перейдет в унию, тот останется схизматиком, тот, как собака сдохнет, тот на том свете адские муки терпеть будет!» [6, с. 58].

В целом в «Мужицкой правде» можно найти примеры формирования ненависти к русским, но призывов к уважению русского народа нет. Про украинский народ вообще не упоминается нигде, а что касается польского народа, то он в «Мужицкой правде» не выделен как отдельный. Говорится только о польском правительстве, при котором мужикам жилось хорошо. Причем именно польское, а не российское правительство является «своим» с точки зрения К. Калиновского. Он пишет: «наш король польский и литовский» [6, с. 49].

Самый известный белорусовед XX века академик Е.Ф. Карский писал, что «Мужицкая правда» «написано очень зло» [7, с. 351], то есть он тоже не замечал никаких попыток привить чувство уважения к другим народам. Да и участники восстания видели в «Мужицкой правде» однозначно агрессивное наполнение. Так, Е. Кучевский-Порай писал: «В эту пору появилась подпольная революционная газета, ставившая своей целью призыв к поджогам и кровопролитию, подстрекание крестьян против русских чиновников и бывших панов. Крестьяне призывались к тому, чтобы они сами устраивали для себя справедливость с помощью резни. <…> И в этой газете не видно было здравых рассуждений, хоть сколько-нибудь подлинной обиды за причинённые кривды, глубокой скорби, потребности в возрождении, возвещались лишь кровавая месть и преступления, освящаемые и оправдываемые этой местью» [6, с. 172]

Кроме того, А.М. Лютый пишет, что К. Калиновский и его товарищи находились «под воздействием польского национально-освободительного движения», поэтому «идеализировали минувшее Польши, защищали униатскую церковь, не всегда правильно оценивали значение присоединения Белоруссии к России» [11, с. 92]. Таким образом, белорусский исследователь пытается объяснить польские взгляды К. Калиновского не его польскими убеждениями, а якобы только влиянием польской идеи на белоруса-Калиновского. По тексту статьи нет ни одного доказательства того, что К. Калиновский является белорусом или действовал во благо белорусов. Это как бы априори подразумевается. А то, что К. Калиновский родился в имении Мостовляны Гродненской губернии, еще не говорит о том, что он белорус или герой белорусского народа. Кроме того, А.М. Лютый сознательно или нет, но указывает, что теперь Мостовляны находятся в Свислочском районе Гродненской области [11, с. 88], хотя на самом деле они находятся в Подляском воеводстве Польши [19, с. 31]. Поэтому вряд ли «польский уклон» К. Калиновского можно объяснить нахождением его всего лишь под воздействием польского национально-освободительного движения. К. Калиновский был частью этого движения. И никто в этом не сомневался, пока белорусские националисты не сконструировали белорусский образ Кастуся Калиновского.

Также, по мнению автора, после ареста К. Калиновского в январе 1864 года «прекратилось централизованное руководство революционной организацией и партизанскими отрядами, которые ждали в лесах сигнала к весеннему выступлению. К осени 1864 года были разбиты последние небольшие группы повстанцев» [11, с. 95]. В данном случае К. Калиновский становится центральной фигурой в истории Белоруссии второй половины XIX века. Оказывается, после его ареста сразу же рухнули все ожидания повстанцев, хотя на самом деле никакой эффективной революционной организации уже не существовало, да и партизанские отряды были разгромлены или самораспустились еще летом 1863 года. Отдельные небольшие группы повстанцев вряд ли стоит называть партизанским движением.

В заключении К. Калиновский назван «выдающимся сыном белорусского народа» [11, с. 96]. Вряд ли это стоит утверждать только на основании того, что в своей антиправительственной деятельности он делал ставку на крестьян, а не на шляхту и с ненавистью относился к Российской империи и Православной Церкви.

Кроме того, сам ход восстания и деятельность антироссийских сил часто формулируются как сугубо благородные и полностью подчиненные идее «национально-освободительной борьбы белорусского народа». Деятельность любого повстанца оценивается как сугубо положительная и благородная. Например, В.Ф. Шалькевич утверждал, что личность и жизнь Иосифа Калиновского (однофамильца К. Калиновского), тоже принимавшего участие в восстании, «учат настоящей духовности, религиозности, искренней любви к ближнему своему, помогают преодолевать многочисленные трудности нашего тернистого земного пути» [20, с. 5]. Отдельные личности могли быть вполне честными и благородными, однако это не значит, что таковыми являлись все участники восстания. Кстати, о том, что повстанцы занимались далеко не благородными делами, далекими от любви к ближнему, иллюстрируют многие факты. Например, «национально-освободительная борьба

белорусского народа» в Мозыре заключалась в том, что исключенные из гимназии ученики «били стекла в квартире директора и других более строгих учителей» [10, с. 103]. Или в том, что в католических храмах, в которых должна отсутствовать политика, по причине того, что Церковь занимается иными делами, все равно звучали антигосударственные призывы. Более того, «борцы за свободу белорусского народа» не стеснялись нападать на своих противников прямо в костелах. Например, это произошло с полицейским офицером, на которого было произведено нападение в католическом храме, когда сотрудник полиции выходил оттуда после церковной службы [1, с. 2].

Мифы о Кастусе Калиновском, созданные и поддерживаемые публицистами и историками, перекочевывают без критики в исследования в другие науки, например, филологию. Так, рассматривая стилистическую роль лексических повторов в публицистике К. Калиновского, А.В. Родненкова пишет о нем: «…один из организаторов и руководителей восстания 1863 г., человек, жертвовал своей жизнью ради белорусского народа, ради его вольности и независимости» [15, с. 153]. Ставить в вину исследователям-филологам такие обороты не имеет смысла. Филологи, стараясь понять эпоху, читают исторические исследования и именно оттуда черпают утверждения о том или ином персонаже. Такая же проблема существует и у историков, занимающихся другими хронологическими периодами.

Грешат идеализмом по отношению к К. Калиновскому и белорусские философы. Так, в статье В.П. Субботиной «Роль философии в формировании мировоззрения Кастуся Калиновского» содержатся вполне объективные и логичные утверждения о том, что «его взгляды, убеждения и практические действия выстраиваются в единое целое, дающее нам возможность воспринимать Кастуся Калиновского как цельную личность исторического масштаба» [18, с. 138] или: «Калиновский предстал как сформировавшийся лидер с твердыми убеждениями, получившими подтверждения в его деятельности» [18, с. 139]. Но наряду с этим автор повторяет привычные формулы о «белорусском национальном герое»: «Юбилейные даты возвращают нас к их истокам, побуждают оценивать их современную значимость. Жизненный путь К. Калиновского, полный героизма, мужества, преданности своим идеям и убеждениям, отразил судьбу народа и сделал его национальным героем. Позже Ф. Достоевский скажет о людях, подобных К. Калиновскому: “Живи так, как будто от тебя зависит судьба мира”. Таким миром для нашего героя стала Беларусь» [18, с. 139].

Жизненный путь К. Калиновского на самом деле был полон героизма, мужества, преданности своим идеям и убеждениям, но не отражал судьбу белорусского народа и не делал К. Калиновского национальным героем. Вместо народа по этому поводу постарались белорусские националисты. Да и вряд ли Ф.М. Достоевский с его отношением к России мог бы посвятить свои слова польскому повстанцу, боровшемуся против России. Привычные штампы, появившиеся в первой половине XX – начале XXI века абсолютно некритично транслируются в научных исследованиях. Частично это не вина тех, кто использует эти штампы, поскольку исследователи, специально не изучавшие национальные взгляды К. Калиновского, ссылаются на работы тех, кто якобы их изучал.

Вопрос, связанный с белорусским образом К. Калиновского является достаточно болезненным. Ведь если признать в К. Калиновском «небелоруса», тогда пошатнется структура мифа о «национально-освободительной борьбе белорусского народа». Образовавшийся вакуум пока нечем заполнить. Дело в том, что белорусская «национально-освободительная борьба» во второй половине XIX века формируется только вокруг фигуры К. Калиновского или его соратников. При разрушении мифа о К. Калиновском-белорусе, разрушается цепочка более мелких мифов о том, что сторонники К. Калиновского тоже имели целью «освобождение белорусского народа». Однако в данном случае это про-

блема не исторической науки, а идеологии. Историческая наука на то и наука, чтобы отстраняться от штампов, даже если они очень удобны для формирования национального самосознания.

Литература

1. Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Ч. 1. Вильна, 1913. 464 с.
2. *Баранова М.П., Загорульский Э.М., Павлова Н.Г.* История БССР: Учебник для 8–9 кл. средн. шк. / под ред. Э.М. Загорульского. 2-е изд. Минск: Народная асвета: 1990. 239 с.
3. Гісторыя Беларусі, XIX – пачатак XX ст.: вучэбны дапаможнік для 11-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларускай мовай навучання / Я.К. Новік [і інш.]; аўт. метад. апарату В.В. Гінчук; пад рэд. Я.К. Новіка. Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. 239 с.
4. *Гронский А.Д.* Конструирование национального символа: К. Калиновский // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: Материалы IV международной научной конференции (26–27 мая 2005 г., г. Гомель) / под ред. В.В. Кириенко. Гомель: ГГТУ имени П.О. Сухого, 2005. С. 269–271.
5. *Забаўскі М.М.* Гістарыяграфія паўстання 1863–1864 гг. // Сучасныя праблемы гістарыяграфіі гісторыі: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. Мінск. 28 лістапада 2003 г.: у 3 ч. Ч. 2. Мінск: БДПУ, 2003. С. 262–267.
6. *Калиновский К.* Из печатного и рукописного наследия / Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Минск: Беларусь, 1988. 208 с.
7. *Карский Е.Ф.* Белорусы: в 3 т. Т. 1: Введение в изучение языка и народной словесности. Минск: Беларуская энцыклапедыя, 2006. 656 с.
8. *Кулакевіч Т.М.* Касцюшка і Каліноўскі – нацыянальныя героі Беларусі // Славянскі свет: мінулае і сучаснае: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 26 сакавіка 2004 г.: у 3 ч. Ч. 1. Мінск: БДПУ, 2004. С. 79–82.
9. *Курганаў В.І.* Патрыятызм – аснова выхавання пакаленняў // Гістарычнае пазнанне – важнейшая ўмова фарміравання светапогляду настаўнікаў XXI стагоддзя: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. Мінск. 6 снежня 2002 г. Мінск: БДПУ, 2003. С. 55–57.
10. *Курьян З.С.* События восстания 1863–1864 гг. на Мозырщине // Славянскі свет: мінулае і сучаснае: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 26 сакавіка 2004 г.: у 3 ч. Ч. 1. Мінск: БДПУ, 2004. С. 103–108.
11. *Люты А.М.* Кастусь Каліноўскі (да 140-годдзя паўстання 1863–1864 гг. ў Беларусі) // Славянскі свет: мінулае і сучаснае: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 26 сакавіка 2004 г.: у 3 ч. Ч. 1. Мінск: БДПУ, 2004. С. 88–96.
12. *Миско М.В.* Польское восстание 1863 года. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 334 с.
13. *Міpановіч Я.* Найноўшая гісторыя Беларусі / навук. рэд. А. Краўцэвіч. СПб.: Неўскі прасцяг, 2003. 243 с.
14. *Паречина С.Г.* Концептуальные основы идеологии белорусского государства: Методическое пособие. Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. 36 с.
15. *Раднянкова А.В.* Стылістычная роля лексічнага паўтору ў публітыстыцы К. Каліноўскага // Полесский регион и наука XXI века: Материалы IV Республиканской научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых. Мозырь: УО МГПУ имени И.П. Шамякина, 2006. С. 153–157.
16. *Рацько А.Ф.* Кастусь Каліноўскі як асветнік, палітык і рэвалюцыянер // Беларускае асветніцтва: вопыт тысячагоддзя: Матэрыялы II Міжнароднай канферэнцыі, Мінск, 17–19 мая 2000 г.: у 3 кн. Кн. 1 / рэдкал.: А.І. Лугоўскі (гал. рэд.) ды інш. Мінск: БДПУ імя М. Танка, 2000. С. 162–164.
17. *Слобожанина М.В.* Социокультурные основания формирования патриотического сознания // Актуальные проблемы современного гуманитарного образования: Материалы 3-й республиканской научной конференции молодых ученых и аспирантов, Минск, 29 ноября 2006 г. Минск: РИВШ, 2006. С. 257–259.
18. *Субботина В.П.* Роль философии в формировании мировоззрения Кастуся Калиновского // Наука. Образование. Технологии – 2008: Материалы Международной научно-практической конференции, 21–22 марта 2008 г. Барановичи: в 3 кн. / под общ. ред. В.В. Таруца. Кн. 3: Актуальные проблемы реформирования педагогического образования / под ред. Н.В. Зайцева (гл. ред.) и др. Барановичи: РИО БарГУ, 2008. С. 138–139.
19. *Шалькевіч В.* Каліноўскі Кастусь // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. Т. 4. Кадэты – Ляшчэня. Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1997. С. 31–33.
20. *Шалькевіч В.* Язэп Каліноўскі і яго Споведзь // Chryścijanskaja Dumka. 1994. № 1 (215). С. 5–13.

Аннотация. В статье исследуется ряд текстов белорусских ученых, опубликованных в сборниках научных конференций, проходивших в Белоруссии в начале XXI века. Содержание данных текстов показывает, что фигура польского повстанца К. Калиновского воспринимается белорусскими учеными идеализированно, с использованием идеологических штампов и интерпретаций, формирующих представление о том, что польский повстанец К. Калиновский был белорусом.

Ключевые слова: К. Калиновский, польское восстание 1863–1864 годов, белорусская историография, белорусская национальная героика, белорусская мифология истории.

Alexander D. Gronsky, PhD in History, Associate Professor. Leading Researcher, Section for Byelorussia, Moldavia and Ukraine, Center for Post-Soviet Studies. Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences. E-mail: agr1976@yandex.ru

The Image of K. Kalinowski in the Articles Included in the Miscellanies of Byelorussian Scientific Conferences of the Beginning of the 21st Century

Abstract. In the article the author examines a number of texts by Byelorussian scientists published in the miscellanies of scientific conferences held in Byelorussia at the beginning of the 21st century. The content of these texts shows that Byelorussian scientists idealize the figure of the Polish rebel K. Kalinowski, using ideological cliches and interpretations that form the idea that the Polish rebel K. Kalinowski was a Byelorussian.

Keywords: K. Kalinowski, the Polish Uprising of 1863–1864, Byelorussian Historiography, Byelorussian National Heroics, Byelorussian Mythology of History.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-325-365

Олег Неменский

«История белорусской государственности» в тисках Российской империи

Второй том «Истории белорусской государственности», подготовленный коллективом авторов Института истории Национальной академии наук Беларуси, посвящен времени вхождения белорусских земель в состав Российской империи (с разделов Речи Посполитой до февраля 1917 года) [9]. Заявленный в пятитомнике подход не предполагает всестороннего описания прошлого, а так или иначе концентрируется на тех его аспектах, которые могут рассматриваться как исторические проявления белорусской государственности[1]. Как сказано в авторской аннотации к изданию, в нем «глубоко и всесторонне изучен и охарактеризован государственно-правовой статус белорусских земель в составе Российской империи», отражена политика правительства «в отношении белорусского народа», исследованы «закономерности в борьбе белорусских политических партий и организаций за реализацию идеи национальной государственности», а также «рассмотрены основные этапы и особенности, присущие формированию белорусской нации» [9, с. 2].

Кроме того уже в аннотации заявляется, что авторами «определено содержание белорусской национальной идеи». Это подчеркивает идеологический характер нового исторического синтеза, призванного отразить принципы государственного подхода к истории отечества, которые должны отвечать задачам описания прошлого с точки зрения интересов национального строительства. В связи с этим в книге «существенное внимание было уделено анализу процесса зарождения собственно белорусской национально-государственной идеи и белорусского движения» [9, с. 4], «процессу формирования белорусской нации и национальной идеи» [9, с. 5]. Этот круг вопросов – центральный для второго тома, так как именно XIX – начало XX века являются временем появления собственно белорусского движения, которое стало осваивать западные идеи по созданию национальных государств. Изложение истории тут вплотную подводит к эпохе появления уже не «исторических», а «национальных форм белорусской государственности», которыми признаются Белорусская Народная Республика и Советская Белоруссия.

Идеологическое обоснование исторической концепции новой «Истории» было задекларировано на заседании Совета безопасности Республики Беларусь 12 марта 2019 года, на котором впервые столь открыто обсуждались вопросы и задачи по проведению государственной исторической политики. Содержание этого доклада было также представлено в качестве статьи в журнале Администрации Президента РБ «Беларуская думка».

[1] Об определении авторами пятитомника понятия «государственность» и о его разработке на материале истории с древнейших времен до конца XVIII века см. мою статью о первом томе издания [20], а также непосредственно т. I [8].

Неменский Олег Борисович, научный сотрудник Института славяноведения РАН. E-mail: nemenski@yandex.ru

В ней авторы пятитомника сформулировали свое определение исторической политики как «способа создания того необходимого образа прошлого, который должен способствовать консолидации общества, воспитанию патриотических и гражданских качеств, служить укреплению межнационального и межконфессионального согласия, являться “иммунитетом” против чуждых идеалов и ценностей» [11, с. 3–4]. В статье сказано, что в настоящее время со стороны внешних и отчасти внутренних сил ведется «целенаправленная работа по нагнетанию противостояния в общественном сознании с широким использованием исторических фактов» [11, с. 8], а также отмечена большая опасность, которая исходит от этой деятельности: «Любое искажение идентификационной исторической основы может привести к деградации общества и расколу нации» [11, с. 3]. В связи с этим Национальная академия наук подготовила работу, представляющую «целостную картину истории белорусской государственности» [9, с. 4].

Историографические корни

Оригинальность выбранного подхода, согласно которому требуется описывать белорусскую государственность задолго до появления собственно государств, называвших себя белорусскими, а также актуальные политические задачи определили и ту историографию, к идейным традициям которой апеллируют авторы. И тут выделяются два момента. Во-первых, это разработки уже постсоветского времени, которые признаются самыми научными и объективными: «Историография истории зарождения и становления белорусской нации и национальной идеи, свободная от политической конъюнктуры, в основном была наработана в конце XX – начале XXI в.» [9, с. 24]. Но, во-вторых, также делается отсылка и к старой досоветской историографии, причем именно националистического направления, в связи с чем декларируется связь с трудами Вацлава Ластовского [9, с. 223] и прежде всего с его «Краткой историей Беларуси» [16]. Ластовский – ведущий идеолог белорусского национализма начала XX века, премьер-министр Белорусской Народной Республики, позже расстрелянный советской властью, действительно может рассматриваться как один из главных основателей той историографической линии, которая получила новое развитие уже после распада СССР. В книге он именуется «историком белорусского национального направления» [9, с. 216] и представлен главным идеологом белорусской идеи как основанной на «памяти о ВКЛ как об исторической форме белорусской государственности» [9, с. 223]. Тем не менее, несмотря на взрывной интерес к его идейному наследию в первой половине 1990-х годов, при первых каденциях президента А.Г. Лукашенко он не рассматривался как идеолог, на которого стоило опираться государственной власти. Так что декларирование приверженности его идеям в новой академической «Истории белорусской государственности» можно рассматривать как долго подготавливаемый результат утверждения новых принципов в идеологической политике государства.

Наследование определенной линии историографии можно увидеть и в употребляемой авторами терминологии. Например, идеологическое неприятие традиционной русской формы названия «Белоруссия» доведено до крайности: даже в цитатах из старых русскоязычных историков слово «Белоруссия» заменено на «Беларусь», хотя при этом сохранены такие устаревшие формы окончаний как «-аго» вместо «-ого» [см., напр., 9, с. 223]. Название «Белоруссия» употреблено только однажды и то в кавычках – в словах о «присоединении “Белоруссии” к Московскому государству» [9, с. 216], что призвано подчеркнуть особенности словоупотребления со стороны тех, кто присоединял (правда, для времени описываемых при этом событий это как раз ошибочно). При этом не раз встречающееся употребление термина «Московское государство» или «Москва» в значении названия страны свидетельствует о принятии актуальной для белорусской националистической литературы

традиции польского старого словоупотребления и историописания. Можно в связи с этим отметить, что та же Польша или Речь Посполитая нигде «Варшавским государством» или «Варшавой» не называется. Примерно то же видим и в многократном употреблении слова «царизм» [9, с. 193 и др.], но полном отсутствии аналогичных конструкций в отношении польских государств, например какого-нибудь «королизма» или «сеймизма».

Локализация Беларуси

Вопрос о том, что авторами называется «Беларусью» применительно к реалиям XIX века, сам по себе небезынтересен. Так, утверждается, что в него входила Смоленская губерния: «Беларусь (в то время это территория Витебщины, Могилевщины и Смоленщины) и Литва (Минщины, Виленщины и Гродненщины)» [9, с. 288]. В этом можно усмотреть скорее не данные о словоупотреблении того времени, сколько внимание к выводам, сделанным в то время некоторыми этнографами. Любопытно, что при этом локализация «Литвы» дается не по этнографии, а по действительно старой традиции словоупотребления (область западнее реки Березины). При этом в перечислении 42 крупных белорусских городов в конце XVIII века Смоленск не значится [9, с. 188]. Нет среди них и Вильны, что можно счесть некоторым отступлением от традиции белорусской национальной историографии, наверняка имеющим под собой современные политические основания. Нет Вильны и при перечислении крупных городов в конце XIX века [9, с. 189]. В книге вообще нет характеристики Виленской губернии (часть земель которой сейчас входит и в Республику Беларусь) как белорусской территории. Кстати, то же можно сказать и про принадлежащий ныне Польше Белосток. В данном случае критерием, очевидно, выступает не этнография, а границы современной Белоруссии, что нарушает принцип историзма и почему-то не проведено в отношении Смоленщины.

При этом есть еще одно сильное отступление от этого правила: в числе «белорусских провинций» Псковской губернии Российской империи после первого раздела Речи Посполитой упомянута «Двинская, имевшая ранее название Польской Лифляндии» [9, с. 42]. Однако бывшие польские Инфлянты (Инфлянтское воеводство) никакого отношения ни к территории современной Белоруссии, ни даже к этнографически славянским землям не имеют. Очевидно, в данном случае оказался важен их зависимый статус от Великого княжества Литовского (ВКЛ), рассматриваемого в книге как «историческая форма белорусской государственности». Однако и такой подход очень спорен, так как Инфлянты не входили в состав ВКЛ, будучи лишь зависимым от него княжеством, более того, ВКЛ ими владело на равных с Короной, так что к «белорусской государственности» прямого отношения они не имели. Такие противоречия в определении основного предмета описания – «Беларуси» – наверняка является следствием различия мнений и подходов у разных авторов. Однако это можно считать недостатком редакторской работы, так как по подобным – несомненно, важнейшим – вопросам при написании коллективной монографии, имеющей государственное идеологическое значение, все же стоило выработать общие позиции.

Определение нации и национальной идентичности

Немало вопросов вызывает и данное в «Истории» определение такому важнейшему для описываемой эпохи понятию как «нация»: «По нашему определению, нация – это консолидированное на основе общих духовных и культурных ценностей, прав и свобод человека сообщество с высоким уровнем национальной идентичности, сообщество, способное к саморазвитию на базе собственной государственности» [9, с. 214]. Среди плюсов

такого определения я бы отметил его модернистский характер, то есть признание модерной природы нации, – подход, разделяемый большей частью современных исследователей. Исходя из представленных формулировок, можно говорить о нации только при наличии собственной государственности с утвержденным в ней равенством всех граждан перед законом. Однако от четкого следования такому определению авторы книги нередко сами отходят, то и дело говоря о белорусской нации или о чем-то национальном применительно ко времени до образования национальной государственности.

Кроме того, стоит отметить и ряд недостатков самого определения. Так, определение нации как «сообщества с высоким уровнем национальной идентичности» – это логическая ошибка, классический случай «масла масляного». Кроме того, критерий «способности к саморазвитию» носит явно оценочный характер, и потому вряд ли может быть частью формального определения. Хотелось бы тогда также увидеть обоснованные примеры сообществ, не способных к саморазвитию на основе собственной государственности. И что еще хуже: это определение прекрасно подходит к сообществам, которые вовсе не принято рассматривать как особые нации – например, к колониальным элитам. Они тоже относились к колонии как к собственной государственности (и действительно были ее создателями и хозяевами), они тоже были консолидированы на основе общих ценностей, прав и свобод, да и в национальной идентичности им тоже редко когда можно было отказать.

И главное, что вызывает сомнение, – это отсутствие в определении лингвистического фактора. В другом месте этой же книги читаем: «Нет сомнений, что язык является основным фактором в определении этнических и национальных признаков, характерных для населения, проживающего на той или иной территории» [9, с. 186]. Действительно, это широко представленная и довольно глубоко обоснованная в научной литературе точка зрения. Но почему же она не отражена в данном определении нации? Возможно, свою роль играет такой фактор, как реалии современной Белоруссии, – абсолютное преобладание в бытовой практике ее граждан русского, а не белорусского языка, вынуждает искать другие критерии определения нации. Опять же надо отметить, что редакторы явно не потрудились привести главы с разным авторством к единому знаменателю по таким важным темам.

Схожие вопросы возникают и касательно представленного в книге определения национальной идентичности. Из него полностью убран фактор самоназвания, который в научной литературе обыкновенно рассматривается как основной в этом вопросе. Здесь же она определяется как «конкретная эмоционально-психологическая, политико-идеологическая и культурная реакция/позиция как отдельных индивидов, так и этнической группы в целом в восприятии себя в окружающем мире, которая проявляется в принятии ими решений во всех сферах исторической деятельности» [9, с. 214].

Помимо того, что это определение состоит из целого ряда весьма оригинальных понятий, которым самим надо тут же давать свое определение, оно заставляет усомниться в адекватности использования авторами русского языка. Например, конкретная реакция в восприятии себя в окружающем мире – это нечто трудно вообразимое, так как реакция может быть только на что-то, а не в восприятии себя. Восприятие себя может определять реакцию, но не может ее в себе заключать. Возможно, имеется в виду реакция на восприятие себя (другими), но это только предположение.

В целом, хочется надеяться, что теория нации и идентичности в Белоруссии будет развиваться и дальше, но уже в большей связи с общемировыми наработками в этой сфере. Однако несомненно, что именно такие определения необходимы авторам для их системы обоснований истории белорусской государственности.

Концепция становления белорусской народности и нации

Попытка уйти в определении нации от языкового критерия, а в определении национальной идентичности – от критерия наличия закрепленного в самоназвании самосознания позволяет авторам, в сущности, свободно распоряжаться тем, кого в прошлом признавать белорусами и что именно определять как белорусское. Такая свобода ложится в основу целой исторической концепции, согласно которой польская и полонизированная шляхетская элита признаются «белорусскими» независимо от их языка и самосознания, благодаря чему Великое княжество Литовское и Речь Посполитая обозначаются белорусскими историческими государственностями, а Российская империя – нет, ведь именно так она воспринималась католической шляхтой. Такой подход позволяет выстроить стройную схему формирования белорусской народности и становления национального движения: «Если белорусская народность формировалась в рамках государства, которое белорусская элита считала своим, то формирование нации происходило в условиях борьбы этой же элиты за возрождение утраченного государства» [9, с. 216]. Таким образом, все польское движение против российских властей на белорусских землях становится собственно белорусским национальным движением, а основным историческим противником национальных чаяний белорусов оказывается Россия.

Такое фактическое отождествление государственности Литвы и Польши с Белоруссией на практике дается непросто, однако сложных доказательств не приводится – все так или иначе сводится к довольно прямолинейной тактике обозначения «своим». Например, авторы пишут, что в XIX веке «название и память о Великом Княжестве Литовском частично перешло к другому народу» [9, с. 216]. Получается, что до XIX века у литовцев не было ассоциации себя и своей истории с ВКЛ, что звучит, мягко говоря, странно. Но каких-либо размышлений и тем более доказательств своей позиции авторами не приводится. Так же и с отождествлением польской шляхты с белорусской. Например, утверждение, что местная шляхта считала государственность Речи Посполитой своей, доказывается на основе воспоминаний Игнатия Домейко[1] о студенческих годах Адама Мицкевича, из которых следует, что они оба воспринимали Речь Посполитую как свое государство. Однако логика такого доказательства возможна только благодаря полному игнорированию их этнокультурной идентичности и родного языка.

Таким образом, вся историческая концепция строится на простом игнорировании того факта, что «белорусская элита», которая воспринимала Речь Посполитую как свое государство, на самом деле была польской (как и Домейко с Мицкевичем), к формированию «белорусской народности» никакого отношения не имела, а их последующая борьба за «возрождение утраченной государственности» не имела никакого отношения к «формированию белорусской нации» – наоборот, они против него боролись, так как стремились к восстановлению на этих землях Польши. Но действительно, если проигнорировать то, что эта элита этнически и культурно не была белорусской, то все выглядит логично. Таким образом, то, что данные в книге определения нации и национальной идентичности подходят и к колониальным элитам, оказывается вовсе не случайным – именно на отождествлении белорусов с польскими колонизаторами построена вся историческая концепция книги.

При этом надо оговориться, что сам факт иной идентичности не отрицается, просто не считается достойным внимания при определении кого-либо как белорусов. Так, авторы указывают, что «идентичность большинства полонизированной белорусской шляхты состояла в триаде “литвин – поляк – европеец”» [9, с. 217]. «В XIX в. невозможно было отмежеваться и от того факта, что польская культура глубоко вошла в плоть и кровь местного

[1] Игнатий Домейко называется авторами «белорусским и чилийским ученым» [9, с. 217].

населения» [9, с. 263]. «Поляки и этническая Польша оказывали большое влияние на политическую жизнь шляхты/дворянства западных губерний, которая оставалась носителем польского языка и культуры» [9, с. 263]. Однако выбранные особенности определения нации и этнонациональной идентичности позволяют авторам не видеть никакого противоречия в том, что у «белорусской шляхты» не было ни белорусского самосознания, ни языка.

Для доказательства того, что не только шляхта была белорусской, но и более широкие слои населения, приводится экскурс в историю середины XVII века – к ставшей популярной благодаря работам Олега Латышонка теме казачьего полка Константина Поклонского как белорусской «административно-территориальной единицы с центром в Могилеве», претендовавшей на автономные права в отношениях с Россией и Речью Посполитой. Самому факту установления в военных условиях особой казачьей системы власти придается национальное значение: «История полка заняла 1654–1655 гг., но она свидетельствовала, что “белорусская идея” имела конкретное политико-государственное воплощение» [9, с. 216]. А последующий переход этого полка под власть ВКЛ (то есть измена царю) рассматривается как доказательство его белорусского национального характера. Авторы пишут, что Поклонский «мог сыграть такую же роль в истории Беларуси, как и Б. Хмельницкий в истории Украины, но этого не случилось, так как К. Поклонский перешел со своим полком на “сторону Литвы” и, таким образом, присоединение “Белоруссии” к Московскому государству юридически так и не было оформлено» [9, с. 216].

«В дальнейшем факт создания К. Поклонским белорусского административно-территориального образования под эгидой российского царя Алексея Михайловича и переход его на сторону ВКЛ не давал возможности политикам и историкам вести речь о добровольном “воссоединении” Беларуси с Россией, как это устоялось в российской историографии в отношении Украины» [9, с. 216], – подчеркивают идеологическое значение этого события авторы книги и делают из этого впечатляющий по своему содержательному размаху вывод: «Провал дела К. Поклонского наглядно свидетельствовал, что большинство жителей тогдашней Беларуси, в отличие от Украины, считали ВКЛ и Речь Посполитую своими государствами» [9, с. 216]. Однако уже в более позднее время отсутствие «особой поддержки восстанию» 1794 года под руководством Т. Костюшко со стороны населения белорусских земель объясняется авторами «отсутствием устойчивой связи между населением присоединенных к Российской империи земель и Речью Посполитой» [9, с. 264]. Как одно с другим сочетается, остается непонятным.

Российская империя, таким образом, противопоставляется Великому княжеству Литовскому и всей Речи Посполитой как чуждое для белорусов государство. Это «доказывается» и на ряде других примеров. Так, утверждается, что «многие нормы Статутов ВКЛ перешли в Конституцию Речи Посполитой, принятую 3 мая 1791 г., которая провозглашала принцип разделения властей и право народа определять свою судьбу» [9, с. 3]. Какие именно нормы, при этом не объясняется, как и не делается оговорка, что под «народом» в тексте этой «конституции» («Правительственного закона») подразумевался “naród szlachecki”, то есть это слово имело сословное значение и относилось ко всей шляхте государства.

Зато такой подход позволяет противопоставить Российскую империю Речи Посполитой как якобы отменившую белорусские национальные права: «Политическая элита Российской империи не признавала за белорусами право на национальную автономию в составе империи» [9, с. 3]. Формально этим словам вряд ли можно что-то возразить, но рядом с предыдущим утверждением они звучат именно как противопоставление двух государств по критерию признания прав белорусов. Последнее подчеркивается и актуализацией всей принятой в советской историографии критики Российской империи. Так, в главе по историографии при описании работ советских историков (Н.М. Дружинина и П.А. Зайончковского) дается

заключение: «В этих работах отмечалось, что в самодержавной России реального самоуправления не могло быть» [9, с. 11]. Такая логика призвана обосновать общий взгляд на пребывание белорусов в составе Империи как на эпоху их борьбы с нею за национальное освобождение, в ходе которой и сформировалась «белорусская национальная идея».

Национальная политика Российской империи

Большое место в книге занимает глава «Государственно-правовой статус белорусских земель в составе Российской империи». Она является очень подробным, можно сказать, дотошным описанием истории административного деления и органов власти белорусских земель и выделяется из общей канвы тем, что составляет, возможно, наиболее свободную от идеологической нагрузки часть книги. Однако в этом же можно усмотреть и ее недостаток – остается непонятным, как ее текст соотносится с общей идеей пятитомника, так как материал подан без каких-либо доказательств и обоснований того, что это именно история белорусской государственности. Возможно, это объясняется тем, что как раз органы власти Российской империи в представленной концепции не рассматриваются как формы белорусской государственности, статус таковых закреплен только за органами власти Речи Посполитой и новыми государственными образованиями XX века. Но тогда неизбежно возникает вопрос, зачем вся эта информация приведена в настоящем издании? От этой темы требовалось только то, что нужно знать для понимания истории отмены белорусских форм государственности в имперской системе и дальнейшей истории их возрождения белорусской государственности. Однако об этом во второй главе ничего ясного не сказано, что делает ее как бы противоречащей общему идеологическому настрою книги.

Зато идеологический характер текста ярко проступает в других частях при описании национальной политики Российской империи. Уже во введении говорится, что весь политический строй Империи способствовал конфликту ее народов с властью: «Система политического устройства, существовавшая в России, не способствовала разрешению межнациональных конфликтов, что усиливало центробежные тенденции и стремление народа Беларуси к выходу из империи и обретению собственного государственного дома» [9, с. 4]. Критическая линия в описании устройства Российской империи дается в качестве обоснования стремления белорусов к независимости и конфликтной истории отношений с этой государственностью: «Российская власть, несмотря на неоднократные попытки лидеров политических партий и организаций белорусских земель добиться самоуправления белорусского края на принципах автономии, не только препятствовала, но и применяла жесткую силу для сохранения status quo» [9, с. 4]. Авторы пишут о борьбе «против тех социальных бедствий, которые приносила правительственная политика» [9, с. 213].

В четвертой главе национальная политика России подвергается жесткой, уничижительной критике: «Шовинистическая политика царизма, которая разжигала национальную вражду между белорусами и поляками, белорусами и евреями, русскими, поляками и евреями, давала возможность черносотенцам действовать активно» [9, с. 364]. Однако авторы не только не приводят никаких фактических доказательств такого характера политики, кроме выделения русской и польской избирательной курий, но и не пытаются объяснить, зачем разжигание вражды нужно было царю и его правительству.

Зато они обвиняют монархические партии и православное духовенство в том, что те «использовали лозунги великодержавного шовинизма», и даже в «проведении открытой политики великодержавного шовинизма» [9, с. 371]. Наиболее вероятная трактовка этого выражения подразумевает ненависть государственного народа к малым, стремящимся к обретению собственной государственности. Однако в Российской империи белорусское население рассматривалось властями и обществом как часть основного народа, а не

меньшинство. Носителями местного сепаратизма виделись в Северо-Западном крае поляки и отчасти литовцы, но никак не местное православное население.

Примечательно, что в третьей главе царская политика описана совершенно иначе. Например, в разделе «Национальная политика российского правительства в начале XX в.» сказано, что «в целом российские власти были заинтересованы в сохранении стабильности в межнациональных отношениях, стремились пресекать возможные столкновения еврейского и христианского населения, хотя не всегда могли оперативно реагировать на возникающие проблемы» [9, с. 246]. И это утверждение подтверждено целым рядом фактов, как, например, равное отношение судебной системы к участникам межэтнических столкновений между христианами и евреями, включая одинаковые меры наказаний – как, например, по результатам Гомельского погрома августа 1903 года [9, с. 245]. Понятно, что разные главы книги имеют разное авторство, но все же это монография, а взгляд на одни и те же вопросы в данном случае слишком сильно разнится.

Подобных противоречий в изложении материала встречается немало. Например, в книге описывается политика правительства по усилению уровня грамотности и общего образования жителей белорусских земель. При этом подчеркивается, что «укрепление национальной идентичности и, вместе с тем, рост национального самосознания обусловлены степенью образованности каждого человека и этнической группы в целом» [9, с. 232]. Однако работа правительства по повышению уровня образования почему-то не воспринимается как фактор формирования белорусской идентичности, а таковой видится лишь в борьбе с Россией. При этом позже приводятся слова виленского генерал-губернатора П. Святополка-Мирского о том как «важно поднять самосознание во всем белорусском населении, чтобы укрепить тех, кто попадает в польскую среду» [9, с. 234]. Как ни странно, эти слова видятся авторам не свидетельством заботы о самосознании белорусского населения, а как раз наоборот, ведь речь идет о неприемлемой для них борьбе с польским влиянием и политикой русификации.

Определения того, что такое «политика русификации», как и описания того, в чем она заключалась и как проводилась, в книге нет[1]. Просто авторы любые централизаторские действия властей называют «русификацией». Разве что такое определение можно увидеть в словах о том, что «самодержавие стремилось увеличить “русский элемент” в белорусско-литовских губерниях» [9, с. 192], при этом под «русскими» подразумеваются главным образом великороссы. «Русификаторская политика правительства была направлена на интеграцию различных этнических групп в единый имперский организм, формирование лояльного отношения к власти и предотвращение межнациональных конфликтов» [9, с. 257], – сказано опять же в противоречии с основным настроем книги. Кроме того, русификацией признается любая борьба с польским культурным и идейным влиянием: «Задача русификации на территории западных губерний заключалась прежде всего в противодействии польскому национально-культурному влиянию, усилению приверженности белорусов к русскому языку, культуре, государственности» [9, с. 257]. Как ни странно, ее же проявление видится в том, что «представители российской администрации считали целесообразным в противовес полякам увеличивать роль белорусов в экономической, политической и культурной жизни» [9, с. 257]. Если учесть, что речи о полонизации в прошлом (в период Речи Посполитой) и в XIX веке в книге не идет, то Российская империя предстает довольно своеобразным государством, политика которого была просто враждебна всему национальному как таковому.

Авторы утверждают, что «самодержавие проводило форсированный курс на административную интеграцию национальных окраин, их языковую и культурную унификацию

[1] Хотя это активно дебатируемая в современной науке проблема [см., напр., 3, с. 436–437; 2, с. 9; 18, с. 54–77; 17, гл. I].

в форме русификации» [9, с. 238]. При этом поясняется, что национальная политика имела целью «интеграцию всех этносов в единую российскую нацию, которая бы включала в себя граждан империи различного этнического происхождения» [9, с. 238]. Очень странное утверждение, ведь сама теория российской нации была впервые сформулирована идеологами Всероссийской фашистской партии только в начале 1930-х годов, а потом получила новое развитие уже в качестве официальной идеологии в России 1990-х годов и то с явной попыткой обойти вопрос об ассимиляционных практиках. Переносить все эти идеи в XIX столетие и вкладывать их в сознание ответственных за проведение национальной политики является не только откровенной модернизацией, но и прямым подлогом. Даже если говорить не о российской, а о русской нации, то политический курс на ее формирование был впервые заявлен только при Петре Столыпине, то есть уже в XX веке. Во второй половине XIX века правительство было озабочено не русификацией национальных окраин, а лишь укреплением русского самосознания у его традиционных носителей, что опять же никак нельзя считать русификацией. Но свободный полет исторической фантазии авторов ничем не сковывается, ведь они сами при этом поясняют, что официальных документов, которые бы формулировали принципы национальной политики царизма, просто не существовало [9, с. 239].

Дается следующее описание политики Российской империи на белорусских землях: «Стремление царского правительства к органической инкорпорации территории Беларуси в состав России под лозунгом “утраченного ранее и вновь обретенного” народом Белой Руси “Великого Отечества” поддерживалось насаждением этнически русского землевладения, русификацией дела народного просвещения, издательского дела, государственного управления, борьбой с политической оппозицией, в том числе в форме сепаратизма» [9, с. 212]. Авторы говорят и о «правительственной политике по русификации местного крестьянского населения», которая, по их мнению, «увенчалась неуспехом» [9, с. 226]. Однако каких-либо доказательств этого утверждения не приведено, а речь далее идет о свидетельствах пользования местным наречием среди мелкопоместной шляхты.

При этом политика властей относительно литовцев описана скорее непредвзято: «…в начале XX в. в отношении литовского населения западных губерний российские власти проводили политику предотвращения их полонизации» [9, с. 246], – однако в отношении белорусов та же политика называется авторами русификацией. При этом «русификаторская политика царизма отрицательно сказалась на этнических белорусах Смоленщины, большинство которых переняло русский язык» [9, с. 185]. Абсолютное господство русского языка среди жителей современной Республики Беларусь является, очевидно, результатом уже советской русификации.

Авторы совершенно верно пишут, что «представления о взаимной дополняемости трех составных частей единого суперэтноса [имеется в виду русский народ – *О.Н.*] в определенной степени стимулировали изучение этнографии и истории каждой из ветвей восточных славян, осознание специфики их национальных интересов. Власти не ставили знак равенства между белорусом и великороссом, не стремились лишить белорусский народ присущей ему самобытности, не принимали в отношении белорусов дискриминационных законов. В то же время власти не считали их отдельным этносом» [9, с. 240]. Более того, в книге признаётся, что «в отдельных случаях правящая бюрократия была готова поддержать “самосознание непольских народностей” в качестве потенциального противовеса полякам» [9, с. 240]. А про первые годы XX века сказано, что «среди российской администрации преобладала заинтересованность в создании социальной опоры власти в лице мелких землевладельцев католического вероисповедания», и власти «стремились подтолкнуть их к отмежеванию от поляков и формированию белорусской самоидентификации» [9, с. 242]. Даже признано, что «российские власти были заинтересованы в сохранении стабиль-

ности в межнациональных отношениях» [9, с. 246]. Верно, но как все это сочетается с заявленными выше утверждениями о правительственной политике по «русификации» и созданию «единой российской нации»? Здесь, вероятно, мы имеем дело скорее с недостатком редакторской работы, так как части текста, написанные разными авторами, просто не были приведены в единую концептуальную конструкцию.

О белорусах

Историческая концепция «Истории белорусской государственности» исходит из аксиоматичности и самоочевидности существования особого белорусского народа в прошлых столетиях. В связи с этим неудивительно, что ее авторы вообще не задаются вопросом, когда возникла и как формировалась белорусская идентичность. Это, очевидно, политически слишком неудобная тема для представленной в книге концепции, так что ее просто обходят стороной, как бы подразумевая исконное существование белорусского самосознания. Такое игнорирование важнейших исторических процессов на территории Белоруссии не позволяет адекватно описывать и другие стороны местной истории.

При поиске свидетельств заявлений белорусской идентичности, авторы проявляют удивительную вольность в трактовках. Так, например, слова крестьянина из записи на судебном допросе: «…от скудости хлеба прежде забрания белорусского края под российскую державу отличился за старорусскую границу», – трактуются следующим образом: «крестьянин перед лицом судебной власти утверждал, что он житель Беларуси, а не Речи Посполитой, что он белорус» [9, с. 212–213]. При этом никаких заявлений «я белорус» в приведенной фразе на самом деле не содержится.

Авторы также пытаются подтвердить существование белорусской этнической идентичности через придание этнического смысла топонимии. «Белорусский полк» Константина Поклонского (сер. XVII века) признаётся «административно-территориальным образованием, имевшим в своем названии этническую составляющую» [9, с. 215], что, конечно, неверно, ведь это было наименование по устоявшемуся названию региона, а не народа. Примерно тот же ход мы видим и в том, что белорусы названы «титульным этносом пяти западных губерний» [9, с. 191]. Опять же Белорусское генерал-губернаторство имело название не по «этносу», а по названию региона – Белой Руси, но в данном случае это игнорируется. И тут мы видим в том числе и откровенный лингвистический подлог: авторы пишут о создании Белорусской губернии в 1796 году и добавляют, что «с этого времени наименования “Беларусь”, “белорусы” прочно утвердилось не только в литературных сочинениях, научных дискуссиях, они стали политическим фактором в деле формирования белорусской нации» [9, с. 212]. Однако на самом деле название в форме «Беларусь» как грамматически невозможное в русском языке вообще тогда не употреблялось. Кроме того, остается непонятным, как формирование белорусской идентичности через язык официальных документов Российской империи сочетается с обвинениями ее в проведении русификаторской политики.

Та же попытка через подлог найти в прошлом белорусское самосознание проявляется и при описании результатов переписи населения 1897 года. По утверждению авторов, то, что по ним в белорусском регионе было выявлено 5,4 млн человек с родным белорусским языком, «засвидетельствовало крах 100-летней политики инкорпорации» и «стало индикатором роста национального самосознания крестьянства» [9, с. 229]. Однако такие утверждения полностью игнорируют методы проведения переписи и тот факт, что ее результаты представляют собой трактовку опросных листов. Никаких свидетельств массового «белорусского» самосознания в крестьянской среде на то время нет, и характеристика языка опрашиваемых в качестве белорусского – фиксация мнения переписчиков и ученых,

систематизировавших итоговые материалы, то есть как раз отражает политически принятые решения и мнение официальной российской филологической науки того времени, а не лингвистические познания землепахарей.

Кроме того, если авторы исходят из того, что разговорный язык не должен восприниматься как обязательный маркер национальности, то почему они отходят от этого принципа в отношении данных переписи населения? Следовало бы тогда предоставить читателям рассуждения на тему того, какой процент этих признанных белорусскоязычными были собственно белорусами. Одновременно за этими утверждениями стоит полное непонимание самой «политики инкорпорации», ведь выделение особой белорусской речи при проведении переписи было ее составной частью, а не «крахом».

За попыткой увидеть в любом самоотождествлении с регионом Белой Руси белорусскую этнонациональную идентичность логически следует полная индифферентность к конфессиональному критерию, исторически игравшему на этих землях принципиально важную роль при различении русских и поляков. В белорусах авторы видят все славянское население края вне зависимости от его этнического самосознания и религиозной принадлежности, за исключением разве что переселенцев из России (примечательное исключение). «Важная особенность белорусского народа – разделение на православных и католиков» [9, с. 192], – максима, актуальная не только для исторической концепции книги, но и для современной национальной политики Республики Беларусь. Авторы пишут о «белорусском дворянстве, большинство которого было римско-католического вероисповедания» [9, с. 141]. Они критично смотрят на подход некоторых историков, которые «отождествляли дворян римско-католического вероисповедания с поляками по национальности» [9, с. 13]. Это касается как дореволюционных и советских авторов, так и современных. Например, Петр Эберхардт[1] критикуется за то, что он подошел к источникам по демографии белорусских земель «несколько тенденциозно»: «он был склонен считать, по переписи 1897 г., католиков Гродненской губернии поляками» [9, с. 22].

Признание всей местной шляхты белорусской логически лишает изложение темы межнациональных противоречий в крае, представляя ее общество национальным монолитом в отношениях с Центром. Кроме того, из отечественной истории просто убирается тема национального гнета, особенно важная для описания социально-правового положения крестьянства как в Речи Посполитой, так и в Российской империи до 1861 года. Такое игнорирование межэтнических противоречий в обществе позволяет просто не замечать все те направляемые польскими властями процессы полонизации и окатоличивания восточных славян Речи Посполитой, которые с точки зрения современного международного права вполне можно было бы охарактеризовать как проводимый на протяжении столетий этноцид местного населения.

Зато при таком подходе любая ситуация, когда исторические субъекты действовали, не исходя из принципа самоочевидности существования белорусского народа, состоящего из местных жителей восточно- и западнославянского происхождения, признаётся сознательным ущемлением прав белорусов и объясняется специфической злонамеренностью в их отношении. Эти обвинения не работают на материале Речи Посполитой, так как наделение белорусской идентичностью местной шляхты позволяет говорить о признании государством широких прав самоуправления – сословных, но при такой логике еще и национальных. А вот в случае с Российской империей речь заходит не только о шляхте, но и о более широких слоях населения, в том числе о крестьянстве, и отсутствие выраженного

[1] Кстати, имя Петра Эберхардта написано с ошибкой (в форме «Эберхард» [см. 9, с. 22]), и о нем говорится в прошедшем времени, хотя на год издания второго тома «Истории белорусской государственности» (2019) он был еще жив (1935–2020).

признания властями факта существования белорусского народа становится важнейшим аргументом в деле обвинения ее государственности в антибелорусском характере.

Российская власть критикуется за то, что в своей политике выделяла конфессиональные группы как национальные: «На выборах в III Думу белорусы были разделены на православную “русскую” и католическую “польскую” курии» [9, с. 341[. «Одним из негативных факторов, тормозивших процесс строительства белорусской нации, была политика российского правительства по непризнанию политической субъектности белорусов. <…> Российские чиновники “не замечали” в западных губерниях ни белорусов, ни украинцев. Эти два народа были отнесены к “русским”» [9, с. 229[.

В логике такого обвинения не учитывается русская идентичность тех, кого авторы называют белорусами. Факт русского самосознания восточнославянского населения территорий Республики Беларусь в те века авторами «Истории» полностью проигнорирован. «Правительственные круги Российской империи» обвиняются в том, что они, «несмотря на то, что население Беларуси было привержено родному языку», в соответствии с «идеологией инкорпорации, белорусский язык не считали признаком отдельной нации и отводили ему место “наречия простолюдинов” по сравнению с польским и русским языками» [9, с. 226]. Однако сельские говоры по определению являются наречиями простого народа, а литературной нормы белорусского языка в XIX веке еще не было выработано, так что позицию российских властей можно считать попросту адекватной белорусским реалиям. При этом приведенные рядом слова одного из создателей белорусской нормы Ф. Богушевича о том, что этот язык, который «мы сами, да и не одни мы, а все люди темные “мужицким” зовут, называется белорусским» [9, с. 227], является ярким доказательством того, что мнение «российских властей» разделяли даже деятели белорусского движения того времени, а ведь эти слова сказаны уже в конце века – в 1891 году. Кроме того, вызывает удивление полное отсутствие подобных же упреков в адрес польской стороны, как в отношении времен Речи Посполитой, так и XIX века – трудно не усмотреть в этом вполне определенной предвзятости.

Авторы ссылаются на мнение филологов XIX века о том, что белорусское наречие не является самостоятельным языком: «Самодержавие не желало признавать в качестве самостоятельных этносов ни белорусов, ни украинцев, что нашло отражение в работах российских филологов. При помощи филологических исследований в общественное мнение внедрялся тезис о том, что существует только один язык – русский, состоящий из великорусского, белорусского и украинского диалектов. Это значит, что белорусский язык не считался самостоятельным национальным языком, соответственно и белорусы не признавались в качестве самостоятельного национального сообщества» [9, с. 187]. Как видим, здесь признание белорусских говоров частью русского языка увязано с сознательным выполнением учеными филологами политически мотивированного заказа российской власти, который объясняется свойствами господствовавшей формы правления (самодержавия). Но такие вещи надо доказывать: то, что ученые излагали именно заказную точку зрения, а не честные научные выводы, должно быть подтверждено хоть какими-то данными, как и то, что характер этого заказа определялся именно абсолютистской формой правления. Как тогда объяснить, что подобного же мнения придерживались и независимые от воли царей ученые в других странах и с иной формой правления? Скорее, такие заявления наводят на мысль, что выполнением политического заказа является сам рецензируемый текст, так как он исходит из априорно принятых и потому никак не обосновываемых утверждений, явно соответствующих политической конъюнктуре уже наших дней. В отличие от авторов «Истории белорусской государственности», большинство филологов XIX века стремились к обоснованным суждениям.

Введением двух национальных курий – русской и польской – «царизм, таким образом, официально подтвердил свое отрицание факта существования белорусской

нации» [9, с. 365]. Понятно, что для того чтобы отрицать факт существования чего-то, нужно по крайней мере задаться вопросом о его отдельном существовании. Какие же у авторов имеются данные о том, что в царском правительстве этим вопросом задавались? Кто его ставил, как обосновывал и по какому поводу? Идея небольшого кружка интеллигентов о том, что такая нация существует, на фоне нескольких миллионов местных восточных славян, столетиями заявлявших свою русскую идентичность, а также всей местной литературной традиции, на ней основанной, вряд ли побуждали правительство всерьез задуматься над таким вопросом, а тем более занять по нему какую-то публичную позицию. Скорее, оно просто не было осведомлено о наличии соответствующей точки зрения. Но желание авторов исходить из предположения, что белорусский народ был всегда и его существование было самоочевидно, не позволяет им исходить из более реалистичного восприятия прошлого.

То же самое можно сказать и о других подобных утверждениях. Например, авторы пишут, что, не относясь к крестьянам Белоруссии как к представителям особого, отдельного от русских народа, российские политики «ставили цель очернить белорусских крестьян, показать их неспособными к самостоятельной политической и культурной деятельности» [9, с. 366]. Но хоть какие-то цитаты в подтверждение сознательного наличия такого злого умысла они, понятное дело, не приводят. И элитам, и правительству Российской империи авторы приписывают скрытую убежденность в существовании украинцев и белорусов, что они пытались сознательно преодолеть через создание особых национальных теорий. «Известно, что правительственные круги России считали белорусов частью триединого русского народа. Главный их тезис заключался в том, что три восточнославянских народа – русский, украинский и белорусский являлись тремя составными частями единого русского “суперэтноса”, а для великорусского, малорусского и белорусского народов были характерны общность этнических корней, истории, языковая близость и единая вера – православие» [9, с. 3]. Таким образом, из описания истории выпадают реалии идентитарных процессов, шедших как на белорусских землях, так и в имперском центре. Утверждение самоочевидности существования белорусского народа заслоняет саму возможность выявления системы взглядов, свойственной людям другой эпохи.

Признание аксиоматичности существования белорусской нации (этноса) в прошлых веках фактически блокирует саму возможность ставить вопрос и, соответственно, приводить доказательства в пользу исторической необходимости и обусловленности ее появления. Зато позволяет говорить о факторах, «мешающих национальной консолидации белорусов, замедляющих рост их национального самосознания» [9, с. 198]. Такой подход исходит из представления о «естественном» характере формирования наций, видит историю как неизбежный однонаправленный поток событий и тем самым препятствует пониманию альтернативности этих процессов, их политически обусловленного характера.

О русских

Признание почти всего русского населения Северо-Западного края национально «белорусским» имеет и обратное значение – под собственно русскими в книге подразумеваются только те, кому эту идентичность оставила позже советская власть – восточнославянские жители будущих земель РСФСР. Такой терминологический кульбит приводит к определенным затруднениям, ведь в документах той эпохи этническая номинация сильно отличалась от советской и современной.

Так, например, в теме по сословному самоуправлению указано, что в 1867 году «генерал-губернатору Северо-Западного края было дано право замещать должности всех предводителей дворянства только лицами русской национальности», под которыми, как

следует из следующего предложения, подразумеваются «либо местные русские помещики, либо чиновники из внутренних губерний империи» [9, с. 127]. «Русскими» по национальности при этом авторами признаются только великороссы, которые, в отличие от местного польского дворянства, не рассматриваются в качестве белорусов.

Такая модернизация сильнейшим образом искажает смысл исторического материала не только в отношении понятия «русские», но и понятия «национальность». Его значение в современном словоупотреблении очень далеко по смыслу от редких случаев использования этого слова в XIX веке и полностью игнорирует конфессиональный принцип идентификации (в том числе и в понятии «русский»), из которого исходили органы имперской власти. Зато такой подход позволяет говорить о «преимуществе “польских” землевладельцев над “русскими”» и о том, что «русские в поместьях преимущественно не жили и вели хозяйство через управляющих» [9, с. 158]; под «русскими» подразумеваются помещики из Центральной России. Заводится речь о целях «сближения белорусских и украинских крестьян с русскими помещиками», причем «на платформе имперской государственности» и «против идеи автономии края», при этом игнорируется логика критикуемого законопроекта, который объединял их на основе общей русской народности (законопроект о западном земстве 1909 года) [9, с. 163].

При редком упоминании чего-либо русского в понятиях того времени слово «русский» ставится в кавычки. Например: «идея создания в западных губерниях земств, формируемых национальными куриями, при условии обеспечения преимущества “русской”» [9, с. 162]. Авторы пишут, что «по переписи 1897 г. в пяти западных губерниях насчитывалось 492,9 тыс. русских» [9, с. 192], – что конечно не так, ведь по этой переписи носители белорусского наречия тоже признавались русскими. Местной русской общественно-политической мысли в обществе белорусских земель, по концепции авторов, вообще не было – описывается польская и белорусская, то есть молодого белорусского движения. Вообще прямое отождествление носителей различных наречий с современными национальностями является не только модернизацией, но и крайне спорным по своей методологии ходом, тем более что сами авторы нередко отходят от лингвистического критерия в определении национальности и даже теоретически его отрицают. Это и неудивительно, ведь он вообще не работает в условиях современной Белоруссии с ее массовым русскоязычием.

Принятая авторами позиция, согласно которой народ Белоруссии уже столетиями считал себя белорусским, а не русским, заставляет их отрицать любые факты наличия общей русской идентичности у восточнославянского населения Белоруссии и остальной России. Любые свидетельства наличия общего, унаследованного от времен Древней Руси самосознания, трактуются ими как козни российских империалистов. Собственно, они отрицают и саму древнерусскую общность применительно к белорусским землям. Это специально обосновывается в первом томе, но проявляется и во втором. Так, например, они пишут о «900-летии “крещения Русской земли”» в 1888 году – и специально ставят это выражение в кавычки (и с маленькой буквы), чтобы указать на чисто пропагандистский смысл этих слов.

Сама идея чего-то общерусского, на взгляд авторов, появилась лишь в конце XVIII века в связи с расширением России. Всей той гигантской западнорусской интеллектуальной традиции описания отечественного прошлого, которая воплотилась в киевский «Синопсис» 1674 года, для них как бы не существует. По их мнению, только в результате трех разделов Речи Посполитой «начала утверждаться политическая концепция о том, что это древнерусские земли с русским населением». Она была необходима России «для оправдания внешнеполитической экспансии» [9, с. 260]. Приводимые в тексте слова министра внутренних дел И. Горемыкина о том, что «Западный край – колыбель русской народности, русской государственности, языка и веры» [9, с. 158], оказываются доказательством

не признания этнического первенства за Западной Русью, а проявлением агрессии в отношении нее. «Влиятельные российские сановники» упрекаются в том, что «не допускали даже мысли о возможности восстановления Польского государства в любой форме, они не хотели потерять не так давно присоединенные, по их убеждению, “исконно русские” западные губернии» [9, с. 271].

При этом авторы просто уходят от опровержения этой концепции и ее исторических оснований, очевидно, полагая, что она слишком идеологически неприемлема, чтобы ее обсуждать. Однако даже если согласиться с тем, что территория Полоцкого княжества не входила в Древнюю Русь, то все равно большая часть территорий Белоруссии в нее входила, а значит была «древнерусской землей». По поводу русскости населения – так Москва ориентировалась на его идентичность, которую заявляли самые разные слои населения, включая в том числе и униатскую элиту края. Трудно уйти от того факта, что представления, из которых исходила Империя, были основаны на исторической и этнографической реальности, и корни их формирования именно как исторической концепции были в самой Белой и Малой Руси, а не в Петербурге или Москве. Но авторы априори считают ее искусственной и навязанной и даже берут в кавычки миссию «освобождения “православно-русского населения” Польши от католического господства», почитая ее за проявление желания «отобрать “древнерусские земли”» [9, с. 260]. Еще можно понять польскую логику отрицания общерусского взгляда, основанную на неприятии русской идентичности «москалей», но логика отрицания русской идентичности восточных славян Западной Руси до XX века не приходила в голову даже польским ученым.

Попытку уйти от общерусского взгляда можно проследить и по описанию более поздней истории. Например, в начале 2010-х годов в Белоруссии прошли довольно бурные дискуссии, как обозначать в школьных учебниках Наполеоново нашествие на Россию, двухсотлетняя годовщина которого должна была отмечаться в 2012 году. В русской традиции оно называется Отечественной войной 1812 года, что подчеркивает всенародный характер сопротивления агрессору. В прежней белорусской историографии (даже советского времени) придерживались того же наименования. Однако в современной Белоруссии такое объединение с Россией в понятии общего отечества считается политически некорректным и противоречащим утверждению суверенитета и независимости государства как важнейшей гражданской ценности. Многие участники той дискуссии настаивали на концепции «гражданской войны 1812 года», рассматривая участие местного польского населения на стороне Наполеона как проявление внутреннего конфликта. Однако острота дискуссий и явно негативная реакция части общества на такое нововведение привела власти к выводу, что поднятие темы гражданского конфликта в Белоруссии даже двухсотлетней давности политически неуместно. Тем не менее задача отменить концепцию общей с Россией «Отечественной войны» осталась. И вот в рецензируемом издании мы видим наименование ее просто «войной 1812 г.» [см., напр., 9, с. 25]. Таким образом, в нем просто решено обойти стороной ту дискуссию, тем более что какого-либо описания хода самой войны и связанных с нею событий концепция книги не предполагает. Сохранено главное – непризнание общности отечества с Россией.

Авторы склонны называть тех, кто разделял общерусскую идентичность, позаимствованным у некоторых националистических политиков того времени выражением «истинно русские». Например: «Роль агитатора и организатора “истинно русских” в белорусско-литовских губерниях взяла на себя газета “Окраины России”» [9, с. 353]. Однако в отрыве от контекста конкретного политического дискурса это выражение используется скорее в ироническом значении, что как бы подчеркивается его употреблением в кавычках. Само по себе это выражение не было значимой частью политического языка даже крайне правых партий того времени – их представители могли в выступлениях говорить о чем-то и

о ком-то как об истинно русском, но специального разделения русских на истинных и не истинных ими не вводилось. Использование же публицистических и в данном контексте иронических выражений в научной работе – это, можно сказать, моветон, так как принципиально снижает жанр текста до политической публицистики. Правда, в этом можно усмотреть и положительную сторону, так как в данном случае не столько «снижает», сколько «обнажает», упрощая читателю понимание характера книги, несмотря на ее издание под грифом Академии наук.

Западнорусизм и краевость

Вся история «процесса зарождения собственно белорусской национально-государственной идеи и белорусского движения» [9, с. 4] дана в противопоставлении «польского вопроса» и «русского дела» в крае[1], которые выступают как два противоположных фактора, ограничивавших национальное волеизъявление белорусов. Такое словоупотребление трудно не признать спорным, ведь фактически оно отрицает наличие «польского дела» в крае, а также «русского вопроса», позволяя тем самым не привлекать внимание к сознательной работе значительной части польской общественности по возрождению своей национальной государственности и одновременно сводить тему русского возрождения к деятельности внешних для края сил.

К интеллектуальному течению местного русского патриотизма – западноруссизму – авторы «Истории» относятся с нескрываемой враждебностью. В них видят противников белорусского народа: «В последние десятилетия XIX и в начале XX в. движение белорусов по пути национального единения сталкивалось с официально-государственной идеологией и пропагандой западнорусизма» [9, с. 210]. Характерно, что единственным достойным упоминания специалистом по этому течению признается его основной критик с белорусских националистических позиций: «В белорусской историографии проблема западнорусизма являлась предметом научного анализа А. Цвикевича» [9, с. 27]. Сторонники западнорусизма обвиняются в том, что они «отказывали белорусам в праве на национальное развитие, на перспективу национального самоопределения» [9, с. 210]. Исторически это совершенно неверно и сказано, очевидно, в попытке опорочить идейно неприемлемое для авторов течение, ведь как раз к национальному самоопределению и развитию призывали жителей Белоруссии западнорусисты, и очень многое для этого сделали. Разве что они видели это самоопределение и развитие в единстве с остальным русским народом, а не в обособлении от него.

Авторы считают неприемлемым в первую очередь их оценку польского периода отечественной истории: «Для идеологии западнорусизма была присуща собственная концепция исторической памяти, согласно которой белорусский («западнорусский») элемент в ВКЛ и Речи Посполитой находился в угнетенном состоянии и поэтому постоянно тяготел к Москве и России» [9, с. 219]. Очень показательно, что для представленного в книге взгляда на историю логически необходимо все это отрицать и вопреки объективным фактам и огромной многовековой традиции местной мысли настаивать на отсутствии фактов угнетения православного и униатского населения в Речи Посполитой.

Примечательно также, что становление западнорусской исторической школы отнесено ко времени после восстания 1863–1864 годов, когда, по мысли авторов, «в печати появился ряд публикаций с обоснованием исконно русского характера края» [9, с. 291]. Как авторы умудрились пропустить огромный объем литературы об этом, которая издавалась в крае еще с XVI века и которую органично продолжали эти историки, остается загадкой.

[1] Например: «Проблема противопоставления “польского вопроса” и “русского дела” в Беларуси всегда вызывала повышенный интерес историков» [9, с. 27].

При этом в качестве основной характеристики данных работ обозначено то, что «их отличительной чертой стала тенденциозная антипольскость» [9, с. 291].

По мнению авторов, «главный тезис западнорусизма заключался в том, что три восточнославянских народа – русский, украинский и белорусский являлись тремя составными частями единого русского “суперэтноса”» [9, с. 290]. Сказано, что, по мнению западнорусистов, для этих трех народов была характерна «общность этнических корней, истории, языковая близость и единая вера – православие», а это, на их взгляд, «предусматривало и единство государственное» [9, с. 290]. Это крайне неадекватное описание западнорусизма, так как его сторонники вообще не склонны были выделять «три восточнославянских народа» и не оперировали таким термином, как «суперэтнос». Авторы даже не попытались изложить основные идеи западнорусизма, передав скорее восприятие этой идеологии со стороны ее противников, причем современных, употребляющих научные понятия наших дней. Понятно, что такой подход нужен для того, чтобы воспрепятствовать формированию у читателей адекватного понимания этого явления. Это можно объяснить только политическими опасениями, как бы не допустить невольную пропаганду его идей.

Описание идей западнорусских ученых подано нарочито упрощенно, в ряде случаев интеллектуально грубо и далеко от адекватности. Так, по мнению авторов, «М. Коялович, а за ним и все приверженцы западнорусской концепции» «с усилением католицизма связывали все негативные процессы (как, например, закрепощение крестьян)», а «создание и вся история Речи Посполитой интерпретировалась как деградация» [9, с. 293]. Коялович также обвиняется в том, что по причине польской колонизации и полонизации шляхты не считал представителей высшего слоя края белорусами.

Кроме того, в книге дано крайне далекое от реальности определение славянофильства как течения, заложившего «идейные фундаменты западнорусизма». Его характеризует, как выясняется, в первую очередь «противопоставление православной России католическому Западу» и утверждение о «духовном преимуществе православия над католицизмом». К этому добавляется идея «лидерства России среди славянских стран, ее роль барьера перед революцией как явлением исключительно западным» [9, с. 290]. Собственно и все. Можно еще представить себе, что авторам не хотелось читать сочинения славянофилов, но почему они не могли воспользоваться хотя бы энциклопедическими статьями о них (даже в крайне критичных в отношении этого идейного течения советских изданиях) – трудно понять. И весьма забавно, что основным примером славянофильской организации для авторов оказалось Кирилло-Мефодиевское общество и лично Н.М. Костомаров. Этот историк был известен своими близкими к западничеству взглядами и немало оппонировал славянофилам, что, очевидно, осталось вне поля зрения авторов, а сведение украинофилов со славянофилами в общую идейную массу (в одном кратком абзаце об определении сущности славянофильства) наверняка вызвано ассоциацией и тех и других с панславизмом. Но в чем состоит разница между всеми этими течениями, они разбираться не стали.

Все основные научные учреждения на белорусских землях России, задачей которых было изучение истории, на взгляд авторов, занимались «подготовкой кадров и формированием источниковой базы западнорусизма» [9, с. 291], и в первую очередь это Северо-Западный отдел Русского географического общества и Виленская археографическая комиссия. Получается, что гигантский кропотливый труд по выявлению и систематизации архивов, а также изданию важнейших исторических источников по истории Белоруссии, которыми по сей день пользуются все исследователи, современными историками Академии наук Республики Беларусь определяется лишь как работа по идеологическому заказу.

Про одну из центральных фигур всей истории Белоруссии XIX века – митрополита Иосифа (Семашко) – сказано мимоходом. Он перечислен среди других «идеологов

западнорусизма», которые в немалом числе были «выходцами из Украины» [9, с. 290]. Также упомянуты его записки на императорское имя, в которых ставилась задача «борьбы с полонизмом на территории западных губерний» [9, с. 290]. Все возглавленное им движение по возвращению из унии в православие просто проигнорировано. Примечательно и искажение титула митрополита: вместо «митрополит Литовский и Виленский» он дважды назван просто «Литовским православным митрополитом», что без отсутствующих в книге объяснений о канонической территории этой митрополии может быть воспринято просто как очередной акцент на том, что он вроде как и не имел отношения к Белоруссии.

Большое внимание уделено труду классика западнорусской мысли Евфимия Карского «Белорусы». При этом подчеркнуто, что он отразил процесс того, как «белорусский язык становился фактором национальной идентичности» [9, с. 228]. Но остается непонятным, как это увязано с крайне критичным отношением к западнорусизму, выразителем взглядов которого Карский являлся.

«Два основных течения» в общественно-политической мысли белорусско-литовских губерний – западнорусизм и краевость – рассматриваются в сопоставлении. Примечательно опять же употребление кавычек: «оба течения опирались на историческую традицию края: западнорусизм – на “русскую” (период Киевской Руси), краевость – на польско-литовскую (период Речи Посполитой)» [9, с. 290]. «Русскую» авторы берут в кавычки, чтобы продемонстрировать свое несогласие с тем, что она здесь была русской, зато «польско-литовскую» – без кавычек: она признаётся.

В контрасте с частью по западнорусизму, параграф о краевском движении написан в позитивной лексике и явно с теплом в отношении своего предмета. Так, в отличие от западнорусизма, краевая идеология «строилась на историческом сознании и памяти», что расшифровывается как «осознание своего происхождения и своей связи с историческим прошлым Польши (Короны Польской) и Литвы (Великого Княжества Литовского)» [9, с. 295]. Позитивная лексика тут доминирует: «Обоснование краевой идеологии принадлежит прежде всего представителям элиты белорусско-литовских земель – Р. Скирмунту и М. Ромеру» [9, с. 28], – что заметно контрастирует с описанием западнорусистов как якобы выполнявших идеологический заказ враждебной белорусам власти. При этом подчеркнуто, что краевцы «русских воспринимали как завоевателей, враждебный элемент и гражданами края не считали» [9, с. 295].

Удивляет то, что вниманием обойдено такое различие двух движений, как собственно исторический труд. О том, что западнорусские ученые проделали огромную работу по исследованию истории края и изданию источников, а краевцы даже близко не подошли к такому объему работ, не сказано ничего. Еще больше удивляет, что польское культурное доминирование даже как идея не вызывает у авторов озабоченности за судьбу белорусской культуры – борьба с польскими влияниями считается сферой деятельности осуждаемых русификаторов.

Краевая идеология, по мнению авторов, «отрицала этнокультурные принципы в определении национального состава населения» и «противостояла идеологии этнического национализма» [9, с. 333]. Действительно, в их логике можно усмотреть скорее параллели с гражданско-политическим национализмом, со свойственными ему жесткими ассимиляционными практиками в пользу единого (в данном случае польского) культурного стандарта. Но какая от этого была польза белорусскому населению – не объяснено. Гражданский национализм на основе польского культурного стандарта, то есть проект «слияния всех коренных этносов края и формирования новой политической нации» (то есть ассимиляции в польской культуре и белорусов, и литовцев) описывается как идея «доминирования общих интересов над нуждами отдельных этносов и социальных групп» [9, с. 296], что также видится «борьбой с идеологией этнического шовинизма» [9, с. 297].

Обе идеологии описываются как небелорусские – первая как русскоязычная, вторая как польскоязычная [9, с. 297], причем «их представители не считали себя поляками и не были чистыми русскими», – правда, каков критерий чистоты русскости не объяснено. Утверждение же, что краевцы не считали себя поляками, требует хоть каких-то доказательств, так как вызывает, мягко говоря, большие сомнения в адекватности.

Впрочем, за обоими движениями признаются и определенные заслуги. Сказано, что «деятельность западнорусистов позволила снизить польское культурное и религиозное влияние в Беларуси и определить ее этнические границы, что сделало возможным на фоне ослабления польского движения формирование белорусского» [9, с. 297]. Также отмечено, что именно «из краевых организаций вышла часть представителей белорусского возрождения начала XX в.» [9, с. 297], что довольно точно отражает их идейные корни. И все же начало всему «процессу осмысления и программного изложения идеи белорусской государственности» положило польское восстание 1863–1864 годов [9, с. 305], то есть белорусское движение выводится авторами именно из польского.

Так, историческая концепция, представленная в новом академическом синтезе белорусской истории, является сознательным развитием идейных наработок старой польской историографии, основывается на отождествлении с белорусами местных польских колониальных элит, борьба которых за возрождение на белорусских землях польской государственности признаётся соответствующей белорусским национальным интересам и чаяниям. Для всего этого авторами вводится новое определение нации как не имеющего особых лингвистических и идентитарных признаков сообщества. Понятно, что результатом внедрения такого прочтения отечественной истории в Белоруссии должно стать формирование современного самосознания белорусов на основе идей об историческом единстве с поляками и извечной вражды с русскими.

Идея восстановления Речи Посполитой и антироссийские восстания

Вся история формирующегося белорусского национального движения так или иначе сводится авторами к борьбе за восстановление польской государственности, что само по себе звучит странно, если не сказать комично. Авторы считают, что «принцип восстановления Польши в границах 1772 года не противоречил в то время стремлению литовцев и белорусов к собственной государственности» [9, с. 287], но при этом не дают никаких доказательств такого абсурда. Как восстановление государственности другого народа на белорусских землях могло не противоречить стремлению к обретению своего государства? Кажется, еще ни один другой народ не обретал себя в борьбе за восстановление над собой власти другого народа. Но белорусы в концепции «Истории белорусской государственности» – особый случай.

Авторы выделяют несколько этапов «развития идеи государственности на территории белорусско-польских земель»: 1) борьба части общества в 1794–1810 годах за восстановление независимости Речи Посполитой; 2) геополитическая борьба в 1811–1812 годах между Францией и Россией и проекты по «созданию буферных государств на территории белорусско-литовских земель», поданные Наполеону; 3) «мирная общественно-политическая деятельность в 1812–1829 гг. тайных обществ различного типа, которые постепенно переходили от культурно-просветительских целей к вопросу восстановления государственности Польши»; 4) «вооруженная борьба общества Царства Польского и белорусско-литовских земель во время восстания 1830–1831 гг. за возрождение Польши»; 5) «вооруженная борьба общественности белорусско-литовских земель в период восстания 1863–1864 гг., пробуждение национальных чувств белорусов» [9, с. 288–289].

Примечательно тут то, что идея русской государственности, на взгляд авторов, на белорусских землях вообще отсутствовала или же была для них внешней, не своей. Однако то, что описанные этапы – это борьба за польскую государственность, что открыто декларировалось и подчеркивается приводимыми авторами цитатами, их вовсе не смущает. По этой логике все, что не русское, для белорусов свое, особенно все польское. К исторической реальности такая логика никакого отношения не имеет, зато вполне понятна ее современная политическая ангажированность.

Кроме того, неизбежно возникает вопрос, на основе чего вообще делается заявление, что белорусы в то время стремились к отдельной от России государственности? На основе представления о естественном стремлении любого народа? Но это не более, чем романтический национализм: большая часть мира по сей день живет не в национальных государствах. И как доказывается, что местное восточнославянское население, которому в то время было свойственно именно русское самосознание, не считало своим государством Россию? Ведь вполне логично, чтобы русские люди желали иметь над собой русского царя, а не польского короля. Или же у авторов имеются сведения, что русское самосознание на белорусских землях к тому времени ушло в прошлое, а население уже считало себя «этническими белорусами» и отождествляло себя с польской государственностью? Но тогда где хоть какие-то доказательства этого, кроме воспоминаний Домейко о Мицкевиче? А ведь в книге даже вопрос так не ставится.

Иногда возникает ощущение, что тактика национал-романтического непризнания реальности прошлого доводит авторов до настоящей фентези-хистори. Например, мнимая тяга белорусского народа к польским хозяевам стала, по их мнению, причиной падения Российской империи: «Идея социальной консолидации между белорусским рабочим и крестьянским движением и местным дворянством белорусско-литовских губерний на почве борьбы за автономное обустройство края была той движущей социальной силой, которая способствовала внутреннему разрушению Российской империи» [9, с. 373]. И это при том, что вся история местной политической борьбы указывает как раз на обратное – на отказ белорусского населения поддерживать сепаратистские лозунги польских партий и на массовую поддержку им русских правых организаций.

Несмотря на глубоко переживаемую в то время польскими повстанцами безучастность к их движению со стороны простого народа, авторы «Истории белорусской государственности» именно в этих восстаниях видят основное проявление тяги белорусского народа к национальному существованию. Они делают «вывод о том, что до второй половины XIX века главной идеей, которая оказывала влияние на общественно-политическую жизнь Беларуси, была идея возрождения или воссоздания Речи Посполитой и Великого княжества Литовского в границах 1772 г.» [9, с. 220–221]. Понятно, что других идей местного населения, формулировавшихся в рамках русской культуры и самосознания, для авторов книги просто не существовало. Они пишут, что «важным фактором в деле строительства белорусской нации была борьба местных элит с российским правительством», проявившаяся в восстаниях 1830–1831 и 1863–1864 годов, когда «политическая элита края попыталась на практике реализовать идею Речи Посполитой» [9, с. 224]. При этом авторы сами же признают, что «в XIX в. название бывшего государства – Речь Посполитая – не упоминалось ни в обществе, ни в исследованиях», а «общим, объединяющим именем возрожденного государства должно было стать понятие “Польша”» [9, с. 262]. Таким образом, шляхетская борьба за восстановление польской государственности на белорусских землях определяется как важнейший фактор создания белорусской нации.

Само понятие «польские восстания» в книге не употребляется. Вместо него – «восстание в Польше, Литве и Беларуси» [см., напр., 9, с. 61]. Авторы игнорируют межнациональные противоречия в крае, имевшие прямую корреляцию с социальными, а фактор

Реформы 1861 года, освободившей местное белорусское крестьянство из-под власти польских помещиков и немало повлиявшей и на генезис шляхетского восстания, и на национальное самосознание освобожденного населения, вообще проигнорирован. При этом авторы сами описывают и подтверждают это многочисленными цитатами, что деятели польских тайных обществ и повстанческих организаций считали жителей белорусских земель поляками и настаивали на соединении этих территорий с Польшей – присоединении «к Королевству Польскому, поскольку все жители этих земель являются поляками» [9, с. 281]. «Руководители восстания 1863–1864 гг. в белорусско-литовских землях неоднократно называли свое правительство “народным польским правительством, которое должно создаться по всей Литве”» [9, с. 286][1]. Чисто польский характер требований и польская идентичность повстанцев не мешают авторам видеть в них деятелей белорусского движения. Они пишут: «Прежде чем вести речь о собственной государственности, нужно было, чтобы повстанцы одержали победу» [9, с. 288]. Однако на деле, если бы они одержали победу, вести об этом речь было бы уже поздно, ведь на белорусских землях утвердилась бы польская государственность.

В качестве центральной фигуры восстаний, воплощающей в себе белорусскую «национальную идею», представлен Константин Калиновский. Создателем мифа о «Кастусе» Калиновском как о белорусском национальном герое был как раз Вацлав Ластовский [6], который заявлен в книге в качестве основателя продолжаемой ею историографической традиции. Авторы отмечают, что Калиновский «наполнил смыслом белорусскую национальную идею, которая родилась в пламени освободительного движения» [9, с. 222]. То есть восстание 1863–1864 годов оценивается как белорусское освободительное, а российская власть – как захватническая.

При этом Калиновский назван в книге не одним из региональных лидеров, каковым он был с польской точки зрения, а «руководителем восстания» [9, с. 287]. Это призвано подчеркнуть, что на землях Белоруссии восстание носило самоценный характер. Призыв Калиновского «“за свое человеческое и народное право, за свою веру, за свою землю родную” и стал национальной идеей белорусов XIX – начала XX в.». То, что Калиновский считал себя поляком и под народным правом понимал право польского народа владеть белорусскими землями – это игнорируется.

«В ходе восстания К. Калиновский декларировал идею о политической субъектности Беларуси в отношениях с Россией и Польшей». Этот вывод сделан авторами из обращения-пароля повстанцев: «Кого любишь?», отзыв – «Люблю Беларусь!» [9, с. 221]. Однако то, что для Калиновского, как и для других деятелей польского движения, “Białoruś” была лишь названием региона, а никак не национальным образованием, в книге не поясняется. Калиновский определяется ими как лидер «группы из состава “действительно образованного класса здешнего населения”, для которой “абсолютно понятным было представление, что Беларусь имела все условия для самостоятельного развития”» [9, с. 223]. Инонациональный характер этой группы и ее лидера, как и их видение дальнейшей судьбы Белоруссии, при этом игнорируется.

Идеи Калиновского определяются борьбой за Литву как «независимое, отдельное государство в федерации с Польшей» [9, с. 289, 290], что противопоставляется идее «Литвы как равнозначного партнера в федеративном государстве» с Польшей, которую отстаивал А. Мицкевич. В чем разница между этими формулировками и как можно быть независимым государством внутри федерации (или «в федеративном государстве») авторы не объясняют. Зато благодаря таким формулировкам Калиновскому приписывается борьба за независимость Литвы от Польши.

[1] Хорошие доказательства чисто колониального характера польских претензий в XIX веке при описании организации восстания 1863–1864 годов даны здесь: [9, с. 283–290].

«В наиболее выразительной и понятной для народа форме основные требования национальной идеи нашли символическое воплощение в гербовой печати К. Калиновского», которая содержала надпись “Równość. Wolność. Niepodległość” и обозначение “Rząd Narodowy”. В книге приведены и надпись, и изображение этой печати [9, с. 222]. Каким образом польскоязычные надписи на ней были «понятными для народа», не объясняется. Более того, само то, что белорусы не входили в чисто сословно-шляхетское польское понятие “naród” и, соответственно, “narodowy”, авторы как бы забывают.

Место белорусов в планах повстанцев хорошо характеризуют приведенные авторами слова К. Калиновского, которые вспоминает в своей «Истории двух лет» В. Пшиборовский: «Только мужик может поднять на своих сильных плечах будущую Польшу» [9, с. 287]. И весьма примечательно, что авторы «Истории белорусской государственности» сами приводят эти слова. Зачем тогда брать в кавычки слово «польский» в выражениях вроде «царское правительство после восстания 1863–1864 гг. проводило политику экономического подрыва “польского” поместного хозяйства» [9, с. 177], непонятно.

В книге делается вывод: «Таким образом, на протяжении конца XVIII – середины 60-х гг. XIX в. вопрос государственности белорусско-литовских земель присутствовал в европейской геополитике и общественном мнении Российской империи» [9, с. 289]. Да, несомненно, присутствовал как место борьбы России и Польши. Но как в этом проявлялась «белорусская государственность»? Про многочисленные легальные и нелегальные польские общества авторы говорят, что «с точки зрения определения конечной цели – борьбы за идею государственности – все они были патриотическими» [9, с. 264]. Однако такая характеристика полностью игнорирует их направленность на возрождение польской государственности на этнографически непольских землях, то есть по своей цели они были колониально-захватническими, что вряд ли можно считать проявлением патриотизма. Но мы имеем дело с явным стремлением оправдать польское движение как местный патриотизм, а значит признать его своим, белорусским.

«Фактором, который препятствовал росту национального самосознания населения Беларуси, было стремление российского правительства ослабить влияние местных польско- и немногочисленных белорусскоязычных элит в сфере исторической памяти. Достижению этой цели служила политика в области топонимики, когда начался процесс переименования поселков и деревень. Российские власти изменяли белорусский топонимический ландшафт, заменяя названия “польские” и “католические” на “русские” и “православные”» [9, с. 219]. То есть польские и католические воспринимаются авторами как белорусские, а их переименование на русские и православные как препятствие росту национального самосознания белорусов. Примечательно, что к полякам таких обвинений нет. А политика России в «Истории белорусской государственности» – всегда негативный фактор.

«Российское правительство пыталось оказать влияние на историческую память, самосознание белорусов, что создавало существенные препятствия и тормозило формирование белорусской нации» [9, с. 220]. Далее объясняется, что «местная элита в противовес официальной политике стремилась сохранить память о Речи Посполитой», в связи с чем праздновала 300-летие Люблинской унии и 100-летие со дня рождения Адама Мицкевича. Кроме того, авторы усматривают «белорусскую составляющую» в «литературе, которую создавали на польском языке выходцы из белорусского края» [9, с. 217], просто игнорируя тот факт, что эта составляющая не была этнической и не свидетельствовала о том, что они сами были белорусами. Этому нисколько не мешала «литвинская» идентичность, то есть местный польский патриотизм, признающий Литву своим отечеством. В самой же книге приводится выразительная цитата из «Катехизиса литвина» начала XIX века, «который изучала шляхетская молодежь». В нем на вопрос «Что есть единство с поляками?» дается

ответ: «Составлять с ними единый и неделимый народ, так чтобы литвин был поляком, а поляк литвином, одной и той же конституции» [9, с. 263].

В качестве образцового проявления белорусского национального патриотизма авторы приводят цитату из появившейся перед восстанием 1863 года «Гутарки старого деда» (1861), в которой автор «призывал белорусское крестьянство к борьбе за возрождение Речи Посполитой»: «Нехай Польшча будзе знова! Бо як станем Полякамі, будзем роўныя з Панамі!» [9, с. 220]. То есть путь белорусского национального самоопределения, согласно представленной авторами «Истории» концепции, – это стать поляками, чтобы быть «равными с панами». Это, можно сказать, формула такого рода белорусского патриотизма, хорошо свидетельствующая о чисто колониальном характере исторической концепции, представленной в «Истории белорусской государственности».

Белорусское национальное движение

В описании раннего белорусского национализма ярко проявляется политическая предвзятость самих авторов. Например, белорусские народники, по их мнению, «в целом верно раскрывали характер и цели белорусского национально-освободительного движения» [9, с. 302], – понятно, что авторам уж точно известно, в чем именно должен был состоять его характер и цели. При этом те же народники получают упрек за их «наивные представления» [9, с. 302], которым противопоставляется уже совсем не наивное революционное движение, «борьба за освобождение белорусского народа» и «за народную свободу, во имя общечеловеческих ценностей» [9, с. 303]. Но, как отмечают авторы, «достичь конечной цели – реализовать идею национальной государственности – белорусы смогли лишь после Октябрьской революции» [9, с. 305].

Примечательный момент: деятели белорусского национального движения нигде не названы националистами. Очевидно, это слово как имеющее в современном русском языке и белорусской политике негативные коннотации сознательно оставлено только для представителей русского, польского и других национальных движений.

Приписывание к белорусам поляков-шляхтичей и вообще местных католиков существенно осложняет описание зарождения собственно белорусского движения. Так, авторы пишут, что «уже в начале XIX века студенты Виленского университета, выходцы из белорусских земель, <…> стали обращать пристальное внимание на “простой народ”, его язык, обычаи, традиционную народную культуру» и «оказались в шаге от отождествления себя с этим народом» [9, с. 218], что является несколько неожиданным и, конечно, натянутым суждением, оставленным без уточнений и доказательств. Вообще-то осознание себя частью единого целого с простым народом противоречило всей сословной идеологии шляхетства, какой она сложилась еще в XVI и сохранялась до XX века. Заметное оппонирование ей можно найти только в сознательно антишляхетском движении «людовцев», а также в среде сторонников Романа Дмовского – народовцев. Однако оба эти идейных течения сложились гораздо позднее. Зато отождествление местной католической элиты с белорусским народом позволяет обозначать как «белорусские» любые польские организации. Например, «первой белорусской организацией либерального направления» объявляется «Христианский союз», состав которого «охватывал представителей высших кругов католического духовенства» [9, с. 331].

Авторы четко определяют, что все белорусское движение родилось из польского повстанческого: «В 1880-х гг. белорусские народники продолжили дело К. Калиновского» [9, с. 223]. Характерно при этом, что авторы признают отсутствие у Калиновского «веры в национальное возрождение белорусов» [9, с. 223]. Нет также и попыток объяснить, почему же белорусское национальное движение предпочитало пользоваться польским, а не

белорусским языком. Так, например, отмечается, что созданная в 1901 году Белорусская революционная партия (БРП) выступила с призывом «К интеллигенции», «изданном на польском языке в Петербурге в 1902 г.» [9, с. 307], но не дано никаких разъяснений, почему же призыв вышел именно на польском языке.

По сути, задача выделения до 1917 года отдельного белорусского движения оказывается неподъемно сложной. Авторы отмечают, что «для “нашенивских” кругов безусловным приоритетом являлось восстановление в какой-либо форме Великого княжества Литовского» [9, с. 348], от чего они отказались лишь в 1917 году, и даже на последних думских выборах редакция «поддержала краевую интеллигенцию, которая выступала за идею автономии белорусско-литовского края» [9, с. 349]. Авторы подчеркивают пропольскую ориентацию газеты – например, пишут, что «акцент борьбы против поляков сказывался и на усилении критики Думы со стороны “Нашей Нівы”» [9, с. 371]. То есть авторы признают, что даже главный печатный орган белорусского движения находился вполне в русле краевского движения, имевшего однозначно польскую культурно-языковую ориентацию.

Единственным фактором, придающим идеологическое своеобразие политическим белорусам, оказалась их приверженность революционно-социалистическим идеям. «У истоков создания Белорусской социалистической громады стояли деятели белорусского национального возрождения» [9, с. 306]. Белорусская социалистическая громада «последовательно боролась за воплощение в жизнь революционно-демократических принципов, отстаивала интересы белорусского народа» [9, с. 330]. То есть они отождествляются – интересы белорусского народа и революционно-демократические принципы. Да, непосредственную сопряженность этих двух идеологий в местных условиях важно отметить, однако удивляет то, что в книге не ставится вопрос о ее причинах и не приводится какой-либо своей версии объяснений такого положения дел.

Несомненно стремление авторов позиционировать белорусское движение в качестве единственного представителя интересов и чаяний белорусского народа. Однако на деле оно было лишь небольшой неформальной партией северо-западных губерний, и уже поэтому вряд ли может считаться выразителем голоса его основного населения. Трудно не согласиться с авторами в том, что газета «Наша ніва» сыграла решительную роль в «разработке идеи белорусской государственности» [9, с. 334], однако небесполезным было бы упомянуть о тираже этого издания в сравнении с русскими газетами края, чтобы увидеть его реальную роль в общественной жизни края до того, как его идеи стали реализовываться на практике.

Показательно также, что нигде не оговаривается численность «Белорусской социалистической громады». Это неудивительно – она была слишком малой на фоне партий с русской идентичностью. Были ли за ней народные массы? Как известно, нет. Однако, по мнению авторов, именно она «являлась ведущей политической силой белорусского национального движения» [9, с. 328]. Если считать таковым белорусский национализм, то есть идею выделения белорусов в отдельную нацию, то да. Но если под белорусским национальным движением понимать все национальное движение восточных славян Северо-Западного края, то оно было в абсолютном своем большинстве русским по самосознанию и по программам, при полном признании также белорусской идентичности местной русской традиции. И история национализма на этих землях в то время опять же в основном заключается в деятельности русских организаций, состоящих из местного белорусского населения. Но для общей концепции книги это, очевидно, неподходящая информация.

Косвенно авторы сами признают отсутствие у белорусского движения поддержки в широких народных массах, отмечая высказанные уже во время Первой мировой войны надежды авторов «Нашей нівы» на то, что определенные организации «смогут вывести белорусское движение за рамки интеллигентской среды и поспособствуют превращению

его в действительно народное» [9, с. 339]. К сожалению, каких-то рассуждений об «интеллигентской природе» белорусского национального движения в книге не находится, что неудивительно, ведь это противоречит идее о естественном формировании белорусской нации в ходе складывания капиталистических отношений. При этом авторы сами же признают, что Белоруссия в начале XX века «не имела консолидированной национальной буржуазии» [9, с. 311]. Но как же тогда возникла белорусская нация, если, конечно, не признавать искусственности ее появления в связи с политическими решениями внешних сил в более позднее время?

Авторами не скрывается отсутствие массовой поддержки и общая малочисленность белорусского движения даже во время Первой мировой войны. Так, они пишут о причинах ориентации его деятелей на идеологию краевости прямо накануне возникновения «белорусских национальных форм государственности»: «Малочисленность белорусского движения, отсутствие широкой поддержки снизу, вынуждали белорусских деятелей искать союзников, и идеология краевости позволяла их найти» [9, с. 382]. При описании военных лет авторы признают, что «литовское движение, по сравнению с белорусским, являлось более сильным и организованным» [9, с. 387], однако никаких рассуждений о причинах того, почему национальное движение численно гораздо меньшего по сравнению с белорусами народа было заметно сильнее, они не предлагают.

Говоря о «Нашей ніве», авторы отмечают: «…идеологи еженедельника показывали, что белорусская национальная идея есть натуральное явление и имеет перспективы в будущем, так как ее победа только подтвердит объективные законы развития народов» [9, с. 345]. Однако этого не удается сделать авторам рецензируемой книги. Из всего их текста никак не следует, что создание белорусского национального государства в начале XX века было подготовленным и являлось проявлением естественного процесса.

Общая оценка периода нахождения белорусских земель в составе Российской империи в заключении к книге сводится к тому, что это была «эпоха развития исторических предпосылок, которые обусловили возможность реализации идеи национальной государственности» [9, с. 390]. В результате к концу существования Российской империи в Белоруссии «сформировались национальная элита и интеллигенция», а «национальная идентичность достигла уровня, который обеспечивал дальнейшее саморазвитие народа на базе реализации идеи национальной государственности» [9, с. 390]. Остается непонятным, как такие заключения совместимы с авторскими же оценками численности и масштаба поддержки белорусского движения.

Стоит также отметить, что все те же процессы формирования белорусского движения и появления белорусского самосознания можно описывать и без обвинительного тона в адрес российских властей, политика которых исходила совсем из иных мотиваций, чем та злонамеренность, которая им приписывается авторами. Но, очевидно, тогда книга не соответствовала бы идеологическому запросу на формирование антироссийских настроений. То есть представленное в книге описание истории является скорее пропагандой, чем научным взглядом, хотя и сделано под видом научного академического издания.

Межпартийная борьба

Избранный подход к описанию прошлого Белоруссии ставит авторов книги в очень затруднительное положение и вынуждает просто игнорировать значительную часть исторических фактов, либо же оставлять их без объяснения. Очень ярко это проявляется при описании партийно-политической жизни края в начале XX века.

Когда речь заходит о деятельности русских националистических партий и организаций, активно представленных в крае (Союз русских людей, Союз русского народа,

Всероссийский национальный союз, Северо-Западное русское вече и т.д.), остается без всякого объяснения, почему же в Белоруссии было так много их ячеек и сторонников, если там было так мало русских [9, с. 312 и далее]? И ведь к этим общероссийским организациям в Белоруссии в большом числе присоединялись «самостоятельные местные националистические организации» [9, с. 315], также декларировавшие свою русскость. При этом указано, что «выходцы из Западного края» составляли 37% русской национальной фракции в III Государственной думе и 57% фракции националистов и умеренно-правых в IV Государственной думе [9, с. 315]. Если, по данным источников, Русский окраинный союз, заявлявший о себе как об «оплоте русской государственности и русской народности на окраинах», к 1907 году стал «мощной партией местных монархистов, имеющей разветвленную сеть периферийных организаций», то трудно отмахнуться от подозрения, что его членами были далеко не только заехавшие в край и статистически малочисленные великороссы. Иначе на кого рассчитывало Русское окраинное общество, которое «стремилось консолидировать на окраинах России православное русское население для защиты его интересов» [9, с. 317]? Авторы пишут, что «опорой русских монархических политических партий в Беларуси были православные братства», но ведь они в основном имели еще дороссийское происхождение и точно состояли в основном из местных жителей, при этом «объединяя значительное число городского населения» [9, с. 318]. Очевидно, что авторы просто обходят молчанием факт массового участия местного белорусского населения в русских национальных организациях, потому что он не подходит под логику изложения, сконцентрированную на истории формирования белорусской нации. Такой же нераскрытой темой остается выявление причин полного отсутствия собственно белорусских правых организаций, каковых у поляков и русских в то время было в избытке.

Авторы отмечают, что выборы во II Думу в Европейской России «в целом завершились победой левых партий» [9, с. 358], однако «левые партии и группы потерпели в Беларуси полное поражение» [9, с. 359]. Такой своеобразный крен политических настроений в Белоруссии в правую сторону, конечно, требует своего объяснения, более подробного, чем указание на то, что «существенное влияние на результаты выборов оказали православные священники» [9, с. 359], а также на недостаток развития промышленности. Все это было и в Центральной России. Правые партии в своей предвыборной борьбе делали акцент на этнической и конфессиональной идентичности избирателей. А раз они побеждали, значит, они были адекватны и формам этой идентичности, и основным запросам общества, волнующим его проблемам. Дополнительное объяснение, что «русским и польским помещикам, представителям православной церкви и католического костела удалось разделить белорусскую деревню на “русских” и “поляков” и повести их за собой» [9, с. 359–360], – выглядит крайне натянуто. Скажу как специалист по истории края в XVII веке: они уже тогда были разделены и точно так же себя называли. То есть авторы пытаются выдать многовековую реальность за политическую интригу и предвыборную хитрость.

На деле мы видим политический пейзаж Белоруссии, избиратели которой в своем большинстве озабочены «русским вопросом» и положением православия. Однако все это уж очень не вяжется с представляемой авторами картиной просыпающегося белорусского народа, который всего через несколько лет дойдет до государственного воплощения своей «национальной идеи». К сожалению, какой-то существенной рефлексии по поводу этого несоответствия в книге нет.

Сами же авторы признают, что именно «в 15 губерниях так называемой границы еврейской оседлости насчитывалось около 60% всех членов истинно русских организаций» [9, с. 363]. То есть русские правые партии имели основной социальной базой украинско-белорусские, а не великорусские земли – факт, который входит в явное

противоречие с предлагаемой авторами историей пробуждения отдельного национального самосознания белорусского народа.

Авторы не скрывают, что «признание белорусов частью русского этноса обусловило специфику политической деятельности правых партий» – «отсюда их постоянная борьба против политики ополячивания и окатоличивания белорусского православного населения» [9, с. 319]. Казалось бы, это большая заслуга в деле сохранения белорусской народности. Но нет, тут же читаем, что они «тем самым, в определенной мере, оказали негативное влияние на становление национального самосознания белорусского народа, его языка и культуры» [9, с. 319]. Получается, что необходимым условием становления национального самосознания белорусского народа, его языка и культуры авторы видят именно его ополячивание и окатоличивание. И понятно, что такая позиция имеет прямые политические выводы и для внутренней политики современной Республики Беларусь.

То же самое касается и умеренно-консервативных партий. Октябристы, которые «настаивали на усилении русского присутствия на национальных окраинах», а белорусов «вообще не считали отдельным народом» [9, с. 323], почему-то имели популярность в крае куда большую, чем белорусские национальные организации. Но ни постановки вопроса о причинах этого, ни объяснения такого положения дел в книге не содержится – оно просто обходится молчанием.

Все старания правых партий по консолидации русского населения белорусских земель описываются авторами подчеркнуто с закавычиванием, например: «Кампания, начатая белорусскими октябристами и их сторонниками по “защите” интересов “русского” населения Северо-Западного края» [9, с. 325]. То есть тем самым авторы намекают – не русского на самом деле населения, да и никакая это была не защита. Избирательная курия, образованная по закону 1907 года, тоже обозначена как «русская» в кавычках – несмотря на то, что это было ее официальное название [9, с. 325].

Причисление «белорусских крестьян-католиков» к польской курии, а православных – к русской авторы считают ошибочным. Однако такие ошибки должны были как-то сказываться на результатах выборов, существенно ослабляя соответственно польские и русские партии. Белорусы, уже почти готовые к государственному строительству, вряд ли стали бы голосовать за национально чуждые им организации. Но на деле почему-то все обстояло совершенно иначе, и даже наоборот – «православные белорусы» массово и активно шли голосовать за русские националистические организации, а «белорусы-католики» – за польские. Но никаких объяснений столь странному поведению белорусов авторы не предлагают, связывая их только с церковной и партийной пропагандой. Но если она была столь действенной, то либо священники и правые политики были невероятными мастерами затуманивать национально сознательные головы, либо их заявления все-таки ложились на вполне благодатную почву, и местные католики и вправду ощущали себя частью польского сообщества, а православные – русского.

На выборах в III Думу от Минской губернии (как, кстати, и от некоторых других губерний) прошли девять депутатов, все – члены «Русского окраинного союза». Для объяснения этого авторы приводят слова из газеты «Наша ніва», которая видела причины такого положения дел в том, что «крестьяне под влиянием черносотенцев не захотели создать союз с “поляками” и “евреями”» [9, с. 342]. Однако какой-либо рефлексии на тему того, почему крестьянам Минской губернии русские националисты оказались ближе поляков и евреев, авторы не дают, но явно видят в этом ущемление национальных интересов белорусского народа.

Не в силах найти подходящих объяснений, авторы называют «парадоксом» то, что «православное белорусское крестьянство находилось под большим влиянием российских “правых”, главного противника белорусского движения» [9, с. 343]. Конечно,

парадоксальной эту ситуацию может видеть только историк, стоящий на белорусских романтически-националистических позициях и просто отказывающийся считаться с тем, что местные крестьяне издревле считали себя русскими, а не белорусами, и по своему настрою были склонны поддерживать призывы и требования этих самых «правых». Однако авторам ближе позиция «Нашей нівы», которая «вынуждена была признать, что крестьяне еще не готовы участвовать в политике, а тем более отстаивать белорусские интересы» [9, с. 345]. То, что они вполне осознанно отстаивали свои русские интересы, при таком подходе остается просто вне горизонта понимания, а соответственно и описания.

В оценке авторов объективная выгода крестьянства расходилась с позицией их представителей в Думе, выступавших против автономии края. Им «введение органов местного самоуправления было бы выгодным, но они опасались, что власть перейдет в руки поляков, которые на местах будут решать судьбу аграрного вопроса. По этой причине правые крестьяне в категорической форме выступали против “самоуправления”, которое предлагали польско-белорусские автономисты», что также было обусловлено активной пропагандистской деятельностью со стороны «Русского окраинного союза» [9, с. 362]. Тут мы опять же сталкиваемся с ярко выраженным проявлением пропольской предвзятости авторов: опасения крестьян оказаться вновь под польской властью им представляются вообще не заслуживающими уважения, поэтому они четко определяют свое понимание их выгоды без учета этого фактора.

В логике авторов можно увидеть что-то вроде социального высокомерия в отношении крестьян, которые обвиняются в недостатке белорусского самосознания: «Сельское же население, учитывая его низкий уровень национального самосознания, не могло обеспечить прочную социальную базу для белорусского национального движения» [9, с. 383]. Казалось бы, голосование за правые партии, взывающие в первую очередь к национальному самосознанию, свидетельствует как раз об обратном – о его высоком уровне. Но для авторского коллектива «Истории» таковым может быть только белорусское самосознание, а никак не традиционное для этих мест русское.

Авторы признают, что «большинство депутатов, представлявших западные губернии, были защитниками русских языковых интересов» [9, с. 367], в результате чего делают вывод: «настоящих защитников социальных и национальных прав белорусского народа в этой Думе не было» [9, с. 369]. Позиция, согласно которой представлять интересы местного восточнославянского населения могли только белорусские националисты, является в прямом смысле слова предвзятой – она основана на идеологической аксиоматике этого националистического направления и ни на чем другом[1]. И как-либо примирить ее с реальной исторической картиной авторы, к сожалению, не попытались.

Нередко авторы вводят новые понятия, не давая им при этом никакого объяснения. Например: «Пытаясь сгладить острые антагонизмы в Беларуси, С. Ковалюк и Л. Солоневич выступали за объединение всего русского (белорусского) православного населения края с русскими помещиками на платформе великорусского национализма для борьбы против польского засилья» [9, с. 366]. Особые великорусские националисты выделяются неоднократно. Например: «Дело национально-культурного возрождения подвергалось нападкам со стороны великорусских и польских националистов» [9, с. 372]. В этих утверждениях вводится понятие «великорусского национализма», однако оно нигде никак не объясняется. А это было бы небесполезно, так как особый национализм на великорусской этнической почве (то есть отрицающий общерусский взгляд на восточных славян) в русской политической мысли того времени другим исследователям просто неизвестен. Но если бы он даже и существовал, само по себе желание объединить

[1] О схожем подходе на украинском материале см. [23].

местное белорусское население с русскими помещиками ему напрямую логически противоречит – модель великорусского национализма должна как раз настаивать на этнической чужеродности всех невеликорусов, а значит и белорусов. Скорее, авторы просто не потрудились понять логику обозначенных лиц.

Между тем анализ картины мира, структуры идентичности и системы мотиваций, основных понятий и в целом особенностей дискурса, свойственного людям другой эпохи, – важнейшая задача историка и единственный способ приблизиться к пониманию и адекватному описанию происходившего в ней. Но перед авторами «Истории белорусской государственности» стояли, очевидно, совершенно иные задачи.

Генезис белорусской нации

«Самыми важными событиями истории Беларуси XIX – начала XX в.» авторы в заключении признают «формирование белорусской нации и выход ее на политическую арену» [9, с. 391]. Согласно принятой в «Истории» концепции, «нациообразующие процессы в белорусском обществе» проявились в начале XIX века и «завершились к 1917–1919 гг.» [9, с. 214]. То есть этот процесс к моменту распада Российской империи признаётся уже завершившимся, а белорусская нация состоявшейся. Утверждение довольно сомнительное – все же состоявшаяся нация должна обладать своим национальным государством и быть уже довольно устоявшимся и унифицированным в политико-правовом, культурно-лингвистическом и социально-экономическом аспектах сообществом, что вряд ли можно сказать о белорусах в 1919 году. Более правдоподобными выглядят констатации, что процесс формирования белорусской нации до сих пор еще далек от завершения.

В книге дается определение белорусской национальной идее: «По нашему определению, национальная идея белорусов – это осознанная, жизненно важная судьбоносная цель нации, реализация которой обеспечивает ее дальнейшее историческое существование и развитие» [9, с. 222]. Даже если представить, что подобные идеи существуют, остается непонятным, что делает эту идею собственно белорусской, ведь такое определение подходит кому угодно. Авторы добавляют, что содержание этой идеи на каждом этапе исторического развития нации «зависит от основной программной цели, которая определяется национальной элитой». При этом белорусской элитой на основном этапе формирования белорусской нации они признают местную польскую шляхту, так что и цели, которые определяли «белорусскую национальную идею», оказываются тождественными польским. Понятно, что по этой же причине эти цели имели принципиально антироссийский характер.

Авторы утверждают, что уже с 1880-х годов «наименование Беларусь стало синонимом понятия государство» [9, с. 223], однако никаких доказательств этого не приводят. Невольно возникает ощущение, что имеешь дело с чисто пропагандистской публицистикой, а не с научным текстом.

Концепция «Истории белорусской государственности» исходит из тезиса, что «процесс консолидации белорусов в нацию также был объективным и закономерным явлением» [9, с. 298]. Этому дается в первую очередь экономическое объяснение через укрепление хозяйственных связей, тогда как культурно-лингвистический фактор оказывается второстепенным. Однако такой подход опасен своим отрицанием альтернативности путей и форм построения нации. Он попросту игнорирует многие важные процессы и события, обусловившие победу конкретного варианта. А учет этого был бы небесполезен, чтобы понимать, почему члены первых белорусских организаций «пытались обосновать факт существования белорусской нации» [9, с. 301, 304]. Правда, такой обращенный в прошлое своего

рода националистический фатализм имеет несомненное политическое преимущество – он убеждает в том, что иной реальности, чем нынешняя, и быть не могло.

Немалую роль в процессе формирования белорусской нации отводится Первой мировой войне. Авторы подчеркивают чуждый для белорусов характер этой войны и преобладание «пацифистских настроений» в белорусском национальном движении [9, с. 373 и сл.]. Белорусов на фронте как бы и нет, описание концентрируется на беженцах в Центральную Россию. Пацифизм обозначается и как свойство белорусского движения, однако в трактовке авторов это был пацифизм особого рода, так как он связан с надеждами именно на поражение России: «…большинство белорусских деятелей выражали пацифистское отношение к войне и надеялись, что поражение Российской империи создаст возможности для изменения политического устройства белорусских земель» [9, с. 388–389].

Надо отдать должное авторам: наступление немецкой армии они не рассматривают как освобождение от российской оккупации и даже используют термин «немецкая оккупация» [9, с. 380]. Очевидно, на немцев не вполне распространяется тот комплиментарный взгляд, который свойствен авторам в отношении польского присутствия в крае. Однако ими признается, что целью белорусского движения в условиях войны было поражение России: «Наиболее надежным средством достижения данной цели виделось поражение царизма в войне» [9, с. 381]. Таким образом, подчеркивается, что во время Великой войны белорусское движение было открыто враждебным России.

При этом указывается, что именно в зоне немецкой оккупации «белорусскими силами была выработана совершенно отличающаяся и вполне самостоятельная программа реализации идеи белорусской государственности», которая заключалась в «категорическом отказе от вхождения Беларуси в состав даже демократической России» [9, с. 389]. Немецкая оккупация, соответственно, предстает как важный и позитивный этап становления белорусской государственности, что немаловажно для признания объявленной при ней Белорусской Народной Республики первой собственно «национальной формой» государственности белорусов.

Примечательно такое описание формирования белорусской нации: «Образование Белорусской социалистической громады (БСГ) ознаменовало вступление нации на путь политической реализации идеи государственности, который завершился триединым процессом: первым Всебелорусским съездом – провозглашением Белорусской Народной Республики (БНР) – созданием Советской Социалистической Республики Беларуси (ССРБ). Эти исторические события стали торжеством белорусской идентичности, что в конечном итоге обеспечило утверждение в общественном сознании белорусской национальной идеи» [9, с. 215]. На мой взгляд, это одно из самых ценных и верных утверждений авторов «Истории». Действительно, именно торжество белорусской идентичности (в форме провозглашения новых государственностей) обеспечило утверждение в общественном сознании того, что авторы называют белорусской национальной идеей, а не наоборот. Нередко в белорусской научной и околонаучной литературе можно встретить прямо обратные утверждения о том, что именно рост белорусского национального самосознания, широкая популярность «белорусской идеи» привели к образованию белорусской государственности. То, что в рецензируемом тексте авторы признают обратную последовательность белорусского нациостроительства, его предопределение политическими решениями сверху, – это, несомненно, выделяет их текст и, полагаю, в выгодную сторону. Жаль только, что такая мысль встречается в тексте лишь однажды и не влияет на общую логику описания процесса формирования белорусской национальной государственности.

Так, авторы пишут, что к началу Первой мировой войны «белорусская национальная идея была воспринята значительной частью общества» [9, с. 237], но не определяют ни какой именно частью, ни сколь значительной, ни в чем это проявлялось. В такие голословные

утверждения читателям надо просто верить, чтобы не нарушать общей логики представленной картины. Надо верить, что «к этому времени национальная идентичность достигла того уровня, который обеспечивал саморазвитие народа на базе реализации идеи национальной государственности, что позволило белорусам в дальнейшем создать собственное государство» [9, с. 238], иначе придется задаться рядом очень неудобных с идеологической точки зрения вопросов и в первую очередь о том, было ли это государство результатом самоопределения самих белорусов. Советская Белоруссия должна быть представлена закономерным результатом становления белорусской идентичности и национальной консолидации, а никак не инициированным большевиками из Москвы процессом, имевшим обоснование в ленинских принципах национальной политики.

Впрочем, авторы прилагают немало усилий, для того чтобы не признавать вклада уже большевицкой Москвы в дело формирования белорусской государственности: «В 1917–1918 гг. не российская социал-демократия в лице большевистского правительства, а руководящие круги Белорусской социалистической громады стали инициаторами практической реализации идеи белорусской государственности» [9, с. 234]. Голословность таких утверждений не является их недостатком, так как они должны приниматься читателем на веру исходя из общей идейной канвы изложения истории.

В целом авторы смотрят на процесс формирования белорусской нации принципиально некритично, игнорируя его сложность и альтернативность исторического процесса. Они внимательно относятся к вопросу «формирования идеи белорусской национальной государственности», но вопроса о формировании идеи самого существования белорусского народа вообще не поднимают, оно признается самоочевидным. Такое непризнание фактора спорности определения белорусов как отдельного народа лишает описание истории его важнейших тем. В условиях идентитарной, церковной и во многом языковой общности с основным народом России и при отсутствии с ним каких-либо значимых границ, утверждение самой идеи существования такого особого народа было сложной и спорной задачей, что не могло не определять оригинальность и своеобразие путей формирования и утверждения идеи построения национальной государственности.

Так, авторы не раз признают, что «белорусское национальное движение развивалось в едином потоке общероссийского революционного движения» [9, с. 391], однако не дают объяснения такой его специфики. Ведь национальные движения прочих народов Империи имели не только левые, революционные крылья, но и правые. Попытка объяснить такую специфику белорусского движения могла бы многое раскрыть в его природе, однако как раз эти его стороны, очевидно, считаются авторами политически неуместными, так как потребовали бы признать альтернативность путей нациостроительства на белорусских землях, не самоочевидность для XIX века существования особого белорусского народа и особую роль внешних политических факторов при образовании белорусских государственностей в XX веке.

Зато это позволяет пронизать весь текст пафосом обвинения в адрес России за непризнание существования белорусской нации. Однако само то, что непризнание белорусов отдельной нацией было проявлением «шовинизма», то есть основывалось на этнической нетерпимости и ненависти (а, соответственно, на экзоэтническом восприятии белорусов), надо доказывать. Но доказательств никаких не приводится, так как логика этого утверждения исходит не из исторического материала, а из заранее принятой концепции.

Характерные особенности белорусов

В тексте книги встречается немало оценочных утверждений, являющихся проявлением специфики идеологических предпочтений авторов, в целом сводящихся к крайнему

западничеству и романтическому национализму. Однако к этому добавляются и некоторые довольно неожиданные моменты.

Описывая прогресс «в общественно-политической и экономической эволюции Соединенных Штатов Америки и стран Западной и Центральной Европы», авторы уточняют, что «приоритет в этом устойчиво принадлежал народам и государствам западной цивилизации, которую составляла, согласно определению А. Тойнби, нордическая, альпийская, средиземноморская белая раса» [9, с. 204–205]. Так, белорусская Академия наук в наши дни настаивает на расовом подходе при рассмотрении цивилизаций и увязывает промышленную революцию[1] со свойствами трех малых европеоидных рас. Не стану здесь подробно критиковать сам расовый подход к истории общественно-экономического прогресса, хотя, по моему мнению, авторы рецензируемой книги запоздали с ним лет на восемьдесят как минимум. Кроме того, А. Тойнби не являлся авторитетом в расологии, и ссылка на него в этом контексте очень сомнительна – ссылаться тогда уж стоило бы на крупнейших теоретиков расовой науки тех лет. Цитата взята из начальных частей его фундаментального труда «Постижение истории», написанных в 1930-х годах (I–III тома 12-томного сочинения были изданы в 1934 году, IV–VI – в 1939-м)[2], но она не отражает принципиально значимое для предложенной им идейной конструкции положение, а потому в более поздних работах он без особых логических потерь отошел от рассмотрения расовых вопросов.

Однако подобное же логическое излишество можно увидеть и в «Истории белорусской государственности». Введя расовый подход, авторы оставили без объяснения, как именно расовые особенности населения отразились на истории Белоруссии. Более того, не дана хотя бы самая общая характеристика расовой природы белорусов, что при написании «расово правильной» истории белорусской государственности в контексте европейского прогресса представляется логически необходимым. Повисает и вопрос о расовой обусловленности «некоторого отставания» белорусского общества в деле экономического прогресса по сравнению с более западными странами, о котором они сами же пишут [9, с. 206], а также «значительного отставания от других регионов России в промышленном развитии» [9, с. 210]. В свете популярности расовой темы у украинских идеологических работников, вслед за Ф. Духинским отмечающих расовую чуждость «москалей», хотелось бы видеть и соображения их белорусских коллег о свойствах расовой границы белорусов на востоке. Остается надеяться, что в следующих изданиях ученые Академии наук Республики Беларусь либо представят более продуманную расовую концепцию белорусской истории, либо пойдут вслед за более прогрессивными западными мыслителями и, пусть и с почти вековым опозданием, откажутся от расового подхода в принципе.

Кроме того, по мысли авторов, «для белорусской идентичности и менталитета типичны умеренность и рассудительность, сговорчивость как умение приспосабливаться и выживать в недружественной социальной среде; миросозерцательность в форме медлительности и отсутствия склонности к принятию скоропалительных решений. Для белорусов характерны патернализм, склонность к коллективным формам принятия решений; стремление (на уровне архетипа) к социальной справедливости и равенству; непреклонная решимость и верность своему долгу». И так далее – там еще сказано про терпение и стойкость в преодолении трудностей и невзгод, трудолюбие и осуждение лентяев, добродушие, бережливость, сочувствие в отношении людского горя, осуждение жадности и

[1] Параграф, в котором увязаны прогресс и раса, называется «Промышленный переворот» [9, с. 203–205)].

[2] Авторы «Истории белорусской государственности» ссылаются на с. 100 опубликованного в Москве в 1991 году сильно сокращенного текста, представляющего собой выборку из всех 12 томов «Постижения истории».

зависти к богатству, любовь к отечеству, оптимизм, устойчивую приверженность к консерватизму и т.д. [9, с. 214–215].

Если вспомнить, что мы имеем дело с научным текстом, а не с литературным эссе, то хотелось бы видеть при этом конкретные ссылки на исследования, доказывающие а) наличие у всех белорусов именно этих свойств характера, и б) отсутствие их (по крайней мере в такой совокупности) у представителей других народов. Ведь если признавать все эти свойства общечеловеческими, то их выявление как признаков именно белорусского национального характера теряет всякий смысл. Невольно возникает подозрение, что в данном случае авторы пустились в описание национального самовосприятия, причем на основе как некоторых автостереотипов, распространенных в белорусском обществе, так и своих личных ощущений. Показательно также, что все перечисленные качества носят явно положительный оценочный характер, так что мы тут, скорее всего, имеем дело с самовосхвалением на национальной почве, голословно выдаваемым за научно установленный факт.

Авторы также говорят о наличии особого «европейского вектора» региона Западной и Центральной Европы, который «во многом был определяющим для мирового геополитического процесса» [9, с. 198]. «Приоритет в таких изменениях устойчиво принадлежал странам Западной и Центральной Европы» [9, с. 201]. Что такое «европейский вектор региона», следовало бы объяснить – возможно, имеется в виду вектор его развития. Но в целом тут понятен политический заказ: современная Белоруссия претендует на то, чтобы считаться частью именно Центральной Европы[1], и тем самым объединяет себя с ведущим регионом европейского прогресса, оставляя в стороне (и тем самым цивилизационно отстраняя) Восточную Европу, то есть Россию. Опять же это служит ментальной сепарации от России и способствует повышению самосознания, одновременно давая возможность связывать все «негативные процессы» с российским влиянием.

Особенности цитирования

Логический подлог, не раз совершаемый авторами при описании исторических процессов согласно с их концептуальным подходом, имеет прямое выражение и в обращении с цитатами. Трудно проверить весь представленный материал, но при попытке потянуть за ниточки в ряде случаев обнажилась весьма печальная картина.

При работе с источниками авторы позволяют себе весьма свободные трактовки. Так, например, приводятся слова одного из лидеров и идеологов витебских октябристов Алексея Сапунова с характерным пояснением: «“Было и у нас, белорусов, золотое время, славное прошлое”, – писал А. Сапунов, имея в виду ВКЛ, – “каково же будет наше будущее – это уже, в значительной степени, в наших руках и зависит от нашего сознательного отношения к нашему долгу пред дорогой родиной”» [9, с. 324].

Эта оговорка (о том, что он имел в виду ВКЛ) невольно вызывает сомнение, так как очень уж она не вяжется с общим строем его мыслей. А.П. Сапунов – человек, имевший большое значение для интеллектуальной и политической жизни белорусских земель первой четверти XX века, поэтому его слова немаловажны. Смотрим в оригинале и видим, что эти слова сказаны Сапуновым в той части текста, в которой он рассуждает о новооткрытых памятниках местной древнерусской литературы и фольклора. Конкретно читаем следующее: «В последнее время в Западном крае взялись за издание и разработку памятников

[1] В 2000 году белорусские ученые Алексей Соломонов и Валерий Аношко опубликовали расчеты, согласно которым географический центр Европы расположен в 48 км к юго-западу от Полоцка, в связи с чем в 2008 году в Полоцке был установлен памятный знак центра Европы.

древней западно-русской письменности. Путь этот оказывается самым счастливым. Им можно дойти до самого верного понимания западно-русской жизни. В этих памятниках везде и во всем одно великое, объединяющее всех русских, слово – Русь и Русь», – и далее: «Но особенно ценны и важны новейшие сборники белорусской народной поэзии» [24, с. 20].

В связи с этим Сапунов заявляет, что «капитальные труды упомянутых этнографов опровергли ходячее мнение о хилости и дряблости натуры потомков "оных грозных полочан", как называет их певец "Слова о полку Игореве"», – в подтверждение чего указывает на белорусское происхождение великих поляков: «Ведь именно белорусы дали полякам и их величайшего поэта, и их величайшего героя: и Мицкевич и Костюшко по происхождению белорусы». В этих доказательствах силы белорусской «натуры» он находит основания надеяться, что в будущем они «и для себя выделят из недр своих таких же великих людей». И вот после этого идет процитированная фраза: «Было и у нас, белорусов, золотое время…». Причем же здесь ВКЛ? Ни общая содержательная канва брошюры Сапунова, ни упоминание памятников древнерусской литературы, ни фольклора, ни полочан из «Слова о полку Игореве», ни даже происхождения великих поляков конца XVIII – XIX века никак на ВКЛ не указывает. Оно здесь даже не упоминается. То есть мы имеем дело с элементарным приписыванием Сапунову тех смыслов, которых у него и в намеке не было, но которые наверняка очень хочется видеть авторам.

Кстати, каким? Эта цитата с точно таким же пояснением встречается еще в нескольких работах. Ее можно найти в ряде статей одного из авторов рецензируемой книги Дмитрия Лавриновича, изданных с 2018 года [13, с. 194; 14, с. 363; 15, с. 253], и в том же виде – в статье 2011 года Марины Заболоцкой [7, с. 27], окончившей в том же году аспирантуру под руководством Д.С. Лавриновича. Эту же оговорку в неизменном виде можно встретить и в более поздних статьях, но уже с другим авторством [12]. Здесь нет места для рассуждений, кто первым вставил в свои тексты эту трактовку и кто потом ее воспроизвел, – это в данном случае и не важно. Но это яркая иллюстрация того, как ошибочное утверждение, употребленное однажды, потом получает многократное некритическое повторение в других работах и даже входит в учебники. И трудно сомневаться, что в рамках современной политики по созданию из эпохи ВКЛ образа «золотого века Беларуси» оно в том же виде будет повторено еще не раз.

Еще один выразительный случай, мягко говоря, вольного обращения с цитатами находим в абзаце, посвященном началу издания в 1864 году Ксенофонтом Говорским «Вестника Западной России» – одного из важнейших журналов для становления западнорусизма. Читаем здесь: «М. Муравьев, стремясь к расширению русского влияния в крае, в письме к князю Н. Хованскому отмечал: "Природные белорусы не только преклонного возраста, но и молодые, несмотря на давность присоединения края, чувствуют безразличие и некую неприязнь к коренным русским и ко всему русскому"» [9, с. 292]. Довольно странные слова для графа Муравьева. Идем по предоставленной ссылке [25, с. 14] и читаем: «Языком общежития для всех слоев общества, кроме крестьянского, был язык польский. При таком положении дел в крае все, что стояло повыше крестьянства, естественно мало тяготело к России. Князь Хованский положительно заявляет, что природные белоруссы не только пожилых лет, но и молодые, несмотря на давность присоединения края, питают какое-то равнодушие и неприязнь к коренным русским и ко всему русскому».

То есть: а) это слова не Муравьева, а самого Хованского, причем ни о какой его переписке с графом речи не идет; б) и те слова даны в пересказе автора – преподавателя Виленской 1-й гимназии Ар. Турцевича, при этом все равно переданы неточно; в) они даны Турцевичем для описания не 1860-х, а 1820–1830-х годов в целях определения той общественной атмосферы, в которой пришлось работать М.Н. Муравьеву после его назначения в 1827 году губернатором в Витебск, – как иллюстрация к утверждению, что «в описываемое

время Северо-Западный край имел решительно польскую окраску» [25, с. 14]. В рецензируемой же книге они приводятся под видом слов самого Михаила Муравьева для описания реалий 1860-х годов после подавления польского восстания.

Авторы книги не потрудились объяснить, кто же в этих словах подразумевался под «природными белорусами» – а это, судя по контексту, просто люди, родившиеся на белорусских землях, то есть никакого этнонационального значения за таким определением нет. Подразумевается местная дворянская и городская среда – все «не крестьяне», а отнюдь не этнические белорусы. Однако такая откровенная подтасовка позволяет авторам совершенно иначе представить и картину жизни края в 1860-х годах, и логику действий самого графа Муравьева в это время. Правда, этому, несомненно, центральному персонажу местной истории в книге вообще уделено на удивление мало внимания – лишь несколько упоминаний в связи с теми или иными указами, и никакой – хотя бы на один абзац – характеристики его деятельности не дано. Так что в данном случае мы имеем дело с единственной попыткой авторов хоть как-то представить читателям этого человека. Примечательно, что они это делают через ложную цитату – яркое свидетельство того, что для обоснования их взглядов на белорусское прошлое реальная история края не дает даже минимально необходимого материала.

Кроме того, в книге немало случаев откровенно неадекватных трактовок приводимых слов. Например, заявлено, что «одним из первых язык ВКЛ назвал белорусским» К. Калайдович [9, с. 223–224], и при этом приведена его цитата, в которой он говорит о языковых изменениях, лишь впоследствии приведших к формированию белорусского наречия: «Древнейший пример изменения чистого языка славянского, принявшего чуждые слова и речения, составившие впоследствии наречие белорусское, находится в переводах доктора Франциска Скорины некоторых книг Ветхого Завета» [10, с. 68–69]. Соответственно, никакого обозначения «языка ВКЛ» как «белорусского» у Калайдовича еще не было – его статья «О белорусском наречии» (1822) имела целью доказать преемственность современных белорусских говоров с древнерусским языком и историей его местного развития.

В другом месте заявляется, что, согласно П.Й. Шафарику, на землях, на которых было распространено белорусское наречие (Минская, Могилевская, большая часть Витебской и Гродненской и частично Виленская губернии), «в то время насчитывалось 2726,0 тыс. жителей, из которых 2376,0 тыс. (87,2%) были православными и около 350,0 тыс. (12,8%) – католиками» [9, с. 181]. Невольно возникает вопрос, а как же представители других народов? На самом деле Шафарик (ставя дату на 1842 год) имел в виду только восточнославянское население края, о чем специально оговаривался: «исключив поляков и евреев, многочисленных в этом крае, а равно и татар» [1, s. 30]. Кроме того, это специальный параграф о «белорусском наречии» и его носителях, что тоже следовало бы оговорить. И стоило бы все же упомянуть, что белорусское наречие Шафарик рассматривал как часть «русской речи» и в отдельный народ белорусов не выделял.

При использовании этнографических данных Э.Л. Вольтера объединены в одну массу данные ученых XIX века по православным жителям края и носителям белорусского наречия – они все признаются белорусами, независимо от того, что сами авторы того времени подчеркивали далеко не полное совпадение этих общностей. Так, например, «этнические белорусы» компактно проживали в Августовском уезде Сувалкской губернии, и в конце XIX века 93,3% из них говорили на белорусском языке и 6,7% – на польском» (дана ссылка на [4, с. 308–309]).

Однако это ни на чем не обоснованное суждение. Процент получен из предположения, что все представители «белорусского племени» (21 237 чел.) с не белорусским «домашним языком» как на подбор говорили на польском. Это следует из цифры 19 809 чел. с домашним белорусским, которая действительно составляет 93,28% общего

числа. Однако вполне вероятно, что значительная часть этих белорусов с небелорусским языком разговаривала на русском, а не на польском. Подтверждение этому можно увидеть в том, что число носителей польского языка в Августовском уезде (44 460 чел.) было даже несколько ниже числа самих поляков (44 589 чел.), тогда как носителей русского языка (1923 чел.) было значительно больше числа великорусов (372 чел.), что уже вмещает число 1428 небелорусскоязычных белорусов (хотя на деле, скорее всего, среди них могли быть подсчитаны и носители некоторых других языков).

Невольно возникает вопрос, а почему авторы решили всех небелорусскоязычных белорусов записать именно в носителей польского языка? Нет ли здесь проявления какой-то предвзятости? И опять же, приводя все эти данные, стоило бы оговориться о методах определения того, кто такой белорус, использованных в работе Эдуарда Вольтера – ученого, лично проводившего многолетние полевые исследования и разработавшего немало оригинальных анкет для опросов местных жителей.

Таких вот спорных суждений и неточностей при цитировании старых данных в книге немало, разбирать их все вряд ли здесь уместно – достаточно того, что при попытке вникнуть в приводимые данные почти наверняка наталкиваешься на что-то подобное.

Существенным недостатком части текста об этноконфессиональном составе населения (глава 3) является то, что ссылки в основном приведены не на первоисточники таких сведений или авторские исследования, а на другие – более ранние – синтезы белорусской истории [как, напр., 19, 5]. Это крайне затрудняет поиск исходника приводимых данных, и наверняка не случайно. Хотя иногда отказ авторов дать ссылку на оригинальное издание ставит в тупик. Например, цитата из «Мнения русского гражданина», поданного Александру I в 1819 году Н.М. Карамзиным, дается почему-то по монографии Д.В. Карева, изданной в 2007 году в Вильнюсе [9, с. 275].

Вообще «История белорусской государственности» удивляет отсутствием в ней отсылок (да и просто учета) на основные наработки современной историографии по затрагиваемым в книге вопросам, сделанным учеными в России, Украине, Польше, Литве и других странах. За редкими и в основном случайными исключениями не упомянуты имена и издания крупнейших исследователей и не проявлена минимальная осведомленность в тех научных дискуссиях, которые в последние два-три десятка лет проходили среди историков. Текст в книге написан как бы на острове белорусской историографии, окруженном непроницаемым для иных голосов вакууме, что вряд ли идет ему на пользу, причем не только с научной, но и с идеологической точки зрения.

В целом обращение авторов «Истории белорусской государственности» с источниками и научной литературой очень гармонично дополняет картину использования ими фактического материала, демонстрируя неаккуратность и невнимательность, почти всегда имеющую вполне конкретные идеологические последствия для приводимых трактовок исторического прошлого.

Политико-идеологическая предвзятость текста

В заключении к книге авторы заявляют, что «русскоязычная идеология западнорусизма и польскоязычная идеология краевости не стали доминирующими, так как они выражали взгляды узко-элитарной части населения Беларуси» [9, с. 391]. Странно, но вроде весь описанный авторами исторический материал говорит об обратном. Именно партии с общерусской идентичностью (которые в местном контексте можно рассматривать как западнорусские) были абсолютными лидерами симпатий белорусского населения в период работы Государственной Думы, а само белорусское движение до конца существования Российской империи было политическим сателлитом польского краевого

движения, и именно «из среды организаций краевцев выросли политические лидеры начала XX в.» [9, с. 391]. То есть скорее мы тут имеем дело со стремлением авторов выдать желаемое за действительное.

Очень выразительная черта текста книги – употребление кавычек, так как иногда авторам приходится закавычивать почти все значимые понятия. Например: «С началом третьеиюньского периода самодержавие усилило наступление на “инородцев”, в западных губерниях – на поляков, католиков, евреев. За подобную политику выступали съезды помещиков, правая пресса, которые требовали борьбы с “сепаратизмом” в Западном крае. Они выдвигали идею о создании в западных губерниях земств, которые выбирались бы национальными куриями, при условии обеспечения преимущества “русской” курии» [9, с. 365]. За этим закавычиванием стоит восприятие всей исторической реальности как тотально лживой, оболганной и не соответствующей тому, как должно было быть. Такой подход к истории нередко встречается среди представителей национально-романтической историографии, пытающихся описать многотысячелетнее героическое прошлое своего народа, замолчанное его обидчиками. Но странно видеть нечто подобное в академическом издании.

К политической предрасположенности текста возникает дополнительный вопрос. Если считать, что такое официальное издание с изложением истории государственности должно отражать государственную идеологию и направленность ее развития (как и было многократно заявлено и в самой книге, и в презентующей ее статье), то остается непонятным, как в тексте выражен формат Союзного государства с Россией? А еще точнее, хотя бы просто дружественное отношение к России, которое можно рассматривать как необходимое основание для союзных отношений? К сожалению, никак. Наоборот, книга сознательно и последовательно воспитывает враждебность к России.

Примечательно также утверждение, что «до Республики Беларусь нация не имела опыта государственного строительства вне союза со своими соседями» [9, с. 214]. Она дает понять, что авторы видят современную белорусскую государственность как находящуюся вне союзных отношений с Россией. Однако это скорее желаемая ими реальность, чем политический факт, так как Республика Беларусь входит в ОДКБ и подписала с Россией Договор о создании Союзного государства – союзные структуры, напрямую влияющие на ход государственного строительства в современной Белоруссии [подробнее см. 21].

Образ России на страницах учебника – однозначно негативный, нередко даже на уровне западной прессы времен холодной войны. И иногда обобщающие выводы авторов просто впечатляют своей масштабностью. Например, они утверждают, что «в России отсутствовала традиция цивилизованных отношений и компромиссного решения социальных и политических конфликтов» [9, с. 371]. Вот так вот: страна столетиями жила без «цивилизованных отношений». Понятно, в какую оторопь должен впадать читатель при осознании, куда попала Белоруссия после разделов Речи Посполитой. Кроме того, по идее, такой настрой авторов книги должен определять резко негативное отношение к СССР как к эпохе, когда Белоруссия находилась в тисках очередной формы Российской империи, в результате которой якобы была русифицирована.

В статье, презентующей концепцию «Истории белорусской государственности» для госструктур, основные редакторы издания сформулировали ряд «приемов искажения исторического прошлого белорусского народа», которые «наиболее часто и активно используются» в настоящее время враждебными к нему силами. Как ни удивительно, эти формулировки прямо противоположны по смыслу тому, что написано в самом издании. Мы видим подлог не только в обращении с фактами и источниками, но и в публичных заявлениях о содержании новой «Истории».

Так, среди этих приемов указаны следующие: «Трактовка разделов Речи Посполитой как трагедии утраты государственности белорусов. Хотя объективный научный анализ свидетельствует о том, что включение белорусских земель в состав Российской империи явилось решающим фактором, позволившим остановить полонизацию белорусов и содействовавшим возрождению и развитию их духовно-культурных традиций, консолидации нашего народа в отдельную нацию. При этом белорусы рассматривались властями как часть триединого государствообразующего этноса Российской империи, который состоял из великорусов, белорусов и малорусов». И далее: «Трактовка восстаний 1794 года, 1830–1831 годов, 1863–1864 годов как освободительного движения белорусского народа. Однако главной их целью было воссоздание Речи Посполитой, прежде всего как польского государства, в границах 1772 года» [11, с. 9]. Кроме того, Российская империя оказалась обозначена в общем списке белорусских «исторических форм государственности» наравне с Речью Посполитой.

Несмотря на эти заявления, на деле мы видим в издании следующий образ белорусской истории с конца XVIII по начало XX века. В его основу положено представление о Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой как о белорусских «формах государственности», которые белорусская элита и широкие народные массы считали своими, а о Российской империи – как о чуждом для белорусов государстве. В рамках Речи Посполитой сформировалась белорусская народность, а дальнейшее формирование белорусской нации происходило в борьбе с Россией за возрождение Польши. Разделы Речи Посполитой стали трагедией утраты белорусами их исторической государственности. Польская по языку и самосознанию и католическая по вероисповеданию шляхта считается белорусской элитой, в ее стремлениях к восстановлению польской государственности авторы видят интерес белорусского народа, тогда как «русские» в Белоруссии представляются чуждым элементом, носителем чужой культуры и враждебной государственности. Специально для этого даются такие формулировки определения понятий нации и национальной идентичности, которые игнорируют факторы языка и идентичности.

На всех этапах истории Российская империя обвиняется в проведении в отношении белорусов шовинистической политики, системной русификации и непризнания их национальных прав, а также в разжигании национальной вражды между ними и поляками (как и другими народами края). Каких-либо межнациональных и социальных противоречий в Белоруссии, не инспирированных Россией, не отмечается – наоборот, все ее население предстает единым в борьбе за воссоздание Польши в границах 1772 года. Ни о каком ополячивании и окатоличивании со стороны властей Речи Посполитой и местной польской элиты речи не идет, национальный гнет белорусского крестьянства со стороны польской шляхты не признаётся. Более того, утверждается, что полонизация, то есть распространение среди белорусов польского языка, культуры и католического вероисповедания являлось необходимым условием становления их национального самосознания, которому препятствовала российская власть.

Россия также обвиняется в изобретении в экспансионистских целях концепции принадлежности белорусов к древнерусской общности и теории их этнического единства с русскими как средства лишения их собственного самосознания и культуры. Восприятие белорусов в качестве части русского народа якобы имело своей целью отрицание их существования, наличия у них особого языка и самосознания – то есть идеологическим основанием политики этноцида. Использование русского языка в Белоруссии представляется следствием политики русификации.

Вся история белорусского национального движения сводится к борьбе за восстановление польской государственности. Восстания 1794, 1830–1831 и 1863–1864 годов трактуются как национально-освободительные движения белорусского народа, при этом

признается, что их целью было воссоздание на белорусских землях польского государства. Лидеры этих восстаний в Белоруссии определяются как белорусские национальные герои. Социальная консолидация между белорусским рабочим и крестьянским движением и польской шляхтой в единой борьбе с Россией определяется как основной фактор, приведший к распаду Российской империи. Именно польская шляхта формулировала белорусскую национальную идею на основном этапе формирования белорусской нации.

Общность с русскими отрицается в любых аспектах, в том числе в трактовке «войны 1812 года» и Первой мировой войны. Основная цель белорусов в ней определяется как поражение царизма, а важнейшим этапом становления белорусской государственности определяется немецкая оккупация и провозглашение под ней Белорусской Народной Республики, ставшей первой формой национальной государственности белорусов. Даже появление Советской Белоруссии считается независимым от России результатом борьбы белорусов за национальное самоопределение.

Таким образом, мы видим описание истории, построенное на двух главных идеях – почти полном отождествлении белорусов с польскими колонизаторами, их культурой, религией, национальными интересами и государственными формами, и на крайне враждебном восприятии России в любых проявлениях ее власти в крае, ее культурной, исторической, религиозно-конфессиональной, национальной, социально-экономической политики. Белорусская нация сформировалась в единстве с поляками и в борьбе с Россией.

Так как мы имеем дело с официальным синтезом истории белорусской государственности, созданным Национальной академией наук по государственному заказу и презентованным на заседании Совета безопасности Республики Беларусь, то и идеологическое содержание этой книги можно считать квинтэссенцией той исторической политики, которую проводила Белоруссия по крайней мере до событий 2020 года. Ее политический смысл однозначен: это осуждение любых форм общности с Россией и русскими, восприятие распространения русского языка в стране как результата этноцида белорусского народа со стороны российских оккупантов, а также радикально пропольская и в целом прозападная ориентация в культуре и политике как основа национально-государственной идентичности Республики Беларусь.

Правда, попытка авторов представить свой труд руководству страны в совершенно ином свете свидетельствует о существовании в политической элите больших противоречий по отношению к такой трактовке истории и наличии осознанной альтернативы прежнему курсу исторической политики. Содержание книги прямо противоположно заявленным авторами в статье для Администрации Президента идейным принципам.

Вполне вероятно, что идеологическому запросу «сверху» соответствует как раз то, что написано в этой статье, – большинство государственных чиновников будут судить об издании именно по ней, а не по самому пятитомнику. Соответственно, для них сформулированы именно те идеи, которые должны отвечать «госзаказу». Если такое предположение верно, то можно сделать вывод о сознательной ложности заявлений про соответствие содержания учебника государственной идеологии, а статья написана с целью сокрытия этого факта от официальных лиц. Можно также предположить, что и сам «госзаказ» не представляет собой идейно цельного запроса в связи с наличием разных элитарных групп с взаимоисключающей идеологической ориентацией [см. об этом 22].

Тем не менее официальный исторический синтез сам по себе становится сильным и долгоиграющим фактором, формирующим современное национальное самосознание граждан Белоруссии, их геополитическую ориентацию и культурно-цивилизационную комплиментарность.

Литература

1. *Šafárik P.J.* Slowanský národopis. Praha: Nákladem wydawatele, 1842. 213 s.
2. *Бахтурина А.Ю.* Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны. М.: РОССПЭН, 2004. 388 с.
3. *Боханов А.Н.* Александр III. М.: Русское слово, 1998. 512 с.
4. *Вольтер Э.Л.* Списки населенных мест Сувалкской губернии. СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1901. 318 с.
5. Гісторыя Беларусі: ў 6 т. / гал. рэд. М. Касцюк. Мінск: Экаперспектыва, 2006–2008.
6. *Гронский А.* Кастусь Калиновский: конструирование героя // Беларуская думка. 2008. № 2. С. 82–87.
7. *Заболоцкая М.В.* Взгляды А.П. Сапунова и В.К Стукалича на историю Беларуси с древнейших времен до начала XIX в. // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. 2011. № 2 (38). С. 25–31.
8. История белорусской государственности: в 5 т. / под ред. А.А. Ковалени, В.В. Даниловича и др. Т. I: Белорусская государственность: от истоков до конца XVIII в. / отв. ред. тома: О.Н. Левко, В.Ф. Голубев; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. Минск: Беларуская думка, 2018. 598 с.
9. История белорусской государственности: в 5 т. / под ред. А.А. Ковалени, В.В. Даниловича и др. Т. II: Белорусская государственность в период Российской империи (конец XVIII – начало XX в.); отв. ред. тома: Н.В. Смехович, А.В. Унучек, Е.Н. Филатова; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. Минск: Беларуская думка, 2019. 414 с.
10. *Калайдович К.Ф.* О белорусском наречии // Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. М., 1822. Ч. 1. С. 68–69.
11. *Коваленя А., Арчаков В., Данилович В., Баньковский А.* К вопросу об исторической политике // Беларуская думка. 2019. № 8. С. 3–11.
12. *Крутиков А.* Концепции истории Белоруссии: от западнорусизма к национальным мифам и постсоветскому прагматизму. II. Годы испытаний // Перспективы: Электронный журнал. 2021. 31.03. Режим доступа: http://www.perspektivy.info/history/koncepcii_istorii_belorussii_ot_zapadnorusizma_k_nacionalnym_mifam_i_postsovetskomu_pragmatizmu_ii_gody_ispytanij_2021-03-31.htm [дата обращения: 14.06.2020].
13. *Лавринович Д.С.* Концепции белорусской истории в стратегии либеральных организаций в 1917 году // Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем. Смоленск, 2018. № 4. С. 190–198.
14. *Лавринович Д.С.* Польский вопрос в деятельности «Союза 17 октября» в белорусско-литовских губерниях Российской империи // Российский либерализм: итоги и перспективы изучения. X Муромцевские чтения: сборник материалов Международной научной конференции, 28–29 сентября 2018 г. / под общ. ред. В.В. Шелохаева. Орел, 2018. С. 359–368.
15. *Лавринович Д.С.* Проекты решения белорусского вопроса в годы Первой мировой войны // Тетради по консерватизму: Альманах. 2020. № 2. С. 248–256.
16. *Ластоўскі В.Ю.* Кароткая гісторыя Беларусі. Вильня: Друкарня Марціна Кухты, 1910. 126 с.
17. *Лопатина Е.Б.* «Русский вопрос» в Привислинском крае в 1880–1890-е годы. М.: Изд. Степаненко, 2018. 260 с.
18. *Миллер А.И.* Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 240 с.
19. Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. Мінск: Беларусь,1994.
20. *Неменский О.Б.* «История белорусской государственности» между Востоком и Западом // Проблемы национальной стратегии. 2022. № 3 (72). С. 138–173.
21. *Неменский О.Б.* Модели взаимоотношений России с соседними государствами в контексте интеграционных процессов и противостояния со странами Запада // Опыт и перспективы белорусско-российских интеграционных проектов / отв. ред. О.В. Петровская. М., 2018. С. 158–168.
22. *Неменский О.Б.* Современная политическая элита Белоруссии: особенности идентичности и внешнеполитической ориентации // Белорусская идея: история и реальность: Национально-государственная идентичность и общественные настроения в странах Евразийского экономического союза. М., 2016. С. 5–33.
23. *Неменский О.Б.* Украинство на фоне других национальных идеологий Центральной и Восточной Европы: Национализм городской и сельский // Этнокультурная идентичность народов Украины, Белоруссии и Польши: Механизмы формирования и способы проявления: Сборник статей. М., 2011. С. 120–141.
24. *Сапунов А.П.* Белоруссия и белоруссы. Витебск: Губерн. тип., 1910. 22 с.
25. *Турцевич А.* Краткий очерк жизни и деятельности графа М.Н. Муравьева. Вильна: Ком. по сооружению памятника гр. М.Н. Муравьеву, 1898. 64 с.

Аннотация. Статья посвящена обзору второго тома «Истории белорусской государственности», изданной Национальной академией наук Республики Беларусь. Том посвящен истории Белоруссии в составе Российской империи – периоду с конца XVIII по начало XX века, когда происходил основной этап становления белорусского национального движения. Внимание в статье уделяется главным образом идейно-политическому наполнению представленного исторического синтеза в свете основных тенденций в исторической политике Белоруссии.

Ключевые слова: Белоруссия, Республика Беларусь, история белорусской государственности, Институт истории НАН Беларуси, историческая политика, идеология Белорусского государства, белорусско-российские отношения, Российская империя, Западная Русь.

Oleg B. Nemensky, Researcher, Institute of Slavic Studies, the Russian Academy of Sciences. E-mail: nemenski@yandex.ru

"History of Belarusian Statehood" in the Grip of the Russian Empire

Abstract. The article is devoted to the review of the second volume of the "History of Belarusian statehood" published by the National Academy of Sciences of the Republic of Belarus. The volume is dedicated to the history of Belarus as part of the Russian Empire (from the end of the 18th to the beginning of the 20th century), when the primary stage in the formation of the Belarusian national movement took place. The main attention is paid to the ideological and political content of this historical synthesis in the light of the basic trends in the historical policy of Belarus.

Keywords: Belarus, the Republic of Belarus, History of Belarusian Statehood, Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, Historical Politics, State Ideology of Belarus, Belarusian-Russian Relations, Russian Empire, Western Rus'.

Прикосновенный запас

Раздел четвертый

А.Р. Дюков
«Дорогая моя Марылька!»
Неизвестные предсмертные письма Константина Калиновского – лидера польского восстания 1863 года в Литве и Белоруссии

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2023-0-3-369-389

Александр Дюков

«Дорогая моя Марылька!» Неизвестные предсмертные письма Константина Калиновского – лидера польского восстания 1863 года в Литве и Белоруссии

«Письма из-под виселицы» Константина Калиновского – один из наиболее знаковых документов восстания 1863 года в белорусском культурном пространстве, неизменно цитируемый как в научной, так и в учебной литературе. Вплоть до недавнего времени эти «письма», впервые опубликованные в 1867 году польским историком Агатоном Гиллером [41], считались написанным в тюрьме предсмертным обращением Калиновского к белорусскому народу [25, с. 180]. Одним из немногих исследователей, усомнившихся в общепринятой трактовке, стал В.Ф. Гигин, отметивший, что «письма» следует рассматривать как «типовой пример пропаганды» [13]. Интуиция не подвела белорусского историка: обнаружение ранее неизвестных описей входящих и исходящих документов повстанческого штаба Калиновского позволило доказать, что опубликованные А. Гиллером «письма» были написаны Калиновским еще до ареста и, таким образом, действительно являются пропагандистской мистификацией [18, 21].

Но где же настоящие письма, передававшиеся Калиновским из тюрьмы на волю? Мы точно знаем о существовании таких писем благодаря воспоминаниям одной из членов тесно связанного с Калиновским семейства Ямонтов – Людвики Родзеевич. В своих воспоминаниях Людвика даже приводит строчку из одного письма: «Завидую свободе даже той ходящей по снегу вороны, которую вижу из своего окна…» [23, с. 165; 31]. Неужели это единственное, что дошло до нас из настоящих тюремных писем Калиновского?

Вплоть до настоящего времени так и было – настоящие письма из-под виселицы Калиновского оставались неизвестными. Однако архивные изыскания позволили нам обнаружить эти письма – если не все, то существенную часть.

Поиск

Отправной точкой для нашего поиска стало тесно связанное с Калиновским семейство Ямонтов, традиционно игнорируемое как советской, так и постсоветской историографией. Причины *неизучения* роли Ямонтов в восстании 1863 года более чем понятны – это был состоятельный дворянский род, и связь с ним Калиновского катастрофически диссонировала с формировавшимся советской историографией образом «крестьянского вожака» [16, 17].

Надворный советник Мацей Ямонт, долгое время работавший главноуправляющим обширными поместьями князя Витгенштейна – крупнейшего землевладельца Северо-Западного края, в середине 1863 года вышел на заслуженный отдых. Вместе со своей женой Схоластикой, урожденной Мокржицкой, и младшими детьми – дочерями Марией, Еленой, Схоластикой и сыном Юзефом – Ямонт-старший проживал в обставленной в

Дюков Александр Решидеович, научный сотрудник Института российской истории РАН. E-mail: a.dyukov@gmail.com

«старосветском стиле» семикомнатной квартире в центре Вильно и решал вопросы, связанные с оформлением в долгосрочную аренду имения Самуэльево в Игуменском уезде Минской губернии. За счет эксплуатации чиншевиков это имение должно было стать важным источником благосостояния семьи [12, с. 447; 31].

Именно в квартире Ямонтов Калиновский во второй половине 1863 – начале 1864 года проводил встречи с товарищами по повстанческому подполью [24, с. 195–196, 199–200; 40, s. 266]. Как впоследствии выразился глава Виленской особой следственной комиссии полковник А.М. Лосев, «известный Калиновский, воевода Литвы, все свои распоряжения делал в семействе Ямонтов» [1, л. 325 об.]. В свою очередь, историк Г.В. Киселев называл квартиру Ямонтов «настоящим штабом Калиновского» [25, с. 162]. Юзеф Ямонт стал секретарем Калиновского, а сестра Юзефа Мария – возлюбленной. Еще одна дочь Ямонтов, Елена, стала возлюбленной помощника Калиновского, Титуса Далевского.

Практически сразу после ареста Калиновского были арестованы и Ямонты [8, л. 48]. Связь их с повстанческим подпольем была очевидна, и Юзефа Ямонта как секретаря Калиновского и комиссара Минского воеводства, безусловно, ждала петля. Однако Ямонты были семейством богатым, и (за 5000 рублей наличными аудитору следственной комиссии, как вспоминала одна из сестер [31]) вместо смертной казни Юзеф был осужден к лишению прав состояния и высылке на поселение в Сибирь. Мать семейства Схоластика Ямонт и ее дочь Мария также были приговорены к лишению прав состояния и высылке в Сибирь – первая «за допущение в своей квартире собраний лиц, принадлежащих к польской революционной организации», вторая – «за сношение с… политическим преступником Калиновским и исполнение его поручений». Туда же отправились в ссылку отец семейства Мацей Ямонт и его дочь Елена – однако их прав состояния не лишали [1, л. 432–433 об.].

В 1866 году, после покушения Д. Каракозова на жизнь императора Александра II, находившиеся в ссылке в Тобольске Ямонты снова оказались в поле внимания российских властей. Фамилия Ямонтов оказалась в конфискованном у одного из членов ишутинского кружка списке «надежных людей», к которым должны были обращаться ехавшие в Сибирь заговорщики, «причем указывалось в особенности на Марию Ямонт, через которую можно было отыскать других лиц» [1, л. 12 об.]. Председатель созданной для расследования покушения Особой следственной комиссии М.Н. Муравьев еще недавно являлся генерал-губернатором Северо-Западного края, а потому фамилия Ямонт была ему известна. Муравьев лично распорядился о проведении расследования [1, л. 15].

Следственные действия были поручены жандармскому подполковнику В.П. Рыкачеву из Омска, который немедленно отправился в Тобольск и провел у семейства Ямонт обыск с выемкой всех бумаг. В процессе обыска Мария Ямонт и ее сестра Елена проявляли явное волнение. «Настоящий обыск поразительно подействовал на нее, – писал о Марии Ямонт подполковник Рыкачев. – Она заметно изменилась в лице, выражала волнение, беспокойство и вообще к концу обыска совершенно потеряла то спокойствие и хладнокровие, с каким была при начале обыска. Другая дочь Ямонта Елена… была видимо взволнована во время обыска в ее квартире, что выражалось в голосе и в дрожании рук» [1, л. 27 об.].

Заметив это волнение, полковник Рыкачев счел за лучшее арестовать Марию и Елену и отправить их в Омский тюремный замок [1, л. 29 об.]. Для того чтобы разобраться в ситуации, помимо допросов жандармы организовали контроль за «нелегальной» перепиской находившихся в разных камерах сестер. Служительница, передававшая письма от одной сестры к другой, предоставляла их представителям следственной комиссии. После того как наиболее важные фрагменты переписки переводились и вносились в протокол, письма передавались по назначению [1, л. 75].

Тюремная переписка сестер Ямонт имела для них вполне практический смысл – при помощи писем Мария и Елена вырабатывали совместную позицию, которой следовало

придерживаться на допросах, договаривались об ответах на «неудобные» вопросы следователей, возникавшие при изучении конфискованных бумаг. Обращавшаяся к тюремной переписке сестер Ямонт современная российская исследовательница считает, что «сестры искренне пытались хорошо выглядеть в глазах комиссии, старательно вспоминали требуемые события и факты» [30, с. 98]. Это утверждение, однако, не соответствует действительности и свидетельствует о непонимании специфики архивно-следственных материалов [10, 19, 22, 38]. На самом деле посредством писем Мария и Елена не «старательно вспоминали требуемые события и факты», а договаривались о том, как скрыть важную информацию, ввести следствие в заблуждение. При этом сестры осознавали, что их письма могут попасть в руки следствия, а потому писали как можно более туманно. Именно в тюремной переписке Марии и Елены мы обнаружили первые упоминания о настоящих тюремных письмах Калиновского.

23 октября 1866 года Мария Ямонт писала Елене: «Есть еще одно затруднение, я должна тебе сообщить. В любовных (miłostnych) моих записках есть, если припоминаешь, написано на тонкой бумаге карандашом, следующее: “Наведи чернилами, отчего не извещаете о столе, пусть вас благословит Господь Бог, Хамет”. Это тоже что-то тюремное… это их очень займет, обращаюсь к тебе за помощью» [5, л. 67]. Елена ответила на следующий день, предложив следующее объяснение для следователей: «Эти несколько слов, написанные карандашом, к тебе попали по ошибке, они могли быть к его родственникам в городе» [5, л. 67]. Это объяснение, однако, не показалось Марии достаточным. В написанном в тот же день письме сестре она писала: «Я только тебе показывала свои любовные записки (miłostki), там имя ясно» [5, л. 67 об.]. Имя, которое было в «любовных записках», Елена упомянула позднее: «твоего Константина» [6, л. 35 об.]. Это была правда. Подпись «Хамет» (Chamet) в записке, процитированной Марией, – один из наиболее известных (в том числе властям) псевдонимов Калиновского [24, с. 87].

Так из тюремной переписки сестер Ямонт мы узнали, что в 1864 году как минимум часть переданных из тюрьмы писем Калиновского дошла до своего адресата – Марии Ямонт. Эти письма были среди прочих вещей взяты ею в ссылку в Сибирь и хранились у нее вплоть до ареста 1866 года. Судя по тому, что в переписке с сестрой Мария называла письма «своими любовными записками», они и через несколько лет после казни Калиновского продолжали сохранять для нее эмоциональное значение. Впоследствии письма были изъяты полковником Рыкачевым вместе со всеми бумагами Ямонтов. Не потому ли во время обыска Мария «совершенно потеряла то спокойствие и хладнокровие, с каким была при начале обыска» [1, л. 27об.]?

Находясь в заключении, Мария ожидала, что следователи предъявят ей эти письма, и заранее готовила ложный ответ, который мог удовлетворить следствие. Она решила отвечать, что письма получены ею от неизвестного молодого человека, оказавшегося в 1864 году в той же тюрьме, что и Мария. Концепцию эту она изложила в письме своей сестре Елене: «Благодарю тебя, что ты мне припомнила о записках из тюрьмы. Я его не знаю по фамилии, разговаривала с ним, только будучи в одной тюрьме, видела его через окно, а голос через дыру – около печки, а с дороги он ко мне написал» [5, л. 63 об.]. Правду об авторе записок следователям Мария рассказывать не собиралась. «Они сочтут мне это виною, небольшая беда, короткая печаль – в кого влюблена, того и прячь», – неожиданно откровенно писала она Елене [5, л. 77 об.].

Когда спустя четыре месяца, 22 февраля 1867 года, следователи все-таки добрались до конфискованных тюремных писем Калиновского, предъявили их Марии и попросили объяснить содержание, она ответила крепкой домашней заготовкой. О письме с подписью «Хамет» она ответила: «Записка эта, вероятно, была по ошибке вложена в мои письма, которые получила будучи в заключении в Вильне от Константина, фамилии

которого не знаю, потому что мне не сказал, я с ним познакомилась в заключении, вероятно посылал к своим родным а эти через ошибку вложили в мои письма… где же он теперь, я не знаю, ибо его я больше не видела» [6, л. 300, 301]. Судя по записи допроса, этот ответ не вполне удовлетворил следователей, но поймать Марию Ямонт на прямой лжи у них не получилось.

В записи допроса Марии Ямонт были зафиксированы фрагменты тюремных писем Калиновского [6, л. 300 об., 301 об.]; при этом, однако, переводчик Омской следственной комиссии переводил лишь то, что казалось значимым с практической точки зрения.

К счастью, нам удалось найти оригиналы изъятых следствием у Марии Ямонт тюремных писем Калиновского. Находившиеся в распоряжении следствия бумаги Ямонтов были впоследствии пересланы в III Отделение и ныне хранятся в Государственном архиве РФ (ГАРФ). Тюремные письма Калиновского оказались подшиты в дело под заголовком «Поздравительные письма и стихотворения, посвященные Ямонт С. На польск. яз.» [3]. Всего в этом деле среди ученических тетрадок младшей из сестер Ямонт – Схоластики – нашлось три тюремных письма Калиновского, написанных хорошо узнаваемым почерком и подписанных именем Константин (Konstanty). В письмах также обозначены место написания писем – Доминиканская тюрьма в Вильно и даты написания: 27 февраля (10 марта), 2 (14) марта и 7 (19) марта 1864 года. Последнее из писем, таким образом, написано Калиновским за три дня до казни.

В оригинале до нас дошло и еще одно тюремное письмо Калиновского. А вот его адресат – Мария Ямонт – этого письма, судя по всему, так и не получила, поскольку документ оказался в бумагах родственницы семейства Ямонт Ядвиги Мокржицкой, которые были конфискованы в конце 1866 года в имении Самуэльево под Минском, путешествовали из Минска в Омск, из Омска в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Вильно – и в итоге отложились в следственном деле Мокржицкой в Государственном историческом архиве Литвы [21, с. 29–30]. Как и отложившиеся в ГАРФ тюремные письма Калиновского, это письмо до сих пор не было известно историкам; оно написано карандашом на тонкой бумаге. Почерк Калиновского узнаваем, подписано письмо именем Константин (Konstanty) и датировано 6 марта 1864 года [9, л. 81–81 об.]. В составленной в Омской следственной комиссии описи бумаг Мокржицкой это письмо было охарактеризовано следующим образом: «Записка от Константина к Марии, в ней особого ничего нет, из содержания ея видно, что пишущий ожидает смерти и что страдает за любовь к ближним» [2, л. 17].

Публикация

Ниже мы публикуем все пять выявленных нами ранее неизвестных тюремных писем Калиновского. Письмо № 1 дошло до нас в русском переводе 1866 года [4, л. 78], польский оригинал к настоящему времени не выявлен. Судя по имеющимся описаниям, письмо было написано карандашом на очень тонкой бумаге [4, л. 78; 5, л. 67]. Все остальные письма дошли до нас в оригиналах.

Письмо № 2 написано на польском языке чернилами на двух небольших листочках форматом 6,1 на 9,4 см (примерно 1/8 современного машинописного листа формата А4). Листочки заполнены текстом с обеих сторон, имеются следы складывания [3, л. 317–317 об.].

Письмо № 3 написано на польском языке чернилами на двух небольших листочках форматом 8,7 на 10,8 см (чуть больше 1/8 современного машинописного листа). Первый из листочков заполнен с двух сторон, второй – с одной, имеются следы складывания [3, л. 320–321].

Письмо № 4 написано на польском языке карандашом на листе тонкой бумаги, заполненном с двух сторон. К сожалению, ввиду того, что данное письмо хранится в

Государственном историческом архиве Литвы, у нас не было возможности изучить оригинал письма, в нашем распоряжении имеются только полноцветные сканы документа, сделанные сотрудниками архива. Судя по метаданным сканов, размер листа, на котором написано письмо, составляет примерно 14 на 19 см (примерно 1/4 современного машинописного листа). На листе имеются следы складывания [9, л. 81–81 об.].

Письмо № 5 написано чернилами на двух небольших листочках форматом 7,2 на 11,6 см (чуть больше 1/8 современного машинописного листа). Листочки заполнены текстом с обеих сторон, имеются следы складывания [3, л. 318–319 об.].

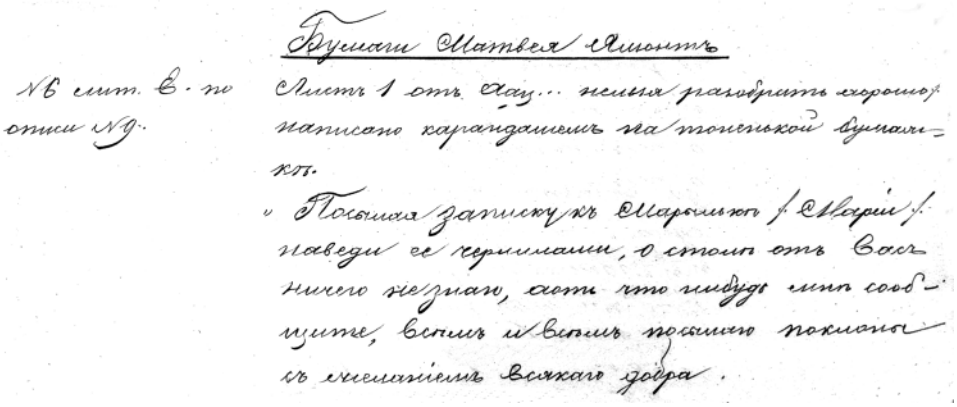
Поскольку польский оригинал письма № 1 к настоящему времени не выявлен, оно публикуется только в переводе на русский, выполненном в 1866 году Омской следственной комиссией. Письма № 2–5 публикуются в оригинале на польском и в переводе на русский. Перевод письма № 2 выполнен Омской следственной комиссией в 1866 году [4, л. 78–78 об.], перевод № 4 – Виленской особой следственной комиссией в 1868 году [9, л. 59–59 об.]. При публикации эти переводы были сверены с оригиналами, в них внесены мелкие изменения. Письма № 3 и 5 переведены на русский язык специально для настоящей публикации. Пользуясь случаем, автор благодарит за помощь в расшифровке текстов и подготовку переводов М. Вишневского (Варшава) и Ю.В. Микульского (Минск).

Все польские оригиналы документов публикуются впервые, русские переводы писем № 2, 3 и 5 публикуются впервые, русские переводы писем № 1 и 4 публиковались нами ранее [21, с. 54–55].

№ 1

Посылая записку к Марыльке, наведи ее чернилами. О столе от вас ничего не знаю, хоть что-нибудь мне сообщите. Всем и всем посылаю поклоны с желанием всякого добра.

[Хамет]



Русский перевод тюремного письма № 1. ГАРФ. Ф. 109. Оп. 214. Д. 321. Л. 78

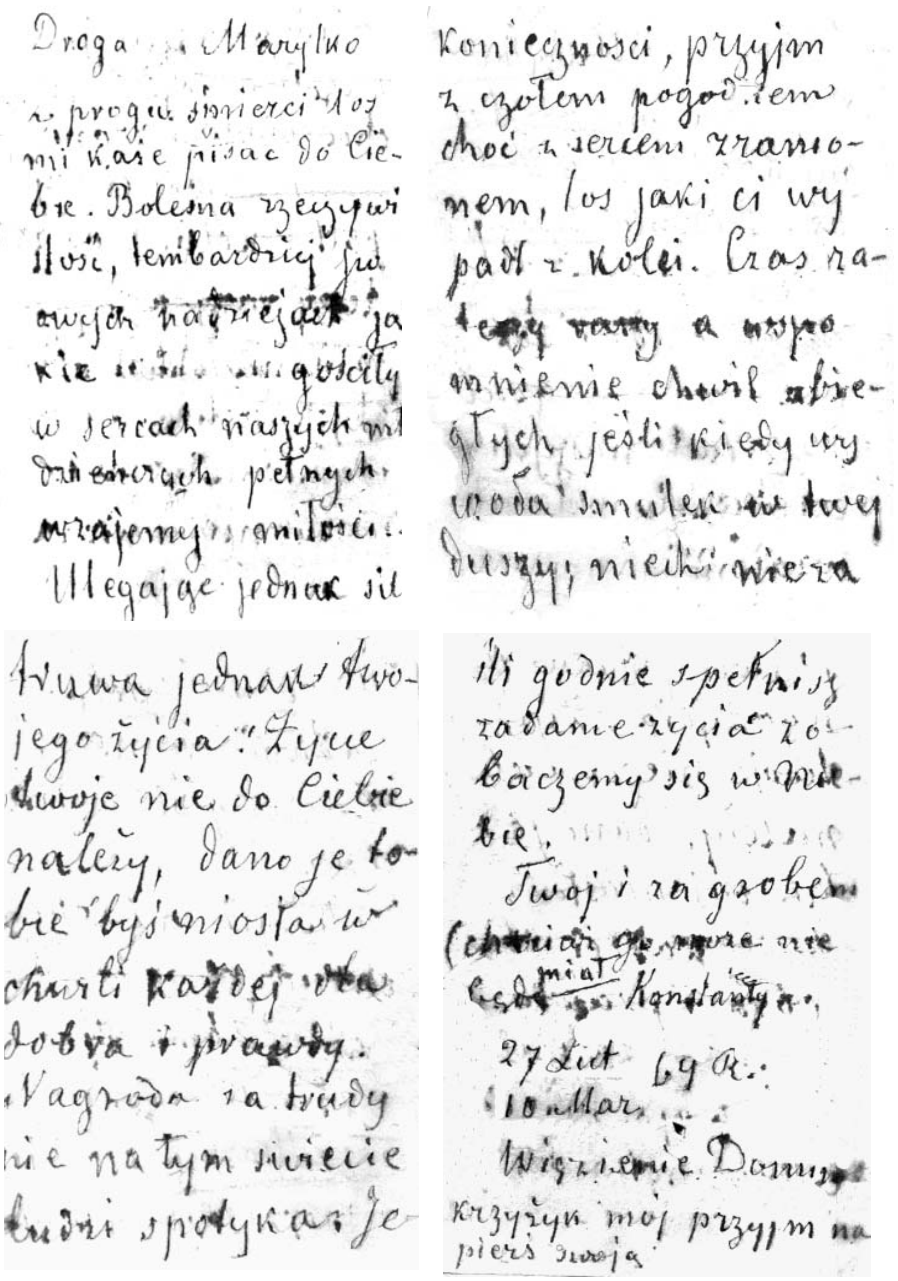
№ 2

Droga Marylko

Z progu śmierci los mi każe pisać do Ciebie. Bolesna rzeczywistość, tembardziej po owych nadziejach jakie gościły w sercach naszych młodzieńczych pełnych wzajemnej miłości. Ulegając jednak sile konieczności, przyjm z czołem pogodnem choć z sercem zranionem, los jaki ci wypadł z kolei.Czas zaleczy rany a wspomnienie chwil ubiegłych jeśli kiedy wywoła smutek w twej duszy

niech nie zatruwa jednak twojego życia. Życie twoje nie do Ciebie należy, dano je tobie byś niosła w chwili każdej dla dobra i prawdy. Nagroda za trudy nie na tym świecie ludzi spotka. Jeśli godnie spełnisz zadanie życia zobaczemy się w niebie.

Twój i za grobem (chociaż go może nie będzie miał). Konstanty
27 Lut / 10 Mar 64 r.
Więzienie Domin.
Krzyżyk mój przyjm na pierś swoją.



Польскоязычный оригинал тюремного письма № 2. ГАРФ. Ф. 109. Оп. 214. Д. 315. Л. 316–317 об.

Перевод на русский язык

Дорогая Марылька.

С порога смерти судьба велит мне писать Тебе. Горькая действительность, тем более после тех надежд, какие гостили в наших юношеских сердцах, полных взаимной любви. Уступая, однако, сим обстоятельствам, прими с прояснившимся лицом, хотя и с раненным сердцем, судьбу, которая Тебе выпала на долю. Время залечивает раны, а воспоминание прошлых мгновений, если когда вызовет печаль в твоей душе, пусть однако не отравляет твоей жизни. Жизнь твоя тебе не принадлежит, она дана тебе, чтобы ты в каждую минуту несла добро и правду. Награда за труды не на этом свете дается людям. Если исполнишь достойно задачу жизни – увидимся в небе.

Твой и за гробом (хотя может быть я и не буду его иметь), Константин.

27 фев / 10 мар [18]64 г.

Доминик[анская] тюрьма.

Крестик мой прими на свою грудь.

№ 3

Droga mi Marylko!

Choć myśl odradza, lecz serce ciągnie by jeszcze napisać słów kilka do Ciebie. W położeniu, w jakiem obecnie się znajduję, bolesno wspominać ubiegłe czasy chwil szczęśliwych. Gorycz słodyczy nie lubi. Jednak trudno utrzymać na wodzy zachcianek serca i ustach chcąc nie chcąc rozum placu musi ustąpić.

Nie dalej miesiąc temua jeszcze jak w głowach naszych młodzieńczych roiły się wybujałe fantastyczne nieraz, obrazki przyszłego szczęścia i przyszłych rozkoszy. Dzisiaj wszystko to pierzchnąć musiało zostawując po sobie bolesne li tylko wspomnienie. Nowa rzeczywistość zajęła miejsce bujnej i płodnej w zachwyty poezyi.

Życie ludzkie takim zwykle ulega kolejom, – nietrwałość i znikomość są główne jego cechy. Bóg próbując hartu sumienia rzuca człowieka w rozmaite położenia i ten tylko staje się godnym jego wybrańcem kto nigdy upaść nie umie. Nieszczęście jest probierczym kamieniem na ile człowiek wzniosł się na bydlę, – i kto w niem nie upadnie, nad tym opieka boska nigdy nie ustanie.

Słowa powyższe przyjmij Droga Marylko jako wskazówek dla siebie w życiu. O mnie zapomnij, lecz o słowach moich pamiętaj zawsze. Szczęście twoje w tobie, w twem się poddaniu wyrokom Boga spoczywa. Harmonija w głowie, sercu i duszy jedynie tylko jest możliwą gdy człowiek poprze staje na tem co los mu zgotował.

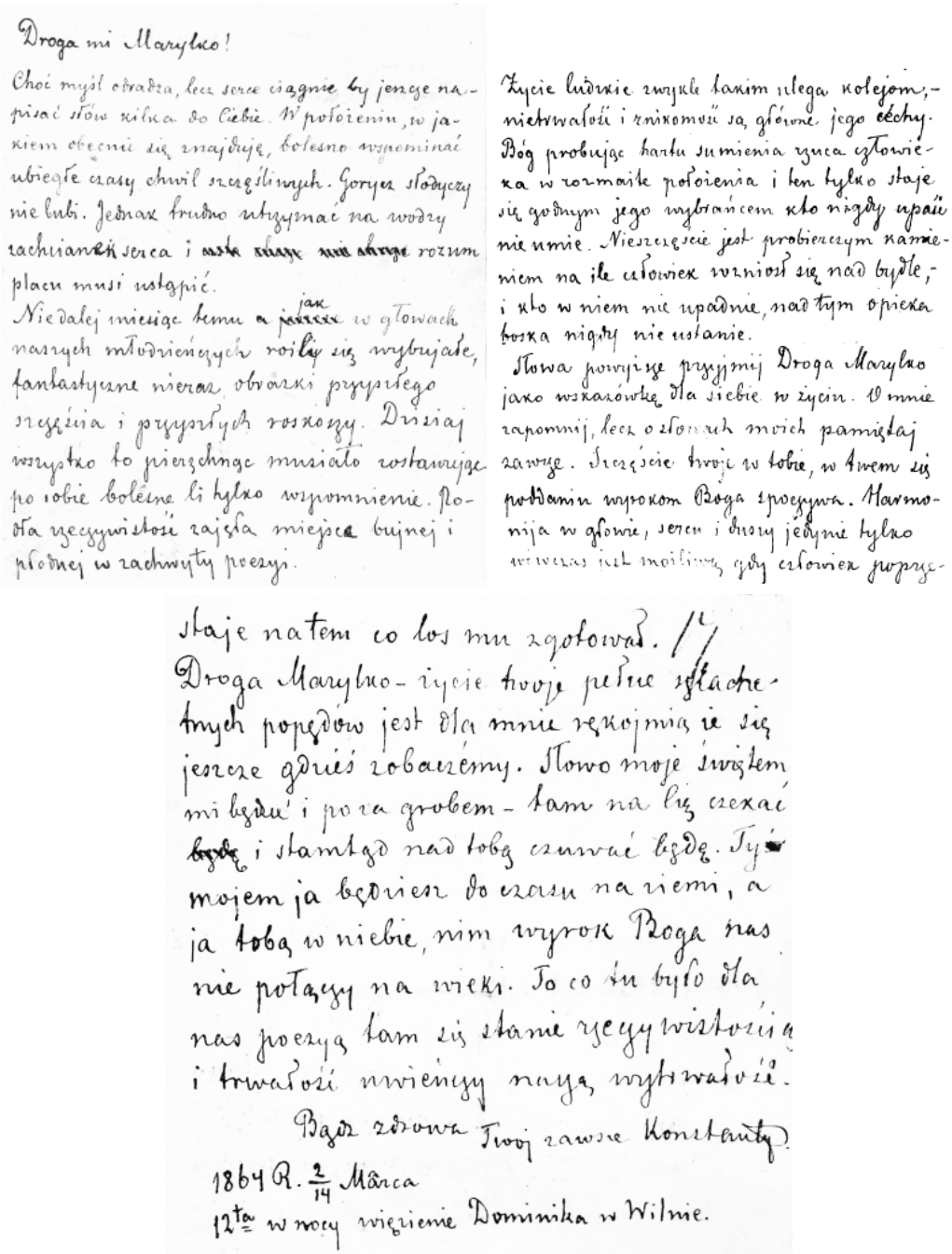
Droga Marylko – życie twoje pełne szlachetnych popędów jest dla mnie rękojmią że się jeszcze gdzieś zobaczemy. Słowo moje świętem mi będzie i poza grobem – tam na cię czekać będę i stamtąd nad tobą czuwać będę. Tyś mojem ja będziesz do czasu na ziemi, a ja tobą w niebie, nim wyrok Boga nas nie połączy na wieki. To co tu było dla nas poezyą tam się stanie rzeczywistością i trwałość uwieńczy naszą wytrwałość.

Bądź zdrowa

Twój zawsze Konstanty

1864 R. 2/14 Marca

12 w nocy więzienie Dominika w Wilnie.



Droga mi Marylko!

Choć myśl odradza, lecz serce ciągnie by jeszcze napisać słów kilka do Ciebie. W położeniu, w jakiem obecnie się znajduję, bolesno wspominać ubiegłe czasy chwil szczęśliwych. Gorycz słodyczy nie lubi. Jednak trudno utrzymać na wodzy zachcianek serca i ~~[illegible]~~ rozum placu musi ustąpić.

Niedalej miesiąc temu a ~~[illegible]~~ jak w głowach naszych młodzieńczych roiły się wybujałe, fantastyczne nieraz obrazki przyszłego szczęścia i przyszłych roskoszy. Dzisiaj wszystko to pierzchnąć musiało zostawując po sobie bolesne li tylko wspomnienie. Podła rzeczywistość zajęła miejsce bujnej i płodnej w zachwyty poezyi.

Życie ludzkie zwykle takim ulega kolejom, – nietrwałość i znikomość są główne jego cechy. Bóg probując hartu sumienia rzuca człowieka w rozmaite położenia i ten tylko staje się godnym jego wybrańcem kto nigdy upaść nie umie. Nieszczęście jest probierczym kamieniem na ile człowiek wzniósł się nad bydle, – i kto w niem nie upadnie, nad tym opieka boska nigdy nie ustanie.

Słowa powyższe przyjmij Droga Marylko jako wskazówkę dla siebie w życiu. O mnie zapomnij, lecz o słowach moich pamiętaj zawsze. Szczęście twoje w tobie, w twem się poddaniu wyrokom Boga spoczywa. Harmonija w głowie, sercu i duszy jedynie tylko wówczas jest możliwą gdy człowiek poprzestaje na tem co los mu zgotował. /2/

Droga Marylko – życie twoje pełne szlachetnych popędów jest dla mnie rękojmią że się jeszcze gdzieś zobaczemy. Słowo moje świętem mi będzie i poza grobem – tam na cię czekać ~~będę~~ i stamtąd nad tobą czuwać będę. Ty mojem ja będziesz do czasu na ziemi, a ja tobą w niebie, nim wyrok Boga nas nie połączy na wieki. To co tu było dla nas poezyą tam się stanie rzeczywistością i trwałość uwieńczy naszą wytrwałość.

Bądź zdrowa Twój zawsze Konstanty.

1864 R. $\frac{2}{14}$ Marca

12ta w nocy więzienie Dominika w Wilnie.

Польскоязычный оригинал тюремного письма № 3. ГАРФ. Ф. 109. Оп. 214. Д. 315. Л. 320–321

Перевод на русский язык

Дорогая мне Марылька!

Хотя разум не советует, но сердце так и тянет написать Тебе несколько слов. В моем нынешнем положении больно вспоминать счастливые мгновения прошлых времен. Горечь не любит сладкого. Однако желания сердца трудно удержать в узде и, нравится это или нет, разум должен посторониться.

Не далее как месяц назад ещё в наших юношеских головах крутились небывалые, порою фантастические картины будущего счастья и будущего блаженства. Сегодня всё это вынуждено исчезнуть, оставляя за собой болезненное воспоминание. Новая действительность заняла место небывалой и богатой на восторги поэзии.

Человеческая жизнь обычно по таким рельсам идет – непостоянство и ничтожность ее основные черты. Бог, испытывая прочность совести, бросает человека в разные положения, и тот только остается его достойным избранником, кто не умеет падать. Несчастье является пробным камнем, насколько человек выше скота, – и кто не упадет, с тем божественная опека пребудет вечно.

Вышесказанное прими, дорогая Марылька, как указание тебе в жизни. Забудь обо мне, но мои слова помни всегда. Счастье твое в тебе, в твоей покорности воле Божьей. Гармония в голове, сердце и душе только тогда возможна, когда человек выдерживает уготовленное ему судьбой.

Дорогая Марылька, жизнь твоя полна благородных порывов, это для меня гарантия, что когда-то еще свидимся. Слово это будет для меня свято даже в могиле – там тебя ждать буду и оттуда за тобой присматривать буду. Ты до времени будешь моим «я» на земле, а я тобой на небесах, пока воля Бога не соединит нас навеки. То, что здесь было поэзией, там станет явью и долговечие увенчает наше упорство.

Будь здорова,

Твой всегда Константин

1864 г. 2/14 марта

12 ночи, тюрьма Доминика в Вильне

№ 4

Marylka ma droga!

Nie wiem czy kartki moje dojdą rąk twoich. Los co nas chce prześladować może w temu zechce stawić przeszkody. Zadość czyniąc jednak potrzebie serca i ducha, ja piszę i piszę do Ciebie tej będąc nad[zie]i, że jeśli nie wszystkie to choć niektóre otrzymasz.

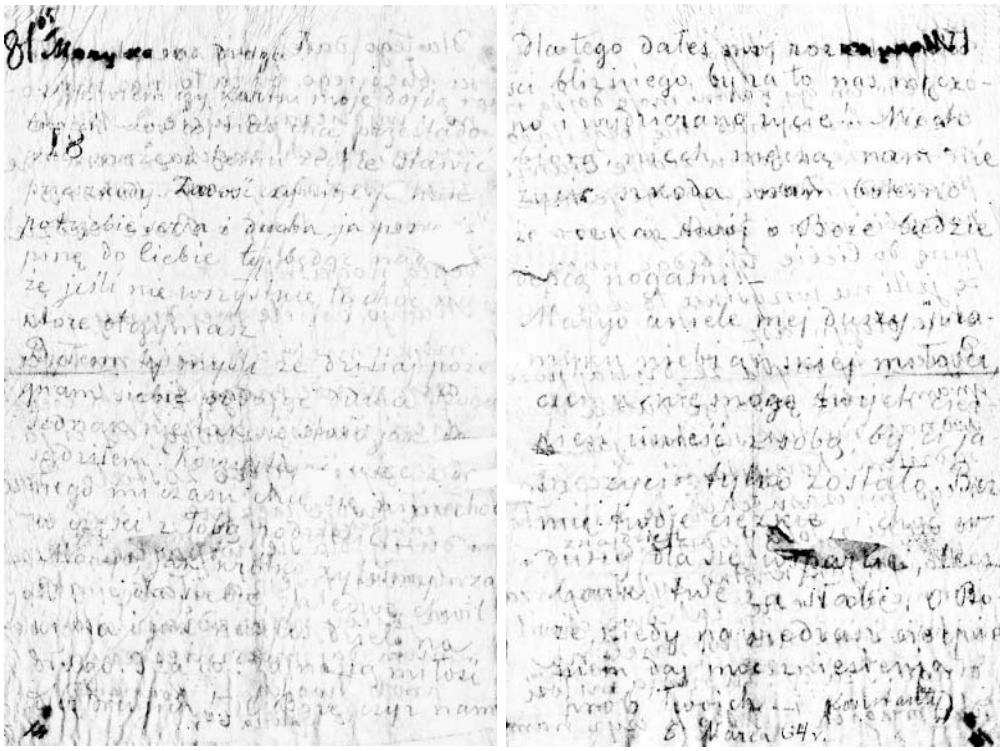
Byłem tej myśli że dzisiaj pożegnam siebie oddając ducha Bogu. Jednak nie tak się stało jak ja sądziłem. Korzystając więc z danego mi czasu chcę się nim choć w części z Tobą podzielić.

Marija, jak krótko żyliśmy wzajemnie dla siebie zaledwo, chwil kilka i już nas los dzieli na długo. I za co? Za naszą miłość dla drugich. O Boże, czyż nam dlatego dałeś swój rozum <нрзб> miłości bliźniego, by za to nas męczono i wydzierano życie! Niech biorą, niech męczą, nam nie życia szkoda, nam bolesno że rozkaz twój o Boże ludzie depc[z]ą nogami.

Maryo, aniele mej duszy, promyku niebiańskiej miłości, czemu nie mogę twych cierpień unieść z sobą, by Ci jasne życie tylko zostało. Brzemię twoje ciężkie i choć w duszy znajdziesz dla się wsparcie, lecz barki twe za słabe. O Boże, kiedy nawiedzasz cierpieniem, daj moc zniesienia prób Twoich.

Konstanty

6 Marca 64 r.



Польскоязычный оригинал тюремного письма № 4. LVIA. Ф. 378. Оп. 158. Д. 16. Л. 81–81 об.

Перевод на русский язык

Дорогая моя Марылька!

Не знаю, получишь ли ты мои записки. Судьба, желающая нас преследовать, захочет, пожалуй, и в этом поставить препятствия. – Удовлетворяя однако же нужды души и сердца, я пишу и пишу к тебе, имея надежду, что ты получишь хотя не все, но, по крайней мере, некоторые из них. – Полагал я, что сегодня уже прощусь с собою, отдав Богу душу, но этого, однако же не случилось. – Пользуясь затем предоставленным мне еще временем, хочу поделиться им с тобою. –

Мария! как недолго жили мы друг для друга, несколько только мгновений, а судьба разделила нас уже надолго. – И за что? За нашу любовь к другим! – О Боже! неужели Ты для того дал нам свой ум и любовь к ближнему, чтобы за это нас мучили и вырывали нам жизнь. – Пускай же берут, пусть мучат, нам жаль не жизни, а прискорбно то, что люди топчут ногами Твои приказания. –

Мария! ангел души моей, луч небесной любви. Отчего не могу я унести с собою твоих страданий, чтобы тебе осталась одна только светлая жизнь. Бремя твое тяжело и хотя в душе найдешь себе поддержку, но плечи твои слишком слабы.

О Боже! Если Ты посылаешь страдания, дай и силу перенести твои испытания.

6 марта 1864 года.

Константин

№ 5

Kochana, droga mi Maryleczko!

Mam atrament u siebie w kwaterze (ciupie więziennej) kawałek papieru, więc i kartka do Ciebie mój ty aniołku niech będzie. Za pomocą ludzi łaskawych może ona dojdzie rąk twoich i ci przyjemność sprawi, w mojej niedoli, gdy nie mam środków rozpędzić chmur zebranych nad Tobą, niech choć pustem słowem niosę ci wyraz pociechy,

Marylko ma droga, jeszcze słońce świeci nademną, jeszcze mogę patrzeć, myśleć i chcieć. Przez moją furtkę widzę Wileńko, owe Wileńko tak drogie dla duszy Litwina, siedzibę groźnych Olgierdów, myśli czynów w Bogu i prawdzie poczętych. Patrząc na Wilno serce nabrzmiewa, w hardość się wzbija. A tam dalej, jak oko, jak myśl zasięgnie, nasz biedny ludek, co w pociot czoła, strasznej niewoli, Boga i prawdy zapomnieć nie umie. I czyż nie zaszczytnie nieść życie dla niego w ofierze, dla naszej ziemi rodzinnej, mogiłami usłanej bohaterskich przodków naszych. To chluba dla nas, to cześć nasza.

Ty mój aniołku z serduszkiem gorącem, córo rodzimej mej Litwy, jej zachwytów i boleści. Marylko ma droga, ty pójdziesz za popędem narodu twego i w życiu ciernistem wieńcem miłości i prawdy siebie okolisz, a jeśli ludzie niekiedy, zawiodłszy cię w swoich rachubach, złorzeczyć będą, ty się poddając woli opatrznej stworzysz w sobie szczęście dla siebie. Rodzina, kółko domowe będzie dla Ciebie polem, gdzie biorąc z serca tchnienia anielskie rozpogadzać będziesz zachmurzone czoła troskami powszedniego życia. A jeśli losem wyrwaną zostaniesz z łona rodziny i wirem złośliwego piekła zagnaną będziesz w kraj obcy dla siebie, by uschnąć za życia, przeklęstwem nie splamisz ust swoich.

W położeniu każdem ty będziesz godną córą Litwy.

O, czemu nie mogę dzielić losu takiego anioła i splotłszy nawzajem ręce wzajemną miłością oddychać!

Lecz szczęścia byłoby za wiele jak dla ludzi ziemi, – i widać Bóg dlatego spełnienie życzeń i próśb naszych odkłada do innego czasu, kiedy szczęściu miary być już nie może. Z ufnością więc złożywszy nadzieję w Bogu – czekajmy. Droga Marylko w tej chwili gdy nas nie rozłączyć nie zdoła; a przyjdzie ona, bo Bóg miłosierny nad nami, bo w swej sprawiedliwości nie zechce karać tak srogo tych, co tylko miłością zawinić mogli.

Bądź zdrowa, Twój Konstanty

7 / 19 marca 64 r. Wilno

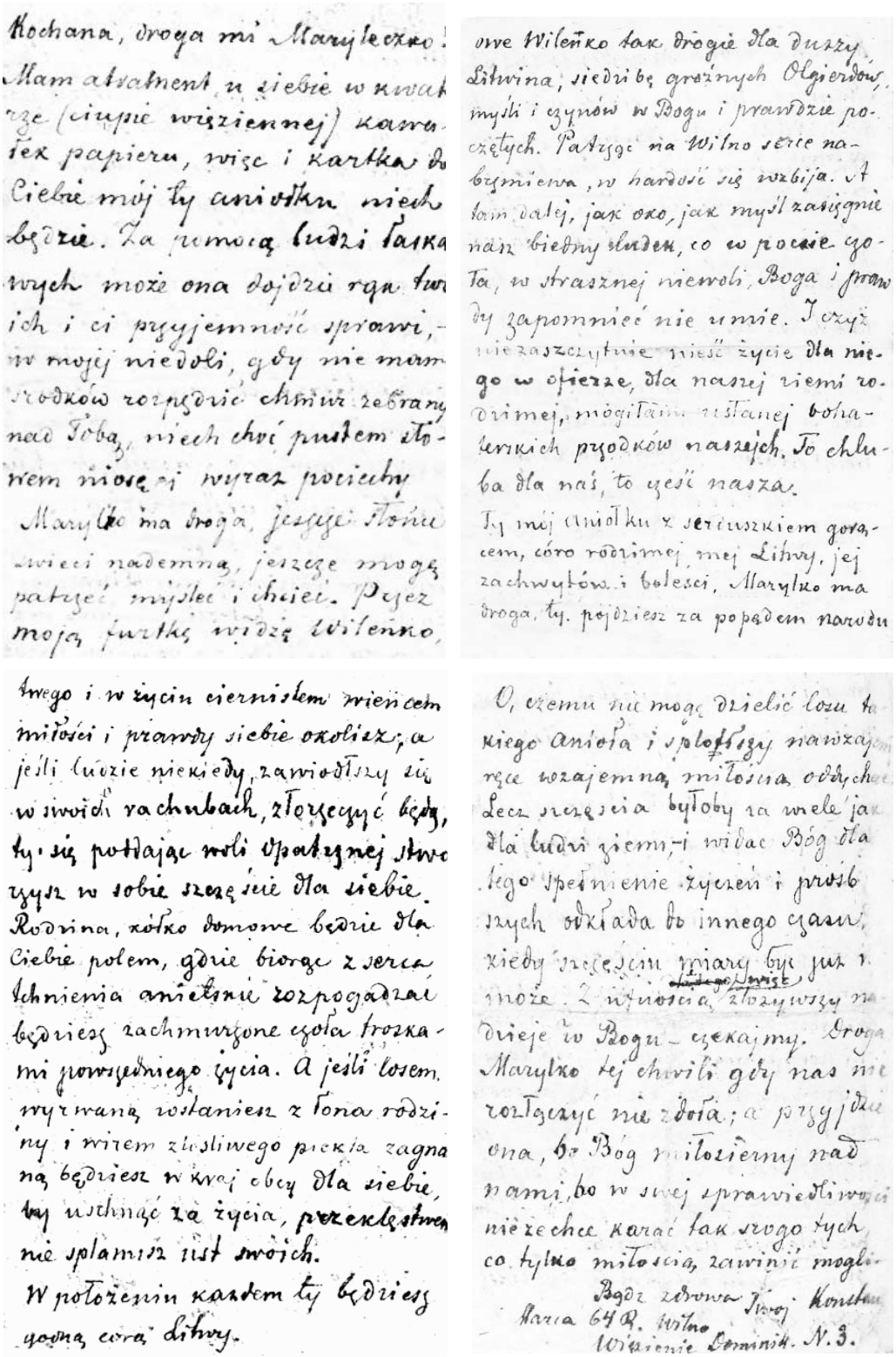
Więzienie Domińsk. N. 3.

Перевод на русский язык

Любимая, дорогая моя Марылечка!

У меня в квартире (тюремной камере) есть чернила [и] кусочек бумаги, значит и письмо к Тебе, мой ангелок, пусть будет. При помощи добрых людей, может быть, она дойдет до рук твоих и доставит тебе удовольствие; в моей беде, когда нет средств разогнать тучи, над Тобою собранные, пусть хоть легким словом принесу тебе утешение.

Марылька моя дорогая, еще солнце надо мной светит, еще могу смотреть, думать и желать. Через мое окошко вижу Виленько, то Виленько, что так дорого душе каждого Литвина, усадьбу грозных Ольгердов, мысли деяний в Боге и правде задуманных. Глядя на Вильно, сердце переполняется, бьется гордо. А там дальше сколько может достигнуть мысль и глаз, наш бедный народец, который в поте лица, страшной неволе, Бога и правды не умеет забыть. И разве не честь это, принести свою жизнь в жертву для него, для нашей родной земли, усеянной могилами геройских наших предков. Это честь наша, это гордость наша.



Kochana, droga mi Maryleczko!
Mam atrament u siebie w kwat-
rze (ciupie więziennej) kawa-
łek papieru, więc i kartka do
Ciebie mój ty aniołku niech
będzie. Za pomocą ludzi łaska-
wych może ona dojdzie rąk two-
ich i ci przyjemność sprawi, -
w mojej niedoli, gdy nie mam
środków rozpędzić chmur zebrany
nad Tobą, niech choć pustem sło-
wem niosę i wyraz pociechy
Marylko ma droga, jeszcze słońce
świeci nademną, jeszcze mogę
patrzeć myśleć i chcieć. Przez
moją furtkę widzę Wileńko,

owe Wileńko tak drogie dla duszy
Litwina, siedzibę groźnych Olgierdów,
myśli i czynów w Bogu i prawdzie po-
czętych. Patrząc na Wilno serce na-
brzmiewa, w hardość się wzbija. A
tam dalej, jak oko, jak myśl zasięgnie
nasz biedny ludek, co w pocie czo-
ła, w strasznej niewoli, Boga i praw-
dy zapomnieć nie umie. I czyż
niezaszczytnie nieść życie dla nie-
go w ofierze, dla naszej ziemi ro-
dzimej, mogiłami usłanej boha-
terskich przodków naszych. To chlu-
ba dla nas, to cześć nasza.
Ty mój aniołku z serduszkiem gorą-
cem, córo rodzimej mej Litwy, jej
zachwytów i boleści, Marylko ma
droga, ty pójdziesz za popędem narodu

twego i w życiu ciernistem wieńcem
miłości i prawdy siebie okolisz; a
jeśli ludzie niekiedy, zawiodłszy się
w swoich rachubach, złorzeczyć będą,
ty się poddając woli Opatrznej stwo-
rzysz w sobie szczęście dla siebie.
Rodzina, kółko domowe będzie dla
Ciebie polem, gdzie biorąc z serca
tchnienia anielskie rozpogadzać
będziesz zachmurzone czoła troska-
mi powszedniego życia. A jeśli losem
wyrwaną zostaniesz z łona rodzi-
ny i wirem złośliwego piekła zagna-
ną będziesz w kraj obcy dla siebie,
by uschnąć za życia, przekleństwem
nie splamisz ust swoich.
W położeniu każdem ty będziesz
godną córą Litwy.

O, czemu nie mogę dzielić losu ta-
kiego Anioła i splotłszy nawzajem
ręce wzajemną miłością oddychać.
Lecz szczęścia byłoby za wiele jak
dla ludzi ziemi, - i widać Bóg dla
tego spełnienie życzeń i próśb
szych odkłada do innego czasu,
kiedy szczęściu miary być już nie
może. Z ufnością ~~[illegible]~~ więc złożywszy na-
dzieje w Bogu - czekajmy. Droga
Marylko tej chwili gdy nas nie
rozłączyć nie zdoła; a przyjdzie
ona, bo Bóg miłosierny nad
nami, bo w swej sprawiedliwości
nie zechce karać tak srogo tych,
co tylko miłością zawinić mogli.
Bądź zdrowa Twój Konstan
Marca 64 R. Wilno
Więzienie Dominik. N. 3.

Польскоязычный оригинал тюремного письма № 5. ГАРФ. Ф. 109. Оп. 214. Д. 315. Л. 318–319 об.

Мой ты ангелочек с горячим сердечком, дочь моей родной Литвы, ее восторгов и боли. Марылька моя дорогая, пойдешь за зовом народа твоего и в жизни тернистой венком любви и правды себя увенчаешь, а если иногда люди, обманувшись в своих расчетах, будут проклинать тебя, ты, подчинившись Божьей воле, создашь в себе счастье для себя. Семья, домашний круг будет тебе местом, где взятое из сердца ангельское дыхание разгладит морщины на челе, омраченном заботами повседневной жизни. А если судьба вырвет тебя из объятий семьи и вихрем злобного ада будешь изгнана в чуждую тебе страну, чтобы увядать при жизни, ты не осквернишь губы свои проклятьем.

В любом положении ты будешь гордой дочерью Литвы.

О, почему не могу разделять судьбы такого ангела и, сплетя наши руки, дышать взаимной любовью!

Но счастья было бы слишком много для земных людей, – и видно потому Бог исполнение наших желаний и просьб откладывает на другое время, когда счастье уже не может быть измерено. Итак, положившись на Бога – будем ждать, дорогая Марылька, той минуты, когда [никто] нас не сможет разлучить; а придет она, потому что Бог милосерден к нам и в своей справедливости не захочет наказывать строго тех, кто только любовью грешить могли.

Будь здорова, Твой Константин.

7 / 19 марта [18]64 г. Вильно,

Доминск[анская тюрьма]. № 3.

Контекстуализация

Тюремные письма Константина Калиновского являются важным историческим источником, позволяющим серьезно расширить наши представления как о финальном этапе жизни лидера восстания 1863 года, так и о его личности. Однако, как и любой источник личного происхождения, они требуют расшифровки и контекстуализации, невозможных без сопоставления с уже известными документами. В нашем случае такое сопоставление помогает лучше понять подоплеку поведения Калиновского на следствии, а также некоторые черты его характера.

Наиболее простым для понимания, безусловно, является недатированное письмо № 1, по объему своему скорее даже записка: «Посылая записку к Марыльке, наведи ее чернилами. О столе от вас ничего не знаю, хоть что-нибудь мне сообщите. Всем и всем посылаю поклоны с желанием всякого добра». Понять примерное время написания этой записки нам помогает упоминание о столе – на первый взгляд непонятное и даже несколько абсурдное. Почему находящийся в заключении человек интересуется каким-то столом настолько, что упоминает его в передаваемой нелегально на волю записке?

Ответ на этот вопрос мы находим в уже упоминавшихся воспоминаниях одной из сестер Ямонт – Л. Родзевич. По свидетельству Родзевич, в ножке письменного стола в квартире Калиновского имелся тайник, в котором хранился ряд повстанческих документов: «У Константина Калиновского надеялись найти важные документы, которые, кстати, хранились в полой ножке его стола; однако в момент обыска ее не обнаружили, видимо о ней не знали, а когда назавтра пришли снова, она уже была пуста. Подвергая себя большой опасности [Каролина] Яцино их опередила» [23, с. 164; 31]. Упомянутая девица Каролина Яцино была арестована в тот же день [39, p. 196–197], но бумаги из тайника властям не достались.

Проявленное беспокойство относительно судьбы стола (то есть документов из тайника) явно свидетельствует о том, что письмо № 1 Калиновского было написано в самые первые дни после ареста.

Из письма, впрочем, видно, что оказавшегося в тюрьме Калиновского волновала не только судьба документов. «Посылая записку к Марыльке, наведи ее чернилами», – обращается Калиновский к неизвестному адресату; по всей видимости, речь идет о том, что адресат (кто-то из оставшихся на свободе товарищей Калиновского) должен был переписать прилагавшуюся записку к Марии Ямонт чернилами и отправить по назначению. Упоминаемая в письме № 1 записка к Марии до нас, к сожалению, не дошла, но зато дошли адресованные ей же четыре других тюремных письма (№ 2–5).

Прежде чем приступить к их разбору, следует обратить внимание на следующее обстоятельство. На момент написания Мария Ямонт тоже находилась в заключении; все ее семейство было арестовано не позднее 2 февраля 1864 года, то есть через несколько дней после ареста Калиновского [8, л. 48]. Поскольку одним из каналов передачи писем на волю для Калиновского была тетка Ямонтов Я. Мокржицкая [31], об аресте Марии, равно как и о месте ее содержания, он, безусловно, был осведомлен. Калиновский и Мария Ямонт содержались в разных, хотя и расположенных рядом зданиях: он в бывшем монастыре доминиканцев, она в бывшем монастыре миссионеров [14, с. 202]. Отдавая адресованные Марии письма Мокржицкой, Калиновский мог надеяться, что та сможет передать их Марии. Но произойдет ли это в ближайшее время или только после освобождения Ямонтов, было, конечно, неизвестно. (В реальности письма № 1–3 и 5 были, по всей видимости, получены Марией в период между вынесением ей приговора и отправкой в Сибирь, а письмо № 4 до адресата вообще не дошло, оставшись в бумагах Мокржицкой). Необходимость писать письма с «отложенным» сроком получения, по всей видимости, стало причиной того, что Калиновский уделял в них главное внимание не конкретным событиям, а общим темам, неизбежно впадая в менторский тон.

Не стоит, однако, думать, что в тюремных письмах не отражалась «злоба дня»; однако для ее выявления необходимо сопоставление писем с материалами архивно-следственного дела Калиновского – к счастью, уже опубликованного [32].

Историки давно обратили внимание на тот факт, что через месяц после ареста, 26 февраля 1864 года, Калиновский неожиданно отказался от дачи дальнейших показаний. В советской историографии это решение традиционно трактовалось как свидетельство революционной несгибаемости Калиновского, который «несмотря на все усилия следственной комиссии… никого не выдал» [34, с. 84] и «шел на казнь, не дав врагам интересовавших их показаний» [37, с. 198]. В этих оценках историков, однако, было больше желания соответствовать описательному шаблону «революционер в тюрьме», чем внимания к документам.

Следственное дело Калиновского показывает, что на допросах он давал довольно подробные показания, включая данные об использовавшихся повстанцами почтовых адресах в Париже, Кибартах, Варшаве и Вильно. На героическое молчание поведение Калиновского в ходе следствия походило мало, хотя, разумеется, он старательно преуменьшал свою роль в восстании и уклонялся от показаний по ряду тем, прежде всего касавшихся его сообщников по подполью [32, л. 63].

В чем же причина внезапного отказа Калиновского от дачи каких-либо показаний вообще? Относительно недавно белорусский историк В. Герасимчик выдвинул предположение, что этот шаг в первую очередь был вызван желанием выгородить семейство Ямонтов [14, с. 202].

Хронология событий действительно, прямо свидетельствует в пользу этой версии. На допросе 22 февраля Калиновскому был задан вопрос об использовании квартиры Ямонтов повстанцами. Калиновский ответил, что с членом повстанческого подполья Парфияновичем он встречался в Вильно на квартире Т. Далевского или в Петербургском заездном доме, «но не у Ямонтов, которых я, кроме молодого Иосифа Ямонта, никого не

знаю» [32, л. 47]. На следующем же допросе Калиновский отказался вообще давать показания.

Содержание тюремных писем подтверждает мысль о том, что спасение любимой и ее семьи было для Калиновского чрезвычайно важным. «Семья, домашний круг будет тебе местом, где взятое из сердца ангельское дыхание разгладит морщины на челе, омраченном заботами повседневной жизни», – писал он Марии в последнем из известных нам тюремных писем (№ 5). Спасение семейства Ямонт, безусловно, было для Калиновского задачей номер один, даже если ценой этого спасения и было приближение к эшафоту.

Впрочем, не стоит преувеличивать фатализм Калиновского. В написанном 27 февраля (на следующий день после отказа от дачи показаний) тюремном письме № 2 он обращается к Марии «с порога смерти», а завершает текст словами «твой и за гробом (хотя может быть я и не буду его иметь)». Если смотреть только на письмо, можно подумать, что автор уже не надеется избежать смертной казни. Однако, написав своей возлюбленной «твой и за гробом», Калиновский на следующий день сел за написание обширной объяснительной записки следствию, в которой дал общий очерк хода восстания в Северо-Западном крае [32, л. 65–73].

Адресованная следствию объяснительная записка Калиновского совершенно явно преуменьшала масштабы восстания и роль в нем автора, содержала советы властям касательно проводимой в Северо-Западном крае политики, а завершалась словами «в моем сознании я преступник не по убеждению, а по стечению обстоятельств» [32, л. 73]. Была ли эта записка попыткой повлиять на следствие и спасти свою жизнь? Выбранный автором тон наводит именно на эту мысль. «Я мог прийти к тому заключению, что Россия хочет полного с собой слияния Литвы для доставления счастья здешнему народу. Я не противник счастия народного, не противник и России, если она добра нам желает, но противник тех бедствий, которые посягают на край наш несчастный», – писал Калиновский [32, л. 72]. От автора исключительных по своей русофобии пропагандистских текстов [13, с. 32-41; 20, с. 67–74] это звучало как некое предложение следствию, попытка добиться снисхождения властей.

Интересной деталью является то, что, судя по всему, Калиновский заявил о желании подготовить объяснительную записку еще 27 февраля. Об этом свидетельствует идентичность бумаги и чернил, использованных при написании записки, и тюремных писем от 27 февраля и 2 марта. Получается, что Калиновский принял решение написать объяснительную записку для спасения своей жизни и получил перо, чернила и бумагу. После этого он сначала написал драматическое письмо к Марии, а потом взялся за написание объяснительной.

Над запиской Калиновский работал тщательно. Экземпляр, имеющийся в следственном деле, написан чрезвычайно аккуратным почерком без каких-либо помарок и исправлений. Это беловой вариант, которому явно предшествовали черновики, к сожалению, не сохранившиеся.

Вне всякого сомнения, спасти свою жизнь Калиновский был готов не любой ценой. Помимо заботы о семействе Ямонт его ограничивало, как он сам выразился при отказе от дачи показаний, «сознание чести, собственного достоинства и того положения, которое я занимал в обществе» [32, л. 51]. Однако где прошла бы на практике граница лично недопустимого? И как повел бы себя Калиновский в ситуации, если бы стремление защитить Ямонтов оказалось бы в противоречии с представлениями о должном поведении при его положении в обществе? Ответа на эти вопросы нет и, к сожалению, не будет.

Старания Калиновского при подготовке объяснительной записки прошли даром – она не привлекла внимания ни следственной комиссии, ни генерал-губернатора М.Н. Муравьева. Возможно, ее вообще не стали читать сразу: вина Калиновского была очевидна, и уже

на следующий день, 1 марта 1864 года, в присутствии обвиняемого состоялось заседание военно-полевого суда. Еще через день, 2 марта, военно-полевой суд приговорил Калиновского к смертной казни [32, л. 79, 88].

Получив известие о приговоре, Калиновский, воспользовавшись теми письменными принадлежностями, которые ему выдали для подготовки объяснительной записки, написал еще одно письмо Марии (№ 3), не столько эмоциональное, сколько назидательно-менторское. «Вышесказанное прими, дорогая Марылька, как указание тебе в жизни… Счастье твоё в тебе, в твоей покорности воле Божьей. Гармония в голове, сердце и душе только тогда возможна, когда человек выдерживает уготовленное ему судьбой». Нашлось в письме, разумеется, и место драматизму: «Ты до времени будешь моим “я” на земле, а я тобой на небесах, пока воля Бога не соединит нас навеки», – писал Калиновский. Эти строчки производят впечатление, если не вспоминать об описанных выше обстоятельствах написания предыдущего, не менее драматичного письма.

Судя по всему, даже после вынесения приговора Калиновский все еще сохранял надежду на то, что его записка сыграет роль и смертную казнь заменят каким-нибудь иным наказанием. Но этого не произошло, и следующее тюремное письмо наглядно свидетельствует, каким сильным психологическим ударом оказалось для Калиновского известие о том, что его смертный приговор 5 марта был утвержден генерал-губернатором Муравьевым [32, л. 96].

Тюремное письмо № 4 от 6 марта написано карандашом на тонкой бумаге; по всей видимости, и то, и другое было передано Калиновскому кем-то из тюремных служителей, подкупленных Я. Мокржицкой. Почерк письма не менее наглядно, чем содержание, свидетельствует об испытываемых автором сильных эмоциях: «Полагал я, что сегодня уже прощусь с собою, отдав Богу душу, но этого, однако же не случилось». Это письмо не только гораздо эмоциональнее всех предыдущих – в нем в первый и последний раз Калиновский напрямую обращается не только к возлюбленной, но и к Богу. «Боже! неужели Ты для того дал нам свой ум и любовь к ближнему, чтобы за это нас мучили и вырывали нам жизнь. Пускай же берут, пусть мучат, нам жаль не жизни, а прискорбно то, что люди топчут ногами Твои приказания». Завершается же письмо восклицанием: «О Боже! Если Ты посылаешь страдания, дай и силу перенести твои испытания». Осознание неизбежности смерти явно настигло Калиновского именно 6 марта.

Впрочем, уже на следующий день, 7 марта, Калиновский принял неизбежное, восстановил душевное равновесие и в письме № 5 (последнем из известных нам) вернулся к обычному менторскому тону. Интересно, что это письмо было опять написано чернилами; чиновник канцелярии Виленского генерал губернатора А.Н. Мосолов в написанных несколькими годами позднее воспоминаниях отмечал, что за «несколько дней до казни» Калиновскому «дали перо и бумагу и позволили свободно излагать свои мысли» [29, с. 126]. Правда, приводимое далее Мосоловым описание написанного Калиновским текста чрезвычайно напоминает уже известную нам объяснительную записку от 28 февраля. Возможно, что мемуарист просто перепутал события – и тогда чернила были получены каким-то иным путем.

Судя по содержанию письма, включая и уже процитированное выше рассуждение о значении семьи для Марии Ямонт, Калиновского успокаивала мысль о том, что его отказ от дачи показаний хотя и приблизил вынесение приговора, но помог отвлечь внимание следствия от Ямонтов. Это семейство (за исключением Ю. Ямонта), равно как и их роль в восстании, не упоминается ни в докладе следственной комиссии по делу Калиновского от 27 февраля, ни в заключении временного полевого аудиториата от 4 марта [32, л. 54–64, 91–96], о чем Калиновский, безусловно, знал.

В этом же письме мы в первый и единственный раз сталкиваемся с самоописанием региональной идентичности Калиновского: «Через мое окошко вижу Виленько, то Виленько, что так дорого душе каждого Литвина, усадьбу грозных Ольгердов, мысли деяний в Боге и правде задуманных. Глядя на Вильно, сердце переполняется, бьется гордо. А там дальше сколько может достигнуть мысль и глаз, наш бедный народец, который в поте лица, страшной неволе, Бога и правды не умеет забыть. И разве не честь это, принести свою жизнь в жертву для него, для нашей родной земли, усеянной могилами геройских наших предков. Это честь наша, это гордость наша», – пишет Калиновский. Далее он называет Марию «дочь моей родной Литвы, ее восторгов и боли» и высказывает убежденность, что «в любом положении ты будешь гордой дочерью Литвы».

Родная земля для Калиновского – это город Вильно, который он именует уменьшительно-ласкательно, и историческая Литва, земли, некогда обустроенные древними князьями из семейства Ольгердов «в Боге и правде», а ныне усеянные «могилами геройских наших предков». Себя Калиновский называет (пусть и не напрямую) «литвином», а свою возлюбленную – «дочерью Литвы».

Одним из ключей для понимания смыслов, которые вкладывались Калиновским в слово «литвин», является «Катехизис литвина» – документ, написанный в период польского восстания 1830–1831 годов и распространявшийся на территории Северо-Западного края Российской империи вплоть до восстания 1863 года [35, с. 7; 42, s. 153–154]. Процитируем ключевые положения «Катехизиса» по русскому переводу, хранящемуся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ):

«– Литвин ли ты?

– Литвин по милости Бога.

– Кто есть литвин?

– Тот, кто верит в вольность и исполняет права Статута.

– Почем узнается истинный литвин?

– По знаку усердного патриотизма. Во имя сабли, пороху и свинцовой пули. Аминь. <…>

– Без чего литвин не может жить?

– Без вольности и единства с поляками.

– Почему этот знак нужно употреблять?

– Чтобы перед ним пал сибирский и московский дух. <…>

– Что есть единство с поляками?

– Составлять с ними единый и нераздельный народ, так чтобы литвин был поляком, а поляк – литвином одной и той же Конституции» [7, л. 4–7].

Аналогичные смысл в слово «литвин» вкладывалось и в виленском варианте польского патриотического гимна “Boże cóś Polskę…”, распевавшегося накануне восстания. Дополненный строчками, посвященными участию литвинов в борьбе за вольность Польши, гимн заканчивался словами: «Смилуйся, просим, объедини польские племена, натрое разделенные, в единый народ» [15, с. 303]. Под тремя «польскими племенами» понимались поляки, литвины и русины.

И «Катехизис литвина», и виленский извод гимна “Boże cóś Polskę…” отражали традиционную для местной шляхты самоидентификацию: “gentis Lithuanus, natione Polonus” («литвин по происхождению, поляк по национальности») [33, л. 104–105; 36, с. 19].

Этот региональный извод польской идентичности укрепился после присоединения литовских и белорусских губерний к Российской империи и дожил до XX века. Литовский литературовед Томас Венцлова следующим образом описывает специфические особенности самоощущения носителей этой идентичности: литвин «называет себя литвином (литовцем), но не представляет себе Литву и Польшу как два государства, имеющие разное

будущее. Литва для него – просто часть Польши, причем лучшая, обладающая особой, интересной традицией. Эта Литва более патриотична и одарена, чем Корона (варшавская, краковская и познаньская Польша), поэтому она может смотреть на Корону несколько свысока. Часть жителей Литвы употребляет свои языки – литовский (жемайтский, жмудский) и русинский (белорусский), но языком культуры в ней является польский» [11, с. 7]. В качестве примера носителя литвинской идентичности Венцлова называет диктатора Польши Юзефа Пилсудского, напоминая о его словах «о дорогом и любимом Вильно, столице, которую создали не польские руки, а усилия литовского народа и великолепные герои языческой Литвы, руками Кейстутов и Ольгердов, Витовта и Ягайлы основавшие державу от моря до моря» [11, с. 8]. Трудно не заметить в словах Пилсудского абсолютно те же мотивы, что и в дошедших до нас строках Калиновского о дорогом «Виленько», усадьбе грозных Ольгердов.

Говоря о литвинской самоидентификации применительно к участникам восстания 1863 года, современные исследователи приписывают ее в первую очередь представителям так называемых белых, то есть умеренной группировке восставших [27]. Однако, как видим, она также была полностью присуща и лидеру радикальной группировки «красных», то есть Калиновскому.

Наглядное проявление этой идентичности, кстати, можно увидеть не только в последнем из тюремных писем. В упоминавшейся уже объяснительной записке следствию Калиновский одновременно пишет и о нерасторжимом единстве Литвы с Польшей («сеть, охватывающая нас во всех классах и соединяющая с Польшею, имеет столько оснований в традициях и даже предрассудках, что распутать, уничтожить и воссоздать что-то новое, составляет вековой систематический и разумный труд» [32, л. 73]), и одновременно демонстрирует типичное литвинское чувство превосходства, противопоставляя «вспыльчивый и увлекающийся характер жителей Царства Польского» «более серьезной Литве» [32, л. 66]. При этом вне Польши Литву Калиновский, как и полагалось литвину, не видел, о чем свидетельствует анализ издававшейся при участии Калиновского польскоязычной подпольной печати [28, с. 55].

Характерной иллюстрацией литвинской самоидентификации Калиновского и его соратников по Литовскому провинциальному комитету служит и использовавшаяся им символика. Печать комитета зримо подчеркивала единство поляков и литвинов: польский орел и литовский всадник соединены на одном гербе под одной короной [39, p. 119, 139].

Несомненный интерес для понимания личности Калиновского представляет и содержащееся в письме № 5 упоминание простого народа: «наш бедный народец, который в поте лица, страшной неволе, Бога и правды не умеет забыть». С одной стороны, Калиновский демонстрирует сочувствие простолюдинам, с другой – смотрит на него свысока, как на «бедный *народец*». В этой связи стоит вспомнить, что и в своих белорусскоязычных пропагандистских «приказах» времен восстания Калиновский также последовательно отделяет себя от крестьян, над которыми его поставил «ронд польский» [20, с. 18–33].

Причиной этого отстраненного отношения к белорусским крестьянам, по всей видимости, был как реальный социальный статус революционера (несмотря на знаменитое заявление «у нас нет дворян, все равны» [29, с. 126–127], Калиновский не зря упоминал на следствии «сознание… того положения, которое я занимал в обществе» [32, л. 51]), так и его этническое происхождение. Тюремные письма Калиновского показывают, что родным для революционера был не белорусский, как ошибочно предполагалось исследователями ранее [25, с. 87], а польский язык. Именно на нем перед смертью он обращался к любимой, именно на нем общался с родными и товарищами.

Последними написанными Калиновским строчками оказалось рассуждение о милосердии Бога. «Итак, положившись на Бога – будем ждать, дорогая Марылька, той минуты, когда [никто] нас не сможет разлучить; а придет она, потому что Бог милосерден к нам и в своей справедливости не захочет наказывать строго тех, кто только любовью грешить могли». Вопреки предпринимавшимся в советской историографии попыткам представить Калиновского атеистом [26, с. 220–221] он, вне всякого сомнения, был верующим – как, кстати говоря, и его возлюбленная Мария Ямонт. На допросе 30 января 1864 года, на следующий день после ареста, он заявил: «Я, Викентий Константин Калиновский, дворянин Гродненской губернии и уезда, 26-ти лет, холост, католик» [32, л. 24]. Полтора месяца спустя, утром 10 марта, к нему вызвали ксендза – для исповеди и причащения перед казнью [25, с. 188–189]. Нет никаких оснований считать, что от причастия Калиновский отказался. Когда в 2017 г. будет обнаружена его могила, то на теле найдут медальона с изображениями распятого Христа, Божьей Матери Остробрамской и святого Казимира.

Другой Калиновский

Каким же предстает Калиновский после изучения тюремных писем и их контекстуализации?

Это носитель классической литвинской идентичности, gentis Lithuanus, natione Polonus, человек польского языка и культуры, который одновременно привязан к исторической Литве и видит ее будущее в составе Польши.

Это дворянин, который публично отрекается от дворянства, но неизменно помнит о своем положении в обществе, который смотрит на белорусских крестьян – «бедный народец» – свысока и одновременно желает их облагодетельствовать, при необходимости – насильно.

Это верующий католик, в своих тюремных письмах постоянно упоминающий Бога и уповающий на его милосердие, но, разумеется, даже не вспоминающий о людях, ставших жертвами польского восстания и ненавистнической пропаганды.

Это влюбленный, который готов пожертвовать собой ради возлюбленной и ее семьи, и который одновременно и на любимую смотрит свысока, наставляя ее хотя и ласковым, но, несомненно, менторским тоном.

Это революционер, который ради снисхождения властей готов признать себя преступником «не по убеждению, а по стечению обстоятельств», но который вместе с тем не готов спасать свою жизнь ценой разоблачения товарищей по подполью.

Это молодой еще человек, склонный к позе и мелодраматизму, но, в отличие от кадрового военного З. Сераковского, сумевший «умереть как следует», не показав трусости на эшафоте.

Изучение личности Калиновского, безусловно, не закончено. Но уже сейчас понятно, что традиционные представления о нем, сформированные как советской, так и националистической историографиями, не выдерживают испытания документами.

Литература

1. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 95. Оп. 1. Д. 302. Ч. 1.
2. ГАРФ. Ф. 109. Оп. 214. Д. 285.
3. ГАРФ. Ф. 109. Оп. 214. Д. 315.
4. ГАРФ. Ф. 109. Оп. 214. Д. 321.
5. ГАРФ. Ф. 109. Оп. 41 (1 экспедиция. 1866 г.). Д. 217. Ч. 3. Лит. «А».
6. ГАРФ. Ф. 109. Оп. 41 (1 экспедиция. 1866 г.). Д. 217. Ч. 3. Лит. «Б.». Т. 2.
7. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 629. Д. 106.

8. Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA). Ф. 1248. Оп. 2. Д. 594.

9. LVIA. Ф. 378. Оп. 158. Д. 16.

10. *Альтман И.А.* Следственная документация как источник по истории революционного движения в России в конце XIX в.: дис. … канд. ист. н. Л., 1983.

11. *Венцлова Т.* Юзеф Пилсудский глазами литовца: От мифа к разумной оценке // Новая Польша. 2020. № 1.

12. Восстание в Литве и Белоруссии, 1863–1864 гг.: Сборник документов. М., 1965.

13. *Гігін В.Ф.* Прапагандысцкая дзейнасць В.К. Каліноўскага: вытокі, метады, наступствы // Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць: Зборнік навуковых артикулаў. Мінск, 2014.

14. *Герасімчык В.У.* Канстанцін Каліноўскі: асоба і легенда. Гродна, 2018.

15. Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі, 1772–1917 гг. Мінск, 2018.

16. *Гронский А.Д.* Кастусь Калиновский: конструирование героя // Беларуская думка. 2008. № 2.

17. *Гронский А.Д.* Конструирование образа белорусского национального героя из участника польского восстания 1863–1864 гг. Викентия Константина Калиновского // Русский сборник: исследования по истории России. Т. XV: Польское восстание 1863 г. М., 2013.

18. *Дюков А.Р.* Загадки «Писем из-под виселицы» Константина Калиновского // Историческая экспертиза. 2020. № 4.

19. *Дюков А.Р.* К вопросу о допустимости использования следственных показаний, полученных органами ОГПУ-НКВД // Известия высших учебных заведений: Поволжский регион: Гуманитарные науки. 2018. № 3.

20. *Дюков А.Р.* Неизвестный Калиновский: Пропаганда ненависти и повстанческий террор на белорусских землях, 1862–1864 гг. М., 2021.

21. *Дюков А.Р.* Письма из-под виселицы Константина Калиновского, подложные и настоящие: Наброски к источниковедческому исследованию. М., 2022.

22. *Журавлев С.В.* Судебно-следственная и тюремно-лагерная документация // Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика / под ред. А.К. Соколова. М., 2004.

23. К. Калиновский: Из печатного и рукописного наследия / сост. Р.П. Платонов (рук.), Н.С. Сташкевич, В.Ф. Шалькевич, А.Н. Гесь. Минск, 1988.

24. *Каліноўскі К.* За нашую вольнасць: творы, дакументы / уклад., парадм., паслясл., камент. Г.В. Кісялёва. Мінск, 1999.

25. *Кісялёў Г.В.* Летапіс жыцця і дзейнасці Кастуся Каліноўскага / Г.В. Кісялёў // З думай пра Беларусь: Даследаванні знаходкі з гісторыі беларускай літаратуры і рэвалюцыйнага руху другой паловы XIX стагоддзя. Мінск, 1966.

26. *Лушчыцкі І.Н.* Нарысыпа гісторыі грамадска-палітычнай і філасофскай думкі у Беларусі в другай палавіне XIX веку. Мінск, 1958. С. 220–221.

27. *Марозаў С.П.* Ідэя рэстытуцыі Вялікага Княства Літоўскага ў ідэалогіі партыі «белых» у Беларусі (1861 – вясна 1863 г.) // Архіварыус: Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. Вып. 13. Мінск, 2015.

28. *Міхалюк Д.* Нелегальны польскамоўны друк пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага // Кастусь Каліноўскі і нацыятворчы працэс у Беларусі: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Лондан, 27–29 сакавіка 2014 г. / под рэд. А. Смаленчука, Дж. Дынглі. Мінск, 2015.

29. *Мосолов А.Н.* Виленские очерки, 1863–1865 гг. (Муравьевское время). СПб., 1898.

30. *Мулина С.А.* Мигранты поневоле: Адаптация ссыльных участников польского восстания 1863 года в Западной Сибири. СПб., 2012.

31. *Родзевич Л.* Пригоршня воспоминаний о 1863 г. / пер. с польск., коммент. В.В. Герасимчик (готовится к печати).

32. Следча-судовая справа Кастуся Каліноўскага / уклад. З. Кузменка. Мінск, 2014.

33. *Смалянчук А.Ф.* Раман Скірмунт (1868–1939): жыццяпіс грамадзяніна Краю. Мінск, 2018.

34. *Смирнов А.Ф.* Кастусь Калиновский. М., 1959.

35. *Тальвирская З.Я.* Некоторые вопросы общественного движения в Литве и Белоруссии в конце 50-х – начале 60-х годов и подпольная литература // Революционная Россия и революционная Польша (вторая половина XIX в.): сборник статей. М., 1967.

36. *Филатова Е.Н.* Белорусско-литовские земли в 1772–1860 гг.: человек и общество. Минск, 2021.

37. *Шалькевич В.Ф.* Кастусь Калиновский: страницы биографии. Минск, 1988.

38. *Эдельман О.В.* Следствие по делу декабристов. М., 2010.

39. 1863–1864 metų sukilimas Lietuvoje / sud. A. Bieliūnienė, B. Kulnytė, R. Subatniekienė. Vilnius, 2013.

40. *Fajnhauz D.* 1863: Litwa i Białoruś. Warszawa, 1999.

41. *Giller A.* Historia powstania narodu polskiego w 1861–1864 r. Paryż, 1867. T. 1.

42. *Witkowski J.* Powstanie 1863 r. i rosyjski ruch rewolucyjny w początku 1860-tych lat. Mińsk, 1931.

Аннотация. В статье опубликованы выявленные автором в архивах России и Литвы ранее неизвестные историкам документы – тюремные письма Константина Калиновского, лидера восстания 1863 года в Литве и Белоруссии. Сопоставление тюремных писем Калиновского с материалами его архивно-следственного дела и рядом других документов, позволяет увидеть непривычный образ революционера – верующего католика, носителя классической литвинской идентичности (gentis Lithuanus, natione Polonus) человека польского языка и культуры, одновременно привязанного к исторической Литве и видевшего ее будущее в составе Польши.

Ключевые слова: Константин Калиновский, восстание 1863 года, Белоруссия, Литва, источниковедение.

Alexander R. Dyukov, Scientific Researcher, Russian History Institute, Russian Academy of Sciences. E-mail: a.dyukov@gmail.com

“My Dear Marylka!” Unknown Ante-mortem Letters of Konstantin Kalinovsky – the Leader of 1863 Polish Uprising in Lithuania and Belarus

Abstract. In the article we find previously unknown documents found by the article author in the archives of Russia and Lithuania, namely the letters of Konstantin Kalinovsky – the leader of the 1863 uprising in Lithuania and Belarus, - which he wrote while held in prison. The comparison of Kalinovsly’s letters written in prison with the materials of the archive investigatory documents pertaining to his case allows one to see the extraordinary image of the revolutionary, - a Catholic believer, Lithuanian identity bearer (gentis Lithuanus, natione Polonus), a person of Polish culture and language, who was sincerely attached to historic Lithuania and saw its future within Poland.

Keywords: Konstantin Kalinovsky, the 1863 Uprising, Belarus, Lithuania, Source Study.

Альманах

Тетради по консерватизму

№ 3 2023

Редактор
Е.М. Кострова

Художественное оформление
В.И. Кучмин

Компьютерная верстка
А.В. Талалаевский

http://www.essaysonconservatism.ru/
tetradipokonservatizmu@gmail.com

Подписано в печать 15.10.2023. Формат 60x90 1/8. Усл. печ. л. 48,75
Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»
127282 Москва, Полярная ул., д. 31В, стр. 1.
Тел. 8 (495) 685-93-18